



1 *том первый*



Иркутск. 2011

Бег времени

*Слово
о городе*

УДК 821.161.1
ББК 84(2=Рус)7
И 81

*Издание осуществлено при поддержке правительства
Российской Федерации*

Редакционный совет:

Юрий Багаев, Ким Балков, Юрий Баранов, Виктор Бронштейн,
Станислав Гольдфарб, Альберт Гурулев, Владимир Дейкун,
Василий Забелло, Иван Козлов, Сергей Корбут, Александр Лаптев,
Ольга Пушкина, Валентина Семенова, Владимир Скиф,
Сергей Ступин, Арнольд Харитонов

И 81 **Иркутск. Бег времени** : в 2 т. — Т. 1 : Слово о городе. — Иркутск, Сибирская книга (ИП Лаптев А. К.), 2011. — 720 с.

ISBN 978-5-91871-017-3

В сборник включены произведения иркутских писателей, посвященные родному городу. Написанные в разные годы, они рассказывают об истории Иркутска, событиях, происходивших в его культурной и общественной жизни, судьбах иркутян.

Издание посвящается 350-летию Иркутска.

ISBN 978-5-91871-017-3

© Гольдфарб С. И., Скиф В. П., составление, 2011

© Дейкун В. В., оформление, 2011

© Сибирская книга (ИП Лаптев А. К.), 2011

«Иркутск в моей судьбе...»

Анатолий Шастин, писатель

Иркутск — родина моих дедов и прадедов. С ним связана их жизнь, как жизнь моя и моих детей. Иногда, мне кажется, я вижу иркутские улицы такими, как выглядели они давно. Может быть, задолго до моего рождения. Откуда бы видеть мне скошенный угол Литвинова и Карла Маркса, каким был он полстолетия назад? А ведь все видится на этом скосе рядок лавочек, беленных по дощатой облицовке, и среди них табачный магазинчик, где за большим окном глиняный турок в синих шароварах и красной феске курил кальян. А то вдруг — часовня в сквере на углу Пролетарской и Карла Маркса, а напротив через дорогу — большой магазин в здании, где сейчас цех швейной фабрики...

Может быть, вместе с генами передается нам память о прошлом? Или какими-то иными путями приходит она и остается с нами до последнего часа?

Нынче много говорят и пишут о малой родине и о любви к ней. Уже и модными стали те рассуждения. А когда же мода была отражением подлинности чувств?

По мне, ощущение родины — в каждом из нас, а от принародных и частых признаний и рассуждений о любви к ней, думается, само чувство оскудевает и затирается, как дверная ручка. Недаром же так бережно выражено оно в народной поговорке, где вместе с ним и сожаление к тем, кто в погоне за длинным рублем отправился в иные края. «В родной стране, да в чужой стороне», — говорил русский человек и как бы объяснял тем несравнимость тягости нравственных утрат с высокими заработками на чужой стороне. И как бы в подтверждение тому из седой древности дошли к нам слова князя Ростислава: «А аз не хочу блудити в чюже земле, но хочю голову свою положить о отчине своей...» Знать, и в родной стране есть чужая сторона, хотя и она, как дойдет до главного, — часть нашей Родины.

Наверное, у литератора все его чувства: любовь, ненависть, презрение и жалость — в его книгах. И если в силах он передать хотя бы малую их частицу тем, для кого писал, то и жизнь его не впустую. И если поднял он голос против бездумности, что безоглядно крушит историю и природу родной стороны во имя неких «высших интересов», — так не в том ли его сыновняя боль и преданность?

А как литератор убежит от себя, от человеческой своей сути, которую в любой книге ему не скрыть и не приукрасить?

Иркутск стал для меня тем же, чем стали для иных моих коллег их родные деревни и арбатские переулки. И он вошел в мои книги так же, как входит в нас память о детстве и руках матери. А судьбы наших матерей начинались и складывались задолго до нас. И потому, может быть, некоторые мои книги — о прошлом. И пусть иной раз по-другому назывался город, который был в них, или вообще не имел названия, но это был Иркутск. И улицы были его, и люди. Такие, какими я их помнил и знал, или какими виделись они мне.

Дмитрий Сергеев, писатель

С Иркутском, с Сибирью связана вся моя жизнь. В Иркутске родился и живу. В сибирской тайге, в горах прошло раннее детство, а позднее, в зрелую пору жизни, двадцать полевых сезонов провел в геологических экспедициях.

Самая продолжительная разлука с Иркутском пришлось на войну, службу в армии — почти пять лет. Когда работал в поисковых партиях, ежегодно по несколько месяцев не был дома. Никогда не позабыть властной силы чувства, влекущего сердце в Иркутск. Разлука не ослабляет привязанности — усиливает. Возвращаясь домой, на все привычное, примелькавшееся, не замечаемое в повседневности, смотришь свежими глазами, радуешься, узнавая все знакомое и родное. Волнует и радует новизна, перемены к лучшему — появление новых скверов, парков, фонтанов, создающих уют и красоту. Вспоминаю, как постепенно центральные улицы одевались асфальтом, как исчезали с глаз приметы недавней бедности — убогие насыпные бараки, на их месте появлялись кирпичные дома, как обновлялись стены и купола отреставрированных соборов, донесших нам дыхание истории и свидетельство вдохновенного труда и безупречного вкуса зодчих, мастерового и ремесленного люда, некогда жившего в нашем городе.

Увы, не все перемены радуют. Не по себе становится, когда видишь, как чьи-то руки, равнодушные к истории города, к его своеобразию и красоте, стремятся утвердить нивелирующую безликость, полоня своими тво-

рениями даже старинный центр города. Хотелось бы видеть в новой архитектуре больше внимания к своеобразию старого города. И еще одно обстоятельство не может радовать меня, старого иркутянина. В послевоенные годы, часто бывая в соседних областях, видел, как благоустраивались и хорошели другие города. Скажем, Чита и Улан-Удэ тридцать лет тому назад значительно уступали Иркутску. Теперь обошли: улицы чище и освещеннее наших, городской транспорт работает с меньшими перебоями... Мы отстаем, и отставание это с каждым годом не сокращается, а нарастает. Пора уже об этом задуматься всерьез.

Иркутск, Сибирь заняли главное место в моих книгах, многое из написанного основано на биографическом материале.

В последние годы меня все больше занимает история, в частности история родного города. Обращение к прошлому мне кажется естественным для всякого человека, осмысливающего жизнь. Прошлое — настоящее — будущее. Звенья этой цепи неразрывны. Без знания прошлого невозможно понимание будущего. Будущее — то, каким мы его представляем себе, формирует настоящее, диктует наши устремления, наши нравственные идеалы, делает нас мудрее. А то, насколько мы мудры сейчас, помогает нам лучше понять прошлое, приводит к пересмотру укоренившихся ошибочных мнений, к открытию незамеченных ранее связей. Взгляд в будущее, равно как и понимание прошлого, необходим нам, чтобы не сбиться с пути, не увлечься обманными целями.

Культурные богатства — главное достояние, которое мы передаем потомкам. Необходимо сберечь и сохранить то, что досталось нам по наследству, и в меру наших сил и талантов увеличить. Вклад нашего города, каким бы ни считать его, изобильным или скромным, приумножает культурное наследие всего народа.

Елена Жилкина, поэтесса

Иркутск — мой родной город. Я не могу отделить от него ни своего детства, ни юности, ни зрелых лет. Разные события этого города стали и для меня незабываемыми вехами на жизненном пути.

Тридцатые годы... Чем дальше уходишь от них, тем меньше драгоценных крупин оседает в памяти, хотя прежде всего хочется говорить о людях, вошедших в твою жизнь прочно и навсегда...

Именно тогда мне и моим товарищам по перу Иннокентию Луговскому и Павлу Маляревскому были вручены билеты кандидатов в члены Союза писателей СССР, подписанные Максимом Горьким. Это была вера в нас, надежда на наше будущее в лучшую пору молодости.

Время рождало душевный подъем. Во вновь возникшей писательской организации в Иркутске можно было наблюдать всплеск талантливой прозы, поэзии, публицистики. Все это было опубликовано на страницах альманаха «Будущая Сибирь».

Мы, молодые, чутко прислушиваясь к тому, как на горизонте сгущались тучи, пели незабываемую песню «Если завтра война...» И все же жизнь бурлила, наполнялась с краями. Стихи рвались из сердца, и, как всегда это бывает, — их хотелось почитать другим.

В один из воскресных дней я пришла по газетному объявлению в литературную группу и с робостью выслушала первую критику собравшихся тогда молодых поэтов, многих из которых я уже никогда не увижу.

В те дни я познакомилась с писателем Исааком Григорьевичем Гольдбергом. Отметила для себя главную черту его характера: умение вселять оптимизм в других. Это впечатление усиливалось от всегда печальных его глаз, несмотря на внешнюю живую веселость.

Кипение сил и высокая требовательность никогда не оставляли его так же, как и интерес ко всему, что происходило вокруг. Для многих из нас, только начинающих свою литературную дорогу, Исаак Григорьевич был образцом поведения. Это, пожалуй, была настоящая школа, где воспитывался в каждом из нас и вкус к общественной деятельности, совершенно бескорыстной, построенной на одном энтузиазме. Причем сам писатель не просто числился в различных редакционных коллегиях газет и журналов, но прежде всего оказывал изданиям практическую помощь. А уж участие в жизни каждого из нас, молодых литераторов, конечно, перерастало так называемые литературные рамки.

Помню, в дни каких-то душевных смятений и нерешенных вопросов — а ими богата молодость! — мы шли в его дом, двери которого всегда были открыты для нас. На столе гостеприимно кипел самовар, и Исаак Григорьевич усаживал за стол. Вот так, за чашкой чая, просто и непринужденно говорили мы с ним обо всем на свете... В течение почти десяти лет, в которые мне посчастливилось близко знать этого замечательного писателя и человека, Исаак Григорьевич как писатель старшего поколения занимал наши сердца и умы по-настоящему. Мы все любили его, как можно любить отца.

Рано почувствовали мы в нем и большой талант. Помню, какое неизгладимое впечатление произвела на меня книга его о сибирских партизанах. Я даже написала стихотворение «Партизаны», посвященное Исааку Гольдбергу.

В начале тридцатых годов закладывали мост через Ангару. Не проходило и дня, чтобы Исаак Григорьевич не бывал у строителей и не заводил новые знакомства, разговаривая с рабочими обо всем, в том числе и о литературе.

Я жила тогда на Набережной улице, недалеко от строительства, и, проходя на берег Ангары, часто встречала его там. А иногда он приходил ко

мне и уводил с товарищами моими на стройку, буквально заражая своими светлыми мыслями о том, как изменится наш город, когда строительство моста будет закончено. Я тоже не однажды была свидетелем его бесед со строителями-кессонщиками, смотрела, слушала и запоминала.

Он знал и чувствовал чутьем большого писателя, как все это важно для моего творческого становления, и не ошибся. Уже в те годы я написала стихотворение «Мост», которое мне не стыдно прочесть и сегодня, хотя это было одно из первых моих стихотворений, опубликованных в коллективном сборнике.

Таким образом, этим удивительным человеком и писателем была дана мне «путевка в жизнь» и большую литературу.

Мне посчастливилось бывать с ним на встречах с мастерами фарфорового завода. А потом в своих «Хайтинских очерках», предшествующих появлению «Поэмы о фарфоровой чашке», он вспоминал, что за этой «пустынностью стройки прячется живой, сложный, ни на минуту не замирающий коллективный труд».

Произведение было опубликовано в альманахе «Новая Сибирь», и скоро мы там увидели отзыв Максима Горького, который назвал «Поэму о фарфоровой чашке» в числе лучших сочинений о социалистической перестройке наших фабрик и заводов в тридцатых годах.

Бывала я с Исааком Григорьевичем и в Черемхове, где мне запомнились наши литературные вечера в наскоро сколоченных деревянных клубах, черемховские шахтеры и мое знакомство с добычей угля в шахте, куда я спускалась, надев шахтерскую каску.

Все это было... было.

И опять после этих встреч с рабочими Черембасса появился роман «Главный штрек», над которым писатель долго работал. Никогда не отрывался он от жизни и ее сложных проблем. «День разгорается» — с таким названием вышел последний роман, написанный о событиях революции 1905 года в Иркутске. Исаак Гольдберг остался верен привязанности своей ранней молодости, хотя, к сожалению, я застала уже его осень.

Марк Сергеев, писатель, заслуженный работник культуры РСФСР

Если бы из жизни моей вычесть Иркутск — то оказалось бы, что и жизни-то никакой нет, ничего не связалось, не соединилось, потому что не только природные склонности, книги и учение, не только жизненный опыт формируют нас, но и улицы, полные душевного расположения, пригородные леса, где аукается и доныне наше детство,

духовная щедрость музеев и библиотек, где история обширного края, полная событий значительных, героических, трагических, перестала быть чем-то отдаленным, отрезанным уплотненным временем, а стала твоим началом, словно ты восприимчив всего, что было, ответственен за то, что есть, и за то, что может произойти.

Иркутск не сразу доверяет человеку, не сразу открывает ему святая святых. Как истинный отец, как прямодушный сибиряк, он испытывает тебя, и в первую очередь — трудом. Когда в четырнадцать лет он приобщил меня к своим заботам, устроив на лесопилку Лисихинского кирпичного завода, я думал, что это я помогаю городу — недостает рабочих рук. Но оказалось, что это он помог мне не просто почувствовать силу рук своих, тепло товарищества трудового, нет, он открыл мне рассветную Ангару, из прикорнувшего на воде тумана вытаскивали мы мокрые бревна, они сверкали под мутным солнцем и пахли волной и тайгой. А потом туман поднимался, странно стоял над рекой так, что снизу был виден ясно-зеленый противоположный берег, и длинный товарняк, резко бегущий за длиннотрубным паровозом, и труба эта упиралась в туман, а сверху, над слоем тумана, горбился смешанный с влажными пузырьками дым, и здесь над горами, стояла незамутненная солнечная прозрачность, и видно было каждое деревце. И это были стихи.

Иркутск наградил меня всем — и любовью, и дружбой, и невзгодами, и отправил меня на войну, и негромко радовался моему возвращению — так, по крайней мере, мне казалось, когда в феврале 1946 года выпрыгнул я на перрон нашего старого вокзала и пошел с небольшим деревянным чемоданчиком по его ожившим после военного лихолетья улицам.

А еще он дал мне учителей — Елизавету Романовну Смолянскую и Софью Романовну Тигунцеву — в одной и в другой школе, они поддерживали мои первые поэтические опыты, Марка Константиновича Азадовского, Федора Александровича Кудрявцева, Ольгу Игоревну Ильинскую, пробудивших во мне чувство истории, показавших, сколь мало я знаю и умею, чтобы все, что удастся мне в жизни познать и постичь, не считал я истиной в последней инстанции, а понимал: всегда есть кто-то, кто знает более тебя, умеет лучше тебя, мыслит значительнее, а пишет — талантливее, и все же — как утешение — не так, как ты.

Я уже не молод, но только теперь Иркутск начал, кажется, мне доверять, соединил меня со многими своими жителями, пожилыми и молодыми, открыл архивы и редкие фонды библиотек и, стало быть, добавил ответственности за все, что в нем самом происходит: сносится ли старинный дом, воздвигается ли памятник, открывается ли театр, выходит ли книга. С этой ответственностью и чувствую себя иркутянином.

Иркутск с нами

Удивительно и невыразимо чувство родины... Какую светлую радость и какую сладчайшую тоску дарит оно, навещая нас то ли в часы разлуки, то ли в счастливый час проникновенности и отзвука! И человек, который в обычной жизни слышит мало и видит недалеко, волшебным образом получает в этот час предельные слух и зрение, позволяющие ему опускаться в самые заповедные дали, в глухие глубины истории родной земли.

И не стоять человеку твердо, не жить ему уверенно без этого чувства, без близости к деяниям и судьбам предков, без внутреннего постижения своей ответственности за дарованное ему место в огромном общем ряду быть тем, что он есть. Былинный источник силы от матери — родной земли представляется ныне не для избранных, не для богатырей только, но для всех нас источником исключительно важным и целебным, с той самой волшебной живой водой, при возвращении человека в образ, дух и смысл свой, в свое неизменное назначение. И, посещая чужие земли, как бы ни восхищались мы их рукотворной и нерукотворной красотой, какое бы изумление ни вызывала в нас их устроенность и памятьливость, душой мы постоянно на родине, всё мы соизмеряем только с нею и примеряем только к ней, всему ведем свой отсчет от нее. И тот, кто потерял это чувство земного притяжения, кто ведает одну лишь жизнь свою без неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего — вечного значит, огромную потерял тот радость и муку, счастье и боль глубинного своего существования.

...Есть города, которые насчитывают многие сотни и даже тысячу лет. Стоят они сановито и важно, изо всех сил сберегая с помощью лучших граждан своих старину и доблесть. И есть города из эпохи послевоенного

Распутин Валентин Григорьевич (род. 15 марта 1937 г. в с. Усть-Уда Иркутской области), прозаик. Член Союза писателей России. Герой Социалистического Труда (1987), дважды лауреат Государственной премии СССР (1977 и 1987), почетный гражданин г. Иркутска. Автор многих книг, в том числе: «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Что в слове, что за словом», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Сибирь, Сибирь» и др.

строительного бума, за спиной которых небольшие десятилетия; поставленные возле промышленных гигантов, по-юношески задиристые, самолюбивые, с бойким народом, они заявляют о себе нетерпеливо и звучат с напором. Иркутск по этим мерам в среднем возрасте: и трех с половиной веков не прошло, как в 1661 году енисейским сыном боярским Яковом Похабовым был срублен на Ангаре «против Иркуты-реки на Верхоленской стороне государев новый острог». И как я представляю себе, немало пострадавший во второй половине XX века от скорых и неумелых пластических операций, от горячей бездумной силы по части сносов и перестроек, Иркутск, однако же, сумел сохранить свое лицо, не в пример другому сибирскому городу — Омску, который его полностью потерял, или Новосибирску, который его никогда не имел. Больше того — Иркутску повезло остаться даже с именем своим, как называли его первопоселенцы, и устоять против революционного синодика (его, правда, на Сибирь и не хватало, в Сибири самородные названия почти и не трогали).

И стоит теперь Иркутск, умудренный историей и жизнью, спокойно и мудро, зная силу себе и цену; в меру знаменитый, в меру скромный, в меру культурный, умудряющийся сохранять культуру и в наши дни; традиционно гостеприимный, немало опустившийся в пригляде за собой, но прекрасно сознающий, что верно, опустил и устал от реформаторских передраг последнего времени, — стоит Иркутск, наделенный долгой и взыскательной памятью камня своего и дерева, с любовью и немалым удивлением вззирающий на дела нынешних своих граждан, которые составляют более чем 600-тысячное население, по-родительски оберегающий их от зноя и холода, дающий им жизнь, приют, воспитание, работу, родину и вечность.

В судьбе и характере Иркутска от самого начала особую роль играло его место рядом с Байкалом, всего в шестидесяти километрах от чуда-озера. Иркутяне пьют ангарскую воду, вытекающую из Байкала, дышат его ветродуем, едут к нему за вдохновением и здоровьем, напиваются его красотой и мощью, не оставляют своего поклонения ему, находят на его берегах и водах работу, рассказывают о нем легенды и были. А чаще всего они идут к нему просто так — чтобы показаться Байкалу и найти невидимую защиту, как дети, ощущающие родство. Слово «Байкал» имеет для них величавый отцовский смысл, могучий и добрый. Они радуются тому, что им доступен байкальский омуль — и не столько в качестве пищи, сколько в качестве какой-то духовной добавки (но и поморы Русского Севера испытывают наслаждение от одного лишь слова «семужка»), байкальская нерпа, это неуклюжее и симпатичное существо, вызывает у них неизменную улыбку. Иркутянам верится, что душа их от близости Байкала просторней, а кость тверже, что облачают их и пропитывают суровые и прекрасные картины байкальского лика.

Паломничество на Байкал со всего света, паломничество, то ослабевающее во дни российских неурядиц, то снова усиливающееся, идет через

Иркутск. Он невольно является предуготовителем главного события накануне встречи с Байкалом, роли которого должен соответствовать, и он же принимает остывающие впечатления, которые нельзя испортить. Красота и дух Байкала должны достойно перетечь в красоту и дух Иркутска. Благодаря Байкалу Иркутск в самые «закрытые» времена оставался открытым для иностранцев городом, сюда едут туристы и журналисты, деловые люди и знаменитости, научные экспедиции и молодежные делегации, он избирается местом проведения правительственных встреч. В мире Иркутск знают лучше любого другого сибирского города. Это заставило его следить за собой и прихорашиваться, и это же помогло ему на заре возвращения отечественной памяти в шестидесятые годы утвердить свое звание исторического города и тем самым, пусть и не без потерь, сохранить свой облик.

Есть особенный час, в который легко отзывается Иркутск на чувство к нему. Приходится этот час на пору летнего рассвета, когда еще не взошло солнце и не растопило, не смыло горячей волной настоявшиеся за ночь, взятые из недр своих запахи, пока не разнесли их торопливые прохожие, а редкую и недолгую тишину не погубил машинный гул. Лучше всего очутиться в такую пору в старом Иркутске, в одном из тех его уголков, где сохранились одной общиной деревянные дома. И стоит лишь вступить в их порядок, стоит сделать первые шаги по низкой и теплой теплом собственной жизни улице, как очень скоро теряешь ощущение времени и оказываешься в удивительном и сказочном мире, из той знаменитой сказки, когда волшебная сила на сто лет заговорила и усыпила, оставив в неприкосновенности, все вокруг. И уже не слышишь полусонного и размеренного женского голоса, объявляющего из-за Ангары о прибытии и отправлении поездов, не видишь возникающих перед глазами, как огромные неряшливые заплатки, новых каменных зданий, не замечаешь новейших примет — ты там, в этом мире столетней давности.

Летом 1879 года пробушевал здесь самый, пожалуй, жестокий из всех иркутских пожаров, уничтоживший большую часть города. «К утру 25 июня 75 кварталов лучшей и благоустроенной части города представляли собой выжженную пустыню с обгоревшими и задымленными остовами каменных домов, труб печей, над которой носился едкий, удушливый дым» (из летописи Н. С. Романова). Но если на центральных улицах разрешено было после того только каменное строительство, здесь на месте дерева снова легло в стены дерево. Иркутскому жителю было не привыкать — Иркутск горел многожды, и всякий раз снова и снова поднимался из пепла, снова и снова горожанин клал стены, чаще всего по своим собственным наметкам и чертежам, подводил крышу, стеклил окна. Въезжал в новый дом и принимался его украшать.

Нет, не просто построить, чтобы тепло и удобно было жить, но построить на удивленье и загляденье. Точно картинку, точно терем волшебный,

в котором, быть может, настанет и волшебное житье, — вот что считалось, как теперь говорят, престижным. Дух соперничества в новшествах и красоте никогда не оставлял сибиряка и подвигал его прежде на многие замечательные дела. В этом искусстве если и был кто равен сибиряку по всей огромной России, так разве лишь мужик с его прародины — с Архангельщины, Вологодчины, Великого Устюга и Новгородчины, откуда и вынесли первые насельники Сибири свое ремесло. Вынесли и развили до удивительного совершенства и бесконечно причудливой, навеянной новой жизнью и новыми просторами фантазии, привили везде и всюду — в городе и деревне, среди богатых и бедных, у охотников, пахарей и мастеровых. Только полностью нищий карманом или духом человек, поставив жилье, не украшал, не узорил, не расписывал его, не колдовал над ним, и уж одно это оставалось печатью его нищеты и безысходности на всю жизнь. Такая избушка, как теперь хорошо заметно, прежде и старилась, заваливалась, уткнувшись окошком в землю; горестно и неловко смотреть на нее, бедолагу, со стоящими рядом еще крепко, бодро и форсисто, разукрашенными резьбой домами. Созданные на радость людям, до сих пор, несмотря на полный свой век, они эту радость и приносят. Даже самый невеликий из них, с самой незатейливой отделкой, и ту уже немало потерявший, сохраняет все же привлекательность, достоинство и навеки оставшуюся в нем благородную душу мастера.

Душа мастера... Даже в самом примитивном ее понимании и рабочем приложении это то, что выходит из обыденности и общности ремесла, что воспаряет над ними особенной вышней любовью к человеку и всему прекрасному, живущему в нем и могущему в нем быть, что заполняет великие пустоты между реальностью и мечтой и делает реальность осмысленной добром и красотой. Душа не служит, она царит; она берет порою тяжелые подати, выводя человека из ряда обыкновенных, живущих хлебом единым и не желающих знать иных, но она же затем выводит его из ряда обыкновенных смертных, без вести погребенных под тяжелыми пластами времени.

И что как не душа мастера, колдовавшего над домом, возле которого ты в удивлении остановился, коснулась в гордости тебя и растревожила, укорила слабую твою душу, не знавшую праздничных взлетов, или нашла отзыв и восхищение в родственной и чуткой твоей душе, занывшей и затосковавшей по столь же славному делу?

Долгими неделями и месяцами выпиливал, вытачивал, вырезал, подгонял мастер свою кружевную затею. По трафаретам стали работать позже, когда ставили богатые доходные дома и трудились артелью, признанный же и уважающий себя художник по дереву творил, не ведая ограничительных рамок. Фантазия иной раз увлекала его в такие дебри и выси, что из них нет, казалось, выхода, чтобы не нарушить пропорции и чувство и не испортить начин, но он чудом находил его и из неведомых, порою

языческих далей доставлял желанную жар-птицу, которая волшебным опереньем вспыхивала на фронтонах, карнизах и наличниках дверей и окон, на кронштейнах и пилястрах — на каждой малости: смотрите, люди, и радуйтесь.

Четыре города в Сибири сумели сохранить тепло и красоту деревянных улиц. Это Тобольск, Томск, Кяхта и Иркутск. Один другого краше. Но, чтобы найти деревянное «счастье», нужно было пройти через несчастье, иначе смели бы в пылу обновления эту «рухлядь» подчистую и понаставили панельные коробки. Тобольск потерял свою столичность еще в первой половине XIX века, когда центр Западно-Сибирского края перенесли в Омск и сухопутный Московский тракт прошел южнее Тобольска. Оказавшись в стороне от него, Тобольск захирел. Кяхта, сказочно богатый торговый город на границе с Китаем, после революции вдруг оказалась на границе с другим государством — с Монголией — и скоро пришла в полный упадок. Томск сто лет назад отчаянно боролся за то, чтобы Транссиб сделал дугу в его сторону, — и не вышло. Он остался губернским городом, городом первого в Сибири университета, еще яростнее принялся называть себя «сибирскими Афинами», но его уже слушали плохо, и в значении своем и росте он поневоле поотстал.

К началу XX века потерял свою громкую торговую славу и Иркутск: меняющие один другой потоки пушнины, золота, китайского чая и мануфактуры к тому времени обмелели. Более полувека, до начала «сибирского ускорения» в пятидесятых годах, жил он скромно и тихо. Затем строительство Иркутской гидростанции, строительство под боком новых городов — Ангарска и Шелехова — заставило опять звучать Иркутск громко. В горячке буден было не до старины. А когда принялись подбираться к ней, чтобы обновить Иркутск, когда стали вычерчиваться «перспективные планы развития» (читай: переустройства города и сноса деревянных кварталов), появилось Всероссийское общество охраны памятников и Иркутск, по счастью, вошел в число пятнадцати исторических городов, подлежащих охране. Кроме иностранцев, едущих на Байкал, в этой удаче сыграл свою роль и интерес к декабристам, отбывавшим ссылку в Иркутске. И, должно быть, не в последнюю очередь — оставшаяся память о просьбе Эйзенхауэра включить Иркутск в маршрут его намечавшейся в конце пятидесятых годов поездки в СССР. В Иркутске по судьбе офицера союзнической миссии в нашу Гражданскую войну будущий американский президент лечился в госпитале, и об Иркутске остались у него самые приятные воспоминания. Визит высокого гостя, как известно, не состоялся, но то, что сопровождало его подготовку, чтобы не ударить в грязь лицом, — и торопливое латание городских улиц, и асфальтированный тракт к Байкалу, и специальная «дача» на берегу озера в истоке Ангары, с которой начинался санаторий, и напоминание об Иркутске как городе нерядовом, способном

задержаться в памяти великих, — это осталось и сослужило добрую службу «для внутреннего пользования».

Так с середины шестидесятых годов сделался Иркутск историческим городом, и в таких обстоятельствах взял он на себя обязательство соответствовать этому званию. Однако соответствовать оказалось труднее, чем назваться. Двадцать лет продолжалась затяжная эпопея — кто кого? Одни охраняли, другие воровали, как в каком-нибудь дырявом складе. У иркутян на памяти еще борьба за «горбатый дом» в центре города, образец постройки XVIII века, борьба, окончившаяся не в пользу общественности: среди ночи дом воровски снесли. Такая же участь постигла и многие другие памятники. Восстановленные усадьбы декабристов Трубецкого и Волконского, ставшие музеем, равно как и «кружевной дом» на ул. Энгельса, отданный почему-то под офисный «Дом Европы», равно как и еще несколько примеров выхваченности из огня и погрома, — это лишь малая часть из того, что могло быть спасено.

Вот почему, за исключением единичных усадеб, деревянной архитектуры XVIII столетия в Иркутске не сохранилось.

Дерево недолговечно, но оно имеет редкую способность продлевать нашу память до таких глубин и событий, свидетелями которых мы не могли быть. Лучше сказать: это способность передавать нам память предков. Камень более недвижим и холоден; дерево податливо и ответно чувству. В деревянных кварталах где-нибудь посреди Солдатских улиц перед нагорной частью города не так уж и трудно представить себе старый Иркутск тридцатых-сороковых годов того далекого XVIII века, когда город разросся и вышел из стен острога.

Через Иркутск шла оживленная торговля с Китаем, он стал к тому времени крупным административным центром огромной провинции, главным перевалочным и товарораспределительным пунктом всей Восточной и Северной Сибири. В остроге, замкнутом крепостными стенами, творилась лишь административная власть, вся же основная жизнь давно перешла в посад, где располагались и купеческие лавки, и базары, и кабаки, пышным цветом расцветшие к той поре в Иркутске, и различные службы, и мастерские ремесленников и где «гуляло» около тысячи (в тридцатых годах) обывательских домишек, которые ставились без всякого плана застройки, кто где хотел и кто во что был горазд, так что улицы представляли собой извилистое и диковинное кружение, и вправду напоминающее гуляние. Город, вышедший из крепости, в свою очередь, обнесен был палисадом, деревянной стеной, протянутой от Ангары до Ушаковки по линии Большой улицы. За палисадом, как и положено в древности, рядом с вырытым рвом стояли рогатки, а уж за ними третьим городским поясом выросла Солдатская слобода. Отсюда и Солдатские улицы, переименованные впоследствии, чтобы не оставить бывших охранников города без революционного внимания, в Красноармейские.

Другие стояли здесь тогда домишки, другая была планировка — все другое, но и глаз закрывать не надо, чтобы представить себе Иркутск того времени в такой яви и близости, что видишь, кажется, изломанную и кривую грязную улочку, величавую поступь по ней бородатого купца, направляющегося в сторону царствующих над городом куполов Спасской церкви и Богоявленского собора и по дороге недовольно буркнувшего на возящихся в грязи ребяташек, слышишь голоса лениво переругивающихся из-за высоких заборов от скуки баб, ржание лошадей и скрип телег проходящего через Заморские ворота к Байкалу обоза. Добрых тридцать лет еще до Московской столбовой дороги, вдохнувшей в Иркутск новую жизнь, и больше века до третьего и главного кита, который вслед за торговлей и пушниной стал основанием расцвета города, — до золотой лихорадки. Иркутск еще сонен, темен и грязен, его главную жизнь составляет борьба духовенства и купечества с чиновничеством, с его разбойничьими даже по тем временам поборами и несправедливостью. Да ведь и то сказать: окраина, самая глухая, откуда «до Бога высоко, до царя далеко». По этой поговорке действовали и воеводы, и вице-губернаторы, а затем и генерал-губернаторы вместе со всем своим многочисленным окружением, которые, кроме своего собственного обогащения, не знали здесь другой работы. Не зря же первый сибирский губернатор князь Гагарин был казнен в Петербурге «за неслыханное воровство», почти одновременно с ним взошел на плаху при Петре по той же самой причине иркутский воевода Ракитин, не брезговавший разбоем, чуть позднее такая же участь постигла и первого иркутского вице-губернатора Жолобова, который «пытал безвинно и при пытках жег огнем». Строгости, однако, помогали мало.

Инструкцией, которая давалась в первое время воеводам и которая гласила: «Делать по тамошнему делу и по своему высмотру, как пригоже и как Бог вразумит», пользовались затем все, за малым исключением, власти, как бы они ни назывались. Одному, вице-губернатору Плещееву, «пригоже» было приказать всякий раз при своем выезде палить из пушек, чтобы досадить архиерею, которому звонили; другого, губернатора Немцова, «Бог вразумил» пригласить за город гостей и натравить на них разбойника Гондюхина, не постеснявшегося донага раздеть благородное общество, к величайшей потехе губернатора; третий, следователь Крылов, приехавший в Иркутск пресекать беззакония, «по своему высмотру» обобрал местных купцов более чем на 150 тысяч рублей, посадил под арест чем-то не приглянувшегося ему самого вице-губернатора Вульфа и разъезжал по городу, наводя жуткий страх на жителей и опять-таки «по своему же высмотру» указывая на понравившихся ему купеческих дочек и мещанок, которых следовало незамедлительно доставлять Крылову на дом. Это были «гибельные», по слову летописца, времена. Неудивительно, что иркутяне, вспоминая о благополучном, казавшемся им счастливым, правлении в конце XVII

века малолетнего сына Полтева (Полтев назначен был воеводой, но, не доехав до Иркутска, скончался, и тогда казаки определили в воеводы его сына), попытались сорок лет спустя, устав от поборов и самодурства Жолобова, снова применить ту же практику. На этот раз Сытин, приехавший заменить ненавистного им вице-губернатора, умер «от огорчений», причиненных ему Жолобовым. Сыну Сытина было пять лет; в этом возрасте даже в роли правителя нельзя еще творить беззакония, хотя невозможно с ними и бороться, но для города и то казалось великим благом. Дело, однако, сорвалось, и оставшийся до поры до времени на своем месте Жолобов с новой силой принялся за расправу, ежедневно ставя «на правеж» (кнуты, палки, пытки) тех, кто замышлял его замену.

«Все, что о здешних делах говорили в Петербурге, не только есть истина, но — и это бывает редко — истина неувеличенная», — доносил позднее в столицу приехавший в Иркутск с огромными полномочиями граф М. М. Сперанский.

Иркутская история знает и трагические, и смешные, забавные случаи, которые заманчиво и полезно листать как в летописях, так и в памяти, бродя по старым деревянным улицам, легко воскрешающим пытливому взору былую суровую жизнь.

Выправлением вольной городской планировки, кстати вспомнить, ретиво занялся в начале XIX века при генерал-губернаторе Пестеле, который умудрялся править нашим обширным краем из Петербурга, его наместник вице-губернатор Трескин. Этот прославился отчаянной борьбой с богатым иркутским купечеством. Трескин, не боясь жалоб, которые перехватывал в столице Пестель, мало в чем ведал сомнения, а в деле выпрямления улиц в особенности. По его указанию набрана была из арестантов местной тюрьмы бригада во главе с Гушей, оставшаяся в летописях нашего города под названием «гушинской команды». Вот как свидетельствует об этом в «Записках иркутского жителя» писатель И. Т. Калашников: «Спору нет, что благоприличие — вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоящими не по плану. Согласие домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гушинская команда — и дом поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемонии отпилят от него сколько нужно по линии улицы. А там и поправляй его как умеешь».

Поднаторев на уличном переустройстве и войдя во вкус, Трескин взялся затем выправлять и устье Иркуты, заявив, что река имеет «неправильное течение», но Иркут, в отличие от Иркутска, не поддался Трескину и, несмотря на все усилия губернатора, остался при собственном течении.

Что и говорить, правители случались разные; как никакому другому городу в Сибири и закрепленному за ним краю пришлось настрадаться

Иркутску от власти всевозможных временщиков, от их лихоимства и самоуправства.

А наше время! Давно ли, в девяностых годах не XVIII, а XX столетия, при губернаторе Ножикове «братская команда» (из города Братска) довела край до полной нищеты и разора, и ни один волосок не упал ни с одной из лихих головушек. Не было уже на них ни Петра, ни Сталина.

* * *

Первое городское каменное строение, к сожалению, не дожило до наших дней. Это была поставленная в 1704 году на территории острога по берегу Ангары воеводская канцелярия, или приказная изба, где творилась власть. В XIX веке, когда стали укреплять берег, чтобы сохранить место колыбели Иркутска, канцелярию пришлось снести. Зато на диво и на счастье, самым загадочным и чудесным образом выстояв жестокие времена ломки и сносов, сохранились Спасская церковь и Богоявленский собор — самые древние и наиболее интересные по архитектуре храмы во всей Восточной Сибири.

Потому, впрочем, и интересные, что древние. Потому и дороги они так сердцу иркутян, что вещей и нетленной, доступной каждому памятью доносят до нас время, дух и искусство наших предков, которые имеют в этих стенах живое выражение и которые вернее всяких философий говорят об устремленности и вере человека в свою вечность. До тех пор жив человек, покуда держится дело рук и духа его. Нелишне бы это помнить тем, кто, собираясь накоротке отбыть свою земную долю, неразумно оставляет после себя тем не менее из весьма прочного материала, из камня и слова, памятники своей скудости, неразборчивости и общинной суетности — время, как известно, из неумения лжесвидетельствовать может быть не только благодарной, но мстительной памятью.

Спасская церковь дорога нам изначально прежде всего тем, что это единственное оставшееся от Иркутского острога строение, поставленное всего пятьдесят лет спустя после рождения Иркутска. По ней мы определяем теперь границы острога (она была встроена в крепостную стену, обращенную к Тихвинской площади), можем представить себе соборную площадь (на месте Вечного огня), где оглашались царские и воеводские указы, творились расправы, собирались горожане как на праздники, так и во дни великих и трагических российских событий. Церковь была заложена в 1706 году и через четыре года закончена. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть в ней допетровскую еще, древнерусскую архитектуру. В новом, во многом заемном архитектурном стиле возводится в это время Петербург; сменила свой градостроительный почерк Москва, но Иркутск далеко, Иркутск свои первые каменные творения ставит еще по старинке, в родном, так чудно воспарившем после татар национальном духе. Однако

в заложенном всего через восемь лет после Спасской церкви Богоявленском соборе есть уже изменения в пользу новых веяний и хорошо заметны черты раннего барокко в декоре фасадов, которые, в отличие от Спасской церкви, расписаны пышно и полностью. Изменения видны, но весь храм как ансамбль, как единое целое представляет собою причудливое сочетание старого и нового стилей, когда мастер-уставщик, можно предположить, и зная прекрасно, как принято строить, с удовольствием сбивался на то, как любо было ему строить и что больше отвечало его вкусу. Богоявленский собор, опять-таки в отличие от Спасской церкви, ставился сразу с колокольной и приделом, и шатровое навершие над колокольной — элемент, конечно, древнерусского, деревянного еще зодчества, который в каменных постройках, особенно за Уралом, встречается очень редко. И уж совсем в дальние дали уходят своими корнями и фантазией фигурки на неожиданных, счастливо обнаруженных при реставрации собора керамических вставках, «изразцах», которыми был украшен храм, — все эти круги, лепестки, ведомые и неведомые нам звери и птицы, застывшие на стенах, из старинных легенд и сказок.

Вообще же, говоря о смене архитектурных стилей, нужно иметь в виду, что в наших краях из-за отдаленности своей и влияния местных мотивов это в особенности не имело определенных границ и твердых законов, и взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимосогласие разных направлений будут наблюдаться еще долго и в деревянном, и в каменном зодчестве. Возведенная значительно позднее Богоявленского собора Знаменская церковь (1762) также совмещает в себе элементы барокко и древнерусского декора. Крестовоздвиженскую церковь по дивному своему, совершенно исключительному «узорочью» и причудливому использованию экзотики восточного орнамента, взятого, очевидно, от буддийских храмов, можно отнести к сибирскому барокко. Законы принятого в центрах градостроительства, добравшись за тысячи верст до Иркутска и подышав местным воздухом, сплошь и рядом соскальзывали со своих уставных колодок на грешную сибирскую землю — поэтому зданий, построенных в чистом том или ином стиле, здесь очень немного.

«Древность Иркутска достопочтенна, — писал побывавший в нашем городе в 1824 году Алексей Мартос, один из образованнейших людей своего времени, сын скульптора, поставившего на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому. — Ее можно уподобить той эпохе человеческой жизни, которая, упрочив счастье потомков, может требовать уважение и внимание чад своих».

Удивительно верно и надолго умели высказываться люди прошлого, даже и путешествующие, но смотревшие на лик преображаемой земли и на дела рук человеческих не с точки зрения утилитарной и сиюминутной, а с позиций думающей о своем благоденствии нации.

И, перечисляя поразившие его в Иркутске памятники старины, Мартос в первую очередь называет Богоявленский собор и Спасскую церковь.

Со времени постройки эти первые наши храмы претерпели немалые изменения, вполне естественные в их долгой и трудной судьбе, но не всегда, однако, удачные. Во второй половине XVIII века к Спасской церкви пристраивают колокольню (1762) и придел (1778) и расписывают фасады, но если собственно церковь как должное и необходимое и лишь запоздавшее приняла в свой ансамбль колокольню, то двухэтажный каменный придел с северной стороны утяжелил ее и присадил на один край, нарушив тем самым симметрию и исказив легкий, как бы висящий, парящий над Ангарой вид благословляющего и взыскующего храма.

Особенно не повезло Богоявленскому собору. Знаменитое шатровое навершие над колокольной продержалось лишь до 1742 года, когда в Иркутске случилось землетрясение, после которого упавший шатер уже не подняли. В 1862 году новое землетрясение, и снова вместо того чтобы восстановить здание в его первоначальном виде, пострадавшую трапезную разобрали до основания, возведя примитивные, не имеющие ничего общего с архитектурой здания стены, а заодно, не посчитавшись с их древностью, замуровали и изразцы. Наступили другие времена, предвестники еще более смутных, другое восходило и отношение к старине, оставившее за спиной чуткость и благоговейное внимание к ней, до того всегда присутствовавшие в русском народе.

Вставши первыми на берегу Ангары, первыми они были и восстановлены после десятилетий долгого запустения и революционного погрома религии. Странно, до чего же быстро существовавшее и принятое как альфа и омега превращается во что-то фантастическое и необъяснимое! Вот эти красавцы, эти главные святыни Иркутска, и чуть ли не на свалку?! Этого быть не может! Как же мы с этим мирились?! Да, но в отличие от большинства живущих одним днем, обративших свою память только в себя, в записную книжку для личного и суетного пользования, все-таки не мирились. Повторюсь, что схватки во все семидесятые и восьмидесятые годы за каждый приговоренный к сносу дом, против каждого чуждого и уродливого нововедения, которыми все же «запятнан» Иркутск, бывали жестокими. Боевая тревога с обеих сторон — ревнителей и рушителей старины — объявлялась чуть ли не ежемесячно. И когда сквозь историческую часть города пытались проломить транспортную магистраль, и когда Троицкую церковь приговорили быть посаженной на дно колодца из высотных зданий, и в бесчисленных случаях, когда приступом шли на деревянные памятники. Рецидив пренебрежительного отношения к прошлому держался долго и вызывался практикой варяжества. Действовал неписанный закон: секретарь обкома из чужаков, председатель облисполкома оттуда же, главный архитектор города — трижды из чужаков. Чтобы не стеснять себя в действиях воспоминаниями

и родством, чтобы, не дай Бог, не выпятилась в преобразовательских трудах жалость. Как память о вице-губернаторе Трескине прошла через века, так не забудут иркутяне невесту откуда явившегося на должность главного архитектора города В. Павлова, столь же ретивого перестройщика, для которого Иркутск тоже «стоял не по плану», и он «без церемонии отпиливал от него сколько нужно» и «поправлял как умел».

Но и добрая память не стирается долго. Стоишь сегодня на берегу Ангары, там, откуда есть-пошел Иркутск, озаряешься золотым сиянием куполов Спасской церкви и Богоявленского собора, слышишь звон соборных колоколов, сзывающих к молитве, и невольно вспоминается Галина Геннадьевна Оранская, главный автор проекта реставрации этих святынь (а затем и дома Трубечкого, а затем и проекта музея деревянного зодчества), маленькая, живая, решительная старушка, умевшая брать любые чиновничьи крепости. Впервые приехала она в Иркутск по командировке Министерства культуры в 1959 году — требовалось осмотреть и подготовить иркутские памятники к тому самому визиту Эйзенхауэра, о котором упоминалось. Но что же тут за считанные месяцы можно было подготовить, если печать разрушения от времени и небрежения видна была всюду?! Только через десять лет, незадолго до смерти, попрощалась Галина Геннадьевна с Иркутском, для которого во все эти годы она оставалась неутомимым вестником: время собирать камни. Ни на одном из камней не осталось ее имени, уйдем скоро и мы, помнящие ее, унесем с собой свою благодарность к ней — и что же, разве чувство конечной справедливости всего сущего вместе с чувством долгими скитаниями добытой усыновленности будет полным, если оно останется безымянным?!

...На строительство первые каменных зданий, особенно церковных, тогда, в XVIII веке, поначалу приглашались артели со стороны — с Урала и даже из России (Россией, «Расеей» до самого последнего времени сибиряки называли зауральскую к западу сторону). Но это продолжалось недолго. Уже к середине века Иркутск на добрую треть стал городом ремесленников, работающих по дереву, по камню и драгоценным металлам. Слава о его мастерах к концу века разошлась по всей Сибири, теперь уже другие города шли на поклон к иркутским каменщикам, живописцам при оформлении храмов и литейщикам, которые выплавляли высокого звучания и высоких художественных качеств колокола. Летопись сохранила имя Алексея Унжанова, отлившего 24 сентября 1797 года знаменитый в памяти старых иркутян «Большой колокол в 761 пуд», который на специально сделанных из толстых брусьев санях при колокольном звоне всех церквей тянул на веревках к собору едва не весь город.

Менее чем через сто лет на центральной Тихвинской площади поднялся новый кафедральный собор, построенный по типу храма Христа Спасителя в Москве. Теперь им можно любоваться только на старых открытках:

собор постигла та же участь и в то же время, что и храм Христа Спасителя. Может быть, если уж повторять «тип» облика и судьбы окончательно, встанет когда-нибудь из небытия и иркутский собор, заставив еще раз поверить нас в истину, что как рукописи не горят, так и храмы не рассыпаются по злой воле, и что высшая справедливость неотменима.

Но сейчас воспоминание о соборе понадобилось вот зачем: когда по завершении строительства дошла очередь до его росписи, перед преосвященным явилась немалая трудность: кого из талантливых мастеров выбрать, чтобы не обидеть других, не менее достойных. Прошло еще сто лет, нового собора не стало, в Богоявленском после долгого перерыва зазвучало слово Божье — и опять в торжестве второй его жизни дошло дело до росписи, и опять не без труда из лучших пришлось выбирать наилучших. Будто и не было века безбожия, когда кисти не прикасались к священным образам. Будто только и ждали эти молодые и талантливые иконописцы, чтобы в назначенный срок явиться молодыми и талантливыми, какими и должно быть при исполнении художественного подвига, и срастить ткань своего письма с оборванным творением прежних мастеров.

Кстати, и в самые богоотказные времена в Иркутске продолжали службу три храма. Обычно в губернских городах подобного масштаба позволялось обходиться одним. Иркутск по духовному своему «масштабу» требовал большего, и с этим приходилось соглашаться.

Иркутск издавна сложился купеческим городом, через него шла оживленная торговля с Китаем, с Севера поступали потоки пушнины, золота и мамонтовой кости. Иркутский купец и промышленник, как правило, был деятелем широкого масштаба, его интересы простирались и в Кяхту, и в Томск, и в Петербург. Но выгодное положение Иркутска на пересечении торговых и транспортных путей, близость его к местам добычи и отправки товара заставляли купца быть в сердце «дела» и оставаться иркутянином. В последнее время отношение к купечеству сделалось справедливей, на него не смотрят больше как на закосневшее в одной пагубной страсти сословие, но и осведомленность наша о его роли в культурном строительстве родного края и в благотворительности оставляет желать лучшего. Мы по-прежнему, как при Пушкине, «ленивы и нелюбопытны». Вслед за старшими поколениями иркутян мы повторяем: «Кузнецовская больница», «Медведниковский приют», «дом Сибирякова» — и не слышим, не осознаем, что лечебница, построенная на средства Кузнецова, верой и правдой служит нам до сих пор, оставаясь до последнего времени областной больницей; что Медведниковский приют многие десятки лет занимает сельхозинститут, а Сибиряковский дом — это Белый дом, одно из самых виднейших и знатнейших зданий в городе, бывшая резиденция генерал-губернатора,

теперь университетская библиотека. Повезло только Сукачеву: художественный музей, которому он положил начало, наконец-то принял его имя в свое название. Как человеку негоже забывать свою родословную, так и городу не к лицу терять благодарность к своим знаменитым гражданам.

Нельзя требовать от господ Второвых и Басниных, чтобы они были Потаниными и Ядринцевыми (А. М. Сибиряков был, кстати, и писателем, и знаменитым ученым, исследователем Арктики; теплоход «Александр Сибиряков», носивший его имя, прокладывал Северный морской путь и служил до 1942 года, пока не погиб в неравном бою с немецким тяжелым крейсером), а то, что они помогали Потаниным и Ядринцевым в литературных и научных трудах, заслуживает и от нас непредвзятой памяти. Сибирское купечество вообще достойно серьезного исследования, в котором должно бы отдать ему справедливость как в делах собственного обогащения, так и в делах, служивших пользе своей далекой и огромной, забытой Богом окраины. И в Сибири сплошь и рядом встречались персонажи из пьес Островского; и здесь сказочные богатства невозможны были без грубой и нечистой практики своего ремесла — идеализировать и выделять, подыскивать для сибирского купца особый пьедестал никто не собирается. «Господствуя и в думе, и в магистрате, богатое и сильное иркутское купечество в конце XVIII и в начале XIX столетия заправляло всеми общественными и городскими делами, и заправляло исключительно в своих интересах, — пишет в очерке «Иркутск» долголетний его голова В. П. Сукачев, который и сам принадлежал к этому сословию. — Дело дошло до того, — возмущается он, — что право торговать мясом в Иркутске в 1810 году предоставлено было только трем купцам: Ланину, Попову и Кузнецову».

Но как сибиряк по психологии своей отличался от жителя коренной России, так и сибирский купец разнился от тамошнего — в силу хотя бы местных условий. Иркутские купцы Шелихов, которого Державин назвал «Колумбом русским», и Баранов были в конце XVIII века основателями Русской Америки, осуществлявшей над Аляской и Алеутскими островами не только торговое, но и административное господство. Управление Российско-Американской компании от начала и до конца находилось в Иркутске. Экспедиции иркутского генерал-губернатора графа Муравьева в пятидесятых годах XIX века, результатом которых стало присоединение к России Амура, финансировались в основном местными золотопромышленниками. Многочисленные в прошлом научные экспедиции на Крайний Север и Восток, в Монголию, Китай и Японию также не обходились без помощи иркутских богачей — отсюда, из Иркутска, где с 1851 года деятельно работал Сибирский (затем Восточно-Сибирский) отдел Географического общества, в сущности, направлялось все исследование обширных и малоизученных восточных областей.

Большинство — и это не преувеличение, именно большинство — существовавших в прежнее время в Иркутске церквей, больниц, приютов,

ремесленных и общеобразовательных училищ, в том числе для сирот-ино-родцев, арестантских детей и переселенцев, гимназий и библиотек постро-ено было и содержалось на частные пожертвования. «Если все эти учреж-дения и капиталы сопоставить с числом жителей в Иркутске, придется признать, что в отношении благотворительных средств Иркутск стоит сре-ди русских городов чуть ли не на первом месте», — писал Сукачев, имея в виду восьмидесятые-девяностые годы XIX века. Если в Петербурге в то время один учащийся в начальных классах приходился на 80 жителей, в Москве — на 75, то в Иркутске — только на 29 жителей. Разница большая.

Можно припомнить еще, что иркутские купцы, находясь в постоянной вражде к чиновному аппарату, знали и с декабристами, и со ссыльными поляками, открыто водили с ними дружбу и отдавали им своих детей в обучение, почитая это честью не для опальных, а для себя. Многие из тех, кого мы называем толстосумами, были людьми широко и разносторонне образованными, они выписывали из Москвы и Петербурга лучшие журна-лы и книги не только для себя, но и для устройства публичных библиотек. Сибиряковы из поколения в поколение вели летопись Иркутска; В. Н. Баснин знаменит был в городе, кроме богатства своего, собраниями книг, гравюр, музыкальными вечерами, на которые приглашались столичные ар-тисты, и оранжереей диковинных цветов и плодов; в картинную галерею В. П. Сукачева, ставшую позднее основанием художественного музея, вход для школьников был бесплатным, а сборы со взрослых шли в пользу го-родских общедоступных курсов. Можно бы назвать все это блажью с жи-ру бесящихся и выставляющихся друг перед другом богачей, когда бы не было от нее столько пользы и когда бы не создавала она той особой и не-заштатной обстановки, которая и выделяла Иркутск из всех сибирских го-родов. По культурности своей Иркутск мог соперничать только с Томском, в Томске на тридцать лет раньше открыт был университет, и из ученых, а не из политссыльных, образовалось местное патриотическое общество. Од-нако А. П. Чехов отзывался о Томске как о «скучнейшем городе», а об Ир-кутске: «Иркутск — превосходный город. Совсем интеллигентный». Делая поправку на то, что нелестные слова Чехова о Томске могли быть следст-вием погоды или усталости, мы склонны считать, что в словах об Иркут-ске они, погода и настроение, конечно, не участвовали. А если б даже и участвовали — навеяны были, значит, опять-таки иркутской обстановкой.

Средние и слабые театральные труппы не решались ехать на гастроли в Иркутск, боясь местного зрителя; вольнодумность горожан поражала и пу-гала высоких инспектирующих чиновников и удивляла проезжих знамени-тостей, оставивших об этом многочисленные свидетельства. Подобная сме-лость в немалой степени возбуждалась политической ссылкой, для которой наш край был почему-то предпочтен более других сибирских окраин. Воз-можно, по отдаленности нашей, возможно потому, что, переусердствовав

раз, в дальнейшем, махнув рукой, туда же и продолжали направлять свое усердие. Ссылные работали в училищах, школах, научных и технических обществах, в канцелярии генерал-губернатора и в газетах, имея тем самым возможность влиять на общественные вкусы и общественное мнение. В свое время декабрист Завалишин объявил настоящую войну Муравьеву-Амурскому, обличая того в творимых на Амуре и в Забайкалье несправедливостях, так что прославленному генерал-губернатору пришлось переправлять декабриста из одной ссылки в другую, из Забайкалья в Казань. В первых печатных изданиях — в газетах «Иркутские ведомости» и «Амур» заправляли знаменитый Петрашевский и его единомышленники Львов, Загоскин и Шашков. Политический ссылный И. И. Попов долгие годы редактировал выходившие в Иркутске газету «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник», которые основал и до того выпускал в Петербурге Н. М. Ядринцев. В своей книге «Минувшее и пережитое» Попов вспоминает: «Я уже говорил, что генерал-губернатор А. Д. Горемыкин пенял Грому, что у него работают только государственные преступники, а Громов (из известных сибирских купцов. — В. Р.) ответил, что ему нет дела до убеждений «политиков»: ссылные великолепные работники и честные люди, с которыми он не может расстаться, потому что пострадает дело. А дело было огромное: на всю Россию и за границу поставка мехов и торговля в Якутской области. Контора Громовых, как и редакция «Восточного обозрения» или Иркутский музей Географического общества, были своего рода явочной квартирой, где можно было навести всевозможные справки о «политиках».

Где бы что ни происходило — дворцовые перевороты или подлетронные подсиживания, реформаторские перетряски, студенческие волнения или революционные бури, — аукалось в Иркутске, в который или через который гнали потерпевших. Воистину это была подневольная Мекка. Кого только не видывал на своем веку Иркутск — и несчастных стрельцов в начале царствования Петра, и его любимца Ганнибала, гонимого другим любимцем — Меншиковым, который вскоре и сам последовал в Сибирь, и малолетнюю дочь казненного при Анне Иоанновне Волюнского, по имени тоже Анна, втайне содержавшуюся в Знаменском монастыре, и многочисленных авантюристов разного толка, испытывавших прочность власти и казны. Иркутск не миновали в своей громкой судьбе ни знаменитый Бакунин, пришедшийся, кстати, родственником Муравьеву-Амурскому, ни Радищев, ни Чернышевский, освобождать которого из вилюйской ссылки в Иркутск наведывались Герман Лопатин, один из переводчиков на русский язык «Капитала», и народник И. Н. Мышкин, ни петрашевцы во главе с самим руководителем этого тайного общества, ни революционные демократы. Влияние декабристов и ссылных поляков было столь сильным, что казалось, будто не они, считавшиеся преступниками, а местное общество отдано было им на исправление и воспитание, вплоть до того, что

декабристы преподавали в доме самого генерал-губернатора. Черский, Чекановский и Дыбовский из ссыльных поляков придали, как прежде выражались, блеск научной деятельности Географического общества, их имена навсегда остались на карте Байкала и Присаянья, изучению которых они отдали немало лет.

С. В. Максимов, автор знаменитого исследования «Сибирь и каторга», отмечал по этому поводу: «При помощи и участии чужих людей среди сибиряков, именно прежде всего здесь, в Иркутске, народилась, стала возрастать и крепнуть та могущественная сила, которая называется общественным мнением, до той поры не существовавшим и не имевшим места в Сибири, как в стране изумительного произвола ее начальников».

Что было в близком кругу и среди родных бунтарских душ, в приятном городе, уже и перевоспитанном на свой лад, не «тянуть срок» — когда украинского поэта-революционера П. Грабовского по какой-то причине переправили из иркутского заточения в Тобольск, он вздыхал по Иркутску в 1899 году: «Прожил лето, как в раю, среди интеллигентных интересов и благосклонных людей. Ах, как хотелось бы мне еще раз побывать в Иркутске, там я совершенно ожил душой... да вот беда — не пускают туда». Советская ссылка, в отличие от царской, подобных условий для «государственных преступников» не устраивала. Бывали-живали у нас по старым приговорам и Фрунзе, и Свердлов, и Киров, и Троцкий, и Сталин, и не могли не наблюдать они, будучи и сами в ней, «среду интеллигентных интересов», которая постоянно и далеко выплескивалась за свои края. И сделали, надо полагать, определенные выводы.

Как связь, как вытекающее одно из другого — 7 февраля 1920 года в Иркутске был расстрелян адмирал Колчак, сданный «союзниками»-белочехами революционному политцентру.

На перевалах истории жизнь играет крутой волной, все необычное, из ряда вон выходящее превращается в обычное, по продолжительности своей даже и косное, а уж для новой высоты, способной прогреметь громом ужаса, требуется и вовсе что-нибудь немислимое.

И оно находится.

В январе 1921 года в Вознесенском монастыре на западной окраине Иркутска была вскрыта рака с мощами святителя Иннокентия, нетленное тело вынута из кипарисового гроба, освидетельствовано комиссией губревкома как «мумия» и вскоре выслано в неизвестном направлении. Огромные художественные и исторические ценности, окружавшие посмертное пребывание святителя в монастыре, были «реквизированы» для «революционных нужд». Опись «реквизированного» заняла несколько листов: серебряная рака весом в пять пудов, серебряный подсвечник весом в восемь

пудов (дар купца К. Ф. Трапезникова), покрывало из золотой парчи (дар императора Александра I), древние иконы, украшенные драгоценными камнями, старинное Евангелие, также украшенное драгоценностями, весом около двух пудов и многое-многое другое, канувшее бесследно.

Ровно за двести лет до этого события епископ Иннокентий Кульчицкий, будущий святитель, возглавил направленную Петром в далекий Китай посольскую миссию. Но китайские власти, заставив посольство томиться неподалеку от своих границ в Селенгинском монастыре, так и не дали ему разрешение на въезд. Образованнейший по тому времени человек, неутомимый наставник душ, епископ Иннокентий принял созданную в 1727 году Иркутскую епархию. Служение его на этой кафедре продолжалось недолго, всего около пяти лет, в 1731-м владыка скончался, успев благодатными своими делами оставить по себе прочную память. Похоронен был там же, где и трудствовал, — в Вознесенском монастыре. Но спустя и двадцать, и тридцать, и сорок лет тело его в подземелье оставалось нетленным и вызвало паломничество, сначала из близкого монастырю народа, затем все люднее и люднее. Появились чудеса исцеления. В 1804 году первый иркутский епископ был канонизирован, тело его подняли из пещеры, облекли в святительские торжественные одежды. И — потекли к нему верующие со всего восточного края, имя его сделалось самым любимым и распространенным как среди русских, так и среди крещеных инородцев. Иркутск обрел своего небесного заступника.

Пять лет ожидал епископ Иннокентий в земной своей жизни решения китайских властей, будет или не будет принято его посольство в Восточной империи, пока не вернулся в Иркутск и обрел здесь в высокопастырском служении родину. И семьдесят лет заточения и надругательства претерпел святой, чтобы вновь воротиться в Иркутск в вечной своей жизни. Мощи его отыскиались в Ярославле и в 1990 году были доставлены домой, найдя в этот раз обитель в Знаменском монастыре.

Не чудо ли?

И чудо, промыслительно поспевшее к новому перевалу истории, с которого в изобилии посыпались невзгоды и испытания, но и с которого одновременно открылись святыни, чтобы мог припадать к ним народ, не истощаясь в надежде.

В последнее десятилетие Иркутск совсем не прирастал жилыми кварталами, зато оброс, как и всюду, торговыми рядами, захватившими заводские цеха и детские площадки. Машинная толчея на тесных улицах старого города достигла предела, мостовые зазияли дырами — богатство и бедность, тоже как и всюду в России, грубо разойдясь на попирающее и попираемое, явили свои откровенные черты. По зимам снег стал белей — заводские трубы дымили редко, по красным летам улицы заполнялись живописным шествием иркутян, следующих к грядкам и от грядок за городом.

Двери и окна укрывались в железо, похоронные катафалки сделались неотличимы от маршрутных такси. Падали самолеты, гремели выстрелы, горела деревянная старина, которую под общий беспорядок торопились спалить, чтобы освободить место для офисных и частных построек совсем другого типа. Бедные домишки ушли в землю еще глубже, а на окраинах, бросая вызов именитому стариной Иркутску, появились улицы и поселки новых купцов-коммерсантов из каменных особняков какой-то одинаково тяжелой и пузатой обезличенной архитектуры. Но вызов этот двинулся и в центр в виде стилизованных под европейское средневековье, с башенками, ярусами и шпилями, частных построек, которые, возможно, и смотрелись бы где-то в ином месте, но в Иркутске кажутся нелепыми, портящими общую картину, как острая соринка в глазу. Тридцать лет назад не считались с историческим городом, не считаются и теперь — никак, кроме редких и малозначащих случаев, не вернутся сыны Отечества в иркутскую архитектуру, и продолжает она плутать по чужим законам. Перестроечным штормом набросало к нам много чего ненужного и даже вредного с дальних берегов, оно упало на почву, подготовленную еще политическими ссыльными и торговыми приказчиками, и принялось заявлять о себе общественным мнением, двинувшимся в поход против традиций и нравственности, точно его, этот воинственный дух безродного космополитизма, и добывали «во глубине сибирских руд» и сибирских народов.

И тем не менее Иркутск выстоял в эту непогоду; казалось, из последних сил удержал он достоинство и стать нерядового по облику и званию города. Здесь не прерывалась, как во многих других городах его масштаба, подача электричества и тепла, не останавливался общественный транспорт. И внешнее уныние, которое видимым серым пологом вздымается над человеческим поселением при затяжном ненастье, не сгустилось в мрачную давящую тучу.

Не допустить упадка — значит подпереть старое новым, во всякое время в укреплении жизни ступить вперед. Немало иркутян, должно быть, не побывает никогда в обновленном здании драмтеатра, насчитывающего более ста лет, ибо не все ходят в театр, и станут любоваться им лишь с улицы. Но сам факт чудесного преображения театра, сама картина его величавого, «боярского» вида в окружении не менее достойной иркутской старины поможет не померкнуть и общей надежде. И многие из иркутян, должно быть, не доберутся никогда до мемориальной церкви Рождества Христова, за год волшебной вознесенной на месте падения тяжелого транспортного самолета, врезавшегося в жилой дом... Не доберутся — потому что случилось это в дальнем районе города, который так и называется — второй Иркутск. Но Иркутск без этой печальной красавицы церкви, вырисованной по типу древнейшего храма на Нерли, теперь и представить нельзя. И поминальный звон ее колоколов, под который читаются имена более чем

семидесяти погибших, слышен далеко и всюду. Город, оплакивающий ушедших и страждущий о несчастных, — вот что такое город живых.

За последнее десятилетие XX века, за десятилетие, которое в России слишком далеко было от мира и благополучия, Иркутск добавил в себя и врастил в свой организм как совершенно необходимую часть и Музей истории города, и филиал его, и библиотеку имени семьи Полевых, уроженцев Иркутска, и Театр народной драмы, и шатровое, легкое, небесной голубизны здание медицинского диагностического центра со сверхсовременным оборудованием, и торговый рынок — все новое, удобное и долговременное, нисколько не перечашее сложившемуся облику исторического города. Это как бы со стороны административной власти. Тщанием власти духовной после долгого перерыва возрожден Знаменский женский монастырь, из небытия поднята Казанская церковь, одна из самых «картинных» — будто сложенная из самоцветов, восстановлена Троицкая церковь, на очереди следующие, пока еще молчаливые, — когда-то Иркутск удивительно красив был своими многими храмами, составлявшими вместе законченный смысл его бытия. И общим радательством открыта женская православная гимназия, о чем долго и мечтать не приходилось. Девочки в форменных платьях и с косичками, как бы явившиеся из далекого прошлого, спорящего с настоящим, теперь не в диковинку на улицах, вызывая теплые вздохи и взгляды старых иркутян: и до этого дожили, не все плохо.

Не все плохо. Осталось дожидаться, когда в соответствии с уставом исторического города вернут его старым улицам исконные названия: негоже Иркутску, пришедшему издалека, увековечивать имена людей, не имевших к нему благодетельного отношения.

За свои неполные три с половиной века Иркутск не однажды проходил сквозь гибельные времена. В одних случаях они бывали общими для всей России, в других — его личными, как, к примеру, при опустошительном огне. В него никогда не входил чужеземец, но в терниях избыточной власти и свой брат горазд был похозяйничать по заемным и яремным уставам. Всякое видывал Иркутск и набрался терпения и воли как для коротких, так и для долгих перемог, сквозь тяжелое дыхание нашептывая слова утешения и поддержки для тысяч и тысяч поклонников, для кого он и крыша, и хлеб, и работа, и праздник. Однако история не может долго влачиться только бедами: потрясет-потрясет на плохих дорогах и успокоится, даст отдохнуть... Наступят лучшие времена. Но и в худшие, и в лучшие каким-то вседержительным оком, тревожным и внимательным, всматривается Иркутск в нас: какие бы вы ни были, все вы мои...

Этим берегом и вздохнем утешенно: Иркутск с нами.

1979, 1999

Иркутск

Иркутск — город исторический. Он играет приметную роль в истории России и в сегодняшнем дне страны, он не случайно отнесен к городам-музеям, ибо сохранил много старины, романтический облик несуетной, степенной застройки, сияние церковных куполов над синим кипением Ангары. Улицы его — как срез времени, где наслоились века, сменяя друг друга. И, переходя из квартала в квартал, ты словно окунаешься в давно отшумевшее прошлое и вдруг выныриваешь из потока времен в день настоящий, наполненный неустанным гомоном машин, которым тесно в нешироких магистралях, в некоторую суетность и расхристанность, и нагромождение новых, с болью приживающихся архитектурных форм, от которых никуда не уйти, ибо нельзя остановить жизнь. Здесь соседствуют нарядное, торжественное сибирское барокко со строгим русским ампиром, с вызывающей нарядностью купеческих дворцов, соединивших, кажется, все стили — от мавританского до готики, плюс азиатские мотивы, а далее — изысканный неоклассицизм и лаконичная выразительность конструктивизма — эклектика конца XIX — начала XX веков, к которой, наконец, в наши дни стали относиться с уважением, меньше внимания обращая на чистоту архитектурного стиля, больше — на неповторимость, особенность каждого здания. А между всем этим разнообразием — резные деревянные дома, главный предмет спора между старожилами города, которые мечтают сбереечь в быстротекущем, все решающем и все меняющем времени целые улицы древних изб, заборов, надворных построек, и архитекторами, которым нужен центр для самоутверждения, для вынесения сюда жгучей современности. Впрочем, все здесь неоднозначно, потому что условия проживания в старинном неблагоустроенном доме куда как менее уютны, чем в нынешнем спальном районе, уставленном похожими друг на друга многоэтажками.

Сергеев (Гантваргер) Марк Давидович (11 мая 1926, Енакиеве Донецкой области, Украина — 11 июня 1999, Иркутск), поэт, прозаик, драматург. Член Союза российских писателей. Участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин г. Иркутска. Автор многих книг, в том числе: «Шпалы», «Вступление в осень», «Резьба», «Баллада о тополях», «Связь времен» (1980) и др.

Как и все старинные города, Иркутск за историю свою не избежал многочисленных опустошительных пожаров, поэтому мало сохранилось в нем домов, стоявших в истоке его истории, когда не был он еще городом, а одним из сибирских острогов — деревянной крепостью, стоящей в соединении стремительной Ангары и степенного Иркута. От этой реки и название города — Иркутск.

В XIX веке известный русский публицист Николай Шелгунов так сказал об этом своеобразном и самобытном сибирском городе: «Иркутск... единственный город Сибири, имеющий городской характер... Как Англия создала Лондон и Франция Париж, так Сибирь создавала Иркутск. Она гордится им, и не видеть Иркутска — значит не видеть Сибири...»

Большая часть сибирских городов начиналась на берегах рек — единственных дорог древности. На вместительных кочах — огромных лодках, вмещавших две дюжины человек, да еще имущество, пищу и боеприпас, против течения на веслах и на шестах, а по течению движимых самой рекой, начинал казачий отряд путь свой сквозь неизведанные беспредельные просторы. Отправлялись едва сойдет лед, очистятся воды, двигались, ночуя на берегах, выставляя караулы, дабы уберечься от зверя, от набега неожиданного — остерегались. Поближе к листопаду, когда реки синели и тяжелели в предвестии стужи, находили место покрасивее да побогаче, чтобы и охота рядом была, и лес строевой, и для пашни первый простор, высаживались и перво-наперво ставили зимовье — дом, чтобы перезимовать, укрепиться. Иногда по новой весне сызнова пускались в путь, все далее на восток. Потомки диву даются, как это русский казак без тракторов-вездеходов и дорог за срок, укладывающийся в десятилетия, одолел и, в какой-то степени, первоначально обжил пространство от Урала до Тихого и Ледовитого океанов, а уж если место оказывалось и впрямь «угожим» — вокруг зимовья возникала крепость со всем, чему в ней надлежало быть: оборонным тыном, угловыми да проезжими башнями, с казенной избой, где писали свои «скаска», то есть доношения, дьяки-писари и правил воевода, с «царевым амбаром», куда складывали добытые охотой и полученные в качестве ясака меха — мягкую рухлядь, как говорили в те поры.

Между учеными нет согласия по поводу времени основания Иркутска, между летописцами — тоже. Одни относят это событие к началу XVII века, другие — к середине. Но издавна в «метриках» Иркутска обозначена дата — 1652 год.

В том году, на излете лета, поднявшись вверх по Ангаре — стремительной, дикой, своенравной реке с хрустально-прозрачной водой, холодной до ломоты в зубах, — казацкий отряд, руководимый боярским сыном (был такой чин в казачьей субординации) Иваном Похабовым, облюбовал место

для зимовья: остров в слиянии рек Иркут и Ангары. С одной стороны — дикий, стремительный стрежневой ход, с другой — глубокая протока заменяли на первых порах тын, стали натуральными крепостными стенами. Из бревен, срубленных тут же, сложили казарму-зимовье, а задерживаться здесь не стали: Иван Похабов и его отряд двинулись за Байкал облагать ясаком тех, кто еще не платил дань «Белому Царю».

А через девять лет, в 1661 году, другой Похабов — Яков, или, как тогда называли его, Якунька, углядел, что «место здесь угоднее» — и «пашня есть и скотинной выпуск», и леса вокруг полны дичью, а вода рыбой, решил основать на правом берегу Ангары острог, назвав его Иркутским.

Приречная долина упиралась в невысокие горы — семь холмов, как в Риме и в Москве, — поросшие лесом. В пойменной низменности земля была плодородна, река, плавным полукольцом обнимавшая местность, была величественной, а вода ее, тысячелетиями отстоянная в Байкале, вкусна, как родниковая.

Иркутскому острогу повезло: возникший в долинах рек, служивших в давние времена главными транспортными артериями, на перекрестках возникающих и крепнувших торговых связей Запада и Востока, вблизи мест обитания сибирских народов — бурят, эвенков, якутов, — он начинает играть все более и более важную роль в Сибири. В 1670 году через Иркутск в Китай проехал с бумагами первый гонец из Москвы, а 6 сентября 1675-го отправился в Поднебесную империю первый посол, Сибирского приказа переводчик Николай Спафарий. И с этого времени Иркутск начинает играть все более важную роль в делах международных. В «Записках» о своем путешествии Спафарий отметил: «Острог Иркутский... строением зело хорош, а жилых казацких и посадских дворов с 40 и больше, а место самое хлебобобовое». Через тридцать лет после постройки первого зимовья и через двадцать после рождения острога в Иркутске «учинено» самостоятельное воеводство, острог стал городом. Сохранилась опись 1684 года, в которой с подробностями описан Иркутск конца XVII века: «...А по острогу строенья: шесть башен с мосты (мостами в те поры называли перекрытия между этажами. — М. С.), три башни покрыты тесом, три — дранью, в двух башнях ворота проезжие створные... в той же острожной стене приказная изба с сеньми покрыта тесом... Да на проезжей башне казенный амбар... Среди острога церковь во имя нерукотворного образа господа нашего Иисуса Христа, да в приделе Николы Чудотворца, а под папертью кругом шесть лавок о двух житьях; колокольня рубленая шатровая с переходы, а под нею четыре лавки да амбар церковный, казенный...» Далее сообщается в описи, что есть в остроге государев двор, где живут иркутские воеводы, жилье для служителей воеводской канцелярии, еще амбары с ледниками для хранения продуктов, погреб, баня, избы для холостых казаков, нечто вроде гостиницы для заезжих купцов, хранилища для

мехов, караульное помещение. В башнях были прорезаны бойницы, на прочных помостах стояли пушки, под одной из башен была «пороховая изба», где хранилось оружие и боеприпас.

Главным бичом деревянных городов были пожары. Иркутск не представлял в этом смысле исключения, он горел часто и страшно. Первый «сатанинский огонь» выжег крепостные постройки и деревянную Спасскую церковь. Вместо нее построили каменную — она и осталась до наших дней памятником острога, древнейшим из сохранившихся строением Иркутска. Украшенная каменным узорочьем, строгим и нарядным, присущим сибирскому барокко, наружной стеной живописью, единственной в Сибири (сцены, соединившие библейский сюжет со взятым из жизни, но символизированным крещением аборигенов, новообращенных в православие), она стала для жителей современного города и памятью о его древности, и ориентиром, ибо была встроена в южную стену острога, и, стало быть, можно определить точно, где стояла деревянная крепость — иркутский кремль, как называли острог впоследствии, когда улицы вырвались за толстенные бревна тына, расширились, растеклись в долине, взобрались на Петрушину, Веселую, Кайскую и другие горы. Почти ровесник Спасской церкви — собор Богоявления, построенный в начале XVIII века (заложен в 1718 году на месте сгоревшей деревянной церкви). В какой-то степени напоминающий храмы Русского Севера, он отличается от них многими особенностями. Собор украшен изразцами, секрет изготовления которых на многие годы был утерян. Дело в том, что храм стоит над кипением Ангары, которая, прежде чем замереть на зиму под торосистым белым покровом, до середины января обычно спорила с крутыми сибирскими морозами, исходила клочковатым паром, а то непроглядным туманом, заполнявшим улицы города. Зимой мороз ниже сорока, летом жара порой за тридцать, и все это — и стужу, и зной, и влагу — должны были веками выносить нарядные многоцветные, покрытые глазурью изразцы. В наши дни ситуация усугублялась еще и тем, что после постройки гидростанции Ангара в пределах города и вообще зимой, даже в самые крутые морозы, не замерзает, а только парит, парит... Иркутские художники после упорных и поначалу казавшихся безнадежными поисков нашли все же секрет стойкости и долговечности столь раннего материала, и при реставрации собора Богоявления в шестидесятые годы XX века четверики и восьмерики храма опоясали возрожденные узоры.

Постепенно весть о новорожденном городе, о его удобном месторасположении, о выгодах, которыми пользовались обитатели, расходилась по всей Сибири, по европейской части России. Из уст в уста передавались слухи, что зверя пушного на берегах Ангары столько, что женщины-иркутянки, отправляясь поутру к зимним речным прорубям за водой, попутно коромыслом бьют драгоценных соболей — какая на шубу, какая на шапку.

Люди прибывали: кто в поисках приключений, кто — судьбы, купечество — с товаром и за товаром, мастеровые — ради заработка. В 1697 году правительство прислало сюда 600 пашенных крестьян, в начале царствования Петра I прибыло немало стрельцов, сосланных после разгрома молодым царем их восстания. В первом году XVIII века в Иркутске было 726 жителей, а в 1722-м уже 3447. По тем временам это был уже серьезный сибирский город.

В шестидесятые годы XIX века в Иркутск пришел знаменитый сухопутный тракт, называвшийся сперва Московской столбовой дорогой, потом получивший название Московский тракт. Трудно переоценить это событие, мир как бы сжался, уплотнился, до Москвы теперь было рукой подать: всего какой-то месяц в дороге — и ты у цели! Двинулись в столицу уже по рекам обозы с мягкой рухлядью, потянулись из разных городов из-за Камня, как тогда называли Урал, купеческие караваны пообильнее, чем в прошлые времена, когда настоящая проезжая пора была заматеревшей лишь зимой, перекрывающей хрустальными мостами реки, умиротворяющей болотные топи. С 1768 года в Иркутске стали проводиться ежегодные ярмарки. Это подвигло местных купцов на создание стеклоделательных и шелкоткацких фабрик, строительство новых мельниц, пивоварен, кожевен и, наконец, на создание гостиного двора, в котором размещалось более двухсот магазинов и лавок. Построено это величественное сооружение было по проекту выдающегося архитектора XVIII века Джакомо Кваренги. Гостиный двор время не сохранило, зато и до сегодняшнего дня украшает город так называемый Белый дом, прекрасных чистых линий ампирный дворец, поставленный несметно богатым купцом Сибиряковым на берегу Ангары, со временем ставший резиденцией иркутских генерал-губернаторов, а в 1918 году в нем разместился новорожденный Иркутский университет. Теперь здесь одно из крупнейших книгохранилищ России — Научная библиотека Иркутского государственного университета, хранящая неповторимые собрания книг многочисленных дореволюционных учебных заведений, из личных библиотек декабристов, иркутских писателей, выдающихся книгособрателей, в том числе собрание книг и журналов купца, почетного гражданина города Василия Баснина, где есть практически любое из периодических и повременных изданий XIX века, пушкинской и послепушкинской поры.

Иркутск, город, отдаленный от крупных центров страны, должен был в те времена сам производить многое. Путешественники, побывавшие в нем в разные годы, отмечают, что здесь обитают замечательные мастера-краснодеревщики, изготавливающие, нет — творящие мебель, которая способна сделать честь самому Петербургу и заграничным мебельным фирмам:

ее отделяют не только красным деревом, но и своими, сибирскими материалами — тайга богата, в ней много необычных пород деревьев, чья древесина декоративна и благородна. Здесь пишут иконы, изготавливают нарядные серебряные оклады, здесь создают богатые кареты и легкие демократичные дрожки, приспособленные для сибирских дорог, о которых можно сказать бы стихами Петра Вяземского: «рытвины, ямы, канавы, ухабы — все, что в России зовется шоссе». Здесь куют оружие и изготавливают стекло способом, который еще не шагнул в Европу, а шагнув — приведет к революции в стекловарении: дело в том, что в XVIII веке живет в Иркутске замечательный ученый, воспитанник Ломоносова, близкий знакомый и ученик создателя классификации животного мира Карла Линнея, естествоиспытатель, ботаник, минералог, энциклопедически образованный Эрик Лаксман. Размышляя о том, сколь много изводится лесу для того, чтобы сжечь его и из древесной золы извлечь нужный в стекловарении поташ, он приходит к выводу, что нужно найти природную щелочь или иной заменитель поташа. Он находит такое вещество, и вскоре под Иркутском, на заводе, который создает Лаксман вместе с компаньоном — купцом Солдатовым, появляется посуда из нового стекла — оно прозрачнее, чище, оно дешевле, чем все, что делалось раньше, вскоре лаксмановская технология побеждает во всем мире.

Так постепенно Иркутск становится «складочным местом России», серьезным торговым, административным и дипломатическим центром Восточной Сибири. Здесь оседают товары из Европы, Средней Азии, Китая — шелка и чай, серебряные руды, слюда, бытовое чугунное литье, посуда, меха, пшеница и рожь, кедровые, сосновые, лиственничные плахи. Товары привозные и свои, дары караванных путей и дары природы — все соединяется в купеческом и ремесленном городе. Но здесь и центр международных связей, поэтому есть в городе, единственном в России после столицы, не только приходские школы, но и школа монгольского, японского, китайского языков, ибо через Иркутск движутся на восток — в Китай и Монголию — дипломатические, духовные, торговые посольства и миссии, здесь ведутся переговоры о государственных отношениях, границах и многом-многом еще.

В 1764 году последовал указ, которым Сибирь разделяется на два наместничества — Тобольское и Иркутское. С этой поры город над Ангарой становится на долгие годы столицей Восточной Сибири, опорным пунктом освоения, изучения огромной земли, лежащей меж южными песками и полярными тундрами у Ледовитого океана, меж Енисеем и тихоокеанскими островами, становится средоточием науки и культуры. Огромный интерес к Сибири, которая не только для Европы, но и для самой России все еще терра инкогнита, привлекает в Сибирь и убежденных сединой академиков, и юных андьюнкетов, спешащих сюда за открытиями и, стало быть, за судьбой.

Иркутск становится опорным пунктом для будущих историков Сибири, естествоиспытателей Санкт-Петербургской Академии наук, сюда все больше отправляют людей опальных, неугодных правителям России. Это между тем люди недюжинные, многознающие и многодумные. Они становятся своеобразным средоточием между членами знаменитых экспедиций и любознательными сибиряками. Через два года после смерти Петра I, зимой 1727 года, в Иркутске, вызывая восторг и удивление горожан своим чернокожим ликом, появляется полукомандированный, полуссылный Абрам Петров, знаменитый «арап Петра Великого», прадед Пушкина, позднее приобретший фамилию Ганнибал: инженер, крупный специалист-строитель, получивший образование во Франции, он будет строить в Забайкалье Селенгинскую крепость, перенесет немало трагических приключений, прежде чем покинет Сибирь. А еще позднее, уже при Екатерине II, сюда примчат в казенной карете «бунтовщика похуже Пугачева», как назвала его императрица, автора потрясающей книги «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева. Он, кстати сказать, в 1791 году писал в Петербург своему покровителю графу А. Р. Воронцову: «Иркутск... если можно проникать нашими взорами в будущее, он по положению своему определен быть главою сильная и обширная область... Хотя путешествие мое и совершалось с большой поспешностью, я запомнил то, что меня более всего поразило. Иркутск есть город, который, особливо благодаря его обширной торговле, заслуживает внимания отменного. Он есть склад всего торгового дела сей губернии... Я познакомился здесь с г-ном Шелиховым, который только что вернулся из Охотска, куда он отправляется каждую весну, чтобы встречать свои корабли, прибывающие из Америки. Ваше сиятельство знаете его и читали описание его путешествия, которое только что напечатано в Москве...» Радищев встречался в Иркутске со многими поразительными горожанами, занесенными сюда и собственной волей, и превратностями судеб. Одним из этих новых знакомых и был Григорий Шелихов. Теперь, наверное, кто-нибудь удивится и не поверит, что благодаря этому человеку — купцу и мореходу и его сподвижникам, в составе Иркутского генерал-губернаторства на переломе XVIII и XIX веков был Американский уезд: Аляска, Алеутские острова, Калифорния...

Восемнадцатый век — от правления Петра I до завершения царствования Екатерины II — памятен Иркутску таким количеством самых разнообразных экспедиций, оставивших след во всех сферах жизни России, каких не знал ни один город столь огромной страны. Здесь готовились в путь Первая и Вторая экспедиции Витуса Беринга — многим членам их суждено оставить имена свои на карте Севера и Востока. По топким улицам его ходил великий командор, в общественных и частных домах местные знатоки собирались вокруг ученых, известных уже и тех, кому еще суждено прославиться на весь мир, здесь помощники Беринга готовили для экспедиции

снаряжение, а так как таких академических и государевых путешественников было много, то в памяти иркутян впечатления оставались надолго — и тем, что они пробуждали у молодых тягу к знаниям, и что брали энтузиастов в неисследованные еще дальние пределы, но и тем, что городу порой трудно было собрать нужное количество канатов, мешков, коней и конной сбруи, продуктов и прочего. В «Иркутской летописи» П. И. Пеземского и В. А. Кротова сохранилась запись: «Такой огромной и ученой экспедиции в Сибири еще не было... она оставила в стране следы сильного негодования вследствие тяжелой повинности, которой подвергались тогда еще малочисленные по Сибирском тракту жители...» Они должны были выставлять множество лошадей, выделять проводников и переводчиков, перевозить сквозь таежные дебри корабельные снаряды и орудия, «перебросить» из Иркутска в Охотск многие тысячи пудов провианта и других припасов. Сверх того в Иркутске нанимались и мастера, дабы вместе с охотскими корабельщиками строили и оснащали корабли для мореходной части экспедиции. Для молодого, еще только формирующегося края это было непросто. Но экспедиция, с другой стороны, положила начало многому, чем потом гордилась Сибирь и что резко продвинуло Иркутск как сосредоточие культуры и науки на востоке России.

Эти экспедиции были побудителями и движения местного купечества к берегам океанов, ибо на возвратном пути не было конца рассказам о лежбищах котиков на неизвестных островах, о бобрах и прочей живности, сулящей купечеству несметные доходы. В истории исследования и, если хотите, обследования Тихого океана остались имена Трапезникова, Голикова, Бичевина, Лебедева-Ласточкина и других предшественников Шелихова, но наиболее всего вторая половина XVIII века отмечена деятельностью этого умного, крупного, предприимчивого, государственного ума человека. В середине века разворачивает «русский Колумб», открыватель Аляски, островов Кадьяк и Афогнак, свою обширную деятельность, одолевая пучины незнакомого грозного океана. «И будучи сам на первом галиоте с женою моею, — писал Шелихов в «Записках», о которых упомянуто выше в письме Радищева, — которая везде со мною следовать и все терпеть трудности похотела, и двумя детьми, назначил на случай разлучения противными ветрами сборным местом остров Берингов. 3 сентября (1783 г.) пустились в назначенный путь, в котором 12-го числа сделавшийся шторм продолжался двои сутки, разлучил все галиоты один от другого. Буря сия была столь велика, что лишались и надежды в спасении своей жизни...» Но уже ничего не могло остановить купца-морехода: ни взбешенный океан, поглотивший в пучины свои не один корабль, ни сложные, не сразу сложившиеся отношения с первожителями островов, ни вечная нехватка продовольствия, пресной воды, боеприпасов. Ставились избы, строились порты в бухтах, закапывались в берега островов и «самой матерой земли»

Аляски медные доски с надписью: «Земля российского владения». И от берегов океана через всю огромную немереную сибирскую тайгу текла мягкая рухлядь сперва в Иркутск, а потом за Уральские горы в Москву да Петербург. Медленно возникала, рожденная в мечтаниях Шелихова, Российско-Американская компания, которая осваивала американский материк от северной его оконечности до Калифорнии. Еще и сейчас на углу улиц Красного Восстания и Ленина, против Крестовоздвиженской церкви, можно увидеть массивный толстостенный простой по архитектурным формам дом — бывшие казармы шелиховской компании: здесь обсуждались проекты, заключались контракты и договоры, отсюда отправлялись в путь на Камчатку на «самую матерую землю» Америки партии охотников, крестьян-хлебопашцев, мореходов и разведчиков, возможно, что здесь же или в соседнем, уже не существующем строении работала первая на востоке страны мореходная школа, в которой вместе с сибиряками проходили курс наук полтора десятка парнишек-алеутов: первые грамотные люди своего народа. Недавно в городе обнаружен дом, в котором, правда, уже после кончины Шелихова, располагалась взлелеянная им Российско-Американская компания.

Вот как описывает Иркутск начала XIX века писатель Матвей Александров, некоторое время прослуживший чиновником в Сибири: «На площадь большого гостиного двора каждодневно производилась перегрузка российских и китайских товаров, и этою только извозною деятельностью оживлялась прекрасная площадь, украшавшаяся в то время домом генерал-губернатора. На так называемом малом базаре более было движения и житейской суеты с утренней зари и до позднего вечера. Тут продавалось все, кроме птичьего молока, как говорит русская пословица. Иркутск в то время имел физиономию чисто сибирского города. В продолжение дня по улицам двигался простой народ: женщины под накидками, мужчины промышленного разряда в синих кафтанах и буряты в своих национальных костюмах, с озабоченными угрюмыми лицами. Окна домов, выходившие на улицу, задернуты были постоянно занавесками или закрыты китайскими сторами».

С того момента, когда возник посад, городские улицы застраивались хаотично; получив участок земли, горожанин ставил свой дом где ему заблагорассудится, поэтому к началу XIX века часть улиц, и особенно в центре, выглядела зигзагообразно. До поры до времени губернская власть это терпела. Но вот появился в Иркутске в 1806 году губернатор Николай Трескин. Человек жесткий и предприимчивый, он взялся за организацию жизни в городе и за приведение в порядок самого Иркутска с небывалым рвением. Вместе с воинским гарнизоном и полицией Трескин окружил пригородные леса облавой, истребив и арестовав множество разбойников,

не дававших жизни купеческим обозам, так что купцы должны были для безопасности нанимать солидную охрану. Потом началась подсыпка болатистых и ухабистых улиц, и, наконец, дело дошло до генеральных линий центральных улиц и «прешпектов». Были поставлены вежи, определяющие красную линию, и хозяевам давался год для выравнивания своих домов по ранжиру. Жители отнеслись к этому распоряжению легкомысленно, не зная истинного характера нового губернатора. Через год и три месяца Трескин создал особую команду, поставил в ее руководство ссыльнопоселенца некоего Гушу, и эта «гушинская команда» отпилила безжалостно все то, что мешало улице быть прямой: у кого полкухни, у кого полспальни, у кого угол дома, у кого чуть не половину. Жители вопили, зывали к императору и к господу Богу, зато улицы стали регулярными.

Серьезное влияние на судьбу города оказало пребывание здесь в должности генерал-губернатора крупного государственного деятеля России графа Михаила Сперанского. Человек недюжинного ума и огромной воли, многосведущий в науках и неординарно мыслящий, Сперанский стал ближайшим сподвижником императора Александра I. Его попытки преобразовать управление страной, его требование, дабы чиновники периодически сдавали экзамены по знанию своей профессии, а большинство должностей в те поры занималось не по деловым качествам, а по родственным связям, его нововведения во многих сферах жизни вызывали упорное сопротивление, бесконечные на него кляузы, так что в конце концов по прямому наговору и обвинению Сперанского чуть ли не в предательстве император сослал своего сподвижника в отдаленные губернии, а затем, решив вернуть, в качестве «испытания» назначил его наместником своим в Сибири. Ревизия Сперанского, установившая казнокрадство и поборы иркутских (и не только иркутских) чиновников, разбирательство многочисленных административных и финансовых злоупотреблений, подготовленные новым генерал-губернатором законы сибирской жизни, установления, регулирующие отношения между русским населением и народами Сибири, его «Устав о ссыльных», в котором подчеркивались права этих опальных, чья судьба до того не волновала государство и была отдана самовластию местного начальства, — все это позволило позднее говорить, что история Сибири делится на два периода: до Сперанского и после Сперанского.

Сохранилось любопытное его письмо к дочери, написанное 23 июля 1820 года: «...У меня вчера был обед, какой в Сибири только быть может. На одной стороне сидел архимандрит и свита его, сегодня отправлявшиеся в Пекин, на восточный конец света. На другой стороне — трое молодых морских офицеров, также сегодня отправляющиеся на Ледовитое море к белым медведям, к самому полюсу... Я думаю, Сибирь есть настоящая

отчизна Дон-Кихотов. В Иркутске есть сотни людей, бывших на Камчатке, на Алеутских островах, в Америке с женами и детьми, и они все сие рассказывают, как дела обыкновенные. Человек ко всему привыкает, а привычка к странствованию, к тому, чтобы искать походов, кажется, еще скорее других приходит».

Глубокий след в истории Иркутска и всей Сибири оставило пребывание здесь декабристов. Участники тайных обществ, восстания против «рабства дикого», как определил Пушкин Александровскую эпоху, они были отправлены на каторгу и в ссылку «в ледяные пустыни Сибири» и провели здесь тридцать лет, а многие остались навсегда в стылой и суровой земле, покинув сей бренный мир. Пребывание крупнейших русских интеллигентов, просвещеннейших людей в Сибири не могло не сказаться на судьбе этой земли. Их пример возбуждал демократические настроения местной интеллигенции, декабристы несли просвещение в народ, во многих глухих местах зауральского края открывали школы, и не только для мальчиков, но и для девочек, опередив в этом Европейскую Россию. Хозяйственная деятельность сибиряков, наука, сельское хозяйство, медицина, культура — многие стороны жизни Иркутской губернии и других районов Сибири претерпевали облагораживающее влияние декабристов.

Представьте себе город, в котором около двух тысяч деревянных домов, менее ста каменных, церкви, монастыри, две сотни купцов, а всего населения под двадцать тысяч человек. И вокруг такого города в близлежащих деревнях поселяется целый отряд людей приметных, значительных, особенных — тут и Михаил Лунин, философ и писатель, один из острейших умов эпохи, тут и поэт, просветитель Владимир Раевский, тут и не лишенный дворянского звания, ибо рано отошел от тайного общества, но все же сосланный градоправитель Александр Муравьев, тут и один из авторов «Русской правды», замечательный музыкант, обучивший игре на фортепиано многих иркутян Алексей Юшневский, тут и выдающийся врач, рецепты которого еще долгие десятилетия после его отъезда из Иркутска пользовались доверием горожан, Фердинанд Вольф и многие еще (могилы Алексея Юшневого, Артамона Муравьева, Иосифа Поджо, Владимира Бечасного, Петра Муханова, Николая Панова и жены декабриста Екатерины Трубецкой, разделившей вместе с другими своими современницами судьбу опальных мужей, и до сегодняшнего дня вызывают у горожан, у многочисленных любителей отечественной истории, приезжающих сюда, священное почитание).

Особенно повезло Иркутску, что в середине сороковых годов XIX века в город разрешено было переехать из близлежащих деревень семьям Сергея Волконского и Сергея Трубецкого. В их домах ставились домашние спектакли, давались концерты своими силами и силами приезжих петербургских, итальянских, французских, датских музыкантов и певцов. Здесь собиралась

молодежь — друзья, сверстники детей декабристов, и общение с людьми недюжинными было для них высшей школой разума, нравственности, поведения. «Истинное просвещение сделало то, — писал воспитанник декабристов, выдающийся врач и мемуарист Николай Белоголовый, — что люди эти не кичились ни своим происхождением, ни превосходством образования, а напротив, старались искренне и тесно сблизиться с окружающей их провинциальной средой и внести в нее свет своих познаний. Естественно поэтому, что они скоро завоевали себе общую любовь и уважение в Иркутске, и благотворное влияние их на окружающую среду было глубоко... Каждый из них в отдельности и все вместе взятые — они были такими живыми и превосходными образцами культуры, что естественным образом поднимали значение и достоинства ее в глазах всякого, кто с ними приходил в соприкосновение, и особенно тех, в ком бродило смутное сознание «чего-то лучшего в жизни... и нет сомнения, что весьма многие из иркутских чиновников и купцов только в силу этого непосредственного обаяния и просвещения почувствовали большую потребность в духовных наслаждениях жизни, стали больше читать и особенно стали заботиться о том, чтобы дать своим детям по возможности совершенное образование. Недаром же с этого именно времени, то есть с конца сороковых годов, которые считаются в России самым глухим и неблагодарным периодом в истории русского просвещения XIX века, в иркутском обществе обнаруживается первое стремление молодежи в русские университеты, которые, получив тогда первый толчок, продолжали с тех пор только прогрессивно расти и развиваться».

Мы позволили себе столь объемную цитату, ибо нет ничего достовернее свидетельства человека, который общался с декабристами, был их учеником и стал одним из истинных интеллигентов России — главным врачом одной из первых в Иркутске больниц, позднее — лечащим врачом наших классиков Некрасова и Салтыкова-Щедрина, другом знаменитого Боткина, автором приметных в русской мемуаристике «Записок».

Дом, принадлежащий семье Трубецких, отреставрирован в 1970 году, Волконских — в 1985 году. Теперь в них — музей. Это не мертвое бесстрастное собрание раритетов — это живые дома, продолжающие, как некогда их хозяева, играть своеобразную роль в духовной жизни города и, позволим предположить, страны. По вечерам здесь зажигаются свечи, на этот огонек тянутся горожане и гости Иркутска. Звучит музыка, которая исполнялась здесь полтора века назад, читаются ученые трактаты, играют-ся водевили, оперные певцы поют арии и дуэты из опер, старинные романсы. И кажется, что хозяева этих домов незримо сидят меж нами и благословляют нас сквозь толщу времен.

На памятнике в честь строителей Великого сибирского железнодорожного пути, поставленном в 1908 году там, где главная улица Иркутска обрывается аквамариновым свечением Ангары, пьедестал украшен тремя скульптурными портретами: покоритель Сибири Ермак, реформатор сибирской жизни граф Михаил Сперанский и генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский.

Знатоки событий отечественной жизни в конце XIX века уже говорили, что история Сибири делится так: от Ермака до Сперанского, от Сперанского до Муравьева и после Муравьева. И в самом деле, этот государственный деятель, человек конструктивного ума и твердой воли, так много сделал для нашего края в его переустройстве к лучшему, в его резком движении к прогрессу во всем — промышленности, культуре, политике, освоении богатств, образовании, — что и доньше туго заведенная им пружина жизни продолжает разматываться. Ему было 38 лет, когда 14 марта 1848 года он прибыл в Иркутск и показался местным чиновникам человеком малообщительным и нелюбезным, окруженным командой молодых чиновников, которых привез с собой. Он и в самом деле повел себя нестандартно: властители Иркутской губернии, которых он сменил, с опаской относились к декабристам — Николай Муравьев стал бывать в их домах. В 1849 году в Иркутск прибыли политические ссыльные петрашевцы — вскоре они уже были сотрудниками местной печати. Гражданский губернатор Пятницкий написал в Петербург донос на «неуставные» отношения нового генерал-губернатора к государственным преступникам, а Николай I на этом доносе написал: «Он единственный меня понял...»

В 1851 году в октябре на Большой улице открывается театр. «В первый вечер давала представление труппа устроителя театра Маркевича, были поставлены три пьесы: «Русский человек добро помнит», «Девушка-моряк» и «Жена за столом, а муж под столом». Через месяц учрежден Сибирский отдел Русского Географического общества, сыгравший выдающуюся роль в развитии науки в Сибири. Этот отдел, позднее названный Восточно-Сибирским, отправлял экспедиции в неисследованные пространства Сибири, на Дальний Восток, в Монголию и Китай. Даже первая экспедиция знаменитого Н. Пржевальского была санкционирована им. В 1855 году при содействии Муравьева было заложено каменное здание Иркутского девичьего института, в 1857 году вышел первый номер газеты «Иркутские губернские ведомости», в редакции которой сотрудничали политические ссыльные. Можно вспомнить еще многие реалии иркутской жизни того времени, когда главой Восточной Сибири был этот выдающийся деятель России. Можно вспомнить, например, что не кто-нибудь, а именно Муравьев первым высказал мысль о необходимости соединить Сибирь с Европейской Россией железной дорогой. И добивался этого. Но есть три главных

момента в его разносторонней деятельности, которые навсегда оставили его имя в истории России, которые выделили его из целого ряда властителей, стоявших в разное время во главе управления Восточной Сибирью: Амурская эпопея, заключение договора с Китаем и организация экспедиции адмирала Геннадия Невельского. Плавание по Амуру Муравьева со своим штабом, исследование берегов великой восточной реки, устройство поселений, не обходившееся без трагедий и подлинного героизма казаков и крестьян, закрепило огромный малонаселенный край за Россией. Экспедиция Невельского обследовала берега реки Амура, его устье и установила, что Сахалин, который до той поры считался полуостровом, на самом деле остров. Путешествие это было опасным. Жена Геннадия Ивановича Екатерина, разделявшая все тревоги и сложности плавания с мужем, рассказала в письме к друзьям такой эпизод: «18-го (июля 1851 г.) ветер был не так силен, но зато густой туман со всех сторон окружал нас... Мой муж был некоторое время на палубе, и вдруг я услышала его сбегаящим с лестницы и бросившимся к кругу офицеров, где большая часть из них находилась в это время, крича им тревожным голосом: «Господа, взойдите все, сколько вас тут есть»... Я последовала за ним, но едва поднялась до верха лестницы, как увидела одного офицера, совсем бледного, одежда в беспорядке, который остановил меня, закричав: «Спуститесь вниз, Екатерина Ивановна, ради Бога, спуститесь!» Можете себе представить, в каком я была состоянии, войдя в каюту... В эту минуту показался мой муж... Я бросилась к нему, схватив его за руку и спрашивая его задыхающимся голосом о причине криков и шума, от которых дрожало судно. Тогда с ужасающим спокойствием он сказал: «Оказалась течь в трюме, и опасность велика». — «Но мы должны умереть?» — шепнула я чуть слышно. «Я не знаю, — возразил он, — по крайней мере мы сделаем все, что человечески возможно... Господь полон милосердия. Возложим нашу надежду на него одного». И он поспешно поднялся наверх».

Тихий океан постоянно доказывал, что его название парадоксально. И в самом деле, ненасытные штормы набрасывались на парусники, рифы прятали под вздыбленными пенными бурунами свои коварные кулаки, туман окутывал воду, сушу, затягивал небо, скрывая путеводные звезды. Но экспедиции адмирала Невельского во славу России в конце концов завершались благополучно.

И, наконец, третье важное событие, связанное уже с дипломатическим талантом Муравьева: заключение 16 мая 1858 года договора с Китаем о присоединении левого берега Амура к России. В тот день генерал-губернатор издал приказ, в котором были знаменитые слова: «Товарищи! Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы: Россия вышла к Амуру». За эти заслуги Муравьев был удостоен титула графа и к его фамилии добавилась приставка — Амурский.

Вот почему на пьедестале памятника строителям Великого Сибирского железнодорожного пути рядом со скульптурными портретами Ермака и Сперанского появился и портрет графа Муравьева-Амурского.

«Иркутск, — писал в сентябре 1862 года известный путешественник, граф, теоретик анархизма Петр Кропоткин в «Московские ведомости», — довольно большой город, в котором считается в настоящее время до 28 тысяч жителей, город красивой наружности, с несколькими каменными и другими хорошенькими деревянными домиками, со множеством лавок (и несколькими фотографиями), расположенный на берегу Ангары, на большой равнине, обставленной горами. Впрочем, во всем этом нет еще ничего особенно оригинального. Но стоит побыть в Иркутске два-три дня, чтобы убедиться, что этот город нимало не похож на любой из великорусских губернских городов. А подумав немного, легко убедиться, что иначе и быть не может.

Иркутск — столица самостоятельной части Восточной Сибири, которая в высшей степени своеобразна: своеобразность страны должна была, конечно, означиться и на столице. При растянутости страны, при недостатке хороших людей на мелких местах требуется частая проверка действий чиновников при помощи доверенных людей, посылаемых от высшего начальства. Вот уже причина скопления в Иркутске множества молодых деятельных людей. Постоянная бродячая их жизнь придает обществу особый колорит; в городе вечный прилив и отлив: стоит выехать из него на два года, чтобы, вернувшись встретить наполовину новых лиц; тот уехал за Байкал, тот на Амур, а того взяла тоска по своим, уехал в Россию, и все это заменилось новыми приезжими, которых, особенно в последнее время, стало прибывать очень много.

Далее, Иркутск лежит на перепутье к новой стране (имеется в виду Приамурье. — М. С.), где несколько лет тому назад загорелась сильная деятельность: это сообщило сильный толчок иркутскому обществу, заставило его больше думать, говорить, горячее спорить...

Наконец, и сама отдаленность послужила Иркутску на пользу: отдаленность от патентованных центров тем уже полезна, что дает более простора самобытности. А главное, лишая возможности каждого выписывать себе все нужные вещи из Москвы, как это обыкновенно делается в других, менее отдаленных городах, эта отдаленность развила торговлю, которая должна снабжать жителей всем нужным на месте, и действительно, в Иркутске... можно достать почти все...

Вот целый ряд обстоятельств, которые должны были сообщить Иркутску особенный характер.

Чем же он выразился?

Прежде всего оживленностью, положительно не свойственной русским губернским городам: оживленностью на улицах, в гостиных, вообще в

разговорах... Мне кажется, он столица, где лица высшего круга менее обыкновенного заражены свойственной им замкнутостью, и что хотя и туда пробирается петербургский элемент, который не прочь образовать свой кружок, но столкновение с действительной жизнью, разъезды по голым степям имеют удивительно отрезвляющее влияние».

* * *

«Прежде всего своей оживленностью» Иркутск, несомненно, был обязан местному купечеству. Этот слой в Иркутске рос довольно быстро. И если в XVII веке его главным занятием была торговля, снаряжение обозов в Москву и в Китай, скупка пушнины у таежных народов, поощрение ремесленничества, поставка снаряжения и питания казачеству, продвигающемуся все дальше на Восток, то постепенно в их руках оказался лесной промысел, золотые и серебряные копи, а также многочисленные фабрики и заводы, производящие все на свете. Уже цитированный нами Петр Кропоткин писал, как помните, что отдаленность Иркутска от Москвы и Петербурга заставляла местных жителей все производить у себя — от упряжки и телеги до стекла и фарфора.

Да, купечество снаряжало корабли для плавания в Русскую Америку, содержало рудники со всеми их рабочими и техническими специалистами, да, бывало, что и придерживало в своих закромах обильный, скупленный ими задешево урожай, а потом в недородный год продавало и пшеничку, и рожь втридорога. Но, с другой стороны, являясь здесь хозяевами жизни задолго до того, как в этой роли стало выступать купечество Европейской России, ибо в Сибири не было помещиков, которые и в XVII, и в XVIII, и в первой половине XIX века были главными поставщиками производимых в их имениях, на их предприятиях, в их деревнях насущных товаров, сибирское купечество по воле и поневоле должно было быть обеспокоено и обустройством жизни. Вот почему сегодня, оглядываясь в прошлое, мы обнаруживаем, что церкви, которыми славился Иркутск, городские школы, гимназии, больницы, сиротские дома, пожарные вышки, благотворительные банки, магазины, самые красивые здания, и до сего дня удивляющие неповторимой архитектурной фантазией, и многое, многое еще было рождено здесь купцами. Их лавками были уставлены главные линии улиц, их доходные дома, в которых сдавались горожанам квартиры, занимали целые кварталы. Их личные библиотеки удивляли библиофилов столиц и иностранцев, являвшихся по той или иной надобности в Иркутск. В ремесленных училищах, возведенных на их деньги, будущие мастера получали до двадцати профессий!

Сибиряковы, Трапезниковы, Солдатовы, Дудоровские, Мыльниковы, Баснины, Кузнецовы, Соломатовы и многие еще — все потомственные почетные граждане Иркутска, все купцы 1-й гильдии, действительные советники,

многие удостоены дворянского звания. Но даже и то, что возникло в городе по указам императора или по замыслам местной администрации — театр, Иркутский девичий институт, городской музей и прочее, создавалось не без их участия. Усадьба Сибиряковых, самый красивый в городе дворец — Белый дом. С этой семьей связано многое: от создания этого здания, со временем ставшего резиденцией генерал-губернаторов, до портрета Гавриила Державина, ныне хранящегося в нашем художественном музее, портрета, который великий русский поэт заказал итальянскому художнику Тончи, получив от Сибиряковых в подарок соболью шубу. До легендарного ледокола, носящего имя «Сибиряков», который первым из кораблей такого класса торил Великий Северный путь по Ледовитому океану. Усадьба Басниных. Один из ее владельцев, Василий Николаевич Баснин, собрал уникальнейшую библиотеку, он выписывал все собрания сочинений, все столичные журналы в течение многих лет. Его коллекция древних гравюр с изображением европейских, российских, сибирских городов не имеет себе равных. Незадолго до кончины Баснин передал ее в Румянцевский музей в Москве, ныне это Государственная библиотека России. Усадьба Сукачевых. В ней ее владелец, городской голова Владимир Платонович Сукачев, основал городскую картинную галерею, старанием искусствоведов и музейщиков города превращенную в одно из выдающихся собраний страны.

Когда идешь по городу, купеческие голоса окликают тебя из глубины времен: Хаминов — и встает пред тобой гимназия (ныне в этом здании пединститут), драмтеатр, построенный по проекту академика, популярного архитектора XIX века Виктора Шретера — Иван Степанович Хаминов был председателем комитета по строительству театрального здания, и когда праздновалось открытие его, то генерал-губернатор Восточной Сибири вошел в ложу Хаминова и в его лице выразил благодарность всему иркутскому купечеству за столь драгоценный подарок городу. Базанова — сиропитательный дом (ныне глазная и отоларингологическая клиники). Трапезников — и вспомнится промышленное училище, в котором теперь биологический факультет университета, и первая в нашем городе оранжерея, которой все дивились — ведь в ней было много экзотических растений, одни названия которых вселяли восторг и уважение. Медведникова — и это значит, что мы стоим перед одним из корпусов сельскохозяйственного института, в котором на деньги купчихи Елизаветы Медведниковой было создано в 1838 году одно из самых первых в России учебных заведений для девочек-сирот разных сословий. При сиропитательном доме образован был банк, капитал его шел на нужды преподавательниц и воспитанниц, на будни и праздники. Второв, чья торговля простиралась от Харбина до Парижа... И все звучат, звучат голоса тех, от кого получили мы нынешний город в наследство. Во многом стараниями купцов в Иркутске в конце XIX

века на 47 358 жителей работало 58 школ, в них занималось 4834 мальчика и девочки — каждый десятый иркутянин учился. И это тоже выделяло Иркутск как приметный культурный центр России.

* * *

Ныне в Иркутске около 633 тысяч жителей. Его улицы заполнены машинами всех марок, множеством людей — коренных жителей этого края и тех, кто приехал сюда из дальних стран — по делу, по тяге ли к перемене мест, или привлечен сюда синим сиянием священного Байкала. Лесные окраины, еще лет сто назад полные зверя и дичи, ягод и грибов, ныне отодвинулись на добрый десяток километров в одну, другую, третью стороны, а на холмах и просторных долинах расположились многочисленные микрорайоны, застроенные современными девятиэтажными домами. Еще недавно в связи с тем, что горы близ Байкала молодые и рифтовая система еще подвижна и то и дело дает о себе знать землетрясениями, описания которых сохранились в исторических записях с XVIII века, строения здесь возводились не выше четырех этажей, их снабжали специальными антисейсмическими поясами. Затем появились серии, испытанные во время крупных, трагических подземных толчков в разных концах страны, и с шестидесятых годов Иркутск стал застраиваться распространенными «от Москвы до самых до окраин» девятиэтажками. Но дух города, его связь с давними и недавними днями сохраняет центр, нестандартный, особый, уютный. «До сих пор в Иркутске, — пишет немецкий писатель Питер Шютт, — сохранились целые кварталы деревянных домов. Резьбой по дереву, ажурным орнаментом искусно украшены островерхие крыши, оконные рамы и дверные косяки. Прикрытые слоем снега, дома дышат особым теплом и уютом. Я отнюдь не страдаю ностальгией, но в таком городе, как Иркутск, умиляются каждому знаку прошлого... Так возникает историческое самосознание, ощущение причастности к истории».

...Город бывает нарядным и праздничным в дни первого снега, когда предстает он перед глазами эдаким бравым парнем в белом дубленом полушубке, крепким, основательным, добрым. А в июне, когда нестерпимо горят на солнце белоснежные яблони, набирает силу сирень, но еще кое-где в местах, менее освещенных, таинственно светится черемуха, он кажется южным приморским городом, странно заброшенным в прибайкальские шири. Современный большой город с разнородной промышленностью, с развитой инфраструктурой, центр огромной области (сбылось пророчество Александра Радищева) в 767,9 тысячи квадратных километров — хлебродных степей, богатой зверем и птицей тайги, о которой Антон Чехов говорил, что ее красота заключается в том, что тайга сама не знает: где у нее начало, а где — конец, с оленьей тундрой, могучими реками, с многонаселенными городами, стоящими на этих реках, перегородив стрежень плотинами

электростанций. И дивное диво Байкал тут же — рядышком: разрастающийся Иркутск уже выставил на его заветном берегу свои заставы, и поселок Лиственичное — место паломничества тысяч туристов со всех континентов мира — считается частью одного из городских районов.

Сибиряки верят, что у первозданной красоты Байкала есть колдовская приворотная, влекущая к нему сила — потому и стремятся сюда люди ближние и дальние — повидать его, прикоснуться душой к его очищающей чистоте, ощутить высокую нравственность его существования на планете и, уехав, долго хранить в сердце его синеву.

Но, будучи административным центром, Иркутск не забывает о своем предназначении города, отнесенного правительственными постановлениями и самой историей к городам историческим. Он хранит и реставрирует свою старину, хотя время безжалостно, хотя сама жизнь вызывает напористые стремления потеснить давнюю застройку, но кварталы пока выдерживают напор времени, поражая наше воображение, связуя времена и судьбы. Вот почему гости чувствуют себя в городе уютно. Вот почему коренному иркутянину трудно покинуть свой город: переведенный в бытовые условия куда более благие, чем он имеет здесь, он все же мается, тоскует, стремится воспользоваться любой возможностью, чтобы снова душой прикоснуться к аквамариновому кипению Ангары, потрогать рукой шершавые бревна родного дома, пройти по набережной в надежде встретить самого себя, душу свою, для которой каждое дерево, каждое событие, сам дух городской и есть точка опоры.

Это называется притяжением Иркутска.

1984

В минуту поздних сожалений

Города — как люди: каждый имеет свой лик и свой духовный облик, свою биографию, в которой светлые страницы перемежаются с печальными, годы благоденствия — с годами болезней и депрессий.

Чтобы ощутить духовную сущность города, не нужно много времени. А. П. Чехову потребовалось всего несколько дней в Иркутске, чтобы определить ее: «Иркутск — превосходный город. Совсем интеллигентный». Однако необходима, наверное, вся жизнь, связанная с городом, а возможно, и жизнь в нем нескольких поколений твоих предков, от которых ты как бы получил этот город в наследство, чтобы проникнуться его нравственной атмосферой, ощутить себя ее частицей и уже тогда со всей остротой почувствовать происходящие в ней изменения, ведущие нередко, под напором раздвигающих город сил, уже не просто к изменениям нравственной сути, но, случается, и к пределам ее краха.

С ростом городов, с неизбежным притоком в них все новых и новых обитателей — а обитатель, или обыватель, как называли его в старину, это далеко не синоним слова гражданин, — происходит столкновение характера города с духовной и нравственной сущностью новых поселенников. Великое благо, когда они совпадают или когда нравственные принципы новых горожан как бы еще более «приподнимают» общественное и нравственное сознание города, как это было с появлением в Иркутске декабристов, ссыльных поляков, народовольцев... Совсем иное, когда подобного совпадения нет и город в стремительно возрастающих количествах пополняется не гражданами, но обитателями. Первоначально город легко противостоит им, подчиняя своим традициям и утверждая среди них свои духовные ценности, но лишь до той грани, когда давление иных критериев и

Шастин Анатолий Михайлович (26 апреля 1930, Иркутск — 16 января 1995, Иркутск), прозаик. Член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры РФ. Автор книг «Жили-были мальчишки», «Человек из поезда», «Час выбора», «Семь часов до отъезда» и др.

понятий чести, честности и порядочности не начнет захлестывать его и не проникнет в его суть.

И тогда кривится болезненной гримасой не только его внешний лик, но и меняется духовный облик. Город «совсем интеллигентный» становится городом совсем не интеллигентным, отплясывающим вечерами на костях своих предков, скоропалительно заменяющим традиции сострадания, братства и веротерпимости проповедничеством своей новой самости.

Между тем стоит обратиться к свидетельствам этнографов, путешественников, старых сибиряков, и вот он, Иркутск, город «двунадесяти языцы», где исконная русская речь всегда объединяла, соседствовала и перемежалась с речью польской и татарской, немецкой и бурятской, еврейской и китайской; город, в архитектуре своей в равной степени принадлежавший Европе и Азии, сочетавший в своем зодчестве Россию и Восток, вознесший над жилыми кварталами и шестью своими площадями маковки многочисленных православных храмов, шпиль католического костела, крест лютеранской кирхи и полумесяц над минаретом мусульманской мечети; город, при всем многоверии и пестроте населения не знавший на протяжении веков межнациональной вражды, ибо справедливо почитался городом интеллигентным и просвещенным. А сочетание этих двух начал, совершенно нераздельное, и составляло его духовную сущность.

Вот Иркутск семидесятых годов прошлого века в свидетельстве этнографа и путешественника П. А. Ровинского:

«Иркутск — щеголь: ни в одном из сибирских городов вы не найдете таких магазинов с предметами роскоши и изящного вкуса, таких изящных экипажей, такого блестящего, так сказать, общества, нигде нет такого движения, таких проявлений более развитого вкуса к литературе, науке, изящным искусствам. Иркутск — первый город в Сибири, в нем вкус и интеллигенция...

...Всякого с первого раза Иркутск очарует своей общественностью: то вы в ученом обществе, то в заседании, решающем экономические вопросы, то в благотворительном комитете, то на литературном вечере, в купеческом клубе или дворянском собрании, театре, саду минеральных вод... а сколько там учебных заведений...»¹

Так сколько же учебных заведений и всего того, что свидетельствует о просвещенности города, существовало в Иркутске на излете минувшего столетия?

Энциклопедическая справка по Иркутску (1897): «Театр. Библиотеки — три, типографий — шесть. Учебных заведений — 45».

Уточним: среди них — три гимназии (а в 1915 году уже пять), реальное,

¹ Ровинский П. Очерки Восточной Сибири // Древняя и новая Россия. 1875. № 2. С. 205.

промышленное и юнкерское училища, одна прогимназия, женский институт (а в 1909-м еще и учительский), учительская семинария, сибирский кадетский корпус, семинария, мужское духовное и женское епархиальное училища, военно-фельдшерская, лесная и общеобразовательные школы Министерства народного просвещения. Сверх того — пять церковноприходских школ, пятнадцать приходских смешанных, две воскресные школы, школы татарская и еврейская. Всего без одного 70 учебных заведений в 1897 году.

«Детский сад. Периодических изданий выходит восемь (в том числе газеты «Иркутские губернские ведомости» и «Восточное обозрение». — *А. Ш.*), больниц — четыре, военный госпиталь. Благотворительных заведений — четырнадцать. Миссионерские, ученые, филантропические и другие общества, действующие по особым уставам. Особого внимания заслуживает Восточно-Сибирский отдел императорского Русского Географического общества. Общество имеет музей с богатой коллекцией по археологии и этнографии, особенно замечательна буддийская коллекция. Библиотека музея имеет сибирский отдел, где собрано почти все, касающееся Сибири».

К энциклопедической справке следует добавить, что в городе было два общественных собрания, в здании одного из которых размещается ныне Театр музыкальной комедии, что первый кинотеатр был открыт вслед за появлением синематографа в главных городах страны, а уже десятилетие спустя их было тринадцать, что в городе существовало более двух десятков гостиниц — свидетельство его активной деловой жизни.

И все это при населении в 51 484 человека.

Так какой же это был город?

Какие нравственные начала и принципы он исповедовал, если на въезде у Московских ворот приветствиями, подношениями хлеба-соли, запеченных гусей и другой снеди встречал обозы опальных граждан России; если, движимый заботой о сырых и обездоленных, попечением горожан открывал сиропитательные дома, больницы, две из которых — детская и бывшая Кузнецовская — были одними из главных до недавнего еще времени; если верно служил Отечеству сынами своими в Итальянской кампании под командованием А. В. Суворова в 1799-м, в битве под Бородино в 1812-м, в освобождении Болгарии от османского ига в 1877—1878 годах в составе Иркутских гусарских, драгунского и пехотного полков; если именитое купечество его находило десятки тысяч рублей на финансирование комплексных, как мы сказали бы сегодня, научных экспедиций по изучению Якутского края и всего Восточно-Сибирского региона, состоявших из ссыльных поляков и народовольцев, а в тяжкие годы сибирских неурожаев по-братски делилось хлебом с иноверцами; если интеллигенция его считала за честь общение с людьми опальными и всячески споспешествовала просвещению и не только в черте города, но и по всей огромной губернии?

И нет им памяти ни в чем, что делалось под солнцем.

Ни купцам — радетелям сибирский науки и здравоохранения, чьи книжные коллекции, такие, как библиотеки Кузнецовых и Басниных, составили первооснову редкого фонда наших книгохранилищ, ни интеллигентам и мастеровым людям, вместе со всем иркутским обществом оставившим нам в наследство «превосходный», по определению А. П. Чехова, исторический город, а вместе с ним страницы книг, музейные коллекции, прекрасный театр и высокие понятия порядочности и чести. Их имена стерты с названий улиц и памяти поколений. Улица Федорова-Оммулевского и та зовется ныне Оммулёвской. «Остановка Оммулёвская!» — это в троллейбусе. Ну, спасибо. Тоже немаловажное напоминание. Над прахом их крутятся карусели и отплясывают танцплощадки. Многие из подлинных шедевров сибирского зодчества, воздвигнутые на пожертвования иркутян, остались лишь на фотографиях и открытках или загнаны в угол бетонными и кирпичными ногами новой архитектуры, вторгшейся в планировочную структуру исторического города мановением полководческой руки заезжих градопереустроителей.

Пора запоздалых сожалений приходит, как правило, лишь тогда, когда трудно уже что-либо исправить. Однако рано или поздно, но приходит неизбежно. И вот пока новая иркутская интеллигенция требует российского КГБ и перенесения патриотизма из разряда чувствований в раздел законодательных предположений по статье «Обязанности граждан», пока она верноподданно объявляет продуманную антидемократичность всего лишь несовершенством законотворчества и убеждает нас в ее благе, пока она, наконец, обличительно тыча друг в друга пальцами, дотаптыкает культурные и нравственные традиции города, — подведем некоторые итоги наших утрат, памятуя при этом, что потеря нравственных традиций — одна из важнейших в их числе и не может быть возвращена ни законом, ни академией наук, сколько на них не уповай.

Итак, Иркутск на протяжении последних шестидесяти лет трижды испытал на себе разрушительные вторжения в исторический центр. Вторжения эти перемежались короткими временами разумной градостроительной политики, как бы передышками перед новой властью.

Первая из них обрушилась на город в конце двадцатых — начале тридцатых годов под «богоборческими» знаменами, которыми размахивали, естественно, не те, кто ранее жертвовал деньги на строительство храмов, и не те, кто их проектировал, возводил, писал фрески и тесал художественный кирпич. Сигналом послужил взрыв Казанского, или Нового, собора, построенного так, что потребовались новые многочисленные взрывы и последующие разборки печальных руин вручную. Кирпичи собора пошли затем на сооружение госбанка и надстройку других зданий.

Взрыв на центральной площади с короткими промежутками обрушил

и другие храмы, с прочих поверг наземь кресты, маковки и колокольни. Некоторые из них были в последующем перестроены под конторы, в остальных устроили общежития, склады, базы и мастерские. Гибли уникальные изразцы, росписи и сами стены. На месте Тихвинской, Благовещенской, Успенской церквей и погребений близ них, где раньше, где позже рылись котлованы под жилые и административные здания. Так что во-он еще когда занялись мы гробокопательством во имя человека, для блага человека. А два с малым десятилетия спустя, движимые все той же заботой, добрались, наконец, и до первого иркутского гражданского кладбища, изобразив на костях предков ЦПКиО. Пляши и радуйся!

Великая удача сохранила Знаменскую церковь. Иначе бы и там выкопали вон и останки декабристов, и прах «Колумба Росского», основателя Русской Америки Григория Шелихова, а его памятник со стихами Г. Державина, как, впрочем, и другие, уложили бы в цоколь какой-нибудь новостройки. В конце концов не на таком ли черном мраморе с остатками бывших надписей воистину упокоили «благодарные потомки» пятиэтажные здания по улице Горького с центральным агентством воздушных сообщений в первом этаже.

В Иркутске «женский монастырь, два собора и 29 православных церквей», — сообщает энциклопедическая справка 1902 года. Сколько мрамора, тесаного песчаника, или, как его еще называли, серовичного камня, сколько первоклассного кирпича и чугуна от переплавки могильных оград и плит дали разрушенные храмы и погребения взамен морали и совести, зовущих почитать предков и не тревожить прах умерших.

Оглянись и сними шапку перед памятью об ушедших и выброшенных из могил. Может быть, среди них были твои деды или прадеды. И «не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Храмы иноверцев разделили участь православных. Рухнул минарет под ударами кувалд и ломов, и над входом в мечеть водрузили вывеску: «Городской автотоклуб». Позже был снесена лютеранская кирха на углу улиц К. Маркса и Ленина, а польский костел изнутри был переустроен Восточно-Сибирской студией кинохроники.

Насаждение атеистического единомыслия и одиночувствования велось в те поры с помощью динамита. Вандализм олицетворял новую нравственность. И сути происходящего не меняли те жилые и административные здания, которые в последующие и предвоенные годы заменили ветхие постройки — управление железной дороги, госбанк, гостиница, дома по улицам Ленина, Красной Звезды (Сухэ-Батора), К. Маркса, Литвинова и некоторые другие, хотя они и вписались в архитектурно-планировочную структуру исторического города и не видеть их было просто невозможно.

В предвоенное десятилетие Иркутск разрушал архитектурные шедевры и возводил постройки, олицетворявшие новые времена. К счастью, таких

построек было немного, подавляющее их большинство не противоречило иркутской архитектурной традиции.

И все-таки: новые времена, новые люди, новая мораль «...мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Романтика революционной новизны и социальной ненависти к прошлому пьянила и кружила головы и по примеру Великой французской революции не только провозглашала Свободу, Равенство и Братство, но и изобрела гильотину.

Происходившее в Иркутске было зеркальным отражением происходящего в стране. Величественный московский Храм Спасителя, воздвигнутый «В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия в верности и любви к Вере и Отечеству, какими... превознес себя народ Российский» в Отечественной войне 1812 года, был окончен строительством и освящен в 1883-м. Взорван 5 декабря 1931 года.

Аналогом ему для Иркутска был Казанский собор. История его возведения — одна из примечательных страниц общественной жизни города и заслуживает того, чтобы хотя весьма и весьма кратко, но привести ее здесь в выписках из летописи строительства².

Итак, 11 августа 1849 года «благотворитель города Иркутска миллионер-золотоприискатель Ефимий Андреевич Кузнецов... препроводил в распоряжение преосвященнейшего Нила, архиепископа Иркутского, 250 тысяч на постройку собора».

«Вопрос о построении нового собора в Иркутске был снова возбужден...» в 1866 году, когда капитал Кузнецова возрос³.

«Преосвященный Парфений... просил генерал-губернатора об избрании из всех сословий Иркутска представителей для обсуждения вопроса об отводе сколько потребуется места для безотлагательного начатия постройки... Генерал-губернатор отношением от 4 апреля 1873 года уведомил преосвященного Парфения, что в Комиссию для окончательного решения вопроса о месте построения нового собора избраны следующие лица из всех сословий: от дворян — действительный статский советник Сукачев и коллежский советник Веретенников, от купцов и почетных граждан 1-й гильдии — купец Михаил Михеев, от мещан — Захар Гуляев, от цеховых — цеховой Василий Гололобов. Кроме сего, признавая полезным участие в означенной Комиссии коллежского советника Большакова, в качестве члена совета Главного управления Восточной Сибири, иркутского полицмейстера подполковника Думанского и городского головы Хаминова, он поручил и им являться вместе с прочими в Комиссию. Председателем Комиссии был назначен и. д. иркутского губернатора действительный статский советник Эрн...»

² См.: «Иркутские епархиальные ведомости» за 1884 г.

³ Имеется в виду капитал, внесенный Кузнецовым на строительство собора.

«Комиссия пришла к убеждению, что самое лучшее и даже единственное для возведения нового соборного храма место есть, бесспорно, так называемая таможенная площадь...»

«Первый план и фасад нового собора с отдельной колокольной в Иркутске был составлен в 1866 году художником-архитектором Кудельским и 23 февраля 1867 года был высочайше утвержден... В последнем проекте, составляющем копию с прежнего, по наружности были прибавлены к высочайше утвержденному проекту только коридор, соединяющий собор с колокольною...»

«Размер предполагаемого к сооружению храма, как предложено по последнему проекту, на пять тысяч душ... Исаакиевский собор в Петербурге... размером... до восьми тысяч душ».

«Собор в Иркутске уже начат постройкой с 17 апреля 1875 года... Первым архитектором, приглашенным преосвященным Вениамином для наблюдения за постройкой Иркутского кафедрального собора, был инженер-капитан Огонь-Догоновский... Под наблюдением Огонь-Догоновского произведена была закладка собора и дальнейшая его постройка до пожара 1879 года, когда работы по постройке собора остановились по необходимости. Когда в 1885 году предложено было возобновить работы», Огонь-Догоновский уже служил в Кутаиси. Вместо него был приглашен «инженер-архитектор барон Розен, заведовавший строительной частью в Восточной Сибири».

«Под его наблюдением, по его чертежам и проектам собор не только благополучно окончен, но и получил в архитектурном отношении более прочный красивый вид...»

«Весной в 1893 году пожертвованы были деньги на устройство ограды и немедленно были составлены своими мастерами рисунки для ограды, железных решеток и ворот... железные решетки и ворота заказаны были... на Николаевский железоделательный завод Бутина, а устройство ограды... отдано было с торгов мастерам Дорохову и Лухневу...»

К осени 1893 года ограда была закончена постройкой и обсажена заблаговременно весной 1893 года внутри в два ряда кустами ели, пихты и сосны».

«Протоиерей Лебедев рекомендовал преосвященному академика Маркова, известного ему по своим живописным работам, и к письму приложил заявление академика Маркова, что он, Марков, согласен написать все иконы для главного иконостаса Иркутского кафедрального собора...»

«Св. иконы для остальных иконостасов в Новом соборе писаны в Иркутске иконописцем Кронбергом... Но не думаем, чтобы иконы, написанные г. Кронбергом, слишком резко нарушали гармонию по сравнению с иконами главного иконостаса».

«Напротив бывшей Кокуевской заимки (теперь дача В. П. Сукачева) устроен был колокольный завод, и вызван из Ярославля... колокольный

мастер купеческий сын Семен Шарыпников. Под его руководством отливка колокола была произведена 13 июля 1873 года в присутствии... множества зрителей... По поднятии колокола из ямы и очистке его на заводе в нем оказалось весу 1242 пуда и 28 1/4 фунта. Не считая материала... отливка его обошлась в 29 821 рублей 85 1/2 копейки...»

«В 1892 году устроено внутри собора восемь голландских печей... Комитет решил летом 1893 года устроить две калориферные печи в подвальном этаже собора... Внутренности печей решено было... сделать из огнеупорного кирпича, выделяваемого на фарфоровой фабрике Перевалова. Его потребовалось 12 тысяч... пол в Новом соборе согревался снизу калориферными печами».

По мере того, как приближался день освящения собора, стали поступать пожертвования на собор иркутских граждан.

«По своему центральному положению, по своей развивающейся торговле и промышленности, особенно по числу в нем учебных и благотворительных заведений, основанных на частные средства его граждан, Иркутск действительно заслуживает названия столицы Восточной Сибири. Мы думаем, что Новый собор по своей величине и благолепию, вместительности вполне достоин Иркутска как столицы Восточной Сибири и на долгое время будет служить его украшением. По отзыву всех, это один из лучших и величественных соборов, украшающих провинциальные города нашего отечества».

Полностью, до мелочей, законченный строительством и освященный 25 января 1894 года, Новый собор просуществовал на шестнадцать лет дольше того времени, которое потребовалось на его сооружение.

Предположение летописца о том, что храм на долгие времена будет служить украшением Иркутска, основанное на знании современной ему нравственной атмосферы города, оказалось зыбким. Оно не учитывало возможностей того вторжения в традиции города, которые предопределялись всеобщими социальными сдвигами в обществе, а в связи с ними и общими тенденциями в государстве, с одной стороны, а с другой — ростом числа носителей этих тенденций в Иркутске, где они пришли к городскому и окружному руководству на всех его уровнях.

Статистика свидетельствует: Иркутску потребовалось двадцать предреволюционных лет, чтобы население его выросло на сорок тысяч человек, в основном за счет железной дороги, торговли, чиновников и служащих, а также врачей, учителей, ремесленников и военных. Цифра этого прироста была «освоена» в последующем за три года (1931–1934), а за предвоенное пятилетие (1934–1939) прирост составил семьдесят три тысячи, и общее число горожан равнялось уже 243 000⁴.

⁴ Кудрявцев Ф., Вендрих Г. Иркутск: Очерки по истории города. Иркутск, 1971. С. 368, 371.

За два десятилетия (1917—1939) сто пятьдесят две тысячи человек сменили свою социальную среду, образ жизни и породили многие из тех городских проблем, которые не могли быть решены в эти же сроки, особенно в условиях предвоенного десятилетия с его трудными для страны экономическими, внутри- и внешнеполитическими условиями.

Несложно понять ситуацию, объяснявшуюся быстрыми темпами индустриализации, необходимостью ее в условиях постоянно ощущаемой опасности на границах, первоначально восточных, где после оккупации Маньчжурии (1931) Япония в последующем сосредоточила свою Квантунскую армию. Однако речь сейчас не о том, а о морально-психологическом климате города, который при столь быстром приросте населения не мог не претерпеть существенных изменений.

Теперь уже не интеллигенция — само слово это в те времена наиболее часто употреблялось не иначе как с определением «гнилая», а принадлежность к ней оценивалась как нечто уже само по себе подозрительное и неблагонадежное — определяла духовную суть города. Вожденная мечта молодого человека этих лет, осуществление которой открывало все двери, обеспечивало продвижение по службе и различные блага, выражалась словами песенки: «Дайте мне за все червонцы папу от станка».

С папой «от станка», а в силу промышленной отсталости в подавляющих количествах с папой «от сохи» приходила из вузов и с рабфаков интеллигенция новая, не успевшая еще расстаться с психологией своей социальной среды и полностью разделявшая официальные взгляды на историческое и культурное наследие. Именно в этой среде, «восполнявшей» недостаток образованности избытком самоуверенности, родились и на многие десятилетия стали критериями истины утверждения: «Народу это не надо, народ это не поймет», «Любой дворник (рабочий, крестьянин, деревенская бабушка) больше понимает в архитектуре (литературе, искусстве), чем гнилой интеллигент».

Ситуация лишь подтверждала: интеллигентность — это не диплом, не шляпа и не галстук в полоску. Интеллигентность — это состояние души.

Именно поэтому, и здесь это важно подчеркнуть, немалое число тех, кто приходил от станка, сохи и рыбацких сетей к жизни в городе и к умственному труду, и тогда, и позже, и теперь были и остаются подлинными интеллигентами в силу унаследованных ими лучших черт народного характера и народного мироощущения, обостренного чувства справедливости и порядочности. Однако в тех обстоятельствах они невольно оказывались в среде «гнилой» интеллигенции и вместе с ней на фоне репрессивного законодательства, окончательно сформировавшегося на взлете первой половины тридцатых годов, не могли противостоять официально санкционированному вандализму.

И вот, когда новый, но уже сегодняшний иркутский интеллигент, как

и в весьма давние уже годы, публично кидается на амбразуру, заслоняя собой от «непричесанных мыслей» вновь изобретаемую во имя блага народа гильотину, не мешайте ему: каждый поступает в меру своего разума, политического опыта и социальной психологии. Лишь чудак дважды спотыкается на одной кочке, но зато у него всегда есть случившемуся объяснение и причина.

Свои объяснения и причины, не будучи еще обремененным историческим опытом, но уже лишенный народного здравомыслия, он находил и в ту пору, когда рушились под взрывами не просто культовые здания, а памятники зодчества, строительного мастерства и народного умения, создававшие к тому же главную структуру профиля исторического города и его гордость.

Одновременно гибли прекрасные торговые здания, чей облик побуждал ставить их на главных улицах. Их не ломали взрывами и не надстраивали, как городской Совет или нынешний Институт народного хозяйства. Их «перепрофилировали». В одном разместили цеха обувной фабрики, в другом — швейной. С течением времени они, как и люди, на долгие годы попавшие в иную социальную среду, теряли особенности своего облика и внутреннего содержания. И все же нет-нет да и приоткрывалось внимательному глазу их забытое прошлое.

В здании обувной фабрики заделали некоторые дверные проемы или заменили их окнами, в швейной проделали то же самое, оброну балконы и со временем общими стараниями привели в негодность бронзовые ограждения витрин. И зданий, украшавших главную улицу и прилегающую к ней Пролетарскую, не стало. Нет, они оставались, просто щеголь сменил свою одежду на мятую кепку и спецовку и оборотил к сутолоке городского центра усталое и неумытое после смены лицо.

Помилуй Бог, за что же осуждать его? Не в кринолинах и фраках прошлого кроить ткани и тачать сапоги. Только ведь всякому делу — свое место. Вот о чем речь. И если когда-то «перепрофилирование» велось от великой нужды нашей, то более полувека спустя не пришел ли срок вернуться к истокам?

Вот так меняли лицо города предвоенные годы — в ликовании «богоборчества», взлете новых стен, кое-где с цоколями и колоннами из кладбищенского мрамора, в утрате наследия и деформации нравственности.

Война стала для Иркутска, впрочем, как и для всей страны, своеобразным порогом — временем испытаний, болей, отчаяния и, как ни странно, духовного возрождения. Кажется, впервые после Октября страна обратила свой взгляд в прошлое, к бессмертным подвигам предков, памятники которым столь безжалостно до этого разрушала. Она вдруг ощутила себя частью в общем движении поколений, лишь страницей в единой истории Отечества, начавшейся за тысячу лет до той временной границы, откуда

еще совсем недавно предполагала ее писать. И как за многие десятилетия до того, заступали путь нашествию сибирские полки и дивизии. Иркутск посылал сынов своих под Москву, где без малого полтора века назад иркутские гусары стойко держали правый фланг русских войск в битве под Бородино. Уходили по улицам на сборные пункты русские и татары, поляки, евреи и буряты, рабочие, интеллигенты и ремесленники — все одно иркутяне, земляки, сыны одного для всех Отечества.

А город принимал под свои крыши беженцев — белорусов, украинцев, прибалтов, сутками стоял у станков, гоня на запад технику и оружие, скудно кормился столовской «баландой», замерзал в заснеженных улицах и в прокаленных стужей комнатухах, пух от голода, но помогал как мог обездоленным, из последнего собирал деньги и вещи для фронта и победы. И жил. И учился в институтах и школах. И слушал музыку. И, стуча деревянными подошвами тряпичных башмаков, залатав выношенную одежду, ходил на выставки, на спектакли Киевского оперного с И. Паторжинским и М. Литвиненко-Вольгемут в заглавных ролях, и на оперетты театра музыкальной комедии, приехавшего из Горького на гастроли в марте сорок первого и оставшегося здесь навсегда, и на постановки иркутских драматического и ТЮЗа...

Я знаю свой город той поры не понаслышке. Я был мальчишкой, но был его частью. Я учился в его едва обогретых школах. Я стоял в очередях у его пустых магазинов. Я ходил с мамой, обессиленной от голода, далеко за город сажать картошку и вместе с мамой ждал осени, которая должна была накормить. Я видел в нем важных, сытых и нищих духом ворюг и казнокрадов, которые откупались от армии, а после войны сидели за решеткой. Не они определяли мой город, но они были, и я ненавидел их. Я ходил во Дворец пионеров, где иркутские художники-педагоги И. А. Шафер и Л. Н. Пушкарева учили меня рисовать. Я помню прекрасные спектакли и зрительные залы, расписной потолок кинотеатра «Художественный» и атлантов, поддерживавших портик кинотеатра «Гигант», где filmy приходилось смотреть в несколько заходов, потому что постоянно гас свет. Я помню тишину и шорох страниц в читальных залах Научной библиотеки, которая стала для меня, как и для мамы, вторым домом.

Я часть этого города от рождения, и его земля накроет меня в свой срок. И дотоле этот город военной поры будет жить в моей памяти как город-рабочий, город-кузнец и лекарь, город действительно интеллигентный, сострадательно принявший под свой кров не только многочисленных беженцев, но и радостно приветствовавший оказавшихся здесь в эвакуации многих выдающихся ученых из Москвы и Ленинграда, актеров, музыкантов и режиссеров Московского Театра сатиры, Ленинградского нового ТЮЗа, писателя Мстиславского, упокоившегося на его Лисихинском кладбище, и сам раскрывший свои истинные творческие силы.

В условиях военной скудости город жил и в едином счастливом порыве торжествовал Победу, встречая ее колокольным звоном двух сохранных и вновь открытых православных храмов.

Сегодня многие современники мои, ставшие иркутянами недавно, едва ли догадываются, что это в послевоенную пору, когда областным архитектором был коренной иркутянин Б. М. Кербель, на улицах города надстраивались и возводились здания, которые в ряду построек исторического центра воспринимаются как исконные, хотя они и отразили архитектурные искания своего времени. Именно тогда получили свой нынешний облик улицы К. Маркса, Сухэ-Батора и Ленина на ее протяженности от Института народного хозяйства до сквера Кирова.

Однако уже близились годы, которые стали порой второго наступления на прошлое, на историческую память и на не общее выражение лица наших городов. В Москве под пятой застекленных бетонных коробок со стоном и скрежетом рушился старый Арбат. Ансамбль древнего Кремля содрогался перед раздвигавшим его дворцы и соборы странным и чуждым им по духу и облику незванным пришельцем: из-под Кремлевского холма с пятнадцатиметровой глубины вырастал Дворец съездов...

В Иркутске эта пора началась воровским сносом «горбатого дома» по улице 5-й Армии — единственного образца деревянной жилой застройки XVIII века. Все остальное погибло в городском пожаре 1879 года. Протесты общественности и выступления печати на городской Совет воздействия не имели, но понудили его спрятать свое деяние в предутренний сумрак с тем, чтобы поставить город перед свершившимся.

Следом было продолжено разрушение существовавшего некогда архитектурного ансамбля центральной площади города, начатое в свое время взрывом Казанского собора с одной ее стороны и Тихвинской церкви — с другой. На месте зданий городской библиотеки, где позже располагался горно-металлургический институт, поднялось семиэтажное гостиничное сооружение, каких не счесть от Москвы до самых до окраин. В Москве «Юность», в Иркутске «Ангара», в Чите «Забайкалье», в Красноярске... в Улан-Удэ... Погибли надежды, что новый ансамбль главной площади города, откуда есть-пошел Иркутск, будет разработан с учетом разновременной архитектуры Дома Советов и здания «Востсибугля», заместивших храмовые сооружения, и с сохранением минувшего, осталось лишь здание биологического корпуса университета.

Напомним, что в деятельности местных архитекторов прошлого «сказалось заметное стремление к регулярным архитектурно-планировочным решениям, выразившимся в объединении отдельных зданий в единые комплексы, подчиненные общему композиционному замыслу при застройке отдельных площадей и улиц». В их «творчестве нашли отражение прогрессивные черты русской архитектурной школы начала XIX столетия, выразившиеся в

ансамблевой застройке городов и высокой архитектурной культуре зданий».

То, что было очевидно иркутским градостроителям начала столетия минувшего, оказалось недоступным городской архитектуре середины столетия двадцатого, мыслившей категориями сельской портнихи, собирающей лоскутное одеяло. Впрочем, и у той, пожалуй, обнаруживается больше эстетического вкуса, нежели у ее коллег от архитектуры. Именно их усилиями полтора десятилетия спустя, уже в пору нового наступления на город, окончательно затоптал двухэтажными ногами последние возможности центральной площади ископаемый мастодонт, порожденный «Иркутскгражданпроектом» в качестве пристроя к горсовету. Огражденный по тылу двухэтажных ног глухой кирпичной стеной в четыре этажа со стеклянной крышей (или чем там еще?), он стал венцом биения творческой мысли иркутской архитектуры, интересным лишь своим сказочным уродством.

Отныне иркутяне с полным основанием могут принимать соболезнования в связи с окончательно «сформированным» обликом их главной исторической площади, дарованной им в этом виде чиновной бездумностью и архитектурной амбициозностью одновременно. Эти два начала неотвратимо присутствуют во всем, что происходило и тогда, в конце пятидесятых и шестидесятые годы, и в последующем.

Зуд к переделкам, перестройкам, теперь уже под иными лозунгами, призывавшими сделать город исторический городом современным и высококультурным, после — к новому вандализму, которому не смогли противостоять ни робкие еще протесты общественности, ни здравый смысл, тем более что все это вновь творилось под флагом заботы о человеке. Хотя и заботы отрицать невозможно, потому что именно в это время впервые за всю послереволюционную историю было принято решение правительства о строительстве жилья как первоочередной задаче, и началась застройка Рабочего предместья и Лисихи, начал возникать бульвар Постышева.

Однако новое вторжение в исторический центр первоначально к этому решению никакого отношения не имело. Это уже позже пятиэтажный панельный, а затем и кирпичный стандарт и микрорайонная архитектура начали ломать его. А тогда все силы вторжения были брошены по другим направлениям: вслед за «горбатым домом» начали рушить заборы, а заодно и решетки исторических зданий. Перед устремленностью к современности и культуре рухнул кинотеатр «Гигант» — бывший Большой Дон-Отелло, отразивший в своем облике, внутреннем устройстве и интерьере целую эпоху в истории иркутского кинематографа. Все было сметено бездумным ураганом, перед которым не устояли и могучие атланты, державшие портик.

Серый, застекленный по фасаду куб, заместивший прежний «Гигант», согрел сердца приверженцев высокой культуры и увеличил число «посадочных мест». Одновременно разрушилась одноэтажная пристройка к Белому дому,

замыкавшая маленький скверик — важную архитектурную деталь этого охраняемого государством памятника архитектуры XIX века (1804). Вместе с пристройкой сносилась художественная решетка, ограничившая скверик со стороны улицы, и выкорчевывались деревья. От ограждения Белого дома, с которым связаны важнейшие страницы истории города разных времен, оставались для примера (чего?) два малых отрезка, что торчат ныне в обе стороны от фасада обрубленными крыльями, ничего не ограждая, но как бы взывая к милосердию и свидетельствуя о варварстве сие сотворивших. А уже нависал над памятником русского классицизма превышающий его этажностью и стандартно школьный по облику новый административный корпус университета.

Единообразие городского Совета с ограждениями шло повсеместно. И в улицах деревянной застройки, где после сноса заборов, ныне в подавляющем большинстве восстановленных, исчезли вместе с ними ворота и калитки, составлявшие неотъемлемую архитектурную принадлежность строений с той же резьбой, с коваными навесами, скобами и розетками. И в центре, где металлические решетки ограждали здания и скверы. Среди них не только решетка Белого дома, но и сада Парижской коммуны, ныне восстановленное ограждение Художественного музея и сквера на углу улиц Горького и Ленина, решетка у биологического корпуса университета на главной площади. В расчет не принимались ни архитектурная композиция кварталов, ни художественная ценность.

Примером может быть квартал от улицы Свердлова до Горького. Этот отрезок некогда выглядел так: здание авиатехникума, слева от него решетчатое ограждение Художественного музея со сквериком за ним. Справа от техникума такая же решетка ограждала городской скверик. Отрезок улицы был композиционно завершен.

Теперь ограждение музея было снесено, и сквер прорежен на аглицкий манер. Композиция квартала разрушилась: уступом от красной линии в глубь квартала — здание музея, по красной линии — здание техникума и справа от него — решетка, ограждающая городской скверик на углу Горького. Позже, поразмыслив, сняли и ее. Тем самым вернулась какая-никакая композиционная законченность: сквер-здание-сквер.

Позже, много позже, в канун 300-летия города, ограждение Художественного музея восстановили, но зато вымели бульдозерами городской сквер. На его месте теперь просторная бетонная пустыня с тремя «пальмами», за которой, как дурной мираж, возвышается глухими стенами на четырех ногах новое здание телерадио, где с плоской крыши глядят на все четыре стороны пустые и бессмысленные оконные проемы.

Композиция квартала вновь оказалась сломанной, конфигурация его в плане разрушена, бетонный «сквер» с тремя «пальмами» в знойный полдень напоминает пекло. Зато отовсюду видна новая, с позволения сказать,

«иркутская» архитектура, шагающая своими многотонными ногами по историческому центру, по всей архитектурно-планировочной структуре старого города. Открыть ее изумленному взору было важнее всего остального.

Но это уже одна из страниц более позднего, третьего, хотя и связанного с предыдущим, вторжения в исторический город. В конце пятидесятых и в шестидесятых годах исправление его лица не общего выражения шло, кроме уже обозначенных направлений, еще и за счет уничтожения отдельных деталей старых построек. И на все были свои «убедительные» причины: там погнили балки, здесь архитектурные детали старых зданий не вписывались в некий творческий замысел. Скольких балконов, навесов, ограждений крыш лишились давние постройки. Был снят навес в восточном стиле над входом в магазин игрушек. Созданный в более позднее время, он тем не менее был немаловажной деталью фасада, передавал духовную сущность города, и утрата его сделала всю постройку безликой. Было покончено с овальным угловым балконом над входом в кинотеатр «Хроника», с балконами на здании на углу Пролетарской и К. Маркса, прилегающем к скверу с памятником В. И. Ленину. Стена, где располагался один из них, занята ныне «высокохудожественным» бетонным панно «Интернационал», которое, по сообщениям местных идеологов и градостроителей, более соответствовало месту, нежели восстановление этой части фасада в первоначальном виде...

И все же за памятью о наших утратах не будем забывать о наших приобретениях. Ведь были и они. Именно в эти годы одевалась в бетон Вузовская набережная, высаживались лиственницы и березы, превращая ее в одно из самых красивых и любимых иркутянами мест.

На грани сороковых и пятидесятых строилась первая очередь стадиона «Труд», было покончено с примыкавшей к нему дезобаней, а в последующие годы это место обрело современный вид.

За давностью лет не будем полагать, что всегда был остров Юность и всегда росли на нем деревья и кустарники, были проложены дорожки и расставлены скамейки. Годы его рождения — конец пятидесятых — шестидесятые. Еще и в семидесятых здесь шли работы. Продолжаются они и сейчас, делая остров счастливым обретением старого Иркутска.

В конце концов и сквер Кирова — детище тех лет, рожденное на месте площади, усыпанной щебенкой из соборного кирпича.

Так что, печалась об утратах, не будем забывать о наших обретениях. И то и другое продолжало тенденции предвоенного десятилетия и соседствовало, как в горячечном кошмаре. Ведь одновременно с рождением новой благоустроенной и зеленой набережной и сквера Кирова были сметены погребения Иерусалимского кладбища и началось наступление на исторический центр панельного и кирпичного пятиэтажного стандарта. По улицам Декабрьских Событий, Володарского, Литвинова, Свердлова, Халтурина и многим другим вздымались его стены, нередко соприкасаясь

со зданиями и постройками историческими, чуждыми столь странному соседству. Именно в это время казарменные по облику постройки начали вытеснять целые кварталы исконного центра, наступая на него из микрорайонов, где для них в достатке оставалось места.

Почему могло быть такое? Чего не хватало тем, кто определял и санкционировал все это? Знаний? Сомнений в непогрешимости своих решений? Культуры сердца и ума? Ощущения того, что ты пришел в мир из прошлого и оставишь его для будущего? Что ты лишь мгновение в движении поколений и твои возможности ограничены и определяются в конечном итоге совестью и порядочностью? Так чего же им не хватало?

Что двигало ими? Убежденность, что все это ко благу? Что им неизвестно кем дано право решать проблемы города за счет исторической памяти народа? Что прошлое — это прошлое, а настоящая история начинается лишь с их приходом?

Но даже такие взгляды не могут объяснить всего содеянного, например, с Белым домом, столь это бессмысленно. Однако и бессмысленности той должно быть свое объяснение. Так в чем же оно?

И все-таки подлинное бедствие ожидало старый город впереди. По времени оно совпало с отнесением в 1970 году Иркутска к числу наиболее значительных исторических городов. Именно тогда в институте «Иркутскгражданпроект» и управлении главного архитектора города возобладали взгляды на исконный исторический центр как пространство. Наиболее концентрированное выражение эта концепция нашла в беседе главного архитектора «Иркутскгражданпроекта» В. Павлова со студентами-архитекторами Иркутского политехнического института. Полное представление о ней дает приводимая ниже выдержка из фонограммы этой беседы (хранится у доцента института В. Т. Щербина).

Сибиряки «жили в грязи и навозе, в вони. Сообразно с этим и архитектура была такая же, — утверждал т. Павлов. — В Иркутске ценность проявляется для меня не в наличниках. Извините, наличники-то у нас дерьмецо, да и домики-то — извините. Я не знаю ни одного деревянного дома, который бы представлял ценность... Но зато у Иркутска есть одно качество, которое обладает исключительной ценностью, — это пространство».

Расшифровывая, уточним: пространство, на котором располагается исторический центр.

И далее:

«Почему жалкие останки, затерявшиеся среди заводских труб, жалкие останки этих самых... церквей наших мы стараемся всеми правдами и неправдами сохранить? То есть не занимаем ли мы формальную позицию? И, впрочем, антихудожественную. Думаю, занимаем».

«Критерий только в одном: меняем ли мы это сооружение на более интересное (? — А. Ш.) или меняем его на менее интересное... Может

быть, нужно ту панораму, которая сегодня сложилась, сломать и сделать новую?»

«Не надо переоценивать общественные обсуждения. Люди, не являющиеся специалистами, не могут понять».

Нет нужды комментировать сказанное. При этом трудно даже допустить, что главный архитектор проектного института не знал, что «город — это всегда определенная, веками сложившаяся ситуация», что «квалифицированные градостроители всего мира обычно стремятся сохранить отличительные черты этой ситуации: силуэт города, характерные его приметы, очертания улиц и площадей, наиболее типичные сочетания объемов, фактур, окрасок. В связи с этим во многих исторических городах существуют жесткие условия возведения новых зданий, требующие сохранять ритм, объемы и планировку». Знал, конечно, да не то его заботило.

Концепция архитектора Павлова, всецело поддерживавшаяся архитектором города Бухом, состояла в том, чтобы на пространстве, занятом историческим городом, построить новый город, такой, таким он им виделся. А каким он им виделся, мы уже сегодня легко просматриваем на отдельных участках старого Иркутска, где эту концепцию удалось осуществить. Но об этом позже.

Сейчас же чрезвычайно важно подчеркнуть: амбиции, которые возобладали среди тех, кто определял судьбу исторического города в последние два десятилетия и стремился на его месте строить свой город, находились в антагонистическом противоречии с позициями общественности, от которой оба «главных», как щитом, прикрывались утверждением: о работе архитекторов могут судить только специалисты, «люди, не являющиеся специалистами, не могут понять».

Но при чем здесь специалисты, если вся проблема находилась и продолжает пребывать не в области подходов к архитектуре, а в сфере нравственной. К тому же не выдерживают критики и взгляды, утверждающие превосходство специалиста перед иными прочими, к этой профессии не принадлежащими. С ними можно было бы мириться, если бы архитекторы строили для себя, для себя писали художники, литераторы и музыканты, для себя тачал сапоги сапожник и пек пироги пирожник. В конце концов искусство для искусства может существовать, но как может существовать архитектура для архитектуры с той минуты, как разработки на ватмане становятся реальностью и эта реальность вторгается в жизнь, на уровне младенческого мышления предполагая возможным заменить собой многовековую историю. Все дело, мол, в том, «меняем ли мы это сооружение («жалкие останки церквей наших») на более интересное или меняем его на менее интересное».

Можно было бы не спорить с архитекторами и проектировщиками, если их искания оставались лишь в чертежах и рисунках или осуществлялись

вне черты исторического центра с одобрением их коллег, к чьим суждениям собратья по архитектурному руководству города только и считали возможным прислушиваться. Впрочем, и эти суждения, как по отдельным творениям т. Павлова и его школы, так и по концепции застройки в целом, были, мягко говоря, неблагоприятны. К ним с неизбежностью придется обратиться при взгляде на то, что сегодня, покинув Иркутск и уйдя в отставку, оставили иркутянам преобразователи от архитектуры и бюрократии. Да, да, и бюрократии, потому что без ее добра не то что квартал старой застройки снести, лист с дерева обронить было невозможно. И напротив, по одному мановению начальственного перста рубились не листья, но деревья по всей протяженности улицы Ленина: оголенный ее вид был для Иркутска противоестественен, но для глаза занесенного из иных краев недолгого руководителя области — привычен.

В те времена он стыдливо пожимал плечами в беседе с автором этих строк, ссылаясь на незнание и произвол горзеленхоза. Главный дендролог и озеленители застенчиво утверждали, что тополя вдруг разом заболели по одну и другую сторону улицы, которой следовал на службу и обратно высокий руководитель. Эпидемия носила организованный характер: она косила деревья вдоль тротуаров, но не трогала их в нескольких метрах от этой линии — в скверах. В тот же год она готова была поразить деревья на соседней улице Горького, где они уже были подсечены и некоторые погибли, но неожиданно, после того, как Совет по экологии и культуре творческих союзов (был тогда такой) провел встречу, сведя на ней заинтересованные стороны и в том числе врачей-аллергологов, отступила. И тополя остались жить.

Не-ет, недооценивать указующий перст в таком деле, как сохранение исторической памяти, непозволительно. Потому что в конечном итоге именно этот перст, называвшийся в свое время волеизъявлением народа, указывал то на Казанский собор, то на первое гражданское кладбище в Иркутске, понуждая в соответствии со своими представлениями о нравственности и общественной пользе крушить памятники и устраивать на могилах танцплощадки. Это он указывал на имена улиц, и глас городского Совета единодушно постановлял: «отныне именовать...»

Однако из чего же в конце концов складывается исторический город, если понимать его не как отдельные постройки, почитаемые памятниками истории и культуры, не отдельные улицы и их части, считающиеся «охраняемыми зонами», — все это есть в любом городе, и не отнесенном к числу исторических.

Ответ, на мой взгляд, общеизвестен: исторический город — это сочетание ландшафта, сложившейся архитектурно-планировочной структуры, силуэта, внешнего облика и, в частности, исторически сложившегося сочетания объемов, наконец, памяти, заключенной в названиях его улиц, площадей и т. д.

При всем при том он должен быть удобен для жителя, обеспечивая его население всеми достижениями современной цивилизации, которые характерны для новых микрорайонов.

Исходя из этого, сегодня со всей обоснованностью можно утверждать: на протяжении времени, но особенно с того момента, как возобладал взгляд на исторический город как пространство, все компоненты, его составляющие, понесли столь ощутимый урон, что говорить об отдельных его значительных частях как городе историческом стало невозможно.

Наименее пострадал (пока что) ландшафт. Все остальное подверглось чудовишной деформации.

Планировочная структура сохранялась Иркутском на протяжении веков. Стоит вспомнить, что существовал архитектурно-планировочный чертеж Иркутска, и не один, что они рассматривались в авторитетных петербургских комиссиях и министерстве. Характерно, что несмотря на различные проекты перепланировки города, составленные в 1780, 1781 годах, в которых предлагалось изменение структуры улиц и площадей, высочайше был утвержден план, предполагавший полное сохранение исторически сложившейся планировки.

Знаменательно, что почти одновременно были даны указания, требовавшие застраивать улицы так, чтобы создавалось стильное единство. Департамент государственного хозяйства придирчиво следил за тем, какие здания общественного назначения предполагалось возводить в центре. Именно туда отправлялись на экспертизу все проекты подобных сооружений для их оценки, а иногда и переработок, с тем, чтобы они могли «изящному вкусу должным образом отвечать».

За свою историю Иркутск многожды горел большими и малыми пожарами, когда выгорала значительная часть исторического центра, утрачивались более старые постройки и на пепелищах возводились новые. И все-таки план города оставался таким, как он складывался во времени. Лишь в последние два десятилетия — а они оказались губительнее минувших бедствий и столетий — многое в этом отношении оказалось сломано: меняется обрисовка кварталов, улицы и переулки растворяются в ничем не ограниченном сквозном пространстве, безликая застройка и гигантомания не только меняют внешность исторического города, но уничтожают его.

Сегодня в Иркутске уже не найти ни одной улицы, которая убереглась бы от этих градостроительных бедствий. Исчезли на значительной протяженности под безликой застройкой улицы Красногвардейская, Ямская, Успенская, часть Подгорной, погиб, как не был, квартал, ограниченный улицами Красногвардейской, Декабрьских Событий, Ф. Энгельса. Его заменило установленное дугой по диагонали гигантское многоэтажное здание с билетными кассами и магазином радиотоваров на первом этаже.

Никого не смутило его соседство с будущим декабристским комплексом, вобравшим в себя коренные строения этой части города.

То же самое произошло в предмостной части города, где «новая архитектура» загнала в угол сохранившуюся Троицкую церковь и, с благословения главного архитектора города, превратила набережную и примыкающую к ней Российскую, а также часть С. Разина в музей архитектурных экзерсисов градостроителя Павлова, с размахом осуществлявшего здесь, как и по улице Декабрьских Событий, свою тактику исторического города как пространства, подобную нацистской тактике выжженной земли.

Именно она была привнесена и в реализацию так называемого культурного центра, примыкающего к бывшему Иерусалимскому кладбищу, над которым крутятся «чертовы колеса». Соседство этих двух «культурных зон» символично, ибо культурный центр — это продолжение тех же нравственных тенденций, но иными средствами. С завершением строительства здесь музыкального театра — здания вполне современного, типового, железобетонного, облицованного мрамором и получившего у иркутян еще в процессе строительства прозвище «саркофаг культуры», — предполагалось полное уничтожение прилегающей к нему улицы Седова. Той самой улицы, которая именовалась некогда Заморской, потом Верхне-Байкальской и Верхне-Амурской. Отсюда она сбегает к тому месту, где на стрелке двух улиц в свое время были воздвигнуты Амурские ворота в память присоединения левого берега Амура к России и подписания с Китаем Айгунского договора.

Именно у этой триумфальной арки, со словами «Дорога к Великому океану» на фронте, встречали иркутяне в 1858 году русское посольство во главе с генерал-губернатором Восточной Сибири графом Н. Н. Муравьевым. От того времени пошло и название улицы — Верхне-Амурская.

И вот теперь ее предполагалось заменить путепроводом, уничтожив все постройки. От Крестовоздвиженского храма и дальше должна была лечь «зеленая зона». Над путепроводом предполагалось повесить пешеходные виадуки. Широоченные лестницы должны были вести от музыкального театра и других странных в облике своем учреждений культуры к этим виадукам и от них дальше, на ул. 3-го Июля, бывшую Нижне-Амурскую.

В потрясении грандиозностью преобразований забыли о мемориальной среде, в которой размещается памятник архитектуры Крестовоздвиженская церковь, рукой махнули на разрушение структуры улиц. До того ли было. Подсчитывали, сколько потребуется для осуществления эпохального замысла архитекторов Воронежского и Павлова бетонных и мраморных плит, больших и малых, и во что это обойдется. В денежном выражении. Во что эта гигантомания обойдется исторической памяти, не подсчитывалось. Невозможно. Деньгами такие вещи не измеряются.

И как эту историю не связать с историей Поклонной горы в Москве. Той самой Поклонной горы, где некогда Наполеон безуспешно ждал ключей

от нашей столицы. В осуществление размашистых проектов ее порядком срыли, а сейчас придется восстанавливать в прежних очертаниях.

Иркутск и Москва. Но как и раньше — события одного ряда, вот что тревожно.

Не менее тревожно и то, что, как показывает опыт последних десятилетий, общественность узнает о градостроительных преобразованиях в историческом центре уже после того, как эти преобразования воочию явятся миру.

На сей раз удалось приостановить уничтожение мемориальной среды памятника архитектуры Крестовоздвиженского храма, хотя в остальном впечатляющий проект уже не мог быть до конца изменен.

Секретность, сокрытость от иркутян оставались основой стиля работы городской архитектуры и в условиях гласности. Город узнавал о происходящем лишь после того, как бульдозеры тут или там начинали крушить постройки и на мир ощеривалось тринадцатой улыбкой очередное чудо. Именно так происходило вторжение в слободскую застройку по шести улицам Солдатским, именно так в канун 300-летия города явил себя взору предмостный бастион Кировского района. Возводили его в спешке, будто под огнем неприятеля. Бетонный бруствер, приспособленный для кругового обстрела, а над ним — три решетчатые металлические дуги, то ли для всеобщего недоумения, то ли для крепления боевых штандартов или сушки подмоченных авторитетов.

В бетон этого редута замурованы сотни тысяч рублей, вера в эстетический вкус проектировщиков и хозяйственную мудрость тех, кто давал добро на это сооружение.

И все-таки, несмотря на «монументальность», век бастиона будет недолог. Уже срезаны дугообразные металлические конструкции. Кто-то постиг их уродство, но решил вместе с тем «облагородить» предмостный редут, облицевав его мрамором. Облицевали. Вбили в пустую затею новые немалые деньги, но уродство не стало от этого привлекательнее. И вот, когда застучат отбойные молотки, круша бетон и добавляя расход средств на пустую затею, кто их возместит в народную казну, с кого они взыщутся? Да ни с кого. Виноватых, как всегда, не будет. А на нет суда нет. Вот так вот.

«Вряд ли можно признать удачным проектное предположение «Иркутскгражданпроекта» по застройке набережной Ангары. Гигантские, грубые по форме здания, совершенно не характерные для Иркутска, входят в контраст со сложившимся изящным силуэтом историко-мемориального комплекса». Это сказано в специальном журнале «Советская архитектура» (1981, № 8). В том журнале, который является голосом специалистов, тем единственным, к чему, по словам их, готовы были прислушиваться В. А. Павлов и В. Ф. Бух. Между тем проектное предложение, о котором

идет речь, было воплощено в жизнь все в тех же условиях безгласности, секретности и профессиональных амбиций, ибо, как заявил главный архитектор проектного института студентам политехнического института: «Я сделал такой дом, который нам (?) нужен. Мы делаем такую архитектуру, какая, мы считаем (!), нужна» (?).

При «...застройке площади Кирова... из-за включения в ее окружение безликих зданий, чуждых исторически сложившейся среде, нарушилось гармоническое единство центрального ансамбля города. Чужды также окружающей среде масштаб и архитектура торгового центра...» — это отсюда же.

Однако и оценки специалистов не останавливали наших братьев архитекторов. При чем здесь среда, при чем «силуэт историко-мемориального комплекса»? Они строили новый город на пространстве этого комплекса. Некий Павловдар или Бухенбург.

Воздвигнув там-сям по историческому центру здания повышенной этажности: свой собственный институт «Иркутскгражданпроект» и павловский «дом на набережной», корпуса Института народного хозяйства на К. Маркса и вычислительного центра на Дзержинского, «Иркутскагропромстрой» на Декабрьских Событий, превышавшие на полдесятка этажей фоновую застройку, они повели речь о том, что нужно создавать силуэт исторического города (?!), нужны вертикали, настала пора воздвигать высотные здания в 15, 20 и более этажей. Без них-де Иркутск не получит своего облика. Иркутск? Или то, чем его хотели заместить? В качестве первой такой «вертикали» хотели с помощью зарубежных фирм воткнуть на предмостной площади гостиницу для зарубежных туристов. Проект ее работался все в том же институте. Может быть, работается и до сих пор.

Затем, рассуждал еще несколько месяцев назад, незадолго до своего ухода, городской архитектор, мы поднимем вертикали в районе центрального рынка и еще в нескольких местах. Чтобы избавить улицу К. Маркса от транспортного потока, мы пробьем улицу Горького от Пролетарской дальше до ул. Декабрьских Событий...

То есть через здание обувной фабрики и дальше по живой ткани квартала, застроенного в конце прошлого, начале нового века кирпичными зданиями.

Полет фантазии и умение не считаться ни с чем и ни с кем в осуществлении собственных взглядов и концепций более всего характеризовали деятельность архитектурного руководства города в этот период. А уже слышались в прессе встревоженные голоса специалистов:

«Застройка последних десятилетий вполне заслуженно воспринимается чем-то вроде архитектурного бедствия, затопившего новые города и реально угрожающего городам старым», — утверждал на страницах «Литературной газеты» (1987, № 10) архитектор Д. Хмельницкий.

А в Иркутске, несмотря на отъезд В. А. Павлова, все еще продолжали

мыслить прежними категориями и осуществлять строительство задуманного им города.

«Мы с ужасом обнаружили, что микрорайонная архитектура со старым городом несовместима и прямой контакт (даже он. — *А. III.*) старых и новых районов чреват для первых самыми катастрофическими последствиями».

А в Иркутске микрорайонная архитектура и планировка продолжали не просто соседствовать с историческим городом, но вторгались в него, растворяя в себе отдельные районы.

«Судьбу самых важных в градостроительном отношении, а в идеале и всех крупных зданий, должны решать конкурсы. Так делалось у нас до начала тридцатых годов...» — утверждал автор «Литературной газеты», с которым невозможно не согласиться. Хотя утверждение это относится к новым городам, оно должно быть принято как незыблемое для города старого.

А в Иркутске все еще мыслили категориями административно-командной системы, настаивая по примеру бывшего секретаря горкома т. Демещика: «Все надо перестраивать. Все. Надо доверять специалистам, специалисты лучше вашего разберутся». И это при том условии, что именно специалисты, но не иркутяне, повязанные в то время единой концепцией, а москвичи и ленинградцы в своих оценках и взглядах уже давно были солидарны именно с общественным мнением. Поддержка градостроительной концепции местных архитекторов безоговорочно осуществлялась недавними городскими и областными руководителями, полагавшими, что по центру нужно строить и девятиэтажный жилой стандарт, спускающийся ныне по ул. Партизанской в живую ткань центра, и уж вне всякого сомнения — все, что предлагалось «Иркутскгражданпроектом» и управлением главного архитектора.

Взгляды городского Совета, открывшие в шестидесятые годы исторический центр для застройки его единственным в то время пятиэтажным кирпичным и панельным стандартом, мотивировались гуманными соображениями (помните гуманные соображения при взрыве храмов и создании танцплощадок на кладбищах? Теперь они тоже были): надо дать людям современное жилье (будто кто-то мешал дать такое жилье в центре при условии индивидуального конкурсного проектирования), надо убрать развалюхи (будто кто-то, а не эти самые деятели своим небрежением к исконному деревянному фонду города, державшемуся многие годы без капитального и текущего ремонта, превратили многие постройки в эти самые развалюхи).

«Из «развалюх», реставрационных и поддерживаемых, в основном составлены многие известные города мира: Венеция, Брюгге, Берген, Веймар, Суздаль, Бухара и многие, многие другие. Или кварталы больших городов, таких, как Лондон, Париж, Прага, Будапешт, Стокгольм, Рим. Ста-

рые строения определяют облик и гордость Ленинграда, Риги, Таллина, Львова. Да и Москва все еще гордится не тем, что прошло, а тем, что уцелело», — писал в «Правде» (1987, № 83) народный художник РСФСР Е. Куманьков.

В семидесятых-восемидесятых годах массовый снос деревянных построек определялся уже концепцией пространства, а также утверждениями т. Павлова: «Если я говорю о старых домах, то надо учесть, что ни один из этих домов не делался с градостроительных позиций (?). Я не знаю ни одного деревянного домика, который бы представлял ценность... Деревянные дома не могут существовать при подводке к ним тепла, водопровода и канализации. За два-три года они сгниют».

И это утверждалось вопреки тому, что уже многие десятилетия на старинных улицах — Горной, Володарского, Красноармейских и других — стоят деревянные особняки и флигели, снабженные и теплом, и водой, и канализацией, и газом, и ванными, из которых люди не хотят уезжать в панельные многоэтажки микрорайонов.

Создавалось ощущение, что взгляды на деревянные постройки как на «развалюхи» (а сколько было снесено прекрасных деревянных построек, еще не приблизившихся к стадии «развалюх») устраивали тех, кому надлежало за ними следить и содержать их в порядке. Ведь за все время руководства иркутской архитектурой тт. Бухом и Павловым не были проработаны возможности сохранения деревянных улиц с условием их реставрации и создания удобств. Но зато были созданы проекты малоэтажных домов, напоминающих прибалтийские риги, призванные заменить интереснейшие постройки из дерева и растворить усадебную планировку городского центра.

«Строительство в историческом центре сегодня формирует стихия», — писал я некогда. Не-ет, не стихия его формировала, как все более и более очевидно становится сегодня, в пору горьких и запоздалых сожалений, когда вновь и вновь задаешься вопросом: как такое могло случиться?

Как могло случиться, что еще два года назад на встрече в облисполкоме архитекторы во исполнение все той же концепции пространства заявляли: «Один из вариантов формирования (?) центра Иркутска (заметим, того самого центра, который формировался исторически столетиями. — *А. Ш.*) предполагается начать с застройки улиц С. Разина и Декабрьских Событий», к тому времени уже в значительной степени застроенных «новой железобетонной архитектурой», а им благосклонно кивали: прекрасно, прекрасно, формируйте на здоровье! Что же, те, кто кивал, не видели, не размышляли, не знали? Или им было все равно?

Ответ на эти вопросы частично уже был дан. Остается добавить, что хотя интеллигенция все более решительно сопротивлялась официально санкционированному архитектурному разбою в историческом центре, она

тем не менее, с одной стороны, в какой-то степени была скована робостью перед «санкциями» партийно-административного аппарата, чтобы суметь консолидировать усилия, а с другой — в значительной своей части по ранее названным причинам сама исповедовала официально взгляды на существо проблемы и в этом смысле лишь повторяла ситуацию времен борьбы с «религиозным дурманом».

Не подлежит сомнению, что и областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в своих подходах на всем протяжении времени занимало нерешительные позиции. Все эти годы его архитектурная секция была озабочена составлением перечня памятников в историческом городе, который сам по себе является памятником и архитектуры, и культуры, и строительного мастерства, и, наконец, истории. Перечень рос и, естественно, продолжает расти, раздражая городской Совет, который готов признать то одно, то другое количество памятников с тем, чтобы все остальное можно было сносить и строить, не трогая лишь мемориальной среды и охранных зон — своеобразных резерваций, превращаемых в структуре единого памятника — исторического города — в своеобразные музейные зоны.

Между тем стоило лишь признать, что памятником является сам исторический город с его ландшафтом, архитектурно-планировочной структурой, внешним обликом, исторически сложившимся наименованием улиц и переулков, — а именно в этом и смысл самого понятия «исторический город», — как вся ситуация становилась и контролируемой, и управляемой, не допускающей самой возможности того, что произошло. И ВООПИК уже не пришлось бы составлять списки «памятников в памятнике», а надлежало определить, что в старом городе подлежит сносу и новой застройке на основе конкурсных проектов при безусловном сохранении единой, веками сложившейся структуры, объемов и т. д., что ждет реставрации с заменой отдельных мест новыми постройками, соответствующими окружающей среде, где и что позволено возводить в условиях исторического города.

Именно при таких подходах отпали бы как ненужные рассуждения о необходимости сохранения мемориальной среды памятников истории и культуры, и создание архитектурных резерваций на крохотном участке единой улицы, как это случилось, скажем, с улицей Грязнова, часть которой охраняется, а на центральном отрезке новая архитектура растолкала ногами косокрыших жилых построек слободскую усадебную застройку, прорезав квартал поперек. Не произошло бы и той бездумной застройки унылым пятиэтажным стандартом старинных кварталов, которая осуществлена (как всегда, из самых благородных побуждений) в районе исчезнувших под ней улиц Кузнецкой, Ямской, Красногвардейской. От прежнего облика этих улиц, как бы в напоминание того, что на что поменяли, остался лишь двухэтажный «кружевной дом», памятник деревянной

архитектуры последней четверти минувшего столетия, поставленный в полном одиночестве и к тому же без ворот, двора и надворных построек к пятиэтажному казарменного облича кирпичу, как к стенке.

Пли! — и падет последний из могикан, единственный из подобных себе (а я знал эти старые улицы не понаслышке), оставшийся от Иркутска на пространстве пяти прилегающих к нему казарменных кварталов.

Пришла пора считать раны и менять подходы к историческому городу. Настало время объединять усилия иркутян, верных духовным традициям города, чтобы сохранить то, что еще можно сохранить. Подошел срок возвращать городу, насколько это возможно, тот облик, который складывался многими и многими десятилетиями и удачно дополнялся в последующем, бросив силы на сохранение, реставрацию и благоустройство, на снос лишь того, что не может быть не снесено.

Сегодня стараниями реставраторов и энтузиастов обрели первозданный вид старые храмы и старинные здания — гордость подлинной иркутской архитектуры, опровергающие собой досужие суждения заезжих снобов, которые вершили расправу над историческим городом. Однако еще ждет своего срока Белый дом. В сегодняшнем виде — он наша боль и наша вина перед потомками, памятник не архитектуры и истории, но памятник нашей бездуховности и вседозволенности, потому что если можно так обойтись с одной из ценнейших построек старого города, охраняемой к тому же государством, значит, можно все. Именно на этой первооснове взросло отношение к историческому городу как к пространству. И не будем на это закрывать глаза.

Пора перейти к реставрации и благоустройству района слободской застройки и других старых улиц, не позволяя более вторгаться в них ни одному сооружению, которое бы разрушило их структуру и диссонировало с окружающим.

Не охранные зоны, не отдельные постройки, а старый город во всей его полноте должен стать предметом забот ВООПИК и всех иркутян. И пусть вернутся к нему старые названия улиц. Без этого исторический город немислим.

Названия эти, как и сами улицы, хранители нашей памяти. Одни из них получили свои имена в зависимости от того, куда вели: Заморская, она же Амурская, Якутская, Луговская; другие — по своим особенностям: Большая перспективная, или просто Большая, Подгорная; третьи именовались по именам храмов, на них находящихся: Троицкая, Тихвинская, Преображенская, Успенская, Харлампиевская; иные — по тому, кто жил на них изначально или что было самым приметным на них: Казачья, шесть Солдатских, Мастерская, Ямская (не от ям и ухабов, а от ямщиков, ямщицы), Почтамтская, Арсенальская. Отдельные улицы носили имена купцов и знатных граждан города: Баснинская, Пестеревская...

Время борьбы за советскую власть привнесло в названия улиц свои особенности: Троицкая стала улицей 5-й Армии, Ланинская — улицей Декабрьских Событий, появились улицы Красного Резерва, Красного Восстания, Сибирских Партизан и другие, отражающие события эпохи. Вместе с тем послереволюционное время породило сплошное переименование улиц по единому принципу во всех городах. Сегодня в каждом, начиная от Москвы, есть улица или проспект К. Маркса, Ленина, во многих сибирских и дальневосточных городах — Постышева, Тухачевского, Богграда, Кирова, Дзержинского, Свердлова, независимо от того, были ли эти деятели революционного движения и Гражданской войны связаны с ними. За теми хлопотами Почтамтская стала улицей С. Разина, а Луговая — улицей Марата. Появились улицы, названные именами тех, кто оставил заметный след в истории города и края: Каландаришвили, Литвинова, Ядринцевская.

Некоторые улицы переименовывались многожды. Бывшая Русиновская становилась улицей Коминтерна, а позже Байкальской. Бывшая Дегтевская была названа именем летчика иркутского авиаотряда Доронина, принимавшего участие в спасении челюскинцев, а позже вдруг стала Российской. Появились улицы Киевская и Богдана Хмельницкого, а Кузнецкая превратилась в улицу И. Уткина, как и Мастерская — в улицу М. М. Кожова.

Казалось бы, ясно: в названиях улиц — история города, его прошлое, так же как в его планировке, архитектурных ансамблях и отдельных постройках. По их названиям можно проследить весь путь города по времени. И если появление после Октября наименований, связанных с конкретными событиями, было оправдано и не нанесло ощутимого ущерба исторической памяти, а лишь укрепило ее, то в последующем и здесь проявились общие тенденции нивелировки, беззастенчивого вторжения в прошлое, убеждение, что история начинается с нас.

Переименовывались в стране не только улицы и площади городов, но и сами города: Нижний Новгород становился Горьким, Тверь — Калинин, Вятка — Кировом. А рядом с ними, как бабочки-однодневки, выпархивали города Ежов, Рыков и др.

Каждое новое событие в стране влекло за собой переименование старых улиц, будто не доставало для этого новых или была необходимость переименовываться немедленно. Чем уж столь необходимым объяснить превращение бывшей Университетской, а затем Вузовской набережной в бульвар Гагарина, а Кругобайкальской — в улицу Терешковой?

Будто асфальтовым катком прокатываемся по своему прошлому, выглаживая из него все, что делает нас частицей истории. И только когда беда нависает над домом, начинаем взывать к нашей памяти, вспоминать традиции Отечества нашего и городов его. А не случится ли когда-нибудь в будущих поколениях так, что уже и взывать будет не к чему, и вспоминать нечего?

Вот почему, когда сегодня с разновысоких трибун и в печати нам предлагают помнить одно и не помнить другое, взгляд наш вновь обращается к отдаленному и недавнему прошлому, когда и такое уже было. И с тех же самых позиций и с позиций, им диаметрально противоположных. Было и ушло в небытие.

Историческая память не может быть выборочной, хранящей одно и отвергающей иное. Ее не может быть больше или меньше. Она или есть, или ее нет. Все остальное — лишь проповедничество социальной и иной прочей самости, даже если прикрывается она именем Господа, ее не приемлевшего. Идти этим путем — значит идти в никуда. Альтернатива этому — возрождение исконного нравственного духа интеллигентных и мастеровитых городов наших, возвращение им историей данных имен, историей данных наименований площадей и улиц. Все остальное пусть найдет себе место в новых микрорайонах. Они сами станут когда-то историей, как и те имена, которые мы дадим там.

Всему свое время.

Еще недавно оно было не только порой запоздалых сожалений, но вместе с тем ожиданий и надежд: новое руководство пришло в институт «Иркутскгражданпроект» и управление главного архитектора города. И вдруг...

На обсуждении в ВООПИК проекта одной из новых и весьма своеобразных построек обнаружилось, что ее предполагается возводить на пространстве, занятом сегодня старинным кварталом, ограниченным улицами Ленина, Свердлова, Сухэ-Батора, Горького и в непосредственном соприкосновении с Художественным музеем. Решение это принималось в условиях все той же секретности.

И вот, когда утихли вполне понятные страсти и возмущение, представитель нового главного архитектора города В. В. Искакова заявил: место выбрано правильно, надо сносить и застраивать. Новое всегда вырастает на старом, и мы будем строить.

Помните рассуждения «о жалких останках этих самых церквей наших», при определении судьбы которых критерий, по Павлову, «только в одном: меняем ли мы это сооружение на более интересное или меняем его на менее интересное»?

Не-ет, жив курилка, и время собирать камни еще не пришло.

Между тем совершенно ясно: держаться старых подходов новое архитектурное руководство города и его городской Совет не имеют нравственного, а значит, и гражданского права. Поймут ли они, наконец, это? Какие позиции займут по отношению к тем проблемам, о которых здесь шла речь, какие взаимоотношения свяжут их с общественностью — стремление к взаимопониманию и сотрудничеству или противостояние, как это было до сих пор? По-прежнему возобладает секретность или возьмут верх иные взгляды?

Переориентируется ли в своей деятельности местное отделение ВООПИК или по-прежнему будет заниматься выявлением «памятников в памятнике» и загонять частицы отдельных улиц в резервации охранных зон?

Что возобладает, наконец, в нравственных позициях иркутской интеллигенции, в первую очередь, но отношению к духовным традициям города, в котором она живет?

Вопросы, вопросы. На многие из них ответ должен лежать не в красноречии — в этом равных нам нет, — но в поступках. Задумав какое-то дело, мы так много, так велеречиво и так долго говорим и рассуждаем о нем, что под конец уже и само это дело, еще не начавшись, становится тошнотным, противным душе и разуму. Так что пусть речи будут умеренны, а дела и поступки очевидны. И пусть они не противоречат друг другу.

Известно, с чего начали, видно, к чему пришли. Что завтра?

Научимся ли?

1990

Прошое, настоящее и будущее Иркутска

Как древняя ликующая слава,
Плывут и пламенеют облака,
И ангел с крепости Петра и Павла
Глядит сквозь них — в грядущие века.
Но ясен взор — и неизвестно, что там —
Какие сны, закаты, города —
На смену этим блеклым позолотам —
Какая ночь настанет навсегда!

Георгий Иванов

Человеку свойственно мечтать о несбыточном и стремиться душой за горизонт. Где бы он ни жил — в знойных тропиках, на оледенелом берегу Арктики, в Америке ли, в Европе, в загадочной Индии, на овеванных древней славой просторах Средиземноморья, — везде ему тесно, во всякое время он безотчетно тоскует и желает получить нечто такое, чему и сам не знает названия. Издали, а особенно через толщу времени, все кажется прекрасным и таинственным, все полно притягательной силы и неизбывного очарования.

Европейца так и тянет сесть в лодку и переплыть безбрежный океан. Американцы с вождением смотрят на восток (а некоторые — на запад, смотря по месту обитания), все они рисуют в своем воображении величественные картины таинственного мира, вместилища чудес и хранителя волнующих тайн древности. Северяне лелеют в душе мечту о знойном юге, об аравийском урагане и раскаленных песках, точно так же какой-нибудь бедуин спит и видит среди раскаленного марева огромную ледяную глыбу, величественно плывущую по стынущему океану в безмолвии Арктики, где на тысячи километров во все стороны — ни души, ни дымка, ни шепота.

Лаптев Александр Константинович (род. 26 декабря 1960 г. в Иркутске), прозаик. Член Союза писателей России. Автор книг «Звездная пыль», «Как я работал охранником», «Благая весть».

А теперь спросим себя: как обо всем этом рассказать? Как поведать о том чудесном, волшебном, прекрасном — из того, что всех нас окружает? Кто это сделает — местный ли поэт, летописец, краснбай, или залетная птица-златоуст, волею судьбы занесенная в тот или иной заповедный уголок? Но местный житель не замечает всей прелести места своего обитания, все ему привычно до скуки, нет ни в чем загадки. А приезжий — успеет ли проникнуть взором в суть вещей, почувствовать то главное, о чем следует узнать всем? И случайно ли нам больше по сердцу свидетельства третьего лица? Кто лучше всего рассказал о самобытной, полной загадок и чудес Индии? Англичанин Редьярд Киплинг. Кто поведал об Аляске и сделал это так, что, кажется, ничего уже больше не надо, даже и теперь, сто лет спустя? Джек Лондон, южанин до мозга костей. А кто блестяще написал об Европе и всех ее достопримечательностях, да так, что можно уже никуда не ездить? Марк Твен — человек, всю жизнь проживший в Америке и побывавший в Европе лишь однажды, во время увеселительной поездки в кампании таких же, как и он, бездельников (строго говоря). Список этот может быть продолжен — но в этом нет нужды. Даже в уголовном суде, где решается жизнь и смерть человека, для доказательства какого угодно факта достаточно лишь двух свидетелей. А я привел целых три — этим и ограничусь.

Я написал столь длинное вступление неспроста. Передо мной стоит задача почти непосильная — написать на восьми страницах об Иркутске. Это при том, что я не Киплинг, не Лондон и даже не Твен. Хуже того — я родился в Иркутске и прожил в нем всю свою жизнь. Спрашивается: можно ли ожидать от такого человека захватывающего рассказа? Вот я выхожу на улицу и смотрю во все глаза. Что я вижу? Да все то же, что и каждый божий день: улицы, дома, людей. Над головою — небо. Ветер дует. Солнце светит, хотя и не всегда. Зимой — холодно. Осенью — дождливо. Весной тает снег и бегут ручьи. И это все.

Ну а если включить воображение и взглянуть на дело глазами пришедшего человека? Если вспомнить, что живешь на Земле ничтожно малый срок, и то, что было в городе сто или двести лет назад, — для тебя тайна за семью печатями? Все мы, безостановочно снующие по улицам Иркутска, понимаем ли, задумываемся ли, в каком городе живем? Что это такое — Иркутск? Счастье ли это, или тяжкий крест? Или ни то, ни се? И что он значил для сотен тысяч людей, могилы которых мы попираем ногами (даже и в прямом смысле, гуляя по аллеям Центрального парка культуры и отдыха, устроенного прямо на кладбище)?

Вот я читаю записки неизвестного мне писателя М. Александрова, оставившего такую характеристику Иркутска первой половины XIX века: «Иркутск имел тогда физиономию чисто сибирского города. В продолжение дня по улицам двигался простой народ: женщины — под накидками,

мужчины промышленного разряда — в синих кафтанах, а буряты — в национальных костюмах, с озабоченными угрюмыми лицами. Окна домов, выходявшие на улицу, задернуты были постоянно занавесками или закрыты китайскими сторами. Женщины среднего и высшего классов, казалось, вели еще затворническую жизнь и, по моему замечанию, не показывались на прогулки по вечерам, которые так восхитительно хороши в Иркутске весной и летом. Бродя по улицам на закате солнца, когда скатывалась с них волна дневной суматохи, я не слышал ни одной рулады вокального пения. Все было тихо, как в пустой храмине, только изредка в торговых домах звучали цепи сторожевых собак и раздавался тревожный набат поколотки. Если случалось встретить запоздалые дрожки, то они мчались по пустой улице опрометью и моментально исчезали во дворе за воротами. Потом снова воцарялась могильная тишина. Трудно было в то время определить общий характер жителей Иркутска, казалось, он не имел тогда никакого местного колорита. Торговля и нажива — вот два промысла, которые ярко блистали на горизонте иркутском в то время и в центре которого, как в фокусе зажигательного стекла, сосредотачивались жизнь и жизненная деятельность, — и нечему было удивляться: это — первородный элемент, осуществивший самое бытие Сибири».

Без всякого сомнения, это писал поэт (в душе). Да, лица угрюмы, а все окна — задернуты сторами. Но вечера все равно восхитительно хороши, и бродить по улицам на закате — так приятно, несмотря даже на могильную тишину.

А вот что написал об этом же периоде сугубый практик, человек без всякой романтической жилки: «Крупное купечество вело себя сравнительно степенно, но между чиновничеством, мелким купечеством и мещанством царило поголовное пьянство. Да как не пить — в этой жизни, где все сводилось только к интересам брюха!.. Общественных развлечений для большинства горожан, например театра, в то время еще не было и лишь изредка устраивались любительские спектакли... Вместо спектаклей горожане развлекались зрелищем столь частых в то время солдатских учений, парадов и разводов, привлекавших массы зрителей. Не менее народа привлекало гонение солдат сквозь строй и наказание на эшафоте кнутом или на кобылке плетью уголовных преступников... Однажды наказывали шпицрутенами насмерть каких-то убийц и на эту ужасную сцену любовались даже дамы» (С. Шашков, публицист).

И тут уже, как в известной басне Крылова: кому что близко, тот о том и живописует. Один морковку нарисует, другой — клок сена, третий — капустный кочан — а все в дело сгодится, все — правда (в узком смысле)! Но правда, как известно, состоит из бесконечного множества фрагментов, и это множество по определению невозможно передать на бумаге (потому что не напечатали еще столько бумаги, да и не родился еще человек,

способный рассказать обо всем). Вместо этого от свидетеля требуется более-менее правдоподобный рассказ о какой-нибудь характерной частности или самый общий абрис, верно передающий тональность и настрой времени и места.

И вот, после этой дополнительной оговорки, вернусь к основному вопросу: что есть Иркутск — в моей ли судьбе, или в судьбах всего человечества.

Попробуем рассуждать отвлеченно.

Прежде всего, о дате рождения. Иркутский острог основан в 1661 году — одно это может сказать о многом. Сразу намечается фундаментальное смещение масштабов. В России в это время все бурлит, накапливаются силы для решающего броска, для великолепного прорыва, изумившего и напугавшего Европу. Сама Европа находится на пике могущества, все в ней ярко, броско, вызывающе. Как раз в эти годы Людовик четырнадцатый явил миру восьмое чудо света — знаменитый Версальский дворец с его садами и фонтанами, которым позавидовала бы сама Семирамида. В Англии готовилась первая социальная революция. А самые беспокойные и неуживчивые англосаксы все шли и шли на Запад — на свой дикий Запад, готовя будущий расцвет Америки, ее могущество, гегемонию, от которой стонет теперь полмира (а остальные полмира — радуются). И много чего еще происходило в это время. А тут — Сибирь. Нетронутая, неласковая, жуткая в своей первобытной мощи и таинственной притягательности. Как будто не было веков рабства, испепеляющих войн, великих прозрений и страшных потрясений, не было рек крови, инквизиции, не было избиения первых христиан, не было Магомета и Будды. Ничего! Молчащая суровая тайга на тысячи километров. Непуганое зверье, рыбы — немерено. Ягода, комарье, жуткие топи, ледяные реки, и снова тайга, тайга без края и конца. Зачем же шли они, первопроходцы, в эту глухомань? Не то что самолетов или поездов — пеших троп не было! Никаких ориентиров и примет. Шесть тысяч верст от Санкт-Петербурга. Четыре тысячи — в другую сторону, до Тихого океана. Если брать на север — точно не дойдешь. Так же и на юг. Что там, на юге? Индостан? Индокитай? Кто их видел? Где это? На каком свете?

Главное, что остро чувствуется в Сибири, — это пронизывающее чувство какого-то безвременья. Словно ты выпал из общего потока и оказался на другой планете. Здесь все другое! Свой счет времени и своя история. Особый воздух, которым не надышишься. Солнце светит иначе. И мысли тут особенные, ни на что не похожие. Даже и сейчас, в начале XXI века, стоит отойти от города хотя бы на 50 километров да сойти с трассы, шагнуть в тайгу, и уже становится не по себе. Моментально теряются ориентиры, и можно идти хоть до Северного Ледовитого океана и не встретить живой души. Время словно бы остановилось. Целый мир со всеми нерешенными

проблемами, с конфликтами, с безумными террористами, с Ближним Востоком и вечно голодной Африкой, с амбициозной Америкой, с дряхлеющей Европой и на что-то надеющейся Австралией — их как бы нет! Нет и не надо! То есть понимаешь отвлеченно, что они где-то существуют, движутся, ропшут, но все это эфемерно, как бы не всерьез. Сибирь никогда не жила заботами остального мира. Возьмем хоть многочисленные иркутские летописи. В них нет и намека на то, что волновало и сводило с ума Россию. Не случайно иркутский градоначальник в 1889 году говорил: «Я сожалею, что не придется послужить обществу полностью четыре года, так как обстоятельства вынуждают меня уехать на известное время в Россию...» Это никакая не оговорка: уехать в Россию. Сибирь — это нечто особое. Было и остается. Здесь не знали крепостного права. Здесь не было крестьянских бунтов. И не было войн — ни освободительных, ни захватнических. Политические ссыльные, которых ссылали в Сибирь партиями и поодиночке, воспринимались местным населением как некое чудо. Вот пришли декабристы, а вслед — их жены. Сразу видно — князья. Культурные, белая кость. Восстали против царя. А что такое царь? Кто его видел? Ну, допустим, молва о нем идет. Но это там, в Расее. А у нас что? Да все то же: тайга, золотишко, промысел, да люд лихой. При чем тут политика? О чем все они там беспокоятся? После декабристов пригнали петрашевцев. Затем — поляков. А уж после — всех без разбору стали слать. Но политические тут долго не держались. Агитировать местное население? Это им и в голову не приходило. Проще встать и пойти пешком на запад прямо через тайгу. Что некоторые и делали. А кто не делал — спивался, сходил с ума, изменял принципам. Альтернативы не было.

Впрочем, многие со мной не согласятся. Я уже сказал, каждый видит то, что хочет видеть. У каждого свой Иркутск. Есть Иркутск политический — со своей ни с чем несравнимой историей. Есть Иркутск религиозный — и это отдельный и очень серьезный разговор (упомянем хотя бы Первосвященителя Иннокентия Кульчицкого, на поклонение к мощам которого уже двести лет идут и едут в Иркутск набожные люди). Есть Иркутск литературный (со своими кумирами). Есть купеческий (и тут свои столпы). Есть Иркутск художественный (со своей «Третьяковкой» и меценатами). Есть Иркутск бандитский (куда без этого!). Есть — этнографический (не будем забывать, что десятки тысяч лет здесь жили буряты, эвены, тофы, курикань, у них — своя история, полная тайн и прелести. Что мы о ней знаем? Или даже так: хотим ли знать?) И есть Иркутск как географическое понятие — на самом деле место неповторимое, уникальное, достойное восхищения. Всего в 60 километрах от города находится озеро Байкал, то самое, которому 25 миллионов лет! Байкал появился, когда человека и в помине не было! Весь этот регион имеет глубочайшую историю. Сознание при этом совершает два временных скачка. Первый, уже упоминавшийся, — год основания

Иркутского острога. А второй — это эпоха раннего неолита. В лучшем случае, это десятки тысяч лет. Хотя я вполне допускаю, что человек жил здесь сто, двести тысяч лет назад. Но что за этим? То есть что до этого? И снова происходит абберрация зрения. Как будто не было десятков миллионов лет, когда уже образовалось уникальное озеро и жили в нем рыбы, летали птицы, росли цветы, грибы, ягоды. Но некому их было собирать. И непонятно было — для кого все это.

Когда думаешь об этом, начинает кружиться голова. Особенно, если развернуться и поглядеть в другую сторону, попытаться заглянуть в будущее, пронзить завесу времени и принять тот непреложный факт, что впереди у нас те же тысячи, десятки тысяч, миллионы лет! Да, все еще впереди. В этом смысле четырехвековую историю освоения Сибири можно уподобить коротенькому отрезку, черточке, едва прорезавшейся подле густой и мощной полосы; обе они как бы независимы друг от друга и движутся параллельно и едва ли не вразброс. Но неизбежно их слияние в будущем, если мерить сроки тысячелетиями, а под широкой полосой иметь в виду не одну лишь Россию, но все человечество, культурное пространство Земли.

Но не будем заглядывать так далеко. Все равно не уследим. Лучше еще раз взглянем на то, что есть. Я снова об Иркутске, теперь уже о современном. Сразу следует сказать, что в нем не осталось и следа от бывшего величия и очарования. Прежний облик Иркутска утрачен навсегда. Жалкие остатки его в виде полуразвалившихся почерневших домов в самом центре навевают одну лишь грусть, а местами — ужас. Города, которым восторгался Чехов в 1890 году, более не существует. Могильная тишина улиц, буйная зелень в самом центре, красивые каменные дома, узорчатая деревянная резьба, неторопливость движений и непередаваемое чувство покоя и самодостаточности — все это ушло, как уходит вода между пальцев. Умчалось, словно сказочный сон. Как воспоминание о потерянном рае.

Я не вовсе фантазирую. Мои родители родились в Иркутске. И родители родителей. И даже их родители. Бабушка рассказывала мне о дореволюционном Иркутске, о знаменитом Глазковском предместье, о роще «Звездочка», об удивительной Ланинской улице, на которой стоял фамильный особняк, и о необыкновенной природе, которая начиналась сразу за городом, а лучше сказать, сливалась с городом, так что Иркутск казался частью природы, удивительно красивой, своеобразной, которую мы видим теперь лишь на цветных открытках вековой давности. Все горожане были тогда рыбаками, у многих были лодки и крепкие снасти. Часто выезжали за город, на природу, благо — вот она, рядом. А места до чего красивые! И климат, в общем-то, не такой уж и суровый. Это не Якутия с 60-градусными морозами. Лето жаркое, обильное. Уже в середине мая цвели жарки среди необозримых полей, сочно зеленела трава, в небе заливались жаворонки. Все это среди необъятного простора и вольного воздуха, напоенного

благоуханиями тайги. Летом жара доходила до 40 градусов. Но и зима была крепка. 45-градусный мороз бодрил, сухой чистый воздух не обжигал, но словно бы лечил, вливал силы и бодрость. Недаром возникло это словосочетание: сибирское здоровье. Все так и есть. Вернее, было.

Иркутский историк А. Д. Фатьянов приводит в своей книге интересные свидетельства неизвестного автора XIX века: «Прошлое Иркутска полно красоты. Здесь счастливо соединились оба элемента: государственные деятели и купечество. Здесь были выдающиеся генерал-губернаторы Сперанский и Муравьев-Амурский, удачный подбор чиновников — все это сильно действовало на богатое иркутское купечество. Прививалась внешняя культура, начинали интересоваться литературой, вопросами общественной государственной жизни».

Что ни говори, Иркутску много дала так называемая интеллигентная ссылка. Пусть народ в массе своей оставался к этому безучастен, но ведь был здесь и свой высший свет, который и определял политику, формировал дух этого места.

«Иркутск чиновников и купцов получил интеллигенцию — ссыльную, но вдохновенную и блестящую. Князя Трубецкой и Волконский, Поджио и Лунин, Бестужев и Муравьев (Артамон Захарович, член Южного тайного общества, полковник гусарского полка). Появляются аристократические салоны, устраиваются собрания цвета иркутского общества. Губернатор Муравьев-Амурский едет с визитом к ссыльным, что само по себе примечательно и символично. Потом появились выдающиеся поляки: зоолог Дыбовский, геологи Чекановский и Черский, ботаник Кенжинский и археолог Витковский».

Стоит упомянуть и Александра Николаевича Радищева, шесть лет проведшего в Илимском остроге. «Как богата Сибирь своими природными дарами! — писал автор «Путешествия из Петербурга в Москву». — Какой это мощный край!.. Ей предстоит сыграть великую роль в летописях мира». Соглашаясь с таким прогнозом великого провидца, заметим, что осуществился он пока что едва ли на сотую часть. Все наши ожидания принадлежат будущему.

Неизвестный автор пишет: «Торговый Иркутск — прямая противоположность тому же Томску. Томск торговал кожами, салом, шерстью, сырьем; Иркутск — золотом, чаем и дорогими мехами. Со своей тяжелой и громоздкой дешевой обочагой шел томский прасол в Ирбит; иркутянин лихо обгонял его на тройке. Он вез свои товары — золото и меха — в Нижний Новгород, Петербург. Оттуда он вывозил моды, блеск, внешнюю культуру, а порой и сознание собственного достоинства. Томич по копейке откладывал свой капитал: клочок шерсти, кусок сыромятины. Иркутянин золото загребал лопатами. Иркутянин — хищник; он обирал охотника-инородца, обчитывал торговца чаями; рабочие гибли на приисках, но дивиденд был

громадный. Бешеные деньги мешали иркутянину стать скопидомом, томич — плебей; иркутянин — аристократ».

В Иркутске были замечательные купцы, просто на зависть.

«Сибиряковы, Трапезниковы, Баснины, Пономаревы, Белоголовые. Они не признавали грошей; давали сотнями тысяч. А. М. Сибиряков жертвует на дело просвещения 950 000 рублей. И. М. Сибиряков — 800 000 рублей, из них 400 000 в фонд рабочих на приисках, Н. П. Трапезников — около миллиона, И. Н. Трапезников — полтора миллиона».

Почти все свое состояние, а это более миллиона рублей, истратил на благотворительность, на нужды Иркутска знаменитый градоначальник Владимир Платонович Сукачев, управлявший городом с 1885 по 1898 годы. Дворянин по происхождению, истинный интеллигент и блестяще образованный человек, окончивший сразу два университета — Киевский и Петербургский, — все свои силы и средства он отдал родному Иркутску. Щедро жертвовал на благотворительность, строил на личные средства больницы и приюты, поддерживал культуру, создал первую в Сибири картинную галерею, содержал на свой счет студентов в Петербурге, финансировал исследовательские экспедиции и завещал городу свою усадьбу, ныне признанную историческим памятником и ставшую музеем. Все это — в разгар революционного движения в России. О чем мог думать в это время житель Иркутска? Какая ему революция? Зачем она, когда власть уже сегодня такова, что лучше и желать нельзя!

Можно, конечно, говорить о том, что Иркутску повезло. Но мне кажется, что в этом везении есть глубоко сокрытая закономерность. Так же как не случайны здесь были Сперанский и Муравьев-Амурский, не случайны Сибиряковы и Трапезников. Так же не случайно Иркутск стал столицей огромного края, простиравшегося от Енисея и Алтайских гор до Северного Ледовитого океана, до Чукотки и даже до Аляски и Русской Америки, которая управлялась из Иркутска, который и снарядил все эти героические экспедиции Шелихова, Баранова, Беринга, Семенова Тянь-Шанского, Толя, Шеленко и других отважных исследователей и первооткрывателей. Иркутск находился на последнем рубеже Российской империи и управлял территорией, быть может, большей, чем чиновничий Питер. Степень концентрации власти в Иркутске была даже выше, чем в столице. В самом деле, в западной части России, куда ни пойдешь, все равно наткнешься на город или деревню. И везде можно жить. Не то в Сибири. Отдельные города здесь — словно светочи среди мрака. В них сосредоточено все: администрация, наука, промышленность, культура, образование, медицина, все надежды и вся боль. Иркутск для огромной территории на протяжении нескольких веков был то же, что Санкт-Петербург для всей России. И даже больше! С этим чувством иркутяне и жили. Пусть безотчетно, но чувствовали свою исключительность и даже незаменимость. Ценность

каждого человека, значимость его усилий и самой жизни — здесь и сейчас. Именно это осознание выдвинуло плеяду блестящих, широко образованных государственных деятелей, а также представителей купеческого сословия. В этом смысле они представляют разительный контраст с современным купечеством Сибири (за редчайшим исключением!), замкнувшимся исключительно на деловой стороне и не желающим слышать о благотворительности, о пожертвованиях на науку, культуру, нужды простых людей.

Вот купец XIX века Пономарев составляет завешание: «Употребить все состояние (свыше миллиона рублей. — *А. Л.*) единственно лишь на пользу человечества, науки и искусства и не оставлять в полную собственность детям, жене и другим родственникам». Почти то же самое делает Иннокентий Трапезников, унаследовавший сказочные богатства своего отца, легендарного купца и промышленника. Некрупные капиталисты тянутся туда же.

И снова свидетельства неизвестного автора:

«Иркутск в это время — умственный центр Сибири. Здесь выходит первая частная газета «Амур» (которую издавал приговоренный к расстрелу и высланный в Иркутск Петрашевский — ну не чудо ли?), открывается первая в Сибири публичная библиотека; здесь крепнет общественное мнение; в хоре сибирских городских дум голос Иркутской думы — самый энергичный. Общественное собрание чувствительно к своему достоинству. Томский профессор С. И. Коржинский справедливо полагает, что университет мог сразу развиваться только в Иркутске и ни в каком другом городе Сибири. В Иркутске самый большой театр в Сибири. К нему подходят слова Белинского: «Идите в театр, живите в нем и умрите, если можете». Иркутский театр — учреждение культурно-просветительное. По действующей инструкции постановка в стенах театра опереток, маскарадов и всякого рода увеселений недопустима. Здесь самая лучшая опера в Сибири. Лучшее место для развития производительных сил трудно отыскать. Весь северо-восток Азии тяготеет к Иркутску. Он — в центре богатейшего каменноугольного района. Разведаны огромные запасы нефти и газа. Кругом месторождения железа, меди, свинца, серебра, марганца. Иркутск расположен на судоходной реке. Его рынок: вся Сибирь, все Забайкалье, Монголия, Китай, Япония, Корея и так далее, вплоть до Америки. Иркутск — центр металлургической промышленности, это Бирмингем Сибири».

Но довольно славословий. Нынче Иркутск, как и вся Сибирь, остро нуждается в помощи. Если в XIX веке к нам прибывали лучшие умы России, то теперь все лучшее из Сибири бежит. Население уменьшается, производственный потенциал падает. Жить становится все труднее. Достаточно сказать о том, что средняя продолжительность жизни в Восточной Сибири на 6 лет меньше, чем в среднем по России, на 12 лет меньше, чем в соседнем Китае, и на 20 лет меньше, чем в Японии. Это — статистика. А что за ней? За ней — жуткая экология (как результат бездумной, хищнической

промышленной политики), за ней неустроенный быт с крошечными квартирами и сотысячной очередью на жилье, за ней — тысячи бездомных переселенцев с Крайнего Севера, разгул преступности и наркомании, запустение села, беззащитная вырубка лесов и вычерпывание, выскребание, извлечение из богатых недр всего того, что востребовано на жадном до природных ресурсов мировом рынке. Газ, нефть, лес, редкие металлы, золото, пушнина, энергоресурсы — все куда-то утекает, исчезает без всякого следа и пользы. Сибирякам остается лишь отравленный воздух, развороченная земля, погубленный лес и чувство неизбывной горечи. Зачем тогда были четыре века крошечной борьбы с жестокой неподатливой природой? Зачем этот подвиг освоения первобытной земли? Кто пользуется плодами этого всего?

Вопросы эти сегодня остаются без ответа. Но ответ на них будет дан — и это неизбежно. Вопрос лишь в сроках. Будем надеяться, что сроки эти не за горами. Любые перекося и нестыковки обязаны разрешиться, а иначе просто невозможно нормальное развитие огромного богатейшего края. Сегодня мы можем подтвердить прогноз не только Радищева, но и Ломоносова относительно приращения могущества России богатствами Сибири.

Остается лишь надеяться, что это приращение будет происходить не за счет здоровья и самой жизни сибиряков, но главным образом ради блага сибиряков, для того, чтобы страшная удаленность от культурных центров и сохраняющаяся неустроенность быта компенсировались как материально, так и морально — пониманием своей исторической роли, своего места в длительном и таком непростом процессе освоения огромных территорий, начинающихся сразу за Уральским хребтом и простирающихся так далеко, что не хватит духу все это охватить и осмыслить. В этом смысле впереди у нас тысячелетия многотрудного пути. Иркутск остается форпостом, передовым отрядом, тем пунктом, в котором все началось. Началось — и продолжается. Наперекор стихиям, неверию, усталости и непониманию. В это мы продолжаем верить и на том стоим.

2007, 2011

Из книги «Записки и замечания о Сибири»

Местоположение города Иркутска прелестно, особливо когда подъезжаешь к нему из России. Летом надо переезжать Ангару на карбазе (так называют там плоскодонное судно вроде барки). Ангара вытекает из озера Байкал, верст за шестьдесят от Иркутска. Она соединяется близ города с Иркутом и обтекает Иркутск. За рекой виден обширный луг, а вдали Вознесенский монастырь...

В Иркутске, полагаю, около шестнадцати тысяч жителей. Чиновники, купцы, мещане и цеховые составляют его народонаселение.

Жители Иркутска почти все бреют бороду и стригут волосы, не носят русских кафтанов, и даже черный народ носит летом халаты, а зимою тулупы, крытые китайкою или нанкою; летом круглые шляпы и картузы, а зимою шапки и меховые картузы. Отличительный наряд женщин низших сословий — покрывало, которое они называют накидкою... Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки. Ныне все молодые женщины, купчихи одеваются точно так же, как и в столице. В богатых купеческих домах женщины с давних времен подражали столичным модам, и нигде более, я думаю, не сохранились наряды прабабушек...

...Иркутск можно почесть средоточием и складочным местом сибирской торговли. Все товары, идущие из России, проходят через Иркутск в Кяхту, Якутск, Охотск, Камчатку. Из России идут для Кяхты сукна, мерлушки, кошка, немецкие бобры, корсак, юфть, сафьян, козел; также изделия наших фабрик: затрапез, плис, зеркала, красные кораллы, которые китайцы и русские купцы называют маржан. Из пушных товаров, которые доставляет Сибирь, промениваются китайцам белка, лисица, низкие по

Авдеева Екатерина Алексеевна (урожд. Полевая; ноябрь 1789, Курск — 21 июня (или июля) 1865, Дерпт), первая сибирская писательница-мемуаристка, прозаик-очеркист, издатель русских народных сказок. Автор книг «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьей Степановной Черепьевой», «Записки и замечания о Сибири с приложением старинных русских песен», «Записки о старом и новом русском быте» и др.

сорта соболи, хорьки; бобры и выдры идут через Американскую компанию¹. От китайцев получается чай разных сортов, как-то: байховый, черный, сквозник, цветочный разных сортов, зеленый и кирпичный, сахар-леденец, часть китайки, дабы, канчи, фанзы, чанчи², флер, трубки, небольшое количество фарфора и деревянной крытой лаком посуды, разные сухие фрукты, виноград, плоды, табак курительный. Есть еще много товаров, промениваемых от русских купцов и вымениваемых от китайцев, но я не упоминаю обо всем подробно, ибо не смею взять на себя описывать такой важный предмет...

Из всех товаров, проходящих через Иркутск, оставляют нужное количество для города. Если чего нельзя иметь в Иркутске, то это свежих плодов: все другое можно достать. Есть много предметов промышленности, которые совсем другим образом производятся, нежели в России. Народ привык к этому порядку вещей; например, в Иркутске нет мучных лавок; всякий покупает в торговые дни на рынке муку пшеничную, крупу, овес; многие заготавливают все это на года, кто не в состоянии — те покупают понемногу...

Лет тридцать назад в Иркутске вели жизнь патриархальную. Хозяйки сами занимались хозяйством: в семьях, где жили женатые братья, невестки ходили поочередно в кухню смотреть за приготовлением кушанья, а девицы разливали чай... Девиц с малых лет приучали к хозяйству. В достаточных домах все заготавливалось впрок, годовое...

Лет сорок назад все дома строились самым старинным манером. Обыкновенно двор обносили высоким забором, что в Иркутске называют заплот; большие ворота были заперты засовом и отпирались только для проезда экипажей; для пешеходов была сделана калитка, у калитки задвижка, к которой привязывался ремешок... Передний двор вымощен бывал досками. Дома были высокие и строились в два жилья: вверху горницы, а нижнюю половину занимала кухня, которую называют там подклет, и кладовая, по-тамошнему — подвал. В иных домах были мезонины, которые называют в Иркутске чердак; они были по большей части холодные. Горницы разделялись сенями на две половины; их обыкновенно называли задняя и передняя; передняя на улицу, а задняя во двор. Из сеней входили прямо в горницу... там на правой стороне изразчатая печь с вычурами. В переднем углу ставили образа; перед образами висели лампы с восковыми свечами... Комната обыкновенно разделялась надвое; за перегородкой бы-

¹ Российско-американская торговая компания была основана в 1798–1799 гг. путем слияния основанной в 1781 г. купцами Григорием Шелиховым и Иваном Голиковым торговой компании с Коммерческой американской компанией сибирских (иркутских) купцов.

² Даба, канча, фанза, чанча — названия китайских шелковых и бумажных материй, ввозившихся в Россию через Кяхту.

ла спальня и стоял шкаф с посудой. В задних комнатах помещались дети; иногда старики хозяева уступали переднюю горницу женатым сыновьям, а сами жили в задней. Трудно поверить, сколько помещалось людей в двух-трех комнатах. Можно сказать, что где нынче тесно четверем человекам, там в старину жили десять человек...

Жизнь была так же патриархальна, как и убранство комнат. В простые дни, вставши до света, разумеется, зимой, все пили чай; мужчины зимой с рассветом, если семейство было большое. После этого в купеческих семействах одни оставались дома, а другие шли в гостинный двор; но прежде завтракали, потому что редко приходили зимой обедать, а если и приходили, то поздно. Обед в простые дни, когда случалось много дела, был в два часа; после обеда опять занимались всякий своим делом; часа в четыре пили чай, а часов в восемь или девять ужинали. После ужина женщины и особенно девицы сидели и шили. Где в семействе было несколько девиц и женщин, там все шили сами белье, платье и разные домашние мелочи. Девицы особенно занимались разными рукоделиями: вышивками шелками, золотом, фольгой, в тамбур и гладью, вышивали разными узорами полотенцы; но главное занятие было хозяйство. В больших семействах, как я уже сказала, ходили поочередно в кухню; но в праздники или именины там заботились все. Каждое воскресенье ходили к заутрене и к обедне. Обед в праздники был рано. После обеда старики отдыхали, а люди молодые ехали кататься или в гости. Даже в богатых домах вся прислуга состояла из двух или трех женщин: это были кухарка, горничная и при детях нянька. При такой чистоте и порядке, какой наблюдался во всех домах, немудрено, что хозяйкам было много дела.

...Именины праздновали в Иркутске обыкновенно вот каким образом: утром пекли множество пирогов, сдобных, из простого теста, с вареньем, изюмом, черносливом, винными ягодами, с пшеном сарачинским³, капустой, морковью и другими начинками. Пироги рассылались к родственникам по три и по четыре пирога; где были маленькие дети, то клали маленькие пироги по числу детей. Разносили и развозили их женщины... Вечером, когда приезжали гости, подавали вина, потом кофе (хотя и не вовремя) и чай; к чаю подавали женщинам каждой тарелку с разным пирожным. В комнате, где сидели гости, стоял стол, уставленный вареньями и фруктами; мужчинам подавали после чаю вина и пунш. Они говорили о торговле, о вновь полученных известиях, о том, что пишут в газетах, которые многими получают. Иногда вечер оканчивался танцами и ужином, но никогда не видно было карт.

Лет за тридцать свадьбы отправляли в Иркутске со многими обрядами.

³ Сарацинским (или сарачинским) пшеном в старину называли рис. Культура риса была завезена в Европу, в Испанию маврами.

Как у бедных, так и у богатых отец и мать сначала советовались между собою; потом призывали жениха, объявляли, какую невесту назначают ему, и если она ему нравилась, то собирали ближних родственников и советовались с ними; но это был уже только обряд, где объявляли, что намерены женить сына. Тогда из среды родных назначали одного, кого почитали способным к переговорам. Если назначаемая невеста не нравилась, то жених мог сам избирать, только с согласия родителей... Со стороны родителей и самого жениха почитали главным, чтобы невеста была хороша собою и кроткого характера и чтобы семейство ее было известно с хорошей стороны. Обыкновенно говорили: «Лучше взять без приданого, но доброго роду». Дочери сварливой женщины могли спокойно сидеть в девках, потому что о них говорили: «Яблоко недалеко падает от яблоньки». Хорошей рекомендацией почиталось и то, когда старшая сестра, вышедши замуж, была хорошая хозяйка и почтительная к старшим в семействе. Я упомянула уже, что о приданом никогда не рядились; всякий давал по своему состоянию. Много есть пословиц по этому случаю, которых я не слыхала нигде в другом месте. Например: «Платье на грядке, урод на руке. Не с высокими жить хоромами, не с частыми переходами, а жить с человеком. Не жени на теще, не отдавай дочери за свекра. Жена не скрипка, на спичку не повесишь». Последняя клонилась к тому, чтобы муж мог содержать жену. Девушек можно было видеть у обедни, на сговорах или у знакомых; но никогда не делали смотров, как ведется во многих городах России. Почли бы за обиду, если б кто предложил такую невежливость. Иногда делалось это, но инкогнито, то есть приглашали невесту куда-нибудь к знакомым в гости, где был жених, однако родители и невеста не знали этого.

Когда предварительно было все улажено, то сват отправлялся в дом невесты и делал предложение. Обыкновенно с одного разу не решались, а просили дать время подумать и посоветоваться с родными; это делалось даже и в таком случае, когда не намерены были выдавать: считали невежливостью отказать с первого раза. Если же почитали союз приличным, то приглашали близких родственников и, посоветовавшись с ними, назначали день рукобитья. Прежде никогда не спрашивали согласия невесты: она должна была повиноваться слепо воле родителей; теперь это уже вывелось.

В назначенный день приезжал сват. Обряд рукобитья состоял в том, что зажигали свечи у образов, молились Богу, и отец и мать или тот, кто заступал их место, давали руку свату и пили за здоровье помолвленных. Жених и невеста не бывали при этом обряде. На другой день приезжали сваты и назначали день сговора; до тех пор помолвленные не могли видеться...

Дня за два до свадьбы невесте с песнями расплетали косу и девушек дарили бантами из лент. В этот день водили ее в баню. Накануне свадьбы

вечер назывался девичьим вечером и девичником. Приезжал жених с тысяцким, свахой и боярами. Тысяцкий был обыкновенно человек женатый и почетный, ближний родственник или человек, уважаемый в семействе. Бояр было трое или четверо; двое из них назывались малые бояре или меньшие, это то же, что нынче шаферы. Сваха была близкая родственница или короткая знакомая. В девичник опять садились за стол и пели песни... По отъезде жениха невесту усаживали за стол вместе с подругами; девицы пели песни. В это время приезжали двое меньших бояр и привозили ларец и туалет... Ларец или коробка — то же, что в Париже свадебная корзинка. Там, по состоянию жениха, были более или менее дорогие вещи; но обыкновенно находились серьги, перстень, перчатки, ленты, белила, румяна, мыло, гребень, булавки, шпильки, помада, духи, веер, гребенка, цветы, платки ручные и одна или две пары чулок и башмаков, из которых в каждый клали по соболю. Приданое невесты обыкновенно отправляли поутру в день свадьбы. Когда все было готово, то обыкновенно присаживались и потом молились Богу, благословляли невесту образом, который отсылали с приданым...

По отправлении приданого начинали одевать невесту; надевая каждую вещь, невеста крестилась. Когда все было готово, то благословляли невесту образом и она прощалась с отцом, матерью и подругами; ее сажали за стол, вокруг которого садились девицы... между тем у ворот обыкновенно караулили жениха, и когда только показывался поезд его, то давали знать; девицы вставали из-за стола, а подле невесты сажали маленького мальчика или девочку — продавать косу. Жених приезжал с тысяцким, боярами и свахой; впереди шел богонос с образом, обыкновенно небольшой мальчик, родственник. Поезд невесты составляли: сваха, три провожатые молодые женщины, трое мужчин и мальчик с образом. У невесты тысяцкий давал мальчику, сидевшему подле нее, деньги и ссаживал его; это называлось купить косу. Потом все садились за стол; посидевши немного, когда были пропеты всем песни, вставали из-за стола, отец и мать брали руку невесты и отдавали жениху, прося в коротких словах любить и лелеять ее... Помолившись Богу, выходили и ехали в следующем порядке: богоносы вместе и впереди всех, за ними тысяцкий с женихом, потом бояре и сваха... У богатых были кареты и коляски; у кого не было, те просили у знакомых. Кареты были в Иркутске только у главных чиновников, и все они охотно ссужали ими. На венчании иногда в церкви пели певчие... Новобрачных встречали с хлебом и солью на крыльце отец и мать жениха. Если было лето, то тут же и благословляли образом, а зимою этот обряд происходил в комнате. Новобрачных и гостей сажали за стол и подавали чай, потому что жених и невеста постились до венца. Потом начинался стол, во время которого играла музыка; на двор выставляли кади с пивом и подавали вина... Так в доме новобрачных пировали три дня. По окончании веселий молодые

ездили с визитами ко всем родным и знакомым, которые были на свадьбе. Спустя несколько дней тесть давал для молодых и для новых родственников два дня сряду пир, и тем кончались все обряды свадьбы...

При рождении младенцев были обряды следующие: в то время, когда новорожденного мыли, клали в воду серебряные или золотые деньги, которые брала бабка. Между тем извещали родных, и они приезжали навестить родильницу. Каждый посетитель или посетительница привозили серебряные деньги, иногда ассигнации, а у бедных медные деньги, которые и клали под подушку родильнице или ребенку. В крестины по окончании духовного обряда был обед, ужин или закуска; но во всяком случае подавали кашу из сарачинского пшена, вареную на молоке, а в пост — на воде. Сначала подносили вина, а потом кашу; и от этого есть пословица: я у него на крестинах кашу ел. На кашу повивальной бабке клали деньги. Если дитя было перворожденное, то часто, подшучивая над отцом, старались приготовить ему ложку каши с солью и с перцем и говорили, что он должен разделить страдания матери...

Описывая, как умею, разные обряды иркутских жителей, наконец, я приступаю к тому неизбежному к концу жизни обряду, о котором человек не может сам заботиться, но оставляет это другим; я говорю о похоронах и опишу, как они отправляются в домах достаточных. Известно, что у бедных бывает то же самое, только в малом виде. По окончании религиозных обрядов умершего кладут на стол, который убирают полотном или кисеей и черными лентами, ставят подсвечники, пол устилают ельником, этим северным кипарисом. Дети и ближние родственники бывают попеременно при теле усопшего. Прежде жена и дочери непременно должны были сидеть при теле усопшего и причитать со слезами, высчитывая все добрые качества его. Если кто не соблюдал этого, то говорили, что рады и не жалеют о смерти его; надобно было, если нет слез, закрыть глаза платком, положить голову на стол, где лежит покойник, и приговаривать. У девиц при смерти отца или матери распускали волосы по плечам, завязывали голову черным платком... Даже при этом случае видно гостеприимство сибиряков: к покойнику ходили все знакомые, многие и чужие; знакомые из приличия, а посторонние — посмотреть, как одет, какую парчою покрыт и плачут ли родные; но всякому приходящему подавали рюмку вина и чаю. Для того приставлены были особые люди, и под их надзором самовары кипели с утра до вечера. Один из верных людей подавал милостыню; рассылали по возможности подавания по монастырям, богадельням, в острог и в больницу; служили два раза в день панихиду. Между тем готовились к похоронам, которые обыкновенно бывали в третий день. В Иркутске нет готовых гробов и нет людей, которые бы делали из этого промысел; траура не отпускают напрокат, и даже всех покойников носят на носилках, покрытых сукном или ковром. Гроб заколачивают на кладбище. В этот день

бывает большой обед, который называют горячим. Кроме священников и причетников приглашаются на него родственники и знакомые; кому угодно из посторонних, всякий может прийти и обедать: никому не отказывают... Траур носят ближние родные целый год.

...Между жителями Иркутска нет или не было, по крайней мере, утонченного светского обращения; но легко разгадать причину этого. При всей охоте перенимать хорошее и учиться всему изящному там нет учителей и учительниц танцеванья, музыки и пенья; нет театров, концертов; даже нет ни одного пансиона или училища для девиц; учатся как кто может, некоторые дома, другие у священников. Были при мне дома два, где по несколько девиц учились, более по знакомству, русской грамоте и разным рукоделиям...

Посты и постные дни строго соблюдались в Сибири. Многие жители сами налагали на себя посты и постились Кирику и Иулитте, Иоакиму и Анне, Илье пророку и Воздвиженью. Накануне Рождества, то есть в сочельник, не ели ничего до звезды и уже вечером пили чай и ужинали. Девушки сберегали от этого дня лучинку, которою засвечивали огонь для воровжбы; а в Сибири большие охотницы ворожить и множество рассказывают чудес, кому что виделось. Так как я хочу описать все мне известные обычаи и поверья, то опишу и гаданья... Все игры и гаданья относятся более к девицам, но и молодые мужчины в них участвовали. Назначивши вечер, подруги собирались в один дом поиграть и погадать. Всегда начинали подблюдными песнями... После песен хоронили золото. Эта игра всем известна и, кажется, одна из самых старинных. Потом играли именами, в курилку и в жмурки, которые в Иркутске называют имальцы...

Наигравшись, некоторые разъезжались по домам, а многие девицы оставались ночевать у подруг. Тогда-то, под предводительством опытных, приступали к тайнам — угадывать будущее. Гадали о суженом, о том, весело ли проживут следующий год; лили олово, воск и по вылитым фигурам разгадывали свою участь. Около полуночи выходили во двор полоть снег. Взявши немного снегу в фартук, качали его, приговаривая: «Полю, полю белый снег; где собака залает, там мой суженый», — и прислушивались. Где залаяла собака, там быть отданной замуж. Толстый и хриплый лай означал старика, звонкий и тонкий — молодого... Главные, важные гаданья были: смотреть в зеркало в полночь, когда все лягут спать, или набирать два прибора на Васильев вечер или на Крещение и в сочельник ходить слушать к верее, к амбару, к проруби, на перекресток, и все это в полночь. Я сама нарочно испытывала многое, но мне никогда и ничего не чудилось; напротив, от других я слыхала чудеса, и они божились, что это точно было. Гляđenje ночью в зеркало делалось так: девица, которая хотела гадать и надеялась на свою бодрость, садилась одна, а если немножко трусила, то, неизменная своей природе Евина внучка, который хочется знать, хорош ли, молод ли будет суженый, сажала няню или какую-нибудь

Сивиллу³ в смежной комнате и ставила два зеркала одно против другого. Перед одним она садилась одна и ставила две свечи, а другое зеркало ставила сзади, очертив лучинкой (которою был зажжен огонь в сочельник), и глядела в него пристально. Сначала зеркало подергивалось туманом; потом мало-помалу прояснялось, и суженый глядел через плечо девицы. Тогда надобно было зачураться: «Чур меня, полно!» — и отнюдь не оглядываться, а то могло быть худо. Конечно, все это одно воображение, но многим стоило жизни или тяжелой болезни...

С окончанием Святков — конец всем ворожбам: старые люди постятся да Богу молятся, а молодые свое смекают... Вечером в крещенский сочельник везде окропляют святой водой, ставят кресты мелом на окнах и дверях, и тем все оканчивается.

После Святков игры утихают, начинаются свадьбы; после этого дожидаются Масленицы; тогда свои северные забавы: катанья по улицам, катальные горы. Бег устраивается в Иркутске с начала зимы на устье Ушаковки, а после на Ангаре. Лед блестит как зеркало и бывает обставлен елками. Тут по воскресеньям и в праздники, а особливо на Масленицу выезжают охотники в маленьких санках, на рысаках и иноходцах. Горы бывают часто в двух местах: на Ангаре и на Ушаковке. С четверга начинаются гулянья. К Масленице варят пиво и делают хворосты; столы накрыты скатертями и уставлены конфетами, вареньями. Хворосты (род пирожного) как принадлежность Масленицы видны везде; самовар всегда готов. Родные ездят друг к другу и между тем не забывают кататься. Во многих домах делают ледяные катальные горы, с которых катаются на кожах, на лубках, на санках и даже на льдинах. Вот что еще иногда бывало на Масленице для забавы народа: начальники города приказывали сплотить вместе несколько огромных саней и устраивали на них корабль со снастями, парусами. Тут садились и люди, и медведь, и госпожа Масленица, и разные паяцы; все это вообще называли Масленицею. В нее впрягали лошадей двадцать и возили ее по улицам; позади обыкновенно следовали толпы мальчишек и гуляк; они провожали ее песнями и разными прибаутками.

К чести иркутских жителей надобно сказать, что они очень набожны; не только пожилые люди, но и молодые всю Масленицу ходят в церковь. В прощальный день ездят на кладбище, служат панихиды и поклоняются праху родных; потом весь этот день посвящают прощальным визитам к родителям и старшим родственникам. Вечером тот же обряд повторяется дома: служители прощаются с хозяевами, дети с родителями. На другой день начинается пост.

...Хотя Пасха случается и в марте, но почти всегда в это время сходит снег и бывает сухо.

³ Сивилла — знаменитая в древности легендарная пророчица-старуха.

К празднику Воскресения Христова приготавливаются богатый как хочет, а бедный как сможет; но во всяком доме пекут куличи, красят яйца, делают сыры. Из достаточных домов посылают разной провизии в острог, в богадельни. Святую неделю, так же как и другие торжественные дни, проводят в кругу родных и знакомых. Их всех увеселений, известных в столицах, на святой неделе только качели ставят на площади. Тут бывают качели круглые, большие, с сиделками, и коньки; качаются, ездят, другие смотрят; но тем и кончится праздник...

Когда Пасха была поздняя, то в этот день уже есть цветы, и весело смотреть, как около вечера беспрестанно переезжают чрез Ангару карбазы, наполненные народом, и у всякого в руках трофеи весны — букеты цветов. В день Троицы и Духов день тоже ездят и ходят гулять за город... Все жители Иркутска, от богатого до бедного, любят гулять за городом... Любимое гулянье простого народа — около Ушаковки, потому что это место всех ближе к городу. Если у кого нет лошади, то все семейство, иногда и не одно, собирается в воскресенье или какой праздник гулять на Ушаковку, пить чай и купаться. Всю ношу разделяют по частям: один несет самовар, другой чашки, третий булки, калачи, пироги, ведут и несут детей, потому что почти все выбираются из дома, который запирают, попросивши соседей посмотреть, или оставляют какую-нибудь старуху, говоря по-сибирски, домовничать...

Окрестности Иркутска прелестны, как сельская красавица; одна природа все украшает, но какова эта природа! Местами дремучие леса, где вековые деревья свалились от бури и, лежавши, истлели так, что прикоснись — и они рассыпаются прахом. В глубоких оврагах ключ нередко образует ручей, опушенный зеленым мхом. Вот узкая тропинка, она ведет нас в густой лес, где корни деревьев высунулись из земли и, кажется, свидетельствуют о своей древности. При малейшем ветерке в лесу отдается какой-то гул; кажется, что это древние священные леса, жилища друидов...⁴

1837

⁴ Друиды — жрецы кельтских племен, населявших в древние времена теперешнюю Францию. Леса, которых друиды приносили жертвы божеству, считались священными.

Из книги
«Записки иркутского
жителя»

В начале XIX столетия Иркутск имел вид более грязного уездного городка или даже большего села, нежели столицы Сибири, как его называли тамошние жители по пребыванию там сибирских генерал-губернаторов. После проливных дождей многие из иркутских улиц были непроходимы: на площадях образовывались беспредельные лужи. Проезда по ним почти не было.

Невысыхаемая грязь не была, однако ж, единственным достоинством иркутских улиц; они были сверх того косы и кривы, тянулись как им было удобнее, не удостаивая городской план ни малейшим вниманием. Дома то высовывались вперед, как бы желая взглянуть, что делалось на улицах, то пятились назад, как бы стараясь уединиться от городского шума; многие, особенно в так называемых солдатских улицах, склонившись долу после долговременной службы, преспокойно доживали на боку свои последние дни. К довершению картины город был украшен тысячами колодезных столбов, торчавших из каждого огорода, с превеликими очепами, или как их называли в Иркутске, жеравцами, — словом, город имел, как сказал я выше, вид большого села, где на грязных улицах гуляли коровы, стадами бегали собаки и по временам плавали утки. Наконец для этой сельской картины настал черный день. День этот был приезд в Иркутск гражданского губернатора Николая Ивановича Трескина, в 1808 году¹.

Трескин неумоимо принялся за благоустройство города. Площади были подняты и осушены; на улицах, не только главных, но и второстепенных, положены гати. Все это производилось колодниками, или, как называют их в Сибири, «несчастными». Инженеров путей сообщения в то время

Калашников Иван Тимофеевич (22 октября 1797, Иркутск — 8 сентября 1863, Петербург), первый сибирский прозаик. Автор книг «Дочь купца Жолобова», «Камчадалка» и др.

¹ Калашников ошибся: Трескин прибыл в Иркутск в октябре 1806 года.

в Иркутске еще не было, поэтому работы производились под руководством также ссыльного, некоего Гуши, который ходил в каком-то импровизированном им самим мундире в виде начальника. Имя Гуши было известно всем в городе от мала до велика. Рабочих, бывших под его начальством, иначе не называли, как гушинскою командою.

Появление гушинской команды особенно было неприятно для владельцев тех домов, которые, по вольности дворянства, не уважали городского плана. Трескин хлопотал не только об осушении улиц и площадей, но и о том, чтобы выпрямить кривизны и косины и дать городу, елико возможно, наружность благоприличную. Споры нет, что благоприличие вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоявшими не по плану. Согласие домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гушинская команда — и дом поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемонии отпилят от него сколько нужно по линии улиц, а там и поправляй его, как умеешь. Если хозяину поправить дом было нечем, то он ежился с семейством в остальной части, а полуразваленные комнаты так себе и стояли напоказ иногда целые годы.

Один купец, по прозванию, помнится, Скоробогатой, долго упрямился и не хотел сломать своего дома. Домик в самом деле был красивенький и хорошо прибранный, по изысканному вкусу хозяина, который и сам был человек щеголеватый и даже несколько щепетильный. В одну прекрасную ночь, когда Скоробогатой спал спокойным сном, как человек вполне довольный своим положением, может быть, предавался сладкому мечтанию, как он женится и заживет весело с супругою в своем уютном и красивеньком домике; может быть, мечтал и о тех переменах, какие предполагал в нем сделать, — как вдруг раздается на кровле роковой визг пилы... Труба архангела, возвещающая кончину мира, едва ли была бы для него более ужасною! Сколько ни упрашивал, сколько ни умолял бедный купец об отсрочке разрушения своего маленького рая, неумолимый Гуша продолжал свое дело — и половины дома как не бывало...

Каменных домов было очень мало: едва ли насчитывалось десятка три. Из казенных каменных зданий самое красивое, по странной игре случая, было — тюрьма, или, как называли в Иркутске, острог...

Лучшие деревянные дома, за исключением одного, в котором владетельствовал откуп, принадлежали казне, как-то: генерал-губернаторский, губернаторские зимний и летний и вице-губернаторский.

Частные деревянные дома в городе принадлежали большей частью купцам и мещанам; имели дома и чиновники, но небольшие и бедные. Судя по домам, можно думать, что тогдашние чиновники или жили одним своим жалованьем, или, если и пользовались от трудов своих, то весьма скудными даяниями...

Постройка домов мало улучшилась и в управление Трескина. Бывший при нем архитектор имел необыкновенное пристрастие к высоким крышам. Крыши, поставленные им на выстроенных им деревянных домах, иногда в полтора раза были выше самих домов и напоминали прежних солдат в безмерно высоких треугольных шляпах.

Всех домов, каменных и деревянных, при выезде моем из Иркутска в 1822 году насчитывалось до 2000, а жителей — до 15 000 человек.

...Судя по выговору и самостоятельности характера иркутских старожилов, можно полагать, что они происходят от зашедших в Сибирь новгородцев, рассеявшихся после погрома при Грозном.

Самостоятельность в первом десятке настоящего столетия, до приезда губернатора Трескина, особенно проявлялась в сословии купцов, составлявших аристократию Иркутска. Замечательно, что среди них не было ни одного раскольника; все они брили бороды и носили фракы.

Гордость их нередко доходила до дерзости; главнейшие из них не ломали, как говорится, шапки и пред главными начальниками.

Не извиняя дерзости, нельзя, однако ж, не сказать, что самостоятельность купечества имела свою хорошую сторону... В городе, где не было дворянства, кроме бедных и безгласных чиновников, купеческое общество одно составляло некоторый оплот самоуправству и беззаконию, столь обыкновенному в прежнее время в отдаленных провинциях. Если притеснения переходили меру терпения, купцы приносили жалобу высшему правительству. Жалобы их нередко были признаваемы уважительными. К сожалению, не всегда они умели пользоваться вниманием правительства: успех их жалоб еще более надувал купеческую спесь. Даже и в начале управления Трескина она не хотела уняться. Я помню случай, что купец высокого роста и гордейшего характера, вошедши в собрание, где был и Трескин, поклонился и, наклонив голову, не разгибался, ожидая, пока все встанут на ноги и ему, в свой черед, поклонятся...

Чиновники иркутские были большей частью люди бедные и безответные, загнанные, невольные орудия самовластия. Каждый жил кое-как своим домишком, своим хозяйством, искал удовольствия только в своем семействе. Бывали и исключения, но весьма немногие. Это продолжалось до приезда Трескина, когда явился в чиновничьем мире новый элемент: земские. Под этим словом разумелись исправники и завсегда́таи земских судов. Они начали вести жизнь роскошную, ввели сильную картежную игру и шампанское, до того мало известное Иркутску. Надо заметить, что земские были почти все приезжие, учившиеся в университетах, люди цивилизованные². Они смотрели свысока на уроженцев Иркутска,

² По указу Александра I для получения чинов на государственной службе стал требоваться известный образовательный ценз. Этот указ способствовал появлению большего, по сравнению с прежним временем, числа образованных чиновников.

и те сами чувствовали, что им равняться нельзя с этими великими людьми.

...Городские удовольствия иркутских жителей были весьма незатейливы и немногосложны. Некоторыми равно пользовались как богачи, так и бедные. Таковы были, например, вертепы. Это были передвижные кукольные театры, украшенные разноцветными бумагами, обыкновенно в два яруса. Между ярусами находилось пустое пространство настолько, сколько было нужно, чтобы просунуть туда руку для вывода кукол, утвержденных на палочке. Содержание представляемых пьес было духовное. В верхнем ярусе представляли поклонение пастырей и волхвов при рождении Иисуса Христа, бегство в Египет, крещение; в нижнем выводили Ирода, представляли избиение младенцев, смерть Ирода, похищение души его злым духом в ад, представленный в виде змеиной головы, наконец, погребение тела Ирода, потом пляска Иродиады, его дочери. Тут были придуманы некоторые сцены, то трогательные, как, например, плач матерей о своих детях, то забавные, как казалось, по крайней мере, для детей. Представление сопровождалось пением хора...

После вертепа представляли иногда нечто вроде водевилей. В особенной моде было представление польского шляхты (шляхтича, дворянина) и его слуги. Смысл этой великой драмы в том состоял, что плут и наглец слуга издевался над глупым и тщеславным шляхтою. Это насмешливое направление показывает, что и сочинение шляхта и его слуга также вывезено из Киева³.

Вертепы обыкновенно носили на святках вечером. В первый день Рождества Христова ходили утром по домам христославщики из малолеток нашего круга. Некоторые из них, воспитанники младших классов семинарии, славили Христа по латыни...

Тяжелая година, давившая много лет судьбу Иркутска, имела сильное влияние как на детские, так и на общие удовольствия⁴.

Все, что выходило из ряда официальных занятий, как-то постепенно чахло и, наконец, замерло. В том числе зачах и публичный театр.

Публичный театр был устроен в первых годах настоящего столетия⁵. Здание, в котором он помещался, не было, признаться сказать, из числа великолепных: это был одноэтажный деревянный дом, вросший в землю.

³ Действительно, святочный кукольный вертеп был занесен в Сибирь воспитанниками украинских церковных школ, явившимися в XVII–XVIII веках «просвещать» туземную языческую Сибирь в качестве миссионеров православной церкви.

⁴ Под «тяжелой годиною» Калашников разумеет управление Иркутском Н. И. Трескина (1806–1819).

⁵ В 1805 году. Первый любительский спектакль в Иркутске состоялся в 80-х годах XVIII века по инициативе жены видного местного чиновника В. А. Троепольского. В 1803 году некий купеческий сын Е. П. Солдатов устроил в Иркутске общественный театр «для всей публики», с труппой из подъячих и ссыльных. Театр Солдатова просуществовал одни Святки. В 1805 году ссыльные кн. В. Н. Горчаков и бывший гвардейский офицер А. П. Шубин основали постоянный полупрофессиональный театр, о котором и рассказывает Калашников.

В нем была выкопана глубокая яма, в которой были устроены сцена, партер и ложи, помнится, в три яруса. Все было улажено, как следует: оркестр находился перед сценой, сцена была возвышена и довольно обширна, кулисы и передняя занавеса были весьма удовлетворительны, декорации переменились скоро, машины были довольно исправны. Актеры были выбраны из гарнизонных солдат; некоторые из них играли очень недурно; особенно отличался какой-то Рожин. Актрисы были из ссыльных женщин, вероятно, игравших прежде на театрах: по крайней мере, игра их очень нравилась.

На Иркутском театре играли комедии, драмы — большей частью Коцебу, — водевили, а иногда и волшебные оперы. Я помню, как однажды, в какой-то волшебной опере подлежало спуститься с неба гению. Он начал спускаться на облаках: вдруг веревка оборвалась, и бедный гений едва не сломал себе шеи...

Каков бы ни был гарнизонный театр, но он составлял развлечение в единообразной иркутской жизни. Наконец и его не стало, и только полуразрушенный дом напоминал долго, говоря классическим языком, о торжествах Талии и Мельпомены, пока не явилась гущинская команда и не наложила на него свою роковую руку...

Публичный театр не возобновлялся во все время управления Трескина; были только три частных спектакля в 1816 году...

Спектакли составляли удовольствие высших сословий города; собственно же парадных увеселений и пиршеств в бытность мою в Иркутске не было, за исключением одного, по случаю получения известия о взятии Парижа летом 1814 года. Это известие, полученное в Петербурге 8 апреля, пришло в Иркутск не ранее июня⁶.

Праздник начался церковным парадом. Шествие открыли пять или шесть десятков инвалидной команды, увенчанных, за неимением лавров, березовыми ветвями, потом шли казаки, предшествуемые трубачами, которые, быв незадолго перед тем сформированы, производили на трубах невыносимый визг и вой. Затем шел гарнизонный полк, и в заключение — четыре пушки гарнизонной артиллерии. Словом, была двинута вся военная сила Иркутска. По окончании молебствия производилась пальба из ружей и пушек. Несмотря на свою оригинальность, парад все-таки произвел большой эффект, потому что сердца зрителей были наэлектризованы радостью совершившегося события.

После парада высшее общество было приглашено на обед и бал, а для народа было выставлено вино. В продолжение попойки много совершилось смешных сцен, и немногие из пирующих пришли домой без синяков и разбитых носов...

Балы при Трескине имели в себе много оригинального. В доме губер-

⁶ Париж был занят союзными войсками 19 (31) марта 1814 года.

натора они давались раз в год, в именины губернаторши, 21 января. К этому дню съезжались в Иркутск земские почти со всей губернии; также собирались бурятские тайши, или начальники бурятских родов.

Бал открывался польским, где вместе с музыкою пели казацкие певчие, обыкновенно: «Гром победы раздавайся», или «Польскими летит странами»; после польских начинались экосезы, матрадуры, вальсы; в позднейшие годы вошли на сцену и кадрили. Танцевали молодые чиновники, преимущественно земские, молодые чиновницы, дочери чиновников и купцов... Главнейшая суть, ядро бала, были не немецкие вывертки, а чистейшая Русь во образе некоего Ивана, ссыльного, кажется, из цыган, и служанки губернатора Софьи. Ванька и Сонька, как их тогда без церемонии называли, танцевали казачка и русскую. Ванька, мужчина среднего роста, хорошо сложенный и довольно красивый, действительно очень ловко выметывал ногами и во всех движениях показывал цыганскую удаль. Сонька тоже была весьма недурна собою и танцевала с большой энергией. Вообще в пляске их было много дикого, вакхического, но это и нравилось тогдашней иркутской публике.

Случалось, что среди бала вдруг раздавалось удалое пение полицейских песельников, составленных из полицейских солдат и ссыльных под управлением городничего Карташева, мастера и охотника петь. Полицейский хор пел весьма складно и живо.

Бал оканчивался не котильоном, не мазуркою, а некоей «восьмеркою», природным иркутским танцем вроде деревенских хороводов.

В торжественные дни и в именины генерал-губернатора давались балы городским головою или целым купеческим обществом. Гости приглашались печатными билетами, отличавшимися необыкновенным красноречием. Для образца я приведу один билет, которым городской голова Медведников приглашал на бал по случаю тезоименитства государя императора Александра Павловича, 30 августа 1816 года: «Иркутский градской глава Прокофий Федорович Медведников, — сказано в билете, — движим будучи верноподданническим благоговением ко вседостойнейшему тезоименитству всемилостивейшего государя и желая ознаменовать торжественный для всех сынов России день сей приличным празднеством, дабы, соединяя верноподданнические чувствования, усугубить общую радость, покорнейше просит пожаловать сего августа 30 числа 1816 года, пополудни в 6 часов, на бал в новую биржевую залу».

Кроме биржевой залы общественные балы давались иногда в Портновском саду, а до устройства его — в Комендантской роще. Роща эта стояла далеко от реки, воды в ней вовсе не было, а между тем нельзя же быть саду без фонтанов. Чтобы пособить горю, чей-то гениальный ум придумал поставить за решеткою сада две пожарные трубы, от них рукава провести в сад, а наконечники скрыть в группе дерев, где держали их полицейские

солдаты. Когда стали собираться посетители, импровизированные фонтаны были пущены и привели неожиданностью своею в восторг зрителей... Но каково было полицейским, целую почти ночь стоявшим под проливным дождем.

По приезде в Иркутск генерал-губернатора М. М. Сперанского иркутские балы совершенно изменили свой полуазиатский характер. Для большего соединения общества было положено в 1819 году основание Иркутскому благотворительному собранию. Приехавшие с генерал-губернатором молодые люди внесли в состав танцев совершенно новые элементы и совсем стерли с лица земли несчастную «восьмерку», которая после того кое-как приютилась на окраинах города, в солдатских улицах, и являлась только украдкой на «капустках»...

«Капусткою» назывался сбор девиц и женщин для рубки капусты общими силами или помощью, как говорят в деревнях. Это было в обыкновении в домах и богатых, и бедных, и чиновнических, и купеческих — словом, у всех жителей Иркутска. Старушки обрубали вилки, мальчишки подхватывали и несли кочни, а девушки и молоденькие женщины рубили капусту, напевая разные песни... Бывало, звонкие голоса певиц далеко разливаются по улицам и невольно влекут прохожих в знакомые им дома. По окончании рубки гостей угощали обедом, чаем, и потом начиналась пляска...

В самом угощении прежнего времени были в Иркутске замечательные особенности. В какой час дня ни зашли бы вы в гости, утром ли, вечером ли, ночью ли, — вы не избегнете, чтобы вас не угостили чаем. Кофе употреблялся только в богатых домах.

Пить чай досыта почиталось невежеством. Старые люди говорили, что гости должны пить одну чашку, три чашки пьют родственники или близкие знакомые, а две — лакеи.

Подаваемые сласти брали, но есть их также считалось неучтивостью. Гостя брала их и клала куда-нибудь подле себя. Между тем мужчин угощали домашними наливками; виноградные вина были дороги и употреблялись мало. Доставка их в Иркутск была крайне затруднительна. После чаю подавали пунш, наиболее с кизлярской водкой, и только в самых богатых домах подавался пунш с ромом.

На богатых свадьбах, само собою разумеется, играла полковая музыка, а на бедных (как и на вечеринках) играл большей частью известный тогда всему городу слепой скрипач, или, как называли его в Иркутске, Митька-слепой. Митька был весьма замечательное явление. Слепой от рождения, он не только играл на скрипке разные песни, танцы и духовные концерты, которые сопровождал пением, но и делал сам скрипки. Память и слух его так были изощренны, что он изучил по слуху целые кафизмы наизусть и читал их в церкви вместо дьячка. Бывший в Иркутске комендант генерал Сухотин даже сделал Митьку-слепого регентом военного певческого хора...

Фортепианная игра в Иркутске была почти неизвестна. Едва ли в трех или четырех домах были фортепианы; зато в большом употреблении были гусли, и двое из ссыльных отлично играли на них. Фортепианного учителя не было, кроме одного, также ссыльного, Антона, игравшего довольно плохо разные танцы...

Оркестр, бывший в Иркутске в мое время, был оркестром гарнизонного полка, игравший только марши и танцы, в старину весьма незатейливые и немногосложные; поляк Савицкий некоторое время дирижировал этим оркестром и подвинул его вперед... Но главное достоинство этого оркестра состояло в том, что он был в Иркутске единственным и гремел, худо ли, хорошо ли, на всех торжественных балах и обедах.

Вокальная музыка имела больше представителей. В одно время Иркутск имел три хора: архиерейский, солдатский и казачий... Хор казачий, обучаемый весьма опытным учителем, обыкновенно из ссыльных, пел весьма искусно и прекрасно исполнял концерты Бортнянского, особенно известную ораторию «Воспойте, людие, благолепу песень в Сионе».

...Начало образования в Иркутске относится к 1781 году, когда была учреждена там первая народная школа, но образование долго только мерцало, как сумерки, и даже в первых годах настоящего столетия не было заметно еще влияние науки в общей массе народонаселения, может быть, потому, что образование массы зависит наиболее от женщин, а для женщин в Иркутске не было никакого училища. Они учились грамоте кое-как, самоучкою, на медные деньги, и притом не все, а избраннейшие чада фортуны; прочие были большей частью безграмотные или весьма малограмотные, читали и особенно писали пополам с грехом. Но нет правила без исключения. Я говорил уже в первой части моих записок о дочери купца Полевого, удивлявшей меня своими познаниями. Сверх того, я знал еще одну даму, также из купеческого сословия, весьма умную, начитанную, которая гордилась тем, что дважды прочитала несколько томов, *in quarto*, древней и римской истории Роллена в переводе знаменитого Василия Кирилловича Тредьяковского: подвиг, которым по справедливости можно было хвалиться⁷.

Таким образом, несмотря на этот, однако же, общий недостаток образования, и тогда были уже между женщинами, тем более между мужчинами, замечательные личности, ярко выдававшиеся своими достоинствами из общей массы населения. Особенно это следует сказать о втором десятилетии XIX века. Жажда познаний особенно пробуждалась с большей энергией между молодыми чиновниками... Стремление молодых чиновников к просвещению преимущественно проявлялось в казенной экспедиции.

⁷ Роллен Шарль (1661—1741) — известный французский писатель-историк. Его сочинения «Древняя история» в 12 томах и «Римская история» в 16 томах были переведены на русский язык В. К. Тредиаковским в 60-х годах XVIII века и изданы Академией наук.

Чиновники, стремившиеся к проявлению своих духовных сил, разделялись на два рода: одни устремились к музыке, другие — к наукам, и в особенности к русской литературе.

Любители музыки составили певческий хор, наняли учителя, квартиру и собирались туда для пения два или три раза в неделю, наконец, разучили несколько концертов и пели в церквях, иногда одни, иногда в соединении с певчими казацкими. Многие из них имели хорошие голоса.

Чиновники-литераторы изучали грамматику, риторику и поэзию; писали сочинения прозой и стихами, не для печати, не для слав, а так, *son amogé*⁸, единственно для упражнения, для домашнего обихода...

Один из этих чистых любителей искусства, восторгавшийся победами нашими в Отечественную войну, сочинил большую торжественную одну на изгнание французов под названием «Торжество России». В этом стихотворении не только направление было державинское, но как-то проскочили даже целиком две-три строчки с небольшими изменениями, ради благопристойности... Для ознакомления читателя с иркутскою музою тогдашнего времени я приведу из этой пресловутой оды несколько строф:

Летит чудовище (*т. е. Наполеон*) —
И скипетром железным
Повсюду сеет страх и смерть.
Крылами рассекает бездны,
На вечной оси движет твердь;
Народы рабству покоряя
И в пепел грады обращая,
Колеблет троны, силы власть.
Разверзла челюсти геенна,
Объята пламенем вселенна,
И всюду бедствие, напасть!..⁹

И в Иркутске кто не знал, кто не имел стихов Державина? Всякий грамотей, часто не знавший правописания, поставлял непременно долгим списать несколько од великого поэта, в особенности «Бог», «На счастье», «Вельможа», «На взятие Измаила», «На покорение Варшавы». Многие помнили их наизусть и любили цитировать. Чем стих был высокопарнее и громче, тем более нравился...

И вдруг посреди грома и шума державинских стихов раздался мелодичный, нежный, чудный и неслыханный дотоле голос «Певца в стане русских воинов». Сначала были этим невольно поражены: не могли еще долго расстаться с громом Державина, сильно сроднившимся с душою, наконец мало-

⁸ Ради любви — *итал.*

⁹ Калашников цитирует свою собственную оду, написанную им в возрасте 15 лет.

помалу стали прислушиваться к музыке Жуковского и чуют более и более сладость его стихов... Несмотря, однако же, на угасание Державина, данное им направление поэзии долго еще преобладало над умами иркутского большинства, даже и после ознакомления с Жуковским. Поэтому приведенная мною выше торжественная ода произвела в мало пишущем тогда Иркутске большой фурор.

В Иркутске не было тогда никакой библиотеки, кроме гимназической, подаренной иркутскому народному училищу Екатериной II. В ней заключались лучшие творения древних и новейших, разумеется, тогдашних, писателей; даже была пресловутая Энциклопедия — плод философов XVIII века¹⁰. Гимназия увеличивала ежегодно состав библиотеки, выписывая новые книги, но никто из жителей Иркутска не имел права пользоваться ее сокровищами, как будто прямое назначение ее книг было гнить без пользы.

Книжных лавок также не было, а выписывать книги из Петербурга или из Москвы стоило дорого, было хлопотно и не всегда верно: о дальних подписчиках в тогдашнее время книгопродавцы столичные не слишком много беспокоились. Самые газеты и журналы были довольно редки и выписывались преимущественно присутственными местами и притом всего более одни «Московские ведомости». Для внутренних и сибирских губерний Москва была как-то знакомее Петербурга...

Жизнь в Иркутске была исключительно семейная. Никаких мест, где бы можно было убивать время за картами или прогуливать иногда последние крохи бедного жалования, не было вовсе. По приезде Сперанского было учреждено благородное собрание, но туда собирали только раз в неделю. Во всем городе был один трактир, да и в тот заходить считалось бесчестием: туда заглядывали только отчаянные гуляки, которые составляли весьма малочисленное и резкое исключение.

...В 1805 году была открыта в Иркутске гимназия с уездным и приходским училищами. Директором иркутских училищ был определен некто Кранц. Сначала поступили в гимназию учителя из упраздненного главного народного училища, а потом для занятия учительских должностей приехали молодые люди из Петербургского педагогического института. Тогда преподавание в гимназии обнимало все факультеты наук, вмещавшиеся в университетах, только в элементарном размере... Сверх наук преподавались языки: европейские — латинский, французский и немецкий, и азиатские — китайский и японский...

При открытии гимназии поступило в нее 30 учеников. В первые годы состояние ее было весьма удовлетворительно, но потом, не будучи покровительствуема местным начальством, смотревшим на нее, как на заведение

¹⁰ Энциклопедия, или «Словарь наук, искусств и ремесел» — знаменитое коллективное творение французских буржуазных философов XVIII века, проникнутое духом вольномыслия, свойственным революционной в то время буржуазии.

не нашего прихода, гимназия при плохом ближайшем управлении клонилась к упадку и, наконец, при директоре Миллере, родом немце, пришла в окончательное расстройство... Ни прежде, ни после гимназия не страдала так ни в учебном, ни в хозяйственном отношении, как при этом многоученном муже. Самый дом гимназический пришел в разрушение; зимних рам не вставляли, да и в летних были многие стекла разбиты и заклеены бумагой, многие из дверей выбиты, стулья и столы переломаны. В самые лютые морозы, случалось, не топили печей, потому что, вероятно, дровяные деньги употреблялись почтенным директором на другое назначение; учителя и ученики в классах сидели в шубах...

Жители потеряли всякую доверенность к гимназии и перестали отдавать туда своих детей. Число учеников, постепенно уменьшаясь, дошло до жалкого количества — десяти человек, так что на каждого учителя приходилось не более двух. По причине частого отсутствия учителей преподавание в гимназии почти прекратилось, и ученики большую часть классного времени проводили в разных шалостях. Начитавшись какого-то старинного романа, где героем был разбойник Ринальдо Ринальдини, они сами вздумали представлять разбойников: где-то около города устроили притоны и шуточным нападением пугали ездивших по дороге женщин...

Между тем нельзя не удивляться, что, несмотря на многообразные шалости, на праздное большей частью препровождение времени, на плохое учение, в молодых умах все-таки тлелся огонь науки, и потом, при обстоятельствах более благоприятных, многие из этих подражателей Ринальдо Ринальдини усовершенствовали свои познания и сделались замечательными или, по крайней мере, полезными членами общества¹¹.

Таким образом, гимназия даже и в период самого крайнего своего упадка все-таки приносила пользу самым существованием своим, даже одним своим именем, поддерживая в молодых умах любовь к науке и вливая в душу своих питомцев жажду образования.

1905

¹¹ В числе выдающихся воспитанников Иркутской гимназии начала XIX века Калашников называет Семена Семеновича Щукина (у Калашникова ошибочно — Ивановича), впоследствии окончившего курс педагогического института в Петербурге и в 30-х годах занимающего пост директора иркутской гимназии; его брата Николая Семеновича Щукина, небезызвестного сибирского краеведа, автора краеведческого сочинения «Поездка в Якутск» (1832) и двух повестей из сибирской жизни — «Ангарские пороги» (1843) и «Посельщик» (1835); Н. Ф. Кокорина, служившего по окончании педагогического института в Иркутске; Л. С. Бельшева, воспитанника Петербургского университета, преподавателя в иркутской гимназии; В. И. Беккера, много путешествовавшего по России и Европе сибирского журналиста — сотрудника «Иркутских губернских ведомостей» 50—60-х гг.

Ядринцев и его «Восточное обозрение»

*Назначение независимой периодической печати
в Сибири. Генерал-губернатор Анучин. Фредерикс*

Покойный Виктор Острогорский в своей заметке, написанной в виде предисловия к одной краткой биографии Ядринцева, правильно об этом выразился, что главная заслуга Ядринцева заключается в том, что он впервые познакомил Сибирь с могуществом печатного слова. Газету «Сибирь» нельзя издавать в Иркутске свободно, что было возможно для сибирского органа в Петербурге. Сибирские свои-властные чиновники получали в лице «Восточного обозрения» сурового обличителя.

Сибирский обыватель вздохнул легче, он видел в петербургской газете своего благодетеля, и подписка на газету сразу приняла такие размеры, что если и не окупались затраты за первый год, то, по крайней мере, явилась надежда, что газета вскоре встанет на ноги и не будет нуждаться во внешней поддержке. Разумеется, в то время как обыватель ликовал, сибирские юпитеры скрежетали зубами. Обиженные губернаторы и начальники края слали в Петербург доносы на газету. «Восточное обозрение» в особенности резко нападало на губернатора Восточной Сибири Анучина, а также на режим, который господствовал в Барнауле, в резиденции управления алтайскими имуществами кабинета его величества.

Анучин, выехавший в Петербург для доклада своих проектов по управлению Восточной Сибирью, очень жаловался на Ядринцева и, вероятно, представлял его журналистику несерьезной и легкомысленной. Ядринцев испугался за судьбу своей газеты и на время притих. Пока Анучин жил в Петербурге, он не пускал в печать присланные из Иркутска разоблачения

Потанин Григорий Николаевич (22 сентября 1835, пос. Ямышевский, близ г. Павлодара — 30 июня 1920, Томск), географ, этнограф, публицист. Автор многочисленных научных трудов, статей и очерков.

деяний Анучина. Но как только Ядринцев узнал, что Анучин сел в сибирский поезд, он пустил иркутские корреспонденции вдогонку генерал-губернатору. Впрочем, окончательное торжество оказалось не на стороне Ядринцева. Домогательства Анучина имели результатом лишение «Восточного обозрения» свободы от предварительной цензуры. Ядринцев принужден был текст своей газеты посылать на предварительный просмотр цензуры.

Сибирскому обывателю сразу бросилось в глаза, что тон газеты понижился, что редактор из смелого гражданина превратился в робкого раба; подписка на газету упала и с каждым годом стала падать соразмерно тому, как газета из рук добродушных цензоров переходила в руки все более и более свирепых.

Так как Анучин сыграл значительную роль в судьбе «Восточного обозрения», то я останавлиюсь здесь на нем подольше.

Анучин представлял для Ядринцева прекрасный случай доказать петербургскому правительству, что генерал-губернаторская власть не служит гарантией от произвола полицейских чиновников. Анучин приехал в Иркутск в то время, когда город переживал трудные минуты. Незадолго перед тем (в 1879 году) пожар уничтожил половину города, а перед пожаром он пережил тяжелое время генерал-губернатора Фредерикса. Народная молва обвиняла Фредерикса в злоупотреблениях властью; интеллигенция возмущалась его управлением. Он совершал поступки, которые уничтожали престиж генерал-губернаторской власти. Фредерикс ушел из Иркутска, но положение дел не улучшилось; делами края стал управлять иркутский губернатор Шелашников.

В этой же статье в газете «Молва» была описана и неказистая деятельность Шелашникова.

В это время случился забавный анекдот. По телеграфу была передана телеграмма из Петербурга в Пекин русскому наместнику о взрыве в Зимнем дворце 1 марта. Но петербургская канцелярия забыла уведомить об этом иркутскую администрацию. Вскоре весь город узнал об этом событии.

Много разговоров было в городе о происшествии, только генерал-губернатор ничего не знал. Он приказал своим чиновникам доискаться, откуда идут эти городские слухи; ему доложили, что слух распространился из квартиры отставного чиновника и директора Вагина; в день именин собралось к нему много гостей, и на этом собрании секретарь городской думы Садовников отводил каждого гостя в угол и шепотом, под секретом, сообщал страшную новость. Реакционные чиновники обрадовались случаю упечь Садовникова — этого местного радикала, которого в шутку называли иркутским Гамбеттой. Шелашников поручил полицейскому чиновнику Митрохину произвести следствие над Садовниковым; производство подобных следствий было профессией Митрохина. В то же время Шелашников узнал, что слухи пошли в город от телеграфистов. Он призвал к себе того

телеграфиста, который был дежурным во время прихода телеграммы, и спросил его, действительно ли была такая телеграмма. Телеграфист отказался выдать телеграфную тайну. Тогда Шелашников сказал ему: «Я вас прошу не как генерал-губернатор, а как частное лицо — Шелашников. Даю вам честное слово, что сохраню ваши слова в тайне». Телеграфный чиновник удовлетворил его любопытство; но вслед за этим Шелашников обратился с письмом к начальству иркутского телеграфного округа и просил разъяснить, как могло случиться, что телеграмма, которую петербургское начальство, по-видимому, находит нужным скрывать от генерал-губернатора, сделалась известной всему городу. Через несколько дней он получил такой ответ от начальника телеграфного округа. Тот писал Шелашникову, что он произвел расследование и узнал, что генерал Шелашников призвал к себе дежурного телеграфиста и от него выведал тайну. Затем — он имеет в руках показания многих городских лиц, что они эту тайну узнали от людей, бывших на одном из собраний, какие еженедельно бывают в квартире дамы, проживающей в бывшем доме декабриста Трубецкого, где и сам генерал бывает, т. е. главным виновником распространения слухов оказался сам генерал Шелашников: он выведал тайну у мелкого телеграфного чиновника, разболтал ее в гостиной генерал-губернаторши, а ее гости понесли слух по всему городу. В заключение начальник телеграфного округа просил генерала не претендовать на него за то, что он принужден довести до сведения своего начальства, что генерал Шелашников развращает его чиновников. Этот ответ генералу Шелашникову привел в восхищение иркутскую оппозицию. Через два или три дня после этого приехал в Иркутск Л. Ф. Пантелеев и рассказал, что в Омске получено официальное известие, подтверждающее телеграмму; в омском соборе служили молебен, и он сам был на богослужении; еще немного позже в Иркутск пришел номер «Екатеринбургской недели» с подробным описанием событий и празднеств, устроенных по этому случаю.

Тут только генерал Шелашников убедился, что иркутский инцидент произошел по какой-то неряшливости петербургской канцелярии, что никакой высшей политики не заключалось в том, что телеграмма прошла в Пекин и не было телеграммы на имя генерал-губернатора, и Шелашникову пришлось прекратить следствие над Садовниковым.

Это было безобразное время в Иркутске. Полгорода лежало под пеплом, из-под белого снежного савана поднимались только обгорелые черные печи. Дама полусвета попадает в помпадурши; через нее чиновники обделывают свои дела, ищут у нее протекции для защиты. Честные и способные чиновники в загоне; казнокрады свободно обделывают свои дела; среди губернской администрации царит темная личность — Стихарский, а над бюрократией всей Восточной Сибири — Сиверс. Это был остзеец, которого привез иркутский генерал-губернатор Корсаков в качестве метрдотеля;

он заведовал в генерал-губернаторском доме буфетом и конюшней. Корсаков зачислил его в штат генерал-губернаторской канцелярии, чтобы прочнее обеспечить его средствами существования. Ловкий и услужливый метрдотель оказался таким же ловким чиновником. Постепенно он стал повышаться и, наконец, сделался настолько видным, что мог дерзнуть посягать к дочери богатейшего иркутского золотопромышленника Базанова. Брак этот оказался выгодным и для зятя, и для тестя. Капиталы Базанова помогли Сиверсу получить в канцелярии место начальника распорядительного отделения, в котором сосредоточены все полицейские дела. От него стало зависеть назначение чиновников на места; словом, все чиновники очутились в его руках. Базанов же нашел в Сиверсе заслон от всяких притязаний полицейских властей. Если на приисках злоупотребления вызывали бунт рабочих, Сиверс мог заглушить скандальное дело. Таким образом, вырос всесильный чиновник, который царствовал над восточно-сибирской бюрократией за время управления Фредерикса и Шелашникова.

Иркутское общество надеялось, что с приездом Анучина иркутский режим радикально изменится. Об Анучине были самые благоприятные характеристики. Рассказывали, что перед Польским восстанием Анучин служил в Петербурге и вращался в либеральных кругах; им интересовались и старались попасть в те дома, в которых блестящий офицер генерального штаба говорил свои радикальные речи. Указывали, что он поместил в «Современнике» статью о бунте уральских казаков, предшествовавшем пугачевскому бунту. Иркутяне ждали от генерал-губернатора-литератора необычайных дел. Были уверены, что новое управление будет в совершенно противоположном духе с управлением Фредерикса и Шелашникова. Мечтали если не о том, что это будет новый Сперанский, то, по крайней мере, такой же государственный чиновник, как граф Муравьев-Амурский.

Приезд генерал-губернатора Анучина. Финансовый кризис «Восточного обозрения». Неизбежность перевода издания в Иркутск. Генерал-губернатор граф Игнатъев. Михайлов

О карьере Анучина в Царстве Польском иркутянам ничего не было известно; они не знали, что Анучин отрекся от своих прежних друзей, что он предложил свою шпагу тем, которых раньше считал своими противниками.

Когда генерал переплывал на пароходе через Ангару, набережная реки была усеяна народом. Гласные его ждали с хлебом-солью. Толпа ждала нового начальника как дорогого гостя. Когда генерал сходил с парома на берег, раздалось «ура». Это не было казенное пустозвонное «ура»: для многих с ним были соединены большие ожидания. Принимая хлеб, генерал сказал, что, вступая на иркутскую почву, он особенно радуется тому, что

слышит звон православных колоколов; в течение нескольких лет, живя в Польше, он скучал по ним и теперь испытывает удовольствие от мысли, что более не будет слышать чужого звона католических колоколов.

Это было начало генерал-губернаторской декларации, которое, однако, не отражало иркутское общественное мнение, это были цветочки, а дальше посыпались и ягодки.

На другой день генерал, принимая в генерал-губернаторском доме муниципалитет и высших чинов местной администрации, яснее высказался о том, чего может ожидать от него местное общество. Он громко и ясно сказал, что никакой перемены в управлении не будет, что он решил управлять краем совершенно так же, как управлял им Шелашников.

Теперь у иркутского общества не было никакого сомнения в характере управления нового начальства. Все надежды на изменение к лучшему погасли. Так как чиновник Сиверс, присоединившийся к поезду Анучина еще на дороге, приехал в Иркутск в один день с ним, то обескураженная иркутская публика после речи Анучина острила, будто бы в Иркутск приехал не настоящий Анучин, что настоящий выехал из Радома, но на дороге Сиверс подменил его.

И в самом деле, в управлении Восточной Сибири с Анучиным ничто не изменилось. Все прежние воротилы в чиновничьем мире остались на местах, и Сиверс, зять золотопромышленника Базанова, и Стихарский, прославившийся многими проделками.

Либеральные начальники края, чтобы оживить в нем жизнь, чтобы придать блеск своему управлению, всегда привозили с собой из Петербурга новых лиц, которые своими специальными знаниями оказывались полезными для местного населения. Иногда это были опытные юристы, иногда натуралисты и ученые, изредка даже музыканты. Благодаря этому, можно было встретить в свите генерал-губернатора ботаника в мундире офицера генерального штаба или виртуоза на виолончели в звании писца в генерал-губернаторской канцелярии. Такими мундирными учеными, главным образом, поддерживалась ученая деятельность сибирских отделов Географического общества.

Ничего подобного не входило в программу Анучина. Бездарный секретарь статистического комитета, напечатавший всего одну «Памятную книжку по Иркутской губернии», которую местная критика беспощадно разнесла, не только при новом генерал-губернаторе не потерял ни одного листочка из своего венца, но и попал в фавор: он сделался обычным гостем в доме генерал-губернатора.

Словом, генерал Анучин оказался самым заурядным бюрократом. Едва ли можно сказать, что у него не доставало ума, чтобы, вступив на высокий пост, развить государственную деятельность соответственно своему высокому положению; по-видимому, тут перед нами крах с человеком,

который изменил свои политические взгляды и уже не мог подняться на прежнюю высоту.

Можно указать только два случая, когда Анучин сделал что-то вне бюрократической программы. Это, во-первых, покровительство, оказанное им отделу Географического общества. Здание отдела, с его библиотекой и коллекциями, сгорело в большой пожар 1879 года. Анучин собрал по подписке среди иркутских богачей сумму в 49 тысяч рублей, а на эти деньги было выстроено новое здание. Во-вторых, он затеял большое издание, точное заглавие которого я не помню; ему можно было дать такой заголовок: «Труды административных чиновников Восточной Сибири». Вышло, кажется, двенадцать книжек. Издание в широкой публике никакого впечатления не произвело, да и для административных кругов едва ли оно имело какое-нибудь значение.

С уменьшением подписки денежные дела «Восточного обозрения» пошатнулись, убытки предприятия приходилось покрывать из сукачевского фонда, и кончилось тем, что весь этот фонд испарился. Ядринцев дошел до такого состояния, что начал подумывать о закрытии газеты.

В это время я выехал в Петербург из своей трехлетней экспедиции в Китай и запротестовал против такого решения. Я стал советовать ему перенести газету в какой-нибудь сибирский город. В это время была закрыта по распоряжению главного управления по делам печати иркутская газета «Сибирь», и Загоскин, кажется, сделал Ядринцеву предложение перенести «Восточное обозрение» в Иркутск, на место «Сибири». Я усиленно стал поддерживать эту идею. Я доказывал Ядринцеву, что издавать газету для Сибири в Петербурге — дело неверное. Шансы сибирской газеты, по сравнению с другими столичными газетами, такими как «Голос», «Петербургские ведомости» и другие, далеко не одинаковы. Все другие газеты могут перенести удары цензуры, как бы они тяжелы ни были. В таких же условиях находятся и газеты, которые издаются в провинции, например, в Томске или Иркутске. «Убейте, — говорил я, — в иркутской газете всякую жизнь; сделайте ее беззубой; сделайте ее пресной до тошноты, и все-таки обыватель будет на нее подписываться, потому что нуждается в тех местных известиях, которые одни будут наполнять газету после ударов цензуры». Совсем другое положение у «Восточного обозрения», издаваемого в столице. В нем нет местных известий, потому что давать их в столичных изданиях не имеет смысла. Поэтому если цензура вытравит из газеты идейные статьи, то сибирскому обывателю нечего в ней будет читать. Если же «Восточное обозрение» будет перенесено в Иркутск, то, как бы строга цензура ни была и как бы она ни опустошала газету, все-таки подписка будет. Газета «Сибирь», конечно, не пользовалась широкой свободой и, сравнительно с «Восточным обозрением», была газетой скучной, а все-таки она расходилась в количестве трехсот экземпляров в городе, в

таком же количестве по Якутскому тракту и в таком же — по Московскому.

Ядринцев согласился с мыслью о переносе газеты в Иркутск. Мы с ним начали строить разные планы.

В это время генерал-губернатором в Иркутске был А. П. Игнатьев. После Муравьева-Амурского и Корсакова это был первый либеральный начальник края. Научная и школьная деятельность пользовалась покровительством; цензура стала терпимее. Первым делом графа Игнатьева по прибытии в Иркутск было устранение от дел иркутского временщика Сиверса; затем он приблизил к себе редактора газеты «Сибирь» Загоскина, бывшего у предшественников Игнатьева в постоянной опале. Загоскин жил в деревне, в двадцати верстах от города, имел мельницу, учил бесплатно деревенских ребятишек грамоте и был в постоянных сношениях с деревенским людом, как с мужиками, так и с их женами. При всех мероприятиях, касающихся крестьянского быта, Игнатьев призывал Загоскина в генерал-губернаторский дом в качестве эксперта. В этих случаях к Загоскину скакал курьер; Загоскин приезжал в город, останавливался у доктора Писарева и потом каждый день в своей старомодной и старенькой шинелке и в башмаках из козлиной шкуры, белой шерстью вверх, ходил в дом генерал-губернатора. Игнатьев любил с ним советоваться о сибирской деревне и задерживал его в своем доме до 11 часов ночи.

В момент закрытия «Сибири» граф находился в Петербурге. В это же время мои иркутские друзья провели меня в секретари Иркутского отдела Географического общества; граф получил из отдела прошение — утвердить меня в этой должности. Я явился к нему. Он мне рассказал, что несчастье с иркутской газетой совершилось во время его отсутствия и он сам не знает, за какую вину газеты постигла ее эта кара. Газета нужна, без газеты нельзя. Но главное управление по делам печати, он уверен, прежнему редактору Загоскину издавать газету, хотя бы и под другим именем, не разрешит. Загоскин представил нескольких редакторов вместо себя. Но это все лица одного с ним направления, о чем знает весь народ. «Организируйте мне газету», — закончил разговор граф. Я спросил его, как ему понравится перевод в Иркутск Ядринцева с его «Восточным обозрением». Граф нашел, что это будет недурно.

У графа был проект произвести подворную перепись в Енисейской и Иркутской губерниях; с этой целью он обратился к известному московскому земскому статистику Орлову с просьбой — рекомендовать ему трех лиц из его учеников, которым можно бы было поручить организацию переписи. Орлов рекомендовал: Личкова, Астырева и Смирнова (все трое в могиле). Эти три статистика были приняты графом на сибирскую службу — приехали в Петербург и сделали визит Ядринцеву. Перед нами развевалась благоприятная перспектива. Мы рассчитывали, что три статистика примут участие в «Восточном обозрении» и оживят газету статьями по экономическим

вопросам. Граф являлся нам порукой за отсутствием цензурных терний. Если с нами в Иркутск уедет Аделаида Федоровна, жена Ядринцева, то я надеялся, что в доме Ядринцева в Иркутске начнутся такие же многолюдные журфиксы, какие были в Петербурге.

Кроме трех статистиков мы имели виды еще на одного сотрудника. Я тогда приехал из своего трехлетнего путешествия в Китай. Ядринцев мне много рассказывал об очень способном сотруднике, которого он приобрел во время моего отсутствия. Это был Константин Прокопьевич Михайлов, молодой чиновник из Забайкальской области.

За Михайловым упрочилась хорошая репутация по следующему случаю: было назначено следствие над заведующим архивом или казначейством, хорошо не помню, в город Нерчинск. Здание, в котором помещался архив, сгорело, и в пожаре погиб человек, спавший в здании. Молва заподозрила тут поджог. Следствие было поручено Кононовичу, бывшему смотрителю одной из забайкальских тюрем, в которой содержались политические ссыльные. Кононович отличался гуманным обращением с заключенными и был также известен своей честностью; впоследствии Кононович был губернатором острова Сахалин. Забайкальская областная администрация взяла нерчинского чиновника под свое покровительство. Кононович склонялся в пользу обвинения о поджоге. Читинские вершители обвинили Кононовича в пристрастии; общественное мнение в крае было на стороне Кононовича и подозревало, что читинцы хотят спрятать концы каких-то своих темных дел. Читинцы взяли верх. Кононович был отстранен от следствия, и продолжать его было поручено молодому чиновнику Михайлову. Общество приуныло. «Правде не восторжествовать», — думало оно. Но, к удивлению всех, Михайлов повел дело в том же направлении, как вел его предшественник Кононович, и это в рядах иркутской оппозиции установило за Михайловым реноме честного и неподкупного чиновника.

Ядринцев намечал Михайлову темы для статей, указывал ему, в каком департаменте или в какой книге он может найти нужные сведения, и через несколько дней Михайлов приносил готовую статью. Иногда Ядринцев ограничивался только указанием темы, и Михайлов сам находил нужные данные в департаментах или в публичной библиотеке. Благодаря своим знакомствам в Министерстве внутренних дел, Ядринцев устроил Михайлова крестьянским начальником в Ишимском уезде. Когда я приехал в Петербург, Михайлова уже не было в столице, и Ядринцев жаловался, что он без Михайлова как без рук. Мы согласились предложить Михайлову переселиться в Иркутск и надеялись выхлопотать ему туда перевод на службу.

Я должен был двинуться в Иркутск первым. Ядринцев о всех наших планах написал Михайлову и просил его выехать ко мне навстречу в Тюмень.

*«Восточное обозрение» в Иркутске. Цензурные условия.
Наследство Трапезникова. Речь Сукачева. Ядринцев и Астырев*

Расчеты наши начали разрушаться с самого начала, еще до выезда из Петербурга. Прежде всего нас огорчил отказ Аделаиды Федоровны ехать в Иркутск, так как разрушалась наша надежда на открытие в Иркутске салона, в котором Аделаида Федоровна, предполагалось, будет играть роль цемента.

Я приехал в Иркутск осенью, а Ядринцев не мог приехать раньше января следующего года. Он мог оставить Петербург, только выдав своим подписчикам последний номер «Восточного обозрения».

Приехав в Иркутск аккурат накануне Нового года, он остановился у меня. У него уже был готовый фельетон для первого номера, так что почти одновременно в последнем номере петербургского «Восточного обозрения» печаталось прощание Ядринцева с публикой, а в Иркутске — первое приветствие иркутской публике.

Фельетон написан был в виде шутки. Ядринцев изобразил в нем своего патрона Кондрата, у которого он будто бы служил репортером, смущенным исчезновением этого репортера из Петербурга и неожиданным появлением его в Азии.

Редактор газеты «Восточное обозрение» с переносом его в Иркутск очутился в совершенно новом положении. Прежде всего, одно уже то, что он появился на родине, что он окружен здесь толпой своих земляков, за счастье которых он столько лет ратовал, жертвуя своим временем, трудами и даже личной свободой, должно было ободрять и поддерживать его в его публицистической работе. Сверх того, эта близость к местному обществу должна была сделать статьи более содержательными, более богатыми фактическими материалами. Начальник края относился к нему очень приветливо, не смотрел на него как на легкомысленного обличителя, а видел в нем серьезного общественного деятеля.

Ядринцев, конечно, понимал, что на иркутской почве нельзя было издавать газету с такой свободой, как в Петербурге; что здесь поневоле приходится делать уступку и жить в мире с высшей властью края, по крайней мере — не задираться с нею. После страхов, которые мы пережили в Петербурге, что газета закроется, не дожив до половины десятилетия, приходилось говорить: слава богу, что газета все-таки еще существует. Конечно, на новом месте Ядринцев не мог свободно высказаться по общим политическим вопросам. Но все-таки ему оставалось еще достаточно свободы для разработки местных вопросов, а это-то и составляло главную задачу его журналистской деятельности. Очень были важны для Ядринцева также дружеские отношения к нему Сукачева, городского головы, который дал ему возможность начать издание «Восточного обозрения».

Но вот эти-то самые обстоятельства — дружба с графом Игнатьевым и с городским головой — и омрачили жизнь Ядринцева в Иркутске.

Нужно сказать несколько слов о тяжбе, которая велась между городом и Сукачевым по поводу наследства, оставшегося после смерти иркутского миллионера Трапезникова. В завещании этого миллионера капитал был распределен таким образом: главная доля, 200 тысяч, была завещана городу Иркутску; родственники должны были получить гораздо меньше. На долю Сукачева было назначено только 50 тысяч. По закону, если после смерти завещателя окажется, что капитал, оставленный покойником, значительно превосходит сумму, заявленную в завещании, то с излишком против завещания закон предписывает поступить так, как было бы поступлено, если бы покойник умер, не оставив никакого завещания. На основании такого закона следовало городу выдать только те 200 тысяч, которые значились в завещании, а главную долю, в 15 раз превосходящую эту сумму, разделить между родственникам, которые имеют на то право по закону, в числе которых числился и Сукачев. Но город не соглашался с таким решением. Гласные иркутской думы настаивали, что в завещании Трапезникова скрывается предпочтение городских интересов интересам родственников и что только тогда можно будет сказать, что воля завещавшего исполнена согласно его желанию, если капитал будет разделен между городом и родственниками в том же процентном содержании, как он распределен в завещании.

Эта тяжба очень долго занимала иркутские умы. Та часть интеллигенции, которая хоть сколько-нибудь интересовалась городскими делами и состоянием городской кассы, разделилась на два лагеря: одни стояли за город, другие за Сукачева. Одни говорили, что решение в пользу города будет нарушением закона: это будет пристрастие в пользу города; другие соглашались, что такое решение — явная несправедливость, но что в этом деле интересы частного лица столкнулись с интересами города, что сенат, которому будет принадлежать окончательное решение дела, едва ли может принять сторону Сукачева, что ему как высшему судебному учреждению в государстве, правда, подлежит охранять законность, но в то же время оно еще обязано соблюдать интересы как частных лиц, так и интересы государственных и общественных учреждений в случае, если они сталкиваются между собой. Ему как правительственному учреждению ближе к сердцу должны быть интересы города, а не частного лица.

Дело это кончилось, как известно, мировой. Миллионы Трапезникова были поделены между городом и родственниками покойника. Сукачев вслед за решением был избран городским головой и переехал в Иркутск. Однако агитация против такого решения не прекратилась. Гласные думы, за весьма немногими исключениями, не протестовали против сенатского решения, но в обществе разговоры и агитация против решения не только

продолжались, но и усиливались с течением времени. Изменились самые мотивы протеста благодаря более усиленной пропаганде в Иркутске социалистических взглядов. Вновь наехавшие в Иркутск люди, исходя из теории, что капитал принадлежит тем людям, руки которых его создали, рассуждали: государственная власть в спорных случаях о наследствах должна решать вопрос в интересах общественных масс, а не частных лиц. Им казалось, что частное лицо, вступающее в денежную тяжбу с общественными учреждениями, если оно совестливо, то не должно найти оправдания своему протесту в своей душе.

Когда я первый раз приехал в Иркутск, в 1879 году, городская дума почти единогласно стояла на стороне городских интересов. Интересы Сукачева поддерживал только один Загоскин, приходившийся близким родственником Сукачеву. Он был искренне убежден в правах Сукачева на трапезниковское наследство, но чтобы сохранить за собой репутацию нелицеприятного судии, он отказался участвовать в тех заседаниях, которые были посвящены обсуждению этого щекотливого вопроса. Вообще вопрос о трапезниковском наследстве для иркутян сделался пробным камнем. По отношению к этому вопросу определяли степень развития социальных чувств человека; по ним судили о степени нашего великодушия, нашего бескорыстия. По ним судили о том, строго ли вы разбираетесь в своих правах на то, что попадает вам в руки под видом собственности: принадлежит ли вам она всецело или в значительной степени кому-то другому. Для иркутского общества рассуждения о трапезниковском наследстве имели большое воспитательное значение.

Другой богатый человек, тоже иркутянин, Пономарев, принадлежавший к лагерю сторонников городских интересов, оставил завещание, очевидно, внушенное ему историей трапезниковского наследства. Он его начинает так: «Я не желаю, чтобы мое наследство постигла та же участь, какую имело наследство Трапезникова», т. е. чтобы из-за него возникли такие же споры. И вот Пономарев распределил свое наследство так: самую большую сумму, в несколько сот тысяч рублей, он назначает на устройство учебных заведений, потом он перечисляет ряд мелких сумм, назначенных родственникам, потом кончает заявлением, что если после его смерти, так же, как после смерти Трапезникова, капитал окажется значительно большим, чем заявлено в завещании, то все-таки он требует, чтобы исполнители завещания выдали родственникам сумму только в тех размерах, какие назначены в завещании, а все, что окажется свыше этого, должно быть употреблено на устройство учебных заведений.

Число сторонников города с течением времени возросло. Так, в первый приезд мой в Иркутск, в 1879 году, я в секретаре городской думы Н. В. Садовникове, человеке радикальных убеждений, встретил горячего противника притязаний города; он очень убежденно высказывался за

законные права соперников города и говорил, что он не желал бы, чтобы эти деньги попали в руки отцов города. Он был убежден, что они распинаятся в этом деле за интересы города только для того, чтобы потом расхватать деньги по своим карманам; он надеялся, что в руках Сукачева эти деньги окажутся более полезными для города. Когда же я приехал в Иркутск спустя семь лет, Садовников уже высказывал другие мнения. Он горой стоял за передачу городу чуть ли не всех трапезниковских капиталов. Эта перемена произошла, вероятно, под влиянием нового наплыва ссыльных социалистов, и не один, конечно, Садовников переменял свои взгляды под этим влиянием.

В Иркутске организовалась группа молодых людей, во главе которой стал Астырев. Чем более обрисовывался ее характер, тем яснее становилось, что Николай Михайлович Ядринцев и Николай Михайлович Астырев принадлежали к двум различным типам, между которыми не могло быть согласия. У них различные дороги, различные средства и различные цели.

Ядринцев очень любил жизнь и любил в ней участвовать. Это был человек с мягкой душой, чувствовавший потребность в нежном сочувствии, нуждавшийся в постоянном общении с людьми и с трудом переносивший одиночество. Больше всего ему было нужно, чтобы жило его сердце. Он любил природу, любил праздники природы, тянулся к яркому солнцу и ликующему человечеству. Вкусы его были многогранны, это был человек, который не мог замкнуться в одной какой-нибудь специальности, поставить себе одну какую-нибудь цель. Его интересовала культура во всем ее разнообразии. Хотя он отмежевал тесные границы для своей общественной деятельности, это были границы географические, а не логические; в своих сибирских границах он был всесторонний человек. Его умственная работа была разнообразна; он брался за все способы, какие возможны для человека для проявления духа: он брался за беллетристику, писал стихи, рисовал, писал серьезные статьи. В некоторых родах его деятельности у него было много дефектов. Но он нуждался в излиянии своих чувств; пусть оно выливалось нескладно, он все-таки сознавал благородство своего чувства, и эти излияния доставляли ему удовольствие. Ядринцев не был способен к аскетической жизни: он хотел «пользоваться жизнью». Он хотел, как умел, испытать все благородные наслаждения: и наслаждение творчеством, и наслаждение популярностью, и наслаждение дружбой, и благами семейной жизни, и теплом ликующего дня. Словом, это был гейневский барабанщик, который считал своим долгом бить в барабан, будить спящих и маршировать впереди по пути к прогрессу, не забывая, однако, и о марки-тантке.

Культура у Ядринцева была первым пунктом его жизненной программы. Его культ был красота человеческой жизни; он мечтал о развитии науки и

всех родов искусства. Под демократической программой он разумел развитие всех умственных и духовных сил каждого человека, входящего в состав государства, включая сюда и все крестьянство. По своим вкусам и по своей программе он был ближе всего к Герцену, учеником которого он вправе был себя называть.

В другом роде был Николай Михайлович Астырев. Это был публицист-аскет. Правда, он не уморил свою плоть, как Рахметов у Чернышевского, но, как он мне представляется, он, из преданности одной идее, идее служения народу, очень ограничивал свое пользование радостями жизни. Вся программа жизни у Астырева заключалась в одном пункте — служить народу, т. е. крестьянству. Увлекаться наукой или искусством согласно этой программе значило расточительствовать; для русской нации это еще роскошь. Преданность Астырева народным интересам и готовность принести им свою жизнь — несомненны. Эта твердость убеждения действовала на молодежь обаятельно, поэтому вокруг Астырева сгруппировались почти все молодые силы, которые были в Иркутске, а Ядринцев оказался в одиночестве. Правда, что эта группа большей частью состояла из несибиряков, но было в ней и сибиряки.

Эта группа стала относиться к Ядринцеву отрицательно. Ему ставилось в упрек и снисходительное его отношение к городскому голове Сукачеву, и общее с двором генерал-губернатора. В глазах молодежи Астырев рисовался как человек, готовый на самопожертвование во имя идеи, а Ядринцев по сравнению с Астыревым представлялся сибаритом.

*Борьба двух течений: группа Астырева и Ядринцева.
Областничество и централизм. Иркутский отдел Русского
Географического общества. Разрыв. Разделение сибирской
интеллигенции. Смерть А. Ф. Ядринцевой*

Один из друзей Астырева согласился вести в «Восточном обозрении» отдел о городских делах и в первой же статье не утерпел, чтобы не высказать своего мнения о наследстве Трапезникова в смысле недовольства сенатским решением, — мнения, которое разделял Астырев и его группа. Ядринцев не решился пропустить это место в своей газете, не желая портить свои отношения с Сукачевым, которому он был обязан денежной помощью. Он напечатал статью, выпустивши обидное для Сукачева место. Теперь автор обиделся на Ядринцева и объявил, что при таких условиях он не может сотрудничать в «Восточном обозрении». Ядринцев действительно сделал промах: он вырезал место, не испросив на то позволения у автора. Но Ядринцев оправдывался тем, что был уверен, что и при соблюдении этой вежливости все-таки автор отказался бы от сотрудничества: он

инстинктивно чувствовал, что астыревская группа поздно или рано пойдет на него в штыки. Инцидент этот получил вид искательства Ядринцева перед Сукачевым. Ядринцев мог бы попытаться убедить автора статьи, что городские дела имеют большую важность, что критический разбор действия городской думы, сделанный знатоком городского положения, может принести городу огромную пользу, и потому можно оказать городу большие услуги, не трогая щекотливого вопроса о трапезниковском капитале. Но Ядринцев, по-видимому, был уверен, что его противники смотрят на этот вопрос как на всемогущий рычаг.

Молодежи, окружавшей Астырева, казалось зазорным для редактора «Восточного обозрения» получать от графа Игнатьева публичные знаки благосклонности. Иногда в театре Ядринцева приглашали в графскую ложу; астыревская компания боялась, что это вскружит голову редактору. Сравнивая твердокаменную грудь Астырева с мягким характером Ядринцева, они были уверены в грехопадении последнего.

Описываемый эпизод из истории сибирской интеллигенции очень поучителен: на иркутской почве столкнулись два течения — областническое и централистическое. Представителем одного здесь явился Ядринцев, а другого — Астырев. Для Ядринцева все сводилось к интересам Сибири. Он видел перед собой свою родину, лишенную культурных благ. Он все свои силы хотел употребить на изменение тяжелых условий, в которых его родина живет. Он видел ее отсталость и хотел уравнивать ее в культурном отношении с остальными областями России. Ему хотелось, чтобы на его родине было равное количество школ; чтобы безопасность и удобства жизни здесь были бы такие же, как и к западу от Урала; чтобы и здесь так же процветали и богатели города; чтобы выросла местная интеллигенция, столь же просвещенная, столь же гуманная и воспитанная в любви к местному населению. Конечно, он не забывал общечеловеческих интересов, не отказывался от широкой программы служения целому человечеству; он думал, что, потрудившись для Сибири, добившись для нее равных прав на культуру, он тем самым окажет услугу и всему человечеству.

Против этого областнического течения выступает централистическое. В большинстве это последнее не только не желает развития дремлющих особенностей в отдельных областях, но оно готово стереть и те различия, которые созданы к современному моменту исторической жизнью. Кроме этого националистического централизма, в центре русской жизни появился еще космополитический централизм. Стали говорить, что блага, вырабатываемые наукой, техникой, искусством, не являются уделом всего населения; значительная часть последнего обойдена цивилизацией, интересы этой части забыты. Сторонники этого течения, призывая интеллигенцию к служению этой забытой части населения, постоянно напоминают, что под блеском цивилизации скрывается пустоцвет.

Понятно, что сторонники Ядринцева и Астырева должны были различно относиться к явлениям и лицам. Ядринцев дорожил всяким просветительным учреждением, появившимся на его родине.

В Иркутске с начала пятидесятых годов прошлого столетия существовал отдел Русского Географического общества. Не вдаваясь в оценку услуг, оказанных им географической науке, которые, без сомнения, не были ничтожны, его учреждение оказало Сибири громадную моральную услугу: оно было центром общения всех тех, кто интересовался в крае вопросами науки и общественной жизнью. Все эти люди находили в отделе ободрение и нравственную поддержку; отдел был общественным учреждением, которое привлекало к себе местные симпатии; ему служили и ему приносили жертвы. Это было учреждение, которое воспитывало в крае солидарность.

Гибель такого учреждения Ядринцев оплакивал бы так же, как гибель собственного ребенка; а между тем противники Ядринцева проектировали в партийных интересах навязать отделу политическую функцию, не имеющую никакого отношения к его действительному назначению. Точно так же — отношения Ядринцева к меценатам, к высшей власти в крае, от которой он ждал покровительства просвещению в крае, к городскому голове, были другие, непонятные для его противников, которые смотрели на такие отношения, как на постыдные компромиссы.

Перед Ядринцевым стоял выбор: или вести дело так, чтобы газета «Восточное обозрение» просуществовала десять лет, не навлекши на себя удара администрации, или сразу открыть враждебные действия против темных сил, рискуя существованием газеты. Для каземата Ядринцев был слишком тщедушен и хрупок; он был создан для бойкой журналистской деятельности. Для этого у него были неисчерпаемые силы, неутомимость и изобретательность. Чувствуя в себе призыв к этой работе, он верил, что десять лет стояния на посту редактора «Восточного обозрения» принесут краю несомненно больше пользы, чем крик обличения.

Между двумя течениями произошел конфликт. Результат для Ядринцева выпал печальный: большинство молодой интеллигенции стало на сторону Астырева и его друзей. На стороне Ядринцева оказалось только два-три старых друга (Загоскин, Нестеров и я) и молодой сибиряк Ошурков. Сибирский публицист и патриот не мог пережить большего огорчения, чем то, которое ему приготовила иркутская среда. Славлюбивый, терявший бодрость духа, когда он не слышал рукоплесканий, он поехал на родину с полной уверенностью в теплом приеме; еще когда он жил в Петербурге, вдали от Сибири, он уже был признан на родине властителем сибирских дум. Приехал, и что же? То, что было в городе молодо, благородно, бескорыстно, окружало не его, а его соперника. Вот трагизм сибирского публициста.

Нужно, впрочем, заметить, что астыревская группа в большинстве состояла не из сибиряков. Это — следствие тех ненормальных условий, в которые поставлен вопрос о сибирской интеллигенции: Сибирь крайне скудно снабжена учебными заведениями высшего разряда, а потому снабжается интеллигентными силами из европейской России. Понятно, группа людей, которую во время Ядринцева можно было назвать цветом иркутской интеллигенции, жила исключительно вопросами, волновавшими столицы.

Для областного развития изолирование Ядринцева от родной среды также было большим ущербом.

С разделением сибирской интеллигенции на две группы неизбежно было возникновение тяжбы между ними из-за молодых сил, нарождающихся в Сибири.

Ядринцев желал подрастающее молодое поколение воспитать сибирскими патриотами, которые бы служили интересам окраины, а его противники вербовали в этой среде тружеников для оппозиционной работы в центре. Здесь опять столкнулись интересы метрополии с интересами отдаленной области. Для сибирского областника это урывание из его рук сынов Сибири тем более было обидно, что Сибирь была самая бедная интеллигенцией область в империи. Противники Ядринцева, увлекаемые интересами своей партии, старались утешить его надеждой, что оппозиционная Россия, перестроив Отечество, распространит добытые блага свободы на все, и на самые отдаленные окраины; они были убеждены, что поддержание местных инстинктов вредит делу свободы, поселяет рознь и ослабляет оппозицию. Ядринцев, конечно, не мог поверить своим противникам и, сложив руки, ждать исполнения обещания посторонних благодетелей.

А что, если у последних тоже откликнется свой местный инстинкт? Предсказание на это он получил в книге Астырева «На сибирских прогалинах». В этой книге он не обнаружил беспристрастного отношения к сибирякам и россиянам: первых он рисует мрачными красками и относится к ним с ехидством и не скрывает, что вторые милы его сердцу. Сибиряки не включаются в его национальный патриотизм.

После зимы, которую мы с Ядринцевым провели вместе в Иркутске, летом я отправился в Монголию для собирания сведений о русской торговле в городе Урге. Поездку эту я должен был совершить в товариществе с фотографом Н. А. Чарушиным, которому я обязан и денежными средствами на эту поездку: он их получил от кяхтинских купцов в количестве 400 рублей.

Когда я жил в Троицкосавске, на квартире Чарушина, подготавливаясь к поездке, я получил из Иркутска известие о смерти Аделаиды Федоровны Ядринцевой. Это известие меня сильно смутило; хотя я и привык уже немного к ее отсутствию, но все-таки не терял надежды, что когда-нибудь она приедет в Иркутск. Эту надежду я питал тем более, что Ядринцев,

приехав в Иркутск один, говорил мне: «Не отчаивайтесь: мы ее еще привезем».

Для меня это был большой удар. В течение дня я еще крепко стоял на ногах: меня поддерживало обаятельное общество моих хозяев — Чарушина и его жены; но когда поздно вечером ушел в свою комнату, я упал на свою кровать и заплакал. Мне было обидно расстаться со своими мечтами, с которыми я приехал в Иркутск.

Вернувшись из Монголии, я нашел своего друга в очень жалком виде. Он упал духом. Мой приезд не произвел на него целебного действия; я не мог заменить ему того друга, которого он потерял в своей жене. Если б эта катастрофа постигла его, когда он жил в Рязанской губернии, у родных своей жены, он, может быть, легче перенес бы утрату. Мы, иркутские его друзья, занятые своими делами, не могли обнаружить к нему столько нежного участия, сколько ему было нужно.

Возвращение из Монголии. Период «затворничества» Ядринцева.

Финансовые затруднения «Восточного обозрения».

Михайлов выходит из состава редакции. «Деспотизм» Г.Н.

Я вывез из Урги большую коллекцию для иркутского музея и был доволен своей поездкой. Но мое довольство, вероятно, могло только раздражать Ядринцева. Он очень замкнулся в себе и стал запирается в своей квартире. Не было и для меня исключения. Когда я подходил к передним дверям его дома, я находил на них висящий замок, а потом я узнавал, что он был в это время дома. Целые недели он не показывался в городе и пил. Но делами газеты не переставал заниматься. Наш общий приятель, доктор Асташевский, приставил к нему в виде няньки одну даму, и она разделяла его заточение, принимала нужные меры, чтобы вытрезвить его перед выходом номера газеты.

Дела газеты все более и более ухудшались, материальные условия сложились не в пользу Ядринцева, «Восточное обозрение» было перенесено из Петербурга в Иркутск на место газеты «Сибирь». Загоскин, издатель «Сибири», сначала так хорошо вел дело, что составил экономию в четыре тысячи. Друзья убедили приобрести типографию; управление типографией принял на себя Нестеров А. П., но этот наш друг не годился для этого дела: слишком он был добрый человек; он слишком был доверчив и распустил своих подчиненных; он не был способен на строгость. Кругом него все воровали; наборщики массу номеров продавали в свою пользу. Подписка газеты не покрывала убытков типографии; каждый год приходилось делать заем на открывающиеся нужды типографии. У типографии образовался большой долг. Загоскин предложил Ядринцеву взять типографию на себя — Загоскин уступает типографию даром, но с условием: Ядринцев берет на

себя уплату ее долгов. Ядринцев на это благоразумно не согласился. Он верно предугадал, что только запутается в денежных расчетах, и, по всей вероятности, в душе обвинял Загоскина в сухом отношении к себе, в желании свалить свою обузу на чужие плечи.

Еще до смерти жены Ядринцева в Иркутск переселился Михайлов. Было устроено совещание из друзей газеты, в котором участвовали Загоскин, Ядринцев, Нестеров и я. Предложили Михайлову произвести ревизию типографии и ее книг, чтобы вывести заключение: безнадежно или поправимо ее дело. На второе совещание Михайлов явился с ответом, что дела типографии легко поправить, но нужно завести другие порядки. Все согласились, что главная причина непорядков — доброта нашего друга Нестерова. Но совсем расстаться с этим милым человеком не хотелось, а потому решили просить его на месяц оставить типографию, а управление ее вручить, по рекомендации Загоскина, Витковскому.

Эта реформа, однако ж, никакого улучшения в делах газеты не принесла. Хотя Витковский энергично принялся за чистку типографии и сразу сократил прогулы наборщиков, хотя Михайлов, обревизовавший дела типографии, вынес заключение, что они не так плохи и не угрожают крахом, — Ядринцев все-таки не согласился принять дела типографии за счет газеты. Он порешил дела газеты вести отдельно от дел типографии: он остался хозяином только газеты.

А дела газеты в Иркутске пошли хуже, чем в Петербурге. Во-первых, плата за печать здесь была выше, чем в столице: во-вторых, надежды на улучшение состава сотрудников не оправдались. Из статистиков только один Личков принял участие, но и тот, поместив две-три статьи, в газете более не появлялся, отчасти вследствие препятствий, которые он встречал со стороны генерал-губернатора Игнатьева, когда попробовал воспользоваться данными подворной переписи, во главе которой стоял, отчасти под давлением своих товарищей. Без последнего, конечно, не обошлось, потому что много было тем, о которых можно было писать, не касаясь переписи или даже не касаясь главного управления края.

Надежда на Михайлова, которую на него возлагал Ядринцев в Петербурге, также рушилась. Написав две-три статьи, он замолчал, оправдываясь тем, что граф Игнатьев заваливает его канцелярской работой и не оставляет ему ни минуты для участия в газете. К этому еще присоединилось одно неприятное обстоятельство. Сначала Михайлову было назначено ничтожное жалованье, которого ему не доставало, так как у него была семья. Притиснутый нуждой, он истратил на себя какие-то деньги из кассы газеты. Вышло неприятное объяснение с Ядринцевым, и Михайлов серьезно разошелся с редактором «Восточного обозрения».

Дела газеты окончательно упали. Ядринцев оказался единственным газетным сотрудником. Я был по горло занят делами отдела Географического

общества; в то же время я должен был подготовить к изданию свою книгу отчетов о своем последнем, трехлетнем, путешествии в Китай, которая потом вышла под названием «Тунгута-Тибетская окраина Китая и центральная Монголия»; переписки по делам отдела было так много, что я за три года, пока жил в Иркутске, и четверти книги не написал, так что, испугавшись наконец, что совсем не напишу книги, я бежал из Иркутска в Петербург.

Загоскин также мало делал в газету. Затем в городе, конечно, еще были люди, способные и подготовленные к журналистской работе, но они не были связаны с газетой, как мы, интимными узами, и потому привлечь их к газете можно было только хорошим денежным вознаграждением, а у Ядринцева свободных денег не было.

Весь труд по наполнению газеты оригинальным материалом лежал на одном Ядринцеве. Он писал и передовую в номере, и фельетон, и даже корреспонденции из других городов, переделывая в корреспонденции полученные письма от своих приятелей. Вследствие этого газета сделалась бедной, бледной, скучной и одноцветной; по всей газете, от начала до конца, один штиль, одна манера, один темп. Советы со стороны — ввести посторонних сотрудников — только раздражали Ядринцева. Советы было легко давать, но где взять денег на оплату посторонних сотрудников? В городе раздавались жалобы на монотонность газеты. В астыревской группе говорили: «Это не «Восточное», а «Водосточное обозрение». Мне как заведомому другу газеты приходилось часто слышать язвительные отзывы о ней. «Как ваше-то «Восточное обозрение» ныне опять лягнуло!» — говорили мне по выходе нового номера. К Ядринцеву беспрестанно придирались, главным образом, стараясь обвинить в искательстве у властей. Граф Игнатьев, хотя и рисовался перед обществом либеральным начальником края, хотя и говорил, что он не может управлять краем без помощи прессы, — но, как только к нему обращались за разрешением пользоваться официальными данными, он сейчас же ставил железные рогатки; иркутское же общественное мнение карало не графа Игнатьева, а бедного редактора.

Дурные отзывы о газете, конечно, доходили и до Ядринцева, а он не имел шансов подняться над ними. Непрерывное занятие газетой подрывало его нервы, и он вел все более и более уединенную жизнь. Доктор Асташевский, который его лечил в это время, приехал ко мне и сказал: «Нашего друга Николая Михайловича нужно увезти из города на несколько дней и оторвать от журналистской работы, а то он превратится в мертвеца». В это время Ядринцев избегал свиданий со мной и не заходил ко мне, но он все-таки бывал у доктора Писарева, в квартире которого я жил. Когда Ядринцев к нему приехал, я вышел к нему и предложил поехать со мной к Загоскину, который жил в 20 верстах от города, на своей мельнице около

деревни Грановщины. Он согласился и даже хотел взять на себя хлопоты о найме лошадей, но я отклонил это предложение, боясь, что он затянет выезд из города. Я решил действовать энергично и, если понадобится, даже деспотически. Я назначил день, и к назначенному часу тележка, запряженная двумя лошадьми, была подана на наш двор. Когда Ядринцев увидел тележку, он попятился назад. Он думал, что я найму городскую пролетку, а это была простая телега. «Вы — человек не практический, — начал он мне говорить, — и не умеете нанимать. Предоставьте это мне. Я найду и экипаж приличнее, и лошадей найму дешевле». «Вам не придется платить за лошадей, а на экипаж смотреть нечего. Полезайте в телегу!» — ответил я.

Повесив нос, мой друг вскарабкался на телегу. Мы поехали. По городу мы ехали молча; он стыдился экипажа. За городом, когда открылись поля и потянулась Верхоленская гора с бордюрами из яблонь вдоль подошвы, — он оживился и начал мне рассказывать содержание фельетона, приготовленного к следующему номеру.

Только что в городе интеллигенция отпраздновала Татьянин день, праздник московского университета. На обед были приглашены, кроме бывших питомцев московского университета, и ученики других университетов. На предварительном совещании инициаторов торжества обсуждали вопрос: ограничиться ли приглашением только тех лиц, которые окончили университетский курс и получили дипломы, или пригласить также и тех, которые дипломов не имеют, по какой-либо причине курса не кончили, но все-таки в стенах университета были.

Решено было поддержать престиж диплома, и потому многие общественные деятели на обед не попали, а попали такие лица, имена которых инициаторы обеда узнали только накануне. Вот эта история и подала Ядринцеву повод написать фельетон.

Он рисует, как один старый чиновник, Сосипатр Иванович, получил приглашение на обед и был крайне ошеломлен этой честью. Когда-то он слушал лекции в московском университете, но давно все позабыл. Он состарился на своем канцелярском стуле, погряз во взятках, ничего в нем от университетской жизни, от атмосферы московских аудиторий не осталось, но вот его пригласили на собрание избранных людей в городе, и он расчувствовался. Он бросается с приглашением в руке к своей экономке, или — подруге жизни, вертит листом бумаги в воздухе и растроганным голосом говорит ей: «Не забывай! Сколько лет прошло, а все-таки вспомнили».

Фельетон был составлен очень бойко и ядовито; слушая его, я много хохотал и радовался за моего друга. Я думал в это время, что он еще не совсем погиб и при лучших условиях совершенно воскреснет.

Загоскин всегда встречал своих гостей на крыльце. Двор его был окружен не сплошным забором, а решеткой, так что он из окон своего дома

мог видеть всякий подъезжающий к его усадьбе экипаж. Когда мы въехали в растворившиеся ворота. Загоскин был уже на крыльце. Ядринцев подошел к крыльцу. Загоскин с обычной добродушной фамильярностью встретил его словами: «Да ты, Николенька, никак вдвоем?» Но он немножко ошибся: Ядринцев не был пьян, а только на его лице были следы перепоя.

Когда мы вошли в дом, я по секрету передал Загоскину расположение доктора Асташевского и его просьбу задержать Ядринцева в деревне дня на два. Я уехал в город один, оставив Ядринцева у Загоскина. Я считал себя вправе насильно полечить больного друга, если у него не хватает своей воли; однако мой деспотизм оскорбил Ядринцева. Года через два, по крайней мере, после того, когда он уже жил в Петербурге, он жаловался одному общему нашему другу на мое насилие над ним, совершенное в Грановщине, и называл меня деспотом.

Ядринцев. Заслуги Нестерова. Волховский, Чудновский и «Восточное обозрение». Поездка Ядринцева в Монголию и возвращение в Петербург

Когда я восстанавливаю в своей памяти эти дни иркутской жизни, я чувствую, как во мне появляется и растет недовольство своим поведением. Теперь мне кажется, что все, что я тогда делал, чтобы наладить дело «Восточного обозрения», я делал неблагоприятно. Теперь приходится раскаиваться.

На совещании, которое постановило устранить из типографии Нестерова, я энергичнее всех настаивал на этом устранении. Этому не мешала его чисто собачья привязанность ко мне, знаки которой я до тех пор испытывал в течение всей своей жизни. Как он всегда радовался новой встрече со мной после продолжительной разлуки! Никогда он ничего не жалел для меня; его кошелек всегда был широко раскрыт передо мной, он готов был исполнять самые опасные мои поручения. Редко я встречал в жизни такое любящее сердце. Если у него и были грехи, то их следует ему простить, потому что он много любил. И вот к этому-то человеку я так безжалостно отнесся. Интересы «Восточного обозрения» заглушили мое сердце. На первом месте стояло желание укрепить газету, положить начало могущественной областной печати, издаваемой не в Петербурге, а на месте.

Впрочем, я тогда немало думал, что это устранение из типографии — небольшая беда для Нестерова: я надеялся, что через месяц, когда режим в типографии будет налажен к лучшему, мои друзья снова поставят изгнанника во главе типографии. Но так не случилось.

Реформатор Витковский остался управляющим типографией и после реформы, а впоследствии он даже сделался и ее собственником. Загоскин

умолял взять типографию в свою собственность, лишь бы развязаться с долгами; это Витковский и сделал. Он так экономно и расчетливо повел дела, что типография расплатилась через 2—3 года со всеми своими долгами; Загоскин, верный своему слову, отказался от своих прав на типографию, и собственником ее стал Витковский.

Не следовало ли тогда, когда мы занимались взвешиванием, положить на весы те услуги, которые Нестеров оказал той же самой сибирской прессе? Ему мы были обязаны тем, что газета Клиндера «Сибирь» перешла в руки сибирских патриотов; ему же потом мы были обязаны тем, что А. М. Сибиряков пожертвовал газете «Сибирь» 17 тысяч на заведение собственной типографии.

Если бы положение печати в государстве было нормально, если бы она не была подчинена капризам администрации, честные редакторы сидели бы на своих местах крепко, хулиганы не имели бы возможности попадать в ответственные редакторы, пресса развивалась бы правильно, существование газеты не было бы рискованным, участие в газете было бы обеспечено правильным заработком, — то во взаимных отношениях участников в прессе не было бы шероховатостей, не было бы тех несправедливостей, в которых теперь приходится раскаиваться.

Об А. П. Нестерове можно сказать, что он как бабочка летел на свет и сгорел в общественном пламени. Выше я уже сказал, что это был знаток казачьей службы; высшая администрация призывала его участвовать в законодательных работах в казачестве. Он был сторонник преобразований условий русского быта. Но как человек с пламенной душой и нетерпеливый — не мог он свой труд на пользу реформы замкнуть в одни канцелярские бумаги, не мог ограничиться одними казачьими вопросами: его внимание распространилось на все русла, по которым текла русская жизнь. Если бы он ограничился узкой ролью казачьего реформатора, он умер бы на каком-нибудь важном административном посту, в почете и в приличной обстановке. Но он кончил опальным: он был заподозрен жандармами в содействии побегу из России политической деятельницы девицы Чайковской. Сам он судебному следователю представлял свое участие в этом деле в таком виде: в Иркутске приходит к нему молодая девица и говорит, что она не хочет ограничиваться теми знаниями, которые получила в женской гимназии, и жаждет получить высшее образование. С этой целью она намерена поехать за границу; в России тогда высших школ для женщин не было и университеты для них были недоступны. Ей нужен заграничный паспорт, но губернская администрация обещает выдать паспорт только под условием, если она представит ручательство какого-нибудь солидного лица, например, чиновника в чине генерала или полковника, с тем, что он знает хорошо ее родителей, ее семью и ее самое, что знает ее как девицу серьезную, действительно ищущую возможности расширить свои знания.

Нестеров признался судебному следователю, что он дал девице свидетельство, в тех самых выражениях, которые она ему продиктовала, хотя имени, под которым она к нему явилась, он никогда не слышал: она пришла к нему под вымышленной фамилией, а что это была Чайковская, он узнал вот только здесь, в среде жандармов. Нестеров сознался, что дал ложное свидетельство, но в оправдание свое сказал, что он — либерал и желает просвещения своей родине, поэтому сочувствует молодым людям, стремящимся к образованию, в особенности сочувствует женщинам, стремящимся в высшую школу, что этому стремлению женщин ставятся непреодолимые препятствия и правительством, и реакционной частью русского общества. Уважая эти благородные стремления молодежи, он счел наведение справок о личности в этом случае недостойной придиркой и отнесся к словам девицы с полным доверием. Судебный следователь заметил ему: «Как вы, полковник, были неосторожны!» Этим дело не окончилось. Имя Нестерова было записано в «Книгу живота», которая хранится в департаменте полиции, и при случае чиновники департамента вспоминали его и привлекали к новому дознанию.

Нестеров со своими вкусами и любовью к свободе, несмотря на свои способности и знание казачьей жизни, не был пригоден для наступившего реакционного периода, и генерал-губернатор Анучин заставил его выйти в отставку. Казачий полковник превратился в управляющего типографией и долго сидел на этом месте. Накануне выхода каждого номера он запрягал своего коня в сани или тележку, забирал с собой вновь полученные для газеты материалы — статьи и корреспонденции и отправлялся к Загоскину в Грановщину на ночевую. Во второй половине восьмидесятых годов он служил волостным писарем в Иркутском уезде. Казачий полковник и волостной писарь, казачий комитет с законодательными задачами и канцелярия волостного правления — вот неизбежная карьера людей, которые не способны ограничивать себя бюрократическими рамками.

Компания друзей Астырева постепенно увеличилась с приездом единомышленников из Томска. Это были сотрудники «Сибирской газеты», искавшие работы в Иркутске. Сюда переселился Б. П. Шостакович — знаток городского дела, который в «Сибирскую газету» давал отчет о деятельности томской думы. Сюда переехал Чудновский, другой деятельный сотрудник «Сибирской газеты», и наконец Феликс Волховский, впоследствии издававший в Англии газету.

Эта компания сделала Ядринцеву через меня предложение: передать ей в аренду издание «Восточного обозрения». Я сделался посредником между Ядринцевым и этой компанией, и не индифферентным, а горячим сторонником этой реформы. Положение «Восточного обозрения» мне казалось крайне жалким; сделанное предложение обещало сильно оживить газету: оно давало надежду на появление в газете новых сотрудников и, кроме того,

дало бы возможность Ядринцеву отдохнуть от журналистской работы, изматывающей нервы; необходимо было освободить его от газеты и перевести его на какую-нибудь другую работу. Так думал и председатель отдела Географического общества Василий Евграфович Яковлев.

Ядринцев интересовался сибирской археологией. Яковлев нашел и специальную для него задачу — поездку в Монголию для отыскания следов древнего города Каракорума, столицы уйгурских ханов VII–XVIII веков и монгольских — XIII века.

Ядринцев сразу не отверг сделанного ему предложения насчет газеты, но решение этого вопроса оттягивал: видимо, ему и на время не хотелось расстаться с газетой. Я просил его назначить день для совещания с будущими арендаторами. При каждой встрече я ему напоминал об этом, но всякий раз он под каким-нибудь предлогом просил подождать. Я верил в добросовестность лиц, сделавших предложение, и надеялся, что они честно исполнят свои обязанности перед Ядринцевым и перед Сибирью, что направление газеты будет либеральное — в этом и сомневаться нельзя было. Но я был уверен, что газета будет вестись в том же особенном направлении, в котором вел ее сам Ядринцев, т. е. что газета будет местно-патриотической. За это ручалось то обстоятельство, что вступившие в газету новые сотрудники все были до того участниками в «Сибирской газете», которая издавалась в дружественном с «Восточным обозрением» духе. Упрямство Ядринцева меня начало тревожить, и раз, когда мы шли вдвоем по Большой улице, я раздраженно ему сказал, что если он сейчас не назначит день совещания, то я прекращу всякие разговоры с ним о новой редакции. Таким образом, я вырвал у него согласие на совещание. Оно состоялось в моей квартире: собралось около десяти человек. Участвовали в нем: Шостакович, Волховский, Ошурков, доктор Писарев и другие.

Ядринцев заявил собранию, что он не считает «Восточное обозрение» своей собственностью: эта газета — достояние области, и если интересам области более соответствует другая редакция, то он готов удалиться из газеты и передать ее в другие руки, не предъявляя на нее никаких прав собственности. Он желал бы только поставить одно условие — чтобы обеспечить за нею то направление, которое, по его мнению, необходимо для сибирского областного печатного органа: пусть в редакции будут представлены один или два человека, которых Ядринцев считает своими верными единомышленниками. Он назвал при этом имена Ошуркова, доктора Писарева и меня. Это заявление Ядринцева меня неприятно поразило. В нем блеснула слеза сожаления человека, из рук которого вырывают его любимое дитя. Я вовсе не представлял себе, что дело будет иметь в конце концов такие результаты, хотя теперь не стану настаивать, что новая редакция не оттерла бы Ядринцева от «Восточного обозрения» навсегда.

Загоскин, который, кажется, тоже участвовал в совещании, потом горячо высказывался против новой редакции; одного из членов совещания, который больше других горячился и говорил о необходимости реформировать «Восточное обозрение» и особенно в мрачных красках представлял политическое падение газеты, Загоскин даже возненавидел, а чтобы выразить к нему свое омерзение, он назвал его «глистом». Новые сотрудники газеты нашли необходимым выплачивать Ядринцеву 1000 рублей в год как бы в вознаграждение за то, что он создал почетное положение газете и приобрел для нее симпатии в стране. Я не помню, как они отнеслись к требованию Ядринцева устроить надзор за газетой; думаю, что они против него не возражали; думаю так потому, что если б возражение было, то оно осталось бы у меня в памяти. Через несколько дней Ядринцев объявил мне, что он передает газету Ошуркову. Таким образом окончились переговоры с членами совещания. Ядринцев сохранил за собой право издателя, а Ошурков стал редактором газеты.

Вслед за тем Ядринцев уехал в Монголию. Расчеты Ядринцева, который очень хлопотал об этой поездке, оправдались. Осенью Ядринцев вернулся в Иркутск неузнаваемым. Мутный взгляд и отвислая губа исчезли. Он вернулся живым, остроумным, без умолку рассказывающим о своем путешествии. Открытие, сделанное им, его опьянило, он рвался в Петербург и Париж, чтобы пропагандировать свое открытие, что он и не замедлил вскоре исполнить.

К «Восточному обозрению» он, однако, уже более не вернулся. Если бы он приехал в Иркутск, Ошурков, конечно, беспрекословно передал бы ему редактирование газеты. Но Ядринцеву уже не хотелось возвращаться в Иркутск. С этим новым возвращением уже не было соединено тех обаятельных надежд, которыми был овеян его приезд в Иркутск во времена графа Игнатьева. Он остался в Петербурге.

Оказалось, что целительные силы Монголии и археологии не имели продолжительного действия, снова стали наступать моменты упадка духа. Очевидно, он не мог жить без работы, которая захватила бы все силы его организма. Он опять начал думать о «Восточном обозрении»; но так как переселение в Иркутск ему не улыбалось, он стал было хлопотать о переносе газеты снова в Петербург. Можно было предвидеть, разумеется, что из этого ничего не выйдет, неблагоприятные для издания сибирского областного органа в Петербурге обстоятельства, заставившие его перенести «Восточное обозрение» в Иркутск, с той поры не изменились к лучшему. Не было никакой надежды на то, чтобы «Восточное обозрение» с переносом в Петербург сохранило бы подписку, какую имело в Иркутске. Так новые мечты Ядринцева и не реализовались.

Так печально кончилась судьба «Восточного обозрения» и ее первого редактора. Л. Н. Майков считал большой ошибкой Ядринцева, что он, не

заручившись необходимым для издания капиталом, не взвесив умственные силы своей области, рискнул издавать газету. Так мог рассуждать только человек с умеренными требованиями к общественной жизни, человек, у которого прогрессивное желание благополучно соразмерялось с современными официальными условиями печати. Хотя Ядринцев и ринулся в печатную хлябь, как беспечный юноша, не соизмерив своих сил и средств, кто же теперь, когда эпизод завершился, осмелится сказать, что героическое усилие Ядринцева осталось без последствий, что его жизнь и деятельность прошли, не оказав никакого воздействия на сибирское общество! Печальный конец «Восточного обозрения» обусловлен не одним недостатком денежных средств и умственных сил — он зависит также и от официальных условий печати. Для успеха печатного органа необходима свобода; без этой свободы можно издавать только такую газету, как «Сибирь» Клиндера. Тому, кто пожелает прожить свой век благополучным россиянином, следует посоветовать не браться за издание провинциальной газеты с серьезным направлением. Такое издание начнет медленно чахнуть, вгонит в чахотку редактора и под конец увлечет за собой в могилу, как это и случилось с Ядринцевым. «Восточное обозрение» под ударами цензуры и других официальных невзгод после кратковременного блестящего начала стало тонуть; тонуло, тонуло и, наконец, пошло ко дну. Редактор крепко вцепился в него, и как ни ясно видел грозящую катастрофу, он не мог выпустить его из рук — не считал это для себя нравственно возможным, — и вместе с ним пошел ко дну.

Николай Константинович Михайловский выражал сожаление, что Ядринцева отставили от «Восточного обозрения». Я не сомневаюсь, что Ядринцев жаловался ему на своих друзей. Что над ним было совершено некоторое насилие — это правда: ему очень не хотелось передавать «Восточное обозрение» в другие руки. Но делалось это из желания добра ему же.

Совесть моя чиста от всякого упрека в измене моему другу. Во второй половине своей жизни он бывал иногда недоволен мной и жаловался на меня, но, несмотря на темные полосы, которые пробегали между нами, мы оставались друзьями; едва ли кто любил его больше меня.

Однако хотя я на это прошлое смотрю со спокойной совестью, а все-таки нахожу, что я поступал с ним не так, как следовало бы. Перед концом его жизни я был с ним если не жесток, то жесток.

После смерти Аделаиды Федоровны передо мной оказалось два Ядринцева. Один, которого я знал в стенах университета, потом в стенах омского острога и в омской гауптвахте, потом в Шенкурской ссылке и, наконец, опять в Петербурге, в качестве редактора «Восточного обозрения». Это был человек, всецело охваченный мечтою о лучшем будущем Сибири — о великом будущем, как он любил говорить, — искренно желавший послужить для осуществления этой мечты; западник, воспитавшийся на Белинском,

Герцене и Чернышевском, с жадностью впитавший в себя идеи Запада, преклонявшийся перед западной культурой и ставивший целью своей жизни пересадку европейских форм жизни на русский восток, прививку европейских идей сибирским умам. Поглощенный такими мечтами о будущем Сибири, он забывал о своих личных интересах, не только об интересах мещанского характера, но даже и о таких, как, например, литературное ре-номе. Это был человек, который принадлежал не себе, а другим. Он тогда был полон надежд на счастливое будущее, на славу для своей отдаленной от культурного мира родины, на благодарность потомства. Был всегда весел, остроумен, никогда не унывал, по крайней мере, надолго, легко переносил все житейские невзгоды, о которых рассказывал с большим юмором, заставлявшим весело смеяться собеседников.

Другим его сделал Иркутск. Антей от соприкосновения с почвой поднимался с удвоенной силой. С Ядринцевым от соприкосновения с родной почвой произошло совсем другое: он превратился в вялого журналиста, печатающего только из расчета обеспечить себе мещанское существование. Это изменение в темпе жизни было похоже на то, которое совершилось с другим сибирским патриотом, выступившим задолго ранее Ядринцева, с Ершовым, автором «Конька-Горбунка». Только контраст в жизни Ядринцева между началом и концом ее гораздо слабее. Ядринцев все-таки до конца жизни что-нибудь делал в духе той программы, которую составил в дни своей молодости. Иногда и в эти годы своего упадка в нем появлялся прежний Ядринцев, но ненадолго.

Я горячо любил первого Ядринцева. Он мне представлялся обаятельным воплощением Европы с ее безграничными чаяниями на счастливое будущее.

Я всякий раз со спокойным духом отправлялся в свои отдаленные путешествия в Монголию и к границам Тибета, уверенный, что оставляю Сибирь не сиротой, что у нее есть верный друг, который ей не изменит.

Но мне не нравился второй Ядринцев. Я никак не мог примириться с мыслью, что Ядринцев прежний уже не воскреснет. Я придумывал детские планы к реставрации Ядринцева, мечтал — нельзя ли найти другую Аделаиду Федоровну, сочинял проекты создания богатого денежного фонда для «Восточного обозрения». Как это было с моей стороны наивно! Влюбленный в перспективу, созданную моим воображением, я забывал, что «Восточное обозрение» потерпело поражение от столкновения с реакционным направлением русской государственной жизни. Для Ядринцева, с его молодой верой в торжество света над мраком, с его верой в общество, в котором, ему казалось, должны преобладать симпатии к добру над злыми инстинктами, печальный конец был неизбежен. Он ушел со сцены не без борьбы. Но борьба оказалась не по силам. Я был свидетелем каждого момента этой борьбы. Я видел, как мой приятель брал одну траншею за

другой; на моих глазах один за другим падали передовые форты; наконец, пал Малахов курган. Вот в это время, когда публицист, лишенный средств борьбы, связанный по рукам и ногам, все-таки не выпускает из своих рук старого знамени, он заслуживает сочувствия и снисхождения. А я как будто не принимал в расчет этого положения; я продолжал быть требовательным к своему другу, как будто бы он пользовался все еще тем же благополучием, как в первый год существования «Восточного обозрения». Теперь мне тем более стыдно за себя, что я ему был очень много обязан в деле осуществления моих путешествий: он постоянно популяризировал мое имя в сибирских кругах, благодаря чему я получил на свои экспедиции пожертвования от богатых сибиряков (В. Ф. Каменский, В. П. Сукачев, И. М. Сибиряков).

Такой ли должна быть судьба Ядринцева? Человек отдал на службу своей родине всю свою жизнь, жертвуя счастьем своим и семьи. Другой бы на его месте составил бы себе из газетного предприятия хорошее обеспечение до конца жизни, умея входить в компромиссы с житейскими условиями, ловко лавируя между рифами цензуры. Но Ядринцев не ограничивал свою задачу честной проповедью; он хотел служить родной стране образчиком гражданского поведения и потому жизнь кончил богемой.

Теперь, когда лучше можно разглядеть и сознать всю несправедливость судьбы к Ядринцеву, упрекаешь себя, что в свое время мало задумывался о его положении и мало прощал ему.

Публикация 1983 г.

Из книги
«Сибирь и литература»

Среди многих вопросов культурного и литературного развития Сибири существенное значение имеет проблема накопления книжных богатств и читательских интересов. Когда и как проникали в Сибирь книги, организовывались общедоступные библиотеки, читальни, развертывалась книжная торговля, как изменялись читательские вкусы в связи с характерными чертами эпохи, с различными социальными категориями населения — все это представляет большой интерес.

Дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы трудно. Много существенного в свое время не фиксировалось или фиксировалось формально, узковедомственно, многое погубило из-за цензурных ограничений, уничтожено пожаром 1879 года, когда в Иркутске сгорели почти все казенные учреждения, библиотеки, архивы и пр. Однако и имеющихся данных достаточно для того, чтобы нарисовать общую картину и показать особенности сибирской культурной и литературной жизни, которые отразились на читателе, на его литературно-художественных вкусах. Проблема эта большая, требует специального исследования.

Рост интересов сибирского читателя, развитие его вкусов и художественных увлечений были крайне разнохарактерны, они зависели от местных общественно-культурных событий, но в первую очередь тесно связывались с интересами общерусского читателя.

Исторически процесс накопления книжных богатств, развития читательских вкусов в Сибири можно разделить на два периода: первый — с конца XVIII и до шестидесятых годов XIX века и второй — вторая половина XIX века. Первый можно назвать периодом первоначального накопления книжных богатств.

Пути накопления были разнообразны. Книги в Сибирь везли деятели

Кунгуров Гавриил Филиппович (23 марта 1903, Сретенск Читинской области — 13 июня 1981, Иркутск), прозаик, литературовед. Член Союза писателей СССР. Автор книг «Артамошка Лузин», «Путешествие в Китай», «Сибирь и литература» и др.

православной церкви, миссионеры. Они создавали первые библиотеки при церквях, монастырях и церковных школах, купцы торговали ими, как солью, гвоздями, мылом, в тех же торговых рядах; крупные купцы-меценаты провозили книги как роскошь и создавали первые домашние библиотеки; наконец, везли их в Сибирь политические ссыльные как необходимое средство борьбы, как постоянный спутник культурного человека, борца за прогресс и просвещение широких масс.

Уже в XVII и XVIII веках книги начинают находить в Сибири покупателей. Правда, книжный ассортимент пока очень ограничен: азбуки, грамматики, молитвенники, библии. Но этим не довольствуется сибирский книжный рынок. В 1783 году в Иркутске возникает дело об изъятии из продажи 42 названий новиковского издания. Следовательно, обличительная сатира Новикова не только проникла в Сибирь, но и обратила на себя внимание административных властей. Видимо, и в далекой Сибири это был «товар» ходовой, опасный, вызывающий репрессивные меры.

Период стихийного «вторжения» книги в сибирский быт длился недолго. Уже в 1748 году в Тобольске открывается духовная семинария и при ней зарождается первая в Сибири библиотека, в 1780 году — Иркутская духовная семинария и при ней библиотека. Доступ в эти библиотеки был закрыт, и никакого влияния на сибиряков, кроме семинаристов, они не имели.

В 1781 году в Иркутске открылась городская школа и, как повествует летописец, «при хорошем подборе книг, в том числе и энциклопедии Даламберо-Дидеротовой, ценою на 2000 рублей». В это же время, в 1780—1782 годах, иркутяне выстроили специальное двухэтажное здание — книгохранилище, музей и библиотека. Этому событию придавалось большое значение не только в Иркутске, но в центре. По распоряжению Екатерины II библиотеке было отпущено 3000 рублей. Это была первая публичная библиотека в Сибири. На фронтоне ее красовалась надпись: «Матерью отечества дарованных книг хранилище, сооруженное попечением начальника и иждивением сограждан». Организовать работу в библиотеке поручили коллежскому советнику и кавалеру — корреспонденту Академии наук Карамышеву.

Фонд первой публичной библиотеки состоял из книг, присланных Академией наук и пожертвованных местными благотворителями (купцами, чиновниками, мещанами и пр.)

Интерес к чтению был большой, читателями публичной библиотеки оказались не только иркутяне, но и жители близлежащих сел и уездных городов.

Открытием первой публичной библиотеки Иркутск опередил не только провинции, но и центр России. Известно, что лишь в 1830 году президент вольно-экономического общества адмирал Мордвинов выступил с планом устройства в России библиотек.

Перед нами два важных исторических свидетельства, опубликованных в неофициальной части первой иркутской газеты «Иркутские губернские ведомости»: «Сведения о состоянии Иркутской библиотеки» и «По поводу отчета Иркутской библиотеки».

В небольшом отчете о состоянии Иркутской библиотеки сказано, что она довольно быстро растет, выписывает почти все важнейшие периодические издания и т. д. Ранний читатель был довольно полно представлен по социально-сословным признакам; первые библиотеки открывались как массовые, широкодоступные. Уже в первых отчетах о деятельности библиотеки подчеркивалось: книги «давались для прочтения всем жителям», «в библиотеку допускались все желающие без различия звания и сословия».

Старинная гравюра, изображающая зал для чтения Иркутской публичной библиотеки в 1858 году, наглядно передает социальный состав читателей. На ней изображены читатель-купец, чиновник, духовная особа, мещанин, женщины и пр.

В 1861 году открылась бесплатная общественная библиотека, о чем в «Иркутских губернских ведомостях» было напечатано сообщение:

«Хотя в настоящее время Иркутская публичная библиотека и не богата книгами, но, исполняя желание учреждений о скорейшем, по возможности, соделании имеющихся книг общественным достоянием, распорядители библиотек имеют честь объявить, что она будет открыта с 13 марта». Книжный фонд библиотеки был еще невелик — всего 824 книги и 46 названий периодических журналов.

Замечательную характеристику этой библиотеки дал П. А. Кропоткин, посетивший ее в 1862 году. «Браво, Иркутск! Какая здесь публичная библиотека! Очень порядочная в журнальном отношении. Здесь получается до 50 журналов и газет. Приходите в комнату и читайте, ничего не платя. Кроме этой публичной, есть еще частная, откуда берутся журналы и книги для чтения; там тоже есть читальная, с платою 10 копеек за вход. Тоже народа довольно».

1851 год ознаменовался открытием Сибирского отделения Русского Географического общества, при нем — научной библиотеки¹. С первых лет ей было пожертвовано много книг, большое количество изданий она получила из центра и быстро стала одним из крупных книгохранилищ. Почти

¹ Мысли об организации в Сибири научно-краеведческого общества возникли гораздо раньше. В 1823 году енисейский губернатор Степанов обратился к министру народного просвещения с проектом организации в Красноярске учебного общества под названием «Беседы о Красноярском крае». Комитет министров разрешил, но когда дело дошло до Николая I, он наложил такую «многозначительную» резолюцию: «Я никакой пользы в сем обществе не вижу, а посему на оное не согласен. Будут другие способы надежнее и вернее для достижения истинной пользы».

ежегодно общество опубликовывало свои отчеты, в том числе отчеты библиотеки².

В других сибирских городах открытие публичных библиотек шло медленнее. В 1830 году открылась первая публичная библиотека в Томске, в шестидесятых годах XIX века — в Омске, Тобольске, Красноярске, Барнауле, еще позднее (1881) в Вехнеудинске (теперь Улан-Удэ), в Нерчинске в 1886 году, в Якутске в 1886-м, в Троицкосавске в 1887-м, в Баргузине в 1888-м, в Чите в 1894 году.

Уже начиная с XIX века представители купечества, чиновники и городские мещане Иркутска выписывали очень много различных книг. В 1818 году организовалась Компания для выписки периодических изданий и книг. Члены этой компании совместно выписывают книги и журналы и систематически собираются, чтобы обсудить прочитанное. И когда к первоначальным просветительным и культурным делам были присоединены карточная и бильярдная игра, основатели этой книжно-читательской компании из нее вышли. Но сам факт десятилетнего существования компании является важным показателем ранних читательских интересов сибиряков, их попытки придать этому делу общественно-организованный характер.

Имеются данные о том, что подобные книжно-читательские группы в начале XIX века были во многих городах Восточной Сибири: в Киренске, Якутске, Верхнеудинске, Нерчинске, Кяхте.

В Сибири очень рано стало признаком культуры иметь свою домашнюю библиотеку. В широко известных «Воспоминаниях об Иркутске» начала XIX века Е. Авдеева пишет: «Нигде не видела я такой общей страсти читать. В Иркутске издавна были библиотеки почти у всех достаточных людей, и литературные новости получались там постоянно». По мнению Авдеевой, общий уровень культуры и образованности иркутян гораздо выше, чем в других местах России.

Первый сибирский книжный магазин был открыт лишь в 1873 году в Томске известным культурным деятелем, опытным книготорговцем П. И. Макушиным.

Читательские интересы и вкусы сибиряков этого периода — одна из очень показательных и любопытных страниц в культурном и литературном движении. Читательские интересы того времени можно разделить на три довольно типичных направления.

Во-первых, интересы к церковнославянской книжности, которые упорно и настойчиво культивировались и насаждались церковью, монастырями, учеными миссионерами, духовными особами всех степеней,

² Отчеты начиная с 1853 года публикуются в «Записках Сибирского отдела Русского Географического общества», в «Известиях Императорского Русского Географического общества, в «Отчетах о деятельности Сибирского отдела Географического общества».

церковнославянскими школами, духовными семинариями, церковными обществами и пр.

Во-вторых, к светской образованности, к светской литературе, но крайне усеченные, ограниченные рамками уставов, жестких и нелепых правил и т. п. Такие ограничения вводились в официальных учебных заведениях, особенно закрытого типа, в женских и мужских гимназиях, закрытых пансионатах, сиропитательных домах и пр.

В-третьих, интересы прогрессивные, революционно-просветительные; их прививали и широко распространяли политические ссыльные, рукописная обличительная литература, народные библиотеки, передовые образованные люди, прогрессивные благотворительные общества.

Третье направление читательских интересов выражалось в критическом отношении к официальной книжности, в стремлении уловить новое, передовое, революционное, наметившееся в начале XIX века в произведениях декабристов, Крылова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, в связи с вступлением на арену общественно-политической борьбы Белинского, позднее — Добролюбова, Чернышевского, Некрасова, Огарева и др.

В первой половине XIX века происходил очень сложный процесс роста культурного уровня и читательских интересов сибиряков. Говоря о прогрессивной части общества, можно утверждать, что в это время и здесь, в Сибири, наступил период пересмотра идейно-литературных увлечений. Незыблемые авторитеты — Державин, Карамзин и даже Ломоносов — теперь вытесняются новыми литературными именами. Сибиряки стремятся уловить то новое, что несла с собой пушкинская поэзия, идти в ногу с интересами и увлечениями передового общерусского читателя.

Это явление не случайно. Уже в первой трети XIX века в Сибири активно расширяет сферу своего влияния капитализм, довольно быстро идет заселение Сибири, разворачивается горнозаводское дело, особенно золотопромышленность, увеличиваются торговые работы с Китаем и Монголией. И общественная жизнь принимает более интенсивный, многосторонний характер.

В местах ссылки декабристов стали накапливаться книжные богатства, большей частью вольтерианского направления, образовались те очаги, где вновь и вновь поднимались жгучие и мучительные вопросы, связанные с судьбой родины, с ее политическим переустройством. И в Сибири было немало людей, сочувственно относившихся к самим идеям декабристов.

Декабристы были той притягательной силой, которая влекла к себе представителей прогрессивной части сибирского общества, особенно молодежь. Могучим стимулом этой притягательности, безусловно, были книги. М. А. Бестужев в своих записках говорит, что сибиряки с такой жадностью и наслаждением погрузились в волны умственного океана, что чуть не захлебнулись в нем.

Шестидесятые годы века — особые в России. Сибирский писатель С. Шашков утверждал, что освободительная реформа действовала возбуждающе и на сибирскую молодежь. Она интересовалась теперь самыми острыми общественными вопросами. По городу ходили бесчисленные списки различных сочинений и газетных обличений. Шестидесятые годы в Сибири — начало периодической печати, годы необыкновенно сильной тяги к чтению, к приобретению книг, заведению личных библиотек.

Огромную роль в книжных накоплениях и в расширении круга читателей сыграл Сибирский университет. В отчете о деятельности университета в 1896 году сообщается, что пожертвования в библиотеку постоянно увеличивались, в настоящее время в ней уже числится более 50 000 названий и более 120 000 томов. В нее влилась крупная библиотека графа А. Г. Строганова, оцененная библиотекарем университета не менее как в 500 000 рублей. Здесь же находятся библиотеки В. А. Жуковского, разных профессоров, коллекции из Академии наук, цензурного комитета, главного управления по делам печати, Зимнего и Аничкова дворцов и т. д. В настоящем году, кроме того, королем Сиамским доставлено издание священных буддийских книг в 39 томах; императорской Академией художеств — роскошное издание Суслова «Памятники древнерусского зодчества» и пр. Кроме того, библиотека получает платно и бесплатно массу русских и иностранных изданий по изящной литературе и различным отраслям знаний. В определенные дни эта библиотека открыта для частной публики.

Изумительным явлением в области книжных и рукописных накоплений бесспорно надо считать частную библиотеку купца-библиофила Г. В. Юдина (1840—1912). Библиотека находилась возле города Красноярска на Тарakanовской даче купца. Она состояла из огромного количества книг по истории России и особенно Сибири. В ней насчитывалось 80 000 томов.

Сибирский историк Н. Н. Бакай подробно ознакомился и описал это ценнейшее книгохранилище, с любовью собранное в течение многих десятилетий. В библиотеке было много сочинений на латинском, греческом, немецком, французском и итальянском языках. В отделе русской литературы имелись уникальные издания XVIII века, полные собрания сочинений Ломоносова, Новикова, Державина, Сумарокова, Карамзина, Жуковского, Крылова, Некрасова, Кольцова, Гончарова, Аксакова, Толстого, Тургенева, Григоровича, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Островского, Помяловского, Успенского, Гаршина, Короленко и многих других.

Наряду с этим Юдин собирал и отдельные рукописи, архивные дела, ценные деловые бумаги, оригиналы писем выдающихся писателей, ученых, государственных деятелей и даже частных лиц. Ему удалось целиком приобрести архивы журналов «Артист», «Театральная библиотека», «Русская мысль» и многое другое, архивы историков М. П. Погодина и Г. И. Спасского, цензурные материалы, относящиеся к печатанию сочинений А. С. Пушкина,

Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова и других великих русских писателей и ученых.

Во время ссылки Ленин стремился попасть в библиотеку Юдина. В 1897 году (9 марта) он посетил Юдина, который предоставил Ленину для работы свои замечательные книжные сокровища.

После первого посещения библиотеки Ленин писал сестре Марии Ильиничне:

«Вчера попал-таки в здешнюю знаменитую библиотеку Юдина, который радушно меня встретил и показал свои книгохранилища. Он разрешил мне и заниматься в ней, и я думаю, что это мне удастся. Ознакомился я с его библиотекой далеко не вполне, но это во всяком случае замечательное собрание книг. Имеются, например, полные подборы журналов (главнейших) с конца XVIII века до настоящего времени. Надеюсь, что удастся воспользоваться ими для справок, которые так нужны для моей работы».

Ценные литературные источники юдинской библиотеки — книги, полученные Лениным из центра через А. И. Елизарову, помогли ему создать ряд выдающихся произведений и в их числе гениальную работу «Развитие капитализма в России».

Большое значение в области книжных накоплений и распространения просвещения имела деятельность П. И. Макушина (1844—1926) — первого книготорговца и активного просветителя Сибири. Об организации первого книжного магазина Макушин вспоминает:

«Назад тому 50 лет, в Сибири, на территории в 9 982 200 кв. верст не было ни одного книжного магазина, и всякий, кому нужна была книга, должен был обращаться в ближайший центр книгоиздательства — в Москву. Какова была тогда скорость сообщения (на лошадях через Тюмень, Екатеринбург и Пермь), памятно еще многим. Для жителей захолустных сел и деревень приобретение книги представлялось невозможным... Интересы народного просвещения настоятельно требовали приближения книги к Сибири, и я твердо решил сделать это... Так 19 февраля 1873 года была выставлена «первая зимняя рама» в страну ссылки и каторги, тьмы и бесправия, совершился прорыв книги, несший с собою свет и знания».

При магазине была открыта публичная библиотека.

Популярность магазина-библиотеки быстро росла, библиотеку посещали ежедневно 100—200 человек. Большое внимание обратил Макушин на распространение книги среди широких масс, особенно среди крестьянства. Для крестьян, которые приезжали в город, на базарной площади был выстроен специальный киоск с народными книгами и картинами. Книги удивительно быстро находили покупателей, книжное дело расширилось. В 1874 и 1876 годах имелись агенты по продаже книг в Омске и Красноярске. В 1893 году открылся книжный магазин Макушина в Иркутске. Много энергии и находчивости проявил Макушин, внедряя книгу в деревне.

Он организовал книжные «лавки-шкапы» при сельских управах, которые сыграли большую просветительскую роль, приблизили книгу к массам.

К началу XX века Макушин учредил бесплатные сельские библиотеки в Томской губернии, в обращение среди населения губернии было направлено более 300 000 книг.

Необходимо отметить плодотворную работу иркутского книголюбца, активного пропагандиста книги Михаила Ивановича Пашина (1880–1933). Это был энтузиаст, человек, влюбленный в книгу, один из пионеров книжной торговли в Сибири, организатор публичных чтений. Начал он свою «книжную карьеру» в 1890 году мальчиком-разносчиком на Нижегородской ярмарке, служил приказчиком иркутского отделения книжного магазина книжно-издательского товарищества И. Д. Сытина.

Кроме плодотворной деятельности распространителя книги М. И. Пашин оставил немало и печатных работ: книга «Библиотека. Опыт руководства для небольших библиотек» издана в Верхнеудинске (Улан-Удэ), в ней есть такие строчки: «Каждому человеку хочется жить возможно дольше. Жить и работать среди книг, в библиотеке — значит жить минимум два раза. Если я прожил на свете 40 лет и из них работал 20 лет среди книг — считаю, что я прожил, по самому скромному счету, 60 лет. Среди книг и только с ними мне было легко и интересно». Известны библиографические символы, написанные умелой рукой М. И. Пашина: «Новые книги о Сибири», «Литературная неделя»; брошюра, изданная в Верхнеудинске, «Сборник стихотворений», сюда вошли произведения Некрасова, Добролюбова, Никитина, Брюсова, Надсона, Гюго, Беранже, Горького... В архиве Научной библиотеки Иркутского университета хранятся газетные публикации рассказов, басен, очерков, фельетонов, стихотворений М. И. Пашина. В журнале «Будущая Сибирь» (1934) опубликован отрывок из его автобиографической повести.

В одном из писем А. М. Горького М. М. Басову, журналисту, активному издателю, известному в Сибири деятелю, подчеркнуто: «В течение сорока с лишним лет он (М. И. Пашин. — Г. К.) работает с книгой и не одного заразил любовью к ней».

Свою страсть и глубокую любовь к книге и книжному делу он передал жене и дочери. Его жена Евгения Федоровна полтора десятилетия проработала в Научной библиотеке Иркутского университета, дочь Вера Михайловна — библиограф этой же библиотеки с 1942 года. У нее сохранился драгоценный документ — письмо А. М. Горького к М. И. Пашину:

«Сердечно благодарю Вас за дружеское письмо, Михаил Иванович!

Очень сожалению, что не могу послать Вам мои книги, но — на русском языке у меня здесь нет их, напишу в Москву, оттуда вышлют Вам.

Смешно, а книг моих на русском-то языке вообще как будто нет, мне весьма часто пишут разные люди: пришлите, купить негде. Госиздат

третий год издает «юбилейное» собрание моих книг и все еще не кончил. Крепко жму вашу руку. А. Пешков.
20.XII.30».

Это письмо не было известно. О нем имелась только скупая строчка А. М. Горького в письме М. М. Басову: «Пожалуйста, перешлите прилагаемое письмишко Пашину». Эта строчка сопровождается справкой: «Адресат неизвестен. Письмо не отыскано. Копии в архиве А. М. Горького нет».

Письмо хранилось до наших дней у дочери М. И. Пашина и передано в архив А. М. Горького.

Среди энтузиастов книги, самоотверженных книголюбов необходимо назвать Александру Николаевну Кузнецову (1875–1947). В «Иркутской летописи» есть пометка: «1851. 1 декабря в общественном доме против Вознесенской церкви открыт отдел Сибирского Географического общества».

Вскоре члены общества организовали библиотеку. Начало ей было положено пожертвованиями частных лиц. Через 25 лет насчитывали уже до 15 тысяч томов, но иркутский пожар 1879 года уничтожил богатства общества: музей и библиотеку. Все пришлось организовывать заново. Прошли годы. Было построено здание исторического музея, а рядом с ним — двухэтажный каменный дом — библиотека. Руководители общества пригласили на должность постоянного библиотекаря учительницу А. Н. Кузнецову. Она горячо любила детей, но так же горячо любила и книги. В этой библиотеке она проработала почти полвека.

Читательские вкусы и литературные интересы передового сибирского общества второй половины XIX века заметно меняются. Снижается интерес к Пушкину. Его заслоняет новое литературное течение — «натуральная школа». По рукам ходят запрещенные стихи Некрасова, Огарева и др.

Сибирский писатель С. С. Шашков в своей автобиографии пишет, что в то время он начал писать стихи не в прежнем фетовском роде, а в общественном. «По рукам тогда (1858) ходило много рукописей, между прочим, со стихами Некрасова, Огарева, Плещеева и т. д.»

Поэзия становится непосредственно на службу общественным интересам, из уст в уста передается: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Просматривая сибирские газеты того периода, нетрудно заметить, как остыли горячие споры о пушкинской поэзии. На традиционных литературно-разговорных вечерах в Иркутске, судя по отчетам газеты «Амур» (1861), уже не обсуждались творения Пушкина и Жуковского, умы волновали гражданские стихи Некрасова, Огарева, Розенгейма.

Обстановку гражданских вольнолюбивых настроений передает в своем дневнике П. Кропоткин. Ознакомившись с публичной библиотекой Вагина в Иркутске, П. Кропоткин узнал, что это не только библиотека, а прямо-таки оппозиционный клуб; там собираются и для того, чтобы почитать и поболтать, тут можно послушаться многого, отсюда, пишет он, исходили

«разные уличные демонстрации против правительства», собирались всякого рода служащие, тут всегда шли горячие споры.

По мнению П. Кропоткина, «чем дальше живешь, тем более убеждаешься в том, что Иркутск далеко ушел от русских губерний; здесь множество отдельных кружков, которые живут так, как им нравится. Кружки эти очень разнообразны, начиная от картежного и кончая высшими либеральными вполне, например, около Кукеля. «Всякое насилие есть мерзость, давайте свободу», — любил говорить он».

По сведениям Иркутской почтовой конторы, в 1889 году через нее получено 157 русских периодических изданий. Наиболее популярным оказался журнал «Нива» — 289 подписчиков, из газет: «Русские ведомости» — 35, «Неделя» — 39, «Свет» — 41. «Новости» — 34, «Новое время» — 14; из журналов: «Русская мысль» — 56, «Вестник Европы» — 48, «Северный вестник» — 14, «Русская старина» — 36; «Наблюдатель» — 12, «Русский вестник» — 24 экземпляра.

Местные периодические издания — «Восточное обозрение» и «Губернские ведомости» — имели в 1888 году: первое — около 1250 подписчиков, из них городских 328, второе — около 700, в числе которых городских 140. Число подписчиков на «Епархиальные ведомости» — около 600.

Нам удалось получить ценное свидетельство современницы Е. А. Соловьевой (Карпинской) о нелегальном читательском кружке в Иркутске. Ее воспоминания относятся к 1892 году. Написаны они по просьбе автора данной работы и представляют несомненный интерес.

Е. А. Соловьева родилась в семье чиновника, по тем временная довольно начитанного и любознательного. В доме была приличная библиотека, выписывались журналы «Дело», «Колосья» и др. «Отец решил пустить в наши «антресоли», состоявшие из двух комнат, каких-либо жильцов... Первым жильцом у нас был известный путешественник Григорий Николаевич Потанин с женой Александрой Викторовной. Не помню, или они были у нас в ссылке, или уже отбыли ее, но только от него я впервые узнала, что людей арестовывают и преследуют не только как уголовных преступников, но и за убеждения».

Е. А. Соловьева рассказывает, что «жильцы» внесли в ее детскую жизнь новые впечатления. У них была большая библиотека. «Он (Потанин) получал корреспонденцию из разных стран, а марки отдавал сестре... Жили они очень скромно, обедали с нами, и Григорий Николаевич обедал всегда с книгой в руках...» И Потанин, и его жена были членами Географического общества. Общее удивление вызвало выступление с докладом в Иркутске женщины — жены Потанина.

После отъезда Потаниных в экспедицию в квартире Соловьевых жили семья Гедеоновских, польский писатель Серошевский. Вокруг Гедеоновских группировалось много молодежи. Позднее, когда Е. Соловьева была

гимназисткой, политическому ссыльному Василию Семеновичу Голубеву удалось организовать кружок молодежи, в который входили гимназисты, фельдшеры и семинаристы. В кружке читалась передовая литература, обсуждалось прочитанное. «Одна из старших сестер познакомила нас, — пишет Е. Соловьева, — со статьей Бюхнера «Сила и материя». Для руководства чтением нам дали рукописный систематический каталог, довольно объемистый, на нескольких листах почтовой бумаги. Он был разбит по отделам, но я пользовалась только списками по художественной литературе. Прочла «Кто виноват?» Искандера, «Что делать?» Чернышевского, «Один в поле не воин» Шпильгагена, «Лес рубят, щепки летят» Шелера-Михайлова и многое другое. Книги я брала в городской библиотеке, кроме них В. С. Голубев доставил нам запрещенные или не бывшие в то время в русском издании «Былое и думы» Герцена, изданные в Женеве».

Популярной и богатой в Иркутске была библиотека общества приказчиков. Есть отчет «Четверть века» (из истории Общества взаимного вспоможения приказчиков в г. Иркутске (1883—1908). Отчет составлен Н. Соловьевым, в нем приведены довольно подробные факты о деятельности библиотеки общества за 25 лет. Библиотека открылась в 1884 году. При ней функционировала читальня. За первый год ее посетили 2622 человека, на дом брали книги 94 человека 1706 раз. Характерны следующие данные: в 1884 году по разделу «Изящная литература» было 333 требования, а в 1893 году — 11 056. В 1888 году по разделу «Критика, история литературы» — 144 требования, а в 1893 году — 783.

Исключительную ценность представляют таблицы, которые показывают, какие авторы, газеты требовались в течение минувшего периода.

В конце XIX и в начале XX веков интенсивно организовывались библиотеки по линии Сибирской железной дороги. На станциях Омск — в 1899 году, Канск-Томский — в 1899 году, Пушкинская библиотека на станции Тайга — в 1902 году, Байкал — в 1901 году, Иланская — в 1901 году, Тайшет — в 1900 году и т. д.

Судя по отчетам, интересы к чтению железнодорожников были разнообразны; в конце XIX и в начале XX веков наибольшей популярностью из русских писателей пользовались Л. Толстой, Тургенев, Чехов, Некрасов, Вербицкая, Амфитеатров. Из иностранных — А. Дюма, Золя, Теккереи.

Остановимся, хотя бы коротко, на читательских интересах широких масс Сибири, в том числе крестьянских. Необходимо оговориться, что материалы по этому вопросу крайне ограничены.

В отчетах некоторых библиотек имеются указания на читателей 4-го разряда (бесплатных), в числе которых есть ремесленники и хлебопашцы. Среди книг, наиболее читаемых этой категорией, как правило, были «Библиотека для народных чтений», Некрасов, Гоголь. Чтобы привить широкой публике интерес к чтению, общественные деятели, а также просветительские

общества, во-первых, открывали книжную торговлю (П. И. Макушин) и, во-вторых, организовывали народные библиотеки-читальни, устраивали бесплатные чтения.

П. И. Макушин открыл при сельских управах книжные «лавки-шкапы». Но спрос на книги был крайне слаб. Макушин вспоминает: «С зимы 1874—1875 года мой служащий с кучером разъезжали на паре лошадей, купленных специально для этой цели, в громадной кошеве, нагруженной ящиками с книгами, по городам, селам и деревням Томской губернии. Значительный сбыт книг был только в городах Барнауле и Мариинске, в селах спрашивали только сонники, оракулы и песенники, в деревнях грамотных не оказалось».

Была попытка торговать книгами среди рабочих на Обь-Енисейском канале через продовольственную лавку, но ее ликвидировали по предписанию Министерства внутренних дел.

Книга проникла в отдаленные сибирские деревни, глухие сибирские уголки, где редко можно встретить грамотного человека, и постепенно завоевывала читателя. Очагами распространения книг среди крестьян были в первую очередь школы и отдельные ссыльные поселенцы. Любопытным свидетельством является статья «Что читает верхоленский крестьянин, как относится к литературе, его песни и прочее», которая относится к 1888 году. Она подписана «Р-ва». Автором ее, видимо, является сельская учительница.

Автор пишет, что крестьянин не видит необходимости в чтении, его обыкновенные слова: «Все это для господ от безделья, а нам некогда пустяками заниматься, разве в праздник когда». Старики предпочитают Библию, жития святых, разные молитвы и читают разные секреты от наговоров, болезней и прочее, таинственно приобретаемые у разных знахарей и шарлатанов, которыми изобилует Ленский край. Говоря о молодежи, автор подчеркивает: «Посещая посиделки довольно долго, в продолжение нескольких лет, нам ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь принес книгу для чтения. На мой вопрос об этом отвечали: «У нас не заведено... просмеют, сейчас галдеть начнут: «Ишь ты, скажут, ученый появился» — боязно... на смех подымут так, что не рад будешь».

Несмотря на такое отношение молодежи к чтению, автор и в этом отдаленном уголке Сибири нашел книги и читателей.

«Песни, сказки, календари, сонники, оракулы предпочитают деревенской молодежи всем другим книгам, и, возвращая, они скажут: «Как-то того, незанятно, вот если бы сказка какая, и т. д. Вот бы песня, аль о чужих землях, может, занятно, позабористей бы, что тут вот все о солдатах, сражались турки, кавказцы...» Из повести выхватывается самое доступное пониманию... Такое суждение я встретила, например, о «Кавказском пленнике», «когда главный герой совершенно исчезал, несмотря даже на приложенные картинки». И все-таки в этой среде, кроме местной

газеты, выписывались и были популярными «Луч», «Неделя», «Будильник» и «Шут», а из журналов — «Новь», «Нива» и «Русская мысль».

Обстоятельная и вдумчивая статья «Библиотека в селах и городах Сибири» действительно могла всколыхнуть общественное мнение. Она дана как передовица, без подписи автора, напечатана в «Восточном обозрении» за 17 апреля 1888 года. Статье предпослано два изречения:

«Трудно себе представить, какой переворот в идеях и душе человека, заключенного где-нибудь в глуши уездного города, может сделать попавшая в его руки хорошая книга. К. Ушинский». И второе — «Глушь и даль не так страшны, как думают иные: и в самых потаенных местах дремучего леса, под валежником и дремом, растут душистые цветы. Ив. Тургенев».

В начале статьи в кратком размышлении автора подчеркивается, что в тяжелые моменты жизни человеческая мысль и благородные стремления гложут, и на душе истинно интеллигентного человека становится тяжело. Куда идти? Зачем? Работать на пользу обществу? Да есть ли оно? А на арену общественной деятельности прорываются люди совершенно иного пошиба: они чувствуют себя прекрасно, плавают как рыба в воде. Слова: «нажива», «карьера» и «рубли», «рубли» и «рубли», «он схватил столько-то» делаются почти не сходящими с уст, слова же «народная польза», «общественное благо», «служение народу» почти вычеркиваются из обращения.

Дальше автор сетует, что было когда-то в Сибири так, что о библиотеках и помину не было. «В одном городке бедный учитель, составив для себя библиотеку, вздумал поделиться и сделал приглашение читать у него Шекспира, Гейне, Шиллера, Шлоссера и т. д. Такого чудака почли помешанным».

В настоящее время, автор усиленно подчеркивает это, почти во всех городах Сибири имеются библиотеки: где городские общественные, где клубные, которые в маленьких городах, «где членами клуба могут быть лица всех сословий и профессий, значительно заменяют общественные, где открытые частными лицами; в степном же крае преобладающим типом библиотек служат войсковые, открытые при военных отделах, доступные, впрочем, для всех желающих, и не военных».

Автор перечисляет более тридцати городов Сибири, где есть библиотеки, затем дает подробные данные о количестве выписываемых в городах и селах Сибири периодических изданий, в частности: «в Иркутске в 1885 году при 32 789 жителях выписывалось более 2700 экз. (194 названий), в Томске при 29 481 жителе выписывается ежегодно до 2000 экз., в Красноярске при 12 970 жителях — 616 экз., в Енисейске при 7181 жителе — 553 экз. (93 названий)» и т. д.

Широко было поставлено распространение книг через книгонош. «Известия общества распространения книг в народе» сообщали, что «в отдаленных уголках Сибири в течение трех месяцев двумя книгоношами было

распространено 3358 экз., т. е. в месяц одним книгоношею распространено 559 2/3 экз.»

Автор убедительно показывает, какая огромная тяга к чтению, к приобретению книг выявилась у сибирского крестьянства, вообще у простого народа, он приводит факт: «Всего поразительнее понимание значения книги в среде простого народа выразилось в Томске, где при подписке на устройство народной библиотеки значительная сумма была собрана пятачками и где бедняки, за неимением денег, жертвовали даже вещи; одна принесла канделябры, а один мальчик свои старые книги и 10 копеек».

Подчеркивая горячее стремление русского населения Сибири к просвещению, автор указывает, что это не чуждо и инородческому населению Сибири. Но данные автора касаются только фактов интенсивного приобретения этим населением Евангелия на киргизском, персидском и других языках.

Приводятся данные по открытию библиотек, музеев, кабинетов чтения, роста количества подписчиков периодических изданий. Автор заключает, что отчеты библиотек, как нельзя лучше «подтверждая наши положения, показывают, что число читателей год от года растет, и что простой народ составляет наиболее значительный процент общего числа пользовавшихся библиотеками».

Читатели большей частью кучера, горничные, кухарки, мелкие торговцы, приказчики, мещане, прислуга, крестьяне, работные люди, ремесленники и пр.

Завершается статья: «Ввиду того огромного значения, которое получает распространение чтения среди населения, содействуя его умственному развитию, пожелаем этим библиотекам от души полного успеха и совершенствования, так как с этого времени начинается новый фазис общественного развития и духовной жизни в крае, что в предшествовавшей истории Сибири отсутствовало».

Можно считать прекрасным дополнением к вышеупомянутой передовой статье «Восточного обозрения» большую, хорошо оснащенную фактическим материалом статью Л. С. Личкова «Как и что читает народ Восточной Сибири». Это доклад, переданный автором 1 ноября 1888 года Восточно-Сибирскому отделу Географического общества, на тему: «К вопросу о том, что читает народ в некоторых селениях Иркутской губернии». Доклад был основан на материалах 25 селений двух округов Иркутской губернии. Затем он был пополнен и составил данные более чем по 60 селениям. Как и предыдущий автор, Л. С. Личков считает, что огромную роль в развитии читательских интересов играют среди взрослых крестьян школы; он приводит убедительные факты. Чем ранее была основана школа, тем более у населения любви к чтению, тем больше покупает оно книг.

В селениях, в которых школы основаны до 1870 года, покупают книги

78 процентов крестьян; в селениях, где школы открыты с 1870 года и позже, — лишь 64 процента. И автор делает такое заключение: «Если даже эти сообщения лиц, наблюдавших деревню, не совсем точны, поскольку вообще могут быть не точны сведения, сообщенные по личным воспоминаниям, или могут быть даны несколько пристрастно к школе, то и за всем тем, при всем даже разнообразии собранных отзывов, благоприятное влияние школы не только на рост любви к чтению, но и на нравы населения представляется для многих местностей несомненным».

Автор приводит примеры исключительно высокого культурного роста отдельных крестьян. Например, из села Черемхово официально сообщалось: «Грамотные крестьяне резко выделяются на сельских сходах, где они имеют большее значение сравнительно с неграмотными» или «грамотные заметно влияют на смягчение нравов в народе, замечается любовь к чтению книг разного рода» (село Ключевское, Канского округа). Любопытно высказывание крестьянина села Курагина, 37 лет. Он так отзывался о неграмотных и о пользе чтения: «Черствые люди, ничего не понимающие и не желающие учения. То ли дело, когда умеешь читать; я так понимаю, что если читаешь книгу, то все равно, что говоришь с нею: книга — мой друг».

К концу века не остывают интересы к Некрасову, Герцену, Чернышевскому, Гоголю; усиливается внимание к Пушкину, Лермонтову и Белинскому, Салтыкову-Щедрину, Гончарову, Л. Толстому, Достоевскому.

Официальные блюстители и охранители нравственности, «радетели» воспитания нового поколения в духе верноподданнических идеалов ставили на пути проникновения в массы творений «крамольных» писателей — А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Герцена, Н. Чернышевского, Л. Толстого — железные преграды; особенно тщательно ограждались школы и школьники.

Но проникновение передовых идей, стремление к великим революционным целям невозможно было остановить. В конце XIX и начале XX веков в Сибири, особенно под влиянием политических ссыльных-марксистов, борьба за передовое, свободолобивое, революционное принимала решительный характер.

В последнее десятилетие XIX века сибирский передовой читатель, особенно молодежь, учащиеся, увлекаются произведения Шелера-Михайлова, Печерского, Писемского, Крестовского, но эти увлечения, как яркие вспышки, то блеснут, то загloxнут.

Прочный и углубленный интерес устанавливается в конце века к произведениям Л. Толстого, Тургенева и Достоевского. Увеличивается подписка на периодические прогрессивные журналы, на газеты, особенно местные («Восточное обозрение», «Сибирь»).

В силу различных причин (низкая грамотность, цензурные ограничения при изданиях книг для народа и каталогов, рекомендующих книги для народного чтения, и т. п.) круг читателей из простого люда в Сибири был

ограничен. Для народных читательских вкусов характерна склонность к легкой беллетристической литературе. Мы не установили увлечения простого народа литературой духовно-религиозной, сугубо верноподданнической и т. п. Наибольшей любовью и популярностью пользовались, во-первых, повести и рассказы, рисующие реальный быт, настоящую правдивую жизнь «обыкновенного» героя, «среднего человека». Сюда относятся рассказы для народа Л. Толстого, повести Гоголя, особенно «Тарас Бульба», рассказы Короленко, «Сигнал» Гаршина, повести Тургенева, особенно «Муму», и др. Во-вторых, мир фантастики, картины «необыкновенно занимательные»; здесь первое место принадлежит русским сказкам.

Многосторонняя политическая, культурная жизнь Сибири — неотъемлемая часть общерусского, общенационального процесса. Интерес сибирской общественности к творениям классиков русской и мировой литературы был постоянным.

Прогрессивные слои сибирского общества стремились идти в ногу с передовым революционным движением России, но они сталкивались с невероятными трудностями. На далекой окраине, в «стране каторги и ссылки», в условиях оголтелого административно-тюремного произвола общественно-политическая борьба за свободу, человеческое достоинство, культурные и литературные интересы всегда принимала острые формы.

Нельзя забывать, что Сибирь как неотделимая часть Российской империи имела все порочные стороны монархического полицейского государства и что они проявлялись здесь с особой обнаженностью и силой. Лишь Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтожив капиталистический строй, освободила трудящихся от гнета и произвола, возродила неисчерпаемые источники и энергию всей страны, в том числе и Сибири.

1975

Из книги
«Сибирские страницы»

Можно ли вообще говорить о культурной жизни Сибири в начале XIX века? Обычно о Сибири этого времени господствовало представление как об исключительно невежественном и некультурном крае, крае темноты и произвола, оторванном от центра и основных культурных движений эпохи.

Такое понимание Сибири находим у крупнейших сибирских публицистов и историков, оно встречается в мемуарах, в описаниях некоторых путешественников, отголоски таких суждений встречаются и в современной нам литературе.

Одним из первых авторов, нарисовавших суровую и отталкивающую картину сибирских городов в конце XVIII века, был знаменитый ученый и путешественник Георг Гмелин, на суждения и оценки которого очень часто ссылались позднейшие историки. Сибирские историки, несмотря на разность социально-политических позиций, почти совершенно единодушны в этом пункте: здесь сходятся и Словцов, и Шапов, и Шашков, и Андриевич. Шашков категорически писал о старой Сибири, что она «была гораздо невежественнее тогдашней России», а жизнь сибирских городов на рубеже XVIII и XIX веков и в начале XIX века он называл шумной и безобразной. По мнению Шапова, общественная жизнь в таком крупном центре, как Иркутск, «была дика и похожа на китайско-азиатскую». «Сибирские городские общества с трудом усвоили правильное благоустройство форм гражданской экономической жизни, бедствовали от неразвитости городских искусств и ремесел, страдали от тягости двойных городских налогов и, сверх того, еще от разных физических зол — наводнений, пожаров и проч.». Крайне примитивной представлялась и умственная жизнь сибирских городов. «Самостоятельная разумная критика «общественных понятий и нравов в сибирском обществе, как и во всем русском обществе в начале XIX века, разумеется, еще немыслима была. Граждане иркутские тогда

Азадовский Марк Константинович (18 декабря 1888, Иркутск — 24 ноября 1954, Ленинград), профессор, выдающийся фольклорист, этнограф, литературовед, историк Сибири. Автор книг «Ленские причитания», «Русская сказка», «Литература и фольклор» и др.

еще без разбору и с одинаковым вкусом читали и усваивали как оптимистические, так и кое-какие критические статьи разных сочинителей». «Они увлекались всяким забавным благоустройством, всякими шутивно-просмешистыми изображениями и потешными афоризмами, имевшими претензию на юмор и сарказм, всякими песнями и одами, отличавшимися хотя бы самыми слабыми сатирическими тенденциями».

«По всей Сибири было всего каких-нибудь пять человек образованных и порядочных чиновников», — категорически замечает Шашков и даже перечисляет их: «инспектор Словцов — друг и товарищ Сперанского по духовной академии; Калашников, он же и автор исторических романов из сибирской жизни; иркутский землемер Лосев, первый по времени сибирский статистик, наконец, благородный начальник Камчатки, известный впоследствии адмирал Рикорд».

Позже Загоскин в статье «Что нам необходимо в особенности» писал: «Сибирское общество тридцатых годов почти не обнаруживало признаков умственной жизни. Если тогда в Иркутске было что-нибудь живое, умное, дельное, то все это группировалось около двух-трех лиц, случайно заброшенных сюда и чуждых Сибири».

К этому можно еще присоединить суровую характеристику умственной жизни в Иркутске, данную В. И. Вагиным и относящуюся уже к сороковым годам; можно привести и другие примеры, но нет необходимости чрезмерно их увеличивать. Добавим только, что такого рода оценки и суждения иногда некритически повторяются и в наши дни. Так, например, Б. И. Жеребцов в предисловии к составленной им книге «Старая Сибирь в воспоминаниях современников» пишет: «Политическая и экономическая кабала в старой Сибири сочеталась с ужасающей культурной отсталостью, даже по сравнению с тогдашней зауральской Россией». В старой Сибири вплоть до второй половины XIX века не было ни местной общественной жизни, ни печати, ни литературы, ни театра. Культурная жизнь ограничивалась чрезвычайно редкими любительскими спектаклями, балами и военными парадами».

Другими словами, представление об абсолютной некультурности и отсталости сибирского общества в начале XIX века стало не только общим суждением, но и своего рода общим местом. Но вопрос нужно ставить не в таком плане, а в плане сравнительном, нужно исследовать не абсолютную степень культуры, а относительную. Каков был культурный уровень Сибири по сравнению со всей страной? Действительно ли Сибирь отличалась большей пониженностью культуры? Шашков, например, категорически утверждал, что старинная Сибирь была гораздо невежественнее тогдашней России. К такому же утверждению склонялись и Шапов, и даже Словцов, когда он писал о достойных «не столько сожаления, сколько порицания нравах сибирских городов». Но все они рассматривали вопрос о

состоянии культуры и просвещения в Сибири совершенно изолированно, не сравнивая ее с остальной дореформенной русской провинцией. Однако более внимательный сравнительный анализ позволил бы иначе расценивать место Сибири в общекультурной жизни страны. Во многих отношениях Сибирь стояла не только не ниже, но даже выше. Приведенным выше фактам и наблюдениям можно противопоставить ряд иных свидетельств и фактов, совершенно по-иному освещающих вопрос о культурной жизни в старой Сибири.

Любопытны замечания путешественников. Обычно ссылаются на суровый отзыв Гмелина. Но, во-первых, это показание относится к очень раннему периоду, а затем, учитывая всю исключительную наблюдательность и зоркость Гмелина, все же нужно отметить, что как раз в данном случае он является свидетелем сомнительным. Геденштром очень правильно охарактеризовал методы великих академических экспедиций XVIII века. «Бывшие здесь академики, — пишет он, — путешествовали: беглым взглядом, большей частью по проезжей дороге, окидывали они природу сибирскую и при всем том даже поверхностным обзором своим обогащали все части естественной истории, в особенности ботанику. Но и тысячной доли не могли видеть сии ученые мужи, и многое после них изменилось. Из числа их иностранцы, которым внутренние провинции России казались еще новыми и пустынными, с ужасом взирали на дикую Сибирь: ни люди, ни земля не могли им нравиться».

Само собой, что особенно затруднительно было для них вглядываться именно в такие глубинные явления, как факты культурной жизни. Соприкосновения же академических путешественников с населением бывали по большей части весьма односторонни и протекали в неблагоприятных условиях. На это намекает тот же Геденштром: «Проезд их был медлителен и тягостен для жителей. Один Гмелин занимал по водяному пути шесть дощаников, сухопутно до 100 лошадей».

Более определенно пишет П. А. Словцов: «Другой экспедиции, столь огромной и торжественной, доньше не бывало через всю Сибирь, — и, дай бог, чтобы из сострадания к краю бедному впредь никогда не слышать знаменитости, столь разорительной». Иногда сами участники некоторых экспедиций в своем отношении к населению мало чем отличались от самодурных администраторов.

Иначе относились к населению и местной культуре те иностранцы, которым удавалось вступать в более тесные и интимные связи с разнообразными общественными кругами.

В 1790 году в Иркутске довольно долго жил ученый ботаник-фармаколог Сиверс. Он отмечает и внешний вид города, прекрасные каменные церкви, богатые купеческие дома, отмечает маленькую библиотеку, маленький натуралистический музей и, наконец, театр. «Как, спросите

вы, — пишет он, — театр в таком отдаленном пункте? Да, совершенно верно, и вы еще более удивитесь, когда я вам скажу, что актеры — местные уроженцы, которые в жизни своей никогда не видели никакого театра, — и все-таки их представление было очень искусно и музыка очень недурна».

В восьмидесятых годах XVIII века в Иркутске жил знаменитый естествоиспытатель Эрик Лаксман. «Посещавшие его, — пишет биограф, — тотчас могли заметить, что входили в жилище истинного любителя природы... Здесь являлись частью для красоты, частью для изучения и акклиматизации одно возле другого сибирские и иноземные растения; между ними были даже почти еще неизвестные в этих краях картофель, вишня, яблоня и персиковое дерево». Из писем самого Лаксмана и посещавших его путешественников вырисовывается облик иного Иркутска, который современники называли «сибирским Петербургом». Это лестное наименование Иркутск получил, главным образом, вследствие некоторой роскоши, которая отличала его от других сибирских городов того времени. Но он отличался также и повышенным культурным уровнем. В конце XVIII века в Иркутске было несколько разнообразных училищ, было большое количество частных преподавателей, преимущественно иностранцев: поляков, шведов, французов. Наконец, «и науки имели здесь своих представителей». «Тут жил ученый натуралист Карамышев и весьма начитанный граф Мантейфель, здесь часто останавливались исследователи» и т. д. С 1792 по 1806 годы в Иркутске жил известный летописец Севера, владелец замечательного собрания рукописей М. Н. Мясников.

В самом начале XIX века Сибирь прошел пешком англичанин Кочрен. Он подолгу останавливался в Тобольске, Омске, Иркутске, Якутске и всюду констатировал наличие образованных людей, культурных привычек и пр. «Гостеприимство здешнее удивительно, — пишет он о Тобольске, — но еще удивительнее изящный круг общества».

Наличие культурного общества констатирует он также в Омске и Иркутске; он даже склонен был думать, что «способ просвещения в Сибири обширнее, нежели в самой России». Одной из причин этого явления Кочрен считает «множество людей ученых, находящихся между ссыльными», и это, по Кочрену, обусловило то, что «образованность в обеих столицах Сибири — Тобольске и Иркутске — быстрее подвигается вперед».

В двадцатые годы Сибирь посетила известная экспедиция Гумбольдта, в состав которой входили норвежский профессор Ханстен, моряк-норвежец Дуэ, немецкий лейтенант Эрман — друг Шамиссо. Двое из них оставили ценнейшие записки. Ханстен с восторгом вспоминает посещение им дома енисейского губернатора А. Степанова (в Красноярске). Он описывает его домашнюю библиотеку, его кабинет, являющийся своего рода музеем, круг местных литераторов, который он создал вокруг себя, и т. д. О

«цветущем состоянии словесности» в Красноярске писал в своих записках и другой участник экспедиции, Эрман.

«Мы проводили все свое свободное время у этого достойного человека, — пишет Ханстен, — в обществе молодых писателей, которые были привлечены им к сотрудничеству в альманахе. В его кабинете находилась коллекция местных минералов, а во всех ящиках и на полках — гравюры и рисунки, изображающие обитателей севера, предметы естественной истории, виды, книги, антикварные редкости. У него была мастерская, где мы сумели отполировать два наших агатовых ящичка для магнитных стрелок, то, что мы не смогли выполнить в Христиании. Короче говоря, мы были окружены в его доме всем примечательным, что может представить наука, искусство и природа».

Альманах, о котором упоминает Ханстен, это знаменитый «Енисейский альманах» 1828 года, составленный красноярскими литераторами во главе с поэтом Иваном Петровым. Сам Степанов опубликовал двухтомное описание Енисейской губернии, принадлежащее к лучшим книгам о крае. Ему же принадлежит инициатива открытия в 1838 году в Красноярске библиотеки. Наконец, Степанов хотел учредить в Красноярске учено-литературное общество «Беседы об Енисейском крае», но не получил на это разрешения от высшей власти.

В журналах двадцатых-тридцатых годов немало упоминаний о тех или иных культурных развлечениях и жизни так называемого образовательного общества. В «Московском телеграфе» было напечатано анонимное письмо из Тобольска. Автор сообщает о посещенном им в Тобольске концерте в пользу бедных. Автор с восторгом вспоминает этот вечер... «Множество карет, саней, прекрасная наружная иллюминация, в зале блеск богатого освещения, многолюдное собрание, оркестр из трех певческих хоров и ста музыкантов».

В этом сообщении интересны, конечно, не эти подробности, интересна и важна сообщаемая автором программа концерта, из которой видно, что в этом концерте исполнялись произведения местных авторов. Заканчивалось письмо следующими словами: «Вот тебе описание события, которого я и сам не ожидал в отдаленной Сибири. Здесь также процветают таланты». Сохранилось любопытное свидетельство, относящееся к более позднему времени. В 1847 году в Москве вышла в свет маленькая брошюрка «Нечто, или Взгляд на Тобольск. Письмо институтки из Т.». В ней описываются местные концерты, благотворительные спектакли и прочие мелочи, а рядом с этим ценнейшие сведения о том, что в Тобольске «получаются всевозможные журналы». Подобные же сведения сообщаются в этой брошюрке и об Омске. Восторженный панегирик омской жизни находим и в более раннем письме, помещенном в «Северной пчеле», правда, это письмо имеет специальное назначение и вышло, видимо, из генерал-

губернаторской канцелярии, но отдельные штрихи его все же очень любопытны для характеристики культурной жизни города. В двадцатые годы там жил литератор В. Карлгоф. В «Новостях литературы» были напечатаны его письма из Омска, в которых находим также немало любопытных сведений о культурной жизни этого города.

В сороковые годы в Омске был ряд выдающихся преподавателей. В кадетском корпусе преподавал Костылецкий, учитель Потанина и Валиханова, поклонник Белинского и Гоголя; Гонсевский, подробно изложивший ученикам историю французской революции; позже преподавал один из ближайших друзей Чернышевского — Лободовский. В середине пятидесятих годов в Омске поселился петрашевец Дуров, ставший центром местной прогрессивной интеллигенции; в эти годы в Омске читались публичные лекции по литературе, в некоторых домах устраивались вечера, где читались и обсуждались различные литературные новинки и журнальные статьи.

В романе В. Соколового «Двое и одна, или Любовь поэта» (М., 1834) находится описание города Б., то есть Барнаула. В нем, пишет автор, «было прекрасное общество. Почти весь круг мужчин состоял из людей хорошо образованных, и кроме того, многие из молодежи очень и очень не напрасно посвящали свой досуг музыке, пению и театру».

Любопытное письмо из Сибири, также относящееся к Барнаулу, напечатано в «Отечественных записках» за 1827 год. Автор сообщает в нем о посещении им Барнаульского музея и о собраниях последнего. «Имеется, — пишет автор, — хорошая библиотека, в коей большая часть книг принадлежит к горным наукам». По свидетельству Вагина, Барнаул уже в 1817 году по своему культурному уровню стоял выше других городов Сибири, он «отличался, — пишет Вагин, — образованностью своего общества и утонченностью его образа жизни». Следует добавить, что в Барнауле очень рано началось всестороннее изучение края. Деятельность известнейшего сибирского краеведа С. И. Гуляева начинается уже в тридцатые годы, причем и тогда, и особенно позже, в пятидесятые-шестидесятые годы, он в значительной степени опирался на помощь местных жителей, в том числе крестьян. Путешествовавший по Сибири в 1842 году англичанин Котрель отмечал превосходное состояние Барнаульского музея и поразившую его хорошую постановку учебного дела в местных школах.

Наибольшее количество сведений относится к Иркутску. Мы уже цитировали свидетельства Сиверса, относящиеся к самому концу XVIII века, к этому можно прибавить замечания об Иркутске Кочрена: «Общество в Иркутске очень хорошее и состоит, по большей части, из купцов; на одном бале насчитал я семьдесят дам, и мне сказали, что это собрание еще немногочисленное и что иногда бывает в собрании и до двухсот, и трехсот. Впрочем, если исключить жен военных и гражданских чиновников, все остальные дамы были жены купцов, которые щегольским образом яв-

ляются со своими мужьями только на балы и праздники, а в другое время не участвуют в обществе чиновников».

К началу XIX века, ко времени Сперанского, относятся воспоминания морского офицера Эразма Стогова. «Иркутск как город очень хорош, — свидетельствует он, — много богатых купцов и каменных домов. Купцы в Иркутске не носят бород, одеты во фраках, по последней моде, кареты, коляски, выписанная мебель, библиотеки — не редкость. Жены купцов одеваются по парижским картинкам». Известный рисунок Мартынова «Бал в Иркутске, в 1801 году» прекрасно подтверждает наблюдения и рассказы обоих путешественников.

Стогова, как и Кочрена, более занимает внешняя картина, и он только вскользь бросает замечание о библиотеках, но это общее указание конкретизируется рядом свидетельств других мемуаристов. Известно описание библиотеки купца А. Е. Полевого, сделанное Вигелем.

М. Александров зарисовал библиотеку купца Дудоровского, о том же писал Шукин в ряде писем в «Северную пчелу». В письме 1828 года он писал: «Здесь купцы имеют богатые библиотеки, выписывают все журналы, все вновь выходящие книги. Дочери их и жены занимаются чтением, игрой на фортепьяно... В той дикой и холодной стране удивляются стихам Пушкина и читают Гомера... Ты, может быть, скажешь, что это приезжие чиновники. Нет, тамошние старожилы, купцы и даже мещане». Аналогичные замечания встречаются и в его другом, более позднем письме. О том же свидетельствует и Е. А. Авдеева, урожденная Полевая: в Иркутске «любят литературу, искренне рассуждают о разных ее явлениях и, могу прибавить, не чужды никаких новостей европейских».

По мнению Авдеевой, общий уровень культуры в Иркутске был выше, чем в некоторых других местах России. «Даже общая первоначальная образованность распространена в Иркутске более, нежели во многих русских городах. Лишним доказательством этого служит то, что нигде не видела я такой общей страсти читать». Е. Авдеева подтверждает и свидетельство Н. Шукина о библиотеках. Библиотеки в Иркутске, по ее словам, были «у всех достаточных людей», и «литературные новости получались постоянно».

Н. Шукин подробно перечисляет и самих владельцев библиотек. «С 1800 по 1810 годы славились собранием книг, — пишет он, — купцы Дудоровский, Старцев, Баженов, Саватеев, Апрельников, с 1810 по 1820 годы были библиотеки у купцов Пьянкова, Прянишникова и Трапезниковых. В то же время имел обширную библиотеку чиновник Дорофеев. С 1820 года славится библиотека почетного гражданина В. Н. Баснина. О библиотеке Баснина Н. Шукин писал: «Каждая вновь вышедшая книга, сколько-нибудь замечательная, тотчас приобретает в ту библиотеку». Состав библиотеки Баснина, даже и в том неполном виде, в каком она дошла

до нас, вполне подтверждает свидетельства Щукина и Авдеевой. Особенно важен и любопытен отдел литературы, находящийся ныне в библиотеке Иркутского университета. Мы находим в нем все главнейшие журналы, лучшие альманахи, стихи Пушкина, Баратынского, Языкова, Дельвига — словом, совершенно очевидно, что все лучшие и важные литературные новинки очень быстро получались в Иркутске.

Сведения Н. Щукина об иркутских библиотеках ни в коем случае не являются исчерпывающими. Н. С. Романов установил еще несколько иркутских купеческих семей, владевших библиотеками в конце XVIII и начале XIX веков: Федор Лыченев, Николай Сибиряков, Казанцев и некоторые другие. Экземпляр «Дочери купца Жолобова» Калашникова, который хранится в библиотеке Восточно-Сибирского отдела Географического общества, принадлежал некогда купцу М. Очередину, как это видно из надписи на внутренней стороне переплета. Там же помечено: № 1028, что свидетельствует о значительном размере библиотеки. Наконец в перепись Н. Щукина не вошла и библиотека А. Е. Полевого (отца Н. А. Полевого), о которой сохранились упоминания в различных мемуарах. О составе библиотеки Полевого может частично свидетельствовать круг чтения молодого Николая Полевого. Еще мальчиком в Иркутске он успел прочитать огромное количество французских романов, путешествия Ансона и Кука, «Всемирный путешественник аббат де ла Порта», «Деяния Петра Великого» Голикова, сочинения Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, Карамзина, «Разговоры о Всеобщей истории» Боссюэта, «О множестве миров» Фонтенеля и проч. Читал журналы: «Московский Меркурий», «Вестник Европы», «Политический журнал» и т. д. В сороковые годы в Иркутске славились библиотеки декабристов С. Волконского, С. Трубецкого, М. Лунина. Библиотека декабриста Завалишина (в Чите) состояла из книг на 15 языках.

Замечателен был подбор книг и в библиотеке губернской гимназии, унаследовавшей книжные богатства первой иркутской публичной библиотеки. Первая иркутская публичная библиотека в Иркутске была открыта еще в конце XVIII века (1782) губернатором Кличкой. Для ее открытия было ассигновано Академией наук 2000 рублей и приобретено большое количество книг на русском, французском и немецком языках — в их числе был полный комплект «Энциклопедии французских просветителей». Систематически приобретались сочинения древних классиков, описания путешествий и т. д. За подбором и выпиской книг следили такие лица, как П. А. Словцов, директор И. Миллер — очень образованный человек, сотрудник казанских периодических изданий; заботился о ней и Сперанский. Богато представлены были в библиотеке и периодические издания.

Далеко не полные данные, которыми располагал историк иркутской гимназии, позволили ему все же сделать вывод, что и в те времена (т. е. в

первой четверти XIX века) на такой далекой окраине люди тоже «мыслили, интересовались современной литературой, увлекались Карамзиным, следили за успехами в области науки». К 1865 году в библиотеке гимназии насчитывалось уже 5000 томов разнообразной и хорошо подобранной литературы. В XVIII веке появляются библиотеки и в различных просветительных учреждениях Иркутска: при монголо-китайской школе (1725–1728), при славяно-русской школе (1743), при училище трудолюбия (1743), при школе навигации (1754) и др. В 1780 году открылась в Иркутске духовная семинария, замечательная библиотека которой в значительной части уцелела и сохранилась до наших дней, войдя в состав библиотек университета и педагогического института.

В первой половине XIX века существовала еще библиотека при ланкастерской школе, при приходских училищах, при сиропитательном доме Медведникова и, наконец, с 1843 года — при Девичьем институте.

В 1851 году в Иркутске был основан Сибирский отдел Русского Географического общества — при нем музей и библиотека. Последняя очень быстро превратилась в ценнейшее собрание русских и иностранных книг. При своем основании она получила щедрые пожертвования от многих местных культурных деятелей. Одними из первых — и очень щедрых — вкладчиков и жертвователей были декабристы С. Волконский, С. Трубецкой, Д. Завалишин, Н. Бестужев. Впоследствии библиотека С. Волконского была почти целиком пожертвована отделу. Это замечательное собрание погибло в пожаре 1879 года.

В Иркутске же очень рано появляются частные публичные библиотеки, игравшие очень большую и важную роль в общественной жизни города. Почин принадлежит купцам Болдакову и С. С. Попову, открывшим первую частную библиотеку. Судьба ее до сих пор не освещена в печати; по всей вероятности, она существовала недолго. В 1858 году открылась частная библиотека для чтения Протопопова, вскоре перешедшая в руки Шестунова, а со следующего года существовавшая под фирмой купца Пестерева. Библиотека Шестунова явилась вместе с тем и клубом, и центром демократических, оппозиционных элементов в Иркутске. Позже, когда эта библиотека прекратила свое существование (1862), ту же функцию в еще большей степени выполняла заменившая ее библиотека Вагина и Шестунова (1862–1866). В 1861 году открылась уже городская публичная библиотека, организованная по инициативе Б. А. Милютина, поддержанная Муравьевым-Амурским. История ее возникновения освещена лишь с внешней стороны, но совершенно несомненно, что ее открытие было продиктовано желанием муравьевской партии парализовать значение библиотеки Шестунова.

Наконец, очень рано появились в Иркутске и собиратели картин и гравюр. Ценнейшее собрание гравюр было у того же В. Н. Баснина, оно было

уступлено им Румянцевскому музею. Позже в Иркутске создалась картинная галерея В. П. Сукачева, сохранившаяся часть которой составила основу нынешнего Иркутского художественного музея.

Вагин в своих «Воспоминаниях» несколько расходится со Щукиным в оценке литературных вкусов. Вагин констатирует сравнительно невысокий культурный вкус и умственный кругозор иркутских читателей. Даже такой культурный человек, как учитель гимназии Бобановский, свидетельствует Вагин, не мог понять Пушкина; однако и Вагин и pendant к Полевой-Авдеевой констатирует, что «общий культурный уровень иркутского чиновничества был если не выше, то, вероятно, и не ниже, чем в Европейской России». Невысоко расценивает культурный уровень иркутского общества сибирский писатель И. Т. Калашников, но в своем романе «Автомат», действие в котором происходит в Иркутске, он упоминает о литературном кружке иркутских чиновников, к которому, видимо, принадлежал и сам автор. М. Александров рассказал о вечере у начальника адмиралтейства (1827), на котором совершенно отсутствовали карты, разговор же шел исключительно о литературе, музыке, где говорили о сибирском наречии, о сибирской народной песне, о будущей самобытной сибирской поэзии, о воспитании сибирского юношества и т. д. В Иркутске был вообще ряд культурных кружков: помимо кружка литературного был кружок, который по современной терминологии можно было бы назвать краеведческим, группировавшийся вокруг директора гимназии С. С. Щукина. В десятые годы небольшой кружок интеллигенции группировался вокруг ученого монголиста А. В. Игумнова. Был, наконец, кружок литературно-политический, о котором на основании рассказов старожилов сообщает Г. Н. Потанин. «Духовные запросы в иркутском обществе, — пишет он в статье о городах Сибири, — появились ранее, чем где-то в Сибири. Уже в тридцатых годах прошлого века в Иркутске был дом купца Дудоровского, в котором собирались лучшие люди в городе. Кроме того, в Иркутске организовался кружок для бесед о политике и литературе, имевший председателя. По классификации того времени это было, конечно, тайное общество».

Большое количество образованных людей насчитывала в своем составе иркутская гимназия, многие из них сотрудничали в журналах. Энергией преподавателя гимназии И. Поликсеньева в 1836 году был организован и издан «Сборник прозаических произведений учащихся иркутской гимназии»; преподаватель Н. И. Виноградский, известный в сибирской литературе под псевдонимом «Заангарский сибиряк», издавал в двадцатые-тридцатые годы рукописный журнал «Домашний собеседник». Сын его И. Н. Виноградский пишет в своих «Записках»: «Этот журнал служит примером, как приятно могли проводить время, с каким увлечением следили за развивающейся литературой пушкинского периода».

Эти факты являются важным коррективом к словам Вагина. Свидетельство последнего о Бобановском заставляет думать, что Пушкин был очень поздно оценен в Сибири; однако это далеко не так. Этому противоречат и сведения о составе «Домашнего собеседника», есть и ряд других фактов, свидетельствующих о большой и ранней популярности Пушкина. Так, например, любителем и почитателем Пушкина был тот же, описанный Александровым, начальник иркутского адмиралтейства. Об интересе к Пушкину упоминает в своих корреспонденциях Н. Щукин, о том же свидетельствует состав библиотеки Баснина, можно подобрать еще достаточное количество таких свидетельств.

Наконец, имеется ряд упоминаний о Кяхте, Нерчинске, Верхнеудинске. Кяхта вообще гремела. «Кяхта, по своему богатству, умна, образованна, много читает, много выписывает газет, журналов, любит вместе с преискурантами и политику... делает приговоры знаменитым людям, литераторам и пр.», — писал в конце тридцатых годов сибирский писатель А. Мордвинов.

Иркутский гимназист Иван Кириллов в сборнике ученических работ также с восторгом описывает Кяхту и литературные увлечения последней. В тридцатые годы в Кяхте был небольшой, но прочный круг интеллигенции. Он состоял из местных учителей, чиновников, купеческой молодежи. Сохранились имена учителя Паршина, доктора Орлова, верхнеудинского учителя Давыдова — автора знаменитой песни «Славное море, священный Байкал», представителей купеческого мира: Боткина и Игумнова и др. О Н. М. Игумнове Вагин пишет: «Он принадлежал к передовым людям своего времени и много сделал для развития края». Доктор Орлов издавал рукописную газету «Стрекоза» и вместе с Паршиным составлял литературный (также рукописный) альманах. В конце тридцатых годов Кяхта получила новый культурный импульс в лице декабристов, поселенных в соседних местах. Частыми гостями Кяхты были братья Бестужевы, в Кяхте даже устраивался ежегодный традиционный обед в день 14 декабря.

Культурный центр составил и в Нерчинске. В двадцатых-тридцатых годах там образовался кружок образованных чиновников, преимущественно горных, среди них были известные поэты — Таскин и Бальдауф. Много сведений о культурной жизни Нерчинска сообщает в своих «Письмах из Нерчинска» М. М. Зензинов. «Здесь с 1820 года, — пишет он, — основана библиотека, получают целые груды журналов, существуют обычаи собираться друг у друга для чтения и проч.». В сороковых годах Зензинов определял круг «лучшего общества» в 60 человек. В другом письме он подчеркивает особенный интерес к просвещению молодого купечества. О получении в Нерчинске всех лучших журналов того времени упоминает и Мордвинов в своем «Очерке Заяблонья». Тот же автор в письме к М. Погодину подробно рассказывает о литературных занятиях нерчинцев.

В сороковые годы из Нерчинска вышел ряд выдающихся работ, посвященных местному краю. Помимо названных уже корреспонденций и очерков Зензинова и Мордвинова, можно указать еще книгу В. Паршина «Поездка в Забайкальский край» (М., 1844), «Очерки» Стукова, печатавшиеся в «Северной пчеле», и др. Авторы их принадлежали к различным социальным кругам: А. Мордвинов, В. Паршин — учителя Нерчинского уездного училища. М. Зензинов принадлежал к «молодым гостинодворцам», Стуков — к духовенству.

Корреспонденции и письма Зензинова и Мордвинова чрезвычайно любопытны для характеристики и широты их краеведческих интересов. В письме к редактору «Московитянина» Зензинов подробно сообщает о своей работе: «У меня собираются древние тунгусские баллады на их природном языке, с переводом на русский. Здесь есть древние летами тунгусы, менестрели, барды азийские, которые поют песни на своем природном языке о богатырях Азии, живших в глубокой древности, задолго до прихода русских в край Даурии; сказывают сказки с припевом на языке тунгусском — драгоценности, готовые погибнуть с жизнью творцов. Я составляю вместе и лексикон тунгусского языка... Еще я собираю свадебные песни и наговоры дружек по деревням... собираю сведения о названиях мест по Нерчинскому округу на монгольском и тунгусском языках с переводом на русский... много драгоценных сведений о разных замечательных чертах Даурии, есть описание трав, в простом народе употребляемых для больных». Далее он сообщает, что интересуется растительным царством и собирается послать профессору Фишеру «кое-какие редкие растения степей, гор и лесов даурских». О таких же широких планах своих изучений сообщает и А. Мордвинов.

В «Путевых заметках» Мордвинов упоминает Чинданту и Акшу, где также «несколько приютилась образованная жизнь», — намек, конечно, на декабристов.

Наконец, имеется упоминание и о Верхнеудинске, но относящееся уже к более позднему времени. В конце сороковых годов туда переехал на жительство упомянутый выше поэт и краевед Давыдов. В письме к редактору «Золотого руна» он писал: «В нашем маленьком городке можно иногда столкнуться с человеком, приметным во всех отношениях. Скромность не позволяет мне назвать всеми любимого купца, отличающегося светлым умом и добрым благородным сердцем. Зашедши к нему в дом, забываешь, что живешь в Забайкалье. Тут и радушие, и откровенность, и журналы, и газеты».

Если мы к этому прибавим еще такие достаточно известные факты, как тобольские журналы конца XVIII века, открытие в конце XVIII века первой публичной библиотеки в Иркутске и деятельную роль в пожертвованиях на нее местного купечества, значение декабристов, ссыльных поля-

ков и ряд многих других аналогичных фактов, — то в общем составит несколько иная картина общего культурного уровня Сибири начала XIX века.

Правда, значительная часть фактов говорит о чисто внешних явлениях: балы, маскарады, любительские спектакли, домашние концерты, дамские гостиные, туалеты и т. д., — но ведь и все такие новшества свидетельствуют о некотором росте общества. Сошлюсь в данном случае на авторитет Веселовского, который в своей замечательной книге о Боккаччо показал, как за такими явлениями скрываются «более зрелые элементы».

И очень симптоматично, что современные журналы, в том числе и такие, как «Московский телеграф», так внимательно и охотно фиксировали такие факты. Очевидно, в их глазах эти факты отчетливо свидетельствовали о приобщении Сибири к общекультурной жизни страны. И во всяком случае эти факты нужно учесть, поскольку старыми историками отрицалась даже и такая — чисто внешняя культура.

Но есть основания утверждать, что и общая грамотность сибирского населения была если не выше, то во всяком случае не ниже, чем в остальной части России. Авдеева категорически утверждала, что первоначальная образованность (то есть общая грамотность) была распространена в Иркутске более, нежели во многих русских городах. Авдеева имела в виду, конечно, близкую ей и хорошо знакомую купеческую среду, но аналогичное наблюдение делал и Н. С. Щукин, говоря о мещанстве: «Среди мещан, — свидетельствует он, — наблюдается повсеместная грамотность, причем обучаются не только сыновья, но и дочери».

Утверждения Авдеевой и Щукина, конечно, субъективны и не могут служить исчерпывающим доказательством, но они подтверждаются и более объективными свидетельствами. В «Сборниках русского исторического общества» были опубликованы указы избирателей депутатам в Екатерининскую комиссию 1767 года. Анализ их выяснил, что многие лица, являвшиеся на выборы в комиссию, были малограмотными или совсем неграмотными, причем среди них оказывались и представители высших слоев населения. «Указы, составленные избирателями, — пишет автор специального исследования, — заключают в себе немало данных для характеристики того, как сравнительно немного в русском обществе середины XVIII века было людей, получивших самое элементарное образование. Ведь на выборы 1767 года должны были явиться, конечно, наиболее сознательные элементы населения, те, которые принимали наиболее активное участие в выяснении местных польз и нужд, и, несмотря на это, сплошь и рядом среди подписей под указами мы встречаем или прямое указание, что тот или иной избиратель «грамоте не умеет», или подпись выведена так, что она красноречивее всяких слов говорит о степени образования того лица, кому принадлежит». И вот оказывается, что «в наиболее благопри-

ятном положении находились губернии северо-западные, юго-западные и восточные до Сибири включительно». Выше всего в культурном отношении оказались граждане Новгородской губернии, «где издавна население отличалось большим умственным развитием», «большей образованностью сравнительно с коренными русскими областями» отличалась «восточно-инородческая окраина, например, Казанская губерния», и наряду с ними оказалась и Сибирь. Из 234 избирателей по Сибирской и Иркутской губерниям не было ни одного неграмотного.

Высокий уровень грамотности крестьян и крестьянок в Енисейской губернии отмечал и А. Степанов. Из крестьянской среды вышел, как известно, тобольский летописец ямщик Иван Черепанов. Вагин, вообще пессимистически расценивающий общее состояние культуры сибирского населения в начале прошлого века, считал тем не менее, что сибирское духовенство часто бывало более образованно, чем в провинциях европейской части России.

Это указание Вагина вызвало ряд сомнений и возражений в печати (например, В. Ватин). Действительно, Вагин не сообщает никаких фактических данных для подтверждения и доказательства своего вывода, но основания у него, несомненно, были. Уже в первой половине XVIII века руководители тобольской епархии развили энергичную деятельность по повышению грамотности и общей культуры духовенства (Филофей Лещинский, позже Анатолий Стахановский, в Восточной Сибири — Иннокентий Кульчицкий). И если сельское духовенство в Сибири еще долго оставалось на низком культурном уровне, даже и в смысле элементарной грамоты, то городское духовенство, несомненно, отличалось большей культурностью, в чем нужно видеть влияние и культурных (порой очень просвещенных) руководителей епархии, и образованных ссыльных.

Любопытной деталью, очень ярко иллюстрирующей вопрос о степени грамотности и общей культурности населения Сибири в начале прошлого века, может служить сообщение Н. М. Карамзина о подписчиках на «Историю Государства Российского». «Вообразите, — писал он В. Н. Каразину, — в числе сибирских субскрибентов были крестьяне и солдаты отставные».

Повышенный сравнительно с остальной российской провинцией уровень общей культурности и грамотности сибирского населения обусловлен, конечно, историческими причинами. Главным фактором явилась в данном случае вольно-народная колонизация и отсутствие в Сибири крепостного права.

Этот особый характер формирования сибирского населения отметил уже Радищев: «Уральские горы, отделяя Сибирь от России, делают ее особенной во всех отношениях», — писал он Воронцову. В этом особом характере сибирского населения он видел и источник будущего процветания

края. «Какая богатая страна эта Сибирь, — восклицал он, — какой мощный край! Понадобятся еще столетия, но когда со временем она будет заселена, то сыграет великую роль в анналах мира. Когда некая высшая сила, когда непреодолимый ход вещей покажет благотворное воздействие на закосневшие народы этих мест, тогда увидят еще, как потомкам сподвижников Ермака откроется путь через слывшие непроходимыми льды Северного океана, тогда увидят, как, приведя Сибирь в непосредственные сношения в Европой, эти потомки выведут земледелие этой необъятной страны из состояния застоя, в котором оно находится...» Декабрист Розен, покидая Сибирь, писал, что «кроме золота и драгоценных камней она таит в себе задатки сильного и могучего гражданского развития».

Высокий культурный уровень сибирского населения подчеркивал и Чернышевский. Причины этого он также усматривал в особенностях исторических судеб Сибири, которая никогда не знала крепостного права и получала «из России постоянный прилив самого энергического и часто самого развитого населения». В последних словах намек, конечно, на политическую ссылку.

1971

Из книги
«Иркутск, Иркутск...
Истории старого города»

Над летниками тесными бурятов
Сыченый дух да хмель болотных трав;
Сюда бежали, бросивши Саратов,
И вольный Дон, и старой веры нрав.
И город встал в пролете этом узком,
Суму снегов надевши набекрень,
И наречен он был в веках Иркутском,
Окуранный пожарами курень.

Михаил Скуратов

В 1647 году в старинных русских актах впервые встречается название новой реки — Иркут. Открыл ее «енисейский сын боярский, бывший прикащик пашенных крестьян Иван Похабов».

Думал ли, гадал ли он, что именно у этого «кипящего» притока Ангара будет поставлен рубленый город, названный Иркутском? Увидел ли опытным глазом «передовщика», сколь пригожи здесь места, или другие заботы и мысли владели им в тот момент, когда отписывал бумагу о реке Иркуте?

История основания Иркутска покрыта тайной. Казалось бы, существуют неопровержимые факты, но появляются новые и новые свидетельства, которые изменяют сложившееся мнение. Известный исследователь истории сибирских городов профессор Дмитрий Резун так и написал: «В истории есть факты, которые всегда останутся легендами, ибо они не могут быть подтверждены архивными документами, и главным аргументом их доказательности может являться лишь логика исторического процесса. Так обстоит дело с первоначальной историей основания Иркутского острога». Долгое время считалось, что основанию острога предшествовало строи-

Гольдфарб Станислав Иосифович (род. 5 августа 1956 г. в Харькове), журналист, писатель, историк, доктор исторических наук. Член Союза российских писателей. Председатель Иркутского отделения Союза российских писателей. Автор книг «Мир Байкала», «Золотая кариока», «Час выбора» и др.

тельство зимовья на Дьячем острове в устье Иркута. Новые документы позволили сделать вывод: в отличие от многих других сибирских острогов, Иркутский не имел в качестве предшественника зимовья — оборонительного сооружения простейшего вида. Были уточнены дата основания и имя человека, который построил острог.

Летом 1661 года Похабов, но не Иван, а Яков, во главе отряда служилых людей приступил к возведению укреплений. И полетел гонец в воеводский город Енисейск с донесением: «Государя царя великого князя Алексея Михайловича и всея Великие и Малые и Белые России самодержца воеводе Ивану Ивановичу енисейский сын боярский Якунька Иванов Похабов челом бьет. В нынешнем 169-м (1661) году июля в шестой день против Иркута реки на Верхоленской стороне государев новый острог служилыми людьми ставлю, и башни и потолок срублены, и государев житный анбар служилые люди рубят, а на анбаре башня, а острог не ставлен, потому что снег не достает, лесу близко нет, лес удален от реки. А инде стало острогу поставить негде, а где ныне бог позволил острог поставить, и тут место самое лучшее, угоже для пашени, скотинной выпуск, сенные покосы и рыбные ловли все близко, а опроче того места острогу ставить стало негде, близ реки лесу нет, стали места степные и неугожие. А как Бог совершит наготово острог, и о том будет писано в Енисейский острог к воеводе Ивану Ивановичу».

Но Дмитрий Резун вновь обращает внимание, что во всех списках иркутских летописей утверждается, что первый острог все-таки был поставлен в устье Иркута на Дьячем острове в 1650-х годах. Далее приводим мнение ученого относительно основателя острога: «Этот район (речь идет о западном Прибайкалье. — С. Г.) был хорошо известен также и боевому товарищу И. Похабова енисейскому сотнику М. Перфильеву, который с начала 1630-х годов не раз ходил по Ангаре и верхней Лене, причем военная судьба не раз сталкивала вместе Ивана Похабова и Максима Перфильева. Они не раз сменяли друг друга в должности приказчиков Братского острога, а в 1646 году именно Иван спас Максима от верной гибели, когда толпы бурят осадили Братский острог, где засел со своим малочисленным отрядом Максим. Народные казачьи предания упорно соединяют эти два имени... И само название острова в устье Иркута, где Иван Похабов в начале 1650-х годов поставил небольшой острог, также может быть связано только с именем Максима, ибо он, до того как поменять перо на саблю, служил подьячим в енисейской приказной избе, пользовался большим авторитетом у властей и казаков, которые за глаза называли его дьяком. Поэтому мы полагаем, что сам остров был в свое время открыт именно М. Перфильевым, а Иван Похабов, разбив князца Нарая, мог поставить небольшое зимовье-острог на этом острове как свою опорную базу перед большим походом через Байкал... Во всяком случае, народные историчес-

кие предания далеко не случайно связывают воедино имена Перфильева, Похабова и остров Дьячий».

Трудно, конечно, судить однозначно, «менять или не менять» дату основания Иркутска, отдавать ли пальму первенства в деле основания Иркутского острога казаку Перфильеву. Но пусть и это мнение участвует в давнем споре историков относительно основания будущего города.

Термин «острог» имел несколько значений. Но прежде всего острогом называли тип крепостного сооружения. Когда говорили: «острог» — это означало, что прочие хозяйственные и административные строения внутри него не имеют оборонительных приспособлений. Роль последних выполняли башни и ограда.

Остроги не были похожи друг на друга. Опытный глаз древнего строителя сразу различал их не только по внешнему виду, но и по планировке, системе укреплений. Здесь все имело значение. И высота ограды, и форма оборонительных элементов.

Вот стена врытых в землю обыкновенных бревен — тынин высотой от четырех до шести метров, заостренныхверху — это «стоячий тын». Стена могла быть и косой, и в сочетании с земляным валом. Такое сооружение относили к острогам.

Теперь представим себе, что к ограждению добавили более четырех башен. Укрепление переводилось в разряд городов. Но «настоящим городом» укрепление становилось, имея рубленые стены и башни. Иркутск относился к разряду последних. Вот почему довольно быстро получил титул рубленого города.

Если первая крепость Иркутска имела небольшие размеры (19,4 x 17,3 метра), то при очередной перестройке в 1670 году она имела уже квадратную форму с длиной стороны в 108 метров.

Какова была конструкция Иркутского города, сказать трудно. В Красноярске, к примеру, к рубленой острожной стене через определенные участки были сделаны треугольные прирубы. На них укладывался помост для защитников. В Якутске ограда состояла из двух стенок, параллельных друг другу. Для устойчивости они соединялись переборками. Такой способ называли террасами. Поверх стен обычно делался облам, или заборало — бруствер, из-за которого можно отбивать нападение врага. Стены острога нередко крыли сверху тесом. Кровля придерживалась особыми стояками.

Для каждого острога тщательно выбиралось место. Оно должно было отличаться удобными участками земли для будущей пашни, близостью реки, лесов. Часто землепроходцы ставили укрепления в том месте, где река делала петлю. Тогда будущая крепость как бы замыкала собой круг.

Строители умело использовали естественные преграды — овраги, откосы, протоки, болота...

И еще одна замечательная особенность первых русских городов. С ростом посадов новые поселенцы, «боясь потерять плечо соседа, пристраивались как можно плотнее. Компактность была непременным условием успешной обороны». Таков вывод крупного исследователя истории архитектуры В. Кочеданова.

В 1669 году Иркутск представлял собой укрепление, окруженное тыновыми стенами «с тремя по углам башнями и четвертою среди крепости, обведенной рвом. Окружность крепости составляла 88 сажен». Высота стен была семь метров. Над ними возвышались двадцатиметровые башни.

Иркутский острог довольно часто перестраивался. Это отражалось в специальных описях. В 1684 году он выглядел следующим образом: «А по острогу строенья: 6 башен с мосты, 3 башни покрыты тесом, 3 — дранью, в 2 башнях ворота проезжие створные, у одних башенных ворот калитка проходная на железных крюках с петли железными и с замком весным, да в острожной же стене двои ворота, у одних ворот засов железный с петли железными да в острожной стене калитка малая проходная, в той же острожной стене приказная изба с сенью покрыта тесом...

Да на проезжей башне казенный анбар, а у дверей замок... всередине острога церковь... под папертью кругом шесть лавок о двух житнях, колокольная новая рубленая шатровая с переходы, а под него четыре лавки да анбар церковный, казенный; в остроге же анбар житничный об одном житье, крыт тесом. В острожной же стене государев двор, где живут иркуцкие воеводы, две горницы, одна под башней, а другая на жилом подклете...

Да в тех же горницах в 3 окошках колодных 3 оконницы слудные, обиты железом белым, а меж теми горницами двое сени; изба ж о двух печей и кровлей, где живут воеводские люди; анбар о трех житьях покрыт тесом... погреб с выходом; над ним анбар крыт тесом; ледник, а над ледником анбар, крыт дранью; поварня, мыльня на режах, да за острогом мыльня людская; огород частокольный с воротцы, а в огороде рассадник; двор огорожен забором, ворота створные. В остроге ж под башнями 3 избы, где живут холостые казаки. В остроге ж изба гостина двора, а против избы клеть с подклетью и сеньми, крыты дранью. В остроге ж караульная изба, а в караульне три человека аманатов».

Известный русский писатель XIX века С. Максимов, автор многотомной книги «Сибирь и каторга», делил все русские города на «излюбленные» и «неизлюбленные». Иркутск был явно в числе первых. Удачное географическое положение способствовало его росту. Он считался важным стратегическим опорным пунктом державы, и потому ему уделялось гораздо больше внимания, чем острогам, которые возникли ранее. «Иркутск, — пишет С. В. Манассеин, — становился своего рода центром для окружающих острогов, из которого рассылаются распоряжения во все эти остроги».

Важным событием было основание в 1672 году на левом берегу Ангары, ниже устья Иркутта (ныне поселок Жилкино), старцем Герасимом мужского Вознесенского монастыря. Иркутск становится центром не только светской, но и церковной власти.

В остроге хранились все богатства царские. Каждый клочок бумаги, каждый аршин ткани, обычная чернильница были вписаны в специальные счетные списки, по которым сегодня можно представить себе жизнь и быт первых иркутских жителей.

И вот уже в начале 1680 года в городе вместо приказчиков-управителей появляется воевода. Специально для него строят дом в две горницы.

Поначалу Иркутский острог входил в состав Енисейского уезда и во всем следовал приказам енисейского воеводы. Но уже в 1682 году Иркутск становится центром самостоятельного уезда.

В 1690 году Иркутск получил герб и печать. Он постоянно перестраивался. В 1693 году воевода князь Гагарин доносил в Москву, что он построил «в Иркутске город со всяким городовым строением, с башнями и с вороты, с верхним и серединным и подошвенным боем».

В 1697 году Иркутск был уже крупным по тем временам городом. Каждая стена его укрепления равнялась 130 метрам, а высота их достигала 21 венца!

Хорошо известно то место, где располагался древний Иркутский острог. Тщательные исследования А. В. Дулова говорят, что он находился на месте Спасской башни или недалеко от нее. «Государев двор» лежал на месте перед современным выездом на пешеходный мост Ангарской набережной; одна из угловых башен стояла в районе мемориала. А если подняться на пешеходный мостик, можно легко представить себе высоту городской стены семидесятых-девяностых годов XVII века.

Кстати сказать, именно в девяностые годы XVII века Иркутский острог был изображен в «Чертежной книге Сибири» первым сибирским картографом С. Ремезовым. Этот чертеж сохранился и по сей день. Если внимательно изучать архивные документы, то вырисовывается любопытная система управления городом, которая сложилась в конце XVI века. В 1697 году 1 ноября по указу Петра I город передавался от одного воеводы к другому. Но царский указ — указом, а вот прелюбопытнейшее замечание из счетного списка. Что принимал Перфильев? Иркутский рубленый город «по выбору всех иркуцких градских людей»? Естественно, сам город со всеми его строениями — башнями, избами, амбарами, конюшнями и прочими строениями. В приказной избе хранились иконы — образ Пресвятой Богородицы Владимирской, «писан на цке (доске), риза и венец с короною серебряные вызолочены, чеканные, поля серебряные ж, позолочены, резные». В приказной избе был и другой образ Господа Бога и Спаса нашего Христа Вседержителя, в подножие преподобных отец Зосимы и Сав-

ватия Соловецких. Передавалась и печать серебряная: «на ней вырезан бабр поймал соболя».

Новый воевода принимал пушнину. И особую связку, предназначенную на подарки иноземцам. На представительские расходы отпускалось целое состояние — 40 соболей по 100 рублей каждый, 2 пуда моржовой кости, 11 выдр, 32 рыси и много чего другого.

В счетном списке значатся некоторые вещи в таком количестве, что просто диву даешься, откуда они здесь взялись. Представьте себе, имелось в городе «стеклянных сосудов сулеек и стаканов и соловеничков 114 сосудов!» Вот тебе и таежная сторона...

А еще была слюда, которая хранилась в 14 коробах. Из этой слюды делались окна и оконца. Имелся и приличный запас стрелкового оружия — «2 пушки медные длиною по 3 аршина по 7 вершков в станках, пушка ж медная енисейской присылки в станку, 69 ядер пушечных, 9 мушкетов с жагры, 74 мушкета в ложах без замков, 16 стволин мушкетных без лож и без замков, 9 стволин раздутых и рваных», и копыя имелись, и бердыши, барабаны, протазаны и другая воинская амуниция. Новому правителю передавались и все столбы — рукописные дела, касающиеся судебных дел, разбирательств, следствий. Дела здесь были разные — челобитные государю и отписки к нему же об отправленных караванах пушнины, о взаимоотношениях с коренными жителями, о том, как строился Иркутск... Были столбы хлебного стола (своеобразного департамента), окладные книги, соляные книги, в коих фиксировалось все, что касается такого ценного продукта, как соль. Приемка такого хозяйства требовала не одного дня и ночи... (Первое столетие Иркутска. СПб., 1902. С. 2)

Строительство острогов братской линии, в особенности Иркутского, имело не только важное экономическое, но и политическое значение. Оно содействовало укреплению безопасности бурятского населения. Ведь с середины XVII века западно-монгольские феодалы все чаще и чаще совершали опустошающие набеги на земли ангарских бурят. С вхождением последних в состав русского государства воинствующие кочевники поняли, что будут иметь дело с великой Московской Русью, которая разбила Золотую Орду.

Иркутск стал тем центром, который во многом определил пути дальнейшего освоения края, его социально-экономического развития.

Смелость, сметливость, повадка
Рыскать по стране,
Чистоплотность, ум, приглядка
К новой стороне;

Горделивость, мысли здравость,
Юмор, жажда прав,
Добродушная лукавость,
Развеселый нрав;
Политичность дипломата
В речи при чужом,
Откровенность, вольность брата
С истым земляком;
Страсть отпетая к природе —
От степей до гор,
Дух, стремящийся к свободе,
Любящий простор;
Поиск дела, жажда света,
Юной жизни кров,
Без предела и завета
К родине любовь;
Страсть отстаивать родное,
Знать: да что, да как?
Стойкость, сердце золотое, —
Вот наш сибиряк.

Иннокентий Омелевский

Отдаленная, сказочно богатая и огромная малоизведанная сибирская земля рождала фантастические рассказы, «свидетельства». Чего только не рассказывали и о самих сибиряках! Будто едят они друг друга, а на голове у них рога, что вместо стопы — чертовское копыто, что имеют третий глаз и клыки пострашнее кабаньих...

Сказки становились былями, легенды превращались в предания... Но даже много позднее, в XVIII, XIX и даже в XX веке было довольно расхожим нелепое и смешное утверждение, что по улицам сибирских городов медведи бродят, в избы заходят и кашу едят. Те, кто знакомился с краем не по слухам, старались рассказать правду. Вот и Семивский, автор книги «Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири, из чего многое доньше не было всем известно», изданной 170 лет тому назад, вынужден был написать: «...многие по сие время об Иркутской губернии думают, что она есть ужасная, не заселенная пустыня и земля как будто Богом отверженная, для житья одним только ссыльным и диким, не просвещенным народам определенная; как напротив того заключает она в себе неисчислимые выгоды, разительные красоты и неисчерпаемые источники различных богатств благодетельной природы по всем трем ее царствам; и несмотря на отдаленность ее от российских столиц и прочих внутренних губерний, сама в себе имеет города и селения, при самых выгодных и привольных местах расположенные и издавна очень хорошо устро-

енные, в коих жители, по истинной приверженности к христианской вере, по благонравию и неиспорченности своих нравов и по беспрекословному повиновению ко всем общепользным распоряжениям смогут почитаться для всех примерными.

Из всего вышеписанного явствует, что Восточная Сибирь, или Иркутская губерния, не есть ужасная пустыня, особенно в южной и средней ее части, где при благотворном воздухе, здоровом климате и при довольном народонаселении все служит на пользу человеку, и не только для безбедного, но даже и для избыточного его существования нет там ни в чем недостатка. Она поистине, между прочим, достойна того, чтобы все достаточные молодые люди из россиян, предприимлющие путешествия в чужие края, прежде того для любопытства и совершенного познания своего Отечества, проехали Сибирью по прекрасным, спокойным и безопасным ее дорогам... дабы собственными глазами видевши там во всем изобилии богатство и различные, не все еще описанные красоты природы, прежде отъезда своего из России могли быть уверены, что с нею, а тем паче с Сибирью по многим отношениям и преимуществам в избытке разного рода естественных произведений никакое иностранное государство сравниться не сможет; и что Россия в сем отдаленном и несправедливо называемом диким краю имеет такие пособия и неисчерпаемые источники богатств, каковых, так сказать, взятых всех вместе, никакое государство не имеет».

Славу Иркутскому рубленому городу добывали его жители. В повседневных трудах осваивали они землю, обживали тайгу, изучали реки, прокладывали дороги, строили Иркутск. Кто же они, первые иркутяне, откуда пришли в эту суровую страну?

Заглянем в писцовую книгу 1686 года. Воеводский служба самым до тошным образом составил «паспор» на каждого посельца Иркутска. «В Иркутском остроге на посаде двор, а в нем Спасской церкви поп Григорий Иванов...

В Иркутском же остроге на посаде двор, а в нем Спасской церкви дьячок Ивашка Терентьев... В Иркутском же посаде посадские люди: двор, а в нем посадский человек Якушка Псковитин; по скаске его родом он псковитин, был посадский же человек, из Пскова прислан в Енисейск по указу великих государей, а из Енисейска пришел в Иркутск и приверстан в посад при приказном енисейском сыне боярском при Дмитриии Аввакумове; годовой оброк платит 7 гривен, а как поверстан в посад, тому ныне 20 лет; жены и детей у него нет; пашенной же земли и сенных покосов у него нет же, а на рыбный де промысел посылает он, Яков, неводишки для домашней своей нужды, а коли случится рыбы продать, а он де, Якушка, с той рыбы платит в казну великих государей таможенную пошлину.

Двор, а в нем посадский человек Пахомко Сидоров. По скаске его родом де он московитин, присыльный человек, женат, детей у него нет, сенных покосов косит 5 десятин, сена ставит на том сенном покосе по 40 копен на десятине, а сенными де покосы владеет он, Пахомко, по иркуцким записным отводным приказной избы книгам; рыбных де ловель и птичих угодий у него нет.

Двор, а в нем посадский человек Ивашка Галактионов сын Рагозин; по скаске его родом он, Ивашка, устюжанин, а отец его на Устюге был государев пашенный крестьянин, а он де Ивашка с Устюга пришел в Иркутской гулящим человеком для свидания с сродичи своими и в Иркутску поверстан в посад тому ныне 15 лет; годового оброку платит в казну великого государя полтину. Детей у него: Степка 17 лет, женат, детей у него нет, пашенной земли и рыбных ловель и птичих угодий в даче за ним нет, сенных покосов косит по полудесятине 20 копен смежно с иркуцкими жителями по записным книгам».

По пять человек прибыло из Москвы и Устюга, четверо из Яренска, по три — из Пинеги и Соли-Вычегодской, двое из Енисейска, по одному из Мизени, Пскова, Усоля, Переславля Залесского, Усть-Цельма, Шацка. Числился и один «украинец».

Судя по документам, почти половина первых поселъцев была из «гулящих людей», бродивших по всей Московской Руси в поисках средств существования. Нередко правительство приказывало своим наместникам переселять в тот или иной населенный пункт сразу десятки семей. В 1697 году верхотурскому воеводе велено было послать в Иркутск пятьсот семей хлебопашцев. Из года в год появлялись и ссыльные, как правило, опальные приближенные царя, пленные солдаты и т. п.

Население города представляло собой сложную систему, в которой каждому поселънику отводилось определенное место. Каждый житель острога выполнял определенные функции и нес повинности.

Известный историк и общественный деятель П. И. Словцов делил всех поселъников на два «отдела»: свободных и податных. К первым принадлежали три сословия: духовенство, должностные трех степеней до приказного включительно и служилые казаки. Ко вторым относились крестьяне и ямщики «со своим поколением», посадские из промышленников, «окормившихся в городах и острогах», крестьяне, пришедшие в город по воеводскому вызову и переселившиеся самовольно.

Ядро населения Иркутска составляли казаки. В 1673 году их было 25, в 1681-м — 44. Служилое население росло постоянно. К началу XVIII века в городе уже было 428 служилых.

Появляются московские дворяне. В числе государевых людей 11 боярских детей, 4 подъячих приказной избы, 143 конных и 150 пеших казаков, десятников и пятидесятников, мельник казенной мельницы, «заплечный

мастер». Прибыли переселенные «в вечное житье» служилые люди из других городов — по 15 человек из Сургута и Туринска, да 26 из Верхотурья, 9 из Березова.

Вся тяжесть государственной службы — суд и расправа, сбор ясака, караулы и дипломатические поручения — лежала на казаках.

Люди духовного звания — ружники пришли в Иркутск довольно рано. В городе были свой поп, дьякон, два дьячка, пономарь, просвирница.

Главным административным лицом в остроге был наместник, или воевода, как правило, из числа боярских детей. Помните, как начинались челобитные письма к государю: «...енисейский сын боярский Якунька Похабов челом бьет...» Конечно же, он не был потомком московских, владимирских или новгородских бояр — знатнейших представителей русской аристократии. В Сибири в «сыновья» или «дети» боярские жаловались люди низших чинов за особое усердие и отличие в каком-нибудь полезном деле «в награду и другим в поощрение». Звание становилось наследственным, т. е. переходило от отца к сыну. Но обладатели его не имели практически никаких особых преимуществ или привилегий. В таком же положении находились и сибирские дворяне. Им не дозволялось иметь деревень, совершать крепости, покупать крестьян. В 1737 году в огромном крае находилось 76 сибирских дворян и 277 детей боярских. Любопытно, что сами московские дворяне всячески отмежевывались от своих сибирских «собратьев». Так, в 1767 году, когда стала работать Екатерининская комиссия, депутат Ярославского дворянства князь Щербатов заявил, что «сибирский дворянин не есть звание, а чин», и предложил для лучшего порядка управления учредить там постоянный дворянский корпус.

И боярские дети, и сибирские дворяне тоже использовались в основном «для посылок и служб» государевых. Они единственные были свободны от многочисленных податей и повинностей. Правительство внимательно следило за тем, чтобы служилое население пополнялось только за счет детей или лиц, принадлежащих к этому разряду.

У детей боярских и сибирских дворян был свой особый «подчинительный слой» — «задворные», «деловые» люди и половники. За определенное жалованье, вознаграждение они исполняли различные работы.

К податному сословию относились посадские и крестьяне. Последние делились на пашенных и оброчных.

В 1681 году Иркутский посад насчитывал всего 27 человек, а в 1698 году «посадских, жен посадских и их детей мужского пола» было уже 350.

К посадским же относились ремесленники, наемные работники, мелкие торговцы и «хлебные оброчники», которые хотя и жили в посаде, но занимались хлебопашеством и платили в казну оброк.

Среди посадских видим мы солеваров, винокуров, пивоваров и мельников.

Торговые люди делились на купцов, приказчиков и лавочных сидельцев. В самом Иркутске торговые люди, по мнению иркутского историка В. П. Шахерова, появляются к началу XVIII века. Основатели многих известных купеческих династий — Сибиряковых, Трапезниковых, Басниных — были выходцами с Русского Севера. Самые крупные купцы — «гости» — вели дело в Иркутске только через своих приказчиков. У приказчиков в подчинении находились лавочные сидельцы, которые и вели непосредственную торговлю. Последним подчинялись «работные промышленные люди». В эти первые годы развития Иркутска купцы были самой многочисленной группой посадского населения. В 1724 году только в Иркутске их проживало 2,5 тысячи человек, что составляло 80 процентов от общего числа жителей города. В 1775 году случилась страшная история. Правительство решило навести «порядок» в купеческих гильдиях. Все торговые люди, которые имели капитал менее 500 рублей, оказались в новом сословии — мещанском. Быть купцом в те годы было не только престижно, но и выгодно. Купец не облагался многочисленными налогами и подушной податью, рекрутской повинностью, казенными службами; а те, кто состоял в первых двух гильдиях, не могли быть наказаны телесно. После реформы в иркутских купцах осталось всего 77 человек. Зато какие капиталы складывались, какие фамилии засверкали на городском небосклоне — Мыльниковы и Солдатовы, Трапезниковы и Кузнецовы, Баснины и Сибиряковы, Дудоровские и Медведниковы... А какие дела воротили они, бывшие странники российских дорог, те, кто шел нередко с одной лишь котомкой и яростным желанием достичь в жизни высот известных. Они торговали с Китаем и Америкой, гоняли корабли и караваны в неведомые большинству российских купцов страны. Они имели собственные крупные компании на Тихом океане, в Русской Америке... Известно, что первое время именно иркутские торговые люди играли ведущую роль в Российско-Американской компании. 15 из 20 компаньонов ее представлено иркутянами!

Относительно самостоятельной группой городского населения были промышленники. Их основные занятия — охота, рыбная ловля, добыча соли, железной руды и слюды. Но и у промышленников хорошо заметно расслоение на «хозяев» и «рабочих». На низшей ступеньке промышленных людей стояли «покрученники», или «покручники». Они «покручивались», т. е. закабаляли себя в разные работы. Хозяин оплачивал их повинности в казну, кормил, давал небольшое вознаграждение.

Добирались до Иркутска «гуляющие люди» — городская и сельская беднота, бродячие ремесленники, скоморохи, крепостные, бежавшие от помещиков в поисках лучшей доли.

И, наконец, крестьяне, кормившие все увеличивающееся население города. В Сибири государством была заведена государева десятинная паш-

ня. Это означало, что вся земля объявлялась собственностью царя. Ее предоставляли крестьянину при условии, что он кроме своего поля обработает и государеву десятину. Она выделялась особым полем.

В отличие от пашенных крестьян, оброчные платили пошлину уже готовым продуктом — хлебом. Размер ее устанавливался так — четвертый сноп с «хорошого хлеба», пятый сноп со среднего, шестой с плохого. Но, как правило, в казну шло гораздо больше. В царствование Михаила Федоровича встречались крестьянские семьи, которые накашивали до 300 копен сена!

Со временем исчезают одни названия зависимых людей, появляются другие. Неизменной остается лишь суть — бедные и богатые, хозяева и служащие, правители и подчиненные...

С момента присоединения Сибири к Московскому государству и до конца XVII века, когда Иркутск получил статус города, прошло чуть более ста лет. Как же выглядели тогда иркутские «сибирянины»?

В одном из документов, датированном 1684 годом, можно найти такое описание сибиряка: «Черные волосы, серые глаза, скуловатость, татарковатость, слабая растительность на бороде». Появляется и своя особенность в одежде: «чулки по-сибирски».

На одежду шла ткань, которую производили в собственном хозяйстве. Конопля, лен, посконь, крапива шли на холст. Шерсть — на сукно.

Обувь, носки, рукавицы плели из конского волоса, использовались кожа, мех. Холщовые одежды наши предки называли волоконщиной или портяниной. Суконные — пониточиной или сермяжиной. Для зимней одежды применялись меха и кожи животных. Поселянки носили прямые рубахи, юбки или сарафаны, телогрейки или шушуны, передники-запоны; на голове — повойники, кокошники, платки, косынки.

Посельцы щеголяли в длинных рубахах, шароварах. На голове зимой носили чебак, весной и летом — колпак.

Очень любили «сибирянины» пояса. Были они тканые, плетеные и ременные. На поясе крепились нож, кисет и другие необходимые предметы.

Среди верхних одежд распространены были суконные халаты-однорядки, зипуны, шабуры, балахоны, шинели, армяки. Для верхней одежды считался обязательным кушак.

В холодное время надевали рукавицы — верхние и исподки. Верхонки делали из кожи, собачьих шкур мехом наружу.

Осталось упомянуть об обуви наших посельцев. Она состояла из оберток ног — чулок и собственно обуви.

Основными материалами для изготовления обуви служили кожа и мех. От местных жителей поселники заимствовали унты, пимы.

А вот описание более позднего времени. Его оставила русская писательница иркутянка Е. А. Авдеева-Полевая: «Жители Иркутска почти все

бреют бороду и стригут волосы, не носят русских кафтанов, и даже черный народ носит летом халаты, а зимою тулупы, крытые китайкою или нанкою; летом — круглые шляпы и картузы, а зимою шапки и меховые картузы.

Отличительный наряд женщин низших сословий — покрывало, которое они называют накидкою. Накидки бывают обыкновенно ситцевые; носят и каныватные, с золотом. Прежде были накидки каныватные рублей по сту; и теперь многие за стыд почитают выйти из дому без накидки. Обыкновенную одежду женщин из простого народа составляют рубашки с широкими рукавами и узенькими запястьями (у пожилых женщин бывает у рубашек высокий ворот и широкий воротник), юбка и душегрейка или шушун. Шушуну бывают разных кроев. Голову повязывают платком. Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки; платки были парчовые, глазетовые, тканые, с золотыми каймами, шитые золотом, битью, канителью; бывали платки по сту пятьдесят рублей; дома носили в достаточных и бедных домах бумажные вязаные колпаки. Ныне все молодые женщины, купчихи, одеваются точно так же, как и в столице. Кто придет прямо из Москвы или Петербурга, тот мало заметит разницы в одежде; зато его слух жестоко пострадает от тамошнего выговора.

В богатых купеческих домах женщины с давних времен подражали столичным модам, и нигде более, я думаю, не сохранились наряды прабабушек. В маскарадах встречаете роброны, фуру, на головах кораблики; мужчин видите в старинных французских кафтанах. На женские наряды употребляли прежде штоф французский, китайский, штоф по саржирону».

Население Иркутска растет. В 1700 году в городе проживало 726 человек мужского полу, через 22 года цифра приблизится к трем с половиной тысячам. В 1775 году перевалит за четыре. К концу XVIII века Иркутск становится крупным социально-экономическим, культурным и политическим центром Сибири. В нем живет десять тысяч иркутян, довольно значительное число по тем временам.

Теперь поговорим о праздниках, которые отмечали иркутяне. С чего начать? Конечно, с Нового года.

Как отмечается Новый год в наши дни, знает каждый. Ну, а что было раньше? Совершенно верно — ставили елку. Правда, есть сведения, что до 1850—1860-х годов праздник-елка (так называли в старом городе Новый год) был редкостью. А вот к концу восьмидесятых годов XIX века он прочно вошел в обычаи сибиряков. Новому году предшествовали рождественские праздники, начинались они 25 декабря с организации детских увеселений.

Вот что писали иркутские газеты об этом в 1888 году: «Как гласит хроника Иркутска, праздники нынешнего года начались также с детских вечеров и елок. Иркутские елки и детские праздники блестящи, оживленны благодаря множеству городских школ и значительному количеству учащихся

детей. Нам удалось видеть елку, устроенную для всех городских училищ, где собрались все дети городских школ, учителя и учительницы. Имея семейный характер, елка эта была для детей, конечно, величайшим удовольствием».

Нет ничего удивительного в том, что прежде всего Новый год с нетерпением ждали дети. Именно в эти радостные дни для них специально устраивали гуляния, ярмарки, театральные представления.

Перелистаем еще раз старые газеты: «2 января в Иркутском театре дан утренний спектакль для детей всех городских школ. Поставлены были сцены из «Ивана Сусанина» и «Волшебной флейты». До тысячи детей были размещены в театре...»

Кстати, на праздниках-елках богатые купцы делали пожертвования. Например, только А. К. Трапезников в том же 1888 году подарил 30 тысяч рублей для образования и воспитания детей и 35 тысяч на содержание городских школ.

Детские хороводы водили под «Елочку». Да, да, ту самую, что и сегодня предлагают спеть малышам.

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла...
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Песенка, стихи которой написала поэтесса Р. Кудашева, мелодию — музыкант-любитель А. Бекман, пришла к нам из той далекой поры.

Апогей праздника наступал 31 декабря. В этот день город был особенно красив. 31 декабря 1856 года, рассказывает «Иркутская летопись», «вечером старый год провожали, а новый встречали великолепной иллюминацией. Против дома генерал-губернатора Муравьева устроен был фейерверк в разных видах, вензель из плошек, и играла музыка; по всей Большой улице, начиная от берега Ангары и до речки Ушаковки, по обе стороны... улицы, поставлены были плошки и протянуты на подставках веревки, вышиною наравне с фонарными столбами; на этих веревках развешены были очень часто разноцветные фонари — около трех тысяч. Публичный театр был весь иллюминирован...»

С началом весны в городе устраивались народные увеселения. Строились качели, особые горки, «с которых можно было скатываться по деревянным рельсам в небольших колесных повозочках».

Впрочем, массовых, истинно народных развлечений явно не хватало. Об этом писал еще Семивский: «Кроме вторника на Фоминой неделе и последних дней на Сырной неделе, или Масленицы, публичных, или общенародных гуляний, по примеру прочих российских городов, в Иркутске никогда не бывает».

Еще об одном занятии горожан упомянул путешественник Вязовский. Ему бросилось в глаза, что «особенность иркутского центра — это скамейки на тротуарах, где иркутяне любят сидеть в свободное время».

Конечно, отмечались именины. Сегодня их нередко путают с днем рождения. В те времена каждому имени соответствовал святой. И вот в день празднования этого святого отмечались именины. В Иркутске, по рассказам Авдеевой-Полевой, это происходило так: «...утром пекли множество пирогов, сдобных, из простого теста, с вареньем, изюмом, черносливом, винными ягодами, с пшеном сарочинским, капустой, морковью и другими начинками. Пироги рассылались к родственникам по три и по четыре пирога; где были маленькие дети, то клали маленькие пироги по числу детей. Разносили и развозили их женщины. Вошедши в комнату, женщина молилась Богу, кланялась хозяевам и, поставив пироги на стол, просила пить чай к имениннику или обедать, как было приказано; потом отправлялась в другой дом. У кого было много родни, те рассылали несколько женщин с пирогами. Знакомых звали без отсылки пирогов. Вечером, когда приезжали гости, подавали вина, потом кофе (хотя и не вовремя) и чай; к чаю подавали женщинам каждой тарелку с разными пирожными».

Масленицу праздновали с блинами, катаньем по улицам на широких саних с ряжеными, шутами. Сани расписывали, устилали коврами. Кто мог, делал себе маску. В разгар праздника появлялась лодка с мачтой, в которой сидели потешники и ряженные. Она катилась на полозьях, запряженная шестью, а то и двенадцатью лошадьми. Настоящий карнавал. Однажды в одном городе мачта перепугала лошадей у полицмейстера, и старинный обычай — «плавание лодки» — был запрещен.

Масленичный кортеж свидетельствовал о знатности и богатстве участников. Те, кто имел капитал, строили огромные сани с насланным полом, беседкой. Здесь же сидели музыканты.

Именно таких участников Масленицы высмеивал фельетонист иркутской газеты, задавая вопрос: «Кому предстоит настоящая Масленица?» И давал злой и ироничный ответ: «Заседателю N-ского округа, добравшемуся до места и пустившемуся во все тяжкие свои мечты о наживе; Масленица горному исправнику X, подобравшемуся к золотопромышленникам; Масленица инженеру, получившему добрую командировку и заведшему тотчас же пару лошадей и модную камелию; Масленица торговцу, скупившему выгодно хлеб при повышении цен и ожидающему нагреть руки во время голодовки; Масленица аферисту, явившемуся с благотворительным проектом водоснабжения, когда глупая дума поддалась на его обольстительные речи и выкладки, а он положит десятки тысяч в карман, пустив вместо воды только пыль в глаза. Вот это Масленица!»

В самом начале XIX века в Иркутске были распространены вечерин-

ки, неперменной частью которых являлись танцы. Кроме традиционных русских, популярностью пользовался придуманный иркутянами танец под названием «восьмерка». Сибирский романист Иван Калашников оставил нам описание «восьмерки», при которой пары «становятся в кружок и потом, начиная с первой, вертятся по порядку, одна за другою: вначале первая со второю, потом с третьею, четвертою и так далее. После первой начинает то же вторая, там третья и все последующие, делая разные фигуры, как-то: крест, круг, плетень и т. п. «Восьмерка» есть танец самый продолжительный и утомительный, особенно при большом числе пар. Незадолго до настоящего времени она была в употреблении на самых парадных балах иркутских, и, бывало, какой-нибудь секретарь казенной палаты или заседатель земского суда, расфранченный по иркутской моде, со всею провинциальной ловкостью подбегал к оркестру и торжественно провозглашал: «Восьмерку!»

Кроме вечеринок, в городе устраивали многолюдные маскарады. Новый человек, прибывший в Иркутск, был бы чрезвычайно удивлен, услышав на бале-маскараде сплошной колокольный звон, который шел от пола... а точнее — от каблучков обуви. Именно в них были встроены колокольчики. Долгое время «поющие» сапожки были самой изысканной принадлежностью маскарадного костюма не только дам, но и кавалеров.

Были здесь и свои франты. Они носили разную обувь. Таким «щеголям» какой-то остроумный иркутянин дал прозвище «дже и фордуле и разные вакрантасы». «Дже» означало сапоги со стоячими голенищами; «фордуле» — голенища в виде мехов гармошки; «вакрантасы» — каблучки, набитые медными гвоздями... А в целом обувь — «черт-те что».

Герб — это условное изображение, являющееся символом и отличительным знаком государства, города, а в старину — рода или отдельного лица и отражающее исторические традиции владельца. Обычно герб составляется по правилам, принятым в данное время или в данной стране, и утверждается определенным законодательным актом.

В. Драчук

Живописец Станислав Лопуцкий еще и еще раз перечитал царский именной указ. В особенности эти несколько слов: «...на том знамени написать разных государств четырнадцать печатей в гербах».

Он кликнул своих учеников Ивана Безминова, Дорофея Ермолаева да Андрюшку Москвина, которого только-только приобщал к своему ремеслу. Прочел указ императора.

— Знамя гербовное государя Алексея Михайловича работать предстоит. Уяснили, отроки, смысл и величие, что содеять предстоит? — спросил учитель с необычной для него веселостью.

Иван и Дорофей молча переглянулись, пожав плечами. Знали, учитель не любит, когда «да» говорится слишком быстро, без обдумывания и сомнений. Еще бы! Их труды годом-другим не измерить. Десятилетия пройдут, а может, и больше... Больше Лопуцкий не загадывал, боялся сглазу. Хотя свято верил — и этих тысяч дней, мелькавших зимами и веснами, вполне достанет, чтобы их работу оценили по достоинству.

...Ученики ждали похвалы и одобрения — ведь видит учитель воочию плоды воспитания своего. Но на этот раз Станислав Лопуцкий не похвалил за терпение и выдержку. Казалось, учитель чем-то встревожен. Он быстро передвигался по палате, которая одновременно служила и домом, и мастерской, время от времени останавливался у начатых работ, что-то обдумывая, ища решения.

— Сейчас же и начнем, — совсем тихо сказал учитель и принялся готовить дорожную красную и белую тафту.

— Иван, займись красками и кистями, а ты, Дорофей, рисунками гербов. Подбери их, разложи, как сказано по указу. Андрей, около Дорофея будь, вникай, взором и умом охватывай — то наша первая заповедь.

Знал Лопуцкий страсть Ермолаева к геральдике. Не раз замечал, как тщательно подбирал Дорофей элементы будущих гербов, как долго просиживал над эскизами...

Дорофей разложил перед собой все гербы.

— Андрей, гляди, — подозвал он подростка. — В середине в кругу будет двуглавый орел под двумя коронами. В правой лапе скипетр, в левой — держава. В середину орла впишем всадника на коне, колющего змия. Теперь так. По правую и левую стороны в клеймах гербы новгородский, владимирский, казанский, киевский. Над орлом станет вид Кремля с надписью «Москва», а под ним поставим еще два герба — астраханский и сибирский...

Андрюшка вздрогнул.

— Ты чего? — удивился Дорофей.

— Брат мой старший в Сибирь ушел, год вестей нет. Поди, сгинул...

Он взял эскиз сибирского герба — две собаки или волка держат в зубах корону, а между лап у них лук и стрелы. Взглянешь на герб — кажется, все так просто, но Андрей уже знал, сколько сил затратит создатель, пока появится эта миниатюра. Ведь нужно было следовать особым правилам, собрать обширные сведения о местности, которой даруется этот особый знак. И здесь все важно, говорил учитель, — природные условия, ремесла и традиции, история и легенды.

Он наизусть помнил вопросник, который рассылался по городам Рос-

сии герольдмейстерской конторой, прежде чем приступить к составлению очередного герба: «Сколько давно и от какого случая или причины и от кого те города построены, каменные или деревянные или земляные, и от каких причин, какими именами названы, которых языков и в тех языках те речения не знаменуют ли какого сходства;

и каждого из тех мест каких родов скоты, звери и птицы всем имена, а особливо где есть род какой партикулярной;

и самые те места гористыя или равныя, болотныя ли или сухия, степныя ли или лесныя и плодовитым деревьям партикулярным наипаче какой род;

какова хлеба в котором месте болши родитца;

и те города на морях или на каких озерах или реках, и как их имяновали, и в них каких родов партикулярных наипаче рыб обилие бывает;

и огородных, и полевых, и лесных овощей и всяких трав и цветов чего где больше родитца;

и в которых местах какие народы живут: русския ли, или татарские, или иной какой нации и какова звания;

и который город взят осадою или войною (задачею или добровольным подданством, сочинением или установлением мира) или иными какими случаями, какие возможно сыскати...»

А еще Андрей знал, что геральдика не допускала существования одинаковых гербов. Вот почему и Дорофей, и учитель часто листают книги с изображениями знаков. Пытаются запомнить их, чтобы не ровен час самим не ошибиться.

Дорофей позвал его и молча протянул уже готовый рисунок герба.

— Иркутский рубленый город, — прочитал Андрей...

Именно так. В 1686 году возведенный в статус города, Иркутск через четыре года получает свой герб — особый знак.

В летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова сказано:

«...Герб города Иркутска высочайше пожалован первоначально 18 февраля 1690 года, а сего года 26 октября высочайше подтвержден. Он представляет в серебряном поле бабра, бегущего по зеленой траве в левую сторону щита и имеющего в челюстях своих соболя. Многие у нас разумеют сказанного бабра за бобра. Бобр (*castor liber*) — известное земноводное животное, шкура которого ценится очень высоко; а бабр (*lelis pantera*) — кровожадный, сильный и лютый зверь, живет в жарких странах. Он иногда забегает в Сибирь из Китая. Шкура его светло-желтоватого цвета с черными поперечными полосами, с длинным хвостом. Этот-то зверь и изображен на гербе города Иркутска и всей Иркутской губернии».

Скажем, что кроме герба Иркутск имел еще один особый знак — печать. В сибирских острогах печати появились вскоре после вхождения края в состав России. Ими накладывали «слепки на товары, пошлиною очищенные».

Иркутская городская печать своим изображением повторяла герб: «Печать в Иркутском серебряная, вырезано же: печать Государевой земли Сибирской».

Кроме того, особый знак, повторяющий городской герб, имели должностные лица — волостные старшины, городские головы, базарные смотрители. Но это произошло гораздо позже — во второй половине XIX века.

Нам, конечно же, интересно подробнее узнать о деталях иркутского герба, о том, что они символизируют. Заглянем еще раз в мастерскую Станислава Лопуцкого.

Дорофей посвящал Андрея в тайны геральдики.

— Запомни, Андрей, все гербы в основании имеют щит. Сия традиция испокон веков идет. От рыцарей. Щит может быть пяти форм — варяжской, итальянской, испанской, немецкой и французской. Для этого сибирского города Иркутска мы избрали последний. Серебряное поле — это вода. Географы и путешественники рассказывают о могучей реке Ангаре и Байкальском море. Соболь в зубах бобра — символ пушных богатств.

— А бобр? — спросил Андрей, рассматривая странного зверя, похожего на тигра.

— Бобр забегает в Сибирь из Китая. Зверь могучий...

— Наверное, им хотели показать силу города, обширность подвластных земель, богатства рек и тайги.

— Может быть, и так...

Оставим мастерскую художников и перенесемся в XVIII век. Перелистаем страницы удивительной, поистине волшебной книги, названной по имени автора словарем Даля. Известный русский собиратель, писатель и ученый, он раскрыл нам тайный смысл тысяч слов, которые сегодня не встретишь в обиходе. Вот что писал он о бобре: «Бобр — сибирский зверь, равняющийся по лютости и силе льву; тигр, полосатый, королевский, царский тигр...» Может быть, бобр в значении «царский тигр» был введен в печать и герб Иркутска не случайно? Может быть, именно так московский государь подчеркивал свою власть над новой «землицей»? Ведь геральдика всегда была спутницей дипломатии.

Нередко в старинных книгах, на сургучных печатях, которыми скрепляли документы, можно увидеть иркутский герб, увенчанный короной, — это символ императорской власти.

Кроме герба и печати, в Сибири, в том числе в Иркутске, был распространен еще один особый знак. На этот раз денежный.

Долгое время в Сибири «били» монету из «золотистой и сребристой меди». Она была разного достоинства: полушечная, десяти-, пяти-, двух- и однокопеечная.

Чеканка сибирских денег — результат политики императрицы Екатерины II, которая объявила край царством. Всего выпустили денег на пять

миллионов рублей. Запрещение чеканить монету с сибирским гербом относится к 1787 году.

История герба Иркутска продолжилась в 1995 году, когда был принят городской Устав. Городская дума обратилась в Государственную герольдию в Санкт-Петербург. Эскизы фактически нового герба были сделаны главным художником Иркутска В. Ким Кир Хо. После доработок эскизов герб был зарегистрирован под номером 132. Свой номер — 133 получил и флаг Иркутска.

Новый герб города был серьезно изменен по сравнению с историческим геральдическим знаком. Современный герб выглядит так: на зеленом поле земли изображен черный бабр, бабр теперь смотрит направо, а не налево. Голова зверя смотрит анфас, а не в профиль. Из герба удалили название города, которое значилось сверху. Бабр также изображается на городском флаге. Сам флаг представляет собой белое полотнище с голубой полосой.

После получения регистрационных грамот эти символы стали официальными знаками отличия Иркутска.

Иркутск есть город, который, особливо благодаря его обширной торговле, заслуживает внимания отменного. Он есть склад всего торгового дела сей губернии, исключая те товары, что, не попадая в него, идут из Якутска прямо в Енисейск... Иркутск, будучи теперь истинным центром сибирской торговли, будет распространяться паче и паче, и если можно проницать слабыми нашими взорами будущее, он по положению своему определен быть главою сильных и обширных области.

А. Н. Радищев

25 лет понадобилось Иркутску для того, чтобы из острога стать городом. Событие по тем временам исключительно важное, означавшее, что Иркутск приобрел особый политический статус, что его экономический, культурный уровень, административное устройство поднялись на ступеньку, вполне соответствующую его новому положению. После 127 лет воеводского управления, когда, как писал М. Ядринцев, «управление вверялось совершенно усмотрению воевод: «делати по тамошнему делу и по своему высмотру, как пригоже и как Бог вразумит», в Сибири вводится губернское правление.

В 1719 году громадный край делится на пять провинций. Иркутск становится центром одной из них. Он еще не свободен во всем, и его вице-губернаторы подчинены Тобольску. Но в 1764 году, после очередной адми-

нистративной реформы, когда указом Екатерины II Сибирь провозглашается царством, а провинции — губерниями, Иркутск уже числится губернским городом. Появились органы самоуправления — посадская община. Она выбирала городской магистрат, или ратушу, во главе которой стояли два бургомистра и четыре ратмана.

Первая ратуша открылась в 1722 году. Потом ее заменили магистратом, он ведал городскими делами до 1728 года.

Важную роль играл посадский сход, представлявший интересы торгово-ремесленного населения Иркутска. В его ведении находились слободы, сотни, гильдии и цеха. В слободах и сотнях избирались староста и сотники, в гильдиях и цехах — старшины. Слободские старосты следили за точным исполнением гильдейских решений, собирали различного рода подати, вели учет слобожан и т. п.

Посадский «мир» выбирал двух земских старост, в распоряжении которых находилась канцелярия — земская изба.

В состав исполнительного органа кроме старосты входили писчик, рассыльщики и два сторожа. Земской староста обычно являлся выходцем из купеческого сословия, ведь главная часть его обязанностей заключалась в регулировании торгово-экономической жизни города. Староста обладал немалой властью. К примеру, только он мог созвать посадский сход по решению магистрата «советоваться о мирских нуждах».

Нужд было немало: выборы должностных лиц, отбывание казенных служб, правильный расклад подушной подати, добывание денег по специальным указам правительства и оброка с лавок, торгов и промыслов. Все эти вопросы были жизненно важными для Иркутска и иркутян. Вот почему участие в мирском сходе считалось неременным делом для каждого взрослого мужчины.

Иркутск стал центром торговли и ремесла. Два гостиных двора на Тихвинской площади едва вмещали всех торговцев. В одном находилось 224 лавки, а в другом — 243. В 1778 году начали строить новый гостинный двор. Прежний обветшал, да и стал тесноват для Иркутска. С утра до ночи на главной городской площади — Тихвинской — царило оживление. Подъезжали новые и новые караваны с грузами. Случалось, в день здесь покупалось и продавалось товаров на полтора миллиона рублей. Сумма по тем временам колоссальная!

В. П. Шахеров сделал очень интересный вывод. Оказывается, в Иркутске очень рано сложился слой предприимчивых торгово-промышленных людей. Люди были под стать условиям. Рисковые, бывалые, изведавшие всего, они тянулись в этот город в надежде обрести славу и богатство, осесть навсегда, обзавестись семьей, домом... Их влекло и выгодное географическое положение Иркутска, и «ориентация на внешнюю торговлю с пограничными странами. Еще до официального признания его как города

к стенам Иркутского острога стали приходить бухарские караваны, — рассказывает В. П. Шахеров. — Самый большой, состоящий из 172 верблюдов, привез в 1686 году товаров китайских и бухарских на 2 тысячи рублей. К их прибытию в город съехалось столько торгового люда, что все складские помещения были забиты товарами. Из-за начавшейся в Монголии войны бухарские караваны перестали приходить в город, но с девяностых годов XVII века начинают формироваться первые торговые транспорты в Китай».

Как крупный торговый центр, Иркутск имел четыре выезда. Московский вел через тайгу и реки, через Каменный пояс в Европу. Заморский — в Забайкальские степи. Кругоморский — в Южное Прибайкалье, к знаменитому Китайскому торгу, в Монголию и Китай. Якутский простирался на север, в Русскую Америку, к Лене и Амуру, холодным морям и Восточному океану. В 1768 году в Сибири были официально учреждены ярмарки. «С этого момента, — считает В. П. Шахеров, — Иркутская ярмарка превращается в ведущую для всего Восточно-Сибирского края. Обороты ее быстро росли. В конце XVIII века достигли 3,7 миллиона рублей, что составляло 6 процентов от общероссийского ярмарочного оборота».

Иркутский гражданский губернатор Корнилов в любопытном сочинении «Замечания о Сибири», изданном в 1807 году, размышляя о положении Иркутска, отметил, что оно «весьма способствует коммерческим онаго оборотам со всею Восточною Сибирью. От полуденной страны все с китайских границ вымененные товары складываются в Иркутском каменном гостинном дворе; а от северо-восточной привозится туда множество пушного товара якутской и американской промышленности. В мое время купцы имели здесь до 400 капиталов, с которых взималась в казну подать, и, несмотря на затруднительную переправу чрез Байкал тамошних грузовых судов, иркутское купечество не токмо не теряло, но ежегодно умножало свои капиталы».

К 1726 году Иркутск занимает значительную площадь: от берега Ангары, где был построен острог, до Большой улицы. В нем два «города»: большой — центр торговли, ремесленников, где стояла полковая казачья изба, тюрьма, полицмейстерская контора, и малый — с его канцелярией, судебной палатой, вице-губернаторским домом и амбарами, местом, где жили лучшие люди Иркутска. 939 домов насчитывал город — цифра по тем временам и сибирским условиям немалая.

В 1744 году в Иркутске проживает уже 7 тысяч человек, а к концу века — более 10 тысяч.

К концу XVIII века насчитывалось около 60 улиц. Главной была Заморская. Она делила город на две части. Обе получили название по имени рек. Северная звалась Идинской стороной (река Ида), а южная — Ангарской стороной (река Ангара).

В Иркутске развиваются практически все ремесла, известные в России. В топографическом описании Иркутского наместничества 1791 года отмечалось, что горожане «наиболее обращаются в торговле пушных товаров и вместе с тем занимаются промыслом зверя, рыбы и ремеслами: иконным, плотничным, сапожным, кожевенным, шапочным, портновским, рукавичным, гребенным, свечным, пряничным, кирпичным, бочарным, котельным, чеканным, скорняжным, шерстобойным, мыльным, кузнечным и др.»

Вильгельм Лагус, биограф известного путешественника, ученого и промышленника Эрика Лаксмана, который долгое время жил в Иркутске, так описывает город конца XVIII века: «...подобно оазису в пустыне, лежащий близ Байкала Иркутск привлекал к себе торговые пути Азии, вместе с ними и людей различного восточного и западного происхождения, огромные капиталы и весьма оживленные торговые сношения. Народонаселение и богатство города возрастали с каждым годом; в нем уже было 20 тысяч жителей, 12 церквей, между которыми также и лютеранская, несколько училищ, библиотека, кабинет редкостей и театр, не говоря уже о банках, лечебницах и прочих обыкновенных публичных учреждениях. Вследствие чрезвычайной роскоши уже называемый сибирским Петербургом, Иркутск вместе с тем замечателен был своим гостеприимством...

Погруженный в материальные интересы, Иркутск не чуждался и литературных занятий...

Здесь жили естествовед Карамышев и весьма начитанный граф Мантейфель, здесь гащивали сплошь и рядом иностранные исследователи француз Патрен, корреспондент Палласа, и монголист Йерич, потом в 1786 и следующем году — Биллинг с своею большою экспедицией, в 1787 году — англичанин Ледьяр, в 1788 году — Лессеп, потом Сиверс...

Долгое время утверждали, что в промышленном отношении Иркутск был самым отсталым городом России. А ведь еще с середины XVIII века здесь действовали мануфактуры, которые с полным основанием можно назвать фабриками.

Стефан Иванов имел шелкоткацкую фабрику. Этим же делом промышленяли купцы Прокопьев и Глазунов. По указу Екатерины II из адмиралтейства в Иркутск отправился мастер прядильного ремесла.

Под иркутским парусом ходило большинство кораблей Байкальской флотилии, на Охотском море и в Восточном океане.

А Иван Шароглазов в предместье Глазково сам стал выращивать пеньку.

Крупным дельцом слыл и Михайло Сибирияков. Он открыл специальное полотняное производство.

«Братья гость Иван и купчина гостиной ситни Алексей Ушаковы» входили в число самых крупных хлебных, квасных, пивных, винных и банных откупщиков. Они владели пашнями и мельницами, солеварницами и со-

лодовнями. Товары их раннекапиталистических предприятий можно было встретить в самых крупных городах Сибири и Европейской России. В 1686 году Ушаковы отправились в Ярославль и наняли там шесть мастеров «на несколько лет для изготовления добрым мастерством против ярославского 14 800 юфтей кожи из расчета по две юфти кож каждому за день и обучения двух ушаковских людей своему мастерству отделки кож от золотения до окраски».

В 1688 году иркутский посадский Иван Штинников открыл мыловаренный завод. В 1695 году он ходил самостоятельным торгом в Китай. А вскоре его можно было увидеть во главе Иркутской таможни.

В 1750 году на левом берегу реки Ангары у устья Иркуты Прокопьев поставил стекольный завод, в 1768 году в Иркутске появляется вторая стекольная мануфактура.

В начале 1740 года появились в Иркутске братья Андрей и Алексей Курсины. Они стали проводить опыты по изготовлению из местных материалов фарфоровых изделий. Один из братьев специально отправился в Китай, чтобы узнать, в чем секрет знаменитого китайского фарфора. Основы производства иркутского фарфора были заложены. В начале XVIII века Алексей Евсеевич Полевой, отец будущих знаменитых литераторов, освоил производство фаянса в Иркутске. Через несколько десятков лет в Тальцах станут делать настоящие фарфоровые изделия. Пройдет еще немало лет — и в устье реки Хайтинки встанет завод, где получают фарфор изумительной красоты. Слава о нем разнесется по всей России.

Но как торгуют иркутские купцы и ремесленники, что за мысли рождаются в их голове, интересуются ли они еще чем-нибудь, кроме торга и денег? Вот несколько любопытных высказываний на сей счет.

Из «Описания Иркутского наместничества 1792 года»: «Товары получают из Москвы, от города Архангельского, а также с ярмарок Макарьевской, Ирбитской и Енисейской. Азиатские — из Китайского государства. И во все оные места отвозят для продажи пышные товары. Нет недостатка ни в виноградных винах, ни в водках, ни в сахаре, ни в чае, ни в сукнах, полотнах и материях. Легко можно достать всякую посуду: серебряную, медную, хрустальную и деревянную, масло, уксус, спирты, травы, краски и все почти, что только есть в Москве и Петербурге, только что не в равном качестве, количестве и цене».

М. Александров, посетивший Иркутск в 1827 году, оставил любопытные высказывания как раз по интересующей нас теме: «Тут продавалось все, кроме птичьего молока». Г. Н. Потанин: «Города Восточной Сибири отличались от городов Западной тем, что последние отвозили в Европейскую Россию громоздкие сырьевые материалы для заводской обработки, так называемый жировой товар и другие произведения сельской промышленности, тогда как города Восточной Сибири доставляли в Европейскую

Россию дорогие и удобные для перевозки продукты: золото, меха, чай... Купцы Западной Сибири со своими тяжелыми и громоздкими, но дешевыми товарами ездили сбывать их на ярмарку в Ирбит, купцы же Восточной Сибири приезжали со своими легкими для провоза, но дорогими мехами и чаями до Нижегородской ярмарки. Таким образом, иркутские купцы имели случай ежегодно проезжать на тысячу верст дальше на запад и очень близко подъезжали к столицам государства, особенно к Москве. Для усвоения если не духовной, то, по крайней мере, внешней культуры, иркутские отправители сибирских товаров были поставлены выгоднее, чем жители западносибирских городов».

А вывод Г. Н. Потанин сделал такой: «Поэтому иркутский купец — поставщик на запад элегантных продуктов востока: золота, соболей, чая. Томский купец отправляет кожи, сало, шерсть. Иркутянин — негоциант, томич — прасол. Негоциант ищет удовольствий в чтении книг, в беседе с учеными, путешествии с просветительными целями, выскочка из прасолов находит их только в удовлетворении своих животных потребностей».

Приведем еще один показательный факт, характеризующий роль и значение Иркутска в сибирской жизни. Когда в конце XVIII века в Москве была создана Екатерининская комиссия для составления проекта нового Уложения, в числе заседателей было 29 представителей Сибири. Иркутскую губернию, и главным образом Иркутск, представляли восемь человек.

Немногие города России так активно участвовали во внешнеполитической деятельности, как Иркутск. Он становится проводником русско-монгольских и русско-китайских экономических и культурных связей. В 1793 году существовал даже проект создания компании на паях местными купцами для развития этих контактов. «Составление каравана, закупка товаров, наем работников — все это должно было осуществляться в Иркутске. Компаньоны, пытаясь заинтересовать правительство, предлагали вывозить из Китая предметы, необходимые стране, главным образом драгоценные металлы и сырье для промышленных предприятий: золото, серебро, шелк, сырец, ревень, сахар и т. д. Предлагалась даже промышленная переработка некоторых видов сырья. Так, планировалось создание в Иркутске или близ него сахарного завода, для чего авторы проекта испрашивали государственной привилегии».

Иркутские купцы часто бывали в Урге. Они вели здесь обмен товарами, заключали сделки.

Золотой век для купечества наступил в 1762 году, когда отменили казенную монополию в кяхтинской торговле и разрешили торговать всеми видами пушнины.

В пятидесятых-шестидесятых годах XVIII века Иркутск, наряду с Москвой, Петербургом, Казанью, Киевом, Ригой, Харьковом, Калугой и Нижним Новгородом, входил в число важнейших городов России. Имен-

но тогда эти города считались главными торговыми, ремесленными и промышленными центрами страны, именно они снабжали Россию товарами местного и заграничного производства.

В 1769 году в Иркутске учреждается банковская контора. Вместо магистрата, ратуши в 1787 году открывается городская дума, призванная управлять общественными делами. Это стало следствием введения в 1785 году городского положения.

Что же нового приобрел Иркутск с появлением этого крайне важного и необходимого документа?

Прежде всего, расширился сам состав «общества градского», в который попали теперь все проживающие в Иркутске и имеющие недвижимость или иную собственность. Иркутяне получили право выбирать своего городского голову. Сам голова мог быть избран, если ему было не менее 25 лет и он обладал капиталом не менее 5 тысяч рублей. Все иркутское общество разделилось на шесть категорий. «Настоящими городскими обывателями» становились лишь те, кто имел собственность или недвижимость. Далее шли купцы первых трех гильдий. Затем шла группа цеховых ремесленников, затем иногородние и иностранцы, работающие в Иркутске. Пятую группу составляли именитые граждане, судовладельцы или люди свободных профессий с высоким образовательным цензом. И наконец, последнюю категорию иркутских поселцев составляли посадские, те, кто жил в Иркутске издавна. Такой крайне сложной и регламентированной системой представляется начальное самоуправление иркутского общества. Иркутян к моменту начала истории самоуправления было в городе немало по тем временам. В 1792 году в Иркутске проживало ни много ни мало — почти 9 тысяч человек обоего полу. Только в купеческих гильдиях значилось более 500 человек.

История же собственно городской думы началась с забавного курьеза. 1 января 1787 года состоялось торжественное открытие городского органа самоуправления. 17 января состоялось заседание общего присутствия думы. И вот тут все увидели, что вместо шести гласных избрано 20. Пришлось иркутянам провести первые в своей истории не только выборы, но и перевыборы. Вот он, первый состав Иркутской городской думы:

Настоящий городской обыватель Андрей Шалев, мещанин 1-й части Григорий Трушков, настоящий городской обыватель Петр Попов, купец 2-й гильдии Андрей Савватеев, цеховой Михайло Радионов, цеховой Алексей Фередгеров.

Первым городским головой стал Михаил Васильевич Сибиряков. Пмятным днем стало 19 января, когда из губернского магистрата гласные думы получили большую серебряную печать городского общества.

Работы у думы хватало. Она обязана была способствовать развитию торговли и заниматься благоустройством города, собирать доходы, сохра-

нять город от ссор и нерадивого поведения граждан... Всех обязанностей не перечить.

С появлением в Сибири М. М. Сперанского, который реформировал в том числе и управление городами, история Иркутской думы получает очередной виток — новый закон «Учреждения для управления Сибирских губерний и областей». Отныне все города делились на три категории — многолюдные, средние и малолюдные. Попад в категорию многолюдных городов, Иркутск получил и общественное управление, что называется, по полной схеме. Сама же функция думы была сведена к хозяйственной деятельности, но фактически она занималась всеми вопросами внутренней жизни города. 15 пунктов определяли функции думы. Сюда входили сиротский суд и опека, цеховая управа и городской суд, сбор налогов и надзор за маклерами...

Много других изменений и дополнительных дел ожидало Иркутскую городскую думу. Менялись названия должностей и структура этого городского органа управления. Главными функциями думы являлись регламентирование местной жизни, создание условий для развития городского хозяйства, для жизни и работы людей.

Население столицы обширной губернии постоянно увеличивалось. Время от времени происходили переписи — когда общероссийские, когда свои, местные. 15 января 1884 года в Иркутске прошла однодневная перепись населения. Когда подвели итоги, оказалось, что в Иркутске проживает 36 117 душ обоего пола, в том числе 19 488 мужчин и 16 629 женщин. Но перепись давала не только представление о количестве населения, данные ее говорили о вероисповедании, образовании иркутян, характере недвижимости. Иркутский летописец Н. С. Романов приводит такие данные: «По вероисповеданию жители распределяются: православных — 89,58 процента, евреев — 5,25 процента, католиков — 2,37 процента, магометан — 1,43 процента, лютеран — 0,53 процента, шаманствующих — 0,34 процента, старообрядцев — 0,29 процента, ламаистов — 0,16 процента, армяно-грегориан — 0,04 процента, англиканского исповедания — 2 женщины.

По сословиям: мещан и цеховых — 37,29 процента, крестьян — 15,6 процента, поселенцев — 9,13 процента, солдат служащих — 7,85 процента, чиновников служащих — 4,36 процента, отставных — 2,15 процента, дворян — 3,98 процента, казаков — 3,96 процента, купцов — 2,96 процента, почетных граждан — 0,6 процента, духовенства — 1,81 процента, офицеров служащих — 0,62 процента, отставных — 0,2 процента, иностранцев — 0,88 процента, иностранных подданных — 0,27 процента, политических ссыльных — 0,26 процента, лишенных всех прав состояния (в тюрьме) — 0,84 процента, лиц, не принадлежащих ни к одному из перечисленных разрядов, — 1,06 процента.

По возрасту достигших преклонных лет: от 70 до 100 лет — 113 мужчин и 325 женщин, 100 лет — 1 мужчина и 3 женщины, 106 лет — 1 мужчина и 109 лет — 1 женщина. По образованию окончивших курс:

	К общему числу, %	
	мужчин	женщин
В высших учебных заведениях	0,95	0,05
в средних	2,55	1,86
низших	6,4	2,8
учащихся	9,7	6,6
малограмотных	22,63	10,87

Следовательно, грамотных 32,2 процента общего числа населения».

Вот такие любопытные сведения дала перепись 1884 года.

Сто лет понадобилось Иркутску, чтобы войти в число лучших городов России. Титул стольного града Сибири закрепляется за ним прочно. Путешественник М. Геденштром, побывавший здесь, издал позднее книгу «Отрывки о Сибири». Есть в ней такие строчки: «Иркутская губерния — обширнейшая в Сибири и во всех отношениях возбуждает большие внимание и любопытство. Зная ее, остальная Сибирь представляется уже во всех предметах в виде знакомом». Немало порадел для этого город Иркутск.

2007

Начинается рассказ

...по всему тракту не слышно, чтоб у проезжего что-нибудь украли. Нравы здесь в этом отношении чудесные, традиции добрые...

А. П. Чехов. Из Сибири

Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск. Томск гроша ломаного не стоит, а все уездные не лучше той Крепкой, в которой ты имел неосторожность родиться. Обиднее всего, что в уездных городишках есть нечего, а это в дороге уж как чувствуется!

А. П. Чехов. Из письма брату Александру

Иркутск — превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы... Нет уродливых заборов, нелепых вывесок и пустырей с надписями о том, что нельзя останавливаться... В Иркутске рессорные пролетки. Он лучше Екатеринбурга и Томска. Совсем Европа.

Вчера ночью совершил с офицерами экскурсию по городу. Слышал, как кто-то шесть раз протяжно крикнул «караул». Должно быть, душили кого-нибудь. Поехали искать, но никого не нашли...

А. П. Чехов. Из письма сестре Марии

Чеховские впечатления, хотя и мимолетные, как у всякого путешественника, рисуют Иркутск конца XIX — начала XX веков городом особенным, интересным и привлекательным. При ближайшем же рассмотрении он оказывался еще более разноликим, колоритным и неожиданным. «Все флаги к нам» — это и про него сказано. Здесь можно было встретить прибывших явно или инкогнито российского великого князя и индийского раджу, богемского графа и сербского королевича, испанского гранда и китайского мандарина; не в новинку были немецкий академик и итальянский комедиант, французская балерина и бель-

Ротенфельд Борис Соломонович (25 февраля 1938 — 5 марта 2007, Иркутск), прозаик. Член Союза российских писателей. Автор книг «Польская кукла», «Эти встречи с оттенком печали», «Трое в королевстве заводных человечков» и др.

гийский велосипедист, знаменитый российский поэт и не менее знаменитый российский тенор, безвестные украинские лирники и бурят — рисовальщик-самоучка, предлагавший по дворам свои услуги... Здесь были польская, греческая, грузинская, еврейская, армянская общины, итальянский, японский и другие консулы; не случайными, а вполне естественными выглядели и парижские туалеты, и сибирские валенки, нежная поэзия соседствовала с суровой прозой; вечерами могли одарить оперой или балом и огреть по шее, отняв кошелек...

Во всем этом ничего удивительного не было. Иркутск был сибирским (точнее — европейско-азиатским) перекрестком, через который все протекало, оставляя свой след — посольства и экспедиции, войска и торговые караваны, путешественники и комиссии, кандальники и сановники. Никто — ни пеший, ни конный, ни вагонный — не мог минуть город; через него шел единственный путь на восток, трактовый и железнодорожный. Так что удивляться ничему не приходилось — в том числе и разностилю самого города. Нарядные магазины на Пестеревской (ныне Урицкого), европейские гостиницы на Большой (ныне Карла Маркса), respectable банки, блестящие театры и общественные собрания и... публичные дома на Подгорной (название не изменилось), безуспешно выселяемые городской думой с глаз долой, подальше, масса питейных заведений (тут не выселишь, тут, напротив, поощрять надо — акциз в казну) и разлитая грязь, временами (весна — осень) неодолимая, в самом центре города. Через безбрежные лужи, деловито сообщает хроникер, «мужики за 3 копейки перетаскивали дамочек и детей на спине». Но в другом месте он (между прочим, человек серьезный — городской библиотечарь Нит Романов) не сдерживается и потешается вовсю — потому как не потешиться невозможно, картина того достойна. «30 июля ночью был большой дождь, а утром на Пестеревской улице открылась навигация. В 8 часов утра при значительном стечении публики на юго-западном берегу Пестеревского моря против магазина Авдановича происходил спуск только что отстроенного судна (маленький плотик, сколоченный из дощечек товарных ящиков, с водруженной на нем мачтой и флагом). В качестве пассажира на судне сидела привязанная за хвост к мачте крыса. Владелец судна — местный торговец из лавки Кармацких. За порядком наблюдал городской, бляха № 59».

Народ, как видно, в Иркутске был веселый.

Что касается питейных заведений («ренсковых погребов, трактиров, портерных лавок»), то их в городе было более двухсот — на пятьдесят тысяч населения. Однако не надо думать, что город только пил и веселился. Он более всего учился и работал. На те же пятьдесят тысяч населения приходилось 58 разных школ, в которых училось 5 тысяч мальчиков и девочек — каждый десятый житель. Училось бы и больше, охота была, да мест не хватало, «многим, — свидетельствует тот же хроникер, — отказывали».

«Как Англия создала Лондон и Франция — Париж, — писал известный публицист Николай Шелгунов, — так Сибирь создала Иркутск. Она гордится им, и не видеть Иркутска значит не видеть Сибири».

В Иркутске была резиденция генерал-губернатора (чья власть некогда простиралась до самой Русской Америки), Иркутск был столицей Восточной Сибири и одним из главных центров империи на востоке страны. Не случайно сюда прибывали видные царские министры (в том числе выдающийся реформатор Сергей Юльевич Витте), не случайно все, что происходило в державе, непосредственно задевало, а то и целиком захватывало город. С этого, обозначенного пунктиром, кратко, но весьма существенного для жизни не только материальной, но и духовной, культурной периода, мы, собственно, и начнем обозрение первых десятилетий XX века — до переломного и трагического 1917-го...

«Музыка в камне»

Классическое определение «архитектура — это музыка в камне» вполне применимо к Иркутску, хотя каменным был в основном центр, да и то не весь. Город оставался (и теперь отчасти остается) по преимуществу деревянным. Дерево (брали сосну, лиственницу, иногда кедр) — прекрасный, живой, податливый, теплый материал, из него можно и крестьянскую избу поставить, и царский дворец возвести и изукрасить; все бы хорошо — да горит. Полчаса-час — и одни головешки и от избы, и от дворца. Пожары были сущим бедствием Иркутска: каждый год — десятки, убытки — сотни тысяч рублей. Строили тогда из сухого, выдержанного дерева, а не из сырого, как нынче, и горело оно лихо, особенно по ветру; огонь перебрасывался от дома к дому — целые кварталы выгорали. В страшный пожар 1879 года, как свидетельствуют «Иркутские губернские ведомости», выгорело 75 кварталов; 105 каменных, 3038 деревянных построек, торговые и казенные — все подчистую; город долго не мог оправиться от этого бедствия.

Спасаясь, возводили брандмауэры — высокие каменные стены между домами (некоторые видны и нынче) — чтобы огонь не перелетал на соседние усадьбы; в центре все более появлялось каменных зданий. Причиной, конечно, были не одни пожары, главное — город богател. «Иркутск был торгово-финансовой столицей Сибири, — пишет историк архитектуры. — По количеству населения и облику центра Иркутск не уступал многим городам Европейской России...»

Городской театр, в который мы ходим и поныне, здание Русско-Азиатского банка (угол нынешних Маркса и Ленина, теперь поликлиника), здание Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества (ныне — краеведческий музей), Базановский воспитательный дом (угол

нынешних Ленина и Свердлова, глазная клиника мединститута), губернская мужская гимназия (теперь — художественный музей), общественное собрание (потом театр музкомедии), дом углепромышленника Кузнецца (так до сих пор и называют «дом Кузнецца», не ведая, правда, что это был за «кузнец»), Казанский собор и польский костел на Тихвинской площади (ныне — площадь Кирова) — все это действительно «музыка в камне»; ничего более интересного и значительного в последующие сто лет, пожалуй, и не появилось. В стилях была, так сказать, демократия, точнее — смешение: как и вообще в сибирской жизни, все мирно уживалось и создавало некий особый, иркутский колорит, чувствуемый и поныне. Тут и восточные, и западные мотивы, и русский стиль, и даже мавритано-романский (Базановский дом и здание ВСОРГО), но более всего, по словам специалиста, «модерн, нашедший широкое распространение во всей мировой и русской архитектуре того времени».

Не случайно Чехов обронил: «Совсем Европа». Правда, чем дальше к окраинам, тем «Европы» становилось все меньше и меньше, пока не сходила на нет. «В Глазково, — сообщает хроника под 1916 годом, — ...764 дома и 460 флигелей, из них 24 каменных, 1172 деревянных, 15 полукаменных, 3 глинобитных, 5 землянок...»

На таких полюсах жил город (впрочем, как и другие сибирские города). Заезжие путешественники и гости отмечали, конечно, более всего один, хотя от них особо ничего не скрывали (и министры, и великие князья, и сам наследник-цесаревич навещали и тюремный замок, и больничные бараки, и бараки для переселенцев, и богадельни). Но всякое большое дело, как гору — и в этом есть некая справедливость, — венчает вершина, по ней судят. Так что по вершинам и последуем. Не забывая, однако, и подножье...

«Молебствие в большом фойе...»

Мы говорили о пожарах; не раз горел и городской театр — был деревянный. В конце концов генерал-губернатор — это был Горемыкин Александр Дмитриевич, несмотря на фамилию, много доброго сделавший для Иркутска и всей Восточно-Сибирской губернии, — собрал купцов и промышленников и предложил построить каменный театр (в летописи запись: «на деньги, собранные Горемыкиным, построен городской театр»; из казны не взяли ни копейки). На проект объявили конкурс; выиграл известный архитектор, петербургский академик Шретер. 30 августа 1897 года театр, освященный «святой водой» («Молебствие было в большом фойе при этом Харлампиевской церкви»), торжественно открыли. Он стоит уже второе столетие, мы любимся и ходим в него и по сей день...

Назавтра после открытия, 31 августа, давали уже первый спектакль —

«Ревизор» Гоголя, вторым был «Лес» Островского, затем нам неизвестные — «Родина» Зудермана, «Господа Арказановы». Труппа обычно была смешанная; играли и отдельные антрепризы — оперная и драматическая. Играли много. Вот, к примеру, 20 февраля 1900 года в городском театре закрылся очередной сезон; как правило, сезон длился шесть месяцев (с августа-сентября по февраль-март). В этот за 174 дня показали 179 спектаклей — 122 драматических, 56 оперных и один сборный. Оперы классические, нам известные — «Демон», «Аида», «Русалка», «Пиковая дама», «Фауст», «Риголетто» и т. д. У театра и горожан были свои пристрастия: если «Демона» слушали восемь раз, то «Африканку» всего два... Драмы были современные, нам неизвестные — «Новый мир», «Джентельмен» (тогда было именно такое написание), «Потонувший колокол», «Золотая рыбка», «Нена Саиб»...

Труппы, даже общие, оперно-драматические, были невелики (20–25 актеров с режиссерами и художником-декоратором); работали, говоря по-нынешнему, на износ. В описанный выше сезон представили 18 опер и 37 драматических пьес. Так было почти в каждый сезон — даже во время войн и революций. Лишь кое-что менялось в тактике театра и настроении зрителей — в зависимости от текущего момента. Если обычный сезон могли начать бытовой драмой «Каширская старина» и комедией «Джентельмен», то в русско-японскую войну начали патриотической оперой «Жизнь за царя»... Слушались — опять же в зависимости от момента — и инциденты. В революцию 1905 года, например, во время представления оперы «Черевички», никак не возбуждавшей публику, пролетариат с галерки поднял шум и затребовал играть «Марсельезу»... Еще веселее было, когда на представлении опять же нейтральной пьесы «В старом Гейдельберге» кто-то крикнул: «Смерть всем!» Наэлектризованная революцией публика ударилась в панику...

Все это бесстрастно (а иногда и страстно, дальше увидим) фиксировал все тот же городской библиотекарь Нит Романов. Согласно его летописи, городской театр не был единственным. Спектакли давали в Интендантском саду («новый театр на 500 человек зрителей»), театре Гиллера, в общественном собрании. Диапазон был великий — от итальянской оперы под управлением братьев Гонсалес до любительских постановок; ставили и дети — ученики гимназий и духовных училищ. Театр, судя по всему, был искусством массовым.

А вот недавно изобретенное кино — пока нет, по слабости прежде всего технической: «картины выходили неясно». Но и тут дело стремительно двигалось: к 1905 году на Большой было уже пять «электроиллюзионов», а знаменитый Дон Отелло снимал на «кинематографическую ленту» маневры пожарных частей... Съемка не была случайной — присутствовал губернатор. Все как всегда — где губернатор, там и репортеры...

Не забудем о цирке, который любили все — и малые, и старые, и бедные, и богатые. Цирк, как и театр, неоднократно горел и так же неодно-

кратно возрождался, как Феникс из пепла. В цирк влекли звери, клоуны, но более всего — «международные чемпионаты французской борьбы». В один из таких «международных» чемпионатов (1908 год) призерами были гг. Мартынов, Арендский и Аксенов... Между прочим, в 1912 году был даже «дамский чемпионат французской борьбы». Нынче такие экзотические соревнования подаются как новинка; оказывается, уже было — почти сто лет назад...

Надо вообще заметить, что тогдашние иркутяне, как и древние римляне, были большими охотниками до всяких зрелищ. В театральный сезон 1906–1907 года (замечу — революция) было дано 208 оперных представлений. А в суровый 1916-й (война), как свидетельствует Романов, «за полгода иркутяне сделали 584 345 посещений различных зрелищ, истратив на них 365 923 рубля (на долю иллюзионов и скейтингов — 395 515 посещений на сумму 155 975 рублей)». Наверное, стоит пояснить, что такое скейтинг (или скейтинг-ринк): это площадка со специальным твердым покрытием для фигурного катания и хоккея на роликовых коньках.

Но следуем дальше.

«Культурные оазисы» и бабочки-однодневки

Много лет назад в редком фонде университетской библиотеки я листал амбарную книгу, куда Романов заносил свои заметки и воспоминания. «Иркутск, — записывал он, — не в пример другим провинциальным городам счастлив в смысле книгообогащения, он имеет особые благоприятные условия для этого». Одним из таких условий было наличие... барахолки, на которую «особенно после соединения города (1898) рельсовым путем с Европейской Россией» выбрасывалась «масса книг... от первопечатных и рукописных свитков (1630) вплоть до изданий «Просвещения», Брокгауза, Маркса, «Скорпиона», «Орфея», «Логоса»... «Иркутская барахолка, — заключает Романов, — представляла собою с 80-х годов культурное гнездо. Культурными оазисами города, кроме некоторых купеческих домов, имевших собрания книг и выписывавших газеты и журналы, можно считать городские библиотеки и библиотеки учебных заведений».

Основными поставщиками книг были купцы, привозившие их с ярмарок, и букинисты, «незаметные культурные проводники книги в массу». О купцах, букинистах иркутской барахолки можно сложить поэму; пока лишь, вслед за Романовым, почтительно, как и он, перечислю главных иркутских букинистов того времени: «Лужин Дмитрий Иванович, лавка на Арсенальской улице, Равский Станислав Петрович, Бондаренко Кирилл Иванович, Селезнев Петр Васильевич, Никитин Иннокентий Елисеевич, Хлебный базар, Горшунов Иван Антонович, Хлебный базар, Бондаренко Александр Кириллович, Хлебный базар, Куторгин Василий Егорович, Ман-

дрыченко, Грачев Георгий Иванович, Игнатьев...» «История культурного развития Иркутска, — записывает Романов, — не должна забывать этих скромных слуг печатного слова. Миллионы книг прошли через их руки...»

Сухое перечисление, как я уже заметил, и само по себе может быть интересно; в нем воздух времени, его знаки; но, прибегая к перечислению лиц, я еще каждый раз надеюсь, что кто-то из нынешних иркутян найдет свою фамилию (или фамилию знакомых) и двинется на поиски; мы ведь плохо знаем свою родословную... Между тем ничто в мире не теряется, не пропадает. Передвигаясь, к примеру, по романовской летописи, я то и дело находил там фамилию Патушинских, благородных присяжных поверенных, врачей и общественных деятелей; и тут же вспоминал, что еще не так давно водил дочь к Ольге Васильевне Патушинской, тоже человеку благородному и прекрасному, отзывчивому врачу...

Но это к слову, надеюсь, читатель простит мне нечаянный лирический всплеск, нарушивший строгое документальное повествование. Продолжим о книгах и книжной торговле. Начавшись со случайных эпизодов, барахолки и лавок букинистов, она постепенно набирала обороты, появились специальные книжные магазины. Сначала магазин Жигаревой на Амурской (нынешняя Ленина), это было в самом конце 1874 года, затем магазин Захарова на Пестеревской, магазин учебных пособий Воронина («имелись в продаже книги»), магазин Гавриловича, магазин Российского библейского общества (на Большой), магазин Кадес и, наконец, магазин Макушина и Посохина, его книжник Романов считал «главным магазином... который со дня открытия и до настоящего времени ведет свою культурную работу». Как и другие специальные книжные магазины, он располагался в центре, на Большой (где теперь магазин «Цветы»), и имел «все вновь входящие книги», магазин Макушина и Посохина держался и после октябрьского переворота, но в конце концов в 1920 году «перешел Сибкрайиздату».

Теперь о библиотеках и читальнях. Их было множество — от городской (как бы теперь сказали — центральной) до библиотеки-читальни церковного братства, библиотеки учительского общества, библиотеки общества взаимного вспоможения приказчиков и даже подвижной библиотеки Забайкальской железной дороги... И у каждой находилось немало читателей. Как сообщает Романов, только в одной (видимо, городской) библиотеке в 1907 году «пользовались книгами 11 089 человек». Это при населении всего в девяносто тысяч! Можно предположить — и вряд ли это будет преувеличением, — что в библиотеки обращался каждый шестой-седьмой иркутянин. При таком раскладе нынче в городе должно быть около ста тысяч читателей...

Широко были распространены и пользовались большой популярностью народные чтения. Вот опять романовская цифирь. В 1914 году общество народных чтений, имея 7 аудиторий, провело 146 чтений «при общем

количестве посетителей в 12 360 (3575 мужчин, 3596 женщин, 5089 детей)». А на окраине, в поселке Иннокентьевском (ныне — второй Иркутск), «за год было устроено 32 чтения, которые посетило 9202 человека». Получается, на каждое из таких чтений собиралось человек по 300. Нынче подобных собраний я не видел и о них не слышал...

Книги для читален, общественных и частных библиотек привозили, как было уже замечено, из Европейской России; но выпускали в небольшом числе и на месте — типографскому делу в Иркутске было более ста лет. Так, в 1911 году вышла «Иркутская летопись» Пежемского и Кротова, дополненная Серебренниковым, а в 1914-м — «Иркутская летопись 1857–1880 гг.» Н. Романова; выходили также — и не раз — даже литературные опыты учеников разных гимназий. С типографиями, как и теперь, были связаны газеты и журналы. Они появлялись, как бабочки по весне, с переменой погоды исчезали, вновь появлялись; особенно много — в дни революционного подъема и неразберихи, когда слабела власть и цензура. В 1906 — начале 1907 годов выходили: «Молодая Сибирь», «Восточный край», «Сибирская речь», «Сибирская заря», «Торгово-промышленный листок», «Сибиряк» (орган Русского собрания), «Листок Иркутского отделения партии мирного обновления», «Сибирь», «Сибирские театральные известия», журнал «Балагур», затем «ежедневная газета «Словцо», «Сибирский альманах» («еженедельный иллюстрированный с картинками в красках журнал») и даже (это уже 1912 год) экзотическая газета «Запорожец с востока», «изданная губернским механизмом Левицким». Опомнившись, вновь войдя в силу и разбираясь в этом половодье, власти принялись быстренько прикрывать наиболее неудобные, мешающие общественному спокойствию: «На № 111 закрыто распоряжением генерал-губернатора «Сибирское обозрение», на 17-м номере «прекращена администрацией «Восточная Сибирь», на 57-м номере закрыта «Сибирская газета»...

Не могу не заметить некоего сходства с нынешней нашей ситуацией — конца XX — начала XXI веков. Цензура исчезла, власть ослабла — газеты расцвели; власть крепнет — они отцветают, некоторые сами собой, как при естественном отборе, некоторые — не очень естественно, не без помощи администрации... В общем, история движется кругами, точнее — по спирали, забираясь все выше и выше, но при этом повторяясь — лишь в иных декорациях...

И еще к этому — опять же повторяющийся, вечный мотив хорошо забытого старого: тогда уже выходили и «Иркутская газета-копейка», и «Газета бесплатных объявлений», и справочник «Иркутск в кармане», гастролировал музей восковых фигур и т. д., и т. п.

Переходим к музыкальному моменту.

«Сибирский вальс»

Про оперу уже сказано, отчасти — и про гастролы. Кроме великого Собинова, в Иркутске пели артисты императорских театров Александр Давыдов и Рудольф Бернарди, Ленчевская из варшавской оперы, а также «русский народный певец А. П. Карагеоргиевский с капеллой», «пианистка-композиторша Агда Стенрос Макриди» и виолончелист Адриан Вербов. Отмечено также появление оркестра Забайкальского казачьего войска под управлением Зубковского «за плату 1150 рублей в месяц» (корова стоила 30 рублей) и двух лирников-странников, «поющих на улицах печальные песни полудуховного содержания». Для детей были открыты несколько частных музыкальных школ. Вся эта жизнь не прекращалась и в разгар мировой войны — «в городском театре «вечер пластики» исполнительницы пластических танцев г-жи Тины Ар», там же — вечер «балерины императорских театров О. О. Преображенской и тенора А. Д. Александровича»...

А «Сибирский вальс» и «На Ангаре» — композиции местного автора И. А. Бородина, тоже служившего когда-то в императорском театре. Ноты этих композиций поступили в продажу 10 июня 1908 года, что занесено в романовскую летопись; видимо, событие нерядовое. Рядовыми были музыкальные вечера — в общественных собраниях, в гимназиях и училищах, в частных домах и салонах. Музыка звучала в дни массовых гуляний в садах и парках — там гремели военные оркестры и оркестр пожарной части. В нерадостные же, смутные дни вальсы утихали, подъем духа должны были обеспечить торжественные революционные или патриотические марши...

Отправляемся теперь к художникам и в музеи.

«Было 20 088 посещений...»

Оргсобрание Иркутского общества художников прошло 15 февраля 1915 года. Но художественные выставки открывали в немалом числе и до этого: за 16 обозреваемых лет — около тридцати. В основном местных авторов (Богословского, Шешунова, Верхотурова, Кузнецова, Шабалина, лейтенанта Белкина и других профессионалов и любителей, в том числе и учеников мужской гимназии); но были и питерцы, и москвичи, и томичи (особенно полюбившийся иркутянам Вучичевич), и даже французы. Выставки проходили не только в музеях и галерее Сукачева, но в общественных собраниях, гимназиях и училищах и даже в музыкальных классах и имели немалый успех. Одну посетило 1000 человек (всего за неделю), другую — 2000, третью (в галерее Сукачева) — аж 3346; «чистой прибыли 300 рублей, 510 рублей, 727 рублей 18 копеек» (считали тогда точно — действительно до копейки). Благополучными, однако, художники, как и ныне, не были — «тяжкие обстоятельства губили талант». Романов рассказывает

про художника-самоучку Васильева, «крестьянина усть-балейского селения», который в молодости был на выучке у декоратора театра Доброва и имел прирожденные способности к пейзажу; однако скончался от чахотки, болезни бедняков, на следующий день после открытия на Тихвинской площади своей, видимо, первой и единственной выставки... Рисованию, как и нынче, учили в гимназиях и училищах, но не в пример нынешнему серьезно и основательно. Учили и в частных школах — взрослых и детей. Причем в технике разнообразной — не только акварелью и масляными красками, но и углем, карандашом, пером, и еще живописи по стеклу, атласу и фарфору. Плата в этой «рисовальной школе» была умеренная — всего три рубля в месяц.

Влекли иркутян и музеи. Вот цифирь: в зиму 1906–1907 года «было 20 088 посещений (10 964 мужчин, 3959 женщин, 5102 мальчика, 2760 девочек)». Такому увлечению (и такой скрупулезной статистике) сейчас можно только позавидовать. А ведь по сравнению с началом XX века город вырос с семь с лишним раз и сидит на точнейших компьютерах...

Впрочем, чтобы картина не была однобокой, заметим, что и тогда Иркутск жил разной жизнью, не только красивой и высоко духовной. С одной стороны — оперы, выставки и балеты, с другой — портерные лавки и дома под красными фонарями, жульничество, разбои, грабежи, нередко и среди бела дня. «Оперирует шайка», сообщает Романов, которая снимает у извозчиков колеса с резиновыми шинами (тогдашним дефицитом) и «...предлагает их выкупить». И в другом месте, под 1915 годом: «Январь. В бакалейных лавочках прибегают к выделке из денатурированного спирта особой «сибирской» водки под названием «гымырка»...

Что-то слышится родное, нынешнее...

И все же, все же... Даже в самые тяжелые для Иркутска годы тяга к свету, культуре, познанию мира не иссякала, не была подавлена обстоятельствами. 1915 год, война, плохо с хлебом — а слушают лекции «В поисках философского камня», «Синяя птица в наши дни», «От мечты к действительности в русской литературе», «Современное воздухоплавание на фоне общественной жизни народов», «К вопросу о человеке палеолитической эпохи в Иркутской губернии»... Федор Сологуб в общественном собрании читал лекцию «Россия в мечтах и надеждах», а Константин Бальмонт вначале в том же собрании давал вечер поэзии, а затем в последующие вечера развивал щемящие темы «Любовь и смерть в мировой поэзии» и «Лики женщин в поэзии и жизни»... Думаю, зал был полон... Что же касается других, не возвышенно-сентиментальных, а сугубо прозаических вещей, то меня, к примеру, тронуло (и запомнилось) одно происшествие, описанное Романовым. Описанное в его обычном, как и полагается в хронике, бесстрастно-протокольном духе, хотя это целая драма. О том, как извозчик Абдул-Беги-Кербалай-Мехти-Оглы поднял «мешок с золотом на

20 000 рублей», оброненный у почтово-телеграфной конторы растяпой-артельщиком из Сибирского торгового банка, и «возвратил по принадлежности». Однако неблагодарный (вот уже действительно!) банк «ему ничего за этот поступок не дал, а когда он начал искать судом, то и суд присудил 8000 рублей, а палата отменила». Представляю, как после этого пошатнулось мировоззрение в глазах честного извозчика...

Тут самое время переходить к подвижникам и меценатам.

«Не стоит село без праведника...»

Все иркутские церкви — а их было тогда в разных концах города тридцать шесть — были построены купцами и промышленниками (сразу замечу — по мере сил участвовали своими малыми средствами и чиновники-дворяне, и мещане, и даже крестьяне). На их деньги, как уже было рассказано, построили каменный театр, а до этого и деревянный — на средства, «пожертвованные коммерции советниками Базановым, Немчиновым и почетным гражданином Сибиряковым». На пожертвования купцов были построены многие школы и училища, библиотеки и читальни, больницы и богадельни, приюты и сиропитательные дома, издавались книги, выписывались газеты и т. д., и т. п. Отзвуки этих благодеяний слышатся до сих пор — Кузнецовская больница, Медведниковская больница, Трапезниковское училище, Пономаревская школа, дом Файнберга...

Ничего в том удивительного нет — в Иркутске было по «презаписанию» три с половиной тысячи купцов (это на 74 тысячи населения) — больше, чем дворян и чиновников (а также военных и казаков, вместе взятых). Это были разные люди — суровые старообрядцы, надменные коммерции советники и городские головы, богобоязненные и тихие, чурящиеся общества, тусовки, как бы теперь сказали, и громогласные, кипящие, всегда на виду, в первых рядах... Случались и лиходеи, живоглоты, и просто разбойники — тому тоже есть свидетельства — но более всего почтенные, неспешные и рассудительные, образованные, нередко обучавшиеся и в Европе. «...Воля железная, и ума палата, и сердце могучее и широкое, и опытность драгоценная, и знание дела и края громадное», — восхищался нашими купцами знаменитый анархист Михаил Бакунин.

Были они, благодаря всему перечисленному, не просто богатыми, а богачейшими: Второв, например, получил в 1906 году прибыли 1 278 052 рубля (больше, чем доход всего тогдашнего Иркутска, собранный управой на нужды города); после смерти он оставил состояние в 18 миллионов, а Немчинов — в 17. Для понимания масштаба: пуд пшеничной муки в 1914 году стоил 1–2 рубля, мяса — 2 рубля 50 копеек — 5 рублей 60 копеек, дойная корова — от 30 до 60 рублей, а «стоимость постройки плотниками четырехстенной избы — 100 рублей»; для сравнения в другом, не житейском

порядке вещей, еще одна цифра, и именно стоимость упомянутого городского театра (каменного): он обошелся в 293 тысячи рублей...

Хаминовы, Базановы, Сибиряковы, Трапезниковы, Медведниковы, Солдатовы, Бутины, Второвы, Белоголовые, Сукачевы, Громы, Пономарев, Плетюхин, Кравец, Кузнецов, Портновы, Немчиновы (всех не перечислить) — это были обычно крепкие, расчетливые купцы и промышленники, не моты, просто так капиталами не разбрасывались, но в летописи рядом с их фамилиями то и дело мелькает «пожертвовал», «поднес», «передал» — ценные бумаги, дом, коллекцию, библиотеку, картины, редкие иконы, старинные свитки и т. д. Были подношения необыкновенные, замечательные — рыбопромышленник Шипунов пожертвовал музею... живую воду, «случайно пойманную в Байкале неводом» и привезенную «из Верхне-Ангарска»; «временно помещена в саду Родионова...»

Каковы были мотивы этого забавного и других, более серьезных и значительных подношений? Конечно, в первую очередь, говорили о благе Отечества, граждан и родного края — все правда, купцы (лучшие) мыслили государственно, справедливо полагая, что благо Отечества — это и их благо. Правдой было и другое — вполне естественное стремление обозначить себя и поднять в глазах общества, властей духовных и светских, которые очень ценили меценатство, жалуя за это звания почетных граждан и коммерции советников, а также медали и ордена. Не последним, наверное, было еще и вполне естественное желание оставить о себе память — она и осталась.

Менее заметными (хотя тоже в истории остались) были безденежные подвижники, которые могли пожертвовать только свой труд. И жертвовали — священники занимались краеведением и писали исторические очерки, преподаватели гимназий читали просветительские лекции, устраивали художественные выставки и ставили любительские спектакли, врачи и присяжные поверенные писали газетные фельетоны и юридические статьи, инженеры и естествоиспытатели собирали сказки и былины, археологические и этнографические коллекции, даримые музею.

2006

Иркутск литературный — от летописей к современности (главы из будущей книги)

Не стоит гадать, по какому звездному знаку судьба выделила Иркутск из ранга всех сибирских городов, но первое, что бросается в глаза, это свод его летописей, счет которым переваливает за десять. Даже летописей по Сибири не набирается десяти, а свои, городские летописи, имеют за Уралом всего два-три города.

От XVII века тянется летописная родословная Иркутска, которую составляли Сибиряковы, Баснин, Донской, Козлов, Пежемский, Кротов, Романов. А еще Семивский, протоиерей Громов и с ними Щеглов, да три имени наших современников, среди которых наиболее объемная и заметная летопись Ю. Колмакова, ныне здравствующего и готовящего продолжение огромного свода.

Наши летописи — это разрозненные записи, челобитные, указы, повседневные, канцелярские, деловые и долговые «памяти», которые кропали гусиными перьями секретари-подьячие, сидя при воеводе в приказной избе. Воевода спрашивал челобитчика или ответчика, тот отвечал, а подьячие кропали. Перед ними лежала стопка бумаг, стояла бронзовая чернильница, стаканчик с очиненными перьями, которые подьячий менял, если перо ломалось. Исписанная стопка вырастала, ее склеивали лист к листу, нижний к верхнему, и получались длинные столбцы, которые скручивали свитками.

И так изо дня в день, из года в год, при слюдяных оконцах, ночами при свечах, составляли летописи иркутские подьячие: Алексашка Курдюков, Трифон Ослоповский, Ефим Самойлов и Егор Романов, навсегда

Козлов Иван Иванович (род. 1 сентября 1936 г.), историк, краевед. Член Союза писателей России. Автор книг «В гостях у декабристов», «Колокола не умолкают», «Самая долгая зима» и др.

оставляя в тонкой буквенной вязи имена и события. Дела о хлебном жалованье, о торговле питьем на государственном кружечном дворе, о недоимках в казну, о женках, которые убегали от опостылевших мужей, о буйствах по пьяному делу, о приискании новых земель — все записывалось в канцелярии. И мы бы не стали задерживаться на изъеденных временем бумажных лоскутах, если бы в них не осела пластами наша история. Хранили те свитки на полках, в коробьях, где они пылились, случалось, погибали в огне, а случалось, что в государевых сумках отправлялись они по требованию в Москву, в Сибирский приказ.

Сегодня эти бумажные свитки обрели ценность золота — это неоспоримые документы истории, ростки бытописательства, краеведения и нашей великой литературы. А поскольку летописи лежат в основе краеведческой и художественной литературы, то и не удивительно, что именно иркутянами написаны — Николаем Полевым первая сибирская повесть «Сохатый», Иваном Калашниковым — первый сибирский роман «Дочь купца Жолобова». Благодаря летописям мы хорошо знаем историю нашего города, имена многих жителей, кто создавал и приумножал славу нашего города, его традиции и культуру.

Иркутск еще не имел печати и герба, а уже записано было, что есть в городе Иван Колокольник и что он отливает пушки и колокола, а Иван Кирпичник выделяет кирпичи, а Любим Выжигальщиков выжигает из березы смолу и древесный уголь, а Мишка Кузнецов калит на тех углях железо и кует из него кресты на храмы, жабки и скобы для водяных мельниц, замки и решетки для ворот и калиток. А мельник Афоня Карпов правит государственной мельницей, что стоит на малой речке Кае, и живет с детьми одной деревушкой в три домика, а семья его и деревушка зовутся Мельниковыми, и название то сохранилось в памяти города за микрорайоном Ново-Мельниково.

Иркутск выделялся делами, обгоняющими историю. Когда он получил статус города, на Сергееву башню острога подняли первые в Сибири часы с колокольцами и звоном. Часы отбивали четверть, полчаса и каждый час во все время суток, и в непогоду и в ночной темени, и каждый горожанин слышал и знал, который идет час.

Тогда же возвели в Иркутске первое от Енисея до Аляски каменное строение, Спасскую церковь, и остается она старейшим каменным храмом Восточной Сибири, и хранит снаружи на своих стенах многоцветную роспись и иконы, чего нет на других сибирских храмах.

Такого количества церквей и монастырей, сколько возвели в Иркутске, в сибирских городах тоже нет. Священнослужителей требовалось много, и чтобы обучать их грамоте, в Иркутске в 1725 году при Вознесенском монастыре открыли первую духовную школу, где готовили также и миссионеров со знанием монгольского и китайского языков для распространения

в Азии православной веры и «в видах сношений торговых». А немногим позже учредили в Иркутске навигацкую школу, где готовили штурманов и землемеров, толмачей японского языка, и было похоже, что вознамерился Иркутск, самый младший из старых сибирских городов, во всем обойти старшие города и стать первым. И он стал таковым.

Уже красовались на берегах сибирских рек Тобольск и Омск, Енисейск и Красный Яр, Заярск и Илимск, Братск и Якутск, Верхолениск и Зашиверск, Селенгинск и Нерчинск, даже поднял свои башенки Нижнеудинск, а Иркутска все еще не было. И вот в 1661 году, появившись на ангарских берегах совсем малым острожком, тридцать на тридцать шагов, который и острожком-то называть можно было с натяжкой, Иркутск менее чем за сто лет становится центром гигантского наместничества, западная граница которого проходила по Енисею, а восточная терялась в глубине Аляски.

Под началом этого скорого и неумемного града оказалась вотчина, превышающая размерами Соединенные Штаты Америки, и ни один иркутский губернатор за время своего правления так и не объехал всех владений. Потому и нужна была городу навигацкая школа, и люди «знающие грамоте», и штурманы, и землемеры, чтобы обозревать дальние побережья и острова, чтобы построить флот и защитить далекие рубежи, если требуется.

В Иркутске учреждают адмиралтейство, и Иркутск оказался единственным в мире морским форпостом, который отстоял за тысячи верст от морей, но под его началом строились корабли и порты и зародился Тихоокеанский флот. В Иркутске служили и жили адмиралы и морские офицеры, здесь разрабатывались проекты создания всесибирского речного флота и сквозного водного пути через Сибирь. Такие планы вынашивал Алексей Михайлович Корнилов, иркутский губернатор, капитан 2-го ранга, отец знаменитого адмирала Корнилова, участника обороны Севастополя. О морских проектах и водных путях Сибири губернатор Корнилов написал в 1827 году в книге «Замечания о Сибири», которой ныне в Иркутске имеется только два экземпляра.

Иркутск посещали и о нем писали многие ученые-путешественники и мореходы-исследователи, Иркутск чрезвычайно способствовал изучению Сибири и Дальнего Востока. Здесь учредили первое в Сибири и на Дальнем Востоке научное учреждение — ВСОИРГО, а оно обзавелось музеем. На фронте музея, ныне областного краеведческого, выбито более двадцати имен исследователей Сибири, и половина из них — мореходы.

В Сибири самую первую публичную библиотеку учредили в Иркутске. Это случилось раньше, чем такие библиотеки появились в Москве и Петербурге.

Иркутские гимназисты первыми в России написали коллективную книгу «Прозаические сочинения учеников Иркутской гимназии», и она

была издана в Петербурге в 1836 году еще при жизни Александра Сергеевича Пушкина. Этим была заложена традиция написания в Иркутске детских коллективных книг — потом их случилось аж семь.

Первые в Сибири среднее и высшее учебные заведения для девочек тоже раньше всех сибирских городов учредил Иркутск: это сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой — 1838 год и девичий институт имени императора Николая Первого — 1844 год. У нас первая и самая богатая картинная галерея в Сибири, мы первыми открыли краеведческий и художественный музеи. Самым высоким, объемным и богатым храмом Сибири был храм Казанской Иконы Божией Матери. Он входил в первую пятерку самых величественных храмов России и стоял на Тихвинской площади в Иркутске.

Понятно, что в духе таких традиций не мог не появиться и один из сильнейших отрядов российской словесности — Иркутская писательская организация, правопреемником которой является Иркутское региональное отделение Союза писателей России. В 2011 году Иркутской писательской организации исполняется 80 лет.

Сегодня простого пересказа истории литературной школы Иркутска по прежним книгам не получится — в них ценны, по большей части, лишь факты. Во-первых, наша литературоведческая наука создана в советское время, и мы не можем полностью ее принять и согласиться со всем, что было написано литературоведами. Тогда все произведения искусства и литературы проходили жесткие фильтры цензуры, которая строго охраняла концепцию партийности. Одни имена искусственно замалчивались, а другие незаслуженно восхвалялись.

Все работы по истории сибирской литературы, изданные до 1991 года, мы не можем воспринимать некритично. Авторы этих работ не всегда имели возможность высказать свое мнение. Кроме того, убеждения многих писателей, особенно участников Гражданской войны, строителей первых пятилеток и тех, кто прошел Великую Отечественную войну, совпадали с партийными догмами, и они работали с чистой совестью. Но жизнь в который раз показала, что реальность намного мудрее и прозорливее, чем искусственно привнесенные концепции и установки.

Литература должна показывать жизнь такой, какая она есть, но немного на вырост, чтобы человеку хотелось переделывать эту жизнь, обустраивать ее. «Дело не в том, — утверждал немецкий философ Фейербах, — чтобы объяснить мир, а в том, чтобы изменить его».

Литература не должна утрачивать идеалов. На этом стояла вся наша великая русская классика. Показывать, как должно быть, можно на примерах прошлого и на примерах настоящего — в истории тьма высоких примеров, и прошлое всегда убеждает, потому что это не вымысел. Достойные примеры надо находить и в текущей жизни. Но, к сожалению, мы прекрас-

ные версификаторы и плохие ученики Истории, которую справедливо называют «учителем жизни».

Людей, которые видят и понимают, как есть на самом деле, очень много. Людей, которые знают, как должно быть, меньше. Это опытные, мудрые люди, умеющие мыслить независимо от господствующих мнений и условий. Но их тоже немало. А вот людей, которые знают, что надо делать, чтобы было так, как должно быть, очень мало. Это гениальные и мужественные люди, какими и должны быть писатели, берущие на себя роль народных пастырей.

Когда в восьмидесятые годы надо было защищать Байкал, Валентин Григорьевич Распутин не ограничился публицистикой — он поднял иркутских писателей, дошел до правительства, организовал людей, и атаку на Байкал отбили. Если писатель не общественный деятель, если он не боец, ему не надо обольщаться своим талантом. Бездействующий талант есть пустоцвет, который не даст плода.

Сегодня новых концепций в литературе и литературоведении нет, а они нужны. Партийность и соцреализм себя не оправдали, и перед нами простор творческих исканий, которые должны соответствовать новому времени и вечным истинам.

Бытописатели и поэты

Летописная культура и сибирская литература в целом рождались одновременно в разных областях Сибири, отраженно повторяя последовательность освоения территорий. Но нас интересует не вся Сибирь, а иркутский период, и разговор наш, пропустив почти весь XVIII век, мы поведем от начала XIX века. Именно в этот период появляются первые иркутские словесники, уже не летописцы, но и не писатели в полном смысле слова, а, скорее всего, бытописатели, начинающие культивировать художественное слово.

Но совсем ничего не сказать о культурно-литературной жизни Иркутска XVIII века тоже не совсем правильно.

Толчок к культуре бытописания дает сам Петр Великий. Он обращает все большее внимание на восточные окраины и лично пишет воеводам и стольникам указания — что, где, когда и как построить, куда пойти и что разведать, и страшно удивляет, а еще более пугает их прекрасным знанием местных особенностей, условий жизни. А разгадка здесь простая: в 1701 году Семен Ремезов по прямому поручению Петра создает первый сибирский атлас «Чертеж Земли Сибирской», для чего ото всех сибирских городов и провинций он собирает подробные «скаски», описи и чертежи острогов с указанием водоходных рек, водоразделов, волоков и сухопутных троп, и какими путями, сколько дней, как и куда можно пройти, проплыть и проехать, и все это помещает в атлас.

Петр, с его неумейной жадой деловых познаний, во всем этом прекрасно разобрался. И когда илимские или иркутские правители получали из Сибирского приказа указания куда, по какой дороге идти, по какой плыть реке, до какого волока, что там сделать, куда перетащить и плыть дальше, какие разведать рудные земли и от каких мест взять камни на пробу, то они мгновенно бросались все исполнять. Им казалось, что где-то рядом сидит невидимый соглядатай и все видит, слышит и доносит царю. В те годы на прибайкальскую землю совершается наплыв ученых, инженеров и дипломатов. Савва Рагузинский, Михаил Зиновьев, Ибрагим Ганнибал, прадед Пушкина, историк Миллер — все они едут в Иркутск, собирают и увозят в Москву огромное количество летописных свитков.

Иркутск уже главный город Прибайкалья. В 1825 году в Киренске и Илимске формируются академические экспедиции Витуса Беринга. Пользуясь распоряжением императора, Беринг закупает огромное количество лошадей, холстов на паруса, веревок и канатов на корабельный такелаж, а также ему подвозят пушки и порох, складывают провиант. Беринг буквально оголяет Прибайкалье, скупая и вывозя все и нанимая на службу людей. Местные правители даже пытаются писать в Москву жалобы.

Через Иркутск в Китай проезжает Николай Спафарий и восторженно отзывается о нашем городе в своих дорожных записях. Художник Люрсениус, отправленный академией с Миллером, десять лет странствует по Сибири и делает зарисовки городов. Со всех рисунков делаются гравюры, Иркутск гравюрует А. Г. Рудаков.

Иркутские купцы тоже широко ведут дела и, чтобы не запутаться в поставках, покупках, в должниках и сделках, ведут подробные записи — кто, когда, откуда и куда проехал, что продано и куплено, у кого случился пожар, а кто погрел на этом руки, кто женился, кто разорился, кто что построил, кто умер, а кто отъехал в метрополию. Купцы Сибиряковы вели такие записи на протяжении почти двухсот лет, они легли в основу сибиряковских летописей, а те, в свою очередь, послужили серьезным подспорьем купцу Петру Пежемскому и Василию Кротову, авторам самой первой, объемной и подробной «Иркутской летописи», но это уже в середине XIX века.

Вот такие домашние хроники и летописи и стали предшественниками первых литературных произведений в Прибайкалье в жанре бытописательства и исторического краеведения. Очерки вполне удовлетворяли любопытство немногочисленной читающей публики. В первых краеведческих публикациях явно просматривались две тенденции. Первая — осудить темные стороны жизни, преступления и проступки иркутян известных и неизвестных, разоблачить злоупотребления местных и заезжих начальников. Вторая тенденция — рассказать о родном крае, показать его с лучших сторон. Но Иркутск оставался купеческим, мещанским, ему не хватало куль-

туры, и если было о чем писать с чистым сердцем, так это о красоте и мощи первозданной природы. По своей сути, эта вторая тенденция продолжала традиции первопроходцев, когда в период колонизации Сибири в песенно-поэтической форме выражалась радость обретения новой страны, восторг свободы и возможность начать независимую, обеспеченную земными богатствами жизнь.

Русская поэзия в Сибири и о Сибири появилась уже в царствование Екатерины Второй. Первые стихи о Байкале на русском языке написал чиновник из Петербурга М. Кривошеин, который служил в Иркутске. Он поэтически изложил известную сибирскую легенду об Ангаре и Байкале и опубликовал свое произведение в 1765 году в краеведческой книге «Енисейский округ и его жизнь», изданной в Санкт-Петербурге. Императрица, любительница и знаток изящной российской словесности, сама философ и драматург, возможно, и пробежала однажды глазами вирши Кривошеина.

Когда силой чудотворною
Огонь подземный разорвал
Меж горами степь просторную —
Хлынул волнами Байкал...
...Вдруг утес — гора упорная
Преградила путь ему
И, как крепость непокорная,
Не пускала вдаль волну...
Но напруг он мощь бездонную —
С треском рухнула гора —
И по ней волной свободною
Зашумела Ангара!..

Эти стихи представляют интерес не только как самое первое поэтическое сказание о Байкале, но оно очень ценно и с литературоведческой стороны. В распространенных трактовках легенды Байкал, узнав о поступке дочери, в гневе отламывает кусок скалы и бросает его вслед убегающей дочери. В то же время Ангара — любимая и единственная дочь Байкала, по отношению к которой любящий отец так не поступит. И в поэтической интерпретации Кривошеина Байкал не удерживает дочь в ее порыве к Енисею, он ей не угрожает и не швыряет в нее камни. Наоборот, отец-Байкал «напрягая грудь свободную», раздвигает скалы и открывает дочери дорогу к счастью.

К первым стихам о Байкале относится и «Послание с Невы на Ангару», опубликованное в 1817 году. Написаны они тоже чиновником, служившим в Иркутске. Стихи представлены в альманахе «Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири».

«Послание с Невы на Ангару» шло за подписью «Автор не известен», но стихи выдают человека не только талантливого, но и достаточно образованного.

О, милый друг!
 Ты был со мной на Култуке;
 И видел ты вблизи и видел вдалеке,
 Какие страшные вокруг Байкала горы!
 Предметы все, чему дивились наши взоры:
 Глубоки пропасти и горы на горах,
 Горами подперты, не значат ли тот страх,
 Который был?
 Ах! Был когда-то непременно,
 Когда природа там, страдая постепенно,
 Стонала, мучилась, терзала все, рвала,
 Подземным пламенем себя самую жгла;
 Какой ужасный день!
 Ах, нет! Единый час,
 И место, где с тобой гулял я над Байкалом,
 Трясением земли соделалось провалом,
 В который, с тьмою свет в одно соединясь,
 Сиянье солнечно, небесный свод затмили,
 И чин природы всей мгновенно изменили.

.....

Текут в Байкал со всех сторон Земного круга,
 С Востока, с Запада, от Севера и Юга —
 Он поглощает всех.
 Одна лишь Ангара,
 Как Дафна юная, чиста, резва, быстра,
 Бегуща по лесам от взоров Аполлона,
 Не внемлюща его любовна вопля, стона.
 Раздался страшный треск и грохот по горам,
 Где простирался дол, леса где были, там
 Низринулась земля и пропасти открылись;
 Но пропасти сии отвсюду наводнились
 С тех пор как данники — источники, ручьи,
 Озера многие, великих рек струи —
 Одна лишь Ангара, протекши весь Байкал,
 На север уклонясь, меж двух огромных скал
 Стремительно из недр Байкала вытекает...

Чистый, возвышенный, уже уходящий слог Державина и Ломоносова, преддверие пушкинского стихотворчества. Нигде больше Ангара не сравнивается с юной Дафной, бегущей от «взоров Аполлона». Автор, несо-

мненно, образованный, дает понять, что молодой российской науке было ведомо, что Байкал рожден в огне и в неземном грохоте, когда природа «жгла себя» и, содрогаясь, рождала горы и будущие моря.

Автор «Послания» — просвещенный иркутянин, но кто он? В Иркутске первыми с краеведческими публикациями выступали преподаватели иркутской гимназии Н. С. Щукин, Д. В. Ненашевский, чиновник канцелярии И. Т. Калашников, землемер и архитектор А. И. Лосев, историк П. А. Словцов. «Изображение нашей с Китаем торговли», «Замечания о реке Ангаре», «Общий взгляд на Иркутскую губернию» — очерки с такими названиями предлагались иркутянам. Самым ценным в публикациях наших первых краеведов являлось то, что они писали не понаслышке, используя сведения из вторых рук, а рассказывали о том, что видели и знали сами, как говорят, рисовали с натуры.

И. Т. Калашников писал о Тельминской суконной фабрике, где выделялось сукно для армии, в том числе для шинелей ополченцев, ушедших из Иркутска на войну «с супостатом» в 1812 году. А. И. Лосев рассказывал иркутянам о целебных источниках Дарасуна, о землетрясениях и целебных травах. Краеведческой литературы появлялось все больше, и даже родилась мысль о едином издании «Собрания известий, служащих к истории и географии Сибири». Проект этот не осуществили, но другой журнал, «Ореады», учрежденный В. В. Дмитриевым, выходил почти десять лет. В нем помещались ценнейшие материалы, впоследствии он был переименован в «Азиатский вестник».

Благодаря многочисленным публикациям Г. И. Спасского, П. А. Словцова, Н. Семивского, И. Т. Калашникова на Сибирь все меньше смотрели как на страну холода и мрака, как на страну дикую и пустынную. Показателен в этом отношении сборник «Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири», где можно было прочесть, что Иркутск — богатейший город, что Байкал — лучшее в мире озеро, а река Ангара — величайшая в Сибири. А каких слов удостоились при этом иркутяне: «Иркутские граждане учтивы, обходительны и гостеприимны. В домах своих живут очень опрятно... Иностранных языков старики и средних лет люди хотя и не знают, но зато старые и новые русские книги, также газеты и журналы, издаваемые в обеих столицах, выписывают, читают с любопытством... извлекая существенную пользу» (Н. Семивский).

Небольшое исследование поэзии того времени, сравнение стихов, манеры и техники написания позволяют легко установить, что автором «Послания с Невы на Ангару» является именно Н. Семивский.

Первые десятилетия XIX века следует рассматривать как переходной период, когда созревали хотя и серьезные, но только предпосылки для развития литературной жизни. Тогда в Иркутске еще не было полноценной литературной культуры, но уже существовали кружки любителей изящного

слова, распространялись рукописные сборники, были модными домашние альбомы с автографами, поэтическими посвящениями и рисунками, где писали и рисовали для своего, узкого круга, для себя. Это было время, когда иркутские купцы меценатствовали, составляли большие библиотеки, покровительствовали местным талантам. Иркутский краевед и писатель Николай Щукин писал: «Здесь купцы имеют богатые библиотеки, выписывают все журналы, все вновь выходящие книги. Дочери и жены занимаются чтением, игрой на фортепьяно. В этой дикой и холодной стране удивляются стихам Пушкина и Гомера...»

Ах, как трудно изживалось предубеждение о «дикой и холодной стране». Матвей Александров, опальный морской офицер, оставил нам замечательные записки об Иркутске «Воздушный тарантас», где коснулся культурной жизни того времени. Он описал чудесный вечер в кругу избранных гостей иркутского адмирала, где познакомился с когортой интеллигентных иркутян, которые умели восхищаться прохладным дыханием ночи и лунным сиянием стремительной Ангары. Прозвучали там и сатирические строки, широко известные среди иркутян.

У нас пока в Сибири два предмета:
Мозольный труд и деловой расчет.
Всем нужен хлеб да звонкая монета,
Так любознательность кому на ум пойдет.

Купец сидит, как филин на прилавке,
Его жена часек с кумою пьет,
Чиновный класс хлопочет о прибавке
И прочного гнезда себе не вьет.

Сегодня здесь,
А завтра за Уралом —
Кто нажился, тот едет генералом,
Кто не сумел, тот с посохом идет...

В Иркутске Александров близко подружился с семьей купца Дудоровского, в доме которого было много книг и гравюр, китайских ваз и картин русских художников. Александров рассказывает о прогулках с дочерьми Дудоровского на тихих берегах текущей в кустах Кая, луговины которой были сплошь покрыты цветами, а над водой мерцали крыльями стрекозы. Александров замечает, что Кая была любимым местом летнего и зимнего отдыха иркутских чиновников и обывателей.

В доме Дудоровского также собирался кружок, но уже не чиновников и офицеров, как у адмирала, а купцов, людей состоятельных, а оттого более свободных в мыслях и выражениях. Купцы благодаря широкому общению и деловым поездкам хорошо знали местные условия, состояние мыслей

сибиряков. В доме Дудоровского звучали слова о праве Сибири самой распоряжаться своими богатствами и даже об особом значении Сибири не только в русской, но и в мировой истории. Сибирь сравнивалась с Америкой, и сибирское купечество предопределяло свой путь как путь американской буржуазии, который должен был вести к власти и богатству. Купцы даже предполагали издавать газету «Ангарский вестник», чтобы доносить до общественности идеи сепаратизма и областничества.

Не все купцы разделяли мысли об отделении Сибири от России. Николай Полевой, первый в полном смысле писатель Сибири, хотя и сам являлся выходцем из иркутской купеческой среды, видел путь России в свободном капиталистическом развитии. Он призывал к всестороннему изучению Сибири, даже готов был создать некий ее культ, просвещая широкий круг сибирской интеллигенции. В своем журнале «Московский телеграф» Полевой старался больше писать о Сибири и разрушать неверное представление о ней: «Сибирь, золотое дно для предков наших, и для нас может быть золотым дном, и для наблюдательного путешественника. Там историк, географ, поэт найдут для себя много...»

Любые книги, где представлялась Сибирь, ее города, народы и обычаи, заслуживали похвалы Полевого. Например, книга А. И. Мартоса «Письма из Восточной Сибири» представлялась ему достойной серьезного внимания. Алексей Мартос был сыном известного скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому в Москве. Будучи чиновником Енисейского губернского правления, которое входило в юрисдикцию Иркутска, несколько раз путешествовал по Восточной Сибири, хорошо ее знал. В своих «Письмах...» он много внимания уделил Иркутску, давая его разные описания. Впервые, хотя и кратко, Мартос характеризует Нижнеудинск, Зиму, Тельму, пишет о Байкале, о почтовой дороге и чайном пути через Хамар-Дабан, о Кяхте.

К этой же категории краеведческих, в определенной мере просветительских книг следует отнести книгу иркутского губернатора А. М. Корнилова «Замечания о Сибири» и значительно более богатую по содержанию и суждениям книгу историка, публициста и педагога П. А. Словцова «Письма из Сибири».

И мы, конечно, не можем обойти молчанием имя талантливой женщины, одной из первых сибирских женщин-писательниц, Екатерины Алексеевны Авдеевой-Полевой. Незаурядная бытописательница прекрасно отразила в «Записках и замечаниях о Сибири», «Воспоминаниях об Иркутске», «Очерках Масленицы в Европейской России и Сибири» культуру, быт, обычаи и уклад жизни сибиряков, в основном иркутян. Ее младший брат, Николай Полевой, будущий публицист, друг-недруг и оппонент Пушкина, родился в Иркутске, в 1896 году.

Николай Полевой и первая сибирская повесть

В начале XIX века сибиряки все больше выписывают и получают книг и журналов, уровень их литературного вкуса быстро растет. Список новых авторов пополняется, и пальму первенства в нем удерживает прозаик, публицист и журналист иркутянин Николай Алексеевич Полевой, выделяясь на общем фоне как автор первой сибирской повести «Сохатый», опубликованной в 1830 году. Правда, Полевой написал повесть уже за пределами Сибири, проживая в столице, но охарактеризовал ее как «Сибирское предание».

В повести «Сохатый» Николай Полевой рассказывает о чиновничьем произволе, о бесчинствах иркутского коменданта, представителя дворянства еще екатерининских времен, когда все решали фавориты и ставленники двора. Ограниченные и самодовольные, лелеющие свои предрассудки и отжившие понятия о сословной чести, они возводили препоны на пути любого стремления к справедливости и законности, которая ограничивала бы тиранию и произвол.

Это было очень актуально для того времени. За несколько лет до написания повести иркутский губернатор, прогрессивный законодатель Михаил Сперанский, специально направленный царем в Сибирь, пытался, проводя законодательные реформы, ограничить на окраинах империи всевластие и злоупотребления чиновников. Сперанский привлек к суду 680 чиновников и взыскал с них около трех миллионов расхищенных рублей.

Но искоренить пороки оказалось невозможным никакими реформами, и эта несправедливость болезненно задевала души и достоинство сибиряков. Двое последователей, можно сказать, двое учеников Николая Полевого, иркутяне И. Т. Калашников и Н. С. Щукин, практически сразу, следом, написали схожие, почти документальные произведения.

Иван Тимофеевич Калашников написал первый сибирский роман «Дочь купца Жолобова», который имел подзаголовок «Роман, извлеченный из иркутских преданий» и был издан в Санкт-Петербурге в 1832 году. Николай Семенович Щукин стал автором повести «Ангарские пороги» с подзаголовком «Сибирская быль», изданной в Санкт-Петербурге в 1835 году.

Иван Калашников и первый сибирский роман

Автор первого сибирского, можно даже сказать краеведческого, романа И. Т. Калашников родился в Иркутске, где и прожил более двадцати пяти лет. Следует отметить, что роман в Сибири того времени, да и в литературе тоже — явление нечастое. Это был еще сложный жанр для российской литературы, тем паче для авторов, выросших на периферии. А потому труд Калашникова заслуживает особого внимания.

И. Т. Калашников — один из самых даровитых сибирских писателей той поры. Основной сюжет, главную линию романа, прототипы героев он, как и Полевой, взял из сибирской действительности.

В анналах сибирской истории значится человек со знаменитой аристократической фамилией Нарышкин — это крестник Екатерины Второй, поставленный начальником Нерчинских заводов. Высокое покровительство, полная безнаказанность, дармовые казенные суммы, которыми Нарышкин свободно распоряжался, привели к тому, что разгулявшийся чиновник потерял всякое представление о реальности. Он требовал сопровождать его пьяные походы пушечной пальбою и колокольным звоном, отбирал у встречаемых купцов товары, конфисковывал в кабаках вино и в кураже раздавал народу, а еще любил, проезжая в карете, бросать в народ деньги. Одним словом, гулял широко, но был арестован и отправлен в столицу. Никакого наказания Нарышкин не получил, а императрица назвала его шулуном. Эта пародия на законное правление легла первой сюжетной линией в роман Калашникова. Но был и второй исторический сюжет, уже не смешной, а трагический.

В 1758 году в Иркутск прибыл коллежский асессор П. Н. Крылов для производства следствия по питейному откупу. Продажа вина всегда была чрезвычайно доходным делом, и за винные откупы война шла не на жизнь, а на смерть в полном смысле слова. Иркутские купцы не хотели отдавать откупы столичным вельможам и всячески этому сопротивлялись. Неспешно, «из-под руки», выведав, кто, где и как повинен в утайке денег от казны, взятках и неподчинении властям, Крылов принялся вести следствие, ничем и никем не стесняясь. Купцов тащили в застенки, избивали палками и плетью, жгли огнем, пытаясь, где хранятся спрятанные деньги и золото. У иркутского миллионера Ивана Бичевина с особым пристрастием дознавались, в каких подвалах он «бочонки с золотом приковал цепями к стене». Купец не вынес жестоких истязаний и умер.

Не церемонился Крылов и с местной администрацией: разогнал магистрат, а вице-губернатора Вульфа отрешил от должности и арестовал. Всего Крылов выбил из иркутских купцов более ста пятидесяти тысяч рублей, но Сибиряков указывает сумму в два раза большую — триста тысяч рублей. Крылов гулял, пил, принуждал семейных женщин к сожительству, а на окраине выставил заставу, которая не выпускала из города никого, обыскивая и отбирая все письма и бумаги. Но одному из гонимых удалось провезти жалобу в подкладке шапки и доставить ее Елизавете Петровне, и в ноябре 1761 года, через три года после прибытия, Крылова арестовали. Судили его уже при Екатерине Второй, и приговор был суровым: «...Вместо заслуженной им смертной казни высечь в Иркутске кнутом и сослать на каторгу в работы вечно, а имение его, описав, продать с аукциона».

Эти два дела, нарышкинское и крыловское, и легли в основу романа

Калашникова. Следуя традициям Полевого, Калашников показывает Сибирь как страну, где есть сильные и смелые люди, которым знакомы высокие чувства и устремления. Калашников сочувствует «славному сибирскому купечеству» и в нем видит проявления русского сибирского характера. Калашников вводит в роман факты и сведения о старой Сибири. Он излагает историю Нерчинских заводов, рассказывает о присвоении и освоении Амура, вспоминает о походах Ерофея Хабарова и даже о плавании Дежнева в северных водах, который «прежде Беринга открыл пролив между Азией и Америкой». Судьбу главного героя романа, купца Жолобова, Калашников списал с трагической судьбы Бичевина. В романе Жолобов умирает на дыбе, не выдержав издевательств Крылова, которого Калашников выводит под собственным именем.

Позже И. Т. Калашников признавался, что из подражания английскому писателю Вальтеру Скотту, которого он почитал как родоначальника классического романа, соединил в своем произведении события разных времен. Калашников утверждал, что писатель имеет право отступления от исторической правды, если этого требует художественная правда.

«История говорит холодно, сухо, мертво; заслоняет лица и события своей тенью; рассказывает о минувшем, а не воскрешает их, не проливает жизни в их истлевшие кости и не выводит на сцену пред наши глаза». И тогда, продолжает Калашников, «...на помощь душе приходит божественная всемогущая поэзия. Она одна только способна произвести чудо: заставить время переменить свой обычный путь; вызвать из вечности века и пролить огонь жизни в сердца, давно переставшие биться... Сие, то высокое и очаровательное наслаждение, доставляет нам драма, повесть, роман...» Слова, под которыми могут подписаться и наши современники.

Как писатель периода господства романтизма Калашников верил, да и жаждал того, чтобы зло всегда было наказано, а моральные принципы добродетели торжествовали.

Современники И. Т. Калашникова называли его сибирским Вальтером Скоттом, но Калашников и не скрывал, что во многом подражал выдающемуся мастеру исторического романа. Но при этом утверждал, что мысли, картины природы, события — это все принадлежит ему как автору и его «владение неприкосновенно». «Я первый написал сибирский роман, — писал Калашников. — Кому я мог подражать, кроме формы?»

Схемы любовно-авантюрных романов являлись традиционными, а в центре всегда находилась молодая влюбленная пара, которой суждено пройти через множество испытаний, прежде чем соединиться навсегда. Такая же фабула была характерна для романтических повестей, которых писалось множество.

Повести Николая Щукина

Николай Семенович Щукин родился в Иркутске, учился в иркутской гимназии, впоследствии стал педагогом, известным краеведом и одним из авторов первых иркутских повестей. Он посвятил отдельные свои исследования отношению иркутян к литературе, созданию личных библиотек, накоплению книжных богатств города, прекрасно знал историю края, и, читая его работы, трудно отделить писателя от краеведа. Главными его произведениями являются повести «Посельщик», написанная в 1834 году, и «Ангарские пороги», появившаяся на свет год спустя.

В «Посельщике» Щукин повествует о дворянине, бывшем офицере и храбром человеке, сосланном на поселение в Сибирь. Здесь он сталкивается с шайкой беглых каторжников, которые творят разбой и грабежи среди местных крестьян. Не желая мириться с притеснениями, герой повести организует сопротивление насилию. Крестьяне и их новый предводитель побеждают разбойников, а читатели извлекают из повествования моральные и нравственные уроки.

Другая повесть Щукина, «Ангарские пороги», или «Сибирская быль», также передает нам вполне достоверные события. Жестокий комиссар Тункинской крепости преследует ссыльного Александра, которому благоволит девушка Надежда. Комиссар идет на различные подлости, чтобы уничтожить поселенца, а мать девушки упрятать в острог, дабы никто не помешал ему завладеть Надеждой. На этот типично романтический сюжет автор накручивает множество драматических событий, описывает красоты природы, экзотику сибирского быта. Повесть заканчивается тем, что молодые люди решаются бежать из Сибири. В ходе преследования погибает комиссар, а главные герои оказываются в водной пучине. В эпилоге повести некий сибирский купец рассказывает жене, что на ярмарке в Петербурге встретил он некоего майора, точь-в-точь похожего на бежавшего Александра.

Повести Николая Щукина отражают определенный этап развития художественного творчества иркутян. Они стали событием для своего времени и сыграли заметную роль в становлении сибирской литературы.

Дмитрий Давыдов — автор народной сибирской песни

Дмитрий Павлович Давыдов, двоюродный племянник известного поэта-партизана времен войны с Наполеоном Дениса Давыдова, родился в Ачинске в семье чиновника. Получив домашнее образование, чувствуя в себе призвание и желая служить на поприще просвещения юношества, Давыдов девятнадцатилетним молодым человеком приезжает в Иркутск и держит экзамен в иркутской гимназии на звание учителя. Затем он служит

в разных уездных школах и училищах, а в 1860 году, выходя в отставку, решает поселиться в Иркутске и занимает комнаты в полуподвальном этаже двухэтажного особнячка по улице Баснинской, недалеко от Ангары.

Не обремененный службой, Давыдов решает посвятить себя творчеству, имея к тому времени уже несколько публикаций в петербургской газете «Золотое руно», в том числе «Думы о покорении Сибири», «Думы беглеца на Байкале», «Сибирский поэт» и другие. Вслед за этим Давыдов публикует поэму «Волшебная скамеечка», небольшую книжку «Поэтические картинки». Именно его стихи, несколько измененные, стали к тому времени известной народной песней «Славное море — священный Байкал», которую знают и поют по сей день.

Славное море, священный Байкал!
Парусом служит армяк дыроватый.
Эй, Баргузин, пошевеливай вал —
Слышатся грома раскаты.

Песня стала настолько распространенной и так полюбилась народу, что проезжающий через Сибирь этнограф и писатель академик С. Максимов пытался установить автора, но не смог. В том, что у песни есть автор, Максимов не сомневался — песня обладала достоинствами, «отличающими опытного стихотворца».

Прельщаясь широкой популярностью песни, находились люди, которые пытались выставить себя ее авторами. Песню включили в сборник «В мире отверженных», который вышел в 1899 году, но автора песни так и не могли указать. Даже Н. Ядринцев, прекрасно знавший Сибирь, посвятивший специальное исследование фольклору бродяг, считал «Славное море» народным произведением, отмечая при этом, что переправа через Байкал «...дала пищу многочисленным дышащим правдою и неподдельной поэзией песням бродяг». Он также отмечал, что «даже в старинное время некоторые бродяжеские песни отличались безукоризненной отделкой внешней формы и верностью стиха», и дословно приводил при этом песню «Славное море — священный Байкал».

Сам Давыдов в предисловии к публикации стихов в газете «Золотое руно» пишет: «Беглецы с необыкновенной смелостью преодолевают естественные препятствия в дороге. Они идут через хребты гор, через болота, переплывают огромные реки на каком-нибудь обломке дерева, и были примеры, что они рисковали переплыть Байкал в бочке, которые иногда находят на берегу моря и в которых рыболовы солят омулей».

Давыдов хорошо чувствовал и описывал сибирскую природу, в его зарисовках мы слышим не восторженного романтика, а художника, рисующего с натуры.

Все было тихо, солнце село,
Чуть слышен плеск волны,
И ночь июльская светлела
Без звезд и без луны.

Веслом двухлопастным лениво
Я бороздил поток,
Скользил по Лене горделивой
Берестяной челнок.

Далеко берег был со мною,
Другого не видеть,
Но над безбрежною рекою
Так весело мечтать.

Природа северная чудной
Красой одарена,
Но для кого в стране безлюдной
Роскошна так она...

Однажды весной случился ледяной затор на Ангаре, и вода хлынула в город — порой это случалось. Полуподвал, где жил Дмитрий Давыдов, затопило, и фактически все рукописи и книги поэта погибли. Это была невосполнимая потеря для автора народной песни о Байкале. К тому времени он почти потерял зрение и восстановить многое из написанного уже не смог.

Василий Михеев — поэт социальных мотивов

По сравнению с прозаиками, число которых в Иркутске в первой половине XIX века было невелико, поэтов было больше. Это Матвей Александров, Дмитрий Давыдов, Иннокентий Омудевский (Федоров), Петр Шумахер, Василий Михеев.

Василий Михеев родился в Иркутске в семье богатого купца, окончил гимназию, уехал учиться в Москву. Здесь написал первые стихи, но опубликовал их в газете «Восточное обозрение», которая издавалась в Иркутске. Когда автору в 1884 году исполнилось двадцать пять лет, в Москве вышла первая книга его стихов «Песни о Сибири». Но потом последовали комедия, драма и роман — Михеев оказался очень работоспособным. Его стихи охотно печатают журналы «Мир Божий», «Нива», «Русское богатство». Уже первые критики упрекали Михеева в некрасовщине, но Михеев следовал за Некрасовым и не смущался критикой. Он не был сторонником отделения Сибири, как областники, и считал Сибирь родной дочерью России.

Михеев сразу и бесповоротно вступил на путь реализма и уже никогда не сворачивал с него — его даже можно упрекнуть в другой крайности, в

натурализме. В предисловии к «Песням о Сибири» он подчеркивает, что его стихи обязаны своим рождением его личным наблюдениям, зарисовкам с натуры, фактам из жизни. Написав несколько стихотворений о декабристах — «Князья», «Декабристы», «Ряженные», он отдал дань революционно-демократическим веяниям и первым в русской поэзии, в стихах «Уроки музыки», откликнулся на восстание поляков на Кругобайкальском тракте в 1866 году. Герой его стихотворения, ссыльный поляк, учитель музыки в Иркутске, порывается присоединиться к восставшим братьям:

Наши бьются, — он твердил упрямо, —
А за ними я хоть на расстрел.

Михеев первым написал стихи о сибирском пролетариате — старателях, шахтерах, строителях дорог, реалистично показал их быт, что никак не вписывалось в каноны приверженцев чистого искусства. В поэме «Спиртонос Патрушев» поэт пытался создать привлекательный образ старателя, в чем проявилось художественное новаторство Михеева и его гражданственность. Михеев выступает защитником доверчивых и наивных сибирских аборигенов, которых спаивают и беззастенчиво грабят предприниматели, купцы и чиновники.

Забытого, грязного вижу бурята.
И сердце страдает и горько, и свято...

В конце XIX века, с приходом железной дороги, Сибирь пережила невиданную по масштабам, сегодня почти забытую эпопею — переселение миллионов крестьян из России на необжитые сибирские земли. Крестьяне приезжали целыми семьями и деревнями, шли по необъятным просторам, выискивая нераспаханные, не занятые никем целинники, ставили бивуаки и начинали новую жизнь. К сожалению, нет ни одного художественного произведения, воссоздающего это невиданное со времен первопроходцев массовое продвижение в Сибирь огромных масс народа. Михеев, пожалуй, единственный, кто обратил на него внимание.

На лицах темных, резко исхудалых,
Одно сознание было лишь: дойти,
И не щадя ни слабых, ни усталых,
Достичь того, что мило так вдали:
Непаханой, немереной земли.

Михеев один из первых замечает, как капиталистический уклад жизни проникает в Сибирь, вторгается в патриархальность сибирской деревни, соблазняет крестьян возможностью быстрого и солидного обогащения. И крестьяне оставляют свои дворы, оставляют родителей, жен, детей и уходят

на заработки. Но большие заработки — это миф. На приисках и строительстве железной дороги своя хищническая система: обшеты, штрафы, неустройство быта, за все надо платить. А если остается что-то в кошельке, то вокруг соблазнительно поставлены трактиры и кабаки, к порогу которых наторена широкая дорога. И оторвавшись от земли, оставшись один на один с надвигающимся молохом, крестьянин уже не может вернуться домой — он перерождается нравственно и физически, теряет тягу к жизни на природе, работе на пашне, обретает новые, пагубные пристрастия.

Разрыв с землей всегда оборачивался для человека трагедией, и в этом смысле Михеев намного раньше заговорил о наступлении индустрии на деревню, о ее разрушении и опустошении, чем писатели 1960-х годов, обозначенные как деревенщики. Они застали и описали период уже окончательной деградации деревни.

В оценке происходящего Василий Михеев стоял на позиции народничества, но постепенно пришел к пониманию организованной борьбы за свои права тех, кто добывал и создавал все блага. Об этом он первым сказал в сибирской литературе, используя местный материал, в романе «Золотые россыпи», который посвятил В. Г. Короленко. Показывая сплоченность и единство рабочих, Василий Михеев ничего не идеализирует. «Трехтысячная толпа суровых лиц, мозолистых рук, вдавленных, но все еще мощных грудей казалась ему каким-то трибуналом, способным безапелляционно осудить его... в роли проницательного и опытного хозяина». Здесь речь идет о хозяине прииска, некоем Сахалинине, представителе молодых русских капиталистов, которые едут в европейские столицы не прожигать жизнь, не проматывать отцовские миллионы, а учиться делу и продуманному хозяйствованию. Но и эти хорошо обученные новоявленные хозяева жизни проигрывают перед единым разумом и общей волей тех, кого уже называют классом. Михееву удастся нарисовать не только образ-символ уже организованной, сплоченной общим интересом толпы, он передает даже некое ее мистическое пугающее наступление, спаянное глухой и слепой силой нерасторжимости.

«По лестницам медленно карабкались, как ряд теней, плотно, одна за другой, согнутые фигуры рабочих, некоторые со свечами в руках. Темная пропасть то и дело скупо освещалась мерцанием бесчисленных огоньков. При этом мерцании мгла неосвещенных углов глядела еще мрачнее, и безмолвная нить рабочих, цепляясь за перекладины лестниц, казалась цепью странных существ...»

Михеев — поэт, преданный интересам рабочего человека, и потому для его произведений характерна поэтизация труда, выраженная грохотом машин, сложностью и напряженностью производственного процесса. При этом он провозглашает свое право защищать трудовой народ и надеяться на его признание.

Два литературных мемориала

В районе площади Декабристов, в глубине квартала, стоит здание профессионально-технического училища № 1 — когда-то здесь располагалась Иркутская духовная семинария, наша «сибирская бурса». Из ее стен вышли и снискали славу на литературном поприще выдающийся публицист Афанасий Прокопьевич Щапов и писатель Михаил Васильевич Загоскин. Они дружили, общались и позже, после окончания училища, оба страстно боролись с несправедливостью, оба жили и работали в Иркутске, оба нашли в Иркутске вечный приют. Им поставлены памятники-надгробия: Щапову — на Знаменской горе, а Загоскину — на Иерусалимской. Только эти два памятника иркутским литераторам XIX века и сохранились в нашем городе.

Кладбище на Знаменской горе начали равнять и застраивать еще в тридцатые годы XX века, возвели двухэтажные бараки общежитий завода имени Куйбышева. К нынешнему времени от погоста ничего не осталось, но памятник Щапову сохранили. На мощном постаменте установлена колонна, увенчанная массивным крестом, ниже лаконичная надпись: «Родина — писателю». За сохранение памятника Щапову в сороковые и пятидесятые годы боролись историки Ф. А. Кудрявцев и С. В. Шостакович. В наши дни по инициативе историка А. С. Маджарова в Иркутске регулярно проводятся Щаповские чтения.

Здесь мы должны сказать о могучей иркутской когорте публицистов и литераторов второй половины XIX века. Это Андрей Павлович Нестеров, Серафим Серафимович Шашков, Афанасий Прокопьевич Щапов, Михаил Яковлевич Писарев, Григорий Николаевич Потанин, Николай Михайлович Ядринцев — все они преданные адепты исторической, философской, научной и общественной русской мысли, авторы сотен публицистических работ. Все они жили и работали в Иркутске, имена всех остались в истории города.

Памятник Михаилу Васильевичу Загоскину — полированная с лицевой стороны плита, в овале из лаврового венка — рельефный портрет писателя. Под ним писательское стило, прорастающее стеблем, даты и надписи: «М. В. Загоскину... Сейте разумное, доброе, вечное...» Находится памятник на бывшем Иерусалимском кладбище, на территории которого в шестидесятые годы был разбит парк для гуляний и увеселений. Ныне настойчивостью и силами общественности аттракционы парка демонтированы.

Роман Загоскина «Магистр» посвящен судьбе Афанасия Щапова. Он как бы замыкает круг лучших прозаических произведения иркутян XIX века. Прототипы его героев легко узнаются, изменены только имена. Их жизнь — детство, юность, годы обучения в бурсе, психологические портреты героев — все достоверно, поскольку не выдуманно, а списано с нату-

ры. А натура была неприглядна. «...У нас в городах над покойниками никогда так не плачут, — вспоминает Загоскин о бурсе, — как плакали наши матери, провожая своих детей в школу». Герой романа дает себе клятву добиваться лучшей, осмысленной и достойной жизни.

На стыке веков

В конце XIX — начале XX веков русскую литературу захлестнули новомодные течения как предвестия грядущих перемен, как желание освободиться от условностей религии, домашней и общественной жизни, даже полный отказ от морали и нравственности. Вейния эти шли с запада от философии Ф. Ницше, от элитарных теорий искусства А. Шопенгауэра, от признания примата бессознательного над сознанием. Декаданс, модернизм, акмеизм, символизм — эти направления в искусстве принимались с восторгом, но не в силу неотразимости, а в силу протеста против привычных и отупляющих условий жизни.

Еще до революции в Иркутске выходит поэтический альманах «Иркутские вечера», где печатали стихи молодые авторы Владимир Пруссак, Константин Журовский, Варвара Статьева, Надежда Камова, которые явно подражали Северянину, Бальмонту, Блоку, Брюсову.

Хризантемы мои молчаливые,
Бесконечно любимые мной,
Вы ласкаете сердце мятежное
Безмятежной своей красотой.

Истомленный скитаньями долгими
По пустынным житейским пескам,
Я с безумною грустью и нежностью
Прикасаюсь к родным лепесткам.

Дорогие мои, молчаливые,
Бесконечно любимые мной,
Я б хотел хризантемою белою
Расцвести над печалью земной.

Это Вячеслав Вяткин, талантливый поэт, но сильно подверженный моде. Расцвести хризантемою хотели многие, и они изошрялись не только в строках и образах, но и в нелепом словотворчестве. Иосиф Иванов призывал:

Будь творцом нетленной пряжи
Мирового покрывала,
Не отпрянь с последней стражи
Тьму создавшего развала...

Шарада и ребус, которые достойны только одного определения — бессмыслица. Но бессмыслица с претензией.

Хочу признания, хотя бы на неделю,
Хочу известности, рецензий и реклам...

Это из стихов Пруссакса «Стихи на свалке». Сказано честно, но такова безапелляционная природа эгофутуризма.

Новолитературная мода плохо приживалась в Сибири. Неизбалованные обилием новинок, сибирские поэты не восторгались и не превозносили модных литераторов, хотя знали и читали их. Свое отношение к ним читающая публика продемонстрировала во время поездки Сологуба, Бальмонта и Северянина по Сибири. Отзывы местной прессы пестрели нелестными высказываниями: «литературное уродство», «кривлянье и самореклама», «адепты фиктивной свободы личности», «модная литературная шумиха». Только Иосиф Иванов был назван «правоверным модернистом Сибири», а Сологуба и Бальмонта взял под защиту Николай Насимович-Чужак, член РСДРП с 1904 года, публицист и участник революции. В журнале «Багульник» Н. Чужак представлял Сологуба выразителем исконно русского самосознания, даже пророком, но остался со своим единственным голосом.

Эстетическое чувство сибиряков противилось новым веяниям, оно охраняло их от западных, чуждых здоровой психике веяний, помогало сохранять верность традициям и русской классике, народной эстетике и мудрости. Во многом это объяснялось благотворным воздействием могучей сибирской природы, ее влиянием на развитие души.

Конечно, доминирующую, огромную роль в этом играл такой могучий природный фактор как Байкал. Ему посвящалось немало поэтических произведений. Первым собрать под одну обложку стихи иркутских поэтов о Байкале попытался иркутский частный книгоиздатель Михаил Евстигнеевич Стож. После революции, в 1925 году, он сделал два выпуска сборника, нечто вроде краткой поэтической антологии, которую так и назвал: «Как воспет Байкал в стихах и в прозе». До прозы дело не дошло, а «Байкал в стихах» вышел.

Спит могучий Байкал. Вековой тишины
Величавую гордость хранит.
Зачарованный мир водяной глубины
Беспробудно, таинственно спит.

Там господствует мрак. На причудливом дне
Вечных грез околдованный круг —
Все оковано сном, все в таинственной мгле,
Там волшеббно отсутствует звук.

Меж суровых красот, средь диковинных рыб,
Между струй изумрудной волны,
В тихом чудном дворце из сапфировых глыб
Спит Властитель Байкальской страны.

Л. Игнатович, 1911

Прекрасной дочери Байкала Ангаре посвятил поэму Георгий Вяткин. Начинает Вяткин издалика, перечисляя достоинства и красоты российских рек. Поэт не отделяет Сибирь от России, но склоняется к сибирской красоте.

Немало чудных рек в Сибири
Быстрее этих и сильней,
Красивей этих несравненно
Иртыш и Обь, и Енисей.

Не перечесть нам рек и речек
Светлей и чище серебра,
Но нет прозрачней и прекрасней
Чем дочь Байкала — Ангара.

Фольклорно-легендарные традиции нашей поэзии, питающейся очарованием Байкала, всегда давали сибирякам силы преодолеть искушение увлечься изысками декаданса и символизма.

В годы революции

Непосредственно от революционной поры в иркутской поэзии осталось не много. В основном это несовершенные стихи Федора Лыткина да нескольких самостоятельных поэтов-красноармейцев. Они переделывали стихи разных поэтов под песни, которые распевали на знакомые мотивы: о «Варяге» или «Не вейтея, чайки, над морем».

Федор Лыткин, сын ссыльного черкеса и женщины-сибирячки, учился в иркутской гимназии, участвовал в издании коллективных сборников стихов, но уже в 1915 году увидел свет его сборник «Песни юности», который вышел в Иркутске. С выходом книжки Федор Лыткин становится поэтом революции: «Песни пасынков Сибири», «Песни перед бурей», «Друзьям бойцам», «Гимн революции», «Манифест 14 марта 1917 года», «Вы — факелы Вселенной» — названия его стихов.

Вперед, разгневанный народ!
Бушуй вспененная стихия!
Вперед! На звенья цепи рвет
Освобожденная Россия!
Вперед, о родина! Вперед!

В феврале 1918 года на Втором Всероссийском съезде Советов Федор Лыткин был избран заместителем председателя Центросибири и назначен народным комиссаром Управления Центросибири. В ноябре 1918 года Федор Лыткин был убит в бою.

Из поэтов-красноармейцев к иркутянам можно отнести только бойца илимских партизанских отрядов Николая Петровича Реброва-Денисова. В партизанский отряд Ребров-Денисов попал опытным революционером — позади Тобольский и Александровский централы. Свои стихи-песни он посвятил товарищам по оружию — «Бой под Усть-Кутом» и «Героям, погибшим под Усть-Кутом». Несомненный интерес представляет цикл стихов «Переговоры», рассказывающий о Гражданской войне. Переговоры, по замыслу поэта, ведут белый генерал Войцеховский и красный командир объединенных партизанских отрядов Зверев.

Вот каким нарисовал портрет генерала Войцеховского Ребров-Денисов.

Как в бурю свинцовая туча,
К Иркутску я быстро спешу.
Стихийным ударом могучим
Рабочих ряды сокрушу.

От ужаса мир содрогнется,
Так грозен мой будет налет,
И в море крови захлебнется
Рабоче-крестьянский народ.

Ворвутся в Иркутск легионы
И город сравниют с землей;
Расстрелы, нагайки и стоны
Идут неразлучно со мной.

Смерть сею налево, направо,
Гуманничать я не люблю;
И с рабским отродьем расправу
В Иркутске на днях учиню.

А вот ответ командарма Зверева.

Я жду вас к себе с нетерпением —
Прошу, торопитесь скорей,
Свинцово-стальным угощением
Я встречу незваных гостей.

К вам выйдут навстречу колонны
Моих добровольцев-орлов.

Узнают тогда легионы
Удар молодецких штыков.

В Иркутске народная сила
На тризну давно уж вас ждет,
Готова сырая могила,
И строю для вас эшафот.

Спешите, усатые паны,
В Иркутск, в гости к нам поскорей —
Здесь встретят вас аэропланы
И грохот, и гул батарей.

В двадцатые годы в Иркутске работали талантливые писатели Иван Михайлович Новокшенов и Павел Филиппович Нилин, которые вскоре перебрались в Москву.

Нилин уехал из Иркутска, когда ему не исполнилось и двадцати двух лет, но он уже успел поработать в иркутском и тулунском уголовном розыске и вскоре написал две повести — «Жестокость» и «Испытательный срок», под впечатлением событий своей боевой юности. По произведениям Павла Нилина снято шесть фильмов, в том числе «Большая жизнь», и почти все его фильмы удостоены Государственных премий. Иркутские литературоведы, несмотря на многочисленные премии и народное признание Нилина как выдающегося писателя, не занимались исследованием его творчества, хотя и «Жестокость», и «Испытательный срок» полностью созданы на иркутском и тулунском материале.

Иван Михайлович Новокшенов был командующим зиминским фронтом, который в конце января 1920 года держал оборону против наступающих с запада каппелевских войск. В 1928 году режиссер Пудовкин по рукописи Новокшенова снял фильм «Потомок Чингисхана».

В 1921 году в Иркутске в типографии Пятой армии был отпечатан первый советский роман «Два мира». Автором этого произведения стал Владимир Яковлевич Зазубрин (Зубцов), участник революционных событий и Гражданской войны. Он был мобилизован в белую армию и направлен в военное училище в Иркутске. После его окончания В. Я. Зазубрин отправился на фронт, где перешел на сторону красных. Работая в редакции газеты «Красный стрелок», Зазубрин собирал материал для своего будущего романа. Произведение одобрили и высоко оценили руководители советского государства — Ленин и Луначарский. Хороший отзыв первый советский роман получил от Горького: «...Социальная полезность книги этой значительна и неоспорима».

Завтра была война

Великая Отечественная война обернулась для страны бездной невзгод, и иркутские писатели полностью разделили с народом все тяготы лихолетья. Они стали участниками битвы за свободу страны, сумели выразить ее суровую правду.

На восточном фронте военными корреспондентами работали И. Молчанов-Сибирский, Ин. Луговской, К. Седых, Г. Марков, туда же, будучи студентом ИГУ, в 1943 году был призван М. Сергеев.

Моисей Рыбаков в 1941 году стал курсантом военно-инженерного училища. После окончания в качестве командира саперов он был отправлен на фронт. В Иркутске, в журнале «Новая Сибирь» стихи Рыбакова печатались еще до войны: «Наш город», «Ангарский мост», «Ангара». В 1941 году опубликованы стихи «Заярск», «Рыбак», «Кино в Братске», «Мы с Байкала», «На правый берег», «Два прощания» и другие. Капитан Рыбаков погиб в 1943 году при наведении речной переправы.

В 1942 году публикуются стихи Виктора Киселева, Иван Молчанов-Сибирский печатает стихи «Полевая почта», Иннокентий Луговской выпускает сборник «Из полевой сумки». Елена Жилкина в госпиталях и на предприятиях, на шахтах и в колхозах читает стихи — «За Родину, за честь, за свободу», «Бомба и знамя». В 1943 году в Улан-Удэ выходит ее первая книжка «Верность». В конце тридцатых — начале сороковых годов на иркутском авиазаводе работает и публикует свои первые произведения Василий Федоров. В сороковые годы выходят книги А. Тороева «Улигер, сказки и песни», «Новые сказки» на бурятском и русском языках.

Известный сибирский писатель Алексей Васильевич Зверев перед войной преподает в иркутской железнодорожной школе, а в 1942-м его призывают в армию.

Война мне миг дала, в который
Казалось, что я снова жил.
И ноющий металл моторов
Всю душу мне разворошил.

Не ведали леса и пашни
Разбоя на цветном лугу,
И сразу грудь свою бесстрашно
Земля подставила врагу.

Земля! Ты телом исполинским
Покрыла все, чтоб устоять,
И грудью белой, материнской
Принять удар! Удар опять!

И дым, и чад стеной сплошною,
И, трепетом напоена,
Над развороченной землею
Повисла грозно тишина.

И кажется, что не был страшен
Тот миг безумства и тоски —
И снова в синем небе нашем,
Летают наши ястребки.

1942

По поэтическим строчкам, если они честны, всегда можно восстано-
вить биографию поэта. Например, стихи, написанные в 1943 году, имеют
посвящение «К. 3-вой», надо полагать «Кате Зверевой», жене поэта.

Хорошо, что не вижу угла,
Где, прощаясь, пожал твою руку.
Мне, как тяжкий недуг, помогла
В прожитом разобраться разлука.

Все изжито, все горечи дней,
И в кругу позабытых такими ж...
Как твою фотографию вынешь,
Да как голову думную вскинешь,
Так в землянке вдруг станет светлей.

Да, война все ставит на место — остается только главное, остальное
уходит. И эти стихи тоже, конечно, посвящены жене.

Никакая дорога дальняя,
Ни мороз, ни палящий зной,
И не дни, что тюрьмы печальнее,
Не разлучат меня с тобой.
Сколько видел я нежных, тающих,
Ласки ищущих женских глаз.
Но те синие, не прощающие
Встретил я лишь единый раз.
В дни, когда я угас в безнадежности,
В дни потери, в раскаянья дни
Взгляд нетленной и чудной нежности,
Милый друг, для меня сохрани!

1943

Тысячи людей разлучены, но как бы ни болела душа, они делают одно великое дело — громят врага. Стихи войны, они оголены, как больной нерв, и все понятно до конца — победа или смерть.

Если ранен буду пулей жаркой,
Злая боль рассудок унесет,
Русская девчонка-санитарка
Раны перевяжет и спасет.

Может быть, что к зареву пожарищ
Злая смерть девчонку подведет,
Друг мой верный, боевой товарищ
Раны перевяжет и спасет.

А случится, что и друг печальный
Упадет на раненую грудь,
Я ползком, коль выживу случайно,
Одолею тот недлинный путь.

Я зубами буду рвать коренья,
Раною к родной земле прижмусь.
Сколько сил во мне,
В душе терпенья —
Всем во мне
До жизни доберусь
1943

И вскоре ему действительно пришлось «добираться до выздоровления» — Алексей Васильевич был тяжело ранен и долго лежал в госпитале. Об изнурительных буднях войны он поведал в повестях, принесших ему славу, — «Раны» и «Выздоровление».

...В сорок четвертом, осенью, автор этих строк пошел в школу. Нас, одиннадцать первоклашек, на обширном дворе 38-й школы Иркутска построила шеренгой наша первая учительница Екатерина Степановна Зверева и повела в класс. Учились мы во вторую смену, и зимой, когда рано темно, часто не было света. Екатерина Степановна зажигала свечу и, накинув на плечи платок, читала нам какую-нибудь книгу. Мы сидели вокруг нее и слушали. Жила Екатерина Степановна во дворе школы, с дочерью и сыном, и ее дети часто приходили к нам в класс и сидели вместе с нами.

Под новый, 1945 год, последний год войны, вернулся с фронта ее муж, тоже учитель. Он был изможден, бледен, ходил с тросточкой — получил ранение на войне и долго лечился в госпитале. Этим учителем был Алексей Васильевич Зверев, тот самый, который ушел на войну в 1942 году из нашей же школы и ей, своей жене, Кате Зверевой, посвящал стихи.

Когда я собирал материал к 40-летию Победы, я разыскивал своих учителей, врачей, которые работали в госпиталях. В ходе этих поисков я встретился с Алексеем Васильевичем. Он был уже известным писателем, а его сын Валерий стал известным в Иркутске художником. На титуле книги «Лыковцы и лыковские гости» Алексей Васильевич написал: «Ивану Ивановичу Козлову в память о нашей 38-й школе и на добрую память. 19 февраля 1986 г.»

Поэт Анатолий Ольхон в годы войны активно работал в «Окнах ТАСС». Художники Николай Шабалин и Владимир Томиловский создавали рисунки — живой отклик на события под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, а поэты Анатолий Ольхон и Иннокентий Луговской сочиняли к рисункам стихи. «Окна ТАСС» — это искусство военных лет, которое вышло на улицы. Перед витринами, где размещались «Окна», всегда толпился народ. Большая коллекция этих плакатов хранится в нашем художественном музее.

Художник Николай Васильевич Шабалин всю войну работал рядом с Ольхоном и Кунгуровым в «Окнах ТАСС». Он иллюстрировал книги иркутских писателей и детские книжки-раскладушки. Это был очень образованный и очень добрый человек. В Гражданскую, в девятнадцать лет, он воевал и с Пятой армией пришел в Иркутск. Уже тогда он пытался рисовать карикатуры и плакатные агитки. Его отправили учиться в красноармейскую студию при политуправлении армии, которой руководил Сергей Бигос, член ИЛХО. После демобилизации Николай Васильевич учился в студии Ивана Копылова, основателя иркутского изопедтехникума, затем — художественного училища. После студии Николай Васильевич учился в Ленинграде у К. С. Петрова-Водкина, а после возвращения в Иркутск работал художественным редактором Иркутского книжного издательства. Им оформлены десятки книг иркутских поэтов и писателей.

В 1945–1946 годах сестра Николая Васильевича, которая жила по соседству в нашем доме, привела к нам в гости своего брата. Худой, с огромной белой бородой, в длиннополом изношенном пальто, он показался мне старым дедом, который живет где-то в лесу. Взрослые сидели за столом, а мы с ним ушли в соседнюю комнату, и он учил меня рисовать. Мы сидели на полу среди бумаг, он рисовал птиц и зимний сад, а я попросил что-нибудь про войну. «Ах, как надоела война», — тихо сказал он, но нарисовал землянку, рядом партизана с бородой и гранатой в руке, а у края землянки — немца на тонких согнутых ногах и с поднятыми руками. С морковного носа немца свисала морозная сосулька.

«Если хочешь научиться рисовать, — объяснял мне мой бородатый друг, — ставь две точки и соединяй их прямой линией, без линейки. А потом ставь три точки и соединяй их кривой линией — рисуй круг. И так много раз, как играешь гаммы».

«А ты можешь нарисовать Сталина?» — спросил я его однажды. «Могу», — ответил он и за одну минуту набросал профиль вождя. Я смотрел на него, как на волшебника.

В семидесятые годы я посещал его выставки, называл Николая Васильевича своим учителем, бывал у него в гостях, познакомился с его сыном и невесткой. В 1972 году издательство «Советский художник» выпустило почтовую открытку с репродукцией его картины «Девочка» — круглое лицо, большие глаза, красная косынка — типичный портрет 1930-х годов. Эта работа хранится в запасниках иркутского художественного музея. На обороте открытки Николай Васильевич написал: «Ивану Ивановичу, с которым я познакомился, когда ему было 10 лет, и я подарил ему книжку с моими иллюстрациями. Продолжим наше знакомство на многие годы еще. Н. Шабалин».

Это был февраль 1978 года. Через два года его не стало.

После Победы

После войны домой, в родной Иркутск, возвращаются писатели-фронтовики: артиллерист Алексей Зверев, сапер Лев Кукуев, военные корреспонденты Георгий Марков, Иван Молчанов, Константин Седых, Марк Сергеев, политработник Леонид Огневский, штурман бомбардировочной авиации Василий Козловский и офицер пехоты, поэт Юрий Левитанский. Начинается новое время, новая литература.

Заявившие о себе еще до войны иркутские романисты Г. Марков и К. Седых работают над продолжением сибирских эпопей, а вперед, как более оперативный жанр, вырвалась поэзия. Кроме поэтов старшего возраста — И. Луговской, А. Ольхон, И. Молчанов-Сибирский, Е. Жилкина — заявили о себе поэты более молодого поколения — М. Сергеев, Ю. Левитанский, П. Реутский. Поэты, как требует время, привносят новые темы в литературу. Иннокентий Луговской создает стихи о геологах — «Саянская песня», о строителях — «На Великом Сибирском», о тружениках Байкала — «Омулятники», «Над тихим Байкалом».

В Сибири и на Дальнем Востоке начинают выходить новые альманахи. Свои литературно-художественные и общественные издания обрели Красноярск, Владивосток, Чита, Магадан, Колыма и Сахалин. Продолжали выходить уже известные журналы и альманахи «Сибирские огни» в Новосибирске, «Енисей» в Красноярске и «Новая Сибирь» в Иркутске. В конце сороковых годов, задолго до пьесы «Канун грозы» драматург Павел Маляревский создает по мотивам известных отечественных и зарубежных сказок и легенд пьесы для детского театра, придавая им современное звучание: «Кот в сапогах», «Счастье», «Не твое, не мое, а наше», «Чудесный клад», «Конек-горбунок». Сказочные персонажи рассказывают детям о до-

бре и зле, о лжи и справедливости, и юные граждане растут с уверенностью, что добро и справедливость всегда побеждают.

С Иркутском послевоенных лет связана творческая судьба поэта Василия Федорова. Свой трудовой путь он начинал в колхозе, а в годы войны работал на авиационном заводе. В 1947 году у него выходит книжка «Лирическая трилогия» и его направляют в Литературный институт. Он пишет о золотоискателях, землепашцах, его крестьянский характер чувствуется в стихах и поэмах «Золотая жила», «Мастер», «Трудовая книжка». Индустриализация страны, создание промышленного потенциала — тоже его забота, ибо за этим стоит судьба России. Лучшим произведением Федорова на эту тему является его прекрасная поэма «Проданная Венера».

Василий Федоров никогда не терял связь с Сибирью, с литературным объединением иркутского авиазавода «Парус». Это литобъединение посещали и получали там уроки поэтического мастерства поэты послевоенного поколения — Г. Гайда, В. Скиф, В. Козлов.

«Следует жить...»

В 1948 году в Иркутске происходит яркое и значительное событие: композитор Ю. Матвеев и поэт Ю. Левитанский создают первую песню об Иркутске.

Когда мы шли военными дорогами
В походах и сраженьях боевых,
За падами таежными далекими
Ты снился мне в землянках фронтовых.

Студеный ветер дует от Байкала
Деревья белые в пушистом серебре.
Родные улицы,
Знакомые кварталы —
Город, мой город на Ангаре.

Юрий Левитанский после войны около десяти лет прожил в Иркутске. Он стал известным поэтом, и вся страна знала и пела, и поет его чудные стихи-песни, такие как «Монолог у новогодней елки».

— Что происходит на свете?
— А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы?
— Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
В ваши уснувшие ранней порою дома...

На войну он ушел добровольцем, участвовал в освобождении Киева, Будапешта и Праги. Стихи начал писать на фронте, а в 1948 году в Иркутске выходит его первый сборник «Солдатская дорога». Редактирует книгу А. Ольхон, оформляет художник Н. Шабалин. Потом следуют сборники «Встреча с Москвой» (1949), «Самое дорогое» (1951), «Листья летят» (1956).

Первая песня об Иркутске у многих иркутян рождает воспоминание о далекой юности, о музыке и огнях на катке, о ярко освещенных фасадах кинотеатров «Художественный» и «Гигант», об улыбках студенток. Я учился тогда в авиационном техникуме и, как многие юноши, писал стихи. Однажды, взяв тетрадку, я пошел в редакцию газеты «Восточно-Сибирская правда».

В пятидесятые годы журналисты и писательская организация располагались на втором этаже бывшего книжного магазина Макушина и Посохина на улице К. Маркса, там, где ныне — филиал краеведческого музея. Пришел, спросил кого-нибудь из писателей, и мне показали на небольшое окошко, которое выходило на лестничную площадку. Над окошком табличка «Прием рукописей». Стучу, и появляется лицо с черными усиками, волнистой шевелюрой и светлыми глазами. Мой визави в военной форме, кажется лейтенант, при орденах. «Я вас слушаю». В ответ я протягиваю тетрадку. Лейтенант заглядывает в нее, пробегает глазами и спрашивает: «Отец жив?» — «Нет». — «Он был летчиком?» — «Нет, просто я учусь в авиационном техникуме...» — «Хорошо. Мы вам ответим», — кивнул офицер и ушел вглубь комнаты. Это был Юрий Левитанский — я узнал его — он выступал перед студентами, и потом я видел его на фотографиях.

Левитанский любил сибирские песни, считал, что ничего прекраснее природной красоты не может быть на свете.

Вы помните песню про славное море?
 Про парус, летящий под гул баргузина!
 ...Осенние звезды стояли в дозоре,
 осенним туманом клубилась низина.

Потом начинало светать понемногу,
 Пронзительно пахли цветы полевые...
 Я с песнею тою пускался в дорогу,
 Байкал для себя открывая впервые.

.....

И думалось мне под прямым его взглядом,
 Что, как ни была бы ты, песня, красива,
 Ты меркнешь,
 Когда открывается рядом
 Живая
 Земная
 Всесильная сила.

Ответ я получил на бланке с грифом газеты. Там было сказано, что стихи искренние, образные, отметили стихи о погибшем летчике и предложили поработать над текстами.

В 1956 году Левитанский уехал из Иркутска, оставив нам прекрасную песню, которая и сегодня звучит в эфире.

«Иркутская стенка»

В шестидесятые годы в стране менялся идеологический климат. С новыми идеями и новым подходом к общественной и частной жизни человека в литературу приходит поколение писателей и поэтов предвоенных лет рождения, чье детство и взросление пришлось на войну и на послевоенные годы.

В пятидесятые годы произошли два события, которые знаменовали собой прорыв молодого поколения в большую литературу с качественно новыми установками, отличными от установок старших поколений литераторов. Это были две группы молодых поэтов и прозаиков, сформировавшиеся в разных концах страны, но которые фактически разом вышли на литературную авансцену и обрели огромную популярность и влияние.

Первая группа — это москвичи Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский и, как шутили писатели, «примкнувшие к ним» Б. Ахмадулина и Б. Окуджава. Лидером этой группы поэтов, талантливых и работоспособных, безоглядных в своем напоре, стал самый энергичный, шумный и популярный из них, Евгений Евтушенко, который сразу начал примерять на себя тогу пастыря молодого поколения страны. Эта группа осознавала свое лидерство и высказалась устами Вознесенского: «Нас мало, нас, может быть, четверо...»

Второй группой прорыва стала «стенка» молодых иркутских писателей, как они сами себя называли. Они единым голосом заявили о себе в 1965 году на знаменитом Читинском семинаре писателей Восточной Сибири, когда из десяти принятых в Союз писателей СССР семеро оказались иркутянами: Александр Вампилов, Валентин Распутин, Леонид Красовский, Геннадий Машкин, Юрий Самсонов, Дмитрий Сергеев, Вячеслав Шугаев и Ростислав Филиппов (Филиппов жил тогда в Чите, но со временем переехал в Иркутск). Участниками семинара были Сергей Иоффе, Борис Лапин, Глеб Пакулов, они стали членами Союза немного позже.

Этих молодых сибирских литераторов тогда и называли «иркутской стенкой», которая сыграла значительную роль в обновлении российской литературы, провозгласив главными постулатами творчества нравственность, гражданственность, достоинство. В группе преобладали прозаики, словно в противовес московской группе Евтушенко — там все были поэтами. Обе группы — и «иркутская стенка», и московская безымянная — бы-

стро стали известны и популярны в стране и за ее пределами. Лидером «иркутской стенки» был молчаливый, но отзывчивый Александр Вампилов, Саша, Саня, как его называли друзья.

Геннадий Машкин вспоминал: «В минуты упадка духа, как в трагическом случае с чтением «Утиной охоты» на худсовете в нашем драмтеатре, мы собирались всей «стенкой» и начинали разрабатывать новые замыслы. И никто не стеснялся прорабатывать свой личный сюжет на товарищеском собрании». Однажды у Петра Реутского, которого «стенка» решила перетащить из поэтов в прозаики, не задалась повесть «Три дня в гостях у Аллы». Александр Вампилов предложил разбросать повесть на четырех редакторов: на него самого, на Машкина, на Шугаева и на Распутину, чтобы отредактировать ее и дать возможность Петру Ивановичу завершить начатое. Но случилось так, что Шугаева, Машкина и Вампилова отправили в командировку. Тогда Распутин, верный литературному братству, оставшись один, целый месяц работал с рукописью Петра Ивановича. «...Наш Валентин отдал «Алле» месяц драгоценного времени... На месте Распутина в то время мог оказаться каждый из нас — картина была бы та же», — записал Машкин.

Когда «стенка» стала отвоевывать все более широкое поле популярности, ее недоброжелатели, а таковые у талантливых людей всегда найдутся, стали поговаривать, что они, молодые, теснят стариков, ветеранов войны — вот уж поистине немощь на всю голову. Мы все свидетели, как наши дорогие ветераны — А. В. Зверев, Д. Г. Сергеев, Г. Ф. Кунгуров, Е. В. Жилкина, В. В. Козловский — называли всю «стенку» трогательно, как младших братьев: Валя, Саня, Слава, Гена... «...Мы в своих литературных началах тесно примыкали к старшим из роковых-сороковых, которые осваивали перо иногда с большими трудами, чем их молодые собратья», — свидетельствует Геннадий Машкин.

Что касается московской группы поэтов, то назвать ее «стенкой» не получается. Творческие принципы и направления участников изменились, поэты разошлись, хотя у них и сохранилась обычная человеческая дружба. Единства взглядов, тем более братства, как у сибиряков, у москвичей не случилось. Эта группа была дружна, пока рвалась на литературные подмошки страны, а потом этого не стало.

«Иркутская стенка» всегда, до конца оставалась единой и верной молодым убеждениям когортой. Ее идеалы оставались ясными и понятными, помыслы и поступки — неразделимыми: как думаешь — так и учи, как учишь — так и живи. У писателя не может быть двух путей, один для читателя, другой для себя. Писатель, живущий не по убеждениям, — не пророк.

К «иркутской стенке» партийные власти относились благосклонно, но никогда и никто из шеренги писателей не создал повестей или рассказов о революции или о Гражданской войне или даже о строителях коммуниз-

ма, хотя и были прямые заказы от комсомольцев под договор. Однажды такой договор с руководством комсомола подписали Вячеслав Шугаев и Валентин Распутин, получили аванс и уехали на север работать. Когда пришло время, рукопись защищал Шугаев — он прочитал несколько глав перед секретарским застольем, и состоялся диалог, который озвучил потом Геннадий Машкин.

«Повесть написана достоверно, простым языком... Но есть замечание: произведение выполнено не в той идейной плоскости, о которой мы говорили, когда подписывали заказ. Тут, видимо, дело в главном герое...»

А как оказалось, главным героем повести стал экскаваторщик Борис Тамм, который выстроил дом, где находили приют все, кто оказался без крыши над головой. Это был сын Лидии Тамм, революционерки, репрессированной в тридцатые годы, который, как и мать, сочувственно относился к тем, кого преследовала советская власть. Ясно, что такой герой не мог устроить руководство комсомола.

В Иркутске тоже писали о революции и Гражданской войне, но не трубили во все фанфары, а просто исследовали эти события как реальный исторический акт. Таким образом, ни сама «иркутская стенка», ни ее окружение не заискивали перед властями. В те годы благодаря заданному молодыми писателями импульсу в Иркутске формировался отряд литераторов, ориентированный на благотворный процесс морально-нравственного обновления общества.

«Иркутская стенка» росла и крепла год от года и не отступала от принципов, привнесенных в литературный обиход Александром Вампиловым и Валентином Распутиным: нравственность и совесть, единство слова и поступка, беззаветное служение правде и своему народу. И самой «иркутской стенке», и всем нам очень повезло, что два таких светлых и талантливых человека, как Вампилов и Распутин, встретились однажды и состоялось их чисто человеческое и творческое содружество, взаимопонимание сделало их единомышленниками, превратилось в явление российской литературы и культуры. И не случайно Иркутская писательская организация стала одной из признанных и сильнейших в стране. «Иркутская стенка» всегда оставалась открытым прибежищем светлого духа и творческого мышления, и пропуском в него служила талантливая книга, честное отношение к избранному делу, способность независимо мыслить и талант искренне и преданно дружить.

Сегодня мы видим, что «иркутская стенка» это не только те, кто был принят в Союз писателей на Читинском семинаре, но и все те, кто пришли следом и встали рядом.

В «иркутскую стенку» влились участники того же семинара Сергей Иоффе, Борис Лапин, Глеб Пакулов, принятые в Союз писателей позже. За ними в разные годы последовали А. Гурулев, Ю. Скоп, В. Жемчужников,

Г. Михасенко, Б. Лапин, Е. Суворов, К. Балков, В. Гусенков, И. Новокрещенных, А. Румянцев, С. Китайский, А. Горбунов, Н. Матханова, М. Трофимов, М. Просекин, Ю. Аксаментов, В. Соколов и еще В. Соколов, П. Забелин, В. Нефедьев, Ю. Черных и другие.

Появление писателей с истинно художественным видением жизни способствовало становлению литературной критики. Из преподавателей вузов, филологов, самих писателей стал формироваться отряд профессиональных исследователей литературы с убеждениями, не зависящими от идеологических установок.

Это не означает, что мы должны менее внимательно относиться к ранним представителям иркутской критической школы. Они работали в других условиях, но, несомненно, внесли огромный вклад в сибирское литературоведение. В их числе Алексей Абрамович, Константин Азадовский, которые своими творческими исследованиями положили начало профессиональной литературной критике в Иркутске.

Огромную работу совершил литературовед и историк сибирской литературы Василий Прокопьевич Трушкин. Он ввел в научный оборот множество имен поэтов, прозаиков, фольклористов, публицистов и критиков XIX–XX веков, систематизировал разбросанные по различным источникам литературные факты. Несмотря на то, что очерки Трушкина выдержаны в духе идеологии его времени, мы до сих пор пользуемся составленным им и В. Г. Волковой двухтомником «Литературная Сибирь», его книгой «Литературный Иркутск» и другими трудами, изданными в 1960–1980-е годы.

Новый отряд литературных критиков активно взялся за дело. Книги очерков, посвященных творчеству иркутских писателей, выпускает в 1970–1980-е годы Павел Забелин — это «Литературный разъезд», «Поэты и стихотворцы», книгу литературных эссе «Путь неизбежный» — Анатолий Кобенков. С обзорами альманаха «Сибирь» в семидесятые годы выступала в иркутской прессе Анна Рубанович, критические статьи публиковала Валентина Марина.

Надежда Степановна Тендитник

На каждом корабле, где есть капитан, знающий, куда и зачем вести корабль, обязательно есть штурман, выверяющий и уточняющий путь. Таким штурманом для иркутских литераторов была Надежда Степановна Тендитник. Эта удивительная, мужественная, интеллигентная женщина, педагог, высокопрофессиональный филолог и литературовед, поддерживала художественное мастерство как главный писательский дар, приветствовала правдивость и смелость в изображении жизни. Она раньше многих поняла, какую прекрасную перспективу открывает нашей литературе «иркутская стенка» писателей, и, похоже, подходила к разгадке того, что давно

обозначено как магия слова. Слово несет в себе заданность и программу будущих событий. Исследование произведений писателя заключает в себе ту же магию слова.

Надежда Степановна Тендитник первая уловила смелую тенденцию отхода молодой иркутской прозы от идеологической зашоренности. Эта смелость передалась и ей, подвигла ее пристрасно следить за творческим ростом молодых авторов. Она принципиально поставила вопрос о нераздельности нравственного чувства и чувства долга, о нерасторжимости слова и поступка, о цельности убеждений и образа жизни. Исследуя творчество Вампилова и Распутина, она обнаруживает эти явные, основополагающие качества их характеров, поступков, творчества.

Довелось нам с Надеждой Степановной поговорить и о таком интересном явлении, как пресловутая бесконфликтность в литературе сталинских времен. Мы вспомнили что, создавая фильм «Кубанские казаки», режиссер Иван Пырьев буквально оголял полки районных продмагов, свозя все на съемочную площадку. Но он верил в великую, оберегаемую церковью истину: правда не всегда в том, что есть, а чаще она в том, как должно быть.

Говорили мы с Надеждой Степановной и о распространенном среди писателей высокомерии, когда человек, написавший даже и неплохую книгу, ведет и чувствует себя так, словно он превзошел всех и во всем и получил право всех поучать. «Посмотрите, как скромн Валентин Григорьевич, — говорила она. — Истинный талант и мыслитель, как он честен и никогда не поучает. И об этом надо говорить и говорить, это прекрасный образец цельности человека, в этом заключена спасительная предопределенность и заданность. Вы понимаете меня?»

Я понимал ее.

До последних дней Надежда Степановна изучала произведения иркутских писателей, искала и поддерживала в них ростки того, что следует культивировать для оздоровления общества. Круг авторов, к которым она питала серьезный интерес, был широким: Алексей Зверев, Дмитрий Сергеев, Альберт Гурулев, Валентина Сидоренко, Анатолий Горбунов, Ростислав Филиппов. В этом нетрудно убедиться, прочитав ее книги «Мастера» (1981) и «Энергия писательского сердца» (1988). В перестроечные годы критик обращается к открывшимся именам писателей русского зарубежья — Борису Зайцеву, Ивану Шмелеву, к не издававшимся в советское время отдельным произведениям Николая Лескова, выступает с публицистическими статьями на образовательные и культурные темы, продолжает откликаться на новые книги иркутских писателей.

Выразить себя в слове

Передо мной фотография 1972 года, на которой, касаясь плечами, сидят три начинающих поэта, еще совсем молодые, почти юные — Василий Козлов, Геннадий Гайда, Владимир Смирнов, который вскоре станет Скифом, и рядом с ними Павел Хемпетти, тоже молодой поэт, и вместе со всеми красавица Лена из Манзурки, подруга всех поэтов. Они вступают на путь литературного служения с надеждой найти вечную истину и выразить ее, как никто не выражал до них. Они еще не знают, какой путь всем им предстоит, кем они станут друг для друга.

Время шло, в литературном кругу все больше прибывало их сверстников и единомышленников. Валентина Сидоренко и Анатолий Байбородин, Анатолий Кобенков и Вера Захарова, Татьяна Суровцева и Василий Забелло, Александр Семенов, Валерий Хайрюзов, Александр Латкин — их поколение громко заявило о себе, было поддержано и «иркутской стенкой», и читателями.

Это не удивительно, потому что прозаики конца семидесятых — восьмидесятых годов, продолжающие творить и сегодня, основательно разрабатывали и природоохранную, и духовно-нравственную темы, поэты обращали свои стихи прежде всего к душе человека, а главное — все они стремились сохранить полнозвучное русское слово. Валентина Сидоренко помимо писательской получила известность как составитель-редактор православной газеты «Литературный Иркутск», подобной которой не было в стране в конце восьмидесятых — начале девяностых годов.

В конце XX и начале XXI веков писательские союзы значительно пополнились: в них влились как те, кто давно торил свою тропу в творчестве, так и новички литературного дела — простое перечисление имен займет немало места. Большинству из них не пришлось преодолевать сопротивление при выборе идейно-нравственных критериев, оно уже было преодолено. Однако им выпали другие, может быть, более тяжкие испытания — безвременье, искушение рыночными соблазнами, опасность не сохранить позиции, на которые вышла иркутская литература за последние пятьдесят лет. Время даст свою оценку сочинениям и общественной деятельности этих писателей, но уже сегодня можно отметить, что прозаик Олег Слободчиков уверенно встал на путь исторического романиста, поэт Анатолий Змиевский полюбился многим читателям своими горячими стихами, а проживший недолгую жизнь поэт Владимир Пламеневский успел создать культурный центр поэзии и живописи на Байкале.

Сегодня в Иркутске работают три писательские организации. Помимо Иркутского регионального отделения СП России, где остаются основные силы, это Иркутское отделение Союза российских писателей и Иркутская областная писательская организация. Выходят новые книги, издается жур-

нал «Сибирь», альманахи «Зеленая лампа» и «Иркутское время». Наши земляки, несмотря на трудные для культуры дни, не утрачивают желания выразить себя и свое время в слове.

Как и прежде, писатели заняты не только творчеством, но и ведут большую просветительскую работу. Они встречаются со своими читателями в библиотеках, школах и вузах, проводят крупные общественно-литературные акции, такие как Дни русской духовности и культуры «Сияние России», Международный День поэзии на Байкале, участвуют в театральном фестивале современной драматургии им. Александра Вампилова, литературных вечерах «Этим летом в Иркутске», городских и областных литературных праздниках.

Так что не будет преувеличением сказать: лучшие традиции иркутской литературы, заложенные в прошедших веках, продолжают и в новом тысячелетии.

2011

«Ноября 15 дня 1850 года»

Утром 14 ноября 1850 года иркутский маклер, лысый узкоплечий человек в черном поношенном сюртуке, старательно записывал: «Мы, нижеподписавшиеся, содержатель театра гражданин Царства Польского Иосиф Маркевич и обер-офицерский сын Дмитрий Федоров Лисицын, заключили сие контрактное обязательств: я, Лисицын, обязуюсь быть в труппе г. Маркевича сроком, считая от 15 ноября нынешнего 1850 года в звании актера, преимущественно на амплуа молодых людей в драмах, водевилях, операх и, словом, во всех пьесах, где мое амплуа будет, а в случае недостачи актеров в труппе г. Маркевича занимать также роли комические, как-то простаков, стариков и другие по назначению содержателя безотговорочно, равным образом и жена моя Мария Ивановна Лисицына должна участвовать по возможности и способности ее в пьесах... За такое исправное исполнение обозначенной обязанности со стороны моей, Лисицына, г. Маркевич обязан дать мне за годовое служение триста сорок пять рублей серебром и один полный бенефис в 1851 году по собственному выбору пьес Лисицыным из моего репертуара... ноября 14 дня 1850 года».

Традиционно пожали друг другу руки. Отныне подписанный контракт закреплял власть антрепренера Маркевича над актерскими дарованиями волею судьбы заброшенной в Иркутск четы Лисицыных. Тут же, на Амурской, они расстались. Маркевич спешил в канцелярию генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева, где решалось дело о строительстве постоянного здания театра в Иркутске. Пока все шло точно по задуманному им, Маркевичем, плану...

Так представился мне тот далекий ноябрьский день 1850 года, когда были сделаны первые шаги в организации профессионального театра в Иркутске. Впрочем, процитированный выше договор с Лисицыным — подлинный, списанный из старинной маклерской книги. Там же, в этих

Сидорченко Виталий Петрович (род. 20 января 1938 г. в с. Порог Иркутской области), заслуженный артист Российской Федерации, член Союза писателей России.

столетних книгах с уже пожелтевшими листами, обнаружил я еще несколько контрактов с артистами: Иваном Гудковым, приглашенным на роли комиков-буфф, резонеров и простаков; Елизаветой Ударцевой — на амплу старух, благородных матерей, сварливых женщин; Ильей Григорьевым — на роли комиков и простаков. Чуть позже Маркевич принял в труппу еще несколько актеров и среди них крепостного графа Шереметьева Семена Разгонина, играющего характерные роли с годовым жалованием в триста рублей серебром. Каким образом крепостной актер графа Шереметьева оказался на «отхожих промыслах» в далеком сибирском театре — пока загадка. Но такая запись в маклерской книге существует. Вообще эти договоры-контракты, написанные выцветшими от времени коричневыми чернилами бойким витиеватым почерком безвестных иркутских писарей-маклеров, открыли фамилии неизвестных ранее иркутских актеров, рассказали об условиях их жизни и службы в театре.

«...Мне, Григорьеву, быть в труппе г. Маркевича актером на амплу комиков-буфф и простаков на 1 год, т. е. до Великого Поста будущего 1852 года... К репетиции я, Григорьев, должен являться в назначенное содержанием время в приличном виде и соблюдать благопристойность на репетиции... К г. Маркевичу иметь почтительность, не забываться, грубостей и неприятностей без причины ему не наносить и равным образом и самому Маркевичу и его семейству меня без причины не обижать, а более всего не самоуправствовать... При постоянном и временном театре обязываюсь я, Григорьев, разучивать данные мне г. Маркевичем роли «безотговорочно», но однако ж заблаговременно... Играя на сцене, я, Григорьев, обязываюсь знать твердо роль свою. Постараться заранее обдумывать характер данной мне роли и при этом быть в приличном виде, а в случае, если со стороны моей не будет выполнено, то г. Маркевич может записать штраф три рубля серебром... В случае какой-нибудь возникшей причины: как-то по незнанию роли в назначенный день спектакля и она отменится или будет играть за меня другой актер, в таком случае я лишаюсь в штрафе 25 рублей.

Жалованья г. Маркевич платит мне, Григорьеву, 300 рублей серебром.

Следующее по-прежнему условие — половина бенефиса мне, Григорьеву, в мае текущего года и полный бенефис получить в первых числах ноября месяца.

Условие с обеих сторон хранить свято и ненарушимо, в чем и подписываемся:

уроженец Царства Польского Иосиф Маркевич.

Тобольский мещанин Илья Федоров Григорьев.

Контракт сей подписан в Иркутске февраля 25 дня 1851 года».

Забегая чуть вперед, отметим, что актер Григорьев для труппы Маркевича был весьма достойным приобретением.

В ноябре 1852 года корреспондент газеты «Московские ведомости» пи-

сал из Иркутска: «...Труппа у нас постоянна и хотя не блестящая, но более чем посредственная; в составе ее есть одно дарование, самобытное, которое при большом образовании могло бы пойти далеко: это комик Григорьев, в характере таланта которого есть много общего с игрой знаменитого Мартынова. ...Природа не была скупа к этому артисту: рост его, выражение лица, самый голос, все преисполнено неподдельного, чистого комизма...»

Были в труппе Маркевича и другие талантливые актеры. Те же «Московские ведомости» отмечали Антона Лебедева, молодого актера «с душой и чувством и большим навыком к сцене, обладающего довольно счастливой наружностью и огромнейшей памятью; в некоторых ролях он весьма хорош и верен натуре...»

Лебедев играл в основном роли военных молодых людей и резонеров. В труппе служила и его жена Любовь Лебедева. Однако контракт с Маркевичем был у них один на двоих и жалованье (400 рублей серебром) им было определено единым, видимо, из-за актерской малоопытной жены.

Из других актрис наибольшей известностью пользовались госпожа Санковская и девица Андреева (так в старом театре определялось звание молодых, незамужних актрис). Последняя соединяла в себе «несомненный талант со строгим и усердным изучением каждой роли». Она удивляла публику и своими музыкальными способностями. Однажды, не зная ни одной ноты, за три урока приготовила партию из оперы «Велизарий» Доницетти и пела ее дуэтом с заезжим гастролером итальянским певцом Жордани. Дуэт был исполнен мастерски, и, как писала газета «Северная пчела», «артистка пела свою партию с душой и даже с драматическим увлечением».

Дарья Андреева была принята Маркевичем в труппу в августе 1852 года. В договоре указывалось, что ее обязанность «исполнять должность актрисы, то есть играть ей роли во всех пьесах, где ее будет амплуа, как-то в драмах, комедиях, водевилях и операх, разучивать роли твердо, быть всякий раз по назначению на репетициях, играть на сцене и притом не хладнокровно, а усердно, одним словом, так, как дозволяют ей силы и способности. В случае переезда в другой город Маркевича Андреева должна беспрекословно за ним следовать с труппой. Содержание, то есть квартиру и стол, должна она, Андреева, иметь за собственный свой счет. Костюмы же, относящиеся к сцене, включая комические, должна иметь свои. Обращаться мне, Маркевичу, с Андреевой благородно, отнюдь не наносить ей каких-нибудь дерзких ругательных слов, в поношении чести, равным образом и с ее стороны должна исполняться почтительность к содержателю или к семейству его, не грубить и от принимаемой ею обязанности не отказываться. Жалованье я, Маркевич, должен давать ей, Андреевой, за службу при театре актрисой триста рублей серебром в год и один полный бенефис в ноябре месяце сего 1852 года, а другой бенефис она должна взять после

Пасхи... К сему условию с согласия моей матери Пелагеи Андреевой, дочь ее девица Дарья Андреева руку приложила».

Вообще этот и другие договоры, заключенные Маркевичем ранее, дают довольно полную картину взаимоотношений актеров и антрепренера.

Впрочем, Иосиф Маркевич к приезду в Иркутск был уже опытным антрепренером. В столичном журнале «Репертуар и Пантеон» за 1845 год опубликована статья о гастролях его труппы в Уфе летом этого же года. Рецензент «Пантеона» анализирует два спектакля труппы Маркевича: «Де-душка русского флота» Н. А. Полевого и «Купеческая дочка и чиновник четырнадцатого класса» Н. Соколова. Отмечалась игра самого Маркевича и его тринадцатилетней дочери, актеров Лебедева, Ударцевой, Григорьева и особенно Ивана Гудкова. Да, это тот самый Гудков, который держал любительский театр в 1842–1843 годах в зале Преображенского училища. Словом, до приезда в город на Ангаре Маркевич собрал уже неплохую труппу.

Газета «Восточное обозрение» в 1889 году в № 13 и № 22 опубликовала воспоминания одного старожила-иркутянина. Он пишет, что Иосиф Маркевич в сороковых годах дважды приезжал с труппой в Иркутск, где играл спектакли на площади у собора в деревянном балагане. Видимо, в то время и поступил к нему в труппу актер-любитель Иван Гудков. Город Маркевичу понравился. Он решил остаться здесь и основать театр с постоянной труппой. Купил дом для семьи и начал хлопоты по постройке здания постоянного театра.

Городская дума отказалась нести какие-либо расходы и смогла только выделить участок городской земли для постройки театра. Тогда Маркевич обратился к генерал-губернатору Н. Н. Муравьеву с просьбой выделить ему из казны на строительство десять тысяч рублей. Граф Н. Н. Муравьев, «сознавая великое образовательное и воспитательное значение театра, понимая, какое громадное влияние он может оказать на местное население», помог Маркевичу. Деньги были взяты из средств «винного откупа» и из пожертвований именитых купцов Иркутска — в первую очередь, известного Ефимия Андреевича Кузнецова. Получив деньги, с условием, что через десять лет здание перейдет в собственность города, Маркевич приступил к строительству деревянного театра на углу Троицкой и Большой улиц, на том самом месте, где стоит нынешний — каменный.

Но... уже в ноябре представления начались в зале Благородного собрания на Амурской улице вблизи Спасской церкви. Вот как прокомментировала это событие газета «Северная пчела» 28 декабря 1850 года: «Иркутск, 15 ноября... Наконец открылся в Иркутске постоянный театр. До приезда еще содержателя онного г. Маркевича открыт был абонемент на пятнадцать представлений, цена креслам назначена была 22 рубля 50 копеек серебром, а местам за креслами 15 рублей серебром. Первые представления, состояв-

шие из пьес «Любовный напиток», «Комедия с дядюшкой», «Андрей Степанович Бука», «Жених нарасхват», «В людях ангел, не жена» и других, были даны в зале Благородного собрания, потому что здание театра (деревянное) еще не выстроено. На первом представлении театр совершенно был полон, и все остались в восхищении от прекрасных декораций и костюмов. Состав труппы совершенно удовлетворительный. Особое внимание заслужили актрисы госпожи Санковская и Романовская».

Об этом событии в Иркутске сообщил также журнал «Московитянин» в № 2 1851 года. А через год было достроено здание постоянного театра. Как писали очевидцы, «в архитектурном и акустическом отношении театр удовлетворял всем требованиям сценического искусства. Здание деревянное длиною семнадцать, шириною двенадцать и вышиною до четырех сажень. Два яруса лож и галерея, партер и девять рядов кресел расположены с большим знанием дела и в отличном вкусе».

Торжественное открытие нового театра состоялось 22 октября 1851 года. В этот вечер шли пьеса Н. А. Полевого «Русский человек добро помнит» и два водевиля: «Девушка-моряк» (Т. Б.) и «Жена за столом, муж под столом» (Д. Ленского). Вскоре газета «Московские новости» сообщила, что в Иркутске сформировалась постоянная труппа актеров, хотя и не блестящая, но в ее составе такие дарования, как комик Григорьев, в характере таланта которого есть много общего с игрой знаменитого Мартынова... «Замечателен Лебедев, с душой и чувством и с большим навыком к сцене... Заметна Санковская благородною и естественною игрою, Маркевич и Андреева, в особенности последняя, соединяющая с несомненным талантом строгое и усердное изучение каждой роли...»

Автор также писал, что, приехав из Москвы, он нашел в Иркутске «общество многосторонне образованное, с горячим участием следящее как за быстрым и плодотворным развитием своего края, так и за интересами всего образованного мира». А вскоре, побывав на балу у генерал-губернатора и увидев иркутское общество «с оттенками и подразделениями», автор восторженно заключал: «Давно шатаюсь я на белом свете, много торжеств, праздников и балов был свидетелем и участником, и без преувеличения скажу, что этот бал заключал в себе все условия самого изысканного и утонченного вкуса. Очаровательная приветливость и любезность хозяйки дома, внимание и постоянная предупредительность достойного и высокоуважаемого хозяина одушевляли этот прекрасный бал. Чудная зала, украшенная зеркалами и обильной зеленью, при ослепительном освещении, производила эффект поразительный; роскошный туалет дам, при соблюдении всех требований моды, выказывался еще рельефнее, украшенный собственным эстетическим вкусом. До трех часов продолжались танцы, и конечно, каждый вынес с собой живое чувство благодарности к достойным и радушным хозяевам».

Конечно, это изысканное иркутское общество непременно посещало все спектакли в только что отстроенном театре, а затем активно их обсуждало. Спектакли шли четыре раза в неделю. Антрепренер постоянно обновлял репертуар. «Грустно, — замечает автор, — что обыкновенный и общий всем провинциям недостаток заключается в преобладающей страсти к новизне; как бы ни было умно содержание пьесы, кто бы ни был автор, но более двух раз в месяц дать одну и ту же пьесу невозможно, иначе сбор не окупит и освещения, причем нельзя не пожалеть об особенном влечении некоторой части публики к драматическим произведениям, которые имеют такое же право называться драмами, как произведения доморощенных художников живописью; одним словом, к пьесам раздирательным, со взрывами сильных, но изуродованных страстей, в которых авторы, за отсутствием художественного элемента, прибегают к помощи турецкого барабана, сражений и, говоря техническим афишечным языком, к великолепному спектаклю, но дело решенное: о вкусах не спорят, да притом и апелляций на публику не существует».

Автор писал эти строки в ноябре 1851 года, то есть спустя месяц после открытия нового театра. Построив театр, Маркевич увеличил труппу, пригласив из Петербурга и других городов артистов: Волкова, Львова, Ярославцева, балетмейстера Грузинцева.

Петербургская газета «Северная пчела» писала: «Иркутский театр, младенец по времени, далеко оставил за собой многие провинциальные театры как составом своим, так и разнообразием репертуара. Труппа значительно умножена талантами весьма замечательными. В особенности актер Ярославцев, на роли Самойлова (В. В. Самойлов — известный актер Александринского театра в Петербурге. — В. С.), соединяющий с прекрасно обработанным голосом удивительный навык к сцене...» Пригласил его в Иркутск Аркадий Николаевич Похвиснев — старший чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Н. Н. Муравьеве, возглавляющий театральную дирекцию.

Александр Харитонович Астапов-Ярославцев был довольно известным провинциальным актером в сороковых-шестидесятых годах. Играл в Нижнем Новгороде, Ярославле, Туле, Воронеже, Курске, Симбирске. Оттуда то и пригласил его в 1852 году в Иркутск А. Н. Похвиснев. Вместе с ним приехали А. П. Волков (Бриткин), Отрадина, Павлов, Львов и танцор Грузинцев. Приезд группы сильных опытных актеров дал дирекции возможность поставить бессмертное создание А. С. Грибоедова «Горе от ума». И это дерзкое решение увенчалось блестящим безукоризненным успехом 5 мая 1852 года. После нескольких репетиций, в бенефис одного из лучших артистов иркутской труппы А. Х. Астапова-Ярославцева, афиши разнесли по городу весть о первом представлении «Горя от ума». «Северная пчела» описывает ажиотаж зрителей по поводу этого неординарного события

в жизни иркутян: «Побуждение бравших билеты нарасхват были, как и всегда, весьма различны: одна часть публики спешила в театр из любопытства посмотреть, до чего доводит смелость; другая — из личного расположения к умному и даровитому бенефицианту; третья, наконец, по какому-то непонятному влечению к магическому слову «бенефис», но как бы то ни было, а театр был полон...»

Автор далее замечает, что публика Иркутска, весьма образованная, видела «Горе от ума» на столичных сценах, а потому понятно, как сильны были предубеждения и уверенность, что эта пьеса на иркутской сцене не удастся. Естественно, все опасались за роль Чацкого. Понять этот неопределенный и несколько ораторский характер еще не составляет главнейшего затруднения, но светскость и обхождение человека порядочного общества — вот камень преткновения не только для провинциального актера, но и для артистов столичных.

Каково же было удивление зрителей, когда от начала до конца пьесы актер Лебедев, игравший роль Чацкого, не выдавший в жизни своей ничего, что бы могло служить ему образцом в сценических условиях, «решительно увлек всех своей глубоко обдуманной, одушевленной игрой и соблюдением самых утонченных светских приличий. Одаренный от природы большим запасом здравого смысла и такта, будучи сверх того в высшей степени восприимчив, он в какие-нибудь десять репетиций усвоил себе идею и дух пьесы со всеми малейшими оттенками и со строгою логической последовательностью выдержал для многих неприступную роль Чацкого. В особенности хорош был Лебедев во втором акте в последней сцене пьесы. Это были высокие минуты, и обрисовывать характер героя вернее было невозможно. И долго еще слышались его последние слова, вырвавшиеся из глубины души: «Вы правы: из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним и в нем рассудок уцелеет».

Газета отмечает также актеров, играющих роль Фамусова, Скалозуба, Репетилова и Загорецкого, которые с большим достоинством вышли из трудной борьбы и умной, отчетливой игрой содействовали общему плавному ходу пьесы. Правда, было достаточно и слабых мест в исполнении некоторых ролей, особенно женских. На сцене были умные актрисы с ролями, твердо выученными, но ни Софьи Павловны, ни бойкой Лизы, ни вечно типичных Хлестовой, Хрютиной, Горичевой не было. Общее и постоянно напряженное внимание было преимущественно устремлено на Чацкого, и Лебедев слишком ярко господствовал талантом своим над всеми окружающими.

«Невыразимо грустно становится, когда подумаешь, что человеку с подобными средствами суждено действовать в таком ограниченном кругу и, быть может, умереть на провинциальной сцене. Нет, судьба не будет так сурова, и артист, отмеченный печатью яркого, самобытного таланта, не

погибнет от жизни бесплодной и кочевой — удела провинциальных трупп. Хвала и честь достойному и вдохновенному артисту, от которого при постоянном и неутомимом старании искусство ожидает много в будущем!» — заключает газета. Так закончился этот вечер 6 мая 1852 года, памятный в летописи Иркутского театра.

Для заведования всем театральным делом граф Н. Н. Муравьев учредил особую театральную дирекцию, состоящую из нескольких человек. Возглавил ее, как уже упоминалось выше, Аркадий Николаевич Похвиснев. Дирекция сама подбирала репертуар, разумеется, прошедший цензуру, приглашала актеров, вела всю хозяйственную часть.

Репертуар за редким исключением повторял в основном репертуар российских театров пятидесятых годов. Но А. Н. Похвиснев проявлял в его выборе завидный вкус. Сам он был человеком театральным, известным в России драматургом. Его водевили ставились не только в провинции, но и в Москве и Петербурге, в Малом и Александринском театрах. В музее Иркутского театра экспонируется редчайший экземпляр его драматургических опытов — водевиль-шутка «На ловца и зверь бежит», изданный еще при жизни автора, в Санкт-Петербурге в 1859 году, и поставленный впервые в Александринском театре в Петербурге 4 мая 1859 года.

Забываясь о пополнении труппы хорошими актерами, А. Н. Похвиснев в 1853 году выезжает в Москву, посещает театры, приглядывается к артистам. Оказавшись в один из майских вечеров в Малом театре, где давали водевиль «На минеральных водах», он увидел молодого способного актера, выгодно отличавшегося профессиональной подготовленностью от коллег. Это был Александр Рассказов — ученик великого М. С. Щепкина. Публика восторженно принимала талантливого артиста, которому в тот вечер, казалось, удавалось все — и танец, и пение. Назавтра молодой артист получил записку с просьбой посетить профессора университета М. Н. Похвиснева по делу. Принял его красивый молодой военный, который оказался братом профессора, адъютантом Иркутского генерал-губернатора Н. Н. Муравьева Аркадием Николаевичем Похвисневым.

Рассказов приводит в своих воспоминаниях диалог с Похвисневым, который чуть-чуть прорисовывает черты характера молодого предприимчивого директора театра:

«— Я видел Вас вчера в водевиле и очень доволен Вашим исполнением, — начал он.

Я молча поклонился.

— Не пожелаете ли Вы служить при нашем Иркутском театре?

Такой вопрос привел меня в положительное изумление.

— Мне кажется, я испугал Вас своим предложением, — продолжал Аркадий Николаевич. — Со своей стороны, я вижу полнейшее счастье в Вашей службе в Иркутске. Наша публика страстно любит театр; деятельно

поощряет актеров, и кроме пользы, Вы от нас ничего не унесете. Я могу положить Вам жалованье за это время значительное, Вы будете получать шестьсот рублей в год.

Цифра, по тому времени очень почтительная, сильно меня соблазняла. Но даль расстояний и множество иных препятствий были выше соблазна.

— Что же Вы не решаетесь? — настаивал Аркадий Николаевич. — Э, да мне, видно, придется за Вас решать этот вопрос. Завтра Вы отправитесь со мной в моем экипаже, а пока вот возьмите на случай расходов...

При этом он почти насильно сунул мне в руку сторублевую депозитку.

— А как же отпуск? — заикнулся я, зная отлично, что при тогдашних порядках было слишком трудно добиться отпуска даже на неделю, тем более на целый сезон.

Аркадий Николаевич имел в Москве солидные связи, и когда я на другой день пришел к нему, чтобы окончательно отказаться от поездки, отпуск был уже готов».

Ехали до Томска восемнадцать суток. Здесь у Похвиснева были дела на несколько дней по поручению генерал-губернатора Н. Н. Муравьева. Рассказов же отправился в местный театр и предложил свои услуги в качестве актера. Антрепренер А. Х. Ярославцев, державший здесь свое дело уже после Иркутска, с радостью взял молодого московского актера в свои спектакли, причем платил третью часть сбора от спектакля. Спустя три дня — вновь под колесами повозок замелькал Сибирский тракт, бесконечные леса и переправы.

В Красноярске Похвиснева и Рассказова ждало неприятное известие. Антрепренер Иосиф Маркевич гастролирует здесь, в Красноярске, и только на будущий сезон 1854 года собирается возвращаться в Иркутск. Таким образом, все хлопоты Похвиснева кончились для Рассказова печально. За пять тысяч верст от Москвы он остался без места, без средств. Пришлось идти на поклон к Маркевичу, у которого труппа уже была полностью набрана. Человек прижимистый и жесткий, Маркевич все-таки взял на время Рассказова, но платил столичному актеру буквально гроши, на которые жить было просто невозможно. И бог знает, чем бы все это закончилось, если бы Похвиснев вновь не прислал ему письмо из Иркутска с предложением приехать. Он просил также привезти с собой еще несколько актеров.

Согласились поехать в Иркутск пять человек. Среди них была молодая актриса Дарья Андреева, которая вскоре стала женой Рассказова.

Но в Иркутске на дверях театра висели замки, и все имущество хранилось в сундуках. Пришлось снова обращаться в дирекцию. Наконец, все препятствия были устранены, и Рассказов после нескольких репетиций с маленькой труппой, уже сам как антрепренер, повел театральное дело в Иркутске, а Похвиснев оказывал ему постоянную помощь во всех трудных театральных вопросах.

«Целый театральный сезон, — пишет Рассказов, — мы провели настолько блестяще, что к его концу я обладал капиталом свыше тысячи рублей, хотя труппа наша состояла из трех мужчин и стольких же дам».

Подтверждение этих слов мы находим в санкт-петербургском журнале «Пантеон» за 1854 год, где опубликована статья о сибирских театрах. Большая часть ее посвящена Иркутскому театру.

«В Иркутске в нынешнюю зиму играла часть труппы Маркевича, не большая, но весьма удачно составленная. Больших драматических произведений труппа по составу своему давать не может, но комедии и водевили старого и современного репертуара разыгрываются так хорошо и кругло, что многие из живших долго в Москве и Петербурге повторяют прежние приятные ощущения. Труппой управляет артист императорских московских театров г. Рассказов, молодой человек с талантом значительным и удивительным навыком к сцене. Неутомимость и любовь его к искусству точно непостижимы, и, несмотря на постоянное участие его во всех спектаклях, он весьма внимательно обдумывает и часто мастерски передает свои роли. Роль Подколесина, например, в «Женитбе» Гоголя выполняется им прекрасно; это портрет с натуры нерешительного флегматика, нарисованного рукой художника. Игра его в роли Бородинкина в комедии «Не в свои сани не садись» типически верна характеру лица и живо напоминает игру известного московского артиста Васильева. Трудные роли молодых светских людей ему также доступны. Он благородно и с достоинством держит себя на сцене. Умение костюмироваться составляет неотъемлемое достоинство Рассказова».

Под стать ему блистали и другие актеры иркутской труппы. Стоит вспомнить первое представление комедии А. Н. Островского «Не в свои сани не садись», в которой артист Львов играл роль старика Русанова не хуже, чем столичные актеры. В этой роли его сравнивали с артистом московского Малого театра Садовским. Артист опытный, первоклассный, он мастерски воплощал характер Русанова. Это был почтенный русский купец, чувствующий свое достоинство и богатство, нежный отец единственной дочери и самовластный хозяин. «Пока действие шло на простых обыкновенных чувствах, голос Львова звучал, выражал силу воли и разумного убеждения, но когда предстала перед ним виноватая дочь... не было восклицаний, даже повышения голоса, он отверг ее тихо, непреклонно: глубокое отречение таково и в природе... Роль Русанова артист Львов передал глубоко, верно, без всяких порывистых движений и усилий», — писала об его игре «Северная пчела».

Роль дочери Русанова исполнила юная Дарья Рассказова. «Сколько неподдельного чувства было в голосе влюбленной купеческой дочки. Как прекрасно переданы были и беззаветная любовь, и пораженная надежда, и страшное изумление, и ужас девичьего стыда, и страх отцовского проклятья».

В других рецензиях отмечалось также хорошее исполнение Рассказовой роли Офелии в шекспировском «Гамлете», но все-таки лучшая ее роль была в оперетте «Дочь второго полка» Ж. Баяра. Прекрасный чистый голос, приятная внешность и непринужденность игры заслужили ей общую любовь и уважение.

Известно, что в старом театре артисты работали в определенном амплуа, в зависимости от способностей и индивидуальных данных. Из них антрепренер затем формировал труппу. Актеры в большинстве своем наигрывали собственный репертуар, часто имели и костюмы под свои роли. Режиссеру только оставалось соединить их в той или иной пьесе да изготовить декорации. Иногда артисты сами объединялись в «товарищества», из своей среды выбирали старшего, который вел все финансовые дела. Заработанные средства делили по степени участия каждого в спектаклях. Нередко они были равными.

И Маркевич, и Рассказов, подбирая актеров в свою труппу, конечно, учитывали их амплуа. Кроме Львова, который исполнял роли благородных отцов и молодых людей, в труппе Рассказова служил артист Павлов, игравший комических и старых волокит, — актер добросовестный, без всяких балаганных выходок и грубых фарсов. Артист Гудков давно освоил амплуа комических и фарсовых персонажей, обладал приятным голосом, но, к сожалению, отличался плохой памятью. Роли дряхлых стариков, лакеев, резонеров весьма хорошо удавались артисту Скворцову. Молодых девушек — субреток и горничных — играла Николаева. Признавая ее несомненное артистическое дарование, отмечали вместе с тем ее некоторую резкую угловатость движений по сцене, скороговорку в произношении, порой неоправданную смешливость. Но все это было легко поправимо.

Используя профессиональное мастерство и природные данные актеров, Рассказов со своей небольшой труппой сумел так организовать дело, что театр, «при отсутствии общественной жизни, богатой интересами живыми, современными», стал пользоваться особым и справедливым вниманием иркутского общества.

Он умело подбирал репертуар. В основном это были комедии и водевили старого и современного репертуара, посмотреть которые спешила не только элита городского общества, но и молодые чиновники, их сверстники купеческого звания. Полна была и галерка, где билеты были намного дешевле и куда стремилась молодежь победнее: гимназисты и мещане.

Но Рассказова хватило лишь на один сезон. Неотвратимо тянула Москва, где учился он в театральной школе у великого М. С. Щепкина, а затем у В. И. Живокيني — актера Малого театра. На Масленной неделе 1854 года, едва дождавшись Чистого понедельника (театры в Великий пост не работали), Александр Рассказов, оставив Иркутск, поспешил в Москву. Впоследствии, с 1854 по 1866 годы, он служил актером Малого театра. По-

сле, используя свой иркутский опыт антрепренерской деятельности, держал антрепризу в Самаре, Туле, Калуге, Симбирске и других городах. Он считался одним из лучших антрепренеров России. В 1880–1890-х годах организовывал спектакли в Москве, в Немецком клубе.

Отъезд Рассказова из Иркутска любители театра восприняли с искренним сожалением. Уезжал прекрасный, талантливый актер и дельный начинающий антрепренер, а с ним и его супруга Дарья Рассказова, что тоже было ощутимой потерей для иркутской труппы. А вскоре неожиданно умер в полном расцвете своего дарования молодой актер Лебедев. Иркутский корреспондент «Пантеона» писал: «Блестящая будущность ожидала этого артиста с душой пламенной и благородной. Драма и высокая комедия были его поприщем, и здесь сочувствию публики к его действительно художественной игре не было пределов. Восприимчивая натура его и глубокое постоянное проникновение ролью были причиной упадка и разрушения сил физических. Мир праху твоему, добрый и умный артист, невозвратимое украшение нашей сцены».

Среди оставшихся актеров из труппы Маркевича блистал Волков, умный, тонко чувствовавший сцену артист. Особенно проникновенно играл он Гамлета. Долго и добросовестно изучал он эту роль и «многие сцены исполнял истинным художником и напомнил нам вдохновенный талант покойного московского артиста Мочалова».

Путь провинциальных актеров был труден и сопряжен со многими невзгодами. Они были изгоями общества. Часто получали за свой труд гроши, а когда антрепренер прогорал, — и совсем ничего. Среди них было немало преданных театру талантливых актеров, закладывающих еще в то время основы русской реалистической школы в актерском искусстве.

В Иркутске в первое десятилетие работы профессионального театра сформировалась хоть и небольшая, но постоянная труппа. Волею ее хозяйина она иногда делилась на две части, чтобы гастролировать в Красноярске и других ближайших к Иркутску городах.

Удалось восстановить имена большинства актеров, начинавших театральное дело в Иркутске в пятидесятые годы XIX века. Их не очень много. Некоторые стали известны из газетных заметок и рецензий, но основная часть разыскана в старинных маклерских книгах, где оформлялись договоры-соглашения между владельцем труппы и актерами, волею судеб попавшими в далекий сибирский город.

Вот эти актеры.

Лисицын Д. Ф. — амплуа молодых людей в драмах, водевилях и операх; Лисицына М. И. — актриса на роли по назначению; Гудков И. Г. — амплуа комиков-буфф, резонеров и простаков в водевилях, операх и драмах; Ударцева Е. В. — амплуа комическое, девиц, старых, благородных матерей, сварливых женщин, деревенских баб; Григорьев И. Ф. — амплуа комиков-

буфф и простаков; Богданов Е. А. — ампула все; Слижевич М. Н. — актер, режиссер, библиотекарь и костюмер; Слижевич А. П. — актриса на роли по назначению; Сергеев В. — художник-декоратор; Лебедев А. А. — актер, ампула молодых людей, военных в водевилях, драмах и операх; Лебедева Л. А. — актриса на роли по назначению; Харитонов М. П. — актер и музыкант; Орлов П. Ф. — актер и суфлер; Карачаров В. И. — театральные бутафоры, разносчик; Андреева Д. — актриса в драмах, комедиях, водевилях, операх.

После отъезда Рассказова с женой в Москву дирекция, озабоченная потерей ведущих актеров, а следовательно, отменой ряда спектаклей, пыталась как-то поправить дело. К несчастью, серьезно заболел антрепренер Маркевич и сам уже не мог вести дело.

Актеры в летние месяцы почти не играли, да и в активный зимний сезон представления давались два-три раза в неделю. Играли в основном водевили. Сборы от спектаклей сильно упали. Цена по тем временам была, конечно, довольно высокой. Например, ложа стоила пять рублей, ложа бенеуара — четыре рубля. В каждой ложе ставилось по шесть стульев, но не запрещалось входить туда и большему числу персон. Артисты получали жалование очень небольшое. Самые лучшие из них имели не более пятидесяти рублей в месяц. Театр постоянно нуждался в средствах, и дирекция изыскивала любые возможности, чтобы как-то поддерживать актеров. Часто обращались к состоятельным людям Иркутска с просьбой помочь театру. Сам Аркадий Похвиснев больше занимался репертуаром, а хозяйственную часть вел ее заведующий, золотопромышленник и известный благотворитель С. Ф. Соловьев, дававший театру из своих средств по двадцать пять тысяч рублей в сезон. И театр жил и давал представления.

Известный врач и общественный деятель, уроженец Иркутска Н. А. Белоголовый писал в своих воспоминаниях: «Меня в 1847 году отправили учиться в Москву, а в 1854 году, когда я приехал студентом домой на vacation, то я нашел настоящий театр, в весьма поместительном и специально выстроенном здании, с ложами, с постоянной труппой, с репертуарами из пьес Гоголя, Островского и т. п.».

Однако серьезная драматургия требовала многочисленного актерского состава и немалых денежных средств. Чаще всего афиши сообщали о премьерах водевилей — новых и старых, оригинальных и переделанных с французских на русские нравы. Большая часть этих пьесок, конечно же, не относилась к высокой драматургии, часто в основе их лежала какая-нибудь неестественность положений, событий, характеров и монотонное повторение сюжетов, сшитых наскоро, на живую нитку. Такого рода пьесы при постановке требовали дополнительных усилий талантливых актеров, чтобы скрыть грехи диалогов и сюжета, придать им динамику и завершенность. Опытные режиссеры и владельцы труппы, работающие в провинции, старались ставить и играть пьесы, написанные интересно, как говорится,

с умом, когда сам текст сюжетом и интригой увлекал зрителя и скрывал огрехи в игре актеров. И это понимал Аркадий Похвиснев, сам хорошо владевший пером драматурга.

Вскоре умер антрепренер Иосиф Маркевич. Жена и дочь, имевшие право по контракту владеть театром, продали это право дирекции, и, естественно, все денежные взаимоотношения с актерами перешли к ней. Нужно было обустривать актерский быт, платить за снимаемые квартиры, организовывать летние гастроли, да и саму труппу пополнять и обновлять.

Театр опять закрылся на лето, и только иногда спектакли играли один-два раза в неделю. Но тяга к театру была настолько велика, что горожане шли на редкие спектакли как на праздник. «Иркутские губернские ведомости» в ту пору в редких театральных заметках описывали, как воспринимались иркутской публикой эти единичные летние спектакли: «...В июле было в Иркутске театральное представление. Играли три водевиля: «Что имеем, не храним, потерявши плачем» (С. П. Соловьева), «Аз и Ферт» (Э. Морро), «Демокрит и Гераклит» (П. А. Каратыгина). В тот день это было необыкновенной и приятной новостью, так как в Иркутске летом нет не только постоянных, но и, просто сказать, никаких театральных представлений. Событие, следовательно, было чрезвычайное, и съезд зрителей в театр необыкновенно велик; оба ряда лож были заняты сполна, и партер достаточно полон, а это далеко не всегда бывает в Иркутске. Почти все высшее иркутское общество было в театре, и избраннейшие актеры нашей труппы играли в тот вечер. Театр был освещен, как только он может быть, наилучшим образом. Приятный полусвет обливал ярус лож, и юность, и красота, и изящество прекрасного пола представлялись еще юнее, еще краше, еще изящнее в этом таинственном сумраке лож. Спектакль был, одним словом, на славу, пьески хотя и не очень мудрененькие, но выбраны были совершенно по силам нашей иркутской труппе и оттого разыграны совершенно удовлетворительно. Григорьев был почти безукоризнен в роли старика Павла Павловича в первом водевиле. Госпожа Ударцева тоже в роли Матрены Марковны, и Павлов очень недурен в роли господина помешанного, А. Ф. Львов имел несколько хороших пассажей, а госпожа Лебедева очень весело протараторила свой монолог веселой болтуны в «Гераклите и Демокрите». Все знали твердо свои роли и играли без запинки, и все актеры и все актрисы были и остались в приличном виде... Но в сторону всякую сентиментальность! Поблагодарим театральную дирекцию за то развлечение, которое она нам доставляет изредка».

Иркутская публика любила свой театр. Она живо интересовалась любыми изменениями в составе труппы и оркестра, в репертуаре. Пристрастно обсуждала бенефис своих любимых актеров. Не успел появиться в театре репетитор по вокалу, заезжий тенор Пекок, дававший уроки пения актерам, как тут же об этом написали «Иркутские губернские ведомости». А

вот как отозвалась газета о новой иркутской знаменитости — дирижере театрального оркестра Редрове:

«Иркутск не отстает в деле образования и всегда старается быть впереди других городов Сибири. Так, когда в других местах восхищались заезжими артистами, Иркутск имеет уже своего собственного. Мы говорим о господине Редрове, нашей первой скрипке и капельмейстере Иркутского оркестра. Господин Редров — иркутский уроженец, благодаря средствам, доставленным ему г. Соловьевым, мог отправиться в Петербург и там усовершенствовать свой талант под руководством Н. Д. Свечина и Л. Маурера. Два или три месяца тому назад г. Редров принял на себя дирижирование Иркутским оркестром и его влияние стало уже очень заметно: теперь оркестр не безмолвствует в антрактах театральных представлений или не угощает публику всем надоевшей музыкой какой-нибудь кадрилиной фигуры; репертуар его увеличился, и игра усовершенствовалась до того, что есть много вещей, которые он исполняет очень удовлетворительно. Жаль только, что инструменты этого оркестра, приобретенные несколько лет тому назад в Петербурге, по каким-то несчастным случайностям оказались очень худыми, то есть далеко не такого достоинства, как можно было ожидать. Впрочем, мы слышали, что выписаны новые инструменты и что значительная часть их уже доставлена в Иркутск, так что и в этом отношении оркестр наш скоро значительно улучшится».

Особая сложность для дирекции театра состояла в выборе пьес для постановки. Водевиль, конечно же, привлекали публику и своей легкостью, и незамысловатым, всем понятным сюжетом, но главное — обилием музыкальных и танцевальных номеров. Они давали основные финансовые сборы. Но не забывала дирекция и о классическом репертуаре. На спектаклях по пьесам А. Н. Островского и Н. В. Гоголя зал всегда был полон. «Иркутские губернские ведомости» даже советовали дирекции ставить пьесы, нигде не игранные, или написать, к примеру, инсценировку по рассказам М. Е. Салтыкова-Щедрина. И если такое случалось — газета выражала самую глубокую благодарность руководителям театра. Однажды это произошло с постановкой пьесы А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», поставленной в ноябре 1857 года в бенефис артиста Павлова.

Долго считалось, что эта пьеса была поставлена впервые в Петербурге в 1861 году. Но сообщение «Иркутских губернских ведомостей» в № 29 за 1857 год о постановке ее в Иркутске опровергает эту дату. Ранее пьеса неоднократно запрещалась и в столице, и в провинции. Иркутский же театр сыграл ее еще до запроса генерал-губернатора в столицу с просьбой о ее постановке. Ответ на запрос был отрицательным, но пьеса была уже сыграна. Газета тогда писала: «Несравненно лучше шли «Свои люди — сочтемся» из всех пьес, которые мы пока видели на здешней сцене, это, по нашему мнению, та, которая исполнена всех удовлетворительнее. И что в

ней гораздо лучше обыкновенного играли наши, так сказать, второстепенные сценические таланты гг. Львов и Скворцов. Девушка Николаева 1-я, которую мы привыкли видеть, что она только просто репетирует свои роли, обыкновенно очень твердо, но зато все чрезвычайно однообразно, г-жа Николаева в роли Липочки по временам как бы входила в свою роль и начинала играть; она была, например, совсем недурна в сцене объяснения с нареченным женихом. «Свои люди» давались в бенефис Павлова, который с г. Григорьевым стоит во главе наших мужских театральных талантов».

В январе 1858 года в Иркутский театр была приглашена знаменитая балерина и актриса Анаева-Пряхина. Воспитанница Петербургской театральной школы, она окончила ее в одно время с известной танцовщицей Андрияновой. Обе были приняты на петербургскую сцену. Андриянова, пользовавшаяся сильной протекцией, оставляла Пряхину на втором плане. Но Пряхина неожиданно получила предложение служить в Воронежском театре. Узнав о многообещающем таланте девицы Пряхиной, Воронежский губернский предводитель дворянства, богатый помещик, любитель и покровитель искусства, предложил ей поступить в труппу Воронежского театра, бывшего в то время в славе. Поступив на провинциальную сцену, она играла и в водевилях, и в драмах, развивая свой талант и мастерство. После Воронежа Пряхина служила в Харькове, Пензе и Саратове, а затем у Ярославцева в Красноярске. Здесь вышла замуж за капельмейстера театрального оркестра Анаева, и когда труппа Ярославцева распалась, иркутская дирекция пригласила ее в свой театр.

Дебют Пряхиной-Анаевой на иркутской сцене был в роли Марии в «Дочери второго полка» Ж. Баяра. «Игра г-жи Анаевой была весьма удачна; особенно хороша была сцена прощания Марии с полком, в которой дебютантка заслужила общий и совершенно справедливый аплодисмент, повторяющийся несколько раз. Занавес опустился при общем рукоплескании и, к нашему удовольствию, должен был подняться три раза еще, чтобы дать дебютантке возможность отблагодарить восхищенную публику. Нелзя не сказать несколько слов в похвалу игры г. Львова в роли фельдфебеля Трульона. Г. Львов понял и выполнил эту роль более чем удовлетворительно и напомнил нам свое настоящее амплуа. В заключение дан был дивертисмент, в котором дебютантка, к общему удовольствию, появилась в своей настоящей сфере и выполнила с полным искусством испанский танец. Госпожа Пряхина должна была повторить его по требованию восхищенной публики, при громких, непрерывных аплодисментах всей залы», — писал корреспондент «Иркутских губернских ведомостей».

Публика с радостью приветствовала появление на иркутской сцене талантливой актрисы и с нетерпением ожидала новых спектаклей с ее участием. Билеты на ее спектакли разбирались за неделю до представления. Помимо выступлений на сцене, Пряхина обучала танцу молодых девушек-

воспитанниц. Под ее руководством состоялся дебют ее восьмилетней ученицы — девицы Маркевич.

Между тем культурная жизнь в Иркутске шла своим чередом. В праздничные дни устраивались гуляния в специально устроенном саду на берегу Ангары. На площади работали различные аттракционы во временных строениях. Специальная панорама показывала любопытный вид Иерусалима и «ловлю китов»; не пустовали качели, а заезжие кукловоды представляли кукольные комедии. Вместо прошедших гастролей Пекока, оставившего в публике тяжелые воспоминания, приехал флейтист господин Совле, которого очень хорошо слушали в Кяхте, а теперь в Иркутске. Он даже был удостоен чести дать второй концерт в зале генерал-губернаторского дома и собрал больше слушателей, чем в первый раз, причем восторг публики выражался еще живее и громче. Ну а театр летом 1858 года был поставлен на ремонт и реконструкцию. В бумагах актера и антрепренера Ярославцева, работавшего в Иркутске в начале пятидесятых годов, уже значительно позже, в девяностые годы, было найдено письмо от его приятеля актера А. П. Волкова (Бриткина). Оно было отправлено Ярославцеву 25 сентября 1858 года из Иркутска, где Волков в это время служил в театре. Он пишет: «Театр иркутский сделан почти заново, как снаружи, так и внутри: оштукатурен, сени, коридоры, буфет приведены в очень порядочный вид; устроена особая комната для графа Муравьева-Амурского. Одним словом, весь театр принарядился — хоть куда».

Открытие сезона 31 августа совпало, как тогда говорили, с новосельем. В этот вечер играли пьесу Львова «Не место красит человека, а человек место» и оперу-водевиль «Любовное зелье, или Цирюльник-стихотворец» Д. Т. Ленского. А в заключение был еще танцевальный вечер. А вскоре здесь же, в театре, любители поставили спектакль «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, сбор от которого был направлен в пользу переселенцев на Амур. Об успехе спектакля корреспондент «Иркутских губернских ведомостей» писал: «В течение последних двух лет мне не удавалось провести в нашем театре ни одного вечера так приятно, как я провел этот вечер 29 октября».

Словом, сезон начался довольно успешно. Прошел он под знаком великого торжества в Иркутске — заключения генерал-губернатором Н. Н. Муравьевым-Амурским трактата с Китаем, по которому к России отошли земли вдоль Амура. Прекрасно оформленное здание привлекало горожан ярко освещенным фасадом и огромным пейзажем — видом города Николаевска, висевшим у входа. В честь этого торжества был большой бал в Благородном собрании и спектакль в театре без платы за вход.

В конце сезона происходило еще одно примечательное событие — велись переговоры с великим русским актером М. С. Щепкиным о приезде на гастролы в Иркутск. Рассказывают, что предложение это исходило от

самого генерал-губернатора Н. Н. Муравьева-Амурского, который познакомился со Щепкиным, находясь на лечении за границей.

Непосредственно переговоры с артистом вел В. Н. Баснин, бывший городской голова, замечательный театрал, библиофил и собиратель художественных редкостей: живописи, старинных книг, гравюр, писем и дневников великих людей. Он бывал в театре ежевечерне. Мог не единожды ходить на один и тот же спектакль и, что самое удивительное, после каждого спектакля писал на него рецензию. Рецензии эти были оригинальны по форме: письма-рецензии друзьям. В конце каждого письма стояла приписка, в которой автор убедительно просил по прочтении переслать письмо обратно. После этого Василий Николаевич собирал их в небольшие тетради и отправлял в село Разводное близ Иркутска к жившим там на поселении декабристам — братьям Борисовым. Они великолепно владели переплетным делом, и письма обретали оригинальную форму сброшюрованных сборников.

Находясь в Москве и будучи лично знаком со Щепкиным, Баснин почти уговорил великого артиста приехать на гастроли в Иркутск и Кяхту. В музее иркутского драматического театра хранится фотокопия письма В. Н. Баснина в Иркутск своему родственнику Д. О. Портнову, в котором он пишет: «Москва, 1858, ноябрь 8. С первой почтой спешу препроводить к Вам, Дмитрий Осипович, полученное мною от Щепкина письмо и при нем записку об его репертуаре — тотчас велите Петру Евд. снять на тонкой бумаге копии и прислать их ко мне сюда. Подлинник поскорее отдайте г. Сиверсу (новый директор театра. — В. С.) с тем, чтобы возвратил Вам; и храните их в Иркутске. Г. Щепкин рассчитывает, что вся поездка его в Иркутск и Кяхту потребует времени полгода. Значит, нужно иркутской дирекции иметь в виду платеж 1500 рублей серебром одной выдачи на содержание в Москве семейства г. Щепкина, кроме проезда и разных расходов, в пути и на местах остановок и жительства, вперед и обратно. Может быть, потребуется еще пособие на экипаж и подъем из Москвы, хоть и не говорил мне об этом Михайло Семенович».

К сожалению, по каким-то неизвестным причинам приезд великого русского актера в Иркутск не состоялся, но то, что такие переговоры затевались и изначально Михаил Семенович давал согласие приехать в Сибирь, говорит о достаточно высоком уровне интересов театральных и общественных кругов города. Об этом же событии сообщает в письме Астапову-Ярославцеву упомянутый нами выше актер Волков (Бриткин). «...Здесь разнесся слух, что будто бы М. С. Щепкин хочет посетить Сибирь. Не знаю, правда это или нет, но во всяком случае почтеннейший ветеран ошибается в расчетах, если вздумает вообразить, что Сибирь — Америка, награждающая артистов десятками тысяч...»

Нам кажется, что уважаемый актер Волков немного погорячился в сво-

ей оценке намерений М. С. Щепкина. Ибо интерес Михаила Семеновича, человека большого таланта и высокого общественного сознания, не мог состоять только в большом денежном вознаграждении.

В. Н. Баснин был личностью незаурядной и высокопочитаемой не только в Иркутске, но и в московских просвещенных кругах. Познакомился он с М. С. Щепкиным еще в 1828 году на Нижегородской ярмарке, часто бывал на его спектаклях и, уже переехав в Москву в конце пятидесятых годов, дружбы с Щепкиным не прерывал. Он искренне хотел, чтобы и в далеком родном Иркутске познакомились с его высоким талантом. А театр продолжал жить своей особой, трудной творческой жизнью. В третий раз сменилась дирекция. Теперь во главе театра стоял молодой, энергичный П. Сиверс. Активно вникая во все тонкости нового для себя дела, Сиверс иногда позволял себе с актерами крутые меры. Нагрубившую ему актрису Ударцеву-вторую (так именовались актеры и актрисы — родственники) — он уволил. Подвыпившего актера Волкова посадил на извозчика и отправил к полицмейстеру, а затем «засадил» в полицию. Его стали побаиваться.

Ну, а сам театр все более становился неотъемлемой частью культурной и общественной жизни города, иногда даже своеобразным яблоком раздора между группами поклонников того или иного актерского таланта. Как впоследствии писал один из высокопоставленных чиновников канцелярии генерал-губернатора Б. А. Милютин: «Он (театр. — В. С.) был, так сказать, нейтрализующим элементом, в одно время — связующим политических врагов и разделяющим исконных друзей».

Случилось так, что дирекция пригласила из Казани молодую талантливую актрису Соболеву. Дебют ее на иркутской сцене прошел успешно. Прекрасная водевильная актриса, владеющая искусством танца, играющая порой и драматические роли, она понравилась публике, и вскоре у нее появились постоянные поклонники. Но в этом же амплуа в театре давно уже работала — и небезуспешно — актриса Николаева, у которой тоже имелись свои почитатели.

Все началось с того, что 10 декабря 1859 года, в бенефис Соболевой, публика, желая поощрить молодую актрису, щедро наградила ее аплодисментами. Но другая сторона решила доказать, что, несмотря на дарование, не Соболева — любимица публики. 13 декабря госпожу Николаеву, игравшую роль Лидочки в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина, приветствовали если не единодушно, то гораздо шумнее и торжественнее.

Описав этот «театральный конфликт», корреспондент «Иркутских губернских ведомостей» не без сарказма заключает: «...что касается госпожи Николаевой, то ей полезнее всех подарков и букетов выслушать три откровенных замечания:

1. Постарайтесь усовершенствовать свою дикцию.

2. Обращайте побольше внимания на свой костюм и вообще старайтесь одеваться с большим вкусом.

3. Наконец, самое главное, думайте хотя несколько о роли и словах, которые произносите, иначе вы всегда будете производить на беспристрастного зрителя самое невыгодное для вас впечатление.

Госпожу же Соболеву предупреждаем, что сцены 13 декабря могут повторяться, и потому советуем ей, ради ее таланта, не обращать на это большого внимания и по-прежнему стараться добросовестным исполнением и обдуманностью своих ролей поддерживать расположение более рассудительной и спокойной части иркутского общества».

Казалось, произошел частный театральный конфликт, но как поляризовал он иркутских любителей театра! О нем писала не только местная пресса. Много лет спустя припомнил этот случай в своих мемуарах чиновник высокого ранга в администрации Н. Н. Муравьева-Амурского Б. А. Милютин. Значит, театр уже достаточно заметно влиял на общественную и культурную жизнь Иркутска, заставлял говорить о себе, стал частью жизни города, и среди провинциальных театров России он определился не на последнее место. Для самих же иркутян он имел весьма большое образовательное значение и «в ряду удовольствий театральные зрелища без всякого сомнения занимали самое почетное место».

В финансовом отношении он продолжал бедствовать, и спасали его часто лишь пожертвования богатых любителей да пособия местного начальства. Театр в год зарабатывал до восьми тысяч рублей, а издерживал до двенадцати тысяч при довольно скудном еще вознаграждении артистов. Дирекция не только стремилась чаще обычного менять репертуар, но и старалась приглашать новых артистов. В 1860 году в Иркутск приехала чета Лазаревых, заметно проявились Сергеев, Медведев, Щеглов. К этому времени, к большому сожалению, умер любимец иркутян Григорьев, и его роли стал играть Лазарев. Ударцева-первая стала прекрасной исполнительницей ролей пожилых женщин, и ее справедливо называли «красою старух». Делала свои первые успехи девица Маркевич. Обучившись у Пряхиной, она стала прекрасно танцевать, появилась профессиональная уверенность в исполнении водевильных ролей. Ее стала хвалить пресса, предполагая, что в будущем она станет украшением иркутского театра.

Вскоре местная газета «Амур» выступила с программой материальной поддержки в сезоне 1861 года не только актеров, но и всего театра. «...Решаемся предложить дирекции следующие меры для поддержания нашего театра. Дирекция всеми средствами должна стараться, чтобы посетители не были стесняемы в своих мнениях об игре актеров, чтобы они не были удерживаемы какой-либо властью от излишних, по мнению некоторых господ, восторгов в виде аплодисментов и т. п. В каком бы то ни было общественном месте все члены его, — все посетители, несмотря на звание,

на положение в обществе, если они уже допущены в это общество, должны непременно быть равны между собою. Аплодисменты и стучанье в пол по случаю длинного антракта в театре не есть беспорядок, а просто выражение желаний и мнений публики, совершенно законное. Далее, в театре полезно было бы завести духовые печи. Для топки их несравненно уйдет менее дров, что может способствовать сокращению расходов театра. Не мешало бы также увеличить комплект стульев в ложах (увеличив соразмерно цену) и сделать в галерее ряда в три скамейки. Цену билета для кресел тоже следует изменить.

1-й ряд — 3 рубля; 2-й ряд — 2 рубля; 3-й ряд — 1 рубль 50 копеек; 4-й, 5-й, 6-й, 7-й — 1 рубль; остальные по 75 копеек.

Мы согласны, что все это мелочи, но часто от мелких неудобств происходит большой ущерб».

Приближался новогодний праздник. Горели рождественские елки. В зале Благородного собрания проводились праздники-маскарады. Наступивший 1861 год для иркутян был немного грустным. Уезжал навсегда из Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский — великий преобразователь восточных земель России, чья многосторонняя общественная и государственная деятельность вызывала самое восторженное отношение к нему во всех слоях российского общества. При его благожелательном содействии и личном участии открылся в Иркутске первый профессиональный театр. Накануне его отъезда в городе шли прощальные вечера и все иркутское общество отдавало бывшему покровителю края достойные его почести.

16 января около полудня вдруг загорелся городской театр. Пожар начался изнутри здания и распространился так быстро, что не было никакой возможности прекратить разрушительное действие огня. Гордость иркутян, театр, совсем недавно заново оштукатуренный и украшенный лепниною, расписанный изнутри, он взметнулся огнем со всем имуществом, костюмами, декорациями и театральной библиотекой. Через два часа город остался без театра. А на другой день, 17 января 1861 года в час пополудни оставил Иркутск генерал-губернатор Восточной Сибири граф. Н. Н. Муравьев-Амурский.

1996

Литературный обзор

Меня призывают: «Пишите про свой литературный Иркутск двадцатых годов!» А я никогда и раньше не имел вкуса к воспоминаниям. Это вроде заскока в голове...

Ну, лиха беда начало! Я собрал то, что изустно рассказывал и печатал раньше, разрозненно, а сегодня добавил еще и немало мной не высказанного, и — разрази меня Бог! — сплавил воедино, не знаю, какой уж получился сплав...

Преддверие сыздалека

Завертелись колесики... В душе, в мозгу, в самых потаенных уголках сердца. Это — как раскачка... Родной мне Иркутск, «Сибирский Царьград», любимый и проклинаемый мною! Сколько раз я твердил: «Ангара — мне родная матушка, Иркутск — мой родной батюшка, Байкал — старшой мой кровный брат!..»

Иркутск, Иркутск!.. Счастливое и горькое детство, отрочество, ранняя юность прошли в нем. Предмесьишко, или слободка Порт-Артур в устье Иркуты во время зимнего рекостава заливалось студеной ангарской водой. Ангара напирала на замерзший Иркут, на его наледь. Название же предмесья возникло в честь героической обороны Порт-Артура — отражение тех лет, — еще ведь была близка по времени злосчастная Русско-японская война 1904–1905 годов, иркутские парни из Рабочей слободы, гармонисты, лихо распевали тогда по вечерам и до полуночи бойкую проголосную частушку наряду с «Подгорной», родившейся в Иркутске же, — про «харбиночку» (Харбин был тогда полурусский город):

Прощай, моя харбиночка.

Тебя угонят с Порт-Артура, —

Скуратов Михаил Маркелович (5 ноября 1903, с. Уян Куйтунского района Иркутской области — 1989, Москва), поэт. Член Союза писателей СССР. Автор книг «Всплохи», «Солнечный бубен», «Истоки», «Избранное» и др.

Станешь сиротиночка.
Сиротинка горькая
Нарвалась на бойкого,
На бойкого, форсистого,
На парня гармонистого...

И предместье Порт-Артура, так неудачно построенное в низине правобережного устья Иркутта, заливаемого чуть ли не в рождественские морозы Ангарой, отцы города наконец-то снесли с лица земли, остался только лесопильный завод, и кто-то из иркутян теперь вспоминает про это злополучное селенье Порт-Артур?.. А я вот еще помню его, — видел из окна тамошнего дощатого отцовского домишка пробегавшие паровозы «Кампаун», тогда новинку, с широченными, навроде глубоких сковородок или больших чугунов, трубами; а на горе, что повыше железной дороги, наблюдал, как солдаты в белых гимнастерках с большими усилиями удерживали за тросы готовый подняться в небо аэростат, называемый тогда просто «воздушный шар»...

Домишки незадачливого предместья перенесли выше, в незатопляемое верхнее нагорье — на Кайскую гору, там понастроили и новые ладные бревенчатые дома — настоящие хоромы, порой и двухэтажные, обшитые тесом и покрашенные «по-городскому» под серый «дикий камень»; так возникло Глазковское предместье, примыкавшее к Забайкальской железной дороге — тысячеверстному отрезку Великого Сибирского железного пути, только что проложенного на стыке XIX и XX столетий. А называлось оно в честь первого насельника этого урочища — Глазкова, вероятно, казака, одного из первопроходцев XVII века. И утопало оно еще в зарослях дикой сибирской яблони и черемух, и по весне это нагорье, спускавшееся к зеленокудрой Ангаре — варнацкой дочечке Байкала, вся эта Кайская гора полыхала, как невеста. Даже трудно поверить, что эта белая кипень цветенья — в Восточной Сибири!..

Были пробиты широкие, прямые новые улицы, и им были даны названия по прозвищам семей первоначальников — Глазковых, Могиловых, Гаськовых, Оглоблиных. А часть старых вековых глазковских домов еще уцелела; и строились эти дома первоначальников без единого гвоздя топором «в лапу» и, по преданиям, из тех вековых лиственниц и сосен, что росли прямо в усадьбах этих иркутских первопроходцев. И были им — казакам — отведены в пойме, в излучине Иркутта, у Синюшиной горы и Чертова озера (от слова — «черта», а не от — «чёрта»!) Казачьи луга, отрада нашего детства и отрочества, тоже в порослях черемухи и дивных сибирских цветов, о красоте и обилии которых не имеют и представления в Москве и на европейской прародине — матушке Руси, от чьей пуповины отпочковалась Сибирь, и часто противопоставлялась ей коренными русскими сибиряками из рода так называемых старожилов, в отличие от новоселов.

Одна машинистка в Москве, которой я диктовал свои стихи, в изумлении спросила: «А разве в Сибири есть цветы?!»

Там, в Глазковском предместье, начинались истоки моей иркутской писательской судьбы, ее преддверие... Каждый прожитый там год казался мне тогда за целое столетие!

И жили мы даже и не на улице — на Селитбенной черте. Не улица, а черта — то есть дальше некуда идти — самая окраина города; дальше уже шел прямоствольный березовый лес до самого взлобка Кайской горы, с которого были видны «высокоплечистые Саяны». А потом Кайская гора переходила в спуск к речушке Кае, поросший темным сосняком, где летом на полянах была бездна рыжиков и маслят, а в березняке — груздей и обабков. Прямо с крыльца дощатого нашего дома — и шашть в лес, и вот уже полные корзины грибов, особенно сразу после дождичка... А посередине Селитбенной черты — березовые пеньки, по осени усеянные опятами («опенки — ножки тонки»).

Не забыть мне еще и ночные колотушки на Селитбенной черте!.. Какая это древность, отголоски старины! Даже трудно вообразить это в век электричества и сверхскоростных самолетов... Сколько своеобразных, патриархальных и даже суровых «домостроевских» черт и устоев сохранилось у русских старожилов тогдашней Сибири, поневоле начинаешь понимать великого русского живописца Василия Ивановича Сурикова, коренного сибиряка родом... Керосиновые семилинейные лампы, едва «пиликающие»... и еще кое у кого жирники, плошки, своедельные сальные свечи, и даже лучины в светцах были... Как далеко и быстро мы ушли от этих почти ветхозаветных времен!..

Первый гонорар

С детства, едва поступив в железнодорожную начальную школу Глазковского предместья, я марал бумагу — вел дневники, часть из них сохранилась, писал стишонки — увь! Эти стихотворные опыты безвозвратно утерялись. Может, и к счастью.

В дневниках мы исповедуемся перед самими собою, скрываться не от кого... Мои родители — родимый батюшка, родная матушка — сыздавна не ладили между собою, уже с утра начиналась руготня у них, «семейная обедня», что не помешало им наплодить семеро парнишек, из них четверо умерли еще в «ангельских летах».

В этих ожесточенных семейных перепалках я стоял на стороне матери. Однажды я жестоко «пропесочил» родного отца в своем дневнике... а дневник я вел утайкой, тщательно прятал его. Был воскресный день... Я забрал свои удилища и махни-драло на Иркут... Дома было праздничное застолье. Было, конечно, и горячительное, и мой отец Маркел (а в православных

святцах это имечко «икается» даже через два «л» — Маркелл!) под хмельком решил похвастаться перед гостями:

— Мой старшой сынишка балуется сочинительством. С неумытым рылом да в калашный ряд! Напишет и куда-нибудь уторкает, как будто я не знаю, куда он прячет свои бумагомарания...

И надо ж было такому случиться — отец начал было читать перед гостями мой дневник, и развернул как раз на той самой странице, где я здорово расчехвостил его в пух и в гриву, он сразу осекся...

К вечеру я вернулся с Иркутта — рыбная ловля была на редкость удачной, я приволок целую корзину хайрюзов, ельцов, окуньков, счастливый, порозовевший... И вдруг отец — а гости уже разошлись, — ни слова не говоря, зажал меня между колен, снял с меня «невыразимые» и задал мне такую горячую «березовую кашу» — век буду помнить. Я извивался ужом, а он приговаривал:

— Ты... ты, паршивец, смел такое писать про родного отца! Страмить меня перед чужими?.. Пороosenок... Сукин сын...

Я эту порку и называю — мой первый гонорар!.. Первый, полученный мною за мои литературные опыты, — самый горячий, самый памятный!.. И я бы хотел, чтобы многие писаки получали не денежные, а именно такие вознаграждения за свои сочинительства. Непогрешимый, мудрейший Лев Николаевич Толстой как-то сказал (я перефразирую): «Если б я был царь и узнал бы, что ты сочиняешь, и плохо сочиняешь, я бы приказал дать тебе за то сто розог!..»

Тогда же я на своей шкуре впервые понял значение цензуры — и стал изобретать тайный шифр, чтобы отец не мог докопаться до смысла того, что я пишу, но это была такая головоломка, что ничего у меня путного не получилось с зашифрованной записью, но сочинительства я не оставил... Видимо, я с этим родился, как я впоследствии полушутейно говаривал...

Окололитературные поиски

Стал я было обивать литературные пороги — посылал свои стихи в московские и питерские журналы, но уже наступили тревожные революционные времена в столицах, там было не до меня, и никто из столичных журналов не прислал ни ответа ни привета... Но ведь был еще родной Иркутск, тоже своего рода столица Восточной Сибири. Были иркутские газеты. Да еще издательство «Ирисы» Михаила Евстигнеевича Стожа. По неопытности и оно мне казалось «откровением в грозе и буре», как Апокалипсис, «кладезь премудрости». У меня под рукой была в то время книга, я почему-то называл ее «Путеводитель», так она и закрепилась в моей памяти, а точнее: «М. Е. Стож. Словарь сибирских писателей, поэтов и ученых». Из нее я черпал первые сведения о литературной Сибири, о писа-

тельском Иркутске — у меня и до сегодня сохранился достаточно потрепанный «Путеводитель» Стожа, вероятно, это ныне литературная редкость. Как бы там ни относиться к Стожу, его шибко охаивали в те времена иркутские газетчики и писатели, а и он был небесполезен, и через его «Путеводитель» я узнал о народном печальнике Афанасии Прокопьевиче Шапове, о Григории Шелихове — открывателе Русской Америки, об их могилах в Иркутске, об иных иркутских прошлых деятелях, писателях, часто совсем забытых и не заслуживающих внимания, о каком-нибудь поэтике, погибшем на Амуре во время «Похода на Китай» на стыке XIX и XX веков, и изображен он в военном мундире — пойдй, докопайся теперь, кто он такой и нужно ли было упоминать о нем?

И позднее, подрастая, я стучался у ворот дома где-то на Спасо-Лютеранской, или Баснинской, или Дегтевской (надо же сохранить в памяти и старые названия иркутских улиц!) этого уже угасающего и охаянного книгоиздателя и литератора, неумеренно печатавшего стишонки своей женушки — Дины Стож. Я стучался в его двери, пытался войти и через парадное крыльцо, да не достучался... Рыжеватый был такой обруселый латыш, каких много понаехало в Сибирь с проведением Великого Сибирского железного пути в погоне за длинным рублем и в поисках счастья. У них тоже были свои поиски! Во всяком случае, он нашел там свою Дину, забавлявшуюся стихами, которых никто не читал и не признавал, а он ее издавал изящными томами на хорошей бумаге, за свой счет, под заглавием «Смерть Музы. Ужасы Войны»... Но даже и к Стожу я не пробился, дороги к нему не сыскал...

Строгий наставник

Переношусь сразу в двадцатые годы. Я уже достаточно повзрослел... Мои первые наставники, обучавшие меня писательскому ремеслу, как их не вспомнить?!

И первым из первых был в моей писательской судьбе Василий Львович Теремец, преподаватель русской литературы в Народном университете имени А. В. Луначарского — я там обучался. Русский интеллигент дореволюционной закваски был тот Теремец. Коренной питерец... В сыром Санкт-Петербурге он подхватил свирепствовавший там туберкулез, болезнь века. Врачи погнали его, совсем молодого, в сухую Восточную Сибирь — и не ошиблись: там у него зарубцевались легкие, и до встречи со мной он прожил в Иркутске добрых уже тридцать лет, жив-здоровехонек, только уж слишком подвижной, этакой «нервный-маневренный», как говорят в народе, даже желчный, и даже мог показаться брюзгой.

Ему-то я и сунул свою тетрадь стихов: ознакомьтесь-де, скажите свое веское слово. И оно действительно было «веское», ошеломляющее... Я не

сомневался в успехе! Он в длинном коридоре бывшего Института благородных девиц, где помещался Народный университет, а потом — Рабфак, а потом Иркутский государственный университет (Иргосун), что на набережной Ангары, взял меня, что называется, за пуговицу и отчитал с небывалой раздражительностью:

— Ведь вы же, голубчик, совсем не знаете природы русского стиха, его техники, не знаете, с чем его едят, а пишете. Наобум пишете!

Это было как удар обухом по голове... Вначале подумалось: он, в моих глазах своего рода барин, не пускает меня, сына простого русского народа, в святая святых поэзии... Какая там еще «техника стихосложения»? Я о ней отродясь не слыхал. Есть грамота, перо, бумага — садись и пиши, само пойдет, польется, как ручей; а в таланте своем, как всякий начинающий, я нисколько не сомневался. Правда, в народе говорят: «Писала писака, читала собака!»

Но Василий Львович меня вразумил:

— А как же вы думаете, Афанасий Фет или Федор Тютчев, когда писали свои стихи, не знали, из какого теста они стряпаются? Или сам Александр Пушкин? Ведь он еще лицеистом знал про законы стихосложения, про ямбы, хореи, дактили, анапесты, амфибрахии. Знал, что такое рифма... А вы хотите тяп-ляп — и сразу в дамки...

Я оробел. Нет, я просто ошалел... Как же постигнуть эту премудрость?

— Постигнуть можно. Не боги горшки обжигают... Сперва я посоветую, даже достану вам «Начала русского стихосложения» Шульговского, проштудируйте назубок и поймете, как строится русский стих...

На развале, на Хлебном базаре, я купил два тома Афанасия Фета, они служат мне и сегодня. На несколько месяцев погрузился в изучение пособия по стихосложению Шульговского, это мне пригодилось на всю мою жизнь. Я наловчился определять по слуху стихотворные размеры со всеми их разбивками на стопы: к примеру, что такое четырехстопный ямб или там пятистопный хорей, с цезурами или без них. Для читателя это не обязательно, а для того, кто делает стихи, знание их механизма, их анатомии, скелета нужно так же, как врачу, лечащему людей... «Дело мастера боится!» — учит народная мудрость. Тому же учил меня и строгий Теремец. Это была подлинно студийная работа, истинная школа.

Барка поэтов

В Иркутске начала двадцатых годов на литературном фронте было довольно оживленно и пестро. Понаехала занесенная бурями Гражданской войны, с бору да по сосенке, уйма разного писательского народишка из Петрограда и Москвы, с Поволжья и Урала; было немало и коренных иркутян. Я по-прежнему сочинял стихи-самокладки, баловался

исподтишка и прозой, не забывал и дневники. Но уже по-новому начал постигать законы трудного писательского «рукотесла». Этому помогло по времени и мое общение (а не сближение!) еще и с «Баркой поэтов». Так романтически именовалось содружество иркутских писателей, первое время действительно устраивавших свои литературные бдения (бытовало и другое нескромное переименование этого высокопарного словечка!) у поэта футуриста Анчарова (Артура Куле): он жил в каюте одной из барок, стоявшей на приколе у ангарской пристани, наискосок Белого дома, бывшего генерал-губернаторского дворца...

Подумать только, это все были живые люди, многих уж нет — ушли к праотцам!.. Эта «Барка поэтов» была скопищем разношерстных литераторов, в ней господствовала мешанина всех модных тогда поэтических школ и веяний, занесенных, как поветрием, с берегов Невы и Москвы-реки на берега Ангары. Эвон какая даль по тем временам, пять с половиной тысяч верст, да еще и с гаком, да и с большущим гаком! Чуть ли на краю света... Но я познаял у «Барки поэтов» и много добра...

Передо мной проходят образы и тени их... Барственный Александр Мейсельман (о нем я еще скажу позже); и с быстренькой походкой поэт, тоже иркутянин, Василий Преловский (отец нынешнего поэта Анатолия Преловского); и худошавый, сумеречный «пиит», заезжий бог весть откуда, которого я знал только по загадочному псевдониму — Имрей, мой тезка — Михаил; и высокий, статный, с военной выправкой, всегда во френче, Сергей Алякринский, доброхотно обучавший меня изысканным стихотворным формам — сонетам и триолетам, секстинам и канцонам; и, как звезда первой величины, сверкал, признанный и в столицах, уроженец Иркутска, прозаик Исаак Гольдберг, сухонький, росточком невысокий, автор прекрасной книги «Тунгусские рассказы», да и только ли одной; и покорявший своей ученостью, тоже иркутянин, Елпифидор Титов, со склонностью к этнографии, он написал в Иркутске «изячные» стихи об Италии — «Флорентийский бродяга» и — ни слова об Октябрьской революции, о только что отшумевшей Гражданской войне в Сибири, о колчаковщине, закатившейся именно в Иркутске!..

Помню, был большой вечер «Барки поэтов» в парадном зале бывшей Городской управы на Тихвинской площади. В этом зале еще в дни Февральской революции красовались во весь рост в богатых золоченых рамках портреты русских самодержцев начиная с Александра Первого, и в первый раз они поразили меня своей величественностью: во всяком случае, бросились в глаза... Итак, вечер. Только что кончилась война, год примерно 1921-й. Выступала поэтесса, заветная гостья не то из Москвы, не то из Петрограда, осевшая в Иркутске — то ли футуристка, то ли имажинистка, — некая Хабиас... Она не стояла и даже не сидела, а... возлежала, развалившись, как тигрица, на суфлерской будке, покуривала и артистически пус-

кала в воздух замысловатые колечки табачного синего дыму, а потом — цевку слюны на сажень от себя; а затем из милого женского ротика стала изрыгаться в публику... матерщина, самая подзаборная, только зарифмованная. Куда там Алексею Крученых и Велимиру Хлебникову с их «заумью» и «дар-булшур-убешчур». Я стоял в задних рядах слушателей — и просто обомлел от неожиданности. Рядом со мной присоединился высокий красноармеец в долгополой кавалерийской шинели с красными нашивками поперек груди, наподобие стрелецкого наряда, и в шлеме-богатырке, точнее — буденовке. Не успев еще снять ее с головы, он, слушая поэтессу, насмешливо гаркнул на весь этот чуть ли не тронный зал:

— Валяй, валяй дальше! Это по-нашенски... когда мы буржуев били...

Поэтессу это несколько не обескуражило; она продолжала в том же духе...

Была и другая поэтесса, совсем иного склада, коренная сибирячка, иркутская курносенькая уроженка. Не хотел бы называть ее имени, чтобы не смущать ныне здравствующих родственников... С нею случилось нечто забавное, на потеху всей «Барки поэтов»... Эта иркутяночка в демократической Сибири, никогда не знавшей поместного дворянства, кроме «навозного элемента» (то есть — «навезенного» из праматери-России!), не нисходила к своим простым землякам-сибирякам, как и Елпифидор Титов, а писала жантильные стихи только о галантных французских виконтах и маркизах «пудренного» XVIII века...

Как-то раз, сидя в садике отцовской усадьбы, огороженном дощатым забором, она отлучилась на время и оставила в беседке свою рукописную тетрадку с подобными стихами, проклеенную не клеем, а тестом из пшеничной муки, дефицитной в те голодные годы, а отцовская корова, бродя в садике, унюхала это и, пока поэтесса отсутствовала, изжевала всю тетрадку. Поэтесса, вернувшись, тут же упала в обморок... Вся «Барка поэтов», потешаясь, оплакивала участь виконтов и маркизов, погибших в утробе коровы!.. Но одно было благо: поэтесса после того, говорят, вообще перестала писать стихи!

Поэт Игорь Славнин

Был среди «Барки поэтов» один несомненно одаренный человек, очень непохожий на всех остальных, наиболее демократичный, своего рода разночинец среди лощеных собратьев по ремеслу. Это — Игорь Славнин. В моей судьбе он сыграл особенную роль...

Он прибыл из Омска вместе с редакцией газеты «Красный стрелок» — боевого органа политотдела Реввоенсовета 5-й Красной Армии и Восточно-Сибирского военного округа. И ведал Игорь Славнин в газете отделом поэзии. И одно это уже что-нибудь да значило для меня — тогдашнего!..

Стихи его были крепкие, ладные, дерзкие, звучали как пощечина обществу вкусу (отчасти тоже поветрие тех дней!). Звонкий медный

голос, умение читать, несомненная талантливость (в Омске экстравагантный поэт Антон Сорокин, который хотел однажды въехать в Москву на белом верблюде, а в природе белые верблюды — редкость, да не нашлось подходящей железнодорожной платформы, зачислил Славнина в гении!) выделяли омича на первое место в «Барке поэтов». Известность Славнина в Иркутске на ту пору была довольно громкой. А собой он был не так, чтобы сказать шибко казист, просто не ахти: низенький, мозглявенький, сухопаренький, хоть и молод, а уже у него — испитой лоб, весь в морщинах, прямые жесткие волосы цвета пшеничной соломы ниспадали космами; а ходил он даже зимой по Иркутску простоволосым, что тогда многих дивило и, в общем-то, еще не было принято. И к тому же порой густо напудренный под Арлекина, под Пьеро из «Балаганчика» Блока, как модный еще в ту пору Вертинский. И щеголял он в какой-то рваной шинелишке перезрелого гимназиста или реалиста, из которой хлопьями лезла вата. Тем не менее весь грамотный Иркутск чтит его как знаменитость...

Во мне он принял самое живое участие. Но не сразу... Сам следовал новейшим тогдашним течениям в поэзии и потому знакомил меня с Верхарном, Верленом, Бодлером, давал книги русских символистов, акмеистов, футуристов, прославленных поэтов Запада и Востока, учил проникать в природу стиха.

И вот этот-то человек стал моим пестуном, ему это нравилось. Больше того, моим «благовестителем» — первые напечатанные мои стихи увидели свет только благодаря Игорю Славнину!..

Да, могу гордиться, купелью моего литературного крещения и стала походная газета 5-й Красной Армии, а моим восприимчивым отцом, литературным крестным батькой стал поэт Игорь Славнин. Он-то и приложил свою руку к моему стихотворению «Золото» — и напечатал его как редактор и заведующий отделом поэзии «Красного стрелка». Этот мой литературный первенец был напечатан там 12 февраля 1921 года. С этого дня я и могу считать свое вхождение в литературу, в печать. Затем в «Красном стрелке» появилось второе мое стихотворение — «Шептунам». И опять я был обязан Игорю Славнину, хотя оба стихотворения, по правде сказать, положила руку на сердце, были плохие... какой-то ребячий лепет...

Грозное, грозное было время, полное лишений, жертв... Порохом только что затихшей, не вытравленной из памяти народа Гражданской войны пахли страницы этой самой, уже упомянутой газеты «Красный стрелок». Она издавалась чуть ли не на оберточной, шершаво-грубой, как солдатское сукно, бумаге и расклеивалась на городских деревянных заплатах, сегодня — серого, завтра — желтого, послезавтра — розового или вообще какого-то серо-буро-малинового цвета. Но слова-то, слова какие печатались на этой бумаге! От них и сейчас берет оторопь, сообщалось неумолимо — целыми

столбцами! — о расстрелах врагов Революции, и прямых, явных и тайных «ниспровергателей» Советской власти, о вскрытии мощей иркутского первоепископа Иннокентия... Как памятливы мне эти листки! Там я впервые в жизни был напечатан под моим тогдашним иркутским псевдонимом — Михаил Бельский... И как же тут опять не вспомнить Игоря Славнина! Сперва он жестоко отщелкивал меня в отделе писем, точнее в отделе «Ответы поэтам», который он же и вел... Я сдуру послал в «Красный стрелок» стихи о... Малюте Скуратове (и дернуло же меня по наивности!)... Вот что он написал по этому поводу:

«Тов. Скуратову. Что интересно в ваших стихах, это ход вашей мысли, но интересен он, к сожалению, только как образец болезненного творчества.

Сейчас, товарищ, сила не в том, что отдельные деспоты могут делать все, что им вздумается, а в творчестве коллектива.

Вы напрасно преклоняетесь перед силой Малюты Скуратора: никакой силы тут нет, просто человек, пользовавшийся властью, психически ненормальный, подслуживался манияку-царю, отыгрываясь на народе.

Технически стихи слабы, нужно еще много работать.

Обратите внимание на бледность ваших сравнений и образов».

Такой был суровый ответ, огорчивший меня... А затем он мне стал покровительствовать, это его тешило. Бог с ним!.. Он попросил принести ему тогдашний рукописный свод моих подспудных стихотворений — толстенную тетрадь, в которой на отменной бумаге «красовались» и две мои исторические поэмы — «Всеписьнейший и Всешутейский Собор» и о временах Ивана Грозного в связи опять-таки с моим злополучным однофамильцем — Малютой Скуратовым, не дававшим мне покоя со школьной скамьи.

Жаль, обе эти мои поэмы вместе с позднейшей поэмой «Декабристы» погибли в дни Великой Отечественной войны, пошли на растопку печей соседями во время моей эвакуации из Москвы. И я до сих пор оплакиваю их. Восстановить же их по памяти я уже не в состоянии...

Большую власть, по-своему, имел Игорь Славнин! Жил, однако, он убого, неуютно, нище; на мансарде, при редакции, попросту на чердаке, как и полагалось истинному поэту. Когда я приходил к нему по утрам со стихами и за советами, он, полусонный, вылезал из-под одеяла, сшитого из газетных листов, которые страшно шуршали, и дивил меня всем своим видом, напоминая всклокоченного попугая. Тем не менее я смотрел на него как на предмет поклонения и благоговения. Шутка ли, он был первый настоящий живой поэт, которого я видел!..

А умирал он... дважды! У него была странная судьба. Когда Пятая Армия отправилась из Иркутска далее на Восток, он вместе с газетой «Красный стрелок» тоже двинулся в Забайкалье и Монголию, и вскоре до Иркутска донеслась весть о его смерти. И вся «Барка поэтов» горько оплаки-

вала его, задала ему тризну по первому разряду и даже был напечатан некролог, наполненный всякими благоглупостями, что вот-де умер медноголосый, синеглазый поэт — да будет земля ему пухом... А он вдруг взял да и воскрес, но только... в тюрьме! Печальная, не вполне выясненная страница его жизни... Природа наградила его склонностью к тщательно скрываемой им клептомании: а там, как водится, явилась и женщина — он, ради нее, возможно, похитил крупные редакционные деньги, заодно прихватив пишущую машинку «Ундервуд» или «Ремингтон», а пишущие машинки были тогда редки и дорого ценились, на вес золота, и очутился за тюремной решеткой сперва в Чите, а потом и в Иркутске. Как же была обескуражена «Барка поэтов»! И мы — молодые советские поэты — хлопотали за него, и его выпустили на поруки...

У меня хранится любопытная его поэма «Автомобиль № 432», написанная в тюрьме, с его послесловием, несколько приоткрывающая тайну его жизни. Надо бы ее напечатать. Это редкость!.. Маленькая тетрадошка, вероятно, сшитая им. Машинописный текст, чего доброго, отстуканный на украденной машинке; на обложке химическими фиолетовыми чернилами, с чуточной раскраской красным карандашом, изображен, несомненно, самим Игорем Славниным, шофер в тогдашней присвоенной шоферам униформе — кожаной куртке с бархатными отворотами и кожаном шлеме с углами, похожем на авиаторский.

Приведу дословно несколько строк (а их и всех-то немного) из послесловия с разбивкой на абзацы, как в самой тетради:

Мой авто начал строиться в последние дни трагического моего пребывания в Иркутске.

Тоска монгольских степей к нему не прибавила ни одного винтика.

В Чите миндаль женских глаз заглушил шум моторов всего мира.

За решеткой в один вечер кончил.

Захрипел гудок. Автомобиль тронулся. Мигнули электрические глаза.

1922 г., Иркутск

А завершается поэма четверостишием:

Вам хочется строчек звончатых,
изысканность слов ловить,
а я вот взял и кончил
простую записку любви...

И его собственноручная роспись — «Игорь Славнин»...

В Иркутске на время его приютил у себя Иосиф Уткин... Вскоре мы, молодые члены ИЛХО, комсомольцы, снарядили поэта в путь-дорогу, и он на наши деньги укатил в Москву. Там он встретился вновь с Джеком Алтаузенем и очень сблизился с ним... Забегая несколько вперед, скажу, что через год и я, а за мной Иосиф Уткин перебрались в Москву и тоже встре-

тили бывшего наставника. Но прежний ореол очарования уже исчез. Былые «илховцы» уже повзрослели и как люди, и как поэты; нас уже стали печатать в толстых журналах столицы и всей страны, меня особенно в «Сибирских огнях». Мы встретились с Игорем Славниным уже на равной ноге...

Сам он тоже преуспевал; стихи его охотно печатались в лучших столичных журналах. Его имя появляется на страницах «Красной нови» и «Октября», «Прожектора» и «Красной нивы», в «Молодой гвардии», в тех же номерах, где шли стихи Н. Тихонова, М. Светлова, В. Казина, «Русь советская» Есенина, рассказы И. Бабеля, В. Лидина, очерки об Урале Ларисы Рейснер. Одно время он пытался осесть в Ленинграде. «Гранитный город на Неве, столица последних русских царей и колыбель революции, отозвался в творчестве поэта великолепным стихотворением «Сенат» (В. Трушкин). Вот несколько кованных строк из этого стихотворения:

Желтеют ночи семена,
Рассыпаны по синим нивам,
И дремлет выцветшим архивом
Правительствующий Сенат.
Играет ветер на дворе —
Дождем и градом сыплет колким,
Давно ли плыли треуголки
В зеленом зеркале карет?
Дробился свет в изгибах лент
И падал в стекла, желт и матов,
Когда курносый император
Читал последний регламент...

Но больше Игорь Славнин пробавлялся литературной поденщиной в небольших профессиональных журнальчиках Дворца Труда на набережной Москвы-реки, близ Яузы, редактировал журнальчик «Пролетарий связи», выколачивал деньги. Уже готовилась в издательстве «Молодая гвардия» первая книга его стихов. Все предвещало счастливую судьбу...

Однако летом 1925 года поехал он со своим другом писателем Родионом Акульшиным погостить у него в деревне, где-то в бывшей Самарской губернии... Этот Родион Акульшин учился вместе со мной в Высшем литературно-художественном институте имени Валерия Яковлевича Брюсова (ВЛХИ), был очень дружен с Алтаузенем, а через него — и со Славниным; печатал повести и рассказы, тепло привеченные Максимом Горьким, отлично пел поволжские и оренбургские частушки на пару с поэтом Василием Наседкиным. В селе, откуда он родом, его мать-крестьянку спрашивали ее товарки где-нибудь у колодца: «На кого твой сын учится-то в Москве?» — «На Пушкина!» — отвечала она... Так вот, гостя у Родиона Акульшина в его селе, Игорь Славнин пошел купаться и, не умея плавать, утонул в ре-

ке, еще успев крикнуть другу, помахав прощально рукой: «Родя, я тону!..» А тот, сидя на берегу, не поверил, думал — шутка.

На этот раз Игорю Славнину не удалось перехитрить смерть... В письме школьников села Виловатое двоюродному брату поэта Д. П. Славнину от 10 октября 1966 говорится: «Во время похорон из родных Игоря никого не было, его хоронили всем селом... Место, где он утонул, и по сей день называется «Мысом Игоря Славнина»...

Ни у кого не сохранился хотя бы один «фотолик» Игоря Славнина. Увы, нет!.. Однако я вспомнил про иллюстрированный журнал «Сибирь», который недолго просуществовал и издавался в Новосибирске, тогда еще Новониколаевске. Журнал был хорошо задуман и хорошо начал было жить. Там щедро печатали и поэтов. Я до сих пор оплакиваю преждевременную и скорую кончину этого журнала. У меня сохранилось несколько номеров его... Так вот, в журнале «Сибирь», город Новониколаевск, № 7–8, август-сентябрь 1925 года, на странице 31 красуется скульптурное изображение лица, в сущности почти одной головы совсем юного еще Игоря Славнина, в связи с некрологом о нем. Приведу этот коротенький некролог целиком. Вот он:

«Игорь Славнин

В середине июля в России, на реке Бузулук (Самарской губернии) утонул, купаясь, молодой поэт-сибиряк Игорь Славнин.

Славнин родился в Омске в 1899 году (на самом деле — в 1898 году, в селе Быньги, на Среднем Урале. — М. С.), в 1917 году окончил 1-ю Омскую классическую гимназию (точнее — в 1916 году. — М. С.), в 1918 году сотрудничал в изданиях Омского Совдепа, печатал стихи и статьи на политические темы; после, в начале колчаковщины, сидел в тюрьме, состоя членом подпольной организации РКП. В 1920 году занимался культурно-просветительной работой в 5-й Армии; продвинулся с армией на восток; участвовал в боях с Унгерном. В 1922 году Славнин переселился в Москву, работал в различных изданиях — в «Перевале», «Красной нови», «Октябре», «Молодой гвардии». Нелепая гибель настигла Славнина в расцвете творческих сил. Нынешней осенью издательством «Молодая гвардия» выпускается первая книга стихов Славнина. Покойный был тонким эрудитом в области истории и теории поэзии. На снимке бюст Славнина работы скульптора Пожарского, сделанный в 1917 году в Омске.

Л. М.»

Кто был этот «Л. М.»? Это был прославленный поэт Леонид Мартынов. Он ведь тоже омич и хорошо знал Игоря Славнина, был его другом, и, возможно, Игорь Славнин и наставлял его, а кое-что и сам позанимал у Леонида Мартынова...

Только спустя почти полвека после гибели поэта Восточно-Сибирское книжное издательство выпустило впервые малюсенькую и пока единственную книжицу его стихотворений «Переключка», по одноименному его сти-

хотворению (Иркутск, 1970). В этом, одном из лучших своих стихотворений, поэт сказал:

О нас напишут тяжелые книги
Седые потомки в круглых очках...

Заодно приведу и стихотворение Джека Алтауэна «Игорю Славнину», тоже редкое, сохранившееся только у меня, за подписью самого Джека, нигде и никогда не напечатанное. Вот оно:

Черным соком наливается смородина,
Пахнет снегом топкая тайга...
Эх, моя нетающая родина
И берложий, пенистый Байкал!

Где же травы, что еще не вымыло,
Где отцы? Зачем же на ветру
Вы глотали передавленную жимолость,
Чтобы горче не было во рту.

Почему дорога не лежала вам
В те края, где счастья поискать,
Все за теми, за широкими отвалами,
Все на тех, на золотых на приисках.

Волчий вой... Глухими полустанками
Смотрят дни с таежной полосы...
Эх, отцы, эх, дети арестантовы! —
И я тоже арестантов сын.

На выучку к наставникам старого закала

Ходил я на выучку и к другим интеллигентам, но старой закваски. Они тоже входят в понятие «Литературный Иркутск начала двадцатых годов».

Лев Георгиевич Михалкович — преподаватель литературы в Иркутском государственном университете — открыл мне глаза на Сибирь!.. Сам он с виду смахивал на этакое русского дореволюционного чиновника с круглой бородой, в форменном сюртуке с золочеными пуговицами, а на пуговицах — двуглавый орел; или на сельского захолустного попа, и даже был церковным старостой соседней с педагогическим факультетом Тихвинской церкви, такое противоречивое совмещение общественных и служебных крайностей еще в ту пору было возможно. Но одновременно он был и яростный любитель и ценитель русской поэзии, и особенно символизма и его вожаков — Александра Блока и Андрея Белого, да и Валерия

Брюсова жаловал; не предвидел я впоследствии, когда уехал в Москву, что меня будет принимать в свой, носивший его имя, Высший литературно-художественный институт сам Валерий Яковлевич Брюсов...

Я нередко сопровождал Льва Георгиевича Михалковича до дому по улицам Иркутска, ступая с ним по тогдашним дощатым тротуарам, ища советов и поддержки... Однажды Лев Георгиевич слушал-слушал меня и, вызнав, что я — коренной сибиряк, потомок русского сибирского рода «старожилов», иркутянин, остановился, встряхнул сердито старорежимной бородкой, взглянув из-под старомодных очков, как сыч, и строго сказал «по-сибиряцки», хотя был совсем и не сибиряк, а заезжий гость из-за Каменного пояса, то бишь Урала:

— Так какого же лешего вы ищите, паря? Язви вас в душу! Золото топчете у себя под ногами, золотую жилу! Варнак вы после этого!.. Слышите ли вы меня, чалдонище этакой! Разве вы — Иван не помнящий родства?! Пишите спервоначалу только о том, что вошло в вашу плоть и кровь, всосано с молоком матери-сибирячки, что досталось вам по наследству от ваших пращуров, дедов и бабок со сказочным именем — Василиса, от отца родного — с ними вы связаны кровными узами. Ведь вы же напоены семейными и родовыми преданиями! Пишите же попервости о своем родном Иркутске, о его Хлебном базаре, пропахшем байкальскими омулями, и благовонными кедровыми шишками, и сибирской лиственничной серкой, наконец, о своем разбойном варначем Московском тракте, про который вы мне столько порассказали диковинных «байкальских басей» и «сибирских побывальщин»... И тогда — кто знает? — вы и станете настоящим, пусть даже мало-мальским, поэтом со своим голосом, ни у кого не занятым; а будете цепляться за космические, вселенские вопросы — никогда не угонитесь за поэтами столицы из своего прекрасного иркутского далека.

Помню, в душе я смеялся над этими «стариковскими» внушениями и распекаями... «Вот еще, буду я писать об Иркутске! Он и так-то мне осточертел хуже горькой редьки и черемши!..»

Однако вскоре я вник в эти мудрые слова. И лучшие мои программные стихи той ранней поры, иркутской и московской, за которые мне не приходится краснеть и сегодня, — «Московский тракт», «Из байкальских картинок», «Байкальская бась», «Якутская повесть», «Раздумье», «Сибиряки», «Таежный пал», «Таежные думы», «Ангара», «Сибирская старь», «Ябеда», «Краснобай» и многие другие — надолго определили мой нелегкий писательский путь, мой «голос наособицу». Правда, покойная матушка моя, Авдотья Николаевна, в девичестве Сизых, часто выговаривала мне: «Почему ты в стихах пишешь: «У меня злодейская родня», о варнаках да разбойниках, разве кто у нас в родове был злодеем, стоял с кистенем на больших дорогах? Наговариваешь ты на нас непутное!..»

Был и иной просветитель, неотделимый от литературного Иркутска той поры. Тоже преподаватель Иркутского государственного университета — профессор Марк Константинович Азадовский, впоследствии академик. Великий знаток сибирской общественной мысли за два-три века ее развития, фольклорист и литературовед, много помогавший становлению в литературе молодым, начинающим писателям. Но вот в моей писательской судьбе, всегда стоявшей «наособицу», он однажды сыграл пагубную роль... Он мне подарил свою иркутскую книгу «Беседы собирателя» с надписью «Молодому поэту-сибиряку»: я храню эту реликвию бережно и сегодня. Он мне дал добро, но дальше произошла закавыка, горький осадок от которой остался в моей душе.

Приближался 1925 год, совпавший со столетним юбилеем декабристов. Я горячо принялся за поэму «Декабристы»; собрал и перечел все тогдашние материалы о декабристском движении, сделал обширные изыскательские выписки. Вчерне, с пылу с жару, я довел этот замысел, много обещавший мне, всецело захвативший меня, почти до конца, очертил его границы... Однако я имел неосторожность показать его в сыром, незавершенном виде именно Марку Константиновичу, а он был ревнитель декабристов и неохотно пускал в эту область других.

Он прохладно отнесся к моей поэме, бывшей еще в черновиках, и я сразу охладел к ней, он застудил ее в самом зародыше, чего я не прощаю ему. Но и урок мне был на будущее: не высовываться со своими замыслами прежде времени, пока они не «обмаслились» в твоей душе, это советовал еще Антон Павлович Чехов...

Неосуществленная поэма «Декабристы» пролежала у меня под спудом, в бумажных недрах, вплоть до Великой Отечественной войны и во время моей эвакуации в Сибирь и работы в прифронтовой печати затерялась, остались только обрывки от нее да выписки из книг о декабристах... Когда-нибудь да я разогрею себя и вновь примусь за этот замысел. В добрый бы час!..

Самостийный «Поэтический кружок»

А в ненастные дни
Собирались они
Часто...
Гнули — Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто.
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.

Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом...

А. С. Пушкин

Дальше можно и не продолжать. Не было ни карточных баталий, ни ночных бдений за зеленым игорным столом. Ничего этого не было. Но вот что «занимались они делом» и «собирались они часто», и началось это осенью 1922 года, хотя в Сибири Восточной осенью больше все же погожих дней, чем ненастных, — это все было, из памяти не выкинешь...

Но кто же это «они»?.. Далеко не все знают, что именно в далеком от Москвы Иркутске, на берегах студеной Ангары, в двадцатые годы и получили свое литературно крещение юные тогда поэты — мои побратимы по поэтическому ремеслу: Иосиф Уткин, Джек Алтаузен, Иван Молчанов-Сибирский, Валерий Друзин — тогда тоже ходивший в поэтах и не хуже других, потом известный литературовед-критик, профессор, и среди них я, тогда под псевдонимом Михаил Бельский.

Эта наша пятерка и составила ядро первой в Восточной Сибири советской литературной организации — ИЛХО (Иркутское литературно-художественное объединение), отчего и прозвище — «илховцы».

Я уже сейчас в точности не помню, когда и как мы — юные поэты — впервые встретились, время стерло в памяти многие подробности, и сперва нас была не пятерка, а больше — человек до десяти, остальные потом отсеялись, во всяком случае, как мне казалось, еще раньше, до нашего вступления в ИЛХО. Но меня подправил неутомимый летописец «Литературной Сибири» — Василий Прокопьевич Трушкин. В своей подвижнической книге «Литературная Сибирь первых лет революции» (Иркутск, 1967) писал он о нас с полной неопровержимостью: «Это не совсем точно, кружок поэтов отпочковался от журналистского кружка при «Власти труда»...

Мы чувствовали себя уютно и независимо в своем келейном «Поэтическом кружке», обжившем гостеприимные стены педагогического факультета Иргосуна (Иркутского государственного университета), чье здание, целое и теперь, косяком упиралось в Тихвинскую площадь, на противоположном конце которой громоздился, нет, точнее царил над всем городом кафедральный Казанский собор, на мой взгляд, он был лучше и величавее, чем кафедральный собор такого же византийского обличья в Софии; а за Казанским собором следовала Спасская церковь — самое первое каменное сооружение Иркутска; а напротив ее, наискось, справа, на самом берегу кипуче-бурливой Ангары — старинный Богоявленский собор; а поодаль, вглубь от набережной, слева, если стоять лицом к Спасской церкви, — римско-католический костел в позднеготическом стиле с его стрельчатыми башенками; и между костелом и Богоявленским собором — от-

дельная, и в несколько классически-ампирном духе, внушительная, круглая колокольная, нарочито построенная для тысячепудового колокола, гулко и утробно благовествовавшего всему городу и его окрестностям; и на некотором отдалении, на изгибе Ангары, красовались ампирные Московские ворота, воздвигнутые в 1811 году, — все то, что составляло своего рода иркутский кремль и входило каждый день в наше сознание во всей своей живописной неотразимости. Сходбища наши, поэтические бдения, первое время были чаще всего именно на педагогическом факультете под водительством, отчасти, Льва Георгиевича Михалковича. Вот тогда возникла и необходимость в «Программном уставе» этого нашего самостоятельного, автономного «Поэтического кружка». Я сам и писал этот устав от руки, каллиграфически выводя буквы (сколько я потратил времени!), — и он тоже хранится у меня в заветных папках. В нашем юношеском, мальчишеском «Программном уставе» было немало витиеватости, пышнословия и наивности. Во всем этом было и ребячество, и, наморща лоб, игра в организацию, своего рода забавное масонство.

«Программный устав» самостоятельного «Поэтического кружка» состоит, на многих страницах, их трех отделов, которые в свою очередь делятся на множество пунктов и подпунктов, тщательно регламентирующих обязанности и права кружковцев. Вместе с тем «Программный устав» декларировал «полную терпимость» к литературным вкусам и пристрастиям своих членов. В обязанность же им вменялось неперемное «знание старой техники и начал поэтического творчества, независимо от литературного направления и школы». В кружке нашем вводилась строгая дисциплина. Поэтическое объединение рассматривалось как «воинство в панцирях, способное отстоять себя и свои идеи». Был избран «товарищеский трибун», а именно — я!..

Кружковцы ставили своей неперменной задачей подготовить собственный литературный сборник, на первых порах хотя бы рукописный. «Устав» завершался витиевато-торжественной концовкой в духе времени: «Устав обсужден и окончательно принят был 19 августа, в субботу, 1922 года. Подписали: «Товарищеский трибун — Скуратов Михаил; секретарь — Валерий Друзин; остальные члены кружка — Гофман Абрам, Пирожков Евгений, Молчанов Иван, Джек Алтаузен, Уткин Иосиф, Н. Кислегов (имя неразбочно)»... — всего восемь человек, но из них только пятерка устоялась; остальные трое — Абрам Гофман, Евгений Пирожков, Н. Кислегов — отсеялись и вскоре как бы исчезли с горизонта...

Так и началось наше двойственное существование. С одной стороны, мы были участниками своего «Поэтического кружка»; а с другой — членами ИЛХО, «илховцами»... И даже — тройственное. Мы не порывали связи и с «Баркой поэтов», разношерстной по составу, и с преподавателями Иркутского университета, нашими наставниками. И тут было немало и за-

бавного, особенно при общении с членами «Барки поэтов». В основном они были органически чужды нам, как и мы им. Манеры, расслабленный, причесанный под одну гребенку, бескостный, «интеллигентный» язык, внешность, костюмы отчуждали их от нас, «детей народа», как они сами честили нас. Тем не менее они по-прежнему казались нам оракулами, хранителями и жрецами чистой поэзии.

Помню, Александр Мейсельман, сын иркутского состоятельного чиновника царских времен, в общем-то, один из доброхотных опекунов наших, розовощекий, благовоспитанный и породистый, принимая у себя Иосифа Уткина и меня, благодушно посмеиваясь, барственно говорил про нас в кругу «Барки поэтов»: «Они все хорошие парни, эти «илховцы», но от них сильно отдает хлебным квасом и квашеной капустой, либо на целую версту чесноком». В первом случае он имел в виду меня, во втором — Иосифа Уткина.

Иосиф Уткин после таких посещений не менее добродушно посмеивался и говаривал: «Однако каким же сосунком выглядит в наше голодное время этот Александр Мейсельман! Вот барич-то! Эстет сущий, до мозга костей. Он, рассказывают, еще парнишкой от имени иркутской интеллигенции подносил букет Бальмонту. В общем-то, у него доброе сердце, хотя снисходительность к нам — этакая барская, с пренебрежительным хлопыванием по плечу...»

ИЛХО и побратимы—«илховцы»

Вся наша пятерка по-прежнему ходила на поклон и на «учебу» к интеллигентам старой закваски, профессорам и преподавателям. Они способствовали нашему увлечению стихами хотя бы, скажем, Федора Тютчева и Александра Блока, — и этому увлечению мы уже не изменяли до конца дней. У Иосифа я видел сборники Тютчева и Баратынского, с которыми он не расставался еще с тех иркутских времен, исчеркал их восторженными, но и вдумчивыми замечаниями на полях.

Но еще более бесценным стало для нас ИЛХО, возникшее при губернской газете «Власть труда» и под ее материнским крылышком, как первое писательское содружество Восточной Сибири.

Существование ИЛХО как организации было торжественно заложено и обнародовано в воскресный день 5 марта 1923 года, и я, Михаил Бельский, был выбран товарищем председателя, а потом членом президиума... Мы стали в газете штатными и внештатными сотрудниками на разных должностях. Так, я был одно время репортером и газетным экспедитором; Джек Алтаузен — предприимчивым сборщиком объявлений, Иосиф Уткин, прежде чем стать репортером и отчасти фельетонистом, был финагентом, и я помню, как декабрьским днем, в военной долгополой шинели,

когда стоял «клящий» мороз, деревья и телеграфные провода опущены куржаком, он шел по главной нашей Большой улице, печатывая киоски эппманов за нарушение законов о налогах.

Через «Власть труда» нас стал знать весь грамотный Иркутск и подведомственная ему губерния со всеми ее уездами и округами, и вся его вотчина — Восточная Сибирь.

У меня в заветных папках уцелел наш общий, размноженный мною в копиях, «фотолик» — «илховцы», Иркутск, апрель 1924 года... Вот он передо мною, перед моими глазами, вынутый из бумажных недр. Я вглядываюсь в него и мысленно переношусь в то далекое невозвратимое время! Как давно это было, а как будто вчера!

Мы засняты в полном сборе, за исключением, правда, Джека Алтаузе-на и Валерия Друзина — оба к той поре уже укатили на всех парах из Иркутска; первый — в Москву, второй — в Ленинград... Я на этом дружном снимке сижу во втором ряду на откидном валике дивана, «на облучке», — и потому кажусь ростом ниже других; надо мной склонился рослый Иван Молчанов-Сибирский... В первом ряду, вторым слева, в живописном наряде, в эвенкийских (тунгусских) узорных оленьих камосах выше колен сидит красивый, как молодой античный бог, несколько девически-конфетный, но не лишенный и некоторого байронизма, свойственного ему, наш «прекрасный Иосиф», то есть поэт Уткин, а одним из крайних справа восседает, чтобы быть повыше, на двух валиках, взгроможденных один на другой, и чуть ли не в песне прославленный, гремевший на весь Иркутск фельетонист и чуточку поэт — Василий Томский (Скрылев); а рядом с ним единственная женщина-поэт, она же и корректор «Власти труда», в широкой блузке, обнажавшей шею, — Мария Озерных (в шутку некоторые переименовывали: «Озорных»)... Середину же возглавляет вожак и вдохновитель ИЛХО — главный редактор газеты Георгий Александрович Ржанов, он читает книгу, подперев правой рукой щеку, взгляд его всегда был лучистый и проникновенный; рядом, слева, ответственный секретарь газеты, душа ИЛХО — Андриан Вечерний (Голенковский) — лицо оливкового цвета и несколько восточного склада, скорее и точнее — армянского; без его энергии не существовало бы ни ИЛХО, ни илховских изданий; крайний слева — его друг и сверстник, испытанный газетчик и немножко поэт — Александр Константинович Оборин, низкорослый, с подобранными, узковатыми и сутуловатыми плечами, в ту пору он выпустил в Иркутске книжицу стихов «Прокаженные» — она у меня хранится; у него одно стихотворение однажды было построено в форме Хеопсовой пирамиды, что нас немало забавляло и подавало повод к шуткам; между Уткиным и Ржановым — поэт Николай Дмитриевич Хребтовский, тоже в пенсне, друг и сокурсник Георгия Александровича Ржанова по иркутскому педагогическому институту или училищу, мы называли его илховским Антоном Дельвигом, с которым он

был чем-то схож и душевно, и по обличью, он вскоре же рано умер... Рядом со мной на снимке, склонив головы, трое наших илховских художников — Сергей Бигос, Константин Мазылевский, Дмитрий Болдырев-Казарин — последний с интеллигентской бородкой...

На обороте этого фотоснимка, наклеенного на карточке, расписались все тогдашние «илховцы» первого призыва: драгоценные для меня и для времени росчерки пера каждого из них!..

Жаль, что где-то за пределами этого общего снимка «илховцев» остались Джек Алтаузен с Валерием Друзиным. Но они мне видятся тогдашние в моем воображении.

Я гляжу на этот фотоснимок — и грущу... «На переключке дружбы многих нет!» — перефразирую я есенинские строки; то есть — никого нет! Я один остался из «илховцев» первого призыва... Их образы запечатлелись на редких фотоснимках и одновременно навсегда — в моей душе...

Как же мы — побратимы для самостийного «Поэтического кружка» всей своей пятеркой впервые переступили порог ИЛХО? И там, пребывая в нем, мы еще ближе спознались и сроднились и стали неотделимы от него, чтобы потом долгие годы пройти или рядом, или разными путями жизни и поэзии...

Точно помню, как это произошло... В большом редакционном зале «Власти труда», уже густо наполненном людьми, более всего уже достаточно пожившими, шло заседание иркутских литераторов, то есть, в сущности, это было сходбище ИЛХО. Кто-то нараспев, несколько гнусавым голосом, подвывая, на тогдашний манер, читал свои стихи, разгорались оживленные споры. Я сидел в глубине зала, придя заранее... И вот открывается дверь — в зал входит высокий, стройный, гибкий, тонкий в талии юноша с пышной шапкой великолепных темных волос, я бы сказал — бурей волос. Юноша был красив; он сразу обратил на себя всеобщее внимание зала и хотел этого, — при всем многолюдье и тесноте. Это был Иосиф Уткин. Мы так и звали его — наш «прекрасный Иосиф», вспоминая библейское сказание.

За Иосифом Уткиным бурей влетел в зал, стремительно и порывисто, еще более молодой и тоже с пышной шапкой чернявых волос, и тоже пригожий, скорее сказать, на языке девиц, «смазливый» паренек, самый «молодший» из всех в зале, в пару с Иосифом Уткиным, только значительно ниже его ростом и с намеком на будущую коренастость и плотноватость, хотя в ту пору и он был мальчишески тонковат; и, в отличие от величавой походки Иосифа Уткина, который с достоинством нес себя, как драгоценную чашу, боясь расплескать из нее хотя бы одну-единственную каплю, во всех повадках этого смазливого паренька сказывалась ярко выраженная подвижность и напористость, — в этом он и был весь, наш Джек Алтаузен. И вдобавок, как вскоре оказалось, он был из всей нашей пятерки по-

этов самый горластый, как молодой весенний грач, так что если он выступал где-нибудь на комсомольском собрании на третьем этаже здания с открытыми окнами на углу Тихвинской и Большой, то раскаты его громкоголосия издали были слышны на весь тамошний околоток, сотрясая стекла и перекрывая шум пролеток и телег; тогда еще автомашин в Иркутске было мало... Таким мне запомнился на всю жизнь поэт Джек Алтаузен. В Иркутске я с ним очень дружил. Откуда у него такие имя и фамилия, производившие впечатление, что он иностранец?.. Фамилия у него была родовая, унаследованная от отца, и, несмотря на громкое звучание, в переводе с немецкого звучала совсем неблагозвучно: поротые или рваные штаны, что-то вроде этого. А вот с именем было несколько посложнее. В раннем детстве зажиточные родственники из Харбина увезли его из бедной семьи, ютившейся в Иркутске где-то близко у Хлебного базара, на Дальний Восток, в Китай, и поместили учиться в одном из колледжей в европейских сэттльменах Шанхая, откуда он вынес и это имя — Джек, и знание английского языка, который он, вернувшись в Иркутск, значительно подзабыл, не с кем было на нем объясняться, но имечко Джек сохранил, оно пристало к нему; хотя в убогой квартиренте его — а я у него часто бывал — отец его, добрейший Моисей Исаакович, служивший на старости лет где-то в ночных сторожах, быть может, того же Хлебного базара, младший братишка Джека — молчаливый и тихий паренек, обучавшийся сапожному ремеслу, и рыжеволосая сестренка, портняжка, — ласково называли у себя дома своего юного поэта, много обещавшего в будущем и более счастливо одаренного из всей их семьи, даже и пригожестью лица, уменьшительным именем Зяма; не знаю почему в посмертных книгах его называют Яковом; может быть, это совпадает с именем Джек?.. Бывало, идешь с ним где-нибудь в Иркутске, каким-нибудь тихим Вдовым переулком и слышишь — позади кличет женский голос: «Джек, Джек!» Он начинает беспокойно оглядываться. Я говорил ему: «Джек, не тебя! Собаку!..» Было это всегда забавно, и мы оба смеялись...

Третьим, кто появлялся в этом зале из нашего «Поэтического кружка», был Валерий Друзин, тоже тогда еще юнец, но уже знавший себе цену. Его отличали степенность, размеренность, неторопливость. Несколько вытянутое, как бы лошадиное, лицо его было невозмутимо-спокойным, иногда освещалось сдержанной улыбкой, всегда таившей в себе необидную самоуверенность. Он был сын преподавателя математики при Иркутском университете, человека тоже несколько медлительного, сдержанного, при нас чаще всего молчаливого, и неизвестно было для меня, одобрял ли он поэтические увлечения своего старшего сына. Валерий многое унаследовал от своего чуточку надменного отца, и когда мы с ним прогуливались в Иркутске к берегу Ангары у Богоявленского собора и Сукачевского сквера, говорил, что он — потомственный интеллигент. Меня это удивляло — и

запомнилось на всю жизнь. Он даже как-то обмолвился, по-юношески задиристо и запальчиво: «Советское общество и комсомол должны быть благодарны мне, что я — потомственный интеллигент — иду с ними и с нашим веком в ногу!» При всем том нашего Валерия Друзина из всего нашего «Поэтического кружка», из всей нашей пятерки, даже из всего ИЛХО поистине отличала высокая осведомленность в вопросах литературы, и он был среди нас самый большой эрудит в области мировой и особенно русской поэзии со всеми ее тогдашними течениями и направлениями, со всеми ее школами — от символизма и имажинизма до лефовцев и рапповцев, со всеми их увлечениями, загибами и завихрениями — во всем этом он тонко и дотошно разбирался. И он у нас, при всей его юности, был в этом направлении признанным мэтром и уже тогда имел большую склонность к литературоведению и критике, деятелем чего он впоследствии заслуженно и стал; но в Иркутске он еще ходил в поэтах и, как я уже говорил, не хуже других, и я потом часто напоминал ему об этом, призывая вновь к стихам, хотя он никогда их окончательно не забрасывал и втихомолку, время от времени, писал их, оставляя под спудом.

В Иркутске он писал стихи, увлеченный более всего Пастернаком, и чеканил вслух наизусть его и свои строки; эту его манеру читать их отрывисто и чеканно мы часто передразнивали в своем кругу. Он читал, как бы отстукивал, выделяя каждый слог, каждую стопу:

Как на уступ с уступа,
Сердце с ребра к ребру;
Скоро мы снова вступим
В радостную игру...

Откуда эти слова? Как они в меня вошли тогда? Пастернаковский дух!.. Надо отметить и поразительную память Валерия Друзина, всегда дивившую меня и помогавшую ему во всех случаях жизни; то, что когда-либо читал и узнавал, хотя бы бегло и на ходу, — запечатлевалось в ней на всю жизнь. Бог весть, какими путями он добывал из Питера и Москвы все тогдашние поэтические новинки и охотно, и даже всенепременно делился ими с нами, и как знаток современной поэзии он скоро даже перешеголял изысканных эрудитов из «Барки поэтов»... Он не был коренным иркутянином, хотя и сжился с Иркутском; его родителей, уроженцев Псковщины, укоровившихся в Петербурге, занесло в голодные годы с берегов Невы вихрями Гражданской войны в Иркутск, на берега речонки Ушаковки, впадающей в Ангару; и было в их общем семейном облике что-то отдаленное от чухонцев, по словам самого Валерия Друзина...

Ну а четвертым из нашего «Поэтического кружка» появлялся в этом зале, на людных сборищах ИЛХО при газете «Власть труда», мой друг отрочества из одного и того же Глазковского предместья, поэт Иван Молча-

нов, прибавивший впоследствии к своей фамилии приставку — Сибирский. Рослый и всегда застенчивый, чаще всего молчаливый, что отвечало и его фамилии — видимо, это свойство передалось ему от его предков, получивших такое прозвище, он старался не выпячиваться и затеривался в толпе; но скромные стихи его были не из тех, которые можно было и тогда «замалчивать». Поэтическое начало крепко жило в нем, он был пожизненно обручен с ним, прочно и навсегда неизменно... Я о нем поведу впереди еще особый рассказ...

Это наше поэтическое содружество молодых оставило глубокий след в жизни каждого из нас, определив во многом направленность наших дальнейших творческих исканий, а то и блужданий, и то, что мы накопили в Иркутске, пригодилось нам на всю нашу жизнь. Где бы мы ни были, мы частенько впоследствии растрчивали то, что приобрели в солнечном Иркутске — самое дорогое: ощущение истинной поэзии, бескорыстное слияние с нею...

Иногда — и нередко! — приглашал нас к себе проводить именно у него наши литературные застолья и заседания ИЛХО Иосиф Уткин. Он жил за Хлебным базаром, в многолюдной семье. Он любил романтически «обрамлять» свою небогатую комнатенку в тесной квартире на втором этаже бревенчатого дома. Комната была всегда нарочито полутемной — и у меня на всю жизнь создалось впечатление, что она не имела окон (может, это и не так!). Над старым внушительным и вместительным диваном висело подобие восточного узорчатого ковра, под стать текинскому или хоросанскому, на пестром поле которого устрашающе поблескивали крест-накрест кинжал в ножнах и еще какое-то грозное оружие, «как у Лермонтова», любимейшего поэта Иосифа Уткина. А напротив дивана — совершенно точно помню — на стене красовалась какая-то непомерно обнаженная одалиска из турчанок. Когда мы читали стихи — свои и чужие, уместившись плотно на диване, сладострастный образ одалиски томил наше юношеское воображение...

А за стенами этой поэтической кельи восхищенно прислушивались к нам младшие сестры Иосифа — Гутя (Августа) и Инна (Павлина); когда мы приходили к Иосифу, вваливаясь шумной многоголосой ватагой, они встречали нас радостными приветствиями, обадали нас взглядами черных горящих глаз, в которых было столько же любопытства, сколько и преклонения. А хлопотуньей по дому, неизменно нас тепло привечавшей и угощавшей, была мать Иосифа — Раиса Абрамовна, женщина умная, достаточно грамотная, революционно настроенная, поощрявшая наши литературные опыты. Оно боготворила своего единственного сына...

Порой нас приглашал к себе и Валерий Друзин на квартиру своего отца. Из окон его дома был виден старинный сибирский особняк о двух эта-

жах декабриста Сергея Волконского. В то время этот особняк занимало какое-то ремесленное училище. По другую сторону квартиры Друзиных, в ограде Преображенской церкви, высился мавзолей в виде небольшой пирамиды над прахом одного из умерших детей Волконских.

А за речкой Ушаковкой белел замок Иркутской пересыльной тюрьмы, увенчанный золотым крестом; эта звонкоголосая журливая речонка, перекатывавшая и перебиравшая гальку, словно осколки битого стекла, всем была хороша, если бы в самом устье, в черте города, не запоганили и не замутили ее зловонные стоки кожаных и других мелких заводишек...

Журнал «Красные зори»

Истинным праздником для ИЛХО было издание в Иркутске с января 1923 года литературно-художественного, научно-популярного и общественно-политического журнала «Красные зори», значение которого далеко выходит за пределы своего времени.

Журнал был хорошо задуман. С каждым номером он «взрослел», набирал силы, как сказочный князь Гвидон, не по дням, а по часам, разгорался, да жаль, на полном разбеге оборвал свою короткую жизнь!.. Вышло всего пять номеров, к тому же один — сдвоенный. С любопытством листаешь ныне пожелтевшие, пожухлые страницы (бумага была плоха!) этого издания, ставшего теперь редчайшим в мире книг! Тираж — всего 750 экземпляров. Его не отыскать и днем с огнем!..

Я подарил все пять номеров «Красных зорь» с душевным трепетом и, так сказать, на вечные времена нашему главному отечественному книгохранилищу — Всесоюзной публичной библиотеке имени В. И. Ленина, где хранятся и драгоценные рукописи, начиная от самых древнейших. На моих скромных книжных полках бережно опекаются эти иркутские, обветшавшие реликвии, и я к ним время от времени обращаюсь и поражаюсь, что наряду с детским лепетом и бормотанием, встречающимся то и дело на страницах этого журнала, где много было и незрелого, поистине да и несомненно еще младенчествующего, — видишь и отмечаешь много мудрого, едкого и цепкого, глубинного и сокровенного, прямого отражения тех дней со всеми их взлетами и падениями.

Обозреть весь этот журнал, конечно, трудно — и это была бы особая задача, и сейчас в этом нет необходимости и прямой надобности. Выделю то, что особенно меня привлекает и на чем надо заострить внимание, что ближе к «илховцам» и отражает дух того времени.

Весьма животрепещущи — и это через полвека с лишним! — для современного и будущего читателя в разделе «Из былого» в нескольких номерах «Красных зорь» главы документальной повести «Крымская кампания» («Из записной книжки добровольца») за подписью же — «Доброво-

лец», о разгроме барона Врангеля в Крыму и о штурме Перекопа. Этот «Доброволец» был не кто иной как Андриан Вечерний (Голенковский), душа и сердце ИЛХО и «Красных зорь», он один самоотверженно вел критико-библиографический отдел журнала и остроумный «Почтовый ящик». Надо по достоинству оценить эту работу А. Вечернего и воздать ему должное, хотя бы задним числом. А его «Крымская кампания» перекликается с повестью «Падение Даира» А. Малышкина. Жаль, что она не была издана отдельной книжницей...

В нескольких номерах «Красных зорь» печатался «Дневник Пепеляева» — колчаковского министра, расстрелянного вместе с Колчаком на льду Ангары. Вся подноготная колчаковщины раскрывается в скупых, сжатых строках этого «Дневника», и в какой-то степени трагических по своему звучанию и содержанию...

В пятом номере «Красных зорь», открывая журнал, появилась поэма Джека Алтаузена «Маленький босяк» — может, лучшее, что он когда-либо написал за всю свою жизнь. Но поэма была напечатана уже тогда, когда он покинул Иркутск и уехал в Москву. Он к этому своему детищу, за отъездом в столицу и за дальностью расстояния, совсем охладел и, возможно, и не увидел этого номера «Красных зорь» и уж, во всяком случае, ни разу не пытался перепечатать поэму и включить ее в свои московские сборники стихов. А между тем поэма не заслуживала такого забвения и авторского пренебрежения к ней.

В том же пятом, последнем и заключительном и едва ли не лучшем номере «Красных зорь», когда наш журнал набирал силы, чтобы молниеносно сверкнуть и погаснуть падучей звездой, блеснул Валерий Друзин своей статьей «Заметки о русской поэзии последних лет». Уже и тогда отличали эту его статью и зрелость мысли, и зрелость слога. Пусть в ней, с нашей сегодняшней точки зрения, были и ошибочные полемические суждения, и не сбывшиеся пророчества, но боренья тех дней и тех политических страстей были в основном верно угаданы. Были, были в статье стоящие мысли, счастливо выраженные, хотя порой, быть может, и очень спорные. Можно пожалеть, что он не вполне развил и не довел до полного каления эти заложенные, дремавшие в нем возможности одаренного литературоведа и историка литературы, мыслителя; всю свою сознательную жизнь он мечтал создать «Историю советской поэзии от ее истоков и до наших дней»; готовился к тому исподволь, да так и забросил этот замысел на полпути. Сложные перипетии личной его судьбы, некоторая несобранность были повинны в том, что он не довершил этого главного своего назначения в жизни.

Блеснул Валерий Друзин в «Красных зорях» и рассказом «Происшествие», тем самым показав, что не чужд был и художественной прозы.

Среди нас, «илховцев», были не только поэты, прозаики, журналисты

и фельетонисты, и в числе последних был яркой звездой первой величины Василий Томский (Скрылев), но и художники — живописцы и графики. Наши художники украшали своими гравюрами иркутские издания. Так, цветные гравюры Константина Мозылевского в «Красных зорях», изображавшие зимний Иркутск и его улицы — опущенные куржаком телеграфные провода, заснеженные крыши бревенчатых домов, — послужили мне толчком к созданию многих стихотворений.

Сергей Бигос, красавец собой, любил показывать на своих гравюрах современную индустрию — самолеты, заводы, трубы, подъемные краны, шахтеров, толкающих вагонетки с каменным углем (последнее не бог весть какая индустрия, но так еще было!..)

А вдумчивый Д. А. Болдырев-Казарин, со своей интеллигентской бородкой, был столько же художник-живописец, сколько и теоретик-искусствовед. Нельзя не отметить и не выделить его глубокую и содержательную, весьма внушительную статью «Sibirica в искусстве», в разделе «Искусство и жизнь», в пятом же номере «Красных зорь».

От редакции было сказано: «Ввиду большого интереса затронутых автором статьи вопросов, их непроработанности в специальной марксистской литературе, редакция, будучи не согласна с некоторыми положениями автора, все же печатает статью в порядке обсуждения, отдавая должное оригинальности подхода автора к затрагиваемой теме»...

Обсуждение не состоялось, журнал закрылся на этом же номере, умолк навсегда... Не согласен кое в чем с автором был и я, коренной сибиряк.

Но в основном статья Болдырева-Казарина очень поучительна: автор обладает обширными познаниями не только в области живописи; он просто — широко образованный человек. Особенно заостряет вопрос на главном: как отразилась Сибирь в искусстве, какое бы оно ни было, этому, в сущности, и посвящена статья. Болдырев-Казарин прослеживает историю этого вопроса, особенно задерживаясь на отношении к нему сибирских областников XIX столетия, показывая глубокое понимание этого удивительного движения сибирских сепаратистов, крайние последователи которых договаривались даже до полного отделения Сибири от своей пуповины — от праматери России, как в свое время Северные Соединенные Штаты Америки отделились, и даже с революционными боями, от своей метрополии — Великобритании. Это было во взглядах и самих русских «старожилов» Сибири. В 1934 году меня поразила старик в Прибайкалье, который на вопрос, где его родные, сказал: «Уехали на Русь!»

«Первый вопрос, который надлежит нам разрешить, — говорит Болдырев-Казарин, — это вопрос о том, что такое местный колорит, и может ли быть сибирский колорит в частности»...

Скажу уж и от себя: этот вопрос о местном колорите важен и для поэзии, и не о том ли мне говорил один из местных наставников, Лев Геор-

гиевич Михалкович, призывая меня к «сибирским побывальщинам» и «байкальским басям», чему я внял настолько, что и Виссарион Саянов, и Вивиан Итин, и другие мои доброхоты и «благовестители» называли меня под титулом «певец Сибири». Для меня этот вопрос неоспорим... Для меня это — врожденное, природное...

Сборник «Май»

И тогда же, в 1923 году, ИЛХО выпустило литературно-художественный сборник «Май»... Это была наша первая поэтическая книга, своего рода заявка на будущее. Вот она лежит передо мной — тонюсенькая книжечка в красочной обложке, с гравюрами и заставками Сергея Бигоса и еще, возможно, Константина Мозылевского... Как мы тогда радовались этому сборнику, это ни с чем несравнимо!.. Помню, в самый день Первого мая мы его сами продавали народу на Тихвинской площади во время первомайской демонстрации и смотрели на театральное действо под открытым небом, полное революционного новаторства, устроенное блистательным деятелем советского театра Николаем Охлопковым, который тогда жил и работал в Иркутске...

Сборник «Май», хранимый мною, тем еще драгоценен, что на нем написались все тогдашние «илховцы» первого призыва. Как это горько сознавать: бумага переживает человека! Как и письма на ней... Эти надписи, ко мне обращенные, я обязан дословно возродить, они имеют значение не только лично для меня, но и общественное, как живое свидетельство и отражение тех дум и настроений, которыми жил тогдашний литературный Иркутск, да и вся-то наша страна.

Вожак ИЛХО Георгий Александрович Ржанов, памятуя, что в сборнике «Май» напечатано под псевдонимом Михаил Бельский мое стихотворение «Красный кречет», которым я вовсе не горжусь, красными чернилами, наискосок, набросал мне, как призыв: «Взвейтесь «Красным кречетом» в нашей поэзии. Не изменяйте своей насадке ИЛХО. Г. Ржанов, 30 апреля 23 г.»

Иосиф Уткин оставил 3 мая 1923 года такую надпись крупным росчерком пера, тоже наискось страницы: «Хорошему человеку и поэту. Пожелай также и в даях, как и сейчас, любить поэзию, любить звуки. Что может быть прекраснее поэзии! Что может быть лучше человека, любящего поэзию. Малым начали, многим кончите!..» Не знаю, выполнил ли я эти предсказания — не мне судить, но в этих словах, пусть немного юношески восторженно-наивных, приподнятых, уже и тогда сказывался поэт, безгранично влюбленный в поэзию и пожизненно обреченный с нею.

Размашистым почерком, не признавая знаков препинания, оставил мне навсегда дорогую надпись Джек Алтаузен: «Мише. Милому, дорогому другу. Те мечты, которые мы когда-то даже боялись осуществить, теперь осу-

ществовались. И вы, стоящие на грани жизни, никогда не должны забыть тех минут, которые навсегда врезались огненными строчками в нашу память.

Мы последние в нашей касте,
Но жить нам долгий срок...

Помните эти слова...»

Мы тогда с ним были еще на «вы», при всей нашей дружбе и молодости, как и все «илховцы», мы были уважительны друг к другу... Не знаю, чьи прекрасные стихотворные строки привел Джек Алтаузен, возможно, что и свои. Но, вопреки словам этих строк, жил он «не долгий срок», погиб в дни Великой Отечественной войны в 1942 году, под Харьковом, при не вполне выясненных обстоятельствах.

В 1923 году я уже напечатал, все под тем же титулом «Михаил Бельский», в пятом номере «Красных зорь» свое программное стихотворение «Московский тракт», возглавляющее мои «сибирские побывальщины» и в тогдашнем, первичном своем виде имеющее некоторые разночтения в сравнении с позднейшими публикациями.

Вот почему старший наш «илховец», душа и сердце «Красных зорь» и ИЛХО, Андриан Вечерний (Голенковский) надписал мне следующий «наказ»: «Да станет певец «забытого сибирского тракта» большим сибирским поэтом! «Ой вы, косы девичьи и ласки!»

Как бы там ни было, но я старался стать «сибирским поэтом» в меру отпущенных мне возможностей... А стихотворная строчка, приведенная в заключение А. Вечерним, тоже взята из моего же стихотворения «На свидание», также напечатанного в одном из номеров «Красных зорь».

Становится понятной и последующая надпись «илховца» Василия Забайкальского, скоро исчезнувшего с горизонта ИЛХО: «Поэту девичьих кос М. Бельскому. Хотелось, чтоб жизнь не вырвала у тебя русокой задушевности... Иркутск, 30 апреля 23 г.»

В переключ с А. Вечерним и Василием Забайкальским следует и другое посвящение: «Пленнику девичьих теремов, влюбленному в дали сибирские... Иркутск. 30 апреля 23 г.» Эту надпись «подмахнул» прославленный на всю Восточную Сибирь наш бойкий на перо фельетонист Василий Скрылев-Томский.

Размахнулся на сборнике «Май» и Валерий Друзин, правда, по своему обыкновению, коротко и сжато, убористым почерком: «Крепкому поэту-сибиряку, автору красочных стихов, крепко жму руку накануне праздника 1 Мая. 30 апреля 1923 г.» Я всегда верил его художественному вкусу. Он мне открыл глаза на мое же стихотворение «Краснобай». «Почему ты его не предлагаешь в журналы?» — сказал он, попросив для ознакомления очередную мою рукопись — тетрадочку новых стихов. «Да так, знаешь, мне кажется, это что-то вроде заурядных частушек», — ответил я. «А ты попро-

буй!..» Я «попробовал» — и что же? — после того оно печаталось у меня семнадцать раз, и через него я лично познакомился с Сергеем Есениным, который читал его рядом со своим «Синий май. Заревая теплынь...» в журнале «Красная новь» (1925) и по-доброму отозвался о нем при нашем знакомстве в Столешниковом переулке...

Голубыми, уже выцветшими чернилами каллиграфически выведена на сборнике «Май» надпись нашего «илховского Антона Дельвига» — поэта Николая Хребтовского, вскоре и умершего: «Редко поэты находят сразу свою стезю, на которой они могут стать настоящими мастерами. Вы один из таких счастливых. 30 апреля 23 г.»

Читая эти давние надписи, я готов воскликнуть словами Афанасия Фета:

Здесь на коленях я снова невольно,
Как и бывало, пред вами, поэты...

Художники-«илховцы» тоже оставили мне свои надписи на сборнике «Май» (они же его и оформляли!), каждый по-своему. Так, Сергей Бигос, несколько велеречиво и многодумно, соблюдая в слове «юный» старую орфографию — через два «н», — растекся «мыслью по древу», но и преподал мне тоже свой «наказ»: «Привет одному из немногих современных неореалистов... Эстетика мгновения 1/1000 секунды, эстетика невоспетою еще, обыденного, эстетика будничных луж, автомобильных колес, пропеллера пусть будет твоей поэзией руководить, мой юнный (через два «н»! — М. С.) собрат. 3 мая 23 г.»

Мудрый, как змий, Д. А. Болдырев-Казарин пожелал мне на сборнике «Май» следующее: «Упорная, настойчивая работа — залог успеха на широком бескрайнем горизонте искусства. Вдыхайте крепкий аромат жизни — вот единственный мой вам завет. Май, 23 г.»

Сбоку, внизу, на одной из страниц, в две строки написано: «Мало знаю, но, чувствуя дарование, приветствую!»

Подпись неразборчива. Предполагаю, это черкнул скорее всего Константин Мозылевский, и менее предположительно — сотрудник газеты «Власть труда» экономист В. Казанский, отмечавший «филигранность» моего стихотворения «Опять душа в глуши затосковала...»

Еще издавался в ту же пору близкий к ИЛХО студенческий иркутский журнал «Кузнецы грядущего». В нем (1923, № 1) появилось стихотворение Иосифа Уткина «Рабочий в церкви» с горькими строками:

Только в лачуге начал,
Только лачуга и есть.

Слушай, Христос на шокете,
Слушай-ка, ласковый бог,
Что же на этом свете
Ты не помог?!..

Выступил и я с моим стихотворением «В этот день» (1924, № 3) и рассказом «Дым коромыслом» (баловался же и я тогда прозой!)...

Я ошибочно писал В. П. Трушкину, горевавшему, что ему не удалось разыскать в Иркутске следующих номеров этого журнала:

«...А их и не было, дорогой Василий Прокопьевич, смею Вас в том уверить! На первом же номере этот журнал и закатился, «в бозе помре»...

На самом деле номеров было значительно больше...

Рассказ о псевдониме

А не начать ли, не повести ли мне исподволь, потихоньку, рассказ о происхождении моего иркутского псевдонима — Михаил Бельский, уже не раз мелькавшего в этом повествовании?..

В ту пору было модно, как поветрие, давать себе псевдонимы, с легкой руки Алексея Максимовича Пешкова; его псевдоним, всемирно и навечно закрепившийся за ним — Максим Горький (был даже горемычный поезд, не третьего, а четвертого класса, под таким названием!) — повлек за собой в русской литературе целую вереницу подобных же именований — и каких только не было: Артем Веселый, Демьян Бедный, Михаил Голодный, Александр Ясный, Иван Приблудный, Низовой, Степной, Яровой, Беспощадный, был даже Петр Сатана, где-то, кажется, в Донбассе, и прочее, и прочее — несть числа... Но у меня были особые причины переменить мою родовую, отцовскую фамилию... Это и требует особого, отдельного рассказа.

Как только мои одноклассники доходили по учебникам истории до времен Ивана Грозного и узнавали про его кровавого сподвижника Малюту Скуратова, мое благополучие в школе кончалось — меня дразнили Малютой. Школьники бывают порой беспощадно жестокосердны!.. Я дико возненавидел свою фамилию...

А годы шли... Я стал «илховцем», штатным сотрудником газеты «Власть труда», младшим репортером и по совместительству работником газетной экспедиции, наклеивал ярлычки с адресами подписчиков и рассылал газету по всей Иркутской губернии, в местечки Куйтун и Тулун, Кутулик и Утулик, Баяндай и Забитуй, Тыреть и Залари, Шиберта и Шарыжалгай, Кимильтей и Тунка, Хаихта и Уян... а в Уяне я родился...

Одновременно меня стали печатать.

И тогда-то пришла мне в голову счастливая мысль: вот-де пришло времечко, когда я могу укрыться под вывеской придуманного мной прозвища и тем самым отделаться от ненавистной мне отцовско-родовой фамилии — Скуратов, въевшейся мне в печенки. Выдумаю себе новое имечко — и вся недолга!

Помню, я долго перебирал в уме, какое же мне выбрать себе новое прозвище, чтобы я как бы заново родился, я даже составил целый список —

до тридцати, что ли... Был и еще одна цель, другая задумка, толкавшая меня укрыться за выдуманное прозвище. Я хотел сразу убить двух зайцев. С одной стороны, отбояриться от ненавистной, данной мне с колыбели и при крещении фамилии; а с другой — не будут знать в родной семье, что я сочинитель и уже печатаюсь. Я очень стеснялся своего писательского тайного «рукомесла», тщательно скрывая его от отца и матери, от родных братьев.

«Так кто же я теперь буду?» — думал я, перебирая свой список.

И я решил заглянуть в энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: «Кто же был этот проклятый Малюта Скуратов, который мне не в жилу и не дает покоя? Кто он, на самом-то деле?..»

И что же я вычитал из Брокгауза-Ефрона?.. Оказывается, подлинная фамилия Малюты была даже не Скуратов, а — Бельский!.. В энциклопедии так и сказано: фамилия — Бельский, прозвище — Скуратов (точнее даже — Скурлатов; литовский корень — «скурл», что вовсе не лестно, в переводе на русский означает — «ветошь, рвань, тряпье»); кличка — Малюта; вернее, он носил даже тройную фамилию — Бельский-Скуратов-Плещеев, что явно указывало на его аристократическое происхождение, и что он вовсе не был простой лютый палач... Выходец из Литвы, приехал со свитой Елены Глинской — невесты Великого князя Московского Василия III, матери царя Ивана Грозного. Вот как объявились Скуратовы на Руси!..

«А-а, — позлорадствовал я, — мало того, что ты мне сыздетства, со школьной скамьи, причинял страдания и ко мне присобачили твою кличку, ты еще вдобавок был и — Бельский!.. Так вот, в отместку тебе, а не понарошку, я и буду — Бельский, Михаил Бельский!..»

И я стал печататься под таким именем, весь грамотный Иркутск года два-три меня знал, читал и кликал только как Михаила Бельского... И я так удачно укрылся под это прозвище, что в моей родной семье отлично знали, что я служу штатным сотрудником газеты «Власть труда», и читали эту газету, а и не подозревали, что Михаил Бельский — это я и есть!.. Это прозвище так привилось ко мне, что и теперь старые иркутяне при встрече со мной в Москве, увидя меня, кличут из-за спины: «Товарищ Бельский!.. Товарищ Бельский!..» Теперь для меня это как бы голос из-за гроба. Я уже давно передумал свое резко враждебное отношение к отцовской, прародительской фамилии, восстановил правду-матку!..

А как раскрылся мой псевдоним в родной семье?.. Однажды газета отравила меня в командировку... Через день-два я возвратился домой, в свое родное Глазковского предместье; а жили мы уже не на окраинной Селитбенной черте, дальше которой уже некуда было ехать. Отец продал там наш дощатый дом, и мы скитались с квартиры на квартиру, и последнее наше пристанище было — бревенчатый флигелишко на 4-й Глазковской... Родимая моя матушка, Авдотья Николаевна, дороже которой у меня не

было на свете женщины, что-то стряпала на кухне, и когда я чаевничал на ее глазах, спокойно и говорит мне:

— Слушай, сын, покудова ты ездил в командировку, приходил к нам на дом один паренек и разыскивал какого-то Михаила Бельского...

У меня екнуло в груди, а вслух я осторожно спрашиваю:

— А что же ты, мать, на то сказала ему?

— Я сказала, что здесь никакой Бельский не живет... А он говорит: «А как же мне в редакции газеты указали точный его адрес, именно ваш, — чтобы я посоветовался с ним начет моих стихов. Я пишу стихи»... Я ему толковываю: «У меня сын действительно работает в газете «Власть труда», только он не Бельский, а — Скуратов...»

Я смолчал, чуть не поперхнувшись куском сахара... А младший братишка, Павел, присутствовавший тут, воскликнул, обращаясь ко мне:

— А! Я давно догадывался, что — Михаил Бельский, это ты и есть, не отпирайся...

Впрочем невдолге отпала всякая необходимость держаться мне за мой иркутский псевдоним... Я послал о ту пору свои стихи в толстый журнал «Сибирские огни» в тогдашний Новониколаевск, нынешний Новосибирск. Мне оттуда, к великой моей нечаянной радости, Вивиан Азарьевич Итин, собиратель сибирских поэтов при журнале, писал: «Стихи приняты... Но что же мы будем делать с такой длинной фамилией — Михаил Скуратов-Бельский?! Откажитесь от какой-нибудь половины...»

А я послал туда свои стихи именно за такой громоздкой подписью... Ну что ж! Раз псевдоним мой раскрыт, то нечего за него и цепляться. Я уже подумал: «А ничего плохого и нет в отцовской фамилии — Скуратов!» Однако я же привык и к моему прозвищу — Михаил Бельский, чуть не сроднился с ним. Мне жаль было расстаться с тем и другим, подписал стихи под двойным и даже тройным звучанием, и получилось подлинно — «Малюта Скуратов-Бельский»... Вивиан Итин, ставший потом моим новым литературным благовестителем, литературным крестным батькой и дядькой-опекуном, догадался о моей юношеской блажи... Я три дня ходил по берегу Иркутка вблизи железнодорожного моста, отлично это помню, спрашивал себя: «От какой же половины мне отказаться? Кто я?! Скуратов или Бельский? Бельский или Скуратов?..» Последнее перебороло. Я вновь стал — Михаил Скуратов...

Но вот куда уводят грехи молодости... Когда я кончал в 1928 году литературное отделение этнологического факультета Московского университета, где я доучивался после закрытия Высшего литературно-художественного института имени Брюсова (ВЛХИ), то мне выдали диплом, в котором я в ужасе вычитал примерно следующее: «Настоящим свидетельствуется, что студент Михаил Маркелович Скуратов-Бельский окончил...» и т. д.

Я взвыл, повернулся на одном каблуке и опрометью рванулся в канцелярию университета, там сидел какой-то клерк из бывших царских чиновников, и я напустился на него:

— Почему мне вкатили в диплом двойную фамилию, когда я просто — Скуратов?

— А согласно документам, дорогой товарищ, который вам выдали из иркутской газеты «Власть труда», согласно документикам. Извольте убедиться сами...

Мне стоило большого труда, чтобы потом не вкатили и в паспорт двойную фамилию.

Наш «прекрасный Иосиф»

В Иркутске я дружил больше с Иваном Молчановым-Сибирским, а особенно с Джеком Алтаузенем, несколько коварным моим другом, но способным и на великодушные поступки, и на широкий размах, и на высокие взлеты своей неумной, «горластой», я бы сказал, яростной натуры. В Московском Кремле есть икона: «Спас — ярое око». Вот и он был такой! За его гибелью в дни Великой Отечественной войны да отпустятся ему грехи юности, и теперь не след их ворошить. Другом моим он все же оставался до конца своих дней...

Но в Москве, начиная, примерно, с 1930 года, я очень сблизился, сошелся во взглядах и во многих литературных вкусах именно, смею утверждать, с Иосифом Уткиным, и так уже до конца его дней, можно сказать — «полжизни рядом»... Мы его звали — «прекрасный Иосиф». Думаю, что и библейский Иосиф по своему обличью не был более красив, чем наш...

Иосиф Уткин был самобытен, ни в чем не похож на других, и в личной жизни, и в литературном своем бытии. И тем-то он был привлекателен, хотя кого-то и задевало его повышенное самосознание, признаваемое порой за высокомерие. Но это было внешнее, наносное. Показуха, как теперь говорят... Сойдясь и подружившись с ним ближе, я мог явственно узнать, что за этой горделивой байронической осанкой на самом-то деле скрывался очень простой, душевный парень, очень общительный, обходительный, деловой, любивший шутку, даже отзвучивый, «свой в доску», но когда надо, то и воинственный, и в то же время склонный к верной и неизменной дружбе. Я вошел в круг его семьи и был там завсегдатаем, даже поверенным его дум и чаяний. Вся его тогдашняя жизнь со всеми ее колебаниями и переливами, а их было много, шла передо мною, он впускал меня в самые потаенные уголки своей личной жизни. Правда, иногда в порыве честолюбия, которого он не был чужд, он в домашней обстановке раздувался как индюк, распускал павлиний хвост тщеславия настолько, что я готов был от смеха, душившего меня, лезть под стол. Но это было

редко, и я прощал ему эти минутные слабости. Ведь и на старуху бывает проруха...

Дружба с Иосифом Уткиным была спасительной для меня. Он во многом способствовал моему возвращению к поэзии. «Наше дело с тобой, Михаил, писать и писать! — говорил он. — Может, ни на что другое, лучшее, мы и не способны с тобой. Это наше единственное назначение и утверждение в жизни!» Он прямо и практически поощрял и направлял мою работу над поэмой «Сибирская родословная» (Москва, 1937), редактором которой стал сам, чем я гожусь...

Мы стали единомышленниками по сокроенным чувствам и думам. А дум было много! Особенно в то тревожное, да и опасное время... В часы наших вечерних и ночных прогулок мы все чаще возвращались к нашему сибирскому житью-бытью, к литературному Иркутску первой половины двадцатых годов, где и обрели тогда истоки своего писательского ремесла.

— Ты понимаешь, — говаривал он, когда мы уже перешли на «ты», — теперь, на отдалении, жизнь в Иркутске кажется нам с тобой залитой ярким сибирским солнцем, какого ведь не увидишь в Москве. Мы-то с тобой — сибиряки — знаем, что Сибирь — страна солнечная, вопреки распространенному заблуждению... Мы там — именно там! — быстро созревали как поэты. Каждый день был уплотнен, как целый год. Мы там были даже больше поэты, чем позже, в Москве! Я тебе это не для хлесткого словца говорю. У нас было хорошее начало, была незавершенность; но была и школа, были заложены основы овладения словом. И знаешь, что самое дорогое? Юношеское ощущение истинной поэзии, бескорыстное слияние с нею. Как жаль, что мы не всегда несли его свято через нашу жизнь, хотя и стали писателями-профессионалами. Насколько выхолощены сейчас наши души...

Я забегаю несколько вперед. Но надо, надо об этом сказать, хотя бы очень коротенько, иначе образ Иосифа Уткина и наши отношения с ним будут недомолвлены... Год примерно 1937-й... Была, как говорится, на дворе лихая пора, не тем будь помянута, — «ежовщина»... Нынешняя молодежь ее не помнит, не испытала на себе... знает о ней только понаслышке. И слава богу!.. По-нынешнему говоря, политический климат был ой как тяжел, муторен! По стране шли повальные аресты, обыски. Люди дрожали за свою судьбу... «Приду домой, — говорю, бывало, другу «на проминке по Большой Ордынке», — разболакаюсь и жду — нагрянут неожиданные гости. Они чаще всего в каких-то серых воротниках. Скажут: «Собирайся, мил друг, наскоро!..» Уведут неведомо куда, только тебя и видели... Поверишь ли, Иосиф, — каждый день выгоняю из своей души трусливого зайца»...

Он это запомнил — особенно про «трусливого зайца»...

И через несколько дней прочел мне новое стихотворение; оно никогда не было опубликовано полностью, и я считаю себя вправе привести его сегодня так, как оно есть.

На прогулке

Михаилу Скуратову

Веткой хвойною мороза
Ветер хлещет по лицу
Не советуют мне поздно
Одному гулять в лесу.

Но волков и топот конский,
Русских ужасов мороз,
Я, как детские знакомства,
Позабыл и перерос.

На меня не хищник лютый
Нагоняет лютый страх.
И не волчий мех. А люди
В меховых воротниках.

И — да много ль надо волку?
Волку только покажи
Не винтовку, а двустволку, —
И пойдет он вдоль межи.

Будто нищий, озираясь,
Шкуру серую спасать,
Нет, не волк, а серый заяц —
Вот ты с кем, попробуй, сладь!

Не в лесу, не в снежном поле,
А в глубин своих мерзлот,
А в груди, где как в подполье,
Заяц душу нам грызет.

«Тихоня» — Иван Молчанов Сибирский

Иван Молчанов-Сибирский! Мой друг и побратим по писательскому ремеслу. Мы оба с ним служили одному делу — русскому поэтическому слову, русской поэзии (надеюсь, что она в нас хоть чуточку да теплилась).

Мало того... Ведь Иван Иванович, для меня он всегда просто — Иван, был еще другом мне в пору моего детства! Мы с ним оба взрослели в Глазковском предместье Иркутска и даже сражались в мальчишеских уличных

драках, когда улица шла на улицу. И я на прежней Понтонной, в сосновой роще, где ютились железнодорожные двухэтажные бревенчатые домины, в такой драке отнял в Ивана трофей — самодельную, мы говорили «своедельную», пушку, смастеренную им из водопроводной трубы, а лафетом для такой пушечки служил детский трехколесный велосипед.

А потом мы стали «самосочинители», кропали стишки и на вечерах в железнодорожных училищах Глазковского предместья, когда остальные танцевали, стояли в толпе и, обнявшись, взявшись и взапуски читали стихи — свои и чужие, — под духовую музыку. Однажды так-то, в обнимку, мы, поглядывали на танцующих девушек, а Иван, при всей своей скромности, был очень влюбчив, — в один голос читали стихи из пьесы «Балаганчик»:

Неверная! Где ты? Сквозь улицы сонные
Протянулась длинная цепь фонарей,
И, пара за парой, идут влюбленные,
Согреты светом любви своей.
Где же ты? Отчего за последнюю парюю
Не вступить и нам в назначенный круг?
Я пойду брэнчать печальной гитарюю
Под окно, где ты пляшешь в хоре подруг!..
Нарумяню лицо мое лунное, бледное,
Нарисую брови и усы приклею
Слышишь ты, Коломбина, как сердце бедное
Тянет, тянет грустную песню свою?

А среди танцующих, «в хоре подруг», были и наши воображаемые Дульсины и Коломбины.

И уже о ту пору мы с ним оба стали «илховцами» и вошли в пятерку-шестерку юных тогда поэтов, составивших ядро Иркутского литературно-художественного объединения, выступавших под псевдонимами. Ох, уж эти псевдонимы! Они имеют свою историю... В первых номерах журнала «Красные зори» Иван Молчанов напечатал свои стихи под ничего не говорящим ни уму ни сердцу псевдонимом — Олег Имов... Мало кто об этом знает!.. Я восстал против этого.

— Иван! Какой черт тебя надоумил принять такой гимназический псевдонимишко? Никуда он не годится!

— Надо же мне как-то отмежеваться от моего московского однофамильца и тезки — поэта Ивана Молчанова! Чтоб ему на том свете икалось...

Этот московский Иван Молчанов (он в ту пору здоровствовал, у них не совпадали только отчества, у московского — Никанорович, у нашего — Иванович!) был как бы вечным бельмом на глазу моего друга... Когда в наш иркутский книжный магазин, который был рядом с редакцией «Вла-

сти труда» на Большой улице и раньше принадлежал Макушину, известному книжному просветителю, своего рода «сибирском Сытину», приходили из далекой столицы свежие номера журналов, то иркутяне-читатели, перелистывая их, радостно восклицали:

— Поздравляем вас, Иван Молчанов! В очередном номере московского журнала (имярек такого-то!) появились ваши стишки! Очень, очень рады...

А наш скромняга, «тихоня» Иван Молчанов тоже краснел, потуплял глаза, опущенные густыми ресницами, — это была его всегдашняя природная особенность, и весь он был — как красная девица, и румянец на щеках был такой, что позавидовала бы и любая девица, и от смущения он готов был провалиться сквозь землю и глухо бормотал (он вообще был молчалив, что соответствовало и его фамилии):

— Да нет, это же не мои стихи! Это не я напечатался в Москве...

Одно время он, как сын железнодорожного инженера, учился в железнодорожном техническом училище Красноярска, прибыл на летние каникулы в родной Иркутск, зашел в редакцию газеты, где я работал штатным сотрудником, и я в редакционном коридоре, перед кабинетом бухгалтерии, не смущаясь, что нас слышал главный бухгалтер, милейший Владимир Иванович Бичунский (надо же сохранить на память и его имя, он принимал живейшее участие в судьбе «илховцев», выплачивая нам гонорары и подписывая чеки в банк для выпуска «Красных зорь», и других илховских изданий, — денежный воротила газеты!), горячо по-юношески, с пылу с жару, выговаривал своему другу «глазковцу» и побратиму по ремеслу сочинительства:

— Долго ли ты, Иван, будешь укрываться под этим паршивым гимназическим псевдонимом — Олег Имов?

— Но есть же поэт — Рюрик Ивнев! Ведь это тоже псевдоним. Настоящее его имя, я узнал, — Михаил Александрович Ковалев. Есть же — Игорь Северянин? — возражал Иван.

— Да, но то было когда себе, при царе Горохе, и уже утвердилось в литературе. И все-таки это лучше, чем твой. Придумай другое!

— Ну, хорошо!.. — высказал я ему однажды свою думку. — Ведь ты же — сибиряк! Заядлый. Во Владивостоке родился, а вырос в Сибири. Вот и отмежуйся от столичного, то бишь московского Ивана Молчанова!.. Помнишь, сибирский поэт прошлого века, Федоров, родился-то на Камчатке, а присобачил к своей фамилии приписку, оттолкнувшись от байкальского омуля: Омудевский, и она прикипела к нему навсегда. А уралец Мамин (а тогда Урал шибко-то не отделялся от Сибири!) приписал к своей фамилии — «Сибиряк» и стал с тех пор навсегда Мамин-Сибиряк. Мотай на ус, Иван! Вот и ты припиши себе — Сибирский, — и станешь — Иван Молчанов-Сибирский. Чем худо, паря Ванча? И сразу отмежуйся от московского тезки.

Иван призадумался. С непривычки ему сперва это показалось в диковинку... А потом подумал-подумал, прикинул сперва этак на слух и, так же потупив глаза после долгого, привычного ему молчания — не большой-то он был говорун в ту пору! — медленно выцедил из себя:

— А знаешь, пожалуй, я согласен с нынешнего дня, даже с этой минуты, стать — Иван Молчанов-Сибирский! А? Как ты думаешь?

— Лады! Давай пожмем руки на том и вся недолга...

С тех пор так и повелось! Народился новый поэт — Иван Молчанов-Сибирский... Я стал крестным отцом нового литературного прозвища для моего друга! Не в заслугу себе это ставлю, ну ее к лешему, на что мне она? Говорю так, как было, чистая моя правда! — мой друг с моей легкой руки стал с того дня — Иван Молчанов-Сибирский!.. Произошло это летом 1923 года, в редакции газеты «Власть труда», на Большой улице, где свило свое гнездовье наше ИЛХО...

Выросший в железнодорожном предместье, сын железнодорожника-инженера, одно время воспитанник Красноярского железнодорожного техникума, одним словом — железнодорожник-путеец, в ту раннюю свою пору он написал совсем недурное стихотворение, навеянное впечатлениями этого своего происхождения: «Полустанок номер 40» (я отчасти помогал ему ладить его!), напечатанное в журнале «Красные зори» (1923, № 5, апрель-май); почему-то, к огорчению, оно ни разу после того не перепечатывалось нигде и не вошло в его посмертный однотомник «Избранное». Я, чтобы спасти его от полного забвения, приведу его здесь полностью.

Двадцать первая верста —
Полустанок номер сорок...
Скрылся домик в тень куста,
На платформе кучки сору.

Рельсы в горы повели
Мимо темных диких балок...
Стебли кротких повилик
Обнимают стрелки, шпалы.

Одноглазый семафор
Путь свободный не осветит...
Острый времени топор
Беспощадно рельсы метит.

Задремал глухой карьер,
Лес давно гудков не слышит,
Мох, как бархатом портьер,
Закрывает ржавость крыши.

Прилетят порой грачи
Из-за темной горной грани...
Жизнь закинула ключи,
Полустанок не воспрянет.

Не воспрянет. Он — погас.
Проводов порвались жилы.
Помнят горы и тайга,
Как нашел кедрач могилы,

Как давно там стон стоял,
От лопат земля стонала...
Спите, вольные края,
Неприступность горных балок.

Это что-то от живописи Левитана, от элегий Бунина — поэмы запустения, которые так возлюбили, в духе того времени, на стыке XIX и XX веков, оба эти мастера... Живые строки, созданные живым Иваном Молчановым-Сибирским...

С Иваном Молчановым-Сибирским в 1923 году мы оба трогательно снялись — прислонившись плечом к плечу, голова к голове, оба — молодые, совсем юные, еще пышноволодые, оба — полные надежд, которые, как всегда в жизни, и наполовину не осуществлялись...

Рыцарь Печального Образа

Да, разные были поэты в литературном Иркутске двадцатых! Но кого должно помянуть добрым словом, так это еще Александра Ивановича Балина. Он позже всех примкнул к «илховцам» первого призыва, а потом вошел в состав «илховцев» второго призыва, наряду с осевшим навсегда в Иркутске Иваном Молчановым-Сибирским... Святая душа был этот поэт чистой воды — Александр Иванович Балин!..

В январе 1923 года, когда полуголодный, истерзанный Иркутск зализывал раны после Гражданской войны, появился среди нас приехавший из Барнаула узкогрудый, горбоносый человек, с бородкой клинышком, сразу тепло принятый нами. Он был старше нас лет на десять, но ведь «десять лет разницы — это пустяки!» — как сказал Эдуард Багрицкий. Он был среди нас как сверстник, как равный с равными.

Мне он удивительно чем-то напомнил с первого взгляда изображение обаятельного рыцаря Печального Образа — Дон Кихота Ламанчского; и если бы надо было создать живой облик «печального рыцаря», то я бы, кажется, не избрал никого другого в прототипы, как только Александра Ива-

новича Балина. Этому отвечала и его худоба, при высоком росте, и его удивительная, добрая как-то по-голубиному, душа.

Несмотря на несколько нерусское внешнее обличье, он был глубоко русский человек. И как же он любил, понимал, берег, таил в себе родниковую русскую речь, ее певучесть, ее народную сокровенную силу, меткость, запашистость, ядреность и складность, да еще и занозистость! Припоминаю, что именно ему я обязан заглавием одного моего стихотворения.

Я посетовал Александру Ивановичу, что никак не могу подыскать такое заглавие, которое бы не повторяло привычных слов: «песня», «сказ», «побаска», «быль», что-то вокруг этого, но чтоб уж «шибко» было по-русски, по-народному, по-старинному, как требовал дух стихотворения. Александр Иванович потербил свою донкихотовскую бородку, задумался. «А вот еще в народе взамен слов «быль», «сказанья», «побаска» говорят: «бась»... Хорошую, дескать, мы слушали сегодня «бась»!

Я хлопнул себя по лбу. Счастливое, редкостное слово! Так у меня родилось заглавие «Байкальская бась». А еще чуточку раньше Александр Иванович сказал: «А вот слово «старина» иногда сжимается в более выразительное: «старь»...

Я и тогда ахнул от изумления: как здорово.

Я все это говорю к тому, что я тогда был поражен глубоким знанием и пониманием сокровенных тайн русской народной речи, каким непостижимо владел Александр Иванович Балин — истинный подвижник слова.

И вот такого прекрасного человека «погасили» ни за что ни про что. В 1937 году на него поступило клеветническое заявление от писателя Павла Листа, ходившего в его мнимых друзьях. Это заявление сыграло роковую роль в судьбе Александра Ивановича Балина!.. Я знал клеветника и предателя Павла Листа еще по Москве, по университету и по одной газете, в которой он был судебным репортером, а потом перебрался в Сибирь, обосновался в Иркутске; в Москве он подписывался под своими репортерскими заметками — «Журналист»; в Иркутске отбросил два первых слога — и получился писатель — Павел Лист... Мрачный был человек...

Верная жена Александра Ивановича, Б. М. Школьник, писала о своем спутнике жизни в воспоминаниях «Тропой жизни»: «Вечером 29 апреля 1937 года увели его навсегда... В мае 1938 года, не подозревая трагического конца, я зашла в загс справиться о муже, и мне дали справку о его смерти (в декабре 1937 года в иркутской тюрьме)»...

В 1954 году Александра Ивановича Балина посмертно реабилитировали...

Поэты иногда, не ведая о своей гибели, в стихах задолго предсказывают ее.

Вот и в посмертной книжечке Александра Ивановича Балина «Возвращение» (Иркутск, 1966), где сгущенно собраны лучшие его стихи начиная с 1913 года, тоже встречаешь строки, как бы некое предвидение трагического конца:

Уснуть в тюрьме, проснуться на свободе...

И уснул там!.. Так и случилось, как он говорил... Но только никогда уже не проснулся!..

В столицу нашу, Москву белокаменную, я приехал 14 августа 1924 года, в знаменательный день. Было полное лунное затмение, которое я встречал на ступеньках храма Василия Блаженного, и впервые слышал, как на Спасской башне, увенчанной тогда еще золотым двуглавым орлом, распластавшим крылья, куранты меланхолично отзванивали «Коль славен наш Господь в Сионе»...

Начиналась новая пора моей жизни... Теперь-то я на книгах моих дарственно надписываю: «Крепко обмосковившийся «столбовой и кровный сибиряк» (это тоже из моего стародавнего программного стихотворения «Сибиряки!»). А так как эта надпись часто повторялась, ее надо освежать, и я подписываюсь — «Москвич сибирской закваски», «Иркутянин московской прописки», — и уже надо придумать нечто новое...

Однако и в Москве дает себя знать моя сибирская родова, и корни моего давнего песнетворчества глубоко таятся в моей народной сибирской родословной. И я никак не могу от этого отстать. «С чем родился, с тем и сгодился!», как бы меня там ни упрекали...

Литературный Иркутск первой половины двадцатых годов часто «икается» в моей памяти. И я, как мог, «посказал» о том времени...

Не беда, что давненько, братцы,
Обмосковился крепко я.
Снова с силами дай мне собраться
Ты — отцова моя земля!

1987

Мой сталинский век

...**М**ое поколение первым было мобилизовано на поддержку колхозного строя. Начиная с нас, семиклассников, все должны были отработать на уборке урожая. К школе подогнали две подводы, погрузили на одну девчонок, на другую — парнишек. И увезли в далекий от города Канска Абанский район.

Ни подушек, ни одеял с собой не брали. Ехали целый день. Парнишек увезли в другую деревню, а нас поселили у одинокой женщины. Спали на полу вповалку. Почему-то ни одной из нас не пришло в голову поинтересоваться, откуда у этой маленькой и незаметной женщины столько поношенных, вытертых шубников и комковатых подушек, что можно уложить десяток пятнадцатилетних девчонок. Впрочем, что спрашивать с городских школьников! Я и в двадцать лет, работая в газете, не догадывалась, откуда на железнодорожном материальном складе столько трухлявого женского белья, выдававшегося паровозникам вместо обтирочных концов. Я-то не понимала, а паровозники, видимо, догадывались и очень не любили этот «обтирочный материал».

А были это остатки крестьянского быта, невостребованное имущество, оставленное увезенными на Игарку и в другие не столь отдаленные места пахарями земли сибирской. А иные и сегодня не верят, что была такая партийная установка — ликвидировать крестьянство.

Утром нас увезли в поле. Две жатки-лобогрейки уже работали. Поодаль несколько женщин вязали снопы. Нам велели крутить вязки. Немолодая женщина учила городских неумех. Но, как оказалось, она и сама этого не умела. Хозяйка нашей квартиры вечером объяснила, что женщина эта не простая. Она десятитысячница, работница Ленинградской трикотажной фабрики. Хлипкий колхозный строй приходилось подпирать со всех сторон. Десять тысяч городских коммунистов были мобилизованы и отправлены

Марина Валентина Ивановна (23 февраля 1914, с. Козловка Тамбовской губернии — 2002, Иркутск), прозаик. Член Союза российских писателей. Автор книг «Трудный год», «Павильон Раймонды», «Чернотроп» и др.

председателями колхозов. Председательницы из нее не вышло. Оказалось, не каждая кухарка может управлять государством. Определили поварихой на полевой стан. Вот тут она была на месте! Похлебки ее до сих пор помню.

Вернувшись в город, мы узнали, что седьмой класс по новому постановлению правительства стал последним в средней школе. Кто хотел учиться дальше, должен был идти на рабфак, куда принимали только работающую молодежь. Рабфаки открылись при каждом высшем учебном заведении. В Канске не только высших учебных заведений, но и техникумов не было.

Старшие сестры, пока мы «укрепляли» колхоз, уже устроились в Иркутске. Мать ждала меня из колхоза, чтобы оторваться от Канска окончательно.

В начале тридцатых годов извозчиков в Иркутске почти не осталось. Задавил огромный налог на лошадей. Ходил по единственному маршруту (вокзал — Маратовское предместье) автобус марки АМО величиной с сегодняшний «пазик». С нашим багажом попасть в него было несбыточной мечтой. Зато у вокзала было полно крепких дядечек с ручными тележками. Они наперебой предлагали пассажирам увезти их багаж по любому адресу. Скорее всего, это были те самые «обезлошадившие» извозчики.

Чем не рикша? Правда, садиться на этот «экипаж» никто не решался. Даже детей несли на руках. Но вещей на эту тележку можно было накладывать и накладывать, как на ишака.

Уборщицы требовались даже в годы нэпа. Мама устроилась уборщицей в общежитии при монгольских курсах. Монгольских юношей в Иркутске обучали русскому языку, а потом устраивали в разные институты. На улице Карла Либкнехта для них отвели два больших двухэтажных дома. Здесь же в полуподвальном этаже нашлась комната для уборщицы. Район был застроен деревянными домами с большими усадьбами. Дома перешли в собственность горсовета, а усадьбы пустовали. Но уже в разгар нэпа землю эту присмотрели трудолюбивые китайцы. Их в это время в Иркутске было много.

Моя старшая сестра хотела стать врачом и пошла на рабфак медицинского института. А днем работала на швейной фабрике. Младшая попала в ремесленное училище при обувной фабрике. Только через год с большим трудом ей удалось перебраться на рабфак горного института.

По слабости зрения ни на одну фабрику меня не приняли, и я совершенно случайно забрела в Иркутское отделение РОСТА (Российского телеграфного агентства), где требовался репортер. Работа мне понравилась. Иркутск в те годы кипел.

Примитивные обозные мастерские превратились в завод тяжелого машиностроения. Он стал выпускать драги для промывки золотоносных песков. Открылась слюдяная фабрика, поставлявшая слюдяные изоляторы для электроприборов. Широко раскинула крылья чаеразвесочная фабрика. А на развалинах знаменитого на всю Сибирь Иннокентьевского монастыря поселили целых три гиганта (по тем временам) — мыловаренный и комбикормовый заводы и совсем уж гигантский мясокомбинат.

Улица Большая (Карла Маркса) от набережной до улицы Амурской (Ленина) была вымощена деревянной торцовой брусчаткой. Проезд был закрыт. По вечерам иркутяне гуляли по этой мостовой. Вообще раньше сибиряки любили гулять. Надо было успеть надышаться за короткое сибирское лето. В маленькой Слюдянке гуляли по вокзальному перрону. В Канске, где прошло мое детство, был большой тенистый сад. Гуляли по аллеям. В садах играли духовые оркестры. В Иркутске я слышала часто классическую музыку.

Многие из примет того времени кажутся смешными. Пожилые иркутяне очень любили крепкий чай с молоком. Но Великий пост запрещал употребление молока. Этот запрет обходили легко. Пили чай с молоком, приготовленным из кедровых орехов. Вкусно, но дорого! А вот халва из кедровых орехов у нас, юных и вечно голодных, была просто райским деликатесом. Но где он, это деликатес? Осетрина, стерлядь, белорыбица, нельма... Как вкусно ели предки наши! Тоже, наверное, думали, что добра этого всем потомкам хватит.

Рабочих рук не хватало, но еще острее была нехватка руководителей. И в царской-то России инженеров и техников было немного, а тут столько новых производств! И тогда пришел «выдвиженец». Это значило — человек без образования, выдвинутый на руководящую должность за преданность партии. Были среди них люди умные и не очень. Были случаи, когда выдвигала их рабочая масса. Иногда удачно.

Так, много лет руководил колхозом «Власть Советов» совершенно неграмотный Адам Макарыч Кузнецов. У него учились хозяйствовать специалисты с дипломами.

А были и такие «самородки», о которых грех умолчать. Иркутской областью некоторое время руководил некто Качалин, человек настолько дремучий, что через год его сменили. Но память о себе он оставил!

Речи для выступлений ему готовил референт, но читать их он был не мастак. Незнакомые слова он просто переделывал на свой лад. На юбилей медицинского института он смутил зал заявлением, что советская наука идет вперед под руководством великого «кафетерия» науки Сталина! Перечисление видных профессоров института — Сапожникова, Мочалина, Ходоса — он закончил фразой: «...и другие ветеринары науки».

Чем неудачнее было выдвижение, тем больше важничал выдвиженец.

Один из таких — Василий Гаврилович Ш., вчерашний старатель, с гордостью говорил:

— У меня на прииске семнадцать дипломированных инженеров!

Прииск был небольшой, никакой техники не было. И я спросила:

— А сколько инженеров держал бы здесь хозяин (частник)?

— Нисколько! — простодушно признался Василий Гаврилович. — Одного десятника хватило бы! (Десятник — старший рабочий).

Моя работа мне нравилась. Было интересно встречать отовсюду наехавших людей. Слушать о том, что они сделают в ближайшую пятилетку. Еще не ушибленный репрессиями тридцать седьмого года, народ жил открыто и беззаботно. Вспоминаются маевки тех лет. Не было коллектива, который на воскресенье не раздобывал бы грузовик со скамейками. Брали с собой бочонок пива, буфетчицу с пирожками, самовар и выезжали на целый день. Чай на природе, говорят, вкуснее, чем дома. Иркутяне любили выезжать на Казачьи луга, в падь Топку и вверх по Ушаковке. Сейчас все живописные места в окрестностях города изрезаны огородными участками, именуемыми «дачами». «Жигули» поставить некуда, не то что грузовик с буфетчицей и самоваром.

Охотно ходили на праздничные демонстрации. Очень любили петь бодрые советские песни. Озорные песни тоже пели. Помните «Гоп со смыком», «В доме отдыха мы были. Нас кормили хоть куда! Каждый день оп-ределенно — солнце, воздух, вода!..», «Далеко в стране Иркутской...» В этой песне об Александровском центре особенно нравилась строфа: «Я попал сюда случайно за подделку векселей, за фальшивую монету и за кражу лошадей!»

Имя Ленина иногда упоминалось рядом с именем Троцкого, но про Сталина мы, беспечная молодежь двадцатых годов, даже не слышали. На школьных тетрадках были портреты Бубнова (наркома просвещения) и Луначарского. В популярном репортаже американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» о самых горячих днях Октябрьского переворота Сталин упоминается всего один раз, да и то по пустяковому случаю: куда-то его (Сталина) не пустили без пропуска. Не случайно эту книгу при жизни Сталина ни разу не переиздавали. Знакомый секретарь райкома Степан Трифионович Крашук, воспитанный на том, что именно Сталин сыграл решающую роль в Октябрьском перевороте, прочитавши этот репортаж, был потрясен не меньше, чем мир Октябрьской революцией.

Те годы вспоминаются как очень светлые. Наверху, конечно, интриговали, но внизу шла обыкновенная человеческая жизнь.

После разгрома троцкистской оппозиции в Иркутске оказалось много ссыльных оппортунистов (так тогда называли противников генеральной линии партии). Среди них были блестящие ораторы. Помню, на очередной юбилей Карла Маркса нас, рабфаковцев, привели послушать лекторов. Первым выступал иркутский профессор Бялый. Он нам рассказал, как следует строить коммунизм по Марксу. Потом выступил столичный профессор Галеркин, он не оставил от доводов Бялого камня на камне и предложил свой путь к коммунизму. А мы как-то не задумывались, каким путем идти. Сталину верили.

«Пятилетку в четыре гора!», «Догнать и перегнать Америку!», «Первый хлеб — государству!»... Много было таких директив, которые нам полагалось выполнять. Это было нетрудно. Никто весь всерьез не проверял, догнал ли Иванов Америку или позорно плетется в хвосте. Впрочем, отстающее предприятие или бригада рисковали получить рогожное знамя. Было учреждено и такое в противовес красному. Рогожу эту полагалось вывесить на видном месте. Однако не зря народная мудрость утверждала, что «на миру и смерть красна»! Ходить под рогожным знаменем вместе с директором или бригадиром было не так уж стыдно. Шутили: «Догнать-то мы Америку догоним, а перегонять не будем. Заплаты на штанах больно велики!»

Впрочем, шутить по поводу партийных директив было небезопасно. К бдительности нас призывали на каждом шагу. Мы, журналисты, и думать не смели написать, что в Иркутске работает авиастроительный завод. Да и цензура не пропустила бы. Мы писали: «Завод, где директором Петров...», не подозревая, что крупный этот специалист давно уже на примете у всех иностранных разведок. Его присутствие в Иркутске, да еще в качестве директора, комментариев не требовало.

Всюду висели плакаты: «Болтун — находка для шпиона!» Не задумывались, зачем шпиону слушать безответственного болтуна, если из окна пригородного поезда открывался вид на аэродром Иркутского авиационного завода. Специалист мог безошибочно определить тип и назначение самолета.

Мы привыкли к этой пронизывающей нашу жизнь бдительности и часто не замечали связанных с нею глупостей. Молодой журналист, побывавший у пограничников, закончил свой очерк красивой фразой: «А за рекой лежала некая японская держава».

— Так некая или японская? — спросил редактор.

И парень не сразу сообразил, что написал глупость.

Помню, написала очерк о черемховских спасателях. Так хотелось рассказать о героическом их труде. Не пропустили. Нет у нас аварий, а тем более катастроф, а следовательно, никаких спасателей!

Знакомый геолог спросил меня, почему до сих пор не напечатано об открытии месторождения марганца.

— Полезные ископаемые — государственная тайна, — объясняю я. — Цензура никаких сообщений о них не пропускает.

— Странно! — удивился мой знакомый. — Я вчера только прочел об этом месторождении в немецком журнале. Подробное сообщение с характеристикой руды и местности.

Однако вернемся к старой шутке «о заплатах на штанах». Сегодняшним людям покажется странным, над чем мы смеялись, обсуждая вопрос, стоит ли обгонять Америку. Что, нельзя было сменить штаны? В том-то и дело, что нельзя! Негде было их взять. Своих тканей не хватало. Платья, брюки, даже чулки продавались по ордерам, которые выдавал завком.

Помню, как молодой Саша-фельетонист «клянчил» в местном ордер на женские чулки.

— Зачем тебе? — удивились месткомовские женщины.

— Подарю своей девушке за любовь!

Рассказывали о любопытном случае с всесоюзным старостой Михаилом Ивановичем Калининым. Сам из крестьян, он любил расписывать деревенским мужикам, какая будет жизнь при коммунизме. В одной деревне спросили:

— А товар на штаны будет? Обносились вконец! Штанов пошить не из чего!

— Подумаешь! Что такое штаны по сравнению с мировой революцией?! Вон в Африке в некоторых местах совсем без штанов ходят, — попытался отшутиться всесоюзный староста. Мужики сейчас же «припечатали»:

— Видать, давно там советская власть!

С обувью было еще хуже. Лаптей в Сибири, конечно, не носили, но кожу на сапоги добывали только незаконно. Шкуры забитого скота полагалось сдавать. Горожанки, и я в том числе, носили туфли на резиновой подошве (не путать с микропорой). Верх из темно-синего молескина. Правда, на обувной фабрике существовал цех индивидуального пошива, но ордер туда достать было не просто. Если уж выпадало счастье, то туфли эти завертывали в тряпочку и носили только на работе. А моя репортерская работа почти вся была на улице.

Один штрих, характеризующий нашу тогдашнюю «дикость». В Иркутск на гастроли приехала негритянская певица средней руки, однако наши женщины ходили на ее концерты по три раза. «Что вы там такое нашли? — удивлялась я. — Наши певицы лучше!» — «Да понимаешь, хочется рассмотреть, как она влезает в свои платья! — отвечали мне. — Ни одного крючка, ни одной пуговицы, а платье как перчатка!» Мы понятия не имели о застежках-молниях! Когда весь мир уже отказался от крючков и пуговиц.

Но это мелочи. А вот когда заезжий корреспондент «Правды» рассказал, что за границей первоклассным журналистом считается только тот, кто может управлять автомобилем, самолетом, знает два-три иностранных языка, работает на пишущей машинке, стенографирует... Вот тогда мне стала до слез обидной наша убогость. У нас-то была только одна машинка «Ундервуд» на всю редакцию, и примадонна-машинистка не разрешала редакционной «плотве», вроде меня, даже касаться этого инструмента. И где нам было научиться управлять автомобилем? Нашу редакцию «Последних известий» обслуживала лошадь...

Я не была ортодоксальной комсомолкой, но все же свято верила, что лепешка из картофельных очисток и ботинки с подошвой из автопокрышек (мы сразу их прозвали ЧТЗ — была такая марка трактора, Челябинский тракторный завод) — дело временное. Этим путем еще никто не шел, вот нам и трудно. Термин был такой расхожий — «трудности роста». Но я любила географию и любила читать. Было интересно представить, где конкретно происходили события в повести или романе. Удивилась, что в романе Дмитрия Фурманова «Чапаев» ни слова нет о Сталине. А ведь в те годы, согласно официальной биографии, Сталин руководил военными действиями Красной Армии. Ничего нет о Сталине и в «Железном потоке» Серафимовича, и в очерках Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». А Сталин ли руководил? О Троцком пропаганда и не заикалась.

В первом варианте романа Николая Вирты «Одиночество» (об антоновском восстании) тоже нет Сталина, но Вирта догадался его переписать, как требовалось. А Дмитрий Фурманов и Джон Рид к тому времени уже умерли. Их просто больше не издавали. Но к тому времени, когда я это осознала, делиться своими сомнениями было небезопасно. А вообще-то тогда мы жили не то чтобы весело, но очень бездумно, беззаботно. Свято верили, что впереди нас ждет светлое будущее: «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет». Мирились с коммуналками и этими лепешками из картофельной шелухи. И пока еще не подозревали, что Сталин прибирает страну к рукам.

Старое не устраивало моих современников не только в общественной жизни, но и в личной. Особенно сильно эта тяга к новому сказалась на именах, которые давали детям, нисколько не сообразуясь с тем, как это будет звучать в сочетании с русским отчеством. Пятилетнюю дочку директора нашего издательства звали Агита. В те годы многие давали детям революционно-замысловатые, заграничные имена. Большинство обладателей новых имен, получая паспорт, меняли новомодное имя на привычное старое,

но некоторые до старости гордо остаются Октябринами, Владленами и Спартаками. Когда мы узнали что невинное дитя Агита в метриках записана Агитацией, начались шуточки и подначки. «Вот увидишь, — говорили мы ее папе, — девочка вырастет и даст в газету объявление: «Меняю имя Агитация на Пропаганду».

Иногда на этой почве случались конфузы. Знакомому журналисту досталась от родителей смешная фамилия Пипкин. Для журналиста фамилия — не последнее дело. Наш друг решил ее сменить, но, к несчастью своему, выбрал слишком громкую — Мятёжный. И сейчас же его прозвали Мятёжная пипка!

Другой объявлений не давал, а просто сказал, что его зовут Виктор. Так и подписывался, и все к этому привыкли. А во время войны студию радиокомитета взяли на охрану, нашего Виктора не пустили на работу, так как пропуск был на Виктора заказан, а в паспорте был записан Трофим.

Наш милый, красивый Иркутск тоже едва не пострадал от этой моды. В тридцать первом году местные подхалимы пригласили Ворошилова поохотиться на кабанов в дельте Селенги. Бурятия в то время входила в Восточно-Сибирский край, а Иркутск был центром этого края. Тогда и попросили наркома дать свое имя нашему городу. Не разрешил. Иркутск и сегодня считается одним из красивейших сибирских городов, а в начале тридцатых, когда в нем еще много было нарядных деревянных особняков и церквей, он был очень хорош. Скорее всего, нарком-слесарь побоялся опередить Сталина в количестве названных его именем населенных пунктов, краев и областей. А были еще колхозы, заводы, институты и пароходы... Эта эпидемия переименований Сталину, видимо, нравилась.

Улицы переименовывали особенно ретиво. И до сего дня в любом российском городе есть улицы Ленина, Карла Маркса, Профсоюзные. Первые названия — всегда историческая память. Улица Кругобайкальская, скажем, до прокладки великой Сибирской железной дороги была началом колесного пути вокруг южной оконечности Байкала. Улица Марата называлась Луговой — была когда-то южной границей города. За ней, видимо, до самой реки простирался прибрежный лужок. Четвертая Железнодорожная называлась Селитбенной. Селитбенная черта — обозначение границы городских земель. Улица Лагерная — за ней располагались летние лагеря городской казачьей сотни.

Старое название улицы Желябова — Трапезниковская — тоже следовало не только сохранить, но и увековечить мемориальной доской, повествовать потомкам, что улица названа именем купца Трапезникова, одного из учредителей Русско-Американской компании, положившей начало освоению русскими американского севера. А Желябов в наших краях никогда не бывал.

Читатели очень любят исторические романы, однако в советское время историческая тема не поощрялась. Нам старались внушить, что собственно история человечества началась с семнадцатого года. Все, что было раньше, не стоит внимания. Раздавались даже голоса о начале нового летоисчисления с Октябрьской революции. Упрямых писателей основательно прорабатывали за уход от нашей прекрасной действительности в нафталиновое прошлое.

Слабонервные сдавались. Автор прекрасных исторических повестей «Артамошка Лузин», «Путешествие в Китай», «Албазинская крепость» иркутский писатель Гавриил Кунгуров выбросил собранные материалы для романа о нашем земляке Григории Шелихове и начал работу над романом о советском студенчестве... Но не его была эта тема. Роман «Наташа Брускова» получился вялым, скучным. Рядом с историческими повестями Кунгурова не стоял.

Не поощрялось и любование природой, красотой женского тела, лирическими страданиями. В газете «Советская Сибирь» (в те годы Сибирь еще не делили на Западную и Восточную) был напечатан стихотворный фельетон некоего Филиппыча. Громил репертуар гастрольной группы, посетившей шахтеров Кузбасса. Громил Филиппыч артистов, как стали говорить об этом спустя несколько лет, за безыдейность. Всего фельетона не помню, но заканчивался он выразительно:

Не видеть бы, не слышать бы
Поцелуи, вздохи, свадьбы!
Стой! Шахтерскую гармонь
Старым мусором не тронь!

Иркутский художник Развозжаев написал обнаженную, лежащую в лодке на таежной речке. Ну и досталось ему! До чего докатился: голых баб пишет! Честные советские девушки его, видите ли, не вдохновляют! А советские девушки ходили в те годы преимущественно в комбинезонах и ватниках. Послушные художники уговаривали красивых натурщиц надеть неуклюжую спецовку и спрятать роскошные волосы под металлическую каску. Строптивые сочиняли песенки:

Хочу ласкать в тени заводов
твою мозолистую грудь!

Или:

Не за то люблю, что стан твой узок
И глаза с отливом голубым,

А за то, что сеешь кукурузу
Методом квадратно-гнездовым!

Пейзажистам тоже доставалось в те благословенные времена:

«Перед ними бескрайние колхозные поля с тракторами и комбайнами, а их почему-то тянет на Мую», — писали критики. Муя — небольшой приток Лены. Ее живописные берега вдохновили не одного художника и многих поэтов. Но и в те годы не было и намека ни на какое социалистическое строительство. Какая природа? Советскому художнику восхищаться ею в противовес индустриализации страны вовсе не полагалось. А догадливый художник, не выезжая из Москвы, трудился в это время над монументальным полотном «Утро Родины».

По мере того как правительство спешило в темпе выполнить свои обязательства по хозяйственному договору с Германией, пустели полки в наших магазинах. Дольше всех продержались крабы.

Люди моего поколения пережили четыре основательных голода. Голод после Гражданской войны и разрухи. Мы, дети, ели луковицы саранок, сочные и толстые дудки растения, которые мы называли «пучками», побеги молодых сосенок и вечно были голодными. В годы нэпа в магазинах появилось все, но нашей матери все это было не по карману. Самую дешевую колбасу она покупала только на Пасху. Второй голод был пострашнее. Началась индустриализация страны. Капиталистическое окружение не приветствовало эту политику. Нам объясняли, что за все необходимое для индустриализации придется платить втридорога и поэтому продовольствие вывозится за границу. Животное масло, яйца, мясо мы могли купить только на рынке. А много ли мог поставить приусадебный участок? Да и цены держались, как бы теперь сказали, не для бюджетников. Мы покупали на базаре только молоко. Сахара не было, так что чай с молоком — это уже изобилие. Мать пропускала через мясорубку картофельные очистки, добавляла горсть муки и на подсолнечном масле выпекала лепешки. Это был добавок к скудному пайку — 400 граммов черного хлеба — норма для служащих и иждивенца. В нашей семье эту норму получали все: младшие сестры — подростки, старшие — студентки и мать — уборщица, уборщицы и дворники относились к категории служащих.

В рабочих и студенческих столовых давали тарелку супа неизвестного названия, мы его звали «брандахлыст», и горку перловой или пшенной каши с ямкой, куда входила ровно одна чайная ложка растительного масла. Впечатление от этого обеда проходило быстро. В то время и появились закрытые распределители. В 1934 году шумно праздновали отмену хлебных карточек и пропусков. О закрытых распределителях ничего не говорилось. А они просуществовали до падения советской власти.

Секрет их долголетия очень прост. В них полагалось ответственному работнику (мы-то были безответственные) приобретение товаров на определенную сумму. Сумма эта устанавливалась в ценах 1927 года. Эти цены не менялись в отличие от свободной торговли. Например, детские ботинки в 27-м году стоили не больше 10 рублей, а во время войны их уже не было в свободной продаже, на барахолке же они стоили 400 рублей. Жена нашего редактора, Сергея Ивановича Семина, Ненила Васильевна рассказывала, что Сергею Ивановичу можно было приобрести товаров и продуктов не больше чем на «полкорыта» — говорила она. Полное «корыто» в области имели только первый и второй секретари обкома и председатель облисполкома.

Третий голод настиг нас еще до войны. Хлебных карточек еще не вводили, но за хлебом уже змеились большие очереди. Скажем, от хлебного магазина на Тихвинской улице (она же Красной Звезды, она же Сухэ-Батора) очередь тянулась до улицы Харлампиевской (Горького), по ней до улицы Амурской (Ленина) и иногда переходила на другую сторону этой улицы и шла в обратном направлении. Пересчитывались, и счет доходил до седьмой сотни. Обслужить такое количество людей магазин не мог. Мы приходили узнать, какая сотня сегодня получает хлеб, и прикидывали, когда дойдет очередь до нашего трехзначного числа.

Хотя историки и правительство уверяли нас, что Гитлер напал на нашу страну неожиданно, к войне, видимо, готовились заранее. Хлебные карточки ввели чуть ли не на другой день после начала войны. Кирпичик хлеба на черном рынке стоил 50 рублей. Сахар, масло исчезли из магазинов сразу. На рынке граненый стаканчик сахара стоил 80 рублей. Я как-то легко переносила этот сахарный голод, а многие мучились, глядя на этот недоступный продукт. Усиленно внедряли сахарную свеклу. Моей сестре Наде была поручена делянка сахарной свеклы в качестве дипломной работы.

Урожай ей разрешили забрать. Мама сварила свеклу с брусникой, и ребяташки ее ели. А я до сих пор помню ее противный вкус. Появились детские ботинки на деревянной подошве. Утром, когда с деревянным стуком дети шли в школу, хотелось зареветь.

Уже в конце войны нам на всю редакцию достался мешок кукурузной муки. Как мы ее делили! Постное масло тоже можно было купить только на базаре. Ловчили продавали вместо подсолнечного масла касторку, рыбий жир, а иногда черт знает что. Один раз и я нарвалась на рыбий жир.

С обувью вообще в советское время было непросто. Сразу после Гражданской войны не было не только кожи, но и скотины, чтобы с нее кожу снять. Сапожники ухитрялись делать подошвы из тонких веревок. Верх, конечно, тоже был из какой-нибудь ткани. Ну а мы, малышня, вообще обходились без обуви.

Всегда были модны женские сапожки. В годы нэпа это были скорее ботиночки с высокими голенищами на шнурках. С этими шнурками возни хватало, может быть, поэтому мода на эти сапожки быстро прошла. В начале тридцатых годов молодые модницы стремились приобрести остроносые сапожки мужского типа. Называли их почему-то «джимми». К таким сапожкам полагалась юбка в складку и шапка-кубанка. Такая модница гордилась своим нарядом не меньше, чем сегодняшняя манекенщица.

После войны к нам пришли теплые ботиночки с меховой выпушкой по краям. И только где-то в пятидесятых пришли сапоги-чулки и сапоги с высокими голенищами.

В тридцатые годы мы о такой обуви и не мечтали. Ходили в спортивных туфлях, они так и назывались — «спортсменки», и в туфлях с матерчатым верхом. Кожи хватало только на носок. Потом появились белые матерчатые туфли с резиновой подошвой. Это были туфли с ремешками, но их почему-то сразу окрестили тапочками. Поначалу это была очень дефицитная обувь. На всем нашем рабфаке в белых тапочках ходила только молоденькая жена большого военспеца Нина Храмова.

Я уже говорила, что после заключения хозяйственного договора с Германией хлебные фонды для населения были сильно урезаны. Хлеб потом шел уже в немецкие закрома. У магазинов стали с ночи выстраиваться очереди за хлебом. Начальству ночные очереди не понравились, было велено их разгонять. Разгоняла конная милиция. Покорные расходились сразу, строптивых уводили на часок-другой в милицию. Поостудив — отпускали. Однажды в число таких строптивых попала и я. Опоздала на работу. Других репрессий, к счастью, не было.

Потом граждане организовались и стали «считаться». К концу продажи очередной «порции» хлеба оставшиеся в очереди пересчитывались и на другой день были первыми. Чтобы не забыть и не спутать номер, его писали на тыльной стороне ладони химическим карандашом. Очереди за другими продуктами были немногим меньше.

Карикатура в журнале «Крокодил» тех лет: молодой человек целует даме руку. Дама возмущена: «Нахал! Слизал очередь на масло!»

В годы нэпа Иркутск был шумным торговым городом и славился грабежами. Зимой носились кошевичники, снимали с загулявших нэпманов дорогие шубы, чистили карманы. Целые кланы карманников воевали за наиболее «урожайные» районы. Железнодорожный вокзал, базар и барахолка были самыми удобными местами для чистки карманов. Но когда нэпманов разорили и на «барахолке» остались одни старые барахольщики,

воровская жизнь замерла. Конечно, еще грабили квартиры, но это было уже редкостью.

В начале тридцатых годов я работала в экспедиции Центрального телеграфа и училась на вечернем рабфаке. Занятия на рабфаке кончались в половине двенадцатого. Улицы были уже пустынные. Мы шли гурьбой, постепенно таявшей. От улицы Литвинова (6-я Солдатская) по Тимирязева (Преображенская) я шла совершенно одна. За три года учебы не случилось ни одной неприятности.

А на телеграфе в ночных сменах случалось выходить на ночные улицы и в два, и в три часа ночи. Шифрованные телеграммы на имя начальника НКВД или секретаря крайкома партии полагалось доставлять немедленно, а рассыльных в ночных сменах не было. Хорошо помню, что не испытывала никакого страха на тихих спящих улицах.

В середине тридцатых годов я уже работала в редакции и часто ездила в командировки. Возвращалась иной раз в ночное время пешком от железнодорожного вокзала до улицы Фурье (Котельниковская), где мы тогда жили. Единственный автобусный маршрут ночью не действовал, о такси иркутяне в то время даже и не мечтали, а извозчиков уже придавили налогами. Страх не было, только зимой на этом длинном пути успевала замерзнуть.

Сейчас сердце сжимается от страха, если кто-нибудь из близких задержится после полуночи и вынужден будет один пешком идти по опасным нашим улицам.

Иркутск был сравнительно небольшим городом. В статистическом справочнике 27-го года в списке городов со стотысячным населением я его не нашла. Водопровод и канализация были только в квартирах центральной части города. Зато было шесть общественных бань. Их содержали, как тогда говорили, частники. Надо думать, дело это было прибыльным. Дочь содержателя Ивановской и Курбатовской бань (впоследствии народную артистку Крамову) привозили в гимназию на личном выезде. При советской власти бани стали убыточными, их постепенно сносили. Какое для этого потребовалось чудо экономики, понять до сих пор не могу.

В начале тридцатых годов появилось слово «блат». Возможно, это была какая-нибудь аббревиатура. Не знаю. Но обозначало оно способность откуда-то достать то, чего не было в магазинах и даже на базах.

С блатом боролись, но безуспешно. Ходил анекдот: в одном городе хоронили блат. Привезли на кладбище, но ни у кого не оказалось гвоздей,

чтобы заколотить гроб. Блат поднялся, сказал: «Подождите, я достану!» Ушел и до сих пор не вернулся.

В Иркутске было много гостиниц. Только на ул. Карла Маркса их было четыре больших, таких, как Гранд-Отель (дом, где сейчас магазин «Родник»). Кроме того, было много маленьких, на десяток номеров. В советское время их позакрывали, а взамен построили всего одну — круглую «Сибирь». Получить койку в гостиничном номере было непросто. Чаше всего действовал блат. Следовательно по особо важным делам Роберт Ульянович Фролов, помогавший директору «Спортторга» переселиться за ключую проволоку, негодовал: «Приезжают в командировку офицеры из лагеря и по его запискам немедленно поселяются в гостинице. А я не могу устроить кого-нибудь даже на сутки».

Теперь блата нет. Устраивайся где хочешь — нужны только деньги. Часто — немалые. Но вот их у многих и нет...

Такие вот картинки прошлой жизни. Стоит оглянуться на них. Чтобы лучше понять и оценить сегодняшний день.

Публикация 2004 г.

Александр Балин

Известный литературный критик, редактор «Литературного наследства Сибири» Н. Яновский, задумав составить «Словарь писателей Сибири», в письме обратился ко мне с просьбой прислать ему краткие сведения, известные мне, не только о маститых сибирских писателях, но и о начинавших в прошлом — «об иркутских литераторах — старых и молодых, давно печатавшихся и только начинающих, знаменитых, а пуще всего — незнаменитых».

Эти воспоминания мне и хочется начать с одной из «незнаменитых», но довольно ярких, оригинальных фигур на поэтическом горизонте прошлого Иркутска — я говорю о Всеволоде Христофоровиче Соболеве.

В № 2 за 1934 год ежемесячного литературно-художественного журнала «Будущая Сибирь» на рекламной странице «Ты должен знать литературу своего края» среди принимавших участие в работе журнала, наряду с именами редактора М. Басова, Ис. Гольдберга, П. Петрова, К. Седых, А. Балина, Д. Алтаузена, И. Уткина, М. Скуратова и многих других, значится и фамилия В. Соболева.

Догорал один из теплых майских дней 1933 года. Поселок Ленина (бывшая станция Иннокентьевская), зажатый с двух сторон строительством крупных заводов — детищ первой пятилетки, содрогался от грохота и гула бетономешалок и гравиемоек, не смолкавших ни на минуту, так как работа не прекращалась и ночью.

Я стоял у окна в своем небольшом кирпичном домике.

Мягкий, спокойный голос заставил меня оглянуться:

— Здесь живет поэт Василий Стародумов?

Передо мной стоял высокий осанистый юноша с голубыми глазами и симпатичными чертами умного, благородного лица. Вдохновенная внешность посетителя напомнила мне один из ранних портретов Герцена.

— Всеволод Христофорович Соболев, — представился он. — Работаю заместителем редактора транспортной многотиражной газеты «Ленинский

Стародумов Василий Пантелеймонович (25 декабря 1907, Иркутск — 13 июля 1996, Иркутск), поэт, прозаик-сказочник. Автор книг «Ангарские бусы», «Омулевая бочка».

рабочий», где редактором Толя Делигинский. А сейчас я из Иркутска, был у Искры (секретарь писательской организации. — В. С.). Посетил его с целью связаться с писателями. Он направил меня к тебе, предварительно снабдив материалами. Познакомимся...

На «ты» мы перешли как-то незаметно.

— Иван Алексеевич (Искра. — В. С.) поручил нам создать здесь, в Иннокентьевке, литературный кружок и теснее связаться с иркутскими писателями, чаще навещать их, — продолжил Соболев. — Но я еще никого из здешних литераторов не знаю, так как приехал из Красноярска недавно. Теперь будем работать вместе.

Соболев раскрыл свой портфель, порылся в нем, извлек бумажку:

— Вот, Искра, велел передать тебе...

Читаю:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ

Предъявитель сего поэт т. Стародумов Василий является членом Союза советских писателей Восточной Сибири, что и удостоверяется.

Ответ. секретарь оргкомитета ССП Вост. Сибири

И. Искра. 7 мая 1933 года»

Официальный бланк, печать — все как следует. Было приятно сознавать, что мне в Оргкомитете продолжали доверять такое дело, как объединение литературных сил поселка. Но я, в силу чрезвычайной занятости и оторванности от краевого центра, не оправдывал надежд писателей.

Вспомнился 1932 год. Демобилизованным красноармейцам я поступил в качестве актера в Иркутский ТРАМ (театр рабочей молодежи). Как-то на вечере обмена комсомольского билета ячейки ТРАМа актер Николай Лысенко объявил мне:

— Тебе письмо. Возьми у сторожихи.

На конверте значилось:

«Клуб КОР¹, т. Стародумову»

Вскрываю:

«Выписка из протокола заседания правления Иркутской ассоциации пролетарских писателей от 11.IX.1932 года

Слушали: О реорганизации РАПП².

Постановили: 1. Для усиления связи с предприятиями и лучшего руководства литературной работой на производстве, в вузах и школах создать в Маратовском, Свердловском и Ленинском райбюро АПП.

2. Утвердить председателем Ленинского райбюро АПП т. Стародумова.

Секретарь Иргор АПП Феерович»

¹ Клуб Октябрьской революции.

² Российская ассоциация пролетарских писателей.

Я уже говорил, что не мог выполнять порученное дело. В театре я был занят круглые сутки (репетиции и занятия днем, вечером — спектакли), домой приезжал только для того, чтобы переночевать. А когда через год я ушел из театра и устроился на работу слесарем в механические мастерские станции Батарейная и мне поручили там организовать литературный кружок, я не сделал этого все по той же причине — из-за отсутствия свободного времени, оторванности от краевого центра.

И вот... снова да ладом! Но на этот раз, кажется, дела пойдут успешнее: я устроился работать художником и режиссером клуба строительства завода. Были и свободное время, и условия.

— А из поэтов знаешь, кого прикрепили к нам, иннокентьевцам? — задал мне вдруг вопрос Соболев и, откинувшись на спинку стула, поглядел на меня восторженно: — Александра Ивановича Балина!

Нет, до этого разговора с Соболевым я не только не был знаком с Балиным, но еще и нигде не встречался с ним, не видел его, хотя по выступлениям в краевой печати он был известен мне давно, с выхода в свет в Иркутске в 1927 году книжки «Иркутские поэты», изданной историко-литературной секцией ВСОРГО (Восточно-Сибирский отдел Русского Географического общества). Удивляться не приходится, если принять во внимание то, что до 1932 года я в Иркутске вообще редко появлялся. Личное знакомство с Балиным у меня состоялось вскоре после знакомства с Соболевым, в оргкомитете, куда мы с Соболевым явились вместе. Мое внимание сразу же обратил на себя высокий и сухой горбоносый мужчина, сидевший в помещении рядом с Исааком Григорьевичем Гольдбергом. Выразительное лицо незнакомца выгодно выделялось среди лиц остальных присутствовавших. Нас представил ему Гольдберг. Оказалось — это и был Александр Иванович Балин, наш литературный шеф.

Чтобы передать портрет этого человека ярче, приведу слова иркутского критика и литературоведа, доктора филологических наук В. Трушкина: «Александра Ивановича Балина при жизни друзья любили сравнивать с Дон Кихотом. В этом прозвище сказывалось снисходительное отношение к «слабостям» поэта и одновременно какое-то невольное восхищение им. Всех знавших его поражало в нем внешнее разительное сходство с рыцарем из Ламанчи, да, пожалуй, и внутреннее — тот особый душевный настрой, который органически был свойствен ему. Кристальная честность, благородство, одержимость поэзией и искусством при полнейшем житейском бескорыстии отличали этого на редкость обаятельного человека».

Для большей полноты характеристики поэта добавлю выдержку из воспоминаний П. Я. Черных: «Александр Иванович Балин необыкновенно легко сходилась с людьми, был хорошим, чутким другом. Подкупали его благожелательное отношение к людям, его жизнерадостность, стойкое от-

ношение к трудностям жизни. Собеседник он был исключительно интересный, веселый и остроумный, с очень развитым чувством юмора».

Именно таким вошел и в нашу среду, среду иннокентьевского литактива, Александр Иванович Балин. Вошел совершенно незаметно, но так прочно, как никто из иркутских писателей. Как будто это был человек не со стороны, а кровно свой, «нашенский». Помнится, когда один из активистов нашего литературного объединения Михаил Крушельницкий достал автобус и послал другого активиста Николая Луковникова за Балиным в город и тот привез его к нам в поселок, на завод, то встреча эта, состоявшаяся в редакции многотиражной газеты, сразу вылилась в теплое и непринужденное собеседование, закончившееся чтением стихов.

Прощаясь с нами, Балин сказал:

— Знаете, хотелось бы встречаться с вами не только в официальном порядке, а и в интимной, дружеской обстановке.

Так оно и стало. Ко мне лично на квартиру Балин приезжал то с П. Боровским, то со Вс. Соболевым. И сколько разговоров было о литературе! И как великолепно Балин читал стихи свои и других поэтов!

Надо отметить, что в 1934 году работа в нашем заводском литобъединении и при районной библиотеке у П. Боровского, куда заглядывали и мы, заводчане, заметно оживились. В то время в «Будущей Сибири» из иннокентьевцев печатались В. Соболев, В. Шалагинов, П. Боровский и пишущий эти строки, но к нашему литактиву относились также Николай Луковников, Николай Кирпичников, Виктор Пресняков, Григорий Самороков, Константин Сазонов, Федор Гримберг, ученик одной из школ Илюша Кузнецов (ныне доктор исторических наук, автор ряда книг о героях-сибиряках, член редколлегии 6-го тома «Истории Сибири»), Виктор Агалаков (ныне тоже историк, автор книги «Подвиг Центросибири») и др.

Выпускали мы тогда на заводе большую (на два листа ватмана) стенную литературную газету «Резец». Между прочим, выступала со стихами в нашей газете в 1935 году и вожатая «Базы курносых» Галя Кожевина. Студентка иркутского энерготехникума, она проходила практику у нас на заводе. Один из номеров «Резца» был посвящен юбилею Исаака Григорьевича Гольдберга в связи с тридцатилетием его литературной деятельности (4 декабря 1933 года). «Резец» был изготовлен на трех листах ватмана с портретом писателя моей работы.

Не забуду, какой трогательной, чувствительной была встреча Александра Ивановича Балина и Джека Алтаузена, приехавшего в Иркутск с Александром Жаровым. Горячие, крепкие объятия и... слезы на глазах у Балина.

Бывали у нас в гостях Яков Шведов — автор популярной песни «Орленок», Аркадий Ситковский и др.

В. Соболев в статье о нашем литкружке, напечатанной в одном из номеров молодежной газеты «Восточно-Сибирский комсомолец» (за 28 янва-

ря 1935 года), писал: «...поэт Кириллов, в июне прошлого года посетивший литкружок завода, сказал: «Этот кружок — лучший в крае, и он должен работать еще лучше».

Как-то Александр Иванович затащил нас, группу иннокентьевцев (меня, Николая Глыбу-Луковникова, Петра Боровского с женой), в оргкомитет, где Вениамин Шалагинов читал в присутствии Гольдберга и Маляревского свой рассказ «Рождение радости».

Помнится ответ Гольдберга автору:

— Не надо так выпукло писать о героях, надо, чтобы они были видны за незаметными.

24 октября 1934 года. Ко мне приехали из города А. Балин, В. Соболев и В. Барсов — корреспондент «Восточно-Сибирской правды». Только что вышла в свет и появилась в витринах книжных киосков и магазинов изданная иркутским ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий) книжка стихов и очерков «На Байкал!», авторы которой — поэт В. Соболев и очеркист В. Барсов — дебютировали в ней. Книжку редактировал А. О. Витензон, впоследствии автор сценария кинофильма «Сибиряки», поставленного в 1940 году Львом Кулешовым. Балину очень понравилась книжка молодых авторов.

Идем в ГАРЗ (Государственный авторемонтный завод), где предполагалось устройство литературного вечера. Но там руководство клуба не подготовилось к нему как следует, и вечер сорвался. Тогда мы решили пойти в ЛРД (Ленинский рабочий дворец) к железнодорожникам, где руководил драмколлективом П. Боровский. Уйдя, как и я, из ТРАМа, он перешел на режиссуру и уже успел поставить несколько пьес. Одну из них — «Сады цветут» Билль-Белоцерковского я оформлял как художник-декоратор.

— Попробуем Петра, поприсутствуем на репетиции...

Но нам опять не повезло, в клубе был вечер для допризывников. Нас кое-как пропустили к директору клуба.

— Подождите, может, Петр Павлович явится.

В ожидании Боровского сидим, курим. Со мной была рукопись «Доспехов генерала Каппеля», переделанная мною уже в «Доспехи генерала Гайды», и я предложил своим спутникам прослушать несколько глав. Они согласились, но в это время вошедший к нам директор клуба сообщил, что сегодня Боровского не будет. Мне поднялись со своих сидений, но шепетильный В. Соболев заартачился:

— Давайте выдержим немного времени, а то публика скажет: только что вошли и вдруг вышли. Вроде прогнали нас...

Он сел и положил себе на колени портфель. Балин посмотрел на него, заметил:

— А знаете — портфель не всегда признак благонадежности... Стою я как-то в магазине в очереди за пряниками, гляжу — притасовался ко мне вплотную какой-то человек с портфелем. Человек я податливый, вежливый, если не деликатный, — посторонился. Он еще ближе ко мне, хотя я никакого повода не давал к излияниям нежности, сама обстановка не требовала этого. Пока осмыслил ситуацию — почувствовал облегчение в левом внутреннем кармане: «бумажник»-то у меня был объемистый — толстая тетрадь со стихами. Жалко ее стало до слез, пуще денег. Ну, подошел я потом к этому человечку с портфелем и шепчу ему на ухо: «Отдайте стихи, они вам все равно не нужны...»

Мы захохотали. А я рассказал А. Балину о ночевавшем у меня на днях Всеволоде Соболеве, который оставил на столе свое стихотворение «Смерть пустыря». Ночью оно свалилось на пол. Утром, проснувшись, мы подняли с пола сложенный вчетверо бумажный листок, развернули и ахнули: угол листка был обгрызен мышами, отчего стихотворение, в середине, пострадало.

Всеволод схватился за голову:

Чем выше и выше
Взбираюсь я, боже,
Тем яростней мыши
Стихи мои гложут.

Экспромт этот развеселил А. Балина. Так, со смехом, мы вышли на улицу. В ожидании пригородного поезда, называвшегося тогда «передачей», гуляли по перрону станции, слушая Балина, который был неистощим на веселые рассказы. Много интересного узнали бы мы об ученом-минералогe и поэте Петре Драверте, его друге. Забегая вперед, скажу, что перед войной сын его Виктор работал специалистом-лаборантом у нас на заводе, и он так же, как и я, входил в число «ведущих актеров» драмколлектива клуба, я — как исполнитель главных комических и характерных ролей, он — преимущественно ролей первых любовников. С ним я играл в таких спектаклях, как «Каменный гость» Пушкина, «Лес», «На бойком месте», «Без вины виноватые» Островского, «Дальняя дорога» Арбузова, «Враги» Лавренева и др. Довелось мне позднее, в годы войны, познакомиться и с самим Петром Дравертом в Омске, где я находился в рядах Советской армии и служил военным художником. Литераторы города собирались тогда в редакции газеты «Омская правда».

Еще интереснее рассказывал Балин об ученом Подгорбунском, ученике Петра Драверта.

— Насколько Подгорбунский тяготел к точным наукам, настолько он был и мистик. Страшный оригинал! И любил все оригинальное. Собаку свою звал по имени и отчеству. Держал на цепи, прикованной к столбу. А

вид он имел подозрительный. И ходил всегда с большой суковатой палкой.

Как-то к нему в карман полез довольно симпатичный на рожицу вор. Несмотря на свою рассеянность, Подгорбунский — чудака и ученый — успел огреть вора по руке палкой. Тот разыграл сцену:

— Что за нахальство — слазил ко мне в карман да еще меня же и ударил палкой!

Чуть не увели Подгорбунского в милицию, но он все же сумел доказать, что вор вытащил у него кусок породы, данный ему на исследование.

Этой же дубинкой Подгорбунский избил однажды и одного своего хорошего знакомого, который бежал за ним ночью, стараясь догнать, чтоб идти вместе. Бил он его, вернувшись, когда тот, поскользнувшись, упал. Бил ученый-методист аккуратно и расчетливо, так, чтоб чувствительней было. А насколько трогательным был момент выяснения — судите сами!

И еще.

В парикмахерскую Подгорбунский зашел как-то с большим историческим фолиантом в руке и заказал мастеру (чтоб выдержать стиль классического ученого) бороду под вавилонского царя Навуходоносор.

Примерно за год до моего знакомства с Александром Балиным иркутским Крайгизом был издан посвященный 15-летию Октябрьской революции литературно-художественный альманах «Стремительные годы». В нем были помещены повести Ис. Гольдберга «Главный штрек» и П. Петрова «Крутые перевалы», поэмы и стихи А. Балина, Е. Жилкиной, Ф. Илюхина, А. Михайловского, Ив. Молчанова-Сибирского, Константина Седых, Василия Стародумова и П. Петрова. Альманах был оформлен художником С. Прушинским.

Как-то, увидя этот альманах у меня на столе, Балин воскликнул:

— А ты знаешь, что Москва отметила высокое полиграфическое оформление его? И что Алексей Максимович Горький попросил Петра Поликарповича Петрова прислать ему этот альманах в Сорренто? Кстати, в нем помещено твоё стихотворение «Сосна Шпачека». Оно напомнило мне о моем давнишнем желании посетить место казни чешского большевика. Не покажешь ли?

Я с готовностью согласился, но Александр Иванович потускнел:

— Только не сегодня, мне надо успеть попасть к литкружковцам Куйбышевского завода. Обещал.

Обычно же Александр Иванович, большой любитель всяческих прогулок, сам по приезде в Иннокентьевскую вытаскивал нас куда-нибудь «рассеяться, перекинуться меж собой стихами».

В номере газеты «Восточно-Сибирская правда» от 11 июня 1934 года была помещена за подписью В. Соболева, Вас. Стародумова и В. Барсова статья об известном иннокентьевском садовом-мичуринце Августе Томсоне,

чей плодово-опытный сад приковал внимание всей общественности Восточной Сибири и многих других городов Союза. Прочитав эту статью, Александр Иванович, поймав В. Соболева, укоризненно сказал ему:

— Чего же вы меня не прихватили с собой? В соавторы к вам я все равно не позволил бы себе полезть, а компанию составил бы охотно, чтоб встретиться с интересным человеком.

К сожалению, за всякими литературными встречами и сборищами мы так и не собрались познакомить А. Балина с «сосной Шпачека» и садом Томсона.

Были и просто прогулки по улицам города, с заходом в книжные магазины и букинистические лавки. А были и просто встречи с ним, всегда взаимно приятные. Однажды я застал Балина и Маляревского за рассматриванием старого, но роскошного, большеформатного дореволюционного издания «Слова о полку Игореве», оформленного мастерами не то Палеха, не то Мстеры. Цена по тем временам была солидная, и книгу писатели пока только отложили. Помнится, Александр Иванович, отойдя от прилавка, через несколько шагов даже оглянулся...

1984

Велика была радость

4 октября 1933 года в одном из классов 6-й школы в Иркутске собрался литературный кружок. Ребята были переполнены радостными впечатлениями о событиях недавней жизни в пионерских лагерях на живописных берегах горной речки Олхи. В школе вкусно пахло краской от парт и полов, потолки и стены сверкали белизной. Ребята после каникул оглядывали друг друга и делились всем интересным и занимательным, что произошло в течение лета. Еще издали было слышно, как они шумели и смеялись.

Как только я вошел в класс — тридцать пионерских галстуков взметнулись вверх, и я оказался в крепком кольце моих маленьких и одновременно больших друзей.

Я читал мою первую детскую книжку «Милая картошка» — о пионерах, охраняющих колхозный урожай. Я гнался тогда за фотографической точностью и поэтому сохранил даже подлинное имя и фамилию моего героя. В книге было много недостатков. Ребята со всей резкостью и неприимимостью двенадцатилетних критиков взялись за ее разбор. Началось очень интересное и горячее обсуждение. Особенно досталось рисункам.

Слово попросила худенькая пионерка Соня Животовская. Быстро и взволнованно она заговорила:

— Ребята, у нас так много интересного, а годы идут, так и вся жизнь пройдет. (В двенадцать лет это звучало некоторым преувеличением, но тем не менее было убедительно. — *И. М.*). Вы ведь поможете? — обратилась Соня ко мне.

Я согласился, и весь кружок единогласно решил:

— Будем писать книгу о том, как учились в школе, как жили в пионерских лагерях и ездили на экскурсию в Кузбасс.

Молчанов-Сибирский Иван Иванович (1 мая 1903, Владивосток — 1 апреля 1958, Иркутск), поэт, общественный деятель. Член Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг «Покоренный Согдиондон», «Граница на Востоке», «Полевая почта», «Зарницы», «Лирика», «Синий снег», «Мое предместье», «Дяди Ванин туюсок» и др.

В тот вечер ребята были настроены приподнято: не было недостатка в криках «ура», в аплодисментах.

Мы начали работать.

Каждую шестидневку собирался кружок. Сначала обсуждали план, потом намечали авторов. Особенно бурным было собрание, на котором обсуждался и принимался план первой книги. Ребята, большие любители точности и достоверности, старались, чтобы ни одна черточка живой жизни не осталась за пределами их горячего и взволнованного повествования.

Затем началась читка первых произведений. И до создания кружка ребята увлекались сочинительством стихов и рассказов, но теперь нужно было писать о том, что пережито и перечувствовано. Первые же главы книги показали, что ребятам удалось схватить самое главное и волнующее.

Самыми младшими членами этого необыкновенного авторского коллектива были одиннадцатилетний пионер Аба Шаракшанэ, двенадцатилетние Баир Шаракшанэ и Гриня Ляуфман, тринадцатилетние Алла Каншина, Рафа Буйглишвилли, Аня Хороших и Соня Животовская, четырнадцатилетние Шура Ростовщикова, Ада Розенберг, Ара Манжелес, Тома Гуркина и Тамара Гуднина, пятнадцатилетние Женя Безуглова и Володя Персиков и самая старшая — вожатая пионерской базы 6-й школы Галя Кожевина.

Весной 1934 года работа был закончена. Перед сдачей рукописи в издательство книга была прочитана и обсуждена до редактирования ее и после; таким образом, эта первая пионерская книга школьного литературного кружка явилась в буквальном смысле коллективным произведением.

На первых порах к нашей работе многие отнеслись с недоверием. Некоторые говорили: баловство. Наиболее трезво настроенные люди решили: ничего не выйдет. Однако они ошибались. Вышло!

5 апреля 1934 года книга была подписана к печати и вскоре выпущена в свет Иркутским государственным издательством тиражом 10 000 экземпляров. Рисунки для книги «Пионеры о себе» сделала пионерка, член кружка Ара Манжелес.

По единодушному решению авторов первый экземпляр послали Алексею Максимовичу Горькому. Письмо писали на берегах Олхи, куда ежегодно выезжали отдыхать, набираться сил и новых впечатлений. Потом обсуждали письмо у костра. Каждому хотелось сказать любимому Горькому самые лучшие слова.

Письмо и книжку отправили, а сами купались и загорали, бродили по тайге, карабкались по крутым склонам гор, пели песни и вели душевные беседы у большого лагерного костра, а костер был отменный. Языки пламени плясали, поднимались высоко, чуть не до самого неба.

Однажды у лагерного костра размышлялись о том, что Алексей Максимович прочитает книгу и пригласит к себе в гости. Мечта эта была увле-

кательной и немножко дерзкой, но так приятно было говорить о самом любимом писателе, который издалека видел и знал, чем живут и чем интересуются советские ребята.

Через несколько дней авторов вызвали в Иркутск и порадовали: за работу над книгой дана премия — экскурсия в Москву.

Трудно передать, как велика была радость ребят. Побывать в Москве, где живет и трудится дорогой друг детей Горький — это было их заветным желанием. Не менее ребят радовались и родители, которым до Великой Октябрьской социалистической революции и во сне не могло присниться то, что получали их дети. Начались лихорадочные сборы, и, наконец, наступил долгожданный день отъезда. Из далекой Восточной Сибири — Иркутска, центра таежного края по Великому Сибирскому пути тронулись в дальнюю дорогу необыкновенные пассажиры.

Дорога была длинная. Выпускали стенную газету «База курносых на колесах». На станции Боготол вагон отцепили для ремонта, и тогда появился номер стенной газеты «База курносых на трех колесах».

На станции Ишим принесли в вагон «Правду» и «Известия». Развернули. В середине листа был портрет М. Горького и статья «Мальчики и девочки».

В Москве ребят ожидала новая радость — письмо Алексея Максимовича. Оно было напечатано во всех газетах. Ребята дивились, как много сказано в одном письме. Некоторые фантазировали, о чем и как стал бы говорить Горький при встрече с «Базой курносых».

И все с чувством особого уважения говорили:

— Хотя бы одним глазом посмотреть на него!

Еще с детства наше поколение подружилось с Горьким. С упоением читали и перечитывали мы его романы, повести и рассказы. Его книги открывали мир новых идей. Все яснее становились мечты о будущем. Мы часто мысленно беседовали с великим писателем, находили друзей среди его героев, учились по-горьковски любить хороших людей — людей труда и пламенно ненавидеть врагов — эксплуататоров. Горький всегда и всюду был вместе с нами. Со страниц газет и журналов он беседовал с молодежью, любовно отвечал на множество писем, идущих со всех концов Советского Союза. Он рассказывал горнякам Алдана, какие книги нужно читать, строго журил школьников, написавших ему письмо с орфографическими ошибками, со словами одобрения обращался к молодому писателю, успешно начинающему свою литературную деятельность далеко от столицы. Горький любил детей, любил молодежь строгой, требовательной любовью. Каждый отвечал ему таким же горячим чувством.

Летом 1934 года я в числе других делегатов Первого Всесоюзного съезда советских писателей с волнением и сердечным трепетом подходил к Колон-

ному залу Дома Союзов. Первый съезд не вмещался в огромный зал и обширные помещения Дома Союзов. У входа собрались толпы читателей, жаждущих увидеть людей, написавших самые любимые книги. Наиболее счастливые предъявляли делегатские мандаты и пригласительные билеты, поднимались по ярко освещенной беломраморной лестнице, проходили по анфиладе комнат в зал, где вот-вот должно было начаться первое заседание Первого съезда.

Вдруг грянули аплодисменты. Гул их стал нарастать. Делегаты и гости повскакивали с мест. Раздались возгласы:

— Горький!.. Наш!.. Родной!..

И снова аплодисменты, и снова все громче и громче.

Алексей Максимович, такой же, как и на портретах, и совершенно не такой, прошел к столу президиума. Был он высокий, остроплечий, худощавый, голубоглазый. Голубизна его глаз напоминала о чистом таежном небе в июле. Сначала Горький улыбался, но аплодисменты все не утихали, и он несколько раз пытался их остановить. Рукоплескания вспыхнули с новой силой. Тогда Алексей Максимович начал хмуриться. Наконец, откашлявшись в руку, он начал говорить чуть глуховатым, но чистым и молодым голосом. Все слушали Горького, затаив дыхание...

Первый съезд советских писателей с еще большей ясностью показал, что литература в нашей стране стала подлинно государственным делом.

17 августа 1934 года Алексей Максимович выступил с докладом о литературе. С исключительной простотой, глубиной и ясностью он разбирал источники и основы творчества, показывал нищету хваленой культуры капитализма и творческое бессилие буржуазной Европы.

19 августа стало памятным днем. Перед началом заседания меня с «курносими» пригласили в комнату президиума. Навстречу нам поднялся Алексей Максимович и крепко пожал всем руки. Ласково улыбаясь, он произнес с расстановкой:

— Так вот вы какие, курносые...

Завязалась дружеская беседа. Хотелось запомнить каждое слово. Я видел, с какой особенной теплотой и нежностью большого человека он встретил и обласкал маленьких сибиряков пионеров, авторов книги «База курносых».

«Предусмотрительные» распорядители отвели пионерам места в последних рядах Колонного зала. Алексей Максимович долго искал взглядом по рядам. Он озабоченно прикидывал выпрямленную ладонь чуть выше бровей и снова смотрел в зал. Потом позвал какого-то человека, и через несколько минут «Базу курносых» попросили пройти в первый ряд, Алексей Максимович увидел «курносых» и приветливо заулыбался.

В перерыв вышли в фойе.

Скоро выступать. Алла была спокойна. Вдруг в анфиладе комнат показался Алексей Максимович. Куда это он? Оказалось, к нам.

— Вот мы хорошо сейчас говорили о Павлике Морозове и правильно надумали вызвать съезд писателей помочь поставить памятник мальчику-герою. Я вспомнил, что нигде в мире таких памятников нет. Только во Флоренции был поставлен на площади голый ныряльщик из мрамора, да и то на него во время войны мундир надели. А наш памятник другой: он будет призывать к героизму.

Горький посмотрел внимательно на нашего оратора и сказал:

— Решил вам рассказать об этом факте, может, и пригодится.

В этот день участники «Базы курносых» познакомились со многими писателями, которых знали только по портретам. А самое главное — с Горьким.

Вот он сидит в президиуме съезда и поочередно разглядывает ребят, рассеявшихся в первом ряду. Каждому кажется, что именно ему Алексей Максимович улыбается — приветливо и ласково. А Горький поглядывает по сторонам, жмурится от назойливого света «юпитеров» и обиженно хмурится, когда его имя упоминается в сопровождении возвеличивающих эпитетов.

Маленькая Алла взбирается на трибуну. Весь съезд внимательно слушает ее речь. Но особенно внимательно слушает Горький. Неожиданно у нашего оратора происходит неувязка со знаками препинания, и в тиши огромного Колонного зала раздаются слова:

— Товарищи взрослые писатели, ребята...

Дружный смех и долгие аплодисменты новых «ребят» помогают сохранить спокойствие Алле Каншиной. Весело смеется Горький, когда она заканчивает речь словами:

— Помогите нам, будет время, и мы вам поможем!

Объявлен перерыв. Революционные писатели мира обступают участников «Базы курносых», с удивлением рассматривают необыкновенных «писателей» и просят подарить свою книгу на память.

К Алексею Максимовичу трудно подступить. Делегации просят сняться с ними любимого и дорогого писателя. Неугомонные фоторепортеры под слепящими лучами искусственных солнц наводят десятки аппаратов.

Алексей Максимович зовет «Базу курносых» к столу президиума. Маленькие ладошки ребят долго сжимают крепкую руку Алексея Максимовича. Алла на правах старой знакомой уселась рядом, Ара положила руки ему на плечи, Гриня и Рафа заспорили о праве обладания рукой Горького. Пришлось Алексею Максимовичу поделить свои пальцы между двумя малышками.

Завязался разговор. Оказалось, что с самым большим писателем Советского Союза разговаривать легко и просто. Одна беда: все время подходили люди, мешали разговаривать.

— Знаете, тут нам не дадут поговорить. Приходите ко мне чай пить. Там мне груши и яблоки прислали из теплых стран...

...Как-то после одного из занятий нашего литературного кружка мы шли веселой гурьбой по заснеженным улицам Иркутска. Нам было очень хорошо, потому что спорилась работа и с каждым днем росло ощущение крепнувшей прочности дружбы. Кто-то сказал:

— Давайте встретимся ровно через десять лет на углу улицы Карла Маркса против нашей школы.

Это предложение всем пришлось по душе, и тут же установили, что таким днем встречи будет 21 октября 1943 года — ровно десять лет спустя после первого занятия нашего кружка.

Не удалось осуществить это мероприятие. Началась Великая Отечественная война. Ушли добровольцами в ряды Советской армии многие из ребят.

Моряком военного флота стал Баир Шаракшанэ. В грозные дни войны он защищал подступы к Ленинграду на фортах «Серая лошадь» и «Красная горка». Его брат Аба пошел в военную авиацию и защищал с воздуха подступы к Москве. Рядовыми бойцами начали свою боевую жизнь Григорий Ляуфман, Володя Персиков и Рафа Буйглишвили. Журналистами стали Галя Кожевина, Алла Каншина и Соня Животовская, переводчицей пошла работать Аня Хороших. Ада Розенберг возвратилась в свою родную школу преподавателем. Ара Манжелес прервала занятия в Ленинградской Академии художеств и была эвакуирована в Иркутск. Ушел в ряды Советской армии и я.

Изредка мы переписывались, иногда встречались и всегда думали друг о друге. По-прежнему центром, нас объединяющим, остался Иркутск.

Однажды почтальон принес объемистый пакет со штампом полевой почты. Это оказались фронтовые записки Баира Шаракшанэ. В первые годы войны мы встретились на станции Улан-Удэ. Баир с маршевым эшелонном тихоокеанских моряков ехал на Балтику. Крепко обнялись старые друзья по «Базе курносых» и расстались. Поезда пошли почти в одно время в разные стороны — на восток и на запад. Кажется, совсем недавно краснофлотец Баир был маленьким живым мальчуганом, которого все ласково и нежно называли Баирчиком. Давно ли вместе расхаживали по городу, сидели у костра в пионерском лагере. Еще по-мальчишечьи были задорны глаза Баира, но уже во всем облике моряка чувствовалось, что он вступил в полосу возмужания и готов с честью выполнять свой долг перед советской Родиной...

Авторы «Базы курносых» хорошо усвоили заветы великого Горького. Не забыли они их и в послевоенное время.

Мы начали писать свою книгу по предложению Сони Животовской. Она была и осталась самым горячим участником творческого коллектива.

Наша Соня после войны стала работать в Министерстве торговли, но каждое лето возвращались к любимому делу, к работе с детьми как начальник пионерских лагерей в Подмоскowie.

Закончив учебу в Академии воздушного флота, Аба Шаракшанэ стал летчиком-профессионалом; остался в рядах армии и Григорий Ляуфман.

Аня Хороших и Ада Розенберг стали преподавателями английского языка в иркутских вузах. Выбрала педагогическую специальность и Женя Безуглова — она учительница в одной из школ города Куйбышева.

В журнале «Свет над Байкалом» печатались рассказы Баира Шаракшанэ. Продолжают заниматься литературной работой Алла Каншина и Галина Кожевина.

Ара Манжелес живет и работает в Ленинграде. Исполнилась ее заветная мечта — она скульптор. Рафа Буйглишвилли теперь инженер, а Шура Ростовщиков бухгалтер.

В разных городах страны живут и работают теперь «курносые», но они не забывают старой дружбы, переписываются, изредка встречаются, и каждый из них вносит свой посильный вклад в дело борьбы за коммунизм, за мир, за светлое будущее всего человечества.

1956

Временем поверяя себя

В жизни каждого человека неизбежно наступает пора, когда без лишней суетности, не кокетничая, хочется оглянуться на прожитые годы, как-то осмыслить время, подвести, как говорится, кое-какие итоги. Думается, что шесть десятилетий нелегко и непросто прожитой жизни дают некоторое право надеяться, что читатель не упрекнет тебя в излишней нескромности. И все же нет, пожалуй, более трудного жанра в литературе, чем жанр так называемых автобиографий.

Я родился 31 июля 1921 года в небольшом селе Подгоренка Екатериновского района Саратовской области, в ста двадцати километрах южнее Саратова. Родители мои — потомственные крестьяне. В 1930 году они вступили в колхоз. Хорошо помню это беспокойное время. Жили мы трудно. Семья была большая. За обеденный стол садилось восемь человек — престарелый дед, мать с отцом и мы, пятеро детей, мал мала меньше. Я был старшим, хотя в ту пору мне было не больше десяти лет. Особенно тяжело пришлось в голодном 1933 году. Однажды отец, вернувшись морозным январским вечером со станции Екатериновка, объявил за ужином, что на станции идет вербовка добровольцев сроком на два года на лесозаготовки в Сибирь. На семейном совете решено было попытаться счастья в далеких краях.

Живо вспоминается наша поездка — первое большое путешествие в моей жизни, длившееся более месяца. Ехали семьями со всем немудрящим крестьянским домашним скарбом — самоварами, чугунками, сковородами, ухватами и прочей утварью. Спали на общих нарах, в два ряда настланных по стенам вагона, со свободным проходом в середине. Поезд часами, а иногда и по целым суткам стоял на больших узловых станциях. В это время все взрослое население пестрого табора на колесах, вооружившись котелками, ведрами, кастрюлями, устремлялось за очередным пайком — борщом и кашей. В больших городах всем поездом шли мыться в баню.

Трушкин Василий Прокопьевич (31 июля 1921, с. Подгоренка Саратовской области — 16 августа 1996, Иркутск), доктор филологических наук, профессор, литературовед. Член Союза российских писателей. Автор книг «Литературная Сибирь первых лет революции», «Пути и судьбы», «Из пламени и света», «Восхождение» и др.

Детское воображение захватывала тайга, стеной подступавшая чуть не к самому полотну железной дороги, поражали бескрайние сибирские просторы. Приехали на станцию Залари, а отсюда через двое или трое суток на крестьянских дровнях нас повезли на Сарам, в предгорья Саян, где велись лесоразработки и в длинных, низких, наскоро срубленных бревенчатых бараках жили лесорубы со своими семьями. На всю жизнь врезался в память стоверстный санный путь через тайгу, к верховьям Оки. Мохнатые сибирские лошадки-монголки, выносливые и резвые, поскрипывание снега под полозьями саней-розвальней, возчики в непомерно больших и тоже мохнатых дохах, в таких же унтах, вековые великаны-сосны, кедр, ели под пушистыми снежными шапками, морозное зимнее безмолвие дороги, которая взбиралась с одного увала на другой, — все это и поныне незабываемо, стоит перед глазами, тогда же и вовсе казалось чем-то необычным, почти сказочным, ошеломило меня, одиннадцатилетнего подростка, привыкшего видеть только бедную растительность приволжской степи, изрезанную оврагами, с маленькими зеркальцами прудов, в которые задумчиво гляделись редкие ветлы.

Так оказался я в Восточной Сибири, которая отныне стала моей второй родиной. Здесь прошли мое отрочество и комсомольская юность, здесь же началась моя зрелая жизнь. В сентябре 1939 года, после окончания девяти классов Заларинской средней школы, я поступил в двухгодичный учительский институт в Иркутске. Проучившись в нем два семестра, осенью 1940 года перешел на только что открывшееся при Иркутском университете филологическое отделение историко-филологического факультета.

Вскоре грянула война. Многие мои сверстники ушли на фронт. Сильная близорукость помешала мне взять в руки винтовку. Трудно, ох как трудно было примириться с этим обстоятельством в то время. Стыдно было, просто невозможным казалось в такое лихолетье быть не на фронте.

Началась полоса тяжелых студенческих военных лет. Часто нас снимали с занятий и отправляли то в Черемхово грузить уголь, то в Кузьмиху корчевать и пилить лес — на этом месте сейчас разлилось привольное Иркутское море, то на Байкал неводом ловить омуля в студеной байкальской воде. Плохо одетые, вечно голодные, в нетопленном общежитии с размоороженными паровыми батареями, мы штудировали учебники и заоченевшими от холода пальцами выводили каракули в своих конспектах, спорили о военной лирике Константина Симонова и рассказах Стефана Цвейга, восхищались сценическим и вокальным искусством Ивана Паторжинского и Зои Гайдай (во время войны в Иркутске находился Украинский театр оперы и балета). Кажется, случись такое сейчас — не выдержал бы, но молодость брала свое, и мы не только выдержали, но и недурно учились, мечтали о будущем.

В то время в Иркутском университете работали крупные, выдающиеся

ученые. Из блокадного Ленинграда приехали известный фольклорист и литературовед, прекрасный педагог, бывший иркутянин профессор Марк Константинович Азадовский, эллинист, ученый с мировым именем профессор Соломон Яковлевич Лурье, тогда же прибыли профессор-геолог, тоже сибиряк по происхождению Сергей Владимирович Обручев, профессор-географ Клавдий Николаевич Миротворцев, академик Сергей Сергеевич Смирнов, профессор-филолог Моисей Семенович Альтман, профессор-историк Иван Иванович Белякевич. Вполне естественно, что приток таких значительных научных сил самым благотворным образом сказался на всей интеллектуальной атмосфере, царившей в ту пору в стенах университета.

В июне 1945 года я окончил университет, получив диплом с отличием и квалификацию филолога. Хотелось посвятить себя всецело литературе, пойти в ленинградскую аспирантуру. Однако поездка в Ленинград не состоялась. Тогда только что закончилась война, пришел долгожданный мир, а с ним и многие проблемы по налаживанию мирной жизни. Вчерашние солдаты и офицеры, не успев снять военные шинели и гимнастерки, потянулись в институтские и университетские аудитории. В свою очередь, вузы страны испытывали острую и срочную потребность в высококвалифицированных преподавательских кадрах. Их всюду не хватало. Так я волею судеб вместо ленинградской аспирантуры совершенно неожиданно для себя оказался в Москве на трехмесячных курсах ВКВШ по подготовке преподавателей общественных наук для вузов.

Вернулся в Иркутск, около года проработал ассистентом кафедры основ марксизма-ленинизма Иркутского мединститута, и тут мне неожиданно-негаданно, что называется, повезло: в Иркутском университете оказалось вакантным место в аспирантуре по советской литературе. Мне предложили держать экзамены. Без специальной предварительной подготовки, как говорится, с ходу, я выдержал эти экзамены и с февраля 1946 года стал аспирантом университета.

Так началась новая полоса в моей жизни. В ту пору пришлось много поколесить по городам и селам области в качестве лектора общества «Знание». Большое удовлетворение приносила и работа над кандидатской диссертацией по творчеству Эдуарда Багрицкого. В московских архивах я тщательнейшим образом исследовал все рукописное наследие поэта. Рукописи и черновики, различные редакции и варианты стихотворений приоткрыли завесу над творческим процессом большого поэта, помогали проникнуть в тайну рождения таких поэтических шедевров, как «Дума про Опанаса», «Смерть пионерки», «ТВС», «Человек предместья». Кажется, только теперь я по-настоящему понял, что такое художественное слово, как оно рождается и шлифуется, обретает выразительность и силу под пером взыскательного мастера. Трудно поверить, что, скажем, знаменитая поэма «Смерть пионерки», в

основу которой положены реальные жизненные события, выросла вот из такого первоначального поэтического эмбриона:

Выходила Валя
В рощу погулять,
Простудилась Валя —
Надо помирать.
Мама Валентину
Навестить пришла.
Мама Валентине
Крестик принесла.
Но и перед смертью
Помня свой отряд,
Валя перед смертью
Не пошла назад.
Вспомнила, как трубы
На заре поют,
И рукою слабой
Отдала салют.

Как видим, здесь как будто есть почти все сюжетные элементы будущей поэмы, но самой поэмы в том виде, в котором мы знаем ее с детства, нет и в помине, как нет и намек на знаменитое лирическое отступление о молодости («нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед...»), придающее произведению подлинно философскую масштабность и глубину.

Сама защита диссертации, состоявшаяся в феврале 1950 года в Институте мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР, проходила в очень сложное время, в самый разгар кампании по борьбе с космополитизмом. Борьба эта велась с перехлестами, за борт летели многие устоявшиеся духовные ценности, зашатался и признанный авторитет в советской поэзии Эдуарда Багрицкого. В печати появлялись разгромные статьи о нем. Откровенно скажу: нелегко мне тогда пришлось.

Вот теперь, наверное, самая пора непосредственно перейти к разговору о делах литературных, ибо, признаюсь чистосердечно, литература — моя страсть и мое призвание на всю жизнь, единственное и неизменное. В беззаветном служении ей вижу смысл и оправдание своего земного существования. Чем бы мне ни приходилось заниматься в жизни, в душе я всегда оставался, по излюбленному выражению Горького, литератором. Писать и собирать любимые книги начал рано. Пятиклассником я уже кропал немудрящие стихи. В школьные годы пробовал сочинять и рассказы. Начиная с подросткового возраста и вплоть до окончания университета систематически вел дневник, который во многом помог мне найти, выработать свой собственный стиль, научил осознанному отношению к слову.

Первый мой выход в печать был связан с именем великого Пушкина — этого начала всех начал в нашей национальной духовной культуре вообще и литературе в особенности. Случилось это так. В начале 1937 года широко отмечалось столетие со дня трагической гибели поэта. Вся страна жила этим событием. Слово и имя Пушкина звучали по радио, не сходили с газетных полос. Всюду в школах проходили пушкинские вечера. Именно тогда, в бытность свою учеником седьмого класса Тыретской школы, написал я стихотворение о поэте и своем отношении к нему. По совету одноклассников стихи послал в иркутскую пионерскую газету «За здоровую смену». Вскоре (помнится, это было в марте 1937 года) на ее страницах появилась обзорная статья «Стихи школьников о Пушкине», в которой среди других разбирались и цитировались и мои ученические вирши. Осенью 1939 года, приехав в Иркутск и став студентом, я частенько навещался в редакцию областной комсомольской газеты «Советская молодежь». 18 октября того же 1939 года в ней появилась моя первая статья, посвященная творчеству А. В. Кольцова. Вскоре за ней последовало еще несколько статей и рецензий — о Н. Г. Чернышевском, А. С. Грибоедове, о фильме С. М. Эйзенштейна «Александр Невский». Разумеется, все это было и молодое и зелено. И все же начало было положено. Я стал бывать в редакции «Советской молодежи», ютившейся тогда буквально на притыке, в маленьких комнатухах на третьем этаже — мансарде старого здания «Восточно-Сибирской правды». Секретарем газеты работал журналист Игорь Урманов. Он сам пописывал рассказы, время от времени печатался в иркутских газетах и альманахе «Новая Сибирь». Он был радушный и гостеприимный хозяин. Часто у него в редакции можно было встретить Анатолия Ольхона, Иннокентия Луговского, Моисея Рыбакова и других иркутских литераторов той поры. Несколько раз мне приходилось встречать у него в кабинете начинающего поэта Ивана Черепанова. Иван Черепанов в то время был простым рабочим на мясокомбинате. Ходил он в поношенном полушубке, какой-то затрапезной шапке и подшитых валенках. Вообще вид у него был не из презентабельных. Стихи же он писал удивительные — душевные, мягко лирические. К сожалению, поэтический талант его так и не развернулся. Иван Черепанов погиб в первые годы войны на фронте. В одном из последних писем к родным он писал: «Если погибну, знайте, погиб за родную Сибирь, чтобы была она краше, чтоб жили в ней поэты».

Хорошо памятна мне литературная жизнь Иркутска в военные и первые послевоенные годы. Во время войны оставшиеся в городе литераторы обычно собирались на литературные среды при редакции газеты «Восточно-Сибирская правда». Запомнились интересное и многолюдное обсуждение спектакля «Горе от ума» в постановке режиссера Н. А. Медведева, выступление на среде профессора М. К. Азадовского с чтением очерков о культурной жизни старого Иркутска.

Публичные литературные вечера, как правило, проходили или в областной библиотеке, или в актовом зале пединститута по улице Желябова. На этих вечерах я не раз слышал выступления Анатолия Ольхона, Ивана Молчанова-Сибирского, Георгия Маркова, Иннокентия Луговского, а в послевоенные годы — Юрия Левитанского, приезжавшую в Иркутск Л. Н. Сейфуллину, Константина Седых, Павла Маляревского.

Но наиболее интересными были, как мне представляется теперь, традиционные литературные пятницы при Доме писателя по улице 5-й Армии. Сама атмосфера здесь была более непринужденной, какой-то, я бы сказал, домашней, хотя порой и не обходилось без резких полемических баталий.

Я помню, как на литературных пятницах обсуждались детские повести Агнии Кузнецовой, главы первого романа Василия Балябина «Голубая Аргунь», ранние произведения Вячеслава Тычинина и Франца Таурина, помню, как по-мальчишески задорно читал свои первые стихи Петр Реутский. Все они первоначальную литературную прописку получили именно на этих литературных пятницах, при прямой поддержке своих старших товарищей И. И. Молчанова-Сибирского, Г. М. Маркова, Г. Ф. Кунгурова, А. С. Ольхона, И. С. Луговского. Да не только они. Вспоминается, как морозным зимним вечером 1947 или начала 1948 года появился на одной из пятниц в Доме писателя никому неведомый тогда Игнатий Дворецкий. Его рассказы о Севере, рыбаках на Охотском море захватили слушателей суровой романтикой, свежестью и яркостью красок. Вскоре они появились на страницах альманаха «Новая Сибирь». Здесь были опубликованы и «Невод в море», и «В бухте», и другие ранние произведения, ознаменовавшие рождение талантливого советского прозаика и драматурга.

К этому времени относится и первое мое боевое крещение. В декабре 1948 года я выступил на страницах «Восточно-Сибирской правды» с большой статьей — «Двадцатая книга альманаха «Новая Сибирь». В ней я с юношеской запальчивостью разбирал стихи Анатолия Ольхона, прозу Леонида Огневского и других авторов очередной книжки альманаха. И тут произошло нечто непредвиденное для незадачливого критика и рецензента. Статью решено было обсудить на очередной литературной пятнице. Пятница была бурной, язвительной, и ироничный Ольхон вдребезги разнес мою статью, досталось мне и от других авторов. Я оборонялся как мог. Умело защищал меня, спасая престиж представляемой им газеты, журналист Евгений Васильевич Алакшин.

Много воды утекло с того памятного вечера, когда я, быть может, впервые так остро почувствовал, насколько важен и ответствен труд литературного критика и как вдумчиво он должен относиться к своей работе, к своим критическим суждениям и оценкам, памятуя, что за книгами всегда стоят живые люди. С тех пор мною были написаны и опубликованы

десятки, даже сотни различного рода статей, рецензий, литературоведческих исследований, книг, наконец, но и поныне незабываем урок, полученный на литературной пятнице в Иркутске морозным декабрьским вечером 1948 года. Это было одним из моих первых критических выступлений в печати о писателях Сибири, и очень хорошо, что оно не прошло бесследно, прежде всего для самого автора.

Короче говоря, на протяжении многих лет мне посчастливилось в той или иной форме, но обязательно принимать непосредственное участие в живом литературном процессе Сибири. На первых порах, еще в далекие теперь сороковые годы это участие выражалось главным образом в активном посещении всякого рода литературных вечеров, собраний, диспутов и, конечно же, традиционных литературных пятниц при иркутском Доме писателя. Я не был пассивным слушателем, а горячо, заинтересованно принимал или же отвергал каждое новое прочитанное на пятнице произведение, будь то стихи или проза как начинающего, так и опытного, искушенного в литературе автора. Мне доводилось присутствовать на авторском чтении и обсуждении отдельных глав и отрывков из «Даурии» Константина Седых и «Строговых» Георгия Маркова, когда эти произведения, известные теперь каждому грамотному человеку, еще только рождались. Мне не раз приходилось горячо спорить о новых стихах Анатолия Ольхона и Ивана Молчанова-Сибирского, пьесах Павла Маляревского. На моих глазах входили в литературу Юрий Левитанский и Игнатий Дворецкий, Валентина Марина и Василий Балябин, Марк Сергеев и Франц Таурин, Анатолий Преловский и Геннадий Машкин, Светлана Кузнецова и Анатолий Шастин, Александр Вампилов и Валентин Распутин, Дмитрий Сергеев и Алексей Зверев.

Более чем за тридцать лет литературной жизни Иркутска пришлось видеть и наблюдать многое, быть причастным в какой-то мере к литературной судьбе почти каждого литератора-иркутянина, да и не только иркутянина. В беглых заметках обо всем не расскажешь, к сожалению. Но одно важное и, как мне кажется, основное обстоятельство, предопределившее всю мою последующую работу, хотелось бы здесь все же отметить. В литературе для меня дорога прежде всего сама литература и человек, стоящий за ней. Поэтому, заметив в начинающем авторе «искорку божью», проблески истинного дарования, я делал и делаю все, что в моих возможностях и силах, чтобы помочь разгореться этой искорке в яркий костер подлинного творчества, внушить одаренному человеку веру в его силы, смелость быть самим собой в искусстве слова, быть, если угодно, дерзким в художественном первооткрытии действительности, мира и человека.

Не без волнения, радости и внутреннего удовлетворения вспоминаю я теперь о нашей совместной работе на рубеже пятидесятих-шестидесятих

годов в руководимом мною университетском литературном кружке при редакции многотиражной газеты «Иркутский университет».

Моими питомцами по университету были такие интересные и одаренные современные литераторы, как поэт Анатолий Преловский, драматург Александр Вампилов, прозаики Валентин Распутин, Ким Балков, Анатолий Шастин, бурятский литературовед и критик Василий Найдаков, способный лирик Ким Ильин...

Наш университетский литературный кружок возник, я бы сказал, в какой-то степени стихийно. Юной пишущей братии хотелось постоянного творческого общения, хотелось как-то апробировать свои литературные опыты, выслушать нелицеприятное мнение товарищей.

Вскоре я не без внутренней робости решил вывести своих кружковцев «в люди». Всем кружком мы пришли на очередной литературный вечер в иркутский Дом писателя. Приняли нас там тепло и дружелюбно. Особенно понравились многим юмористические рассказы Вампилова, стихи Гусенкова. Вскоре их имена стали появляться на страницах газеты «Советская молодежь», в альманахе «Ангара». А еще раньше силами кружковцев мы выпустили свой рукописный сборник стихов и прозы. Собрал и подготовил его Леонид Ханбеков.

Благожелательным напутственным словом в печати я встречал первые книги Игнатия Дворецкого и Анатолия Преловского, Анатолия Шастина и Марка Сергеева, Николая Чаусова и Петра Реутского, Льва Кукуева и Валентина Распутина. К слову сказать, одна из первых статей о Валентине Распутине «Поэзия прозы» была опубликована мною еще в 1968 году в первом номере альманаха «Ангара». Приятно сознавать, что мне же довелось быть и первым рецензентом рукописи его повести «Последний срок», первоначально вызывавшей настороженное и противоречивое отношение к себе. Вообще, оглядываясь на прошлое, хотелось бы сказать, что многие мои ожидания и прогнозы в отношении молодых одаренных литераторов полностью оправдались. Их талант с каждым годом крепчает и набирает высоту.

Сознание, что и твоя доля, пусть небольшая и не всегда заметная, но все же есть в этом возмужании таланта, в так необходимой ему поддержке в самом начале пути в литературу, всегда растет.

Совсем недавно, в 1980 году, другой молодой иркутский литератор поэт Анатолий Горбунов, теперь уже член Союза писателей СССР, презентовал мне очередную книжечку своих стихов «Осенцы». Надписал он ее так: «Имярек. С благодарностью и уважением! Помню год 1972-й!» Спрашивается: чем же этот год стал особенно примечателен для автора «Осенцов»? Да тем, прежде всего, что в том году проходила традиционная областная конференция «Молодость. Творчество. Современность», на которой мы с поэтом Ильей Фоняковым заинтересованно и благожелательно встре-

тили тогда и горячо поддерживали первые поэтические опыты Анатолия Горбунова, укрепив тем самым его веру в собственные силы, веру в свое призвание поэта.

Я мог бы, наверное, без труда сослаться на целый ряд аналогичных случаев, да и книг с дарственными надписями прозаиков и поэтов, говорящими об искренней авторской признательности, за долгие годы скопилось не так уж и мало. Однако суть дела не в количестве дарственных книг и автографов коллег по литературному цеху, хотя, разумеется, и автографы что-то значат в нашей бременной жизни. И когда, скажем, старейшина сибирских поэтов Иннокентий Луговской именует тебя «сибиряком, братаном по перу, знающим толк в поэзии», то невольно хочется остаться «на уровне», не ударить, как говорится, в грязь лицом. Как же, хоть и не родной брат поэтам, а все же близкий родственник, «братан», то бишь брат двоюродный, свой человек в литературе, в поэзии. А это уже много и бесконечно дорого для меня.

Что еще поведать о «трудах и днях» своих? В 1961 году вышла из печати моя первая книга о писателях-сибиряках — «Литературные портреты». Тогда же по ней я был принят в члены Союза писателей. Статьи и литературные очерки мои стали появляться не только в сибирской печати, но изредка и в центральной прессе, главным образом тогда, когда они заказывались соответствующими редакциями. По собственному почину в центральные издания я никогда ничего не посылал и не предлагал.

Многие годы отданы углубленному изучению историко-литературного процесса в Сибири. В 1970 году была защищена докторская диссертация на тему: «Пути развития литературного движения Сибири (1900–1932 гг.)». За последние два десятилетия опубликовано было несколько книг на ту же тему. Из забвения вырваны десятки забытых и полузабытых имен, среди них такие примечательные, как Дмитрий Глушков-Олерон, Игорь Славнин, Владимир Пруссак и многие другие. В своих статьях и книгах мне хотелось показать читателю, что духовная жизнь Сибири всегда была насыщенной и по-своему разнообразной и богатой, что Сибирь, несмотря на свою отдаленность, никогда не оскудевала на таланты и что познание ее культурного прошлого и настоящего — это, в сущности, познание самой России, Родины нашей, ее истории и духовной культуры.

Иные литературоведы предпочитают всю жизнь заниматься бесспорными эстетическими ценностями, тем, что давно уже отстоялось и утвердилось прочно в нашем сознании, заниматься изучением классики. Несомненно, можно было бы и мне всецело отдаться такому занятию. Оно доставляло бы большую эстетическую радость и наслаждение. На углубленном изучении, скажем, Пушкина, Толстого или Чехова можно было бы и самому постигать секреты «святого ремесла», ставить «глобальные» нравственно-философские, художественные и методологические проблемы,

ошеломлять доверчивого читателя блеском эрудиции и прочее. Не скрою, иногда такие искушения одолевали и меня, посвятившего всю жизнь собиранию и изучению разной литературной «мелюзги». Тут, как говорится, не разгуляешься, не размахнешься во всю молодецкую ширь.

Все это, разумеется, справедливо. Но своя сермяжная истина есть и в том, что без так называемых маленьких писателей не было бы и больших художников. Как нет, по слову А. П. Чехова, армии без солдат, с одними лишь генералами, как нет горных хребтов без малых вершин и отрогов, так нет и литературы без второстепенных и третьестепенных писателей. Это живая среда, без нее нет и не может быть и самого литературного процесса.

Понять и осмыслить этот процесс во всем богатстве и многообразии его проявлений, постичь движение литературы во времени значит понять и самое это время, эпоху со всеми ее гражданскими, нравственными и духовными поисками и устремлениями, потерями и обретениями на нелегком пути к постижению извечных истин добра, красоты, справедливости, самого человека наконец. А коли так, то и мой скромный труд, посвященный изучению и воссозданию этой живой литературной среды, самого бытия литературы, представляется мне оправданным и необходимым.

Оглядываясь на пройденный путь с вершины прожитых лет, с надеждой всматриваясь в грядущее, хотелось бы заключить эти беглые заметки не потускневшими от времени словами хорошего старого русского поэта:

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие...

1980

Тетради, найденные в Жилкино

Недавно в Иркутском доме писателей в старых архивах нашли общую тетрадь. На первой ее странице написано: «Контрольный дневник литературных консультаций, Иркутск, начато в мае 1938 г.» Анатолий Ольхон, Константин Седых, Георгий Марков попеременно дежурили в Доме писателей, беседовали с начинающими поэтами и прозаиками, читали их рукописи, а потом заносили свое мнение в общую тетрадь.

И вот она у меня в руках. С интересом листаю хорошо сохранившиеся страницы, исписанные чернилами будто вчера, а не тридцать лет назад. Постепенно обращаю внимание, что часто встречается в записях имя Ивана Черепанова. Самый «упорный» начинающий.

16 августа 1938 года Константин Седых разговаривал с ними три часа — с четырех до семи. Вот какая память осталась о той встрече:

«Черепанов Ив. (Бездомный Иван). Тетрадь стихов. Очень способный человек. В стихах его много настоящих поэтических строк... Из тетради Черепанова следует выбрать несколько стихов, которые можно рекомендовать для напечатания в альманахе».

25 октября 1938 г. Анатолий Ольхон записывает:

«Ив. Бездомный (Черепанов) принес стихи «На обрыве». Переданы для альманаха «Новая Сибирь».

Он же — 19 февраля 1939 года: «Бездомный. Отчетливо видно, как он растет и преодолевает собственные недостатки. Новые стихи его самобытны и обещающе свежи».

2 марта 1939 года. Консультант Георгий Марков:

«Был Бездомный (Черепанов). Принес свою новую вещь — поэму «Ермак». Договорились, что к 4 марта ее прочтет тов. Седых, а 7 марта возьму я.

Раппопорт Евгений Григорьевич (20 декабря 1935, Барнаул — 23 февраля 1977, Иркутск), литературный критик, эссеист. Автор книг «Рукопись считалась утерянной», «Лет молодых наших порохов», «Поэзия поиска» и др.

Меня интересуют не только художественные качества поэмы, но и ее историческая и мировоззренческая стороны».

4 марта 1939 года, К. Седых: «В формальном отношении поэма написана очень неплохо. Есть в ней отрывки просто удачные... Я порекомендовал Бездомному посоветоваться по поводу своей поэмы с историками (например, Кудрявцев, Кунгуров), которые, бесспорно, могут сделать ценные замечания. Кроме того, неплохо бы обсудить поэму в узком кругу писателей».

Не буду утомлять читателя длинными цитатами из дневника литконсультаций. Скажу одно: мне захотелось узнать, как сложилась судьба Ивана Черепанова, прочитать его стихи.

Но в Иркутске сегодня мало кто помнит это имя. Удалось выяснить самые общие данные. Да, немножко печатался, книгу выпустить не успел — погиб на фронте.

Но все-таки мне повезло. Писательница Валентина Ивановна Марина рассказала, что в Жилкино живет сестра Черепанова. Вдвоем съездили мы в Жилкино, отыскиали деревянный домик, выходящий окнами на Ангару.

Домику еще больше лет, чем тетради, найденной в Иркутском Союзе писателей. Здесь вырос и провел свою юность Иван Черепанов, о стихах которого одинаково тепло отзывались разные по творческой манере литераторы, хорошо теперь известные читателям, — Анатолий Ольхон, Константин Седых, Георгий Марков.

В домике и по сей день хранятся бумаги, исписанные рукой Ивана Черепанова.

И фотография... На ней изображен Иван. Но как спокойно это сказано: «изображен». В портрете угадываются черты характера подлинного поэта, немножко задиристого, немножко «не от мира сего», но, конечно же, самобытного, уверенного в себе.

Я приведу здесь несколько документов, из которых встанет рано оборвавшаяся биография юноши.

Вот та самая тетрадь стихов, о которой упоминал Константин Седых:

...Годы все умчали, годы все сокрыли,
Даже нашу хату набок наклонили.
Говорил отец мой, землю покидая,
Что теперь остался я — один хозяин.
Только никогда мне не бывать им, знаю —
Суждена на свете мне судьба другая.
Уж давно от сельских дел

я отлучился —

И до самой смерти
с песнями сдружился.

(11.5.38 г.)

Бланк газеты «Советская молодежь» — органа Иркутского обкома ВЛКСМ. В углу дата — 10 ноября 1939 г.

«Уважаемый товарищ Черепанов!

Просим Вас прибыть на собрание литературной группы, которое состоится 11 ноября в 6 часов вечера в помещении редакции газеты «Советская молодежь». На собрании с чтением своих стихов выступите Вы.

Литконсультант И. Урманов».

Стихи из газеты «Советская молодежь».

Мать и сын

В год тревожный,

незабвенный

Власть рабочих отстоять

В дальний край, в поход

военный

Отправляла сына мать.

Провожала — говорила:

— Враг отнял у нас отца,

Отплати за кровь, сын милый,

Бейся храбро, до конца.

Вздрогнул конь, вздохнул всей грудью,

Оторвался от земли.

— Ну, прощай, я не забуду! —

И умчался конь в пыли.

Долго мать платком махала

У обветренных кустов.

Долго слышался за валом

Гулкий, дробный стук подков.

Через месяц в тихий вечер

На дворе раздался гуд.

Вышла мать, а ей навстречу

Сына мертвого везут.

Привезли, на холст у гроба

Положили близ ворот.

И до ночи, полон злобы,

Проклинал врага народ.

А на завтра утром алым,

Схоронивши сына прах,

Мать с бойцами уезжала

С карабином на плечах.

«20 ноября в актовом зале педагогического института состоится вечер иркутских поэтов. В программе вечера: вступительное слово Г. Ф. Кунгурова.

1-е отделение. Выступают молодые поэты А. Гайдай, В. Выходцев, Е. Жилкина, М. Васильев, М. Рыбаков, Е. Яшкин, И. Черепанов.

2-е отделение. Оборонные стихи и песни. Инн. Луговской, Ив. Молчанов, Ан. Ольхон, К. Седых. Песни иркутских поэтов исполняют солисты радиокомитета Булдаков и Тополев.

Начало в 8 часов».

Песня, написанная Иваном Черепановым:

Ах, случилось-приключилось
 недавно наяву
На зеленом, на кудрявом да
 на нашем острове.
На согретом теплым солнышком
 серебряном песке
Развеселая девчонка
 кручинилась в тоске.
Она бедная, томила,ся,
 судьбу свою кляня:
— Разлучила ты, подруженька,
 с возлюбленным меня,
На тебя ль я не надеялась
 и дружбу берегла?
Как мне ехать теперь
 на берег родимого села?
В это время по теченью,
 видит, лодочка плывет,
А на ней веслом мальчишка,
 тихо-нехотя гребет.
У мальчишки чуб волнистый,
 сам в рубашке голубой,
Он, склонившись печально,
 говорит один с собой:
— Задушевный мой товарищ,
 мне навеки ты не мил —
Разбессовестный, милашку
 у меня вчера отбил.
Я отправился за нею,
 и она и не ждала,
Как мне ехать теперь на берег
 родимого села?
Лодку к острову подбило,
 не заметил ничего,
Оглянулся, а любимая
 не сводит глаз с него.

Улыбнулся, рассмеялся,
горе лютое забыл
И на лодочке с собою
прокатиться пригласил.
Так случилось-приключилось
недавно наяву.
На зеленом, на кудрявом
да на нашем острове.

Из дневника:

«28 апреля 1940 г. Сiju в коридоре здания Дворца труда. 34 комната (Союз писателей) замкнута. Жду. Пять минут назад был У. Ничего он не понимает в стихах. Халтурщик. Ничем не жертвует для слова».

Эта запись сделана, когда И. Черепанов был рабочим Иркутского мясокомбината. Потом он стал учиться на рабфаке.

1940 годом датировано и неотправленное письмо, случайно уцелевшее среди стихов и дневников, адресованное родственникам:

«С тех пор, как я видел вас, прошло лет девять или десять. Тогда я был мальчиком, а теперь время прошло, и мне 23 июня исполнится 22 года. Вы, конечно, узнали, кто вам пишет — Иван Черепанов, сын умершего Александра Матвеевича Черепанова.

...Если бы вы увидели наше село, вы бы не узнали его — так все переменялось. Монастырь наш Вознесенский сломали, и на его месте — чистота. За гостиницей, где были огороды, построен мукомольный элеватор. Недалеко от него, на бугре, где росла черемуха, как раз напротив нашей избы — мыловаренный завод и каменные здания. За старой сельской деревянной школой (их сейчас четыре) воздвигнут громадный мясокомбинат. Многое, многое изменилось. Изба наша старая стала уже не та. Она постарела еще больше и наклонилась сильно набок. Палисада вокруг нее уже нет, лишь сохранились две старые березы, которые отец сажал когда-то. Что ж делать, время движется вперед и все меняет. Нужно ли жалеть об этом?»

Опять стихи.

Белый снег на вечерней заре.
И катанье с высокой горы.
Это было зимой, в январе,
Помню, помню из дальней поры.
Белый снег на вечерней заре.
Мы стояли с тобой на бугре,
Ты смотрела, прищуривши глаз,
Прядь волос вся была в серебре.
А за чашею таял и гас
Белый снег на вечерней заре.

Белый снег на вечерней заре!
Пусть то время водой утекло,
Пусть не будем стоять на бугре, —
Помню, помню за шумным селом —
Белый снег на вечерней заре...

Солдатский треугольник:

«11 ноября 1942 г. Здравствуйте, мама и дорогие сестренки Валя и Маня. Не сегодня так завтра мы идем на передовую линию. Она близка. Мои товарищи уже вступили в бой с фашистами.

...Теперь я от вас еще дальше: приблизительно 8000 километров. Здесь есть деревья — груши, сливы. Но сейчас поздняя осень, и плодов на них нет.

Немцы нас пытаются бомбить. Неудачно. Их угоняют зенитки. Сбрасывали фрицы агитлистки. Я читал. Такую чепуху городят — смешно. Выбросил.

Писать кончаю. Тревога. Уходим. Ив. Черепанов».

Это были последние слова, которые он написал. Мать получила вместе с похоронным извещением письмо товарищей, листок, исписанный рукой сына: «Если погибну, знайте, погиб за Родину, за родную Сибирь, чтоб была она краше, чтоб жили в ней поэты. И считайте меня большевиком...»

Он не успел стать поэтом, ушел из жизни, «не долюбив, не докурив последней папиросы».

Его стихи, письма, дневники лучше всего раскрывают биографию юноши, помогают понять его характер.

В тетрадках, найденных в поселке Жилкино, к сожалению, не все совершенно. Но они — безусловное доказательство, что строки, оборванные вражеской пулей, могли стать подлинной поэзией.

1974

Первая на Ангаре

Проблема Ангары

Среди многих великих рек, которыми так богата наша Родина, выделяется своей сказочной мощью сибирская красавица Ангара. Все необычно в этой удивительной реке.

Если великая русская река Волга рождается в лесной глуши едва приметным ручейком, ласково переплескивающим через край заботливо снаряженного сруба, и многие сотни километров нужны ей, чтобы принять обличье великой реки, то Ангара, смело порвав каменное кольцо Байкальских гор, уже в истоке является могучим потоком почти километровой ширины.

Если соседка Ангары, величайшая река Сибири — Лена весной в половодье бушует, выходит из берегов, заливая пойму на десятки километров, а летом и особенно в начале осени катастрофически мелеет, обнажая многочисленные песчаные острова и покрываясь опасными для судов перекатами, то Ангара по сравнению с нею исключительно равномерна. Причина этого — регулирующее влияние озера-моря Байкала, который, принимая в себя 330 больших и малых рек, выравнивает колебания их стоков на своей огромной поверхности.

Воды впадающих в Байкал рек отстаиваются в огромном водоеме, и этим объясняется изумительная чистота и прозрачность ангарской воды, неповторимо прекрасный, бирюзово-изумрудный цвет ее и не имеющий себе равных замечательный вкус.

Стремительное течение в истоке и исключительная чистота воды порождает еще одну удивительную особенность Ангары: замерзает она не с поверхности, а со дна. Донный лед, всплывая, создает обильную шугу и ведет к образованию заторов. Ледостав на Ангаре обычно сопровождается наводнением, словно река, лишенная возможности проявить свой крутой нрав весенним половодьем, наверстывает упущенное зимою.

Таурин Франц Николаевич (27 января 1911, с. Петровское Новосильского уезда Тульской области — 1994, Москва), прозаик. Член Союза писателей СССР. Автор книг «На Лене-реке», «Гремящий порог», «Байкальские крутые берега» и др.

И, наконец, существенная особенность Ангара, особенность, имеющая величайшее практическое значение — крутой уклон русла. Высота падения Ангара от истока до устья Илима, то есть на протяжении менее 1000 километров — 236 метров, что примерно равно падению Волги на всем ее огромном протяжении в 3700 километров. Поэтому быстрота течения Ангара в несколько раз больше, нежели у Волги.

Можно сказать, что Ангара соединяет в себе полноводность равнинной реки с бурной стремительностью горного потока.

Благодаря скорости течения и многоводности Ангара является грандиознейшим по мощности не имеющим равных в мире источником гидроэлектрической энергии. Энергетический потенциал Ангара больше, нежели у Волги, Камы, Дона и Днепра вместе взятых.

Подсчитано, что Ангара ежегодно может давать свыше 60 миллиардов киловатт-часов электрической энергии. Чтобы получить столько энергии на тепловых станциях, необходимо сжечь свыше 100 миллионов тонн угля. Железнодорожный состав, груженный таким количеством угля, протянулся бы от Владивостока до Парижа.

Сочетание богатейшей сырьевой базы и колоссальных запасов дешевой энергии определяет особое значение ангарской проблемы в общей перспективе дальнейшего развития производительных сил страны.

Планомерное изучение проблемы Ангара началось с первых лет Советской власти.

Опираясь на материалы изысканий, произведенных в 1917 году инженерами Малышевым и Вельнером, в 1920 году по заданию комиссии ГОЭЛРО была составлена записка, обрисовывающая потенциальные запасы энергии реки Ангара.

С каждым годом размах исследовательских работ возрастал. В разработке проблемы Ангара приняли участие виднейшие советские деятели науки и техники: академики А. Винтер и И. Александров, профессор В. Малышев, инженеры Колоссовский, Дмитриевский и др.

В настоящее время разработка узловых вопросов ангарской проблемы, в первую очередь вопросов энергетики, в основном закончена. Составлена рабочая схема использования гидроэнергетических ресурсов Ангара, предусматривающая сооружение каскада гидростанций, с полным использованием всего падения реки от истоков до устья.

После сооружения всех станций каскада Ангара превратится в сплошную цепь водохранилищ, каждое из которых будет ступенью каскада. Соединенные между собою системой шлюзов, ступени Ангарского каскада образуют глубоководный путь, по которому морские суда смогут подниматься из Карского моря в Байкал.

В соответствии с решением XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза начато сооружение первой станции Ангарского каскада —

Иркутской ГЭС, одной из крупнейших гидростанций Советского Союза. Она будет вырабатывать электроэнергию в два с лишним раза больше, чем Днепрогэс.

Иркутская гидроэлектростанция строится по проекту инженера Суханова. Отличительная ее особенность — отсутствие водосливной плотины, так как благодаря регулирующему влиянию Байкала колебания уровня в верхнем течении Ангары невелики.

Исключительно равномерный режим Ангары не только дает возможность избежать сооружения дорогостоящей водосливной плотины, но и устраняет необходимость установки резервного оборудования.

Долина Ангары в створе сооружения станции относительно неширока и поэтому длина плотины значительно меньше, чем на других гидростанциях подобного масштаба. Так, например, длина плотины Иркутской ГЭС в четыре раза меньше длины плотины Цимлянской ГЭС. К тому же непосредственно в районе строительства имеются огромные запасы строительных материалов — гравия и песка, в то время как на многих других гидротехнических стройках их приходится подвозить за сотни километров.

Совокупность этих благоприятных условий позволяет строить Иркутскую ГЭС с исключительно небольшими капиталовложениями на киловатт установленной мощности, и вырабатываемая ею электроэнергия будет самой дешевой в мире.

Сооружение первой ангарской гидростанции существенно изменит географию прилегающего района.

Плотина Иркутской ГЭС создаст подпор около 30 метров, что не только полностью перекроет падение реки от ее истока, но и поднимет уровень Байкала на 1–1,5 метра.

Водохранилище Иркутской ГЭС станет заливом Байкала, который подойдет вплотную к городу Иркутску.

Начало стройки

Небольшая группа механизаторов ехала на Ангару с берегов Черного моря. Все они — инженер Батенчук, техник Фесенко, экскаваторщики Кольченко, Плотников, Рыбин, шоферы братья Мериновы — работали на строительстве гидростанции неподалеку от города Сочи.

Много было в пути разговоров о будущей работе, о далекой загадочной Сибири. Плотников, бывший черемховский шахтер, рассказывал о сибирской природе, о тайге, о морозах, ну и, конечно, об Ангаре.

— Ее, наверное, и не увидишь, вашу Ангару, — подшучивал живой веселый Фесенко, подмигивая товарищам, — промерзает, небось, до дна, а летом и оттаять не успевает. Сам говоришь, Григорий Михайлович, у вас в Сибири зима тринадцать месяцев.

— Наша Ангара, — степенно, с достоинством отвечал Плотников, — река веселая и цену себе знает. Редкий раз станет до нового года. А иной год и совсем не стает. Так что, Александр Иванович, не горюй — нагладишься.

Слушатели недоверчиво покосились: мороз сорок градусов, слушать — уши зябнут, а река не стает. Разыгрывает, не иначе. Но Батенчук, оторвавшись от книги, подтвердил: правильно говорит Григорий Михайлович, бывают такие случаи, а вообще ходит подо льдом Ангара два, редко три месяца.

Ну, раз Евгений Никанорович сказал, значит точно. Он все знает. И, пользуясь тем, что он вступил в разговор, вопросы задают уже ему. Особенно интересует всех, как будут работать экскаваторы в суровые сибирские морозы.

— Мороз экскаватору не страшен, — отвечает Евгений Никанорович. — Впрочем, через несколько дней приедем, начнете работать, сами убедитесь... Если, конечно, — добавляет он после короткой паузы, — есть на стройке экскаваторы.

Всем понятно почему «если». Стройки-то, по существу, еще и нет. Они едут одними из первых. Начинается спор: есть уже на стройке экскаваторы или нет. Мнения расходятся. К этому вопросу возвращаются не один раз. Интересно, кто окажется прав?

В морозный и солнечный февральский день «южане» высадились на станции Иркутск. Первое, что бросилось в глаза, — на путях стояла платформа, груженная огромными ящиками с надписью: «Ст. Иркутск I, Ангарогэсстрою». По габаритам ящиков сразу определили: части экскаватора. Очень обрадовались. Выходит — есть стройка.

Отправились разыскивать управление.

Управление строительства помещалось в центральной гостинице и занимало всего одну комнату. Прибывших занесли в списки личного состава, при этом подошедшие к столу первыми успели попасть в первый десяток.

К общему приятному изумлению оказалось, что гидростанция строится, можно сказать, в городе, на южной его окраине. Центр и опорная база стройки — пригородное село Кузьмиха. Правда, пока еще, говоря «база», следовало добавлять «будущая». Поэтому поселились сначала по соседству с управлением, тоже в гостинице. Работа нашлась сразу — собирать первый экскаватор.

Для опытных механизаторов собирать экскаватор не такое уж сложное дело. Но кроме знаний и опыта, необходим инструмент, транспорт. Его не было. Помощь пришла со стороны, совершенно неожиданно.

Рано утром в номере Батенчука раздался телефонный звонок. Евгений Никанорович взял трубку. Кто-то густым басом поздравил строителей с приездом на Ангару, отрекомендовался главным механиком Н-ской стройки и без лишних слов перешел к делу:

— Видел ваш экскаватор на путях. Могу послать вам инструмент для сборки и автомашину. Чувствую, что нуждаетесь.

Батенчук горячо поблагодарил его.

— Сибиряки народ дружный и привычны всегда товарища выручать, — с удовольствием сказал по этому поводу Григорий Михайлович Плотников, и все охотно согласилось с такой лестной оценкой.

Через несколько дней ящики с частями первого экскаватора марки «ЧКД» доставили в Кузьмиху. Сделать это было нелегко. Дорога была почти непроходима для автомашин. Точнее сказать, это была не дорога, а тропа, промятая в снегу узкими крестьянскими дровнями.

В Кузьмихе остановились на перекрестке возле полуразрушенной церкви и стали разыскивать начальника первого стройучастка Тимофея Федоровича Лепендина.

— Лепендин в конторе, — ответил на вопрос молодой человек со свертком чертежей под мышкой.

— А где контора?

— Вот на углу, — махнул тот рукой, торопливо удаляясь. Свежий февральский ветерок не способствовал продолжительному разговору.

Строители — народ непривередливый, и служебные их помещения, как правило, мало комфортабельны. Контора участка помещалась в крохотной избенке, которая отличалась от других лишь тем, что около нее толпился народ.

Механизаторы вошли и поразились, как много людей может поместиться зимой в небольшой комнате. В углу за узким некрашеным столиком стоял высокий плечистый человек средних лет в суконной куртке защитного цвета и коричневой шапке-ушанке. Его забрасывали вопросами со всех сторон.

— Где рукавицы? Второй день не выдают!

— Когда привезут брус?

— Где кузнец? Надо кайлы оттягивать.

— Скоро ли выдадут аванс?

С завидным спокойствием ровным голосом Тимофей Федорович отвечал на каждый вопрос коротко и четко:

— Рукавицы выдадут сегодня. За брусом поехали. О заправке инструмента должен позаботиться бригадир. Аванс будет только в конце недели.

Твердый и спокойный взгляд небольших глаз под нависшими косматыми бровями придавал особую убедительность его словам.

С трудом протиснувшись в двери, механизаторы остановились у порога. Они стояли молча, и потому на них сразу обратили внимание. Когда же выяснилось, кто они, Тимофей Федорович вышел из-за стола, поздоровался с каждым за руку и сказал, обращаясь к притихшим строителям:

— Механизаторы приехали начинать работы на основных сооружениях. А у нас еще жилье не готово. Надо торопиться.

Впрочем, слова эти не следовало понимать как упрек. Стройучасток был первым и пока еще единственным на стройке и существовал всего несколько дней.

17 марта 1950 года экскаватор «ЧКД» — первый экскаватор на стройке — вынул первый ковш грунта из карьера в Кузьмихинском логу.

Событие это прошло на стройке почти незамеченным, может быть потому, что выполняемая работа не входила в комплекс основных сооружений, хотя и являлась необходимым этапом строительства — сооружалась дорога, которая должна была соединить стройку с городом.

Колхозные ребятишки, услышав за околицей села ровный гул дизельного мотора, окружили экскаватор, с восхищением наблюдая за его работой. Кубический ковш экскаватора, похожий на голову допотопного чудовища, со скрипом и скрежетом вгрызлся в плохо оттаявший грунт, затем, разворачиваясь в воздухе, повисал над автомашиной и, откинув днище, высыпал в кузов огромную кучу гравия. Машина вздрагивала, приседая на рессорах, днище ковша, похожее на отвисшую челюсть, с металлическим лязгом захлопывалось, и зубы ковша снова жадно тянулись к поверхности забоя.

Пять автомашин, весь тогдашний автопарк стройки, работали на сооружении дороги. Машины были бортовые, самосвалов стройка еще не имела, и вдоль трассы будущей дороги стояли кучками грузчики, встречая машины с грунтом.

Сооружали дорогу, мягко выражаясь, с некоторым отступлением от проекта. Землеройных дорожных машин для выемки корыта под полотно дороги не было, и потому гравий сыпали прямо на неоттаявшую, кое-где еще покрытую снегом землю и прикатывали его. Потом, позднее, полотно дороги местами проседало, делали дополнительные подсыпки и, в конце концов, на удивление самим строителям, дорога получилась вполне добротная — она служит и по сей день.

Первый шаг был сделан. Стройка приблизилась к городу, получила выход к железной дороге.

Рождение коллектива

Коллектив рос не по дням, а по часам. Со всех концов страны прибывали люди. Механизаторы с центральных строек, плотники из Кирова, колхозники из Чувашии и с Алтая. Ехали шоферы и каменщики, бетонщики и землекопы, слесари и штукатуры, железнодорожники и деревообделочники. Ехали инженеры-гидростроители, воздвигавшие четверть века назад первенец советского гидростроения — Волховскую гидроэлектростанцию имени В. И. Ленина — Тимофей Федорович Лепендин и Сергей Леонидович Малиновский и молодежь, только что окончившая институты и техникумы: Леонид Михайловский, Борис Медведев, Владимир Беляев,

Валентина Гончаренко, Лев Дукельский. Многие пришли на стройку с предприятий города.

В один из дней, когда еще собирался первый экскаватор, в кабинет главного механика Батенчука несмело постучался высокий смуглый человек, сообщил, что он экскаваторщик, фамилия его Михалевич, и попросил принять его на работу.

— Сколько времени и где работали экскаваторщиком? — спросил Батенчук.

— Больше десяти лет, на заводе им. Куйбышева.

— Почему же уходите оттуда? — спросил Батенчук уже не совсем дружелюбно. Он очень не любил людей, легко меняющих место работы.

Но Михалевич объяснил, что со времени опубликования постановления о великих стройках его не оставляла мысль попасть туда и что если бы не большая семья, он уже давно уехал бы в Куйбышев, Сталинград или Каховку. А теперь, когда стройка здесь, в городе Иркутске, как же можно удержаться?.. Сказал, что, уступая его настоятельным просьбам, с завода его отпускают, и, немного помолчав, добавил:

— А как я работал, можете справиться на заводе.

Батенчук справился и после этого с большим удовольствием принял Михалевича на работу.

Кольченко, Плотников и Михалевич сели за рычаги первого экскаватора.

Экскаватор «ЧКД» стал на стройке своего рода университетом механизаторов. Шутники окрестили его «инкубатором»: именно из его кабины выпорхнул и разлетелся по всей стройке дружный выводок экскаваторщиков.

Так это и было.

В управление строительства одно за другим поступали извещения об отгрузке на стройку экскаваторов из Воронежа и Молотова, Свердлова и Новокраматорска.

А профессия экскаваторщика была в стране весьма дефицитной, и нельзя было рассчитывать, что на стройку, одновременно с оборудованием, придут квалифицированные механизаторы. Надо было создавать свои кадры и делать это как можно быстрее: на стройку уже поступали новые машины — полукубовые «Воронежцы», шагающие экскаваторы новокраматорского завода с огромными сорокаметровыми стрелами, мощные трехкубовые «Уральцы» и юркие подвижные «ОМ-2», ласково прозванные на стройке «Омиками».

Желающих научиться управлять экскаватором было много. С особой охотой брали бывших танкистов, людей, знающих и любящих технику. Всех отобранных зачислили на курсы экскаваторщиков. Курсанты прошли практическую школу под руководством ветеранов стройки Кольченко, Плотникова, Рыбина и составили экипажи новых машин. В числе первых сели за рычаги бывшие однополчане Александр Кондратов и Дмитрий

Кревский, впоследствии ставшие знатными экскаваторщиками стройки.

В середине лета началось первое наступление на Ангару.

Выше Кузьмихи Ангара левобережной своей протокой прижимается вплотную к высокому крутому берегу, отжимая линию Восточно-Сибирской железной дороги на узкую террасу, врезанную в береговой откос. Левобережная протока сравнительно неширока — 150–200 метров, но глубока и быстра. За нею, на островах Березовом и Кузьмихинском, район основных сооружений. Чтобы выйти к нему, необходимо пересыпать протоку.

Штурм реки начался в районе железнодорожного моста на южной окраине Кузьмихи. Вдоль русла протекающего под мостом ручья проложили дорогу; по ней самосвалы непрерывной вереницей возили грунт из карьера и отсыпали перемычку, перекрывая протоку.

Экскаваторы Плотникова, Наумова работали в карьере круглосуточно, едва успевая грузить верткие трехтонные самосвалы.

Ангара упорно сопротивлялась. Чем дальше продвигалась перемычка в русло протоки, тем яростнее бушевала непокорная река. Стремительное течение смывало кромку перемычки, перекатывая по дну и унося камни.

Когда большая часть протоки была перекрыта, установилось своеобразное равновесие — сколько грунта ссыпали самосвалы с откоса перемычки, столько и уносило его бурным течением. В то же время, прорываясь через узкую горловину, река смывала противоположный островной берег, и он на глазах строителей уходил от продвигающейся к нему перемычки.

Тогда пришлось взяться за топоры. Вырубали по берегу кусты и деревья, вязали из них толстые длинные фашины, опускали их в реку, придавливали огромными камнями и тут же засыпали грунтом. Так шаг за шагом теснили реку, и, наконец, откос перемычки сомкнулся с берегом острова.

Одновременно в километре выше по течению сооружалась вторая перемычка. Там работали драглайны Кольченко, Кондратова, Кревского, Болсуна.

Драглайн — экскаватор, ковш которого не закреплен на движущейся рукояти, а подвешен на металлическом тросе к концу длинной стрелы, он может забирать грунт значительно ниже уровня основания, на которое он опирается. Драглайны сооружали перемычку, забирая грунт тут же со дна реки и двигаясь вперед по отсыпанному слою, перекрыли протоку и вышли в район основных сооружений.

Так была одержана первая победа над Ангарой. Строители получили плацдарм для развернутого наступления.

В первой схватке с Ангарой молодой коллектив механизаторов получил боевое крещение, освоил новые машины, привык работать в сложных условиях.

В таком же упорном труде, преодолевая трудности, формировались и другие коллективы.

В труднейших условиях начинали работу на стройке шоферы первых автомашин. Гаражи еще только строились, машины стояли под открытым небом, утром после морозных ночей их разогревали кострами. Не было ремонтных мастерских, и когда надо было заглянуть в мотор, шофер обжигал пальцы о стылый металл или, меняя лопнувшую рессору, ложился под машину, постлав на снег или мокрую землю замасленную стежонку.

Не каждый выдерживал в таких условиях. Слабые духом уходили.

...Приходят к начальнику автоуправления Шуликовскому начальник колонны и шофер, молодой статный парень с щегольскими закрученными усами.

— Отказывается работать на своей машине, — докладывает начальник колонны.

— Почему? — коротко спрашивает Шуликовский.

— Новую просит.

— А на старой кто будет ездить? — обращается Шуликовский к парню.

— А это уже не мое дело, — развязно отвечает тот.

— Чье же?

— Ваше.

— Тоже правильно. Ну вот, раз мое, я и определяю: ездить на этой машине тебе.

— Не буду! — взрывается парень. — Не хотите дать машину — давайте расчет, — и с вызывающим видом швыряет на стол заготовленную бумажку.

Шуликовский молча берет бумажку. Крупное выразительное его лицо темнеет. Не отводя глаз от пытающегося бодриться парня, он нащупывает на столе ручку, затем еще раз перечитывает заявление и крупно, с нажимом пишет: «уволить».

Когда опешивший парень уходит, начальник автоколонны говорит:

— Зря отпустили, Станислав Петрович. Не хватает у нас шоферов.

— Это не шофер, а водитель, — с сердцем возражает Шуликовский, вкладывая в это слово особый, пренебрежительный смысл. — Только ба-ранку крутить. А случись что с машиной — бежит к дяде. Я к нему давно приглядываюсь. Лодырь и от учебы отлынивает. Такому нельзя доверить станцию строить.

Бывает, что с просьбой об увольнении приходит человек стоящий. Мало ли что может случиться: обижен человек начальством, или товарищи сманивают на другое место, или семейные обстоятельства вынуждают...

Для такого Шуликовский находит другие слова:

— Понимаю я тебя, друг, — говорит он, и сильный его голос звучит по-товарищески, задушевно. — Трудно. Понимаю. Всем трудно. А что же ты думаешь, и я бы на свою шею хомут полегче не нашел? Ну и давай, уйдем. Станцию, первую на Ангаре, без нас построят, а мы легкой жизни искать пойдем... Ладно ли будет?

Он говорит с глубоким убеждением, что его поймут, и если человек действительно стоящий, так оно и получается.

Проходили один за другим горячие трудовые дни.

В районе основных сооружений начали выемку котлована под здание ГЭС, насыпали ограждающие перемычки, били шпунт и отсыпали грунт в тело плотины.

На окраинах Кузьмихи поднимались стены подсобных предприятий стройки: лесокомбината, гаражей, автомастерских, ремонтно-механического завода.

На холмах левого берега среди березовых перелесков вырастали кварталы рабочих поселков.

Стройка росла, ширилась и крепла.

И самое главное, рождался коллектив.

Новая техника

Стройка на Ангаре предельно механизирована.

Человеку, впервые посетившему ее, прежде всего бросается в глаза, как мало людей работает на огромной стройке.

Да, впрочем, и механизмов, на первый взгляд, не так уже много.

На обширной территории в несколько квадратных километров расставлены два десятка экскаваторов, наполовину скрытых за высокими отвалами грунта.

Между отвалами и отработанными карьерами по многочисленным дорогам идут машины. Их много, уже не десятки, а сотни, но, рассредоточенные на огромном пространстве, они не поражают своим количеством. И хотя, кроме автомобилей и экскаваторов, на стройке работают и другие машины: медленно ползут по зеленому полю острова неуклюжие скреперы и бульдозеры, по подъездным путям снуют паровозы, проталкивая длинные цепочки вагонов и платформ, на дне котлована разворачиваются стрелы подъемных кранов — все это теряется на фоне огромных масс вздыбленной земли.

Смотришь и поражаешься: как много уже сделано за короткий срок жизни стройки.

А сделано действительно много. Только за 1953 год коллектив управления механизации выполнил около семи миллионов кубометров земляных работ. Чтобы выполнить в такой же срок эти работы вручную, потребовалось бы 30 тысяч землекопов и грабарей!

Следует оговориться, что расчет этот имеет только иллюстративное значение. Имея на вооружении лишь кайло, лопату и грабарку, работы по выемке грунта и насыпи плотины можно было бы производить только летом. А если учесть, что основная масса грунта на ангарской стройке берет-

ся из-под воды, чего уже никак не сделаешь вручную, станет ясно, что без современных мощных механизмов воздвигнуть сооружение подобного типа и масштаба практически невозможно.

Строительство оснащено самой совершенной новейшей техникой. Механизмы, работающие на Ангаре, это чудесный сплав творческого гения советских конструкторов, высокого уровня технической культуры советского машиностроения и замечательного мастерства советского рабочего класса.

Замечательное мастерство проявляют и строители в использовании новой, зачастую уникальной техники.

Когда стало известно, что на стройку поступит большой шагающий экскаватор, четвертый по счету из выпущенных Уральским заводом машиностроения, строители тщательно подготовились к его приему. Старейшего экскаваторщика стройки Николая Митрофановича Кольченко отправили на Волго-Дон. Там в донских степях прокладывал трассу будущего канала первый в стране и во всем мире большой шагающий. Николая Митрофановича тепло встретили на Волго-Доне. Оказалось, что командир экипажа, ныне известный всей стране Герой Социалистического Труда Анатолий Усков, как и Кольченко, бывший фронтовик. Оба — офицеры-артиллеристы. Надо полагать, что и это случайное обстоятельство пошло на пользу общему делу, и через полгода Кольченко вернулся на Ангару, в совершенстве овладев искусством управления грандиозной машиной.

Монтажную бригаду для сборки большого шагающего комплектовали как будущий экипаж машины. У главного механика стройки был выбор. Десятки механизаторов оспаривали право работать на новой машине.

Возглавили бригаду инженер-электрик комсомолец Михайловский и опытный мастер-слесарь коммунист Владимир Саламатов. В эту же бригаду включили и Николая Кольченко.

Под руководством специально приехавших шеф-монтеров Уралмашзавода бригада начала сборку большого шагающего. Работая, одновременно и учились. Изучали конструкцию машины, правила эксплуатации, искусство управления.

В канун 35-й годовщины Октября Николай Митрофанович Кольченко сел за рычаги в кабине большого шагающего и вынул первый ковш грунта. Экскаватор «ЭШ-10-75» вошел в строй действующих механизмов.

Начался период освоения. Он был нелегким для молодого экипажа, особенно потому, что осваивать машину пришлось в суровых условиях сибирской зимы.

Сначала гигант никак не мог научиться «ходить». Левая нога-лыжа отставала от правой.

— Наш новорожденный припадает на левую ногу, — шутил Саламатов, хотя именно его больше всех задевали эти капризы «младенца». Он заведовал гидравлическим механизмом, регулирующим процесс шагания. Не

одну бессонную ночь провел Владимир Александрович, пытаясь найти причину странного явления.

Причина оказалась очень простой. Масло, работающее в системе гидравлики, сгущалось от холода и медленнее циркулировало по трубам. А так как трубы, соединяющие масляный бак с механизмом шагания, были разной длины (левая примерно в два раза длиннее), то левая лыжа запаздывала.

— Это что же, выходит, ему в Сибири не климат! — с досадой воскликнул кто-то из экипажа.

— Приучим, — уверенно сказал Саламатов, — станет сибиряком.

И действительно приучили. Увеличили сечение левой трубы, ускорили этим доступ масла в левый цилиндр, и экскаватор солидной неторопливой походкой направился к своему забою. Его поставили на выемку отводящего канала. Он должен был вырыть новое русло, достаточно вместительное, чтобы пропустить всю воду Ангары, прошедшую через турбину машинного зала.

Начались трудовые будни. Внимание всего многотысячного коллектива строителей было приковано к большому шагающему. Вряд ли был такой человек на стройке, который не побывал бы в эти дни на отводящем канале.

...Недалеко от котлована на ровной поверхности покрытого снегом поля высится странное здание. Огромный почти кубический корпус, целиком сделанный из металла, окрашенный в серовато-стальной цвет, по высоте равен четырехэтажному дому. Как дуло исполинского орудия, протянулась труба 75-метровой стрелы. К концу ее, поднятому на сорок метров над землей, подвешен ковш на тонких стальных тросах.

Доносится ровное гудение моторов. Похоже, что это корпус работающего завода. Но это необычный завод. Медленно и почти бесшумно он поворачивается, и конец стрелы описывает высоко в небе огромную дугу. Массивный ковш уносится к концу стрелы, уменьшаясь на глазах.

Теперь он кажется совсем небольшим, и даже трудно поверить, что объем его — десять кубических метров и что в него можно свободно въехать на «Победе».

И только когда ковш опрокидывается и десятки тонн гравия широкой темной струей падают вниз, ударяясь с глухим гулом о мерзлую землю, можно представить истинную его вместимость.

— Вот это копает! — восхищается паренек в замасленной стежонке.

Достаточно бросить взгляд на его измазанное сияющее лицо, чтобы понять: он тоже механизатор — это видно по костюму, — много отдал бы, чтобы быть сейчас не среди зрителей, а на борту чудесной машины, полноправным членом ее экипажа.

— Заменяет восемь тысяч человек, — поясняет кто-то.

— Да, это не «Омик».

— И даже не «Уралец».

— Тоже «Уралец».

— «Уралец», да не тот. Это большой «Уралец».

— Да, хороша машина!

Таково общее мнение.

Но после первого месяца работы результаты оказались более чем скромными. Сказались трудности освоения сложного механизма. Молодой экипаж еще только набивал руку и учился чувствовать машину. Вносила свои поправки зима. На мерзлом грунте быстро «съедались» зубы ковша, и их то и дело приходилось менять. Подолгу задерживали взрывники, подготавливающие забой. Словом, причин было много.

Нельзя было похвалиться итогами и второго месяца.

«Болельщики» большого шагающего почувствовали себя задетыми. Обнаружились скептики, кое-кто из механизаторов начал подшучивать.

Вот именно в этот период особенно ярко проявились замечательные качества молодого экипажа, состоявшего почти целиком из коммунистов и комсомольцев. Ни один из них не сдрейфил. Первые трудности закалили экипаж, выработали в небольшом коллективе традиции взаимной выручки, товарищеское чувство локтя.

Большой шагающий виден со всех концов стройки. Виден днем и ночью, когда гигантская стрела, расцвеченная яркими огнями прожекторов, величественно разворачивается в темном ночном небе.

И как только стрела останавливается, будь то днем или ночью, все смены собираются на экскаватор, и никто не уйдет, пока причина остановки не будет устранена.

День за днем большой шагающий набирал темпы. Все три смены, соревнуясь между собой, боролись за общий успех экипажа. С начала 1953 года экскаватор стал выполнять план. А летом, когда отпала надобность во взрывных работах и прекратились каждодневные простои, экипаж начал ставить рекорды.

22 июля 1953 года газета стройки «Огни коммунизма» писала:

«16 июля была достигнута рекордная выработка в смене старшего мастера Меринова. За смену И. П. Меринов вынул более 4000 кубометров грунта. Это наивысшая сменная выработка за весь период работы большого шагающего на нашей стройке.

18 июля коллектив одержал новую производственную победу. Вынув за сутки (сменами старших мастеров Кольченко и Шишкина) 8291 кубометр грунта, экипаж «ЭШ-10-75» выполнил суточный план на 164%».

4 сентября газета сообщала:

«31 августа смена коммуниста И. П. Меринова поставила новый сменный рекорд, вынув 5278 кубометров. Суточная выработка за 31 августа также является рекордной. Смены старших мастеров Меринова и Шишкина дали 9035 кубометров. Месячный план экипажем выполнен на 143%, сверх плана вынута более 50 000 кубометров грунта».

Экипаж большого шагающего прочно утвердился в почетном ряду передовиков стройки.

Теперь уже в дни получек не было оснований иронизировать. Месячный заработок каждого члена экипажа составлял 4–5 тысяч рублей.

Как ведущий коллектив стройки, экипаж большого шагающего выступил инициатором предоктябрьского соревнования, обязавшись при этом завершить годовой план к 7 ноября.

Слово с делом не разошлось.

7 октября на стройке была расклеена «Молния»:

«Новый рекорд экипажа большого шагающего.

В ночь с 6 на 7 октября смена старшего мастера И. П. Меринова (мастер П. А. Парамонов, помощник мастера А. А. Рыданских) вынула 6006 кубометров грунта».

А «Молния» за 20 октября извещала строителей:

«Утром 19 октября экипаж большого шагающего завершил выполнение годового плана и сейчас работает в счет плана 1954 года».

Когда подвели итоги первого года работы большого шагающего, оказалось, что на Ангаре хорошо освоили опыт Волго-Дона.

Копая водоотводящий канал в сложных условиях выемки грунта из-под воды, молодой экипаж дал годовую выработку — миллион триста тысяч кубометров.

И, что особенно примечательно, — экипаж настолько освоил новую сложнейшую технику, что внес ряд предложений по совершенствованию конструкции машины. Предложения эти были приняты конструкторами Уралмашзавода, с которыми строители поддерживают тесный творческий контакт.

Если экскаваторщики гордятся своим флагманом — большим шагающим, то с такой же гордостью говорят автотранспортники о сверхмощных самосвалах Минского автозавода.

МАЗ-525 называется эта замечательная машина. На стройке называют ее проще — большой МАЗ.

Чтобы дать представление о его размерах, достаточно сказать, что колеса у него в рост человека, сиденье шофера без малого на уровне второго этажа и поднимаются туда по специальной лесенке, огражденной металлическими перилами, а в кузов может свободно въехать автомашина-полупортка. Грузоподъемность его 25 тонн — полторы тысячи пудов!

Величина его настолько необычна для автомобиля, что когда один из первых МАЗов появился в колонне строителей на первомайской демонстрации, то многие зрители решили, что это бутафория, и один из особо недоверчивых скептиков даже пытался поковырять перочинным ножиком его массивный стальной кузов.

МАЗ-525 — последняя новинка советской автомобильной промышленности. Стройка на Ангаре получила их одной из первых.

Так же как экипажу большого шагающего, коллективу автотранспортников пришлось пережить трудности периода освоения.

В машинах первой серии — машинах по сути дела экспериментальных — были конструктивные недочеты. Первые МАЗы были вручены лучшим опытейшим шоферам, которые, изучая машины, одновременно искали пути улучшения конструкции отдельных узлов. Когда был накоплен известный опыт, шоферов Владимира Бышевского и Ростислава Наумова отправили в Минск.

Главный конструктор машины внимательно изучил все предложения ангарцев: конструктивные недостатки, выявленные при эксплуатации машин первой серии, были устранены.

Сейчас на стройке десятки больших МАЗов. Именно коллектив автоколонны МАЗ-525 решает успех наиболее трудоемких, колоссальных по масштабам работ по насыпям плотины.

Мы рассказали только о двух уникальных машинах, представляющих последнее слово советского машиностроения, из числа многих сотен механизмов, работающих на стройке.

Экскаваторы, бульдозеры, скреперы, самосвалы вынимают, перемещают и укладывают миллионы кубометров грунта, десятки подъемных кранов от трехтонных автокранов до сверхмощных портально-стреловых кранов с вылетом стрелы на сорок метров работают на монтаже конструкций и укладке бетона, сотни кубометров которого ежедневно приготавливает автоматизированный бетонный завод.

В настоящее время на стройке приготовление бетона механизировано на 100%, земляные работы и укладка бетона — на 99,5%.

Вот почему на огромной стройке так немного рабочих.

Творчество

Новаторство — характерная черта коллектива строителей Ангарской ГЭС. Здесь проект воспринимают творчески и смело вносят в него поправки, когда это подсказывается жизнью.

...Пересыпав левобережную протоку, экскаваторы вышли в район основных сооружений. Они должны были стать на разработку котлована под здание ГЭС. Предстояло вынуть свыше миллиона кубометров грунта с тем, чтобы, углубившись на двадцать метров ниже уровня воды в реке, добраться до прочных скальных пород, на которые можно ставить фундамент гидростанции.

Задача осложнялась обилием грунтовых вод. Невысокие плоские острова Ангары состоят из аллювиальных отложений, то есть смеси песка и гравия, нанесенных и отложенных рекой в течение тысячелетий. Грунт этот легко пропускает воду, и потому уровень грунтовых вод одинаков с уровнем воды в реке.

При выемке котлована образуется озеро, воду из которого необходимо непрерывно откачивать. Забегая вперед, скажем, что из котлована каждый час выкачивается свыше 12 тысяч кубометров воды.

По проекту выемку грунта из котлована предполагалось вести «сухим способом», то есть после того, как уровень грунтовых вод будет понижен и котлован будет осушен. Но экскаваторщики вышли в район основных сооружений ранее, чем на стройку поступили насосы для оборудования станций водоотлива. Ждать их — значило оттянуть надолго начало работ в котловане, потерять целый строительный сезон.

Надо было найти другой, не предусмотренный проектом способ разработки котлована.

Решение было найдено. Оно опиралось на опыт уже проведенных работ.

Когда драглайны Кольченко, Кондратова, Болсуна и Кревского пересыпали протоку, значительную часть грунта они брали из-под воды. При этом экскавация шла вполне нормально. Грунт, состоящий из смеси гравия и песка, легко отдавал воду, до краев наполнял ковш и хорошо разгружался.

Явилась мысль начать разработку котлована таким же способом — выбирать грунт из-под воды. Кто именно впервые выказал мысль, впоследствии так и не могли установить, видимо, она созрела одновременно у многих.

Но чья бы она ни была, это была правильная мысль, и ее приняли к исполнению. Экскаваторы встали на кромку будущего котлована и начали выемку грунта. При этом оказалось возможным вынимать грунт, грузить сразу на самосвалы и подавать на отсыпку перемычек котлована.

Работы развернулись полным ходом, и когда насосы прибыли на стройку и в котловане смогли, наконец, начать водоотлив, со дна его уже были вынуты сотни тысяч кубометров грунта.

В дальнейшем экскавация из-под воды прочно вошла в практику стройки и во многом определила размах и темпы земляных работ. Значительная часть грунта, уложенного в тело плотины, добыта из-под воды со дна Ангары.

Это далеко не единственный пример новаторской практики ангарских гидростроителей.

Отсыпка плотины, на первый взгляд, дело несложное. В действительности это далеко не так. Плотина, создавая огромную разницу уровней на верхнем и нижнем бьефе, испытывает колоссальное давление воды. Поэтому от нее требуется особая прочность. Достигается это, прежде всего, особо тщательным уплотнением грунта, укладываемого в тело плотины.

Многолетняя практика гидростроительства выработала соответствующие способы отсыпок для каждого типа грунтов.

В проекте Ангарской гидростанции предусматривалась весьма сложная схема организации работ по отсыпке плотины: гравелистый грунт, заготовленный в карьерах экскаваторами, подвозится в саморазгружающихся платфор-

мах-дупкарах по специально проложенной железнодорожной ветке. Затем он шагающими экскаваторами подается на плотину, разравнивается бульдозерами слоем в 10–15 сантиметров и укатывается тракторами или уплотняется специальными вибромашинами. Для того чтобы обеспечить уплотнение грунта, необходимо тщательно выдерживать минимальную толщину слоя.

Но это и является ахиллесовой пятой всей схемы. Во-первых, при такой незначительной толщине слоя интенсивность работ крайне низка, во-вторых, и это главное, отсыпку можно вести только в летние месяцы, так как зимой грунт в тонком слое будет промерзать, что совершенно недопустимо при возведении гидротехнических сооружений. Практически в условиях Сибири, с ее длительной зимой, отсыпка плотины грозила затянуться на многие годы.

Нужно было найти другой, более производительный способ отсыпки. Задача казалась неразрешимой, ибо ускорять темпы, жертвуя качеством, конечно, было невозможно.

Решение подсказала сама жизнь.

На стройке осваивали новую технику: мощные 25-тонные МАЗы. В поисках способа наиболее эффективного их использования в коллективе родился новый метод отсыпки плотины, детально разработанный инженерами строительства С. Н. Моисеевым и А. И. Логуновым в содружестве с кандидатом технических наук В. К. Ремезниковым.

Грунт стали подавать на плотину большими МАЗами, увеличив при этом толщину отсыпаемого слоя до 1,5 метра, то есть в десять раз против предусмотренного проектом.

Представители проектной организации сначала встретили это предложение в штыки.

— Это поведет к резкому снижению качества работ. Могут быть катастрофические последствия, — категорически заявили проектировщики.

Но подавляющее большинство специалистов стройки высказалось за новый способ.

Были организованы длительные и тщательные испытания, которые убедительно показали, что огромный вес груженого МАЗа (50 тонн) уплотняет в нужной степени полутораметровый слой грунта.

— Под тяжестью груженого МАЗа рухнули все доводы наших оппонентов, — сказал главный инженер строительства С. Н. Моисеев, получив результаты проведенных испытаний.

Новый метод победил.

Новый способ не только резко повысил темпы отсыпки. У него было еще одно преимущество, особенно важное в условиях Сибири.

Отсыпка полутораметровым слоем позволяла вести работы зимой, толщина слоя устраняла опасность промораживания грунта.

Задача повысить темпы сооружения плотины, не снижая качества работ, казавшаяся вначале неразрешимой, была с успехом решена.

Жизнь стройки каждый день ставит новые вопросы.

Увеличились объемы бетонных работ, начал остро ощущаться, особенно в зимнее время, недостаток песка. Инженеры Батенчук, Гуленков, Фриштер конструируют специальный грохот для сортировки грунта и предотвращают срыв бетонных работ.

Создалась угроза остановки шагающих экскаваторов — быстро изнашивались тросы. Старший машинист экскаватора Малков находит способ сращивания тросов, дающий возможность удваивать срок их службы.

Отстала зачистка скального основания в котловане, которая производилась вручную. Экскаваторщики Плотников, Лысенко, Храмовских осваивают производство этих работ экскаваторами.

Подобных примеров бесчисленное множество.

Коллектив строителей работает творчески, смело применяя новаторские методы. Именно в этом секрет успехов коллектива, уверенно из месяца в месяц перевыполняющего свои производственные планы.

Ангара выходит из берегов

Особенно ярко проявились замечательные качества коллектива в тревожные дни зимнего паводка в январе 1953 года.

Паводок всегда опасен для гидростроителей. История гидростроения знает десятки случаев, когда буйная вешняя вода в несколько часов уничтожала результаты многолетнего труда.

Неизмеримо опаснее паводок зимний, когда вода не только разрушает, но и лишает возможности восстановить разрушенное, оставляя после себя сплошную ледяную броню.

Перед новым годом стояли сильные морозы. Река начала покрываться льдом. Затем бурное течение взломало смерзшиеся ледяные поля, раздробило и вздыбило их и понесло вниз, создавая заторы. Уровень воды поднимался на глазах. Река словно проглатывала белые пятна заснеженных островов, заполняя темной дымящейся водой всю пойму от берега до берега. Откосы островной плотины с каждым часом становились ниже. Вода хлынула через плотину. Значительная часть строительной площадки была затоплена. Вода подступила к перемычкам, угрожая прорваться в котлован.

Все силы были брошены на спасение котлована. Затопить его — значило потерять целый строительный сезон, понести многомиллионные убытки.

Вода, еще не достигнув верхнего гребня перемычек, катастрофически прибывала, просачиваясь в котлован сквозь гравийные грунты. Все имеющиеся насосы были установлены. Их общая мощность оказалась на пределе. Достаточно было выйти из строя хотя бы одному крупному насосу, и котлован был бы залит.

Слесари и мотористы во главе с механиком основных сооружений коммунистом Кирилловым в жестокие морозы сутками дежурили у насосов, чутко улавливали малейшие неисправности и тут же на ходу устраняли их. Кириллов трое суток не выходил из котлована.

Но если насосы и успевали откачивать фильтрующие воды, то они, конечно, не смогли бы откачать потоки, грозящие хлынуть через гребни перемычек. Поэтому, опережая подъем воды, строители непрерывно наращивали перемычки.

Экскаваторы, вгрызаясь в отвалы грунта, добирались до талого гравия и безостановочно ковш за ковшом швыряли его в кузова самосвалов. Шоферы на почти немыслимых скоростях вели машины по дорогам, местами уже перехваченным водой, и брызги, вырывающиеся из-под колес, застывали на кузовах ледяными подтеками. На перемычках землекопы в оледневших стежонках, не останавливаясь ни на минуту, разравнивали сброшенные самосвалами кучи гравия, наращивали гребни и заливали их водой, создавая водонепроницаемую гравийно-ледяную стену.

Экскаваторы работали до последней минуты. Машина Александра Кондратова была отрезана разливом реки. Когда погрузка грунта закончилась, экипаж вывел экскаватор на незатопляемую отметку, а люди уходили с машины вброд по дымящейся ледяной воде.

Самоотверженным трудом строители отстояли котлован. Ангара смирилась и отступила.

...С гордостью вспоминают на стройке о «ледовом походе» шагающего экскаватора № 6.

После зимнего паводка многие гравийные карьеры оказались подолдом. Решили выводить шагающие экскаваторы на берег главного русла реки и, поднимая грунт со дна, заготавливать его в отвалы для летних насыпей.

Шестой шагающий был отрезан от главного русла застывшими протоками и озерами. По общему мнению, ему предстояло бездействовать до весны. Но экипаж экскаватора не мог согласиться с таким решением. Простаивать несколько месяцев было обидно. Старший машинист Григорий Михайлович Плотников собрал бригаду и поделился с товарищами возникшей у него мыслью — вывести машину к забою... по льду...

Экипаж поддержал своего бригадира. Смелое, на первый взгляд даже дерзкое решение экипажа было вполне обоснованным. Механизаторы тщательно проверили предполагаемый путь экскаватора, пробили во льду около трехсот шурфов и проложили трассу перегона по таким местам, где глубины не превышали полутора метров.

Плотников пришел в управление строительства. Его выслушали и предложение отвергли.

— Нельзя рисковать машиной, — сказали ему.

Тогда Плотников выложил промеры глубин, и руководителям стройки

пришлось согласиться с доводами экипажа. Разрешение было дано, и экскаватор тронулся в путь.

Путь был нелегким. Продвигались медленно, прошупывая дорогу перед каждым шагом. Там, где лед касался дна или плотно лежал на воде, он выдерживал вес экскаватора. Но на пути попадались изолированные от русла озерки, часть воды из них ушла или вымерзла, и лед оставался на весу. В таких опасных местах дорогу вымачивали шпалами, предусмотрительно подготовленными по всей трассе. Экскаватор, опускаясь пятой на шпалы, проламывал лед, из пролома вырывались фонтаны ледяной воды, обдавая брызгами стенки экскаватора и работавших возле него людей. Люди проворно подкладывали шпалы под лыжи, и опасное место оставалось позади.

Хуже всего было, когда при очередном шаге проваливалась одна лыжа и экскаватор угрожающе кренился набок. Тогда лыжи подтягивали вверх, люди под обжигающим морозным ветром спускались в воду, мостили там клетки из шпал, опираясь на них, экскаватор вышагивал на лед и упорно двигался дальше.

К исходу третьих суток экскаватор вышел на берег реки. Воля людей победила и здесь. Встав в забой, шестой шагающий до весны вынул около ста тысяч кубометров грунта.

Фундамент гидростанции заложен

На конечной остановке, возле клуба второго поселка, Григорий Михайлович Плотников высадился из автобуса. Для того чтобы попасть на основные сооружения, куда он держал путь, совсем не обязательно было ехать во второй поселок из Кузьмихи, где жил он в небольшом домике, построенном своими руками в первый же год работы на стройке. Ближе было через огород на берег Ангары и по линии железной дороги мимо бетонного завода выйти прямо к котловану.

Но Григорий Михайлович не торопился. Он утром сменился с работы, а сейчас шел на торжественный митинг. Ему в числе других передовиков стройки было предоставлено право участия в укладке первого блока фундамента гидростанции.

Григорий Михайлович не спеша огляделся, полюбовался новыми двухэтажными домами, ровной шеренгой протянувшимися вдоль улицы, в конце которой виднелось красивое светлое здание новой средней школы, окинул взглядом окруженные березовыми перелесками третий, четвертый и пятый поселки, вспомнил, что когда приехал он на стройку, не было на этих склонах ни одного домика, и медленно пошел к берегу реки.

Да, обстановка меняется и быстро меняется. Три года назад ему пришлось самому после работы строить себе жилье, сейчас же вновь прибыв-

ших семейных ожидают квартиры, холостых — хорошо оборудованные общежития, а скоро, когда закончатся затянувшиеся работы по благоустройству, рабочие поселки стройки не уступят лучшим кварталам города.

По пути Григорий Михайлович задержался возле строящихся в первом поселке многоквартирных каменных коттеджей с крутоверхими черепичными крышами и порадовался за людей, которые будут жить в этих уютных домиках.

Здесь Григория Михайловича догнал Александр Васильевич Кондратов. Он тоже шел на митинг. Разговаривая, они вышли на крутой берег.

Внизу широко раскинулась стройка.

...Левобережная протока Ангары перекрыта насыпью. На отвоеванном у реки пространстве построен мощный бетонный завод, занимающий со своими коммуникациями, воздушными и подземными, площадь в несколько гектаров. Правее — котлован, в котором сегодня закладывается фундамент ГЭС. По соседству с массивной громадой высоко поднявшейся плотины котлован кажется совсем небольшим. Лишь взглядевшись в кажущиеся удивительно маленькими экскаваторы, убегающие от них самосвалы и едва различимые фигурки людей на дне котлована, начинаешь ощущать его размеры. И становится понятно, почему двадцатиметровые металлические опоры бетоновозной эстакады, уже почти перекрывшей котлован, кажутся ажурными, воздушно легкими.

Вдоль русла реки, омывающей остров, на котором покоится средняя часть плотины, громоздятся отвалы грунта, над ними разворачиваются стрелы экскаваторов. На 75-метровой стреле большого шагающего виден издали яркий лозунг «Вперед к коммунизму!»

От экскаваторов вереницами движутся 25-тонные самосвалы. Они поднимаются на верх плотины и уходят к концу ее, почти достигающему противоположного берега.

Пойма Ангары на девять десятых перекрыта плотиной. Реке оставлен лишь узкий двухсотметровый проход, который сужается с каждым днем.

Воздух наполнен многоголосым гулом стройки. Грохочут транспортеры и бетономешалки бетонного завода. Перекликаются гудки экскаваторов, автомашин и паровозов. Доносятся глухие размеренные удары парового молота, забивающего шпунт. Время от времени по Транссибирской магистрали, пролегающей над самым котлованом, с грохотом проносятся большегрузные товарные и быстрые пассажирские поезда.

Григорий Плотников и Александр Кондратов долго стояли на крутом берегу. Люди разного возраста, разного характера, разной жизненной судьбы, они думали об одном, но каждый по-своему.

Плотников вспоминал старую, с детских лет запавшую в память Сибирь, могучие, веками дремавшие силы которой пробудил к жизни советский человек.

Кондратов вспоминал тысячи верст трудных военных дорог, оставшихся позади, и думал о том, что, завоевав право на мирный труд в огне сражений, он теперь закрепляет свою победу.

Из-за поворота показался стремительный экспресс «Москва — Пекин», оставил за собой узкую полосу светлого дыма и скрылся за склоном горы. Резкий гудок прервал раздумье.

— Пошли, Григорий Михайлович! — сказал Кондратов. — Пора.

По склону горы, обгоняя их, спешили жители рабочих поселков. Некоторые в рабочих спецовках — им предстояла после митинга работа в вечерней смене. Большинство в праздничной нарядной одежде, многие семьями, с детьми на руках. С горы было видно, как по многочисленным дорогам со всех концов стройки стекались в котлован толпы людей. Вереницей шли автобусы и легковые машины с гостями из города.

Когда Плотников и Кондратов спустились в котлован и подошли к трибуне, установленной на двух автомашинах, весь огромный откос наклонной плиты водобоя был заполнен празднично оживленными людьми.

На трибуну поднялись начальник строительства, парторг ЦК на стройке, главный инженер, руководители области и города.

Парторг ЦК поздравил строителей и дорогих гостей, собравшихся на радостный праздник, и объявил митинг открытым. Над многотысячной толпой поплыли величавые звуки государственного гимна. Круживший над котлованом самолет сбросил пачку листовок, они белой стайкой закружились в воздухе. Навстречу им взмыла пара белых голубей и скрылась в голубом небе.

К трибуне подошел начальник строительства. Он говорил о трудном и славном пути коллектива, которому выпала высокая честь претворить в жизнь историческое решение XIX съезда партии начать освоение гидроэнергетических ресурсов реки Ангары.

Об этом же думали тысячи людей, и каждый давал слово и впредь быть достойным высокой чести.

Фундамент первой станции ангарского каскада заложен. Первый начальный этап строительства завершен. Впереди у строителей еще много трудовых дней и ночей, много сложных задач, много неожиданных трудностей.

Но у коллектива есть главное — трудовой опыт, товарищеское чувство локтя, непоколебимая решимость преодолеть любые трудности.

В этом залог успеха.

1954

Дмитрий Сергеев

Недолгое Витькино отрочество Рассказ

*Глава первая
(Июль 1988 года)*

Наконец-то разрешилась одна загадка почти 60-летней давности. Правда, вместо нее появилась другая. Эта, скорее всего, неразрешимая. Попытаюсь рассказать по порядку, с самого начала. Только вот закавыка: что считать началом? То, что случилось в конце августа 1932 года, или происшедшее со мной недавно? Если я скажу, что это одно и то же событие, меня сочтут за психа. Но я не псих. По крайней мере, мне кажется, не псих.

Начну с недавнего события, оно свежо в памяти.

Итак, не лето тридцать второго года, а недавнее, только что прошедшее — 1988-го. У нас в Иркутске оно было на редкость сырым и непогожим. И все же изредка выдавались знойные дни с удушливой жарой, которая особенно тяжело переносится в городе. Мне не десять лет, как было в далеком тридцать втором, а шестьдесят шесть, я не босоногий, постоянно голодный отрок, а старик, страдающий уже не от голода, а от несварения желудка.

Я брел по улице Горького в направлении автобусной остановки в центре города. Автомобильное движение по Горького одностороннее. Упомяну об этом, поскольку данное обстоятельство будет иметь значение в моем рассказе.

Асфальт почти плавился, битумные пары отравляли воздух, бегущие мимо машины добавляли в него ядовитые выхлопы.

Я держался поближе к стенам домов, лишь здесь в эту полуденную пору была тень. В правой руке нес размалеванную полиэтиленовую сумку, в

Сергеев Дмитрий Гаврилович (7 марта 1922, Иркутск — 22 июня 2000, Иркутск), прозаик. Член Союза российских писателей. Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин г. Иркутска. Автор многих книг, в том числе: «Завещание каменного века», «В разгаре сезона», «Позади фронта», «Конный двор», «Запасной полк» и др.

ней лежал теплый еще лаваш, купленный у кооператоров. Я досадовал на себя: зачем купил? Лаваш мне не нужен. Покупал я его, думая о внуках — они любят, а того, что оба мои внука не возвратились еще из пионерлагеря, не вспомнил. Внуки в пионерском лагере, сын с невесткой в санатории на Черном море. Кому он нужен, лаваш?

Так я тащился потихоньку, занятый своими никчемными мыслями. Смотрел под ноги, не поднимая головы. Собственно, смотреть тут не на что, я наизусть знаю все, что могу увидеть. А вот под ноги глядеть необходимо: волдыри на асфальте и выбоины — шагу не ступишь. Я уже попал в травмпункт с вывихом стопы. Вторично зарекся. Намучился куда больше, чем в сорок третьем, когда меня припечтало минными осколками. Тогда донимала только боль и я ослабел от потери крови, а здесь меня бесили равнодушие и бессердечность наших хваленых бесплатных эскулапов. Особенно нужно быть бдительным, переходя улицу: мало того, что всюду колдобины и неровности, вполне можно угодить в раскрытый канализационный люк. Тебя же и накостерят мастеровые, которым лень поставить ограждения. Пожалуй, довоенные мостовые были безопасней. Говорю об этом не из стариковской склонности поворчать, как может заподозрить читатель, а по другой причине. Старинная булыжная мостовая — необходимая подробность в моем рассказе, как, впрочем, и лаваш, купленный мною по забывчивости.

Именно старую мостовую я и вспомнил, когда начал переходить улицу. Предварительно глянул налево, удостоверился: помех нет. К остановке, расположенной невдалеке, подошел автобус. К тому времени, когда он снова тронется, я буду уже на другой стороне. Смотреть направо нужды не было: с той стороны движение транспорта запрещено. Место для перехода я выбрал напротив уродливой тумбы из кирпича — монстра современной архитектуры, более всего напоминающего гигантский стульчак в общественном сортире. Его кирпичные ноги частично перегородили тротуар, люди шли между ними, не замечая страшилища, которое громоздилось у них над головами. Мы ко всему стали быстро привыкать. А я и вовсе не смотрел на новое здание — просто оно находилось передо мной.

...Едва я ступил на проезжую часть, как в окружающем мире случилось нечто из ряда вон. Станный звук, напоминающий треск разрываемой материи, всколыхнул воздух. Дуновение свежести окатило разгоряченное лицо. Неуловимо знакомый запах пробудил в памяти давнее, почти забытое. Сердце сдавило от внезапного предчувствия неведомого и вместе с тем памятного мне, что должно произойти мгновение спустя. Чувство было неожиданным, никак не связанным с моим недавним настроением и мыслями.

И вдруг — истинное чудо! — до слуха отчетливо донесло праздничный колокольный благовест. Этого мягкого, ненавязчивого музыкального звона я не слышал уже больше полувека.

Другая странность, поразившая меня ничуть не меньше, была мостовая, которую я обнаружил у себя под ногами, явственно ощутив окатость булыжника сквозь мягкие подошвы кроссовок.

Изменилось и многое другое. Всего сразу я не в состоянии был охватить, поочередно поражался тому, что попадало мне на глаза, достигало слуха, обоняния... Воскрешалось многое, казалось, утраченное, исчезнувшее напрочь. Все мои чувства были изумлены и взбудоражены. Я вскинул голову и увидел небо прозрачным и чистым, словно с него вмиг содрало млечную кисею смога, только что висевшего над городскими крышами.

Я вторично посмотрел влево и — не успев даже изумиться — обнаружил на месте автобуса извозчицью пролетку, в которую был запряжен буланый рысак. Я лишь подумал, что успею перейти улицу раньше, нежели пролетка поравняется со мной.

В этой части города я был неделю назад. Когда же ухитрились убрать асфальт и настелить мостовую? Не простая ведь работа, и мастера перевелись. Неужели надумали реставрировать старину в центре города? Мысленно я одобрил затею, однако поразился: до чего же быстро провернули. Выходит, наши городские власти стали разворотливыми? Не похоже на них.

Собственно, все эти мысли лишь несвязно пронеслись в сознании, не успевая облечься в слова. События совершались много быстрее, чем о них возможно рассказать.

Только я поднял голову, как впереди на противоположной стороне улицы вместо безобразного чудища возникли старые ворота с кирпичными стояками и чугунными створами. Вернее, с одним створом, распахнутым внутрь ограды. Второго не было на месте, он лежал в стороне, кособоко прислоненный к стене дощатой будки непонятного назначения. В глубине пустынного двора, заросшего хилой муравой, виднелась обшарпанная стена здания, подле которой посреди груды мусора и щебня возвышался железный чан, подвешенный над костром. Мужик, голый по пояс, с головой, покрытой мятой брезентовой шляпой, длинной закопченной кочергой ворошил угли. Нанесло запах расплавленного вара.

Левее каменного стояка ворот, на месте, где полагалось находиться новому скверу, очутился двухэтажный бревенчатый дом, наполовину заслоненный дощатым забором и кустами черемухи. Ветви свешивались через заплот в улицу, ягоды на них были рясыными, но еще не созрели, их лишь слегка тронуло коричневым налетом.

— Э-гей! Проснись, растяпа! — прогремел сердитый окрик. За моей спиной справа, откуда не положено, по булыжникам протарахтела порожняя телега.

Я обернулся и остолбенел. Конный обоз растянулся на добрый квартал. Могучие красавцы битюги, карие, гнедые, серые, буланные, чалые, ходкой полурисью трусили посреди мостовой. Резные крашенные дуги возвы-

шались над их головами, медными и латунными бляхами сверкала сбруя. На пустых подводах через одну, где сидя, где стоя в рост, ехали возчики, наряженные по старинке, будто для съемок фильма из довоенных лет. Невиданные с той поры широленные грузчицкие шаровары пузырились на их чреслах, разноцветные кушаки опоясывали посконные, реже сатиновые косоворотки.

Я глазел на них заворуженно, утратив способность чему-либо удивляться. Разноголосый перезвон лился в вышине, прозрачный воздух, пахнувший свежестью, наполнился им.

Невзрачная кудлатая дворняжка с крохотной лисей мордочкой, остервенело лая, бросилась на меня, норовя цапнуть за лодыжку.

— Но, но, не беснуйся, — попытался я урезонить ее.

На звук моего голоса песик вскинул голову, осмысленно глянул на меня коричневыми пуговками. Лишь на одно мгновение он перестал лаять. В следующую секунду с удвоенной яростью окрысился на мои ноги. Похоже, его раздражали кроссовки. Я говорил негромко, стараясь утихомирить взбесившуюся дворняжку. Мой голос действовал на нее отрезвляюще, но кроссовки понуждали задыхаться от злости. Не очень-то мне хотелось быть покусанным. Собачонка, вероятно, бродячая, хозяина не сыщешь, некому будет сводить ее на обследование, придется мне принимать уколы от бешенства.

К счастью, я ошибся — объявился хозяин дворняжки.

— Бобка, нельзя! Не смей!

Семилетний мальчонка, донельзя худущий, костлявый, загорелый, как головешка, выбежал из распахнутых ворот. На нем надеты короткие штанишки, которые держались на перекрещенных матерчатых лямках. Стриженная под нулевку, большая для его хилого тела русая голова ничем не покрыта.

Нечто туманное, неясное, словно образ, мелькнувший в сновидении, встрепенуло мои чувства, заставило сильнее забиться сердце.

Появление пацаненка не утихомирило Бобку, напротив, придало ему отваги. Песик рычал, оскаливая острые зубы, выказывая готовность пожертвовать жизнью, если потребуется защитить своего хозяина. Малец пытался изловить собачонку, но Бобка увертывался. Его лисья мордашка мгновенно преображалась, едва он оборачивался к мальчишке, — излучала бесконечную доброту и преданность.

Из двора в улицу выбежали еще двое пацанов, несколькими годами старше первого. Оба одеты в те же короткие штанишки на помочах. Единственным отличием была вязаная из разноцветных ниток круглая шапочка с кисточкой по голове одного из них. Такие шапочки были в моде в начале тридцатых годов, их называли ермолками. Все трое своей редкостной худобой вполне могли соперничать с обитателями варшавского гетто из времен Второй мировой войны. Кожа на спине одного, чья голова была

покрыта ермолкой, недавно сгорела, облезла, рваными струпьями висела по краям пятна, наново покрытого загаром. Мальчишка был белобрыс и веснушчат. Похоже, что нос у него уже не однажды облез.

Общими усилиями мальчишки отогнали Бобку от моих ног. Он, наконец, уgomонился, по-видимому, осознав, что никакой опасности для его хозяев я не представляю.

Подводки продолжали тарыхтеть за моей спиной. Наносило напрочь забытыми запахами конского навоза и пота. В освеженном, прозрачном воздухе, не смолкая, разливался колокольный перезвон. Звуки будоражили, подстегивали мою память. Догадка пришла, как озарение.

— Вася Колобок? — обратился я к белобрысому.

Парнишка вздрогнул, вытаращил на меня пронзительно синие глаза. Полнейшее смятение изобразилось на его лице.

— Коля Скворец, — назвал я второго пацана по имени, которое вдруг само всплыло из заповедного уголка памяти.

Услышав свое прозвище от незнакомого старика, мальчишка утратил дар речи. Мне самому стало не по себе от своего внезапного прозрения. Я несмело перевел взгляд на младшего из троих огольцов.

— Витя, — чуть слышно выговорил я непроизвольно онемевшим ртом. Малыш испуганно уставился на меня.

Господи, какое у него истощенное лицо! Какой воспаленный взгляд.

Разбуженная память скупыми порциями подсказывала мне, что должно происходить дальше. Вспомнить сразу всего я не мог. Я только знал, что встреча будет недолгой, и лихорадочно думал, что бы мне успеть сделать для них. Голод — вот самое жестокое и страшное, что мучило их постоянно.

— Возьмите, ребята, — торопясь протянул я им полиэтиленовую сумку, в которой находился вовсе не нужный мне лаваш.

Дети боязливо приняли подарок.

— Не бойтесь, — улыбкой старался я ободрить их. — Ешьте — это хлеб.

Но они и без того уловили запах съестного. Лепеха тотчас была разорвана на увесистые лафтаки. Меньшой, Витька, первым вспомнил про Бобку. Песик на лету изловил брошенный ему кусок и проглотил не жуя.

— Ребята, вы Сережу Зуева знаете? — спросил я.

Мальчишки перестали жевать, затихли с разинутыми ртами.

— Не знаем, — первым соврал Коля Скворец. Непроизвольная судорога искривила его верхнюю губу.

— Не, не знаем, — лжесвидетельствовали двое других.

— Не нужно меня обманывать, — рассмеялся я. — Я не причиню ему вреда. Тот самый Сережа, который разбил стекло на веранде.

Эта последняя подробность вспомнилась мне только что.

— Сережа не разбивал, — вступился за своего друга Скворец.

— Он невзначай, — дополнил маленький Витька.

— Его Петька Жмот под руку подтолкнул, — прибавил в защиту Сережи Зуева Вася Колобок.

Мое внимание привлекла юная особа, появившаяся в глубине двора. Девушка стояла спиной к нам, запрокинув голову кверху, что-то говорила невидимому мне мальчишке. Я тут же вспомнил, кто был этот мальчишка. Он находился сейчас на втором этаже, в захламленном коридоре с обшарпанными стенами.

«Нина, обернись!» — мысленно зывал я, не решаясь окликнуть ее вслух.

Еще сильнее мне хотелось увидеть мальчишку, с которым она разговаривала.

Увы, Нина не обернулась. Не показался и мальчишка.

Громкий, тархтящий стукоток принесло с вышины. Он заглушил колокольный перезвон, разрушил очарование благовеста. Из-за конька кровли ближнего дома в синеву неба выплыл старенький двукрылый самолет с водяными лыжами, подвешенными на месте шасси. Такие аэропланы в тридцатые годы взлетели с Ангары, совершая разбег по водной поверхности. Место взлета и посадки было неподалеку от устья Ушаковки.

— Ироплан! Ироплан! — возбужденно вскричали мальчишки. Я, задрав голову, смотрел на летящий невысоко над крышами самолетик допотопной конструкции.

Он еще не скрылся из виду, как небо вторично распорол треск разрываемого полотна. Земля у меня под ногами колыхнулась, вокруг все начало меняться с непостижимой быстротой. Я наблюдал как бы сдвоенную картину — два разных изображения, по ошибке запечатленные на одном снимке: старые ворота, распахнутые во двор, и тут же — кирпичные ногитумбы, держащие на себе гигантский стульчак. Недолгое видение патриархальной улочки в своем убогом провинциальном убранстве сменилось неуютом общественного сквера, через который туда и сюда спешили по своим делам озабоченные горожане. От легкого головокружения меня мутило, земная твердь зыбилась под ногами.

Когда я очнулся, мальчишек на прежнем месте не было. Конный обоз исчез, булыжная мостовая сгнула — возвратился асфальт, по нему, как положено, в противоположную сторону катились легковые автомобили, прошел автобус. Меня обдало зноем и удушливым смрадом бензинных паров. Вместо колокольного звона раздавалось урчание моторов и шорох колесных шин по раскрошенному асфальту.

Я переместился в свое время, мальчишки остались в далеком 1932 году.

Лишь один Бобка ошалело метался посреди чуждой ему обстановки, носом тычась в ноги прохожих, ища потерянные следы босых мальчишечьих пяток. Он находился в полной прострации, не в состоянии был злиться и лаять, шараялся от людей. На него замахивались, норовили пнуть.

Глава вторая (Август 1932 года)

На правом берегу Ушаковки, позади Казанской церкви, некогда была роща. В ее глубине стоял двухэтажный бревенчатый особняк. До революции и первые годы после нее в доме помещался загородный ресторан «Северная Пальмира». Городская знать и прочий состоятельный люд наезжали сюда покутить и развлечься на лоне природы. По вечерам окраину оглашали звуки духового оркестра. На обширной застекленной веранде, на освещенной площадке под соснами танцевала праздная публика. Крушение нэпа положило конец загородному ресторану. Особняк стал бесхозным, новая власть не находила ему применения. Предприятий, желающих разместить в нем контору, не сыскалось: служащим далеко, несподручно добираться на работу.

И вот, в 32-м году, наскоро проведя кой-какой ремонт, застеклив окна, в бывшем ресторане на летние месяцы разместили детский садик. Местоположение вблизи хотя и мелководной, но чистой и прозрачной речки, сосны, лиственницы и березы, росшие вокруг, создавали почти санаторные условия. Садик предназначался для детей спецов. Слово «спец» в своем новом значении вошло в употребление в двадцатые годы. Образовалось путем сокращения обычного — специалист. Как раз мода пришла такая — сокращать и укорачивать слова или же их двух-трех лепить новое. Так-то оно так, но не совсем так. Новое слово наполнилось смыслом, какого не содержалось в старом. Верно, что «спец» означало «специалист», но непременно выходец из состоятельных слоев общества, не пролетарий и не бедняк крестьянин. Новая власть нуждалась в квалифицированных рабочих, допускала спецов к управлению производством, но признавала эту меру временной. К началу тридцатых годов роль спецов заметно упала, но кое-где с ними еще считались и кой-какие привилегии им давали. Вскоре, верно, многие из них горько пожалели об этом. Более прозорливые догадывались, какая участь уготована им самим и их семьям в недалеком будущем, поспешно меняли место жительства, утаивали свою квалификацию, приобретенную на родительский достаток при царском режиме, устраивались подсобниками, грузчиками, плотниками, слесарями — кто что умел. Но таких провидцев нашлось немного, большинство цеплялось за свое призрачное благополучие: лучшую, чем у других, квартиру, допнаек — мизерную прибавку к скудной карточной норме. Высокая сравнительно с другими категориями работников зарплата не давала преимуществ: купить на деньги в магазинах было нечего. А рыночные цены сводили разницу в зарплате на нет. Не приобретательством занимались семьи спецов, а мало-помалу спустили через перекупщиков нажитое прежде добро. Новая сановная знать начинала обогащаться — скупала.

Мальчишки, с которыми судьба свела меня в то давнее лето, были постоянно голодны, как и мы с Витькой. Возможно, им приходилось еще хуже нашего: мы-то уже притерпелись, а для них бедность и нехватка еды только начались.

Мы с братом случайно оказались в том садике. Нашим родителям и в пору, когда отец был жив, никаких льгот не полагалось: отец значился чернорабочим, образования не имел вовсе, а у матери было три класса церковноприходской школы, работу она умела делать только самую простую. В ее обязанность входило убирать помещение, мыть посуду, чистить картошку, носить воду с речки, топить кухонную печь... Видимо, уже тогда на уборщиц и судомоек возник спрос — маму долго уговаривали пойти на временную работу. Сложность заключалась в том, что жить нужно было при садике. Не всех это устраивало. Мать согласилась, но поставила условие — Витька будет при ней, его зачислят в группу.

Ну, а я и вовсе попал в детсад на птичьих правах. Большую часть лета я провел в пионерском лагере, домой возвратился в середине августа. До начала занятий в школе и до закрытия детсада оставалось около двух недель. Администрации вторично пришлось пойти на уступку: меня приняли в старшую группу. Конторские, от которых зависела моя участь, окрестили меня нахлебником и дармоедом. Я, верно, не подозревал, сколько хлопот задал чиновникам, ведающим снабжением детсада, — узнал после из рассказов матери. Уже и в ту пору главным стала не забота о детях, а безупречное заполнение всех пунктов в отчете. Мое появление вносило путаницу: меня нельзя было приплюсовать в графу «дети спецов», к тому же я вышел из положенного возраста. Относительно последнего пункта нарушения уже были допущены. Возможно, именно это обстоятельство и встревожило ответственных товарищей: из-за меня любая комиссия могла вскрыть и другие неполадки. Не ведаю, каким путем они вышли из затруднения.

На мое счастье, в детском саду нашлись пацаны, дружба с которыми не ущемляла моего достоинства. Их было трое. Каждый по-своему был примечательной личностью. Фамилий я не запомнил, одни имена и прозвища.

Меньше остальных мне запечатлелся Петька Жмот. Внешности его совсем не помню. Он держался особняком. С Васей Колобком и Колей Скворцом я быстро подружился. Прозвище Жмот, вполне заслуженное Петькой, определяло основную черту его натуры — он был жаден и скуп. Никогда ни с кем не делился чем-либо, не давал трогать своих вещей. У нас, верно, мало было такого, чем бы могли пользоваться другие: все имущество состояло из штанишек и рубашки, которую надевали поутру да вечером, когда становилось прохладно. Ценность представляли одни наши рогатки. Их приходилось прятать от взрослых. У нас троих имелся общий

тайник — ямка под лежнем посреди зарослей крапивы на месте бывшего погребя. Петька прятал отдельно. Сам он предпочитал стрелять из чужих рогаток, свою берег.

Еще у Петьки была сетчатая майка с короткими рукавчиками, которую он не снимал ни днем ни ночью — боялся, как бы мы не стибрили ее. Основания для опасения у него были: мы и впрямь зарились на его майку, ее можно было употребить вместо сети для бредня. Мелкая рыбешка тогда во множестве водилась в Ушаковке, а рыболовецкой снасти в детсаду не было. Любой из нас троих не стал бы жить в ней, пожертвовал майку ради подобной цели. Но майка была только у Петьки.

Колька Скворец запомнился мне одной примечательной особенностью своего лица. Когда он начинал говорить, правый край верхней губы в него приподнимался, обнажая зубы до десны. Движение получалось непровольным, подобием судороги, не зависело от Колькиного желания, сам он и не замечал. Не понимаю отчего, но какие бы слова он ни произносил, они воспринимались более значащими и наполненными смыслом, нежели его содержалось в них. Неуправляемая судорога верхней губы производила на нас гипнотическое действие. Чем объяснялось его прозвище, не знаю, возможно, присвоено было по фамилии Скворцов, но нечто птичье проглядывалось в его лице — было оно узкое и остроносое.

Коля Скворец — единственный из нашей компании, кто привлекал внимание девочек. В том возрасте мы единодушно презирали девчонок, не считая их полноценными существами. Всякому другому пацану внимание девчонок могло навредить, но Коле Скворцу мы прощали этот недостаток.

Еще у него была самая лучшая рогатка, в сравнении с остальными она выглядела фабричной. Никому из нас не хватало силы на полную длину растянуть резиновую пращу на ней. Но, даже и растянутая наполовину, она сообщала речному катышу, употребляемому вместо снаряда, скорость пули, выпущенной из нагана. Из Колькиной рогатки стреляли по очереди, кто захочет — Колька не был скаредом.

Прозвище Колобок не подходило белобрысому Васе — он был долговязый и тощий. Возможно, Колобком его нарекли в раннем детстве, когда он еще не страдал от голода, был пухлощеким, круглым. Однако кличка удержалась, нас ничуть не смущало несоответствие прозвища и внешности. Главное качество, отличающее Васю, была верность дружбе, он бы и под пытками не выдал своих. Попервости меня немного смущал вид его постоянно облупленного носа и множество веснушек, которых не затушевывал даже летний загар.

От малышни мы держались особняком, не находя с ними одинаковых интересов. И уж тем более не водились с девчонками. Игры, какие они затевали, оставляли нас равнодушными.

Из детсадовских воспитательниц лучше помню самую молодую — Ни-

ну. Она шефствовала над группой мальчиков. Ей поручили присматривать за нами. Свою задачу Нина исполняла, не осложняя отношений с нами излишней опекой и придирчивостью, верила нам на слово. Если мы обещали ей не уходить за пределы владений детского сада, так соблюдали условие. Хотя тут тоже была сложность. Дело в том, что ни оградой, ни какими другими знаками территория детсада не была обозначена. Его владения были чисто условными. Лишь с одной стороны пролегалла бесспорная граница. Примерно в ста шагах от дома вверх по Ушаковке находилась лесопилка. Площадь, принадлежавшую ей, обносил покосившийся забор. Нас удерживала не тесовая ограда, а то, что за ней не было ничего достойного внимания: навалы круглых бревен, горы опилок, нагромождения из обзола из горбыля, да еще крытая сараюшка, из которой по временам разносился визг механической пилы.

Еще с двух сторон владения садика условно ограничивали старые аллеи, заросшие дикими кустами и травой в пору бесхозяйственности. С четвертой стороны пограничной межей служил берег речки. Немного ниже лесопилки Ушаковка разветвлялась на два рукава, образуя посредине обширный травянистый остров. Ближняя к нам протока — немноговодная и мелкая, ее можно перебрести по камням, почти не замочив ног. Другая, дальняя, протока несла главные воды. Очередной паводок мог поменять роли проток, такое происходило нередко. Но в августе 32-го года левый рукав Ушаковки был главным, по нему речка устремляла свою воду. Для нас это обстоятельство имело не последнее значение. Будь иначе, остров, расположенный напротив рощи, стал бы недоступен для малышей. Воспитательницы не разрешали бы нам перебрывать через бурную речку. Просторный, вытянутый вдоль русла остров, словно нарочно предназначен для игр. Днем воспитательницы уводили туда ребятню, как на пастбище. Следить им нужно было только, чтобы кто-нибудь не убежал на дальнюю протоку, не вздумал искупаться в речке. По мнению взрослых, пора для купания в нынешнем сезоне уже минула.

— Ильин день когда себе был — на носу Второй Спас, — утверждала детсадовская повариха тетя Дуся.

Почему от этих календарных дат зависели сроки купания, нам было невдомек. У нас имелись веские причины сомневаться в правоте взрослых. Ушаковская вода на ощупь была еще вполне сносной, местная рабочедомская шпана купалась вовсю. Пацаны, жившие на другом берегу, тоже. Простуда их не брала. Им можно, а нам — не сметь.

Мирные игры, в какие малышей вовлекали воспитательницы, иногда прерывались. Босоногая орда рабочедомских огольцов, взбадривая себя воинственными криками и свистом, устремлялась через остров к противоположному берегу, где их поджидала чужеземная рать — пацаны, жившие в домах по ту сторону речки. Вражда была постоянной, исконной, прерыва-

лась лишь в непогоду. Бои проходили с переменным успехом. До рукопашных схваток обычно не доходило: издали швыряли друг в друга камнями, перестреливались из рогаток.

Мы соблюдали нейтралитет. Нас тоже не задевали. Ни те, ни другие не принимали нас всерьез. Отряды босоногих ратников, пробегая мимо, смотрели в нашу сторону с долей любопытства и презрения. Свою вольную жизнь они ни за какие коврижки не променяли бы на заточение даже в самом образцовом детском саду. А если бы они еще знали, что мы тоже постоянно голодны, никогда не едим вдоволь...

Едва из пределов рощи, окружающей детсад, раздавались боевые клики, наших воспитательниц охватывала паника. Малышей, точно отару овец, сгоняли в кружок. Нянечки занимали оборону. На передовую линию выходила самая отчаянная среди них, наша любимица Нина. Мы, Вася Колобок, Коля Скворец и я, присоединялись к ней, готовые в любой момент пустить в ход свои рогатки. До поры мы не извлекали их из штанишек. Догадывалась Нина о нашем боевом вооружении и только делала вид, что не замечает, или же в самом деле не подозревала, чем оттопырены наши карманы? Прибегнуть к рогаткам ни разу не понадобилось.

Петька Жмот в самый напряженный момент всегда отыскивал причину остаться в тылу, среди девочек и малолеток: то у него вдруг обнаружится заноза в ступне, которую необходимо извлечь, то в глаз попадет соринка.

Зато к нам, невзирая на мои протесты, присоединялся Витька со своим неразлучным Бобкой.

Спутать с рабочедомскими пацанами нас невозможно. Большинство местных были, хотя и в старых, порой рваных, штанах, но с длинными гачами, подвернутыми до колен. И космы на головах носили давно не стриженные. Одним словом, выглядели сущими разбойниками.

Трогать нас не трогали, но пугали. Шумная крикливая ватага появлялась вдруг неведомо откуда, проносилась по территории детсада и бесследно исчезала в глубине рощи. Наверное, так в пределы древней Руси вторгались орды печенегов и половцев. Хотя враждебных действий местные пацаны не совершали, но держали нас в постоянной настороженности. Это обстоятельство сильнее спланивало нас, крепило нашу дружбу.

Прежде я совершенно искренне был убежден, что все чада из семей спецов, равно девчонки и мальчишки, капризули, недотроги и неженки, как буржуйчики, избалованные обильной и вкусной едой. Мне и в голову не приходило, что я могу подружиться с кем-либо из них. Я обучался в нашей советской школе и впитал одну общую для того времени истину: все стоящие люди происходят из рабочих или крестьянской бедноты. Дети спецов своим происхождением обречены вырасти людьми второсортными. Дружить с ними недостойно пролетария, каковым я на законном основании считал себя. Однако пацаны, с которыми судьба на короткое время

свела меня, опровергли столь поспешный вывод. Они решительно ничем не отличались от прочих сверстников.

Мое появление в детском саду несказанно обрадовало Витьку. Он светился от счастья и гордости, не отходил от меня ни на шаг. За месяц нашей разлуки он сильно вытянулся, в будущем году, чего доброго, сравняется со мной. А загорел он так, что стал похож на негритенка — зубы да глаза сверкали посреди угольной черноты. На лопатках у него лоснилось, будто кожу там надраили гуталином. Лишь Витькины ребра по-прежнему словно бы просвечивали сквозь тело, блестящими полосами разлиновали его грудь. Свое прозвище Шкилет он оправдывал. И это несмотря на то, что целый месяц питался наравне с детьми спецов.

Особой разницы между кормежкой в пионерлагере и здешней я не нашел. Единственное, чего не давали в лагере, был утренний кофе. Более вкусного напитка я в жизни не пробовал. Кофе был, конечно, не настоящий — либо овсяный, либо ячменный. Но я тогда и не подозревал, что бывает какой-то другой кофе. К тому же молоко и сахар, которые добавлялись в него, были натуральными. Жаль, перепадало нам лишь по одному стакану. Каждый мог выдуть втрое больше, да где взять...

Что меня сильно изумило, так это то, каким авторитетом пользовался Витька. Даже самые старшие пацаны обращались с ним, как с ровней. Я было возомнил — приписал это себе: из-за меня к Витьке так относятся, не хотят ссориться со мной. Но причина была другая, я это скоро понял. Наверное, основной чертой Витькиного характера была редкостная тяга ко всяким животным. Кошек он обожал, на всякую неказистую собачонку пялил влюбленные глаза, лошадей почитал за божества, один лишь вид жеребенка приводил его в восторг. Надо заметить, что и домашние звери платили ему ответной привязанностью. Кот Киря, который никому не давался в руки — начинал устрашающе шипеть и вздыбливать шерсть, — Витьке позволял таскать себя за шкурку и при этом еще сладко мурлыкал.

Киря — здоровенный серополосый котяра — большую часть времени проводил на кухонном подоконнике. Детсадовская повариха тетя Дуся, прежде служившая в ресторане, признавала в нем того самого кота, что обитал здесь при старом хозяине. Где он провел свои бесприютные годы, чем питался, знал один Киря. Едва в доме поселились люди и затопилась кухонная печь, кот объявился и занял привычное место.

На помойку близ кухни повадились окрестные дворняги. Бобка, не-большенький песик в кудлатой черной шерсти, которую разнообразили несколько белых пятен, посаженных там и сям на груди и на боках, стал Витькиным другом и охранником. Бобка прятельствовал и с остальными ребятами, но хозяином признавал одного Витьку, ему был предан всей своей собачьей душой. Стоило мне для острастки замахнуться на Витьку, Бобка мгновенно из добродушного существа преображался в злобного и

отчаянного волчонка, самоотверженного до умопомрачения. Витька цыкал на него, и Бобка тут же становился послушным и милым песиком.

Вокруг нашего дома в прежнюю пору находились различные строения: сарай, дровяник, амбар, погреб. Кой-где от них сохранились отесанные камни, некогда уложенные в основании стен. Буйная, в рост человека, крапива указывала места прежних подсобок. Здесь не то что рогатки — пулемет можно было спрятать, окажись он у нас. Черемуховые кусты вплоть подступали к развалинам, образуя непролазные дебри. Прежде при ресторане держали садовника, он досматривал за порядком, не позволял диким росткам пробиваться посреди аллеи. Теперь все позарастало. Можно себе вообразить, какая тут была скукота, когда все кусты и травы росли чинно, в местах, отведенных для них.

От крыльца дома через поляну, густо заросшую травой и ромашкой, к берегу речки вела тропа. По ней воспитательницы водили нас на остров, а наша мама ходила за водой. На этом пути имелась преграда — узенькая старица со стоячей болотной водой, населенная бесчисленным множеством лягушек. По вечерам они устраивали концерты. Лягушачья самодеятельность продолжалась далеко за полночь.

Через болото перекинут мостик из трех жердушек. Мы пробегали по нему, не замечая препятствия. Нашей маме, особенно на обратном пути — с полными ведрами в руках — преодолеть шаткий и скользкий настил было не просто. Воспитательница Нина придумала мальчишкам состязание: кто сумеет перенести по мостику ведро, не расплескав воду. Допускались самые крепкие и выносливые. Этой честью пацаны гордились. Постепенно маршрут разбили за этапы, и получилась эстафета. Одни зачерпывали воду с валуна, вторые относили наполненные ведра к старице, третьи перетаскивали по жердяному мостику.

Один Петька Жмот не заразился состязательным азартом, посмеиваясь, со стороны наблюдал за нашим неразумным усердием. Наверное, самому себе он представлялся хитрым и мудрым.

Наша воспитательница была так молода, что мы называли ее просто по имени, и только малыши обращались к ней — тетя Нина. Одевалась она всегда одинаково — в синюю юбку и белую кофточку. Каждый вечер перед закатом Нина уходила на речку, чтобы постирать. Сменной кофточки у нее не было. Густые льняные волосы она стригла ровным кружком так, что они обрамляли ее голову, не достигая плеч. С Ниной мы всегда находили общий язык, лишь однажды нам пришлось обмануть ее.

Сколько бы взрослые ни страшали опасностями, подстерегающими нас за пределами владений детского сада, неведомое манило. Местные названия Косой брод, Каштак, Березки были столь же таинственными и притягательными, как мыс Доброй Надежды или Огненная Земля. И равно не-

досягаемы. О походе на Косой брод мы не мечтали. Ближней к нам, ма-нящей землей были Березки. Так звалась роща, которая раскинулась на правобережье Ушаковки за лесопилкой. Она представляла собой остаток прежнего леса, некогда вольно росшего на обоих берегах речки. По слухам, в ее глубине прятался жуткий омут. Смельчаку, который отважится разыскать его в непролазной кустарниковой чащобе, нужно преодолеть топкое болото и трясину, где, помимо полчищ лягушек, вполне можно встретить водяного и лешего, а то и Бабу Ягу.

Трудней всего было провести Нину: она обладала способностью предугадывать любые наши намерения. Отчасти нам подфартило. Рыская по своему необъятному острову, мы невзначай обнаружили, что протоку можно перебрести еще в одном месте, не там, где нас водили, а против лесопилки. Открытие мы утаили. Из малышей про новый брод знал один Витька.

— Если разболтаешь... — заканчивать угрозу не было надобности, я просто показал Витьке кулак.

Бобка, бывший рядом, оскалится и заворчал. Но Витька лучше него сознавал серьезность происходящего.

— Цыц! — укротил он Бобку. — Чтоб мне провалиться на этом месте.

Для пушей убедительности Витька выпучил глаза и сделал попытку перекреститься — манеру он перенял у тети Дуси.

Пришлось вторично поднести к его носу кулак, чтобы отвадить от дурной привычки.

Любые наши разногласия быстро и однозначно разрешались при помощи этого общепонятного жеста. Поскольку мои кулаки были больше и крепче Витькиных, я всегда оказывался прав. До словесных перепалок у нас не доходило.

...Случай представился в тот же день.

Нину зачем-то звала тетя Дуся. Ступить на скользкие жерди повариха не рискнула — кричала с той стороны канавы:

— Нина! Нина!

Разговор у них затянулся и, по-видимому, был очень серьезен. Нина лишь поначалу оглядывалась, желая убедиться, что ее поднадзорные не разбежались. Вскоре она перестала озираться, все ее внимание поглотил разговор. Они так и стояли по разные стороны мостика. Нина не пожелала перейти на другую сторону из чувства ответственности — хотела быть хоть на несколько шагов ближе к своей группе.

Мы не замедлили воспользоваться благоприятным случаем. Никто не видел, как мы перебрали речку и скрылись за дощатым заплотом лесопилки.

Пешеходные стежки расходились в разных направлениях. Мы выбрали среднюю, справедливо рассудив, что крайняя правая пойдет вдоль берега, а левая приведет к домам городской окраины.

Едва мы углубились в рощу, нас настиг Бобка. Это означало: поблизости нужно искать Витьку. Так и есть! Худущая, по-кошачьи проворная фигура и так же по-кошачьи разлинованная поперек тела просвечивающими ребрами, крадучись перебегала от дерева к дереву. Если я напощаю Витьке, прогоню его, он поднимет рев — наша затея сорвется. И неизвестно как к этому отнесется Бобка. Возможно, он не посмеет цапнуть меня, но гаму задаст на всю округу. Честно говоря, мне не хотелось обижать Витьку. Он так доверчиво льнул ко мне. Может быть, вовсе не осознавая этого, даже не задумываясь, каким-то шестым или седьмым чувством Витька догадывался, что жить ему осталось совсем немного. Витькина душа заранее скорбела, прозревая близкий печальный исход, и стремилась хотя бы в моей памяти продлить свое земное существование.

По моему лицу Витька понял, что гроза миновала стороной, его негритянские глазищи обрадовано вспыхнули, он присоединился к нам.

Роща здесь была девственно нетронутой, топор и пила не касались деревьев. Причудливо изогнутые березы росли размашисто, стремились не столько тянуться вверх к солнцу, сколько норовили захватить побольше пространства вширь. Плеск речного переката не стал слышен, заглохли в отдалении голоса ребятни, играющей на острове. Тишина наполнилась шелестом листвы и птичьим щебетом. В просветах между ветвями бесшумно проносились стекляннокрылые стрекозы.

Шумная, тьявкающая свора бродячих собак пересекла тропу. На Бобку накинудись сразу несколько шавок. Мы уже собирались вступиться за него, с помощью рогаток прогнать обидчиков, но этого не потребовалось: собаки поладили между собой. Бобка как-то до обидного быстро снюхался с ними, примкнул к стае. Витькины призывы не поколебали его. Бобка лишь однажды возвратился, попрыгал на Витьку, лизнул его в щеку и умчался вслед за беспутной компанией. Витьку это сильно расстроило, глаза у него были на мокром месте.

Мы продвигались с опаской, готовые в любой момент выхватить из штанишек свое дальнобойное оружие — рогатки.

Вскоре тропа нырнула под сень черемуховых зарослей. Начали попадаться мочажины, подернутые зеленой ряской, воздух огласился неистовым и бестолковым кваканьем многочисленных обитателей луж.

Вряд ли нас специально выслеживали и подстерегали. Скорей всего шантрапа, бывшая в роще, услышала наши голоса, когда мы кликали Бобку, и после этого нам устроили засаду.

Пацаны возникли из кустов бесшумно и внезапно, как индейцы. Трое перегородили тропу, еще четверо окружили нас с боков и сзади. От внезапности мы опешили. И хоть в следующий миг оправились, выхватили рогатки, изготовились стрелять, ответные действия соперников были куда как более впечатляющими. В руках старшего из них, долговязого подростка

со вздыбленными на макушке рыжими волосами, появился самострел. Рыжий бандит направил дуло пистолета на Витьку.

— Не доводите до греха — порешу! — предупредил он, вытаращив глаза. — Бросайте рогатки!

Хотя момент был неподходящим, слова произнесенные атаманом, изумили меня: так мог сказать только взрослый. Это придавало еще больше весу его угрозе. У меня зуделись руки вlepить ему из рогатки по голому пузу, но рисковать Витькиной жизнью я не посмел.

— Обшмонать! — велел главарь, не отводя ствола от Витькиного виска, жестами давая понять нам, что в любой момент готов чиркнуть коробком по запальной спичке.

Обыскать нас было проще простого: утаить что-либо в коротких штанишках невозможно.

Наши рогатки переключались в руки грабителей. В том числе и лучшая из них — Колькина.

— Убери пистолет, — воззвал я к совести патлатого разбойника.

Похоже, он догадался, какие отношения связывали меня с Витькой. Загадочная улыбка проскользнула по его лицу.

— Вот вмажу дулю в дурную башку — будете знать, — припугнул он.

— Чунарь ты, — неожиданно произнес Коля Скворец.

Обидное чунарь атаман пропустил мимо ушей, замороженный судорожными подергиванием Колькиной губы. Чунарь в нашем лексиконе, означало то же, что и вахлак, только было еще обидней и оскорбительней. При других обстоятельствах за чунаря Колька схлопотал бы оплеуху, а теперь мальчишка ждал, что он еще скажет.

— В тюрьму хочешь попасть? — спросил Колька.

Упоминание тюрьмы не смутило патлатого.

— Не стражай, не на пугливых нарвался. Прикончу вашего пацаненка — и только нас видели. Ищи ветра в поле.

Его довод представлялся мне куда как более резонным, чем Колькина угроза тюрьмой. Спичечный коробок уже прикоснулся к головке запальной спички — по спине пробежали мурашки. Глядя на меня, Витька задрожал от страха.

— Мама! — писклявым голосом воззвал он.

— Не ваять! — рявкнул на него главарь, озираясь по сторонам.

Паниковал он напрасно: детсад остался далеко, ни мама, ни воспитательницы не придут к нам на выручку.

Однако услышать Витьку нашлось кому. Стремительный, шуршащий звук раздался в чаще — сквозь кусты к месту происшествия прорвался Бобка. Отвага и ярость переполняли его крохотное существо. Быстрота, с какой он мчался, не позволяла ему даже взлаять — из его зубастой пасти вырывался один неистовый, уступающий хрип. Из рук остолбеневшего

атамана выпал пистолет — Бобка первым делом набросился на рыжего верзилу, безошибочно угадав главного Витькиного обидчика. Шпану точно ветром сдуло. Бобка преследовал их, оглашая воздух залиvistым лаем. Уже кто-то из наших врагов в ужасе вопил:

— Мама! Мама!

На месте недавней стычки остались самострел и Колькина рогатка.

— Бобка! Бобка! — кричал Витька, опасаясь за судьбу своего любимца.

Шумно раздвинулись кусты — счастливый, гордый Бобка примчался на зов, запрыгнул передними лапами Витьке на плечи, лизнул щеку. Походя обнюхал наши босые ноги, удостоверился — чужих нет — и с лаем кинулся в чашу.

— Бобка! Бобка! — Витька старался удержать его от чересчур отчаянных действий.

Но Бобка не намеревался преследовать беглецов, а лишь устрашал их лаем.

Мы поспешили ретироваться. Бандиты могли отпрянуть от первого страха. Если они возвратятся и примутся обстреливать нас из рогаток, закидывать камнями — нам придется худо. Достанется и Бобке.

Нашей отлучки никто не заметил. Нина и повариха тетя Дуся все еще находились в прежних позах, продолжали разговаривать.

Самострел, оброненный рыжим верзилой, при ближайшем рассмотрении оказался непригодным. Однажды из него уже был произведен неудачный выстрел — медную трубку, служившую стволом, раздуло пороховыми газами, на ней образовалась трещина. Пистолет не был даже заряжен, нас взяли на испуг.

Вторично мы не собрались пойти на омут. Подвиг, совершенный Бобкой, упрочил Витькин авторитет. Никто не напомнил ему позорных слез и визга. Мы ведь и сами вели себя немногим лучше. Ладно, не напустили в штаны. Так мы и старше Витьки.

В этот же день я разбил стекло на веранде. Сделал это неумышленно и отчасти не по своей вине.

После обеда в режиме детского сада полагался мертвый час. Воспитательницы укладывали нас в постели. Мы притворились спящими. Добрая и доверчивая Нина на цыпочках удалялась из спальни, тихонько прикрывала за собой дверь. По обыкновению взрослые в тот час собирались на кухне, гоняли чай, вели разговоры.

Выждав немного, дав Нине покинуть веранду и спуститься вниз, мы вскакивали и молчком, не производя лишнего шума, выскальзывали за дверь. Воспользоваться лестницей мы не могли: крыльцо, на которое она вела, просматривалось из кухонных окон. Но был другой путь, о котором взрослые не догадывались. Застекленная веранда по второму этажу огибала

здание с трех сторон. Обыкновенно она пустовала, лишь в ненастье служила местом для игр. Крашенные половицы были испятнаны солнечными бликами и колышущимися тенями листвы. Деревья чуть ли не вплоть обступали старый особняк. Часть окон закладывалась на шпингалеты, в случае ненадобности их можно было открывать. Возле одного из таких окон на теневой стороне дома, почти прислоняясь к бревенчатой стене, росла могучая лиственница. Толстый, наполовину обрезанный сук — иначе он выдавил бы стеклину — касался подоконника. Моим приятелям этот путь известен давно. Я опасался за Витьку. Но и ему лазать по дереву было не впервой. Руки и ноги у Витьки хваткие, как у обезьяны. Внизу его поджидал Бобка, возбужденно прыгая на ствол и тихонько поскуливая от избытка чувств. У него доставало ума не лаять громко.

Неведомо для какой потребности на высохшем суку, который возвышался над скатом железной кровли, был закреплен изолятор из белого фарфора. Электрические провода он не держал, висел там без пользы. Изолятор стал заманчивой мишенью. Никому не удавалось попасть в него из рогатки. Каменья шуршали по веткам, брэнчали по листовой крыше — изолятор оставался невредим.

Стреляли по очереди из Колькиной рогатки. Моя и Васина стали добычей местной шпаны, Петька Жмот не хотел доставать свою из тайника.

Подошел и мой черед. Стиснув зубы, я растянул резину, насколько позволяли силенки. Взглядом впился в сверкающий над крышей белый кругляш. Уже теперь-то я не промахнусь — чертов изолятор разлетится вдребезги. Ребята только ахнут.

— Серьга, гля! — у самого уха прозвучал шепелявый голос Петьки.

Над кромкой сточного желоба в этот момент появилась усатая морда Кири — он охотился на воробьев.

Петька не подтолкнул меня — отвлек внимание. Кожанка с вложенным в нее катышем выскользнула из пальцев. Неожиданно громко звякнула разбитая стеклина, до смерти напугав Кирию. Кот мгновенно сгинул из виду. Один Бобка, не уразумев причины происшедшего, с лаем бросился к упавшему наземь осколку. Мы попрятались в кустах.

Женщины, мирно чаевничающие на кухне, повыскакивали на крыльцо. Им в голову не пришло заподозрить нас: считалось, что мы дрыхнули в постельках. Подозрение пало на рабочедомских хулиганов.

Вот я и подобрался к тому дню, с которого начался мой рассказ. Утром нам раскрылась причина, вызвавшая накануне долгий и оживленный разговор между поварихой тетей Дусей и Ниной.

Провизию в детсад доставляли на подводе, привозили сразу на пятидневку. Телега останавливалась возле кухонного крыльца, с нее лихо спрыгнул экспедитор, развязный малый лет двадцати шести. Экспедитор —

это я ему сейчас придумал такое звание, кем он значился на самом деле, не ведаю. Звали его Прокопий Лукич. Своего имени он почему-то стеснялся и величал себя по-новому: Трибун Лукич. Внешность его хорошо запечатлелась в памяти. Наряд Трибуна Лукича представлял собой пестрое и живописное смешение несоединимых элементов. Он не был ни узбеком, ни украинцем, ни военнослужащим, а носил по-восточному расписанную золотыми нитями тюбетейку, ярко вышитую украинскую рубашу, пущенную на выпуск и подпоясанную ремешком, армейские галифе из синей диагонали и хромовые сапоги. В ту пору подобным нарядом никого было не удивить.

— И-го-гой! — по-жеребиному вскрикивал он, — налетай, подешевело.

Трибун Лукич принимал свою излюбленную позу — руки в боки. Подбоченясь, он становился похожим на самовар, недоставало только медалей, тисненых на пузе.

Снимать с телеги мешки и коробки, перетаскивать в кладовку выпадало женщинам.

— Хошь бы раз пособил, Прокопий Лукич, — укоряла бравого молодца повариха.

— Трибун Лукич, — в сердцах поправлял тетю Дусю экспедитор.

— Так я ж тебя вот таким знала, — показывала тетя Дуся над полом. — Прошкой крестили.

— А я ноне безбожник, — смеялся Трибун Лукич. — И вам того желаю. Церкви все равно скоро позакрывают.

— Вам только дайся — позакрываете, — не спорила тетя Дуся. Перетаскав провизию в чулан, она развязывала мешки, раскрывала коробки. Наша мама читала накладную, повариха сверяла наличие продуктов.

— Экие недоверчивые. Транспорт зря держите. Разве ж я когда обманывал? Будто не знаете меня.

— То-то и оно, что знаю, — возражала тетя Дуся.

Она была неграмотной, читать-писать не умела, за нее в документах расписывалась мать.

Накануне, когда привезли продукты, нашей мамы поблизости не случилось. Сверять накладную тете Дусе помогала Нина. Перед обедом, когда стали делать закладку, обнаружилась недостача: в бумагах значилось шесть килограммов компота, а мешочка с ним не обнаружили ни в кладовке, ни на кухне. Помимо компота, не досчитались десяти пачек толочна. Из него готовили кисели и затируху.

— Прощка стервец! — негодовала тетя Дуся. — Был воришкой, вором и остался, даром, что в начальники вырядился.

Вечером на кухонном женсовете порешили: с утра Нина отправится в контору, разыщет жулика Прошку и требует недоданное. Немного поколебались, будет ли работать контора в праздник, но, здраво рассудив, отбросили сомнения — церковных праздников теперь не признавали.

Идти предстояло через весь город. Нужная контора помещалась в бывшей архиерейской усадьбе в каменном доме. Место, хорошо знакомое мне: в том дворе мы квартировали. Поэтому я первым вызвался в помощники Нине. Следом за мной в поход напросились Вася Колобок и Коля Скворец. Нина прихватила несколько кулечков, чтобы на обратном пути поровну поделить груз.

Наискось пересекли рощу, вышли на край Гончарного переулка. Улочка была тупиковая, одним концом упиралась в рощу, другим выходила на пустырь, прилегающий к церковной паперти. Дальше виднелся тесовый заплот, огораживающий обозные конюшни.

Церковные колокола извещали обывателей о том, что наступил праздник — Второй Спас. Других признаков торжества не замечалось. Короткая улочка на всем протяжении была пустынна, никто не спешил идти в церковь. На солнцепеке у забора прохрюкала чушка, окруженная черно-белыми поросятами, которые промышляли в зарослях лопуха и крапивы. Рядом кудахтали куры. Посреди улицы сплошь росла невысокая мурава и подорожник. В траве пробита тележная колея, припущенная пылью. Ступать босыми пятками по пухлому слою приятно — как по коврику.

Невесть откуда взялся Бобка. Оглянувшись, я сразу обнаружил Витьку: он пытался укрыться от меня за телеграфным столбом.

— Ну, я ему задам! — на сей раз мое намерение отлупцевать Витьку было твердым.

— Не нужно, Сережа, — остудила мой пыл Нина. — Витя славный мальчик, ты его должен жалеть, — произнесла она загадочную фразу.

Мне отлично известно, что жалость — плохое, недостойное чувство, старорежимное. Жалость расслабляет и унижает. А впереди нам всем предстоит жестокая борьба — нельзя расслабляться. Однако свои доводы я не стал выкладывать.

Витька, хоть не слышал нашего разговора, но содержание разгадал. Его негритянски-смолевая образаина, выглянувшая из-за столба, расплылась в белозубой улыбке. Он мгновенно настиг нас.

— Только похнычь у меня! — пристращал я его на всякий случай.

В угрозе содержался смысл, хорошо понятный Витьке: дорога не ближняя, если Витька раскиснет, начнет вяньгать, а ему задам.

— Витя у нас молодчина. Он не подведет, — вступилась за Витьку Нина. Провела ладошкой по его голове, непомерно большой для тощей Витькиной шеи. Нинина рука мягко прилась по стриженному затылку и легла на коричневое плечо.

На мост шли мимо пересыльной тюрьмы. Ее фасад, залитый солнцем, гляделся весело. Колокольный звон плавал в прозрачном небе.

Дальнейший путь мало запомнился мне. Неприятно удивило поведение Бобки. Бесстрашный вблизи детсада, здесь он трусливо жался у нас под ногами, избегая возможных стычек с чужими собаками, шарahalся от

встречных прохожих. Хвост держал не задраным кверху, как всегда, а опущенным между лап.

Впрочем, когда потребовалось, Бобка доказал, что постоять за Витьку сумеет, не даст в обиду. Нам недалеко оставалось до ангарского берега, в лица повеяло речной прохладой. Внезапно из ближней калитки стремглав выбежала здоровенная деваха, едва не сшибла Витьку — он оказался у нее на пути. Вот тут Бобка и проявил себя. С таким остервенением набросился на заполошную девку, что даже мы вздрогнули. Деваха в страхе отпрянула, очумело уставилась на мечущегося вокруг нее Бобку. Руки у нее были пустыми, оборониться ей было нечем.

— Бобка, Бобка! — отзывал своего друга Витька.

Бобка неистовствовал, оглашая округу звонким лаем. Угомонился он, лишь когда мы порядком удалились от злополучной калитки.

— Развели псарню, управы на них нет. Чтоб тебя приподняло да шмякнуло. Чертова зверюха — один хвост, два уха! — неслись вслед нам проклятия разгневанной девахи.

С ней переругивался один Бобка. Да Коля Скворец обронил:

— Глупости мелет и даже рта не перекрестит — чирья на язык не боится.

Не только мы с Васей, Нина изумленно взглянула на мудреца Колю.

Сентенция, какую он произнес, была еще усилена надломом его верхней губы.

— Мама так говорит, — счел нужным пояснить Колька, видя наше всеобщее недоумение.

Ненадолго нас привлек аэроплан, причаленный возле берега, чуть ниже места, где Ланинская улица спускалась к Ангаре. Тарахтел мотор, наращивая обороты пропеллера. Водяные брызги вздымались веером. Мы думали: самолет готовится к разбегу, и хотели дожждаться взлета, но двигатель вскоре начал глохнуть, пропеллер замедлил кружение, водяной веер опал, и над рекой установилась звонкая тишина. Мы продолжали путь, осталось пройти меньше ста сажен.

Мои надежды повидать друзей не сбылись: огромный двор был пустынен. Он встретил нас неприветливо и отчужденно, как будто и мы с Витькой стали ему посторонними. Горькое и обидное это чувство было непродолжительным, но тревожащим.

— Побудьте во дворе, далеко не уходите, — наказала нам Нина и скрылась за массивной конторской дверью.

Ждать пришлось долго. На площадке между каменным домом и церковью были всего две пролетки. В них, развалясь на мягких кожаных сиденьях, сморенные жарой, дремали извозчики. Они лишь поначалу удостоили нас вниманием, по-видимому, заподозрив в недобрых намерениях. Оба рысака также пребывали в полусне, то один, то другой изредка взмахивали головой да стегали себя хвостом, прогоняя мошкару. Вся

она, сколько ее тут было, столбом клубилась над лошадьми. Здесь же сновали стрекозы и проносились стремительные ласточки. Птичьими гнездами сплошь были облеплены церковные карнизы. Там происходила сущая кутерьма: птенцы, вставшие на крыло, сновали взад и вперед, то прячась в гнездах, то выпархивая наружу.

Нина не показывалась. Мы извелись, начали тревожиться за нее. Коля Скворец и Вася Колобок, не сговариваясь, посмотрели на меня: идти в контору разыскивать Нину полагалось мне: я здешний. Не имело значения, что в здании я побывал лишь однажды, на Первое Мая, когда нам давали подарки, да и то в другой половине дома, где помещалась рабочая столовая. Отнекиваться было бы трусостью.

Витька припарился ко мне. Я не прогнал его: хоть он и маленький, а вдвоем все же не так боязно.

Природа этого страха — страха перед всякой конторой — не ясна мне и поныне. Унылые, скучные коридоры служебных помещений всегда внушали мне мистический страх. Никогда в своей жизни, даже став взрослым, не мог я преодолеть позорного трепета и жалкой немощи перед дверьми любого казенного учреждения. Не зависть, но близкое к ней состояние охватывает меня при воспоминании тех давних карикатурно бравых молодцов в армейских галифе и френчах или расшитых косоворотках, перехваченных в талии узким цыганским ремешком, — они подкатывали к дверям конторы на извозчике, бойко спрыгивали с пролетки и, размахивая тугим кожаным портфелем, пинком настезь распахивали заповедную дверь и скрывались за ней, самоуверенные и властные — вершители судеб. Отчаяние, бессилие и рабский трепет впитались в мои поры, я загодя трепещу перед любой конторой. Всегда бывал в них ходатаем и просителем.

Пустой темный коридор простирался в глубь здания. В его торце не было окна, коридор упирался в глухую стену. По обе стороны, через неравные промежутки располагались двери, из-за них смутно доносились признаки чужой и таинственной жизни. Воистину, непостижима сила власти контор и канцелярий над смертным человеком. Она явилась к нам из сокровенных глубин истории, никем еще не разгаданная. Человек, сидящий в служебном кресле, каким бы ничтожеством ни был он в жизни, становится вершителем людских судеб. Не суть важно, где он сидит: в роскошном ли министерском кабинете или в зачуханном предбаннике жилищной конторы — каждому свой масштаб. Разница не столь уж и велика.

Едва мы переступили порог, Витька ухватился за мою руку. Его пальцы были горячими и цепкими, я бы не разжал их сейчас даже силой. Я и не пытался разжать. На его месте я поступил бы так же.

Мы замерли у порога, объятые благоговейным ужасом: неведомо, за которой из дверей скрывалась Нина. Преодолев страх, я направился к ближайшей. За ней чудился плотный гул множества голосов.

Заглядывать в кабинет не понадобилось. В дальнем конце распахнулась дверь, выплеснув в коридорный застенок пыльную полосу света и сорочью трескотню пишушей машинки. Я увидел Нину и незнакомого мужчину в начальническом френче.

— Не забывайте, товарищ Лукашева, — вы комсомолка, — наставительно произнес начальник. — На Евдокию Ивановну не ссылайтесь: она женщина темная, со старорежимными представлениями.

Что-то в ответ пробормотала Нина — я не расслышал.

— Мы должны проявлять заботу о пролетарских детях, — слова вылетали изо рта начальника, точно железные гвозди — каждое от отдельности. — А вы о ком печетесь? Об этих... закормленных. Своими необоснованными подозрениями бросаете тень на добросовестного работника. Трибун Лукич политических ошибок не допускает. Запомните это, товарищ Лукашева!

На этом разговор завершился.

Нина ничуть не удивилась, увидев нас. Обе ее руки опустились на стриженные макушки. Ладонь у Нины мягкая и нежная. Мы вышли во двор, и яростное солнце ослепило нас. Нина была сильно расстроена.

— Закормленные, — повторила она слово, недавно прозвучавшее в конторе. Взглянула на Васю и Колю, задержалась на Витьке. — До того закормленные, что кости наружу.

Со двора мы вышли через другие ворота, не к ангарскому берегу. Я подумал, Нина в расстройстве позабыла, куда теперь нужно, и, дойдя до угла, мы свернем на Семинарскую улицу. Но у нее на уме было другое. Направились по Тихвинской, мимо костела. Улица и тротуар здесь сплошь усыпана кирпичной крошкой и багровой пылью, осевшей повсюду вокруг недавно взорванного Кафедрального собора. На месте, где он стоял, дыбились горы обломков и останки каменного фундамента. Наскоро возведенный тесовый заплот ограждал руины.

Позади нас с каланчи старого собора разносился поминальный звон едва ли не последних колоколов, какие еще сохранились в Иркутске. Им недолго оставалось тешить слух прихожан, вскоре церковь закрыли, ее звонница онемела навсегда. Церковные стены не тронули, не расправились с ними. Может быть, не хватило динамиту? Мы этого не знали.

Когда пересекли пустынную площадь, под нашими босыми пятками клубилась все та же багряная пыль — прах разрушенного собора. Поблизости все окрашено ее кровавым налетом.

Наш путь лежал вдоль Амурской. Хотя к началу тридцатых годов почти все улицы в центре города переименовали, иркутяне упорно называли их по-старому. Новые названия не все и знали. Не дойдя одного квартала до Большой, Нина свернула налево. Минули дощатый забор, с которого свешивались черемуховые ветви. Густая зелень почти скрывала двухэтажный

бревенчатый дом в глубине двора. Дальше находились каменные ворота с распахнутым настежь чугунным створом. Здесь ограда была захламлена и замусорена обломками кирпича и кусками штукатурки, содранной со стен. Но это были не следы разрушения — каменное здание, расположенное во дворе, ремонтировали. Близ входа в дом под открытым небом на треноге, сооруженной из толстых жердей, висел гигантский чан, смолисто сверкающий потеками расплавленного вара. Мужик, голый по пояс, следил за огнем.

Следом за Ниной мы вошли в неприютные грязные сени, по каменным ступеням поднялись на второй этаж. Длинный коридор был пуст и залит солнечным светом. Наши шаги гулко отдавались в пустоте. Штукатурка здесь наполовину содрана, стены и потолок являли собой живописное зрелище. Пыль, взвешенная в воздухе, делалась зримой в снопах света, бившего в окна. В просторных комнатах, наподобие школьных классов, работали женщины, наново штукатурили стены и потолки. Двери всюду распахнуты, женские голоса разносятся по всему зданию. Кирпичная крошка и цементная пыль устилали пол.

Лишь в дальнем конце коридора, за одной из дверей протекала уплотненная конторская жизнь — оттуда беспрерывно лился тугой, точно спрессованный гул. Нина оставила нас и скрылась за дверью. Вскоре она возвратилась.

— Трибун Лукич занят, — объяснила нам причину.

Мы расположились на подоконнике. Сверху открывалась внутренность захламленного двора. Бобка метался на пространстве между открытыми воротами и входом в здание. Витькины следы каждый раз приводили его к двери, в душные сени. Войти внутрь Бобка не осмеливался, хотя никаких препятствий на его пути не стояло: прежде он никогда не бывал в помещении, и свое место дворовой собаки соблюдал. Витька изнемогал, перебежал от окна к окну, чтобы постоянно видеть Бобку.

Нина не отводила глаз от двери, за которой находился Трибун Лукич. Ей не терпелось поскорей отделаться от нелегкого поручения.

— Мальчики, пойдите на улицу, — сжалилась она над нами. — Только не убегайте со двора.

Вася Колобок и Коля Скворец едва поспевали за Витькой. Он мчался по длинному коридору, только пятки сверкали. Кирпичная и цементная пыль взвивалась из-под них.

— Сережа, ты почему не пошел? — поинтересовалась Нина.

— Я побуду еще, подожду, — сказал я, толком и сам не сознавая, что меня удерживало. Мне вдруг сделалось боязно за Нину: нельзя оставлять ее одну посреди чуждого конторского мира. Ободранные стены и потолок источали опасность, а гул, приносимый из единственного служебного кабинета, был враждебен не только для Нины — для всего живого.

Приходилось дышать запахом известкового тлена и раствора, сырой дух которого вытекал из комнат, где на стены накладывали свежую штукатурку. В окно я наблюдал, как Бобка, заслыша шлепоток Витькиных пяток, стремглав неся к раскрытой двери. Радость встречи переполняла обоих.

Некоторое время пацаны покружились близ чана, в котором варилась смола, потом исчезли. Я не заметил куда, поскольку мое внимание раздвоилось: из кабинета вышли сразу трое, и Нина неслышно прошмыгнула в приотворенную дверь. Я тщетно напрягал слух, пытаясь уловить посреди несмолкаемого гула Нинин голос. Я слез с подоконника, приблизился к двери, но все равно не расслышал ничего внятного. Я уже догадывался, что наш поход закончится впустую: в этих бездушных помещениях невозможно добиться справедливости — здесь ее не бывает.

Нина недолго пробыла в кабинете. Она точно вырвалась из него. Глаза ее блестели гневом и были полны слез.

— Сереженька, он обозвал меня воровкой!

Обиженная, беспомощная, Нина прильнула ко мне, слышно было как трепещет ее сердечко. Я шнырял взглядом вокруг, ища предмет поувесистей. На грязном полу всюду набросаны осколки битого кирпича и штукатурки. Нина перехватила мою руку, не дала мне вооружиться.

— Не нужно, Сережа.

Слезы быстро высохли на ее щеках, внезапная добрая улыбка осветила молодое лицо. Бессильное чувство жалости пронзило меня.

Нина гребенкой расчесывала волосы, вместо зеркала пользуясь стеклинной в приотворенной раме. Была она сейчас необыкновенная — переполненная красотой, которой прежде я не чувствовал. Ей вовсе необязательно поправлять волосы: растрепанная прическа больше была ей к лицу. Я не посмел сказать это вслух.

— Пошли, Сережа.

Мы не успели сделать и одного шага — дверь кабинета, откуда недавно вышла Нина, распахнулась, в коридор победным фертм выкатился Трибун Лукич. На нем был тот же самый живописный наряд. Лишь тубейка в этот раз не прикрывала темени, он, измяв, держал ее в руке, точно носовым платком, вытирал ею пот, обильно струившийся по лбу и шее. Наглыми, сытыми глазами уставился на Нину, на ее плотно сбитое юное тело. На влажных губах обозначилась самоуверенная улыбка, почему-то бесившая меня. Я с ненавистью смотрел в его мясистое лицо, на его слюнявые губы. Он заметил это.

— У, змееныш! Этак вы их воспитываете, — укорил Нину. Указательным пальцем он поманил ее. Жест был начальнически хамским и одновременно выдавал его нечистые намерения. Я это ощутил каким-то неведомым мне чувством.

Что он нашептал Нине, не было слышно. Его припухлая волосатая рука ладонью опустилась на Нинино плечо, на ее свежую белую кофточку. Короткие пальцы с широкими тупыми ногтями вызывали отвращение и ненависть. Он продолжал быстро, быстро говорить, все ближе наклоняясь к Нине. Нина глядела на него горящими круглыми глазами. Гнусная слюнявая улыбка не сходила с его губ.

Внезапно Нина отпрянула, скинула с плеча ненавистную мне волосатую руку. Звук пощечины раздался посреди гулкого коридора. Никто не обратил на него внимания, не выглянул из двери.

Трибун Лукич распрямился, пальцами прикоснулся к щеке. Следы Нининой ладони на ней не отпечатались — его лицо и без того было красным. Я стиснул кулаки. Пусть только он посмеет тронуть Нину. Но у него не было намерения драться. Он лишь рассмеялся особенным, дребезжащим смешком.

— Голь перекатная, — бросил он, скривя рот. — Недотрогу из себя строишь? Сперва подумай хорошенько. — Последние слова он произнес, уже находясь в дверях.

На бледном обескровленном Нинином лице огненно сверкали глаза.

— Негодяй! — бросила она вслед ему, хотя Трибун Лукич уже не мог услышать — дверь за ним плотно затворилась. — Он предлагал мне новые чулки и газовую косынку. — Последние Нинины слова предназначались мне.

Она стремительно шагала по пыльному коридору мимо пустых комнат, где штукатурили стены.

Всей сути происшедшего я не понимал, но чутье подсказывало мне, что предлагать девушке новые чулки и газовую косынку оскорбительно, на такое способен только мерзавец. В ту пору стали модными разноцветные шарфики и косынки, изготовленные из невесомой ткани. Проку от них было никакого: они не грели, не защищали от ветра и дождя. Ими просто закутывали лицо и волосы, и от этого румянец на щеках делался ярче, а кудри и локоны выглядели пышнее. При бедности и скудости, в которых тогда жили, газовый шарфик или косынка считались роскошью. Предложить девушке газовую косынку способен лишь человек с толстыми, тупыми пальцами и подлой душой. Будь при мне моя рогатка, с каким наслаждением я вмазал бы из нее в его гнусную слюнявую рожу.

Украденный компот нам не возвратили. Жулик Трибун Лукич, не допускающий политических ошибок, воспользовался неопытностью и доверчивостью Нины и погрел руки, попросту говоря, украл.

Возможно, он еще жив сейчас. Конечно, старик уже, небось персональный пенсионер, пребывает на заслуженном отдыхе.

Если ты жив, тебе не приходится теперь стесняться своего простонародного имени. Напротив, при случае, можно и козырнуть им — мода-то,

она вон как повернулась. А то ведь ты, поди, готов был и отчество сменить, да не меняли. Не знаю уж почему.

Пошел ли тебе на пользу компот, украденный у детишек? Не поперхнулся ли ты косточкой от урюка? Впрочем, что я говорю. Нет, конечно, не поперхнулся, и не такое заглатывал. Теперь тебе есть чем гордиться: твои духовные наследники размножились и окрепли, позанимали куда как более высокие посты. В кладовщиках да в экспедиторах самая мелкота подвизается. Эти пользуются тем, что к рукам прилипает. Другие, на высоких постах — хапают по-крупному. И с рук им сходит еще проще, чем тебе — этикие должности позанимали, ни с какого боку не подступишься к ним. Лишь в одном сохранили верность тебе: как ты, воруют в конечном счете у детей. И до того свыклись со своим ремеслом, что и собственных потомков не милуют: внукам и правнукам готовы оставить после себя пустыню, только бы самим пожить всласть. Других-то, духовных потребностей не приобрели.

И не с детской рогаткой на вас нужно выходить, а с рогатиной. Что ж, пожалуй, дождетесь. Добром-то вы не уступите власти.

Когда мы с Ниной спускались по лестнице, откуда-то сквозь толстые стены прорвался трескучий звук, причину которого я не смог уразуметь. Почудилось — само небо разорвалось, подобно натянутому холсту. Нанесло приторно затхлым с примесью бензиновой вони. Каменная стена на мгновение сделалась прозрачной, на небольшом отдалении за ее пределами взгляду открылось никогда не виданное прежде громоздкое строение с глухими кирпичными стенами, напоминающими тюремные. Нина ничего не видела, смотрела под ноги на захламленные ступени, на них легко было подвернуть ногу. Я не успел даже как следует удивиться — все вокруг стало прежним. Мощные стены лестничного пролета, лишенные окон, заслонили нелепый мираж.

Об этом странном происшествии я никому не сказал.

Когда мы уже спускались во двор, Нина вспомнила про свою гребенку, позабытую на подоконнике. Я побежал за ней.

Нам с Ниной тоже перепало по ломтю лаваша. Тогда я, разумеется, не знал, что это был лаваш, слова такого не слышал. Мы моментально расправились со своей долей. Нина проголодалась ничуть не меньше. Недавняя обида, все еще не позабывая ею, держала ее в напряжении. Она беспокойно озиралась, встревоженно наблюдала за Витькой. Он, выпучив глаза, очумело носился по чужому двору, клича Бобку. Непоседа Бобка исчез бесследно.

Колобок и Скворец плели околесицу про ненормального хрыча в синеполосых стариковских чувяках, который будто бы одарил их лепехой и

сгинул вместе с Бобкой — оба испарились у них на глазах. Осталась лепешка и размалеванная сумка из тонкого и прозрачного материала, никогда нами не виданного. На боку сумки нарисованы не то парни, не то девки — с длинными, растрепанными волосами, а штанах, туго облегающих ляжки. Ни один человек в здравом уме не напялит на себя таких порток. В руках у косматых парней-девок инструменты, похожие на гитары. И было что-то написано поверху нерусскими буквами. Нина, и та не смогла прочесть.

Если бы не вещественные доказательства — лепешка и сумка, — можно было плюнуть на бредни, сочиненные ребятами. Они могли провести кого угодно, только не меня: ясно же, как божий день, сумку вместе с лепехой они стриблили. Одинаковая с моей мысль пришла Нине.

— Мальчики, лучше сознавайтесь по-хорошему — украли?

Эти обормоты уперлись на своем: сумку вместе с лепехой им подарил старик в несурзных обутках.

Нина в недоумении вертела в руках чересчур яркую, заметную сумку, не зная, как ей поступить: отвести воришек в милицию или же утаить, не выдавать ребят? Сумка быстро изобличит их: другой такой во всем городе не сыщешь. Владелец небось уже заявил в милицию. Все же второе чувство одержало над нею верх: Нина решила избавиться от злополучной улики.

Мужик, следивший за огнем под чаном, ненадолго отлучился. Нина воспользовалась мгновением — швырнула сумку в костер. Пламя ненадолго поникло под нею, затем прозрачная ткань расплавилась и пыхнула короткой вспышкой.

— Из-за вас пришлось, — укорила она мальчишек. — Руки вам пообломать следовало.

Колобок и Скворец продолжали корчить из себя напрасно обиженных агнят.

...Больше всего меня злило, что ребята и мне продолжали заливать ту же байку про доброхота старика в синеполосых чирках. И Витька, как попугай, твердил вслед за ними то же самое. Не помогли и мои колотушки, которыми я награждал его. Иного способа добиться правды я в ту пору не знал.

Прости меня, Витя. Разве я мог предположить, что ты говоришь правду? И откуда мне было знать, что жить тебе осталось немногим больше месяца. Ты умер, едва лишь вступив в пору своего отрочества.

И бил я тебя не сильно, жалеючи. Я ведь уже и тогда догадывался, что ты лучше меня, честнее и добрее. Судьба слепа: зачем она распорядилась так, что жить долго выпало мне, а не тебе? Уверен: ты бы прожил достойней меня, не наделал столько поступков, в которых позже пришлось раскаиваться.

Не потеряйся Бобка, не произошло бы последней истории, о которой хочу рассказать. Случилось это чуть ли не в тот же самый вечер или на другой день.

В конце августа вечера становились прохладными. И смеркалось раньше. Солнце еще только повисало над невидимой с Ушаковки Кайской горой, а на рошу уже опускались потемки. Устрашающие, жуткие звуки рождались в ее глубине. Неведомые птицы бесшумными тенями скользили между ветвей. Все это, вместе взятое, раньше обычного загоняло детвору в дом. Особняк, отданный детскому саду, был уединенным. От ближних кварталов рабочедомского предместья его отделяла роща, жуткая и непроходимая в потемках. Одноэтажные домишки городской окраины на левом берегу Ушаковки растворялись в наступающих сумерках. Если где и зажигали лампу, свет невозможно было увидеть за ставнями. Многоэтажек, какие наставлены там теперь, в довоенное время не было. Среди ночи наш дом, подобно крохотному острову, терялся в океане мрака. Одни звезды да луна светили в вышине. Казалось, до них ближе, чем до жилья.

Электричество к нашему дому не подведено. Прежние столбы, на которых держались провода, повалили, растащили на дрова, а новых не поставили. Вечера мы коротали при керосиновых лампах. Спальни располагались на втором этаже. Девочкам и мелюзге отведены две комнаты в южном торце дома, старшая группа укладывалась спать в большом зале. Все три комнаты сообщались, имели один выход на веранду. Самая отважная из воспитательниц, Нина, занимала койку у входной двери. Она оберегала нас от возможной опасности и одновременно надзирала за нами, не позволяла озорничать, швыряться подушками.

Входную дверь на ночь закрывали на большой крюк, его не сорвать и здоровенному верзиле. Среди obsługi детского сада не состояло ни одного мужчины, и такая мера предосторожности была не лишней. Внизу, в поварской комнате, в одиночестве спала тетя Дуся. На пустынной неосвещенной веранде и на лестнице с наступлением темноты поселялись призраки, пугающие, зыбкие тени елозили по стенам, по непроницаемым окнам, сами собой возникали неведомой природы шорохи, чудились крадущиеся шаги.

Последний час перед сном проводили сообща шумливым кагалом в большом зале, дабы не жечь лишнего керосину. Малыши жались к взрослым. Глаза у всех становились большими, настороженными. Неустрашимой оставалась одна тетя Дуся: могла впотьмах на ощупь подняться и спуститься по лестнице, пересечь неосвещенную веранду, не боясь встречи ни с домовым, ни с грабителями.

На ночь керосиновые лампы не гасили, лишь увертывали фитили, оставляя в комнатах полусвет. В темноте малыши начинали хныкать и верещать от страха. Наши воспитательницы, хоть сами и трусили, среди ночи

не высовывали носа из спальни, однако виду не подавали, успокаивали малышей, если тем что-нибудь померещится.

В этот раз не померещилось. Только нас уложили, ребятня уgomонилась, не все еще заснули, как в наступившей тишине над головами явно прозвучали шаги. Кто-то влез на чердак и ходил там: скрипели потолочины, хрустела зола, насыпанная поверх них. Страх и ужас обуял всех. Малыши захныкали, заверещали. Тотчас все повскакали с постелей, стало не до сна. В лампах привернули фитили, детвора затихла, оцепенев в ожидании дальнейших событий.

Отпереть засов, выйти на веранду и подняться на чердак никто не отважился. За окнами было черно.

Шаги на потолке прозвучали и стихли. Что еще затевали злоумышленники, неизвестно. Воспитательницы тщетно успокаивали малышей. Будучи не в состоянии побороть собственного страха, они только усиливали панику. Наша мама, больше всего в жизни боявшаяся пожара, подлила масла в огонь:

— Не подожгли бы — на чердаке все сухое.

Вспомнили о поварихе: ее могли задушить или зарезать. Необходимо было что-то предпринимать. Для начала выяснить, жива ли тетя Дуся.

— Мы с Сережей пойдем, — вызвался Коля Скворец.

Еще мгновение назад у меня не было подобного намерения, но едва Коля сказал, как я подхватил:

— Мы сходим. — Меня даже холодом окатило от собственной решимости.

— И я, — поспешил присоединиться к нам Вася Колобок. Ему было зазорно, что Скворец не назвал его.

Взрослые запротестовали, но нас неожиданно поддержала Нина:

— Я спущусь с мальчиками.

Вылазку возглавила Нина. Моя мама сопровождала наш боевой отряд, светя сверху зажженной свечой. Трепетный язычок пламени прикрывала ладошкой, чтобы его не задуло сквозняком. Свету было мало, мы не видели даже лестничных ступеней под ногами. Не знаю, как бы мы поступили, если бы свечу погасило. Спички, верно, были запасливо взяты — полупустой коробок побрякивал в кармане фартука, который мама впопыхах надела поверх ночной сорочки.

Будь кому наблюдать нас со стороны, он в досталь бы посмеялся. А ведь нам в самом деле было страшно, опасность представлялась реальной и грозной. Нина вооружилась старым кухонным ножом с обломанным острием, годным только щепать лучину — для этой цели его и держали. Коля Скворец изготовил, как шпагу, щипцы. У Васи Колобка в руках очутилась железная клюка, которой шуровали в голландке, — в непогоду ее немало подтапливали. Мне досталось березовое полено. Подвижные мутные

тени метались по стенам и потолку, по бездонной глади оконных стеклин, будоража и пугая наше воображение. Мы благополучно спустились вниз, достигли коридора, в который выходила кухонная дверь. Она была надежно заперта изнутри. На наш стук и крики тетя Дуся не отзывалась. Это обстоятельство поначалу вселило ужас: не иначе как повараху прикончили бандиты. Они могли проникнуть в кухню со двора через окно. Однако вскоре мы расслышали сочный раскатистый храп. Разбудить тетю Дусю так и не смогли.

Назад возвратились без приключений, страху поубавилось. После этого дверь в спальню помимо крючка заложили еще клюкой и щипцами, просунув их в дверную ручку.

Остаток ночи прошел спокойно. Вскоре я заснул. Пробудился, когда уже рассветало, и все ночные страхи улетучились сами собой.

После этого приключения женщины настояли, чтобы нам выделили ночного сторожа. Им стал пожилой возчик деда Степа. Он смастерил себе топчан, примостив его внизу в коридоре. Дед Степа страдал бессонницей, по ночам курил трубку и беспрестанно кашлял. Этого было достаточно, чтобы отпугнуть злодеев.

Дед Степа коротал ночь не в одиночестве. При нем находилась водовозка и недавно ожеребившаяся чалая кобыла Роза с потешным длинноногим жеребенком, который мастью удался не в свою маму — явился на свет гнедым. Деду Степе вменялось в обязанность развозить ангарскую воду в квартиры, где жили конторщики. Обыкновенно он ночевал у себя дома на Каштаке, а Роза с жеребенком проводила ночь в обозной конюшне наискосок от пересыльной тюрьмы.

Отпала нужда носить воду с Ушаковки: под вечер дед Степа привозил полную бочку. Нашей маме убавилось работы. Ну, а больше всего женщины радовались, что чай теперь можно стало заваривать ангарской водой. В Ушаковке вода хотя и чистая, но не такая мягкая, заварка получалась с жесткой накипью, портившей вкус.

Роза со своим долгоногим жеребенком всю ночь паслась на прибрежном лугу, иногда перебрела на остров. Оттуда доносилось позванивание колокольчика. Звуки эти, раздававшиеся в ночи, действовали успокоительно.

Жеребенок в какой-то мере утешал Витьку. Не будь его, Витька совсем бы извелся. И без того мне дважды пришлось прогуляться в центр города. Витька надеялся отыскать Бобку в месте, где они потеряли друг друга. По-доброму, его следовало хорошенько отлупцевать, но у меня рука не поднималась: такой он был жалкий и потерянный. Наверное, за эти дни Витька выплакал все слезы, отпущенные ему на целую жизнь.

К жеребенку он привязался страстно. Вскикивал чуть свет, по росе мчался на остров. Жеребенок скоро признал его, не пугался, а резвился с Витькой на росистом лугу. Мудрая кобыла Роза благожелательно наблюдала

за шалунами. Она тоже, завидев Витьку, привечала его негромким ржанием.

Однако позабыть Бобку Витька не мог, не хотел примириться с потерей. Вечером подолгу носился по окрестностям рощи, до хрипоты клича:

— Бобка, Бобка!

Даже местные пацаны сочувствовали ему, не обижали Витьку. Бобка сгинул бесследно.

Два года спустя — мы с мамой остались уже без Витьки и жили в Рабочем, поблизости от тюрьмы — я познакомился с пацанами, виновными в нашем ночном переполохе. Их было трое, все они жили поблизости от лесопилки, где работали их отцы. Мальчишки рассчитывали пожить съестным. От взрослых они слышали, что в прежнее время в загородном ресторане, на чердаке к дымовой трубе была пристроена коптильня — изготавливали колбасы и окорока. На крышу пацаны влезли по лиственнице, которой пользовались мы. Будь Бобка, им бы не удалась затея, он не позволил бы пацанам даже приблизиться к дому. В ту ночь они натерпелись страху не меньше нашего. Рады были радешеньки, что удалось смыться подобру-поздорову. Никакой колбасы на чердаке они, конечно, не нашли. В Иркутске хорошей колбасы и по сию пору не сыщешь.

Глава третья *(Июль 1988 года)*

С Бобкой мне было мороки.

Окружающий мир восстановился в том виде, в каком ему должно было находиться. Самолет — теперь уже не винтовой, не двукрылый — пророкотал в вышине, оставляя позади белесую черту, распоровшую небо. За моей спиной проехали автобус и легкая машина в том направлении, как им предписано дорожным знаком. Я стоял вблизи толстенных кирпичных лап гулливеровского стульчака. Солнце, отраженное бетонными плитками, настеленными там, где встарь росли черемуха и акации, било в глаза. Мимо в обе стороны стремились озабоченные горожане. Никому не было до меня дела.

Если бы не Бобка, потерянно мечущийся под ногами прохожих, происшедшее со мной можно было посчитать за наваждение. Исчезли недавние запахи и свежесть воздуха — я снова вдыхал привычную вонь, настоянную на выхлопах автобензина.

— Бобка, — негромко позвал я.

Песик вскинул острую мордашку, заглянул мне в лицо коричневыми пуговками, в которых стыло отчаяние.

Не мог он признать во мне босоногого мальчишку, с которым недавно расстался: за прошедшие десятилетия я пропитался чуждыми Бобке

ароматами городской цивилизации. Я медленно брел к автобусной остановке, подчиняясь инерции заданного намерения. Мысли блуждали в другом времени. Необходимо решить, как мне поступить с Бобкой. Не бросать же его на произвол судьбы. Я собрался вернуться и попытаться пригласить его. К счастью, этого не понадобилось: Бобка сам подбежал ко мне. В мире, куда его внезапно занесло, один лишь запах моих кроссовок и был знаком ему. На запах он и прибежал. Шустрый песик беспокойно кружился, сновал туда и сюда, но неизменно возвращался ко мне — мои кроссовки служили магнитом, удерживающим его. Сесть с ним в автобус не удалось. Бобка шарахался от чудовища на колесах. На руки не давался. Мне пришлось пеши тащиться по жаре.

Дорогой я все обдумал. Бобка поселится в нашей квартире на третьем этаже. Сын с невесткой не скоро возвратятся из отпуска, внуки появятся раньше. Мальчишек обрадует появление в доме живого существа. При них и Бобка быстрее пообвыкнет в новой для него обстановке. Дети заменят ему Витьку. Меньший, Гринька, обожает любую живность, и собак, и кошек, возможно, он унаследовал такие же гены, какие бродили в Витькиных жилах. К тому времени, когда возвратятся родители, внуки будут на моей стороне.

Увы, все мои прикидки полетели в тартарары, как сказала бы моя покойная мама. Войти в подъезд и подняться на третий этаж Бобка не захотел: он не был комнатной собакой, в своей жизни ни разу не переступил жилого порога. Пришлось вынести ему еды. Благо в холодильнике оставалось немного колбасы.

Поначалу Бобка не захотел принять моего дара: долго обнюхивал брошенный ему кусок, фыркал и недоуменно поглядывал на меня.

— Честное слово, колбасой называется, — заверил я его. Похоже, что моему честному слову Бобка не склонен был верить, полагался на свое обоняние. Наконец, меня осенило. Был уже подобный случай. Дети подбирали на улице бездомного котенка. Тот также отказывался есть колбасу. И тогда мы стали давать ему кусочки, предварительно разжевав их во рту. Это помогло котенку преодолеть отвращение к продукции Иркутского мясокомбината. Опыт пригодился.

Крохотный песик с юркими лисьими повадками, в черной кудлатой шерсти, испятнанный белым, проникался все большие доверием ко мне. Брал еду из моих рук и даже лизнул мои пальцы. Неужто он признал во мне того босоногого мальчонку? Ну, не в благодарность же за подобную колбасу лизнул он меня! И все же сомнения оставались. Да полно, уже не пригрелось ли мне все происшедшее, и песик этот вовсе не Бобка. Мало ли бездомных и бродячих собачонок по городу.

И вдруг — невольные мурашки пробежали у меня по спине — я вспомнил приметку, по которой можно безошибочно узнать настоящего Бобку.

Внешнее сходство и белые пятна не годились — могли быть переданы по наследству. Встреченный мною песик — всего лишь дальний потомок Витькиного Бобки. Но есть, есть надежная примета — подобие клейма. У Бобка на задней левой лапе чуть выше коленного сгиба был шрам — затверделый угловой рубец. Он его схлопотал еще задолго до знакомства с Витькой. Однажды Витька дал мне пощупать тот шрам. Едва я притронулся и надавил на рубец, скрытый в шерсти, Бобка взвизгнул и чуть было не цапнул меня.

Не так-то просто было добиться, чтобы Бобка позволил мне гладить себя. Вначале его сильно обеспокоили мои действия, затем он смирился, притих, не протестуя, принимал ласки. При этом я все время негромко разговаривал с ним. Звук моего голоса действовал на него успокоительно. Я все-таки усыпил его бдительность. Мои пальцы пробежались по левой ноге. Бобка насторожился. Я решительно придавил в нужном месте, другой рукой изловил Бобку за острую мордочку. Шрам от заживленной раны находился на месте. Бобка, как и тогда, обиженно взвизгнул. Я с трудом удержал его пасть сжатой, не позволил укусить себя.

— Все, все, Бобка. Больше не буду. Теперь у меня никаких сомнений.

До вечера я пробыл с ним возле входной двери, стараясь вернуть доверие. Ближе к ночи мне удалось заманить его в подъезд. Здесь он позволил взять себя на руки. Живой трепещущий комочек плоти извивался в моих руках, норовил вырваться. Впервые в своей жизни он был допущен в жилище человека.

Бобка сел подле двери и ни на шаг не отходил от нее.

— Ну, что ж, здесь и будет твое место. Вот тебе подстилка, — положил я на пол изношенный домотканый чехол с кресла, он все равно уже отслужил свой век.

Мы оба провели беспокойную ночь: Бобка скулил, не давал мне заснуть. Под утро он начал уже не скулить, а лаять и скрестись лапами в дверь. Я подумал, ему приспело время справить нужду, и выпустил его, рассчитывая, что теперь он не удерет далеко.

Увы, спустя примерно час, когда я вышел на улицу, Бобки нигде не было. Я обошел вокруг дома, понапрасну покликал его.

Полдня я тщетно ждал Бобку, то и дело выходил из дому в надежде, что, проголодавшись, он вернется.

Потом я сообразил, где нужно искать его, и спустя полчала вышел из автобуса напротив кирпичного урода. Я не ошибся в своих предположениях: Бобка вскоре обнаружился. Видно было, обрадовался. Что там ни говори, а я был единственным человеком, с которым он общался немного при Витьке. Как бы там ни было, мне не составило труда вторично увести его с собой и заманить в квартиру.

Вторую ночь он провел так же беспокойно, как первую, и так же чуть свет заперсился на улицу.

Снова пришлось ехать за ним в центр города. В давнем тридцать втором году я приходил сюда за Витькой. Они оба искали друг друга в одном и том же месте, разделенные почти шестью десятилетиями.

В третий раз все повторилось, правда, не совсем. Приехав автобусом в центр, я не нашел Бобки под опостылевшим мне кирпичным стульчаком. Без толку проторчал здесь больше часу. Ждать дольше не имело смысла. Я медленно брел к автобусной остановке. Судьба несчастного Бобки не давала покоя моим мыслям. Неожиданная догадка-предположение пришла на ум. Не очень хотелось мне тащиться еще и в Рабочее предместье.

Но нечего делать — поехал. Иначе бы я извелся. Для успокоения совести я обязан побывать на правом берегу Ушаковки, там, где летом тридцать второго находился детский садик, про который помнили сейчас, пожалуй, только мы с Бобкой. Там все неузнаваемо переменялось еще в предвоенные годы. Если бы Бобка из своего времени перенесся всего лишь на три года, он и тогда не узнал бы прежнего места. Но он хотя бы застал двухэтажный особняк, а берег Ушаковки и остров нашел бы такими, как при Витьке. Теперь от старого дома не осталось следа. Прежний остров тоже неузнаваем.

Трамваем от рынка я проехал всего несколько остановок и очутился в конце Ремесленной, одной из немногих иркутских улиц, сохранивших изначальный облик. Отсюда до места, где когда-то был загородный ресторан, оставалось рукой подать.

Даже мне было не просто отыскать местоположение детского садика. Здания из стекла и бетона, похоже, спортивные сооружения, громоздились на берегу. Роща исчезла бесследно. Кто не знает, что она была, так и не поверит.

На острове, где ребятня когда-то затевала свои шумные игры, девочки собирали одуванчики, с сачками гонялись за бабочками и стрекозами — на всем острове не отыскать теперь ни одной зеленой травинки. По нему пролегла автотрасса, воздвигнуты опоры высоковольтки.

Бобку я обнаружил на берегу Ушаковки. Завидев меня, он обрадовался, хотя вид у него был совершенно обескураженный и растерянный. Я дал ему поесть. Бобка все проглотил с жадностью, но походя, как будто сознавая, что ест лишь затем, чтобы поддержать силы. Я немного позавидовал ему: у него была определенная цель, он твердо знал, что ему нужно — найти Витьку. Простодушный песик не подозревал только одного: его цель недостижима, как всякая благая цель.

Наскоро сглотав то, что я ему принес, Бобка начал крутиться между берегом реки и бетонными строениями, неистово лая на все, что встречалось на его пути. Сделав несколько кругов, вернулся ко мне. Не знаю, верно ли я понял его, но мне показалось: Бобка хотел сказать, что не узнает

прежнего места, не может понять — что же произошло, где ему теперь искать Витьку.

Я с грустью смотрел на несчастного Бобку, не будучи в силах ни помочь ему, ни объяснить. Мимо текли мутные воды, в которых невозможно было узнать прежней речки. Ни единой гальки нельзя теперь разглядеть на ее дне. Поверху плыли маслянистые мазутные пятна. В радужной пленке, которая распространялась вокруг них, отражалось блеклое небо, расплосованное следами реактивных самолетов.

Похоже, что Бобке сильно хотелось пить. Он спускался к воде, смотрел на нее, нюхал, но попробовать не отваживался. Незнакомый запах и цвет отпугивал его.

Измученный, он сел на камни и, задрав морду, протяжно завыл. Я подошел ближе, сознавая, что ничем не смогу утешить его. Так же, как он, с недоумением глядел на текущую речку. Невозможно поверить, что когда-то сквозь воду можно было различить каждую отдельную песчинку, что в речных заводях, серебристо посверкивая чешуей, собирались стаи мальков, которые пугливо шарахались, если чья-нибудь тень тревожила их.

Мне хотелось опуститься на землю рядом с Бобкой и вместе с ним безутешно завывать.

1989

Философский камень

Повальное увлечение редкими камнями охватило нас после знакомства с минералогическим музеем. Это случилось на первой лекции Анатолия Васильевича Сидорова. Началась лекция в актовом зале Иркутского горно-металлургического института, кончилась в музее.

Начало было как начало. Пришел лектор, указанный в расписании доцент А. В. Сидоров. Средний рост, плотная фигура, сродни медвежьей, крупное лицо, короткая стрижка с серебряными искорками, хорошо сшитый коричневый костюм, трубка в зубах.

— Сплошные формулы будут и сингонии! — объявил нам перед лекцией всезнающий очкарик Вовка Зуев.

А минералог пришел с томиком, на котором золотыми буквами было вытиснено: «А. Куприн».

— Если посмотреть на историю человечества с точки зрения минералогга, — начал Сидоров лекцию, — то увидишь, что человеческая жизнь связана с минералами самыми неразрывными узами... Человек и поклоняется камню, и носит его в организме, и воспеваает его свойства. — Он раскрыл томик Куприна и стал читать своим неторопливым приглушенным голосом: — «Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распутившиеся в лесах у подножия Ливийских гор, — аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персевольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз, оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, бериллий — средство от бельма и проказы, добрый спутник странников; и разноцветный агат — носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения...»

Машкин Геннадий Николаевич (13 марта 1936, Хабаровск — 23 января 2005, Иркутск), прозаик. Член Союза писателей России. Автор книг «Синее море, белый пароход», «Открытие», «Егор, сын охотника», «Письменная работа», «Таинственные Лены берега» и др.

Сидоров захлопнул книгу и пыхнул пряным дымком.

— Но свойства всех камней, — продолжал странный лектор, — соединял в себе минерал минералов — философский камень. Этот камень обладает волшебной способностью превращать обыкновенные обломки в золото и драгоценности, заурядное — в выдающееся, болезнь — в здоровье, несчастье — в счастье...

— Сказочки! — подал реплику Вовка Зуев.

— Конечно, — усмехнулся Сидоров, — только ковер-самолет тоже был когда-то сказкой... — И он показал трубкой на потолок.

В зал доносились хлопки реактивного самолета, берушего звуковой барьер.

Пока мы прислушивались к гулу над городом, Сидоров набил трубку табаком и сказал:

— Ну, а дальше продолжим лекцию в музее, чтоб убедительней было...

Он двинулся в коридор, а мы потянулись за ним. В сумраке вспыхивал огонек трубки. Минералог вел нас по длинным и темным переходам старинного здания. Мы шли как будто бы в преисподнюю. Наконец остановились перед дверями, над которыми висела скромная табличка: «Минералогический музей».

— Милости прошу, — пригласил Сидоров, распахивая дверь.

Мы замерли, ослепленные. Мы и не представляли, какие откроются нам сокровища в этом полуподвальном помещении.

Под стеклом витрин, на открытых стеллажах и подставках играли всеми цветами радуги минералы планеты Земля.

— Пройдитесь по музею, — предложил нам хозяин, — приглядитесь внимательней, познакомьтесь с образцами...

Сидоров заговорил о своих камнях, как о старых приятелях. И все кинулись знакомиться с кладовой редких камней и минералов.

Передо мной оказался огромный плоский кристалл белой слюды — мусковита. Мельком я прочитал в маленькой табличке рядом с кристаллом, что это дар геолога Тумольского.

— Золото! — крикнул Вовка Зуев, и я ринулся к дальней витрине.

— Самородки с Лены!

— Муляжи... а я думал — настоящие...

— Настоящие в ход пошли давно...

А я заметил на другой стороне под стеклом кварцевый обломок с золотым прожилочком.

— Вот оно, настоящее, коренное! — показал я. — Восточный Саян.

Вся Вовкина группа перебежала ко мне. А с других концов зала неслись восклицания:

— Какие гранаты, девочки!

— Роза и роза! Будто выросла из мрамора!

— Ребята, сюда — целая пещера самоцветов!

— Нашел лазурит!

— Вот он — малахит!

Я оглянулся на Сидорова. Наш декан следил за нами вприщур с едва заметной улыбкой: «Ищите, ищите лучше... Здесь есть все, что душе угодно...»

И я бросился искать.

Мне совсем ничего не говорили таблички со словами «дар» и фамилиями тех, кто дарил: А. Друляев, В. С. Петухов, Г. Н. Киселев, В. Г. Игнатьев... Я больше обращал внимание на этикетки: «турмалин», «эритрин», «волластанит», «сильвин»... Красивые звучные названия. Мы пришли на геофак, начитавшись «Занимательной минералогии» Ферсмана. Но тут был такой карнавал камней, в котором сориентироваться первокурснику не под силу. А очень хотелось побыстрее разобраться в минералогии, чтобы узнать, не скрыто ли в ней на самом деле такое чудо, которое может сразу осчастливить человека.

Надоели военная и послевоенная нужда, жизнь в бараках, личные огороды, мелкие ссоры родителей и соседей, поросята, курицы, козы — все эти вечные спутники жителей пригорода. Наука изменит жизнь каждого из нас и жизнь всего окружения, в этом никто из нас не сомневался. И мы рьяно вчитывались в страницы учебников и книг, копали картошку, а потом опять занимались, нянчили младших, затем садились решать задачи, пасли коз и коров, повторяя бином Ньютона. Наука была нашим маяком. Наиболее сильные из нас упорно плыли к заветной гавани, где ждали детей войны изобилие, радостная жизнь и высокое творчество.

Мы неплохо окончили среднюю школу. Поступили в институт, периферийный, но все же храм науки. «Пусть вуз провинциальный, — думал я, — зато факультет геологический. Со студенческой скамьи — сразу в тайгу! Разведка, поиск, палатки, рюкзаки, загорелые лица, меховые куртки, открытия и премии за них, жизнь, не замутненная никакими мелкими заботами, все высокое, чистое, суровое... Прощай, родная Селивановка, пусть старики да те, кто мне помог вытянуть институт, живут в твоей непролазной грязи. А меня ждет романтика таежных кочевий, научные изыскания и ветер дальних странствий».

Правда, надо было еще пять лет ходить из Селивановки в центр города и возвращаться обратно в наш покосившийся барак. Перейти бы в общежитие, но тут целое столпотворение — иногородним не хватает койкомест. Да и общежития — бараки на 5-й Советской, точно такие, как наш в Селивановке. Нет, ждать еще долго заветной гавани. Нельзя ли приблизить светлое будущее? Отыскать такой волшебный ключик, а еще лучше тут же, в Селивановке, найти золотой самородок. И тогда все преобразится прямо сейчас! Заасфальтируют улицы, на месте барачков построят новые светлые дома с паровым отоплением и горячей водой, полки магазинов наполнятся дефицитными товарами и продуктами. Я много думал о таком

волшебном средстве, хотя и понимал, что это — всего лишь детские грезы. Знал и о философском камне. Но считал его утопией, пока не попал в музей Сидорова. «В природе есть все, — подумал я. — И если уже в древности искали философский камень, так почему бы его не найти геологам? Нашли же уран, когда он потребовался человеку, целые месторождения нашли... — И фантазия, подстегнутая сверкающими самоцветами, погнала меня по музею от витрины к витрине. — А не лежит ли себе без дела какой-нибудь маленький обломок философского камня здесь? И даже сам хозяин музея не догадывается о его волшебных свойствах...»

И я торопился от витрины к витрине: нефрит, мрамор, апатит, топаз, хризоколла... Все это очень важные минералы для человека, но мне нужен главный, самый главный минерал, минерал всех минералов!.. Золотистый пирит, халькопирит, блеклая руда, сизый графит, кроваво-красный киноварь...

Вот целая полка уральских яшм. На полированных поверхностях сложные рисунки: отчетливо проступает вулканический конус, над ним багровая туча, на склонах текущая лава; здесь бурное море, одинокий парус и дальняя полоска берега; вот палаточный город в тайге; здесь какое-то смешение гнусных физиономий в снежном вихре, будто иллюстрация к пушкинским «Бесам»; а это зловещие взрывы грибовидной формы; дальше — странный светящийся мир, затем уж совсем непонятная чертовщина...

Как все это нарисовано природой? Зачем? Можно так обточить яшму, а можно в другой плоскости, и везде будет свой неповторимый и удивительный рисунок.

«Природа не только гениальный художник, она и гениальный волшебник!» — с этой мыслью я снова бросался вдоль витрин в поисках философского камня.

Перед моим взором, наконец-то, мелькнуло слово «камень». «Еврейский камень»! На белой гладкой поверхности, будто на странице древнего манускрипта, какие-то письмена, похожие на древнехалдейские иероглифы. Неужели это писала природа? Какой смысл заключен в этом письме?

— Пожалуй, продолжим, друзья, разговор о минералах, — раздался голос Сидорова, и пришлось возвратиться к нему. — Сегодня хочется рассказать вам, как попали в этот музей некоторые камни.

Он вперевалячку пошел вдоль стеллажей, останавливался то возле одного образца, то возле другого, словно мысленно разговаривал с камнями.

— Вот эту горку из самоцветов, — показал он трубкой на фантастическую слепку разноцветных камней, — составил один из декабристов. Что он хотел выразить такой слепкой — непонятно. Эту горку купил у него купец Трапезников. А его имущество было конфисковано после революции...

Сидоров пошел дальше и вдруг резко остановился возле кварцевого штуфа с золотым прожилком.

— А этот образец тоже имеет солидный возраст. Он пролежал долгое вре-

мя в архивах геологоуправления как залог одной пропавшей экспедиции...

Задумался, склонил свою массивную голову, как перед памятником.

— Это случилось в годы Гражданской войны в Сибири. Поручик Никитин, бывший выпускник геологического факультета Томского университета, мобилизованный Колчаком, отступал с остатками полка через Саяны в Монголию. Отряд поднимался по рекам, покрытым ледяным панцирем. Под копытами лошадей гудели пустоты, обозы проваливались в эти ловушки, обмороженные люди будили эту заснеженную хмурую неприступную горную страну криками и руганью. Страх перед красными частями и партизанскими соединениями гнал разбитый отряд на горные кряжи к границе, а тоска по родной земле заставляла оглядываться назад. И если бы оставалась надежда выжить между пулями своих и красных, многие бы свернули в эту лазейку. Но считалось, что этой надежды не может быть.

Только поручик Никитин видел способ вернуться назад. В его коченеющем сознании билась нелепая мысль о чуде. Если бы у него вдруг оказался ценный клад, то Никитин поступил бы просто. Он не хотел больше войны. Он желал купить себе право оставаться гражданином этой истерзанной земли, что называется Россией. Он бы жил на ней, работал и не лез ни в какую политику. Слава богу, ему есть что предложить Советам: свое знание горного дела, диплом с отличием, наконец. Но для начала нужен клад!

С такими мыслями поручик шагал по гулкому льду, мимо скалистых прижимов, сжимающих с каждым днем все больше и больше свои объятия. Никитин глядел по сторонам, мысленно отмечая смену пород, выделяя дайки, жилы, следы оруденения. Отупев от невзгод, голода и мороза, он жадно надеялся на чудо, как заклинание повторяя про себя: «Сезам, откройся!.. Откройся, Сезам!»

И чудо свершилось.

Однажды он заметил соломенно-желтые крапинки в полузасыпанной кварцевой жиле. Протер глаза — крапинки не исчезли. «Не может быть... не может быть...» — пробормотал он сухими обветренными губами.

Успокаивая сердце, Никитин присел, будто по нужде, а сам оглядывал жилу, примечая новые ответвления. «Это спасение, — шарахнула его мысль. — Не хуже клада монет... Это цена моей свободы! Здесь же целое месторождение золота!»

Он выждал, пока отряд пройдет. Потом выбрал несколько увесистых кусков кварца с золотом и бросился назад.

По протоптанной дороге бежалось быстро. Никитину посчастливилось пройти беспрепятственно мимо партизанских отрядов, отступающих колчаковских частей и белочехов. И так он с золотом пришел в Иркутск. В Иркутске поручик Никитин явился в губревком и вывалил на стол председателя свои камни.

— Прошу дать мне жизнь и свободу взамен месторождения золота, — объяснил он.

— Сначала разберемся, кто вы есть, — ответил ему председатель, — а потом решим и с остальным.

Пришлось посидеть Никитину, пока чекисты разбирались в биографии бывшего поручика. Тяжкой вины обнаружено не было, и геологу предложили возглавить поисковый отряд с тем, чтобы разведать открытые им запасы золота.

Поблагодарив за доверие, Никитин повел свой поисковый отряд в Саяны. И будто в воду канула вся экспедиция. Ничего не осталось от Никитина, кроме единственного образца. Но этот кусок кварца с золотом не давал покоя многим геологам. И в конце концов в тех местах, которые описывал в своих рассказах бывший колчаковский поручик, нашли богатое месторождение.

— А отряд куда делся? — вырвалось у Вовки Зуева.

— Следы отряда были обнаружены в зимовье возле Пионерки, — ответил, помедлив, Сидоров. — Все были перебиты... Как видно, нарвался на остатки колчаковских банд...

Сидоров пошел дальше, хмурая белесые брови, а мы, как примагниченные, двинулись за ним.

— А этот с виду невзрачный образчик, — Сидоров показал на кусок блекло-синей породы с белыми пузырчатыми вкрапинками, — кимберлит... Та самая порода, что заполняет алмазоносные трубки в Южной Америке, а теперь, как оказалось, и у нас в Якутии. Так вот, данный кусок кимберлита доставлен в музей друзьями геолога Карцева, который заблудился в якутской тайге в тридцатом году. Тогда еще не было ни вертолетов, ни раций, ни добрых карт. Он вышел через месяц к Лене и умер на берегу, зажав в кулаке этот кусок кимберлита.

Сидоров умолк, задумался, забыл о нас. Вздохнул о чем-то своем и стал продолжать лекцию неторопливым голосом:

— Вот эти камни привезены во время войны из Богемии... А здесь вы видите уже дар гостей из-за рубежа. Шамозит привез нам Клаус Элер, нефрит преподнес лесопромышленник Кецис.

И опять наш лектор надолго умолк, раскуривая трубку с такой силой, будто хотел сжечь весь табак в одну затяжку.

Я краем глаза увидел, как под шумок протянулась рука Зуева к лотку с не разобранными «дарами», ухватила зеленовато-синий кристалл апатита и унесла его в карман вельветового пиджака.

Признаться, мне тоже хотелось запастись образцом на память. Но показалось, что Вовкино приобретение не ускользнуло от полуприщуренных глаз доцента.

— И вот о чем бы мне хотелось вас предупредить, мои юные друзья, —

улыбнулся Сидоров. — По опыту знаю, сейчас у вас начнется минералогическая лихорадка. Вы будете надеяться, что к концу вашей учебы эти коллекции перекочат в музей. Ибо, считаю я, таить у себя дома минералы — все равно, что закрывать себе доступ к философскому камню...

По коридорам разнесся звонок, и мы пошли из музея. Но камни не решились всюду. И глаза выискивали теперь любую каменную мелочь в облицовке здания, в лепке, в плитах на полу. И уж если попадался редкий камешек, расстаться с ним не было сил.

После нескольких экскурсий в музей минералогии мы забыли об угрозах, которые слали на головы частным коллекционерам. Сами становились частниками. Слонялись по улицам в надежде отколоть где-нибудь кусочек редкого минерала, отмечая, из чего сделаны пьедесталы памятников и сами памятники, а также колонны, фризы, капители старинных домов, каких немало в Иркутске.

Когда начали сносить Иерусалимское кладбище, наши коллекции пополнились отменными кусками лабрадорита, редких сортов гранита и мрамора.

Выехав на воскресник на стройку ГЭС, мы обнаружили в котловане глыбы, привезенные из Слюдянского карьера. Эти глыбы состояли из мрамора, в котором были заключены великолепные кристаллы флогопита, апатита и байкалита. Мы набросились на эти глыбы с теми кайлами и лопатами, что выдали нам для работы. Пользы от нас ГЭС получила немного. Зато мы возвратились с полными карманами минералов.

Сидоров только покачивал головой, замечая нехороший блеск в наших глазах при виде редкого кристалла. Иногда кристаллы пропадали из музея. Хозяин мужественно сносил это воровство. Мы с лихвой окупали свою нездоровую страсть знанием минералогии. Тройка у Сидорова была редкостью. А давал он сам нам определять такие кристаллики, которых не было и на стендах музея. У него привычка приносить на экзамены редкие минералы прямо в карманах. Экзаменационный листок — это поддела. А вот когда минералог вынимает из кармана камешек — тут трепещи! Наверняка о таком минерале ты только читал в литературе, а видишь — впервые. И нужно по внешнему виду определить минерал, назвать его формулу и физические свойства.

Помню, как декан вынул из нагрудного кармана маленький коричневый камешек. В голове будто перелистнулся большой том «Минералогии» Бетехтина.

— Виллоит, — догадался я, — разновидность везувиана, встречается только в Якутии, тетрагональная сингония, кристаллы представляют комбинацию двух тетрагональных призм и дипирамид...

— Молодец, — сказал Сидоров и поставил в зачетной книжке «отлично». — Едешь-то практиковаться на саянские пегматиты?

Я кивнул.

— Не забудь привезти для музея образцы...

— Не забуду! — пообещал я, отводя глаза.

Я подумал, едва ли смогу что-то выделить для музея. Очень много заказов поступило от моих товарищей. Они обещали мне привезти образцы, а я должен был взамен наделить их моими находками. Но много ли вывезешь из Саян?

Тогда я еще не знал, что такое Саяны. Первые наши учебные практики проходили под Иркутском. А Саяны встретили сурово. Веяло холодом со снежных хребтов, хлестали колючие ветки наотмашь по лицу, исчезала тропа под ногами, засасывали мари. Зато за месяцы практики я набил рюкзак свой так, что еле поднял, когда настала пора выходить из тайги. И этот рюкзак чуть не стал последним в моей жизни. Надо было завьючить его на лошадь, хотя бы при переходе через Урик. Но опасно было препоручать неуклюжему возчику Нечкину драгоценный хрупкий груз.

Я пошел через быстрый Урик последним, сбился с брода, и рюкзак потащил меня в улово. Я силился сбросить с себя тяжелый груз. Но лямки врезались в плечи. В светлой воде я видел приближающееся дно. Разноцветные валуны расплывались перед глазами. Вот-вот рюкзак должен был навечно припечатать меня ко дну. Но тут я увидел на дне рядом с собой тень. И сразу рюкзак перестал давить. Чьи-то руки рванули с меня вещмешок, и я вынырнул на поверхность.

Нечкин выволакивал на берег мой рюкзак.

— Осторожно! — вгорячах закричал я. — Там кристаллы.

— Чокнутый! — обозвал меня Нечкин. — Из-за каких-то камней утонуть мог!

— Не из-за каких-то, а из-за редких минералов.

— Фу ты, черт, и напридумают же эти геологи. — Нечкин сплюнул сквозь рыжие зубы и ткнул в мой груз сплюснутым носком сапога. — Ну, а теперь-то на лошадь перегрузишь свои перлы?

Я покрутил головой и подставил возчику спину, чтобы он помог мне загрузиться. И потянулся за лошадьми по стокилометровой тропе. И чем дальше уходил от Урика, тем больше задумывался над случившимся. Из-за нескольких редких камней я чуть не утонул. И ради чего рисковал? Чтобы сбить собственную коллекцию! Музея мне никогда не перехлестнуть, хоть десять раз тони в горных речках. Так не лучше ли принести самые отборные камни в музей, а мелочь всю выбросить?

И на первом же перевале я облегчил свой рюкзак.

Оставленные лучшие кристаллы я принес Сидорову для музея.

Однокурсники не удивились такому обороту. Как-то сразу после производственной практики поубавилось охотников коллекционировать минералы на дому. Наверное, со многими произошло что-то такое, как со мной на Урике. Мы задумались над смыслом собирательства. Сидоров заметил перемену и стал помогать нам дойти до своих позиций в этом деле.

Он возглавил музей, в котором насчитывалось три тысячи образцов пород и минералов. К нашему выпуску 1959 года музей располагал пятнадцатью тысячами экспонатов. Сейчас в нем уже более тридцати тысяч удивительных минералов. И немало этих образцов доставлено моими однокашниками.

С первой производственной практики на полках музея стали оседать наши дары. К пятому курсу большинство частных кристаллов перекочевало в музей. Вовка Зуев вернул не только унесенный когда-то апатит, но и подарил музею все свое довольно богатое собрание.

И как отраднo становится на душе, когда ты, проезжая в отпуск через Иркутск, приехав сюда из тайги на защиту проекта или диссертации, заходишь в музей теперь уже нового, громадного политехнического института, раскинувшего свой корпус на левом берегу Ангары. Идешь мимо знакомых витрин и как со старыми друзьями встречаешься с минералами. Замечаешь новинки, читаешь имена незнакомых людей, которые продолжают добрую традицию — приносят в наш музей каменные дары редкостной красоты. Воочию видишь, что философский камень — не такая уж и легенда. Это красота, запечатленная природой в камне, собранная людьми в одну общую коллекцию. И эта удивительная мозаика неотразимо действует на души людей. А возвысить душу человека труднее, да и поважнее, чем обставить его быт самыми красивыми, дорогими и уникальными вещами. Мы стали понимать это благодаря Анатолию Васильевичу Сидорову.

Когда-то неистово собиравшие собственные коллекции теперь участвуют в большом добром деле. Разве это не есть волшебное превращение? Вовка Зуев, ныне Владимир Миронович, прислал из Якутии образцы кимберлитов. Рядом с другими дарами имена Г. Мехедова, Е. Васильева, И. Полетаева, Ю. Усикова, Ж. Карповой... Многие продолжают по крупицам собирать философский камень по методу Сидорова. А сам хозяин музея не забывает напоминать каждый раз, чтобы мы не успокаивались, пополняли нашу общую коллекцию.

Мы приходим к нему в музей, и он, как прежде, ведет нас вдоль витрин, все тот же неутомимый искатель и собиратель разумного, доброго, вечного и прекрасного.

А потом с мудрой лукавиной в углах рта раскрывает книгу отзывов. В этой толстой книжке много восторженных слов на самых разных языках, от английского до японского. Есть отзывы в стихах. И нам, ученикам сибирского камнелюба, хочется подписаться под этими бесхитростными стихами, идущими от души и благодарного сердца. Такими, как у геолога Копышева:

Хранитель чудной красоты
И камня редкостный ценитель,
Презрев награды и посты,
Создал прекрасную обитель!

1976

Иркутск Александра Вампилова

Сегодня многим из нас, знавшим Александра Вампилова, кажется, что о нем известно все. Знаем, наверное, многое потому, что, как всякий большой художник, он с открытым сердцем шел к читателю и зрителю, был искренен. Однако стоило прикоснуться к памятным местам Иркутска, связанным с именем драматурга или вошедшим в качестве достовернейших примет времени в его творчество, как открывается много еще не перелистанных страниц его биографии.

Начнем хотя бы с того, что, создав крупные пьесы, зная цену написанному («Утиной охоте» драматург придавал большое значение и был поражен, с каким непониманием ее встретили), он вынашивал планы обратиться к большой прозе. Задолго до того, как были признаны «Прощание в июне» и «Старший сын», просил мать — Анастасию Прокопьевну Копылову — записать свою биографию. У А. Вампилова были все основания считать историю семьи фактом большой и трудной биографии эпохи. И если попытаться пройти по памятным местам города, откроются пусть и не все, но некоторые важные ее страницы.

Саша вырос в притрактовом селе Кутулик, но городом его судьбы стал Иркутск. Многие, очень многие места города хранят память о нем, не забыли его мягкой походки, его загадочной улыбки.

О поселке Кутулик драматург рассказал в очерках, но тем не менее важно подчеркнуть, что отсюда, с этих мест, приютившихся у Московского тракта, начинается семейное предание. Прадед драматурга по материнской линии Африкан Федорович Медведев был сослан в Кутулик на поселение. Детали семейного предания размыты временем, сейчас уже не восстановить обстоятельств, при которых был убит помещик, на службе у

Тендитник Надежда Степановна (7 марта 1922, ст. Слюдянка Иркутской области — 11 ноября 2003, Иркутск), кандидат филологических наук, профессор, литературовед, литературный критик. Член Союза писателей России. Автор книг «Мастера», «Валентин Распутин», «Энергия писательского сердца» и др.

которого был прадед драматурга. Расплачивались за это многие, виновные и непричастные. В Кутулике А. Ф. Медведеву и суждено было остаться до конца дней.

В семье помнят, что Африкан Федорович был любителем театра и музыки. Здесь долго хранилась реликвия — гитара, на которой он играл.

С давних пор Кутулик стал местом, где жили и трудились многие представители этой семьи: бабушка А. Вампилова Александра Африкановна, мать драматурга и его отец Валентин Никитич. Сюда наезжали и подолгу жили сестры Анастасии Прокопьевны.

Что же касается иркутской истории семьи, то она начинается в памятном и любимом районе города — ныне площади Кирова. Эти исторические места можно без преувеличения назвать колыбелью рода, его щедрой почвой.

А Вампилов был сыном своей матери, ее мир волновал драматурга, и оснований для этого было немало. Анастасия Прокопьевна родилась в начале века, и его бурные потрясения оставили неизгладимый отпечаток в ее судьбе.

Детство А. П. Копыловой не назовешь безмятежным — всю Россию потрясали события первой русской революции. Но вместе с тем среда обитания оставалась особенной.

Дом, где жили Копыловы, гимназия, в которой учились, место детских игр и забав — Тихвинская площадь, окруженная со всех сторон седыми памятниками старины. Казанский кафедральный собор, выполненный в византийском стиле, Тихвинская и Спасская церкви, собор Богоявления, своим величием напоминавшие о подъеме национального духа в начале XVIII века, Московские ворота, возведенные в 1811 году, накануне великих потрясений, не могли не влиять на воспитание вкуса и патриотической гордости.

Дом отца Анастасии Прокопьевны приютился в старинном историческом месте: начало Амурской (Ленина), Мыльниковской (ныне Чкалова) и Спасолютеранской (Сурикова) улиц. Он был окружен Спасским парком, остатки которого видны около Вечного огня, отсюда рукой подать до гимназии (здание пединститута на ул. Желябова). Зимой для детей здесь устраивался роскошный каток. Торговые ряды, венчания в Тихвинской церкви, скопления людей около дома городской управы (ныне корпус биолого-почвенного факультета) — все было исполнено духом близящихся перемен. И они не заставили долго ждать. Декабрь 1917 года был особенно памятным.

Горячей и беспощадной была схватка миров. В ней кристаллизовался характер будущей учительницы, сумевшей воспитать в детях патриотическое сознание, высокое достоинство. Нет, не случайно А. Вампилов питал глубокую и трепетную любовь к матери, уважение к ее нелегкой судьбе.

Когда он ей говорил: «А ведь ты не верила в меня, мама», или когда написал на дарственной книге «Старший сын»: «Дорогой маме от младшего сына», он подчеркивал свое право быть духовным наследником семьи.

Крутой волей и недюжинными способностями оратора и педагога был наделен дед драматурга Прокопий Георгиевич Копылов. Он вырос в семье кимильтейского крестьянина, но собрался с силами, получил высшее образование, обеспечившее ему пост священника в кафедральном соборе и должность учителя гимназии. Старожилы города помнят его и поныне. Прокопий Георгиевич был отцом большой семьи. Девять детей росли в ней, получая отличное по тем временам образование и воспитание. Бабушка А. Вампилова Александра Африкановна Медведева получила образование в епархиальном училище, имела в 17 лет высокое по тем временам звание домашней учительницы. Как оно ей пригодились! И не только в собственной семье, но и в семье дочери — Анастасии Прокопьевны, где она поселилась после 1937 года и прожила до глубокой старости. Она многое сделала для воспитания внуков. Любовь к музыке и классике была у А. Вампилова привита с раннего детства. Ее прах покоится недалеко от ранней могилы драматурга на Радищевском кладбище.

Семью Прокопия Георгиевича, как и его самого, не обошли бури времени. Двое сыновей — Михаил и Юрий — погибли в годы Гражданской войны. Татьяна и Анастасия, ставшие учительницами, пережили немало сложностей, связанных с перестройкой старого гимназического образования в новое, доступное широкой массе трудящихся. Охотоведы, инженеры-строители, врачи — таков путь семьи, активно потрудившейся в условиях нового строя.

Когда у Саши появилась возможность в детстве наезжать в Иркутск, уже не было ни дедовского дома, ни окружавшего его большого сада. Не было уже и многих памятников города. Саша с матерью останавливался у дяди — Иннокентия Прокопьевича Копылова, в домике на улице Франк-Каменецкого, 28. Район этот ныне сильно изменился, а был тоже по-своему заповедным. Когда-то улица эта называлась Мяснорядской, на ней шла бойкая торговля, а до самой Ушаковки простирался большой Интендантский сад. Кто знает, какие впечатления откладывались в душе от этих поездок? Может, здесь в своем безотцовском детстве он впервые познал мужскую опеку и дружбу? Иннокентий Прокопьевич, известный охотовед, был большим любителем и защитником природы. Его сын — Игорь, хотя и был намного старше Саши, много времени уделял брату. Дядя и двоюродный брат пережили много трудного. Когда Игорю было всего 10 лет, умерла его сестра, мать, не преодолев горя, застрелилась на ее могиле. Саша сочувственно и любовно относился к осиротевшей семье дяди, был в ней своим.

Проходя и сегодня мимо дома на Франк-Каменецкого, нетрудно пред-

ставить, какие впечатления отразились в таком вот зимней пейзаже: «Море снега, заунывно ровное, мертвое море, «оцепеневшая» дорога, освещаемая «маленькой тусклой луной». «Озябшая, жалкая, она, кажется, ждет не дождется конца своего дежурства» (рассказ «Сугробы») — так мог видеть мир человек, глубоко чувствующий.

Болевыми были воспоминания А. Вампилова об отце. Помнить его он не мог — отца не стало, когда Саше минуло всего пять месяцев. Но знал он о нем все. Зная, не мог не гордиться. Ведь этот человек, родившийся в семье аларского крестьянина, сумел многого добиться. Это был прекрасный педагог-словесник, горячий, искренний, увлекающийся человек, наделенный острым чувством социальной справедливости. Не примирившись с незаконным арестом одного из учителей, поехал хлопотать за него в Иркутск и сам оказался на подозрении. Несчастье случилось зимой 1937 года, а раньше, летом этого года, в письмах к жене, лежавшей в родильном доме г. Черемхово, он писал о своем предчувствии, что у них родится сын, что, наверное, судьба у него будет необычной, возможно — писательской, что снились ему и Л. Н. Толстой, и А. М. Горький. Последний на совместной охоте в знак благорасположения подарил полмешка пороху.

Не будем считать это мистикой. В трудные моменты истории и судьбы человек начинает видеть мир острее, пронизательнее, способен на предвидения. Именно это имел в виду В. Шукшин, когда опубликовал вещи сны своей матери, словно предсказавшей судьбу мужа перед уходом на фронт.

Предчувствие необыкновенной судьбы своего последнего ребенка было самым светлым в последних днях Валентина Никитича.

Смутным декабрьским днем приехала за ним кошевка (вид саней, обитых кошмой), за которой погнался в детском отчаянии старший Сашин брат Михаил...

Но вернемся в Иркутск.

В жаркие летние дни 1954 года Саша сдавал вступительные экзамены на историко-филологический факультет Иркутского государственного университета им. А. А. Жданова. Университет тогда полностью размещался в старинном историческом здании города. Построил его в 1869 году архитектор Александр Евграфович Разгильдеев, сын казачьего офицера, закончивший курс Академии художеств, имевший звание академика и подаривший городу ряд зданий на улице К. Маркса. Здание в разное время именовалось и институтом Николая Первого, и пансионом благородных девиц, а в 1918 году в нем был открыт университет.

В 1954 году А. Вампилов не поступил на историко-филологический факультет — не хватило знаний по немецкому языку. Но после упорных занятий в 1955 году стал студентом. Осенью этого года, после колхозной студенческой страды, познакомился с В. Распутиным, так что учеба в уни-

верситете и последующие годы были временем прочной дружбы и подлинного духовного братства.

В старом корпусе университета до декабря 1986 года еще сохранялась 64-я аудитория, где шли занятия у филологов. Она была выстроена в форме полуамфитеатра и никогда не пустовала. Не могу не вспомнить здесь, как однажды увидела в последнем ряду на лекции по древнерусской литературе сидящих рядом В. Распутина и А. Вампилова. Они, особенно Саша, лукаво улыбались и оживленно разговаривали. Не знаю, но почему-то не сделала им замечания. Отнесла их поведение на счет своей преподавательской неопытности. На факультет ведь пришла только в 1954 году. И еще деталь: на юбилее В. И. Мариной, который отмечался в Доме писателей на ул. 5-й Армии (это здание снесено), В. Распутин и А. Вампилов подошли ко мне, и Саша сказал: «Мы вас любим, Надежда Степановна, — и, уловив смущение или недоумение, добавил: — Теперь любим...» Не мог он сказать неправды. Тем дороже была искренность. Однажды он заметил: «Вы открыли мне Бунина».

Памятным местом Иркутска, связанным с именем А. Вампилова, останется здание на ул. Карла Маркса. С улицы 4-й Красноармейской был вход в редакцию газеты «Советская молодежь». Сюда будущий писатель пришел еще в студенческие годы. Было искушение попробовать себя в творчестве, а также материальные соображения: нужно было привыкать к самостоятельным заработкам.

Здесь и начался путь в большую литературу. Журналистские поездки, общение с людьми разных профессий, горячие споры в редакции многое определили в судьбе А. Вампилова.

Поскольку необходимый для писательства опыт был невелик, учиться жизни и творчеству предстояло одновременно. Как тут не вспомнить Анну Ахматову, воскликнувшую когда-то по этому поводу:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Оказывается, все годится как строительный материал: и «запах дегтя свежий», и «сердитый окрик», и «таинственная плесень на стене», и задумчивая тишина ночи. Все, все берет писатель у «жизни лукавой». Почему-то именно эти стихи вспомнились, когда впервые попала мне в руки рукопись одного из юношеских рассказов А. Вампилова — «Сумочка к ребру». Глянув на рукопись рассказа, вспомнила о поразившем разговоре: «Какие рукописи у Вампилова! Он делал правку своих рассказов прямо на газетном листе!» Это сказал человек, бережно и трепетно относящийся к дра-

матургу! Сразу возразить на это было трудно. Не попадали в руки и варианты его работ. И вот удача: редактор иркутской студии телевидения Валентина Молчанова показала одну из них. Рукопись рассказа «Сумочка к ребру» сохранилась у нее с тех давних времен, когда студент филфака ИГУ Саша Вампилов приходил в редакцию многотиражной газеты «Иркутский университет» и застенчиво оставлял для печати свои первые опыты. Будучи секретарем редакции, В. Молчанова перепечатывала их, готовя к публикации. Саша, не страдая манией величия, просто оставлял черновики в редакции, и вот мы их видим, уже тронутые временем, слегка пожелтевшие. Свидетели напряженного труда, эти рукописи указывают и на вдохновенную учебу у жизни.

Как известно, в рассказ «Сумочка к ребру» включены стихи:

Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил, словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру.

Эти «стихи» показала однажды молодым начинающим писателям Елена Жилкина. Л. Красовский, активно работавший в те годы в газете, вспоминал:

«Ребята! — простонала Елена Викторовна, хватаясь за горло. — Мне дурно. Вы только послушайте! — Мы все посмеялись, а Вампилов написал замечательный рассказ».

Наделенный прекрасным чувством юмора, Саша, едва сам взявшийся за перо, был беспощаден к ремесленничеству. Стихи незадачливого автора подтолкнули к работе. Три типа графоманов — Рассветов, Гонорарьев и дембель, автор рукописи «Три года в строю», изображены в тонах юмористических, мягких, но вместе с тем с той редкостной определенностью, которая не допускает разночтений. Литературный консультант Владимир Петрович не вынес напора этой публики, ушел из редакции.

Нас, однако, интересует сейчас характер авторской правки. Рукопись «Сумочка к ребру» указывает на «легкость» пера, но не в том смысле, что писатель творил на ходу. Это говорит о полной погруженности натуры в творческий процесс. В результате этого произведение ложится на лист сразу, может быть, в короткие мгновения, необходимые для написания рассказа из трех страниц. В основе своей именно поэтому он и не подвергался коренной правке (как, впрочем, было и с пьесами А. Вампилова, варианты которых в зависимости от исполнителей ролей бесчисленно много раз пересоздавались, а основа пьесы была всегда неизменной). Правка стилистическая в процессе работы всегда была значительной. Она указывает на редакторское чувство слова, на тщательность лепки характера, в котором главное отдано правде психологических состояний. Так, зафиксировав внимание чи-

тателя на ожесточении литконсультанта, увидевшего стихи Рассветова, он сначала написал: «Поспешно покинул кабинет. Сумерки. Сугробы посинели», а потом тут же выкинул пейзажную зарисовку. До этого ли в состоянии, когда ярость выталкивает из кабинета. В окончательном варианте читаем: «По дороге домой В. П. держался многолюдных и освещенных мест».

Писатель и в других случаях добивался усиления именно этой мысли. Вначале его литконсультант в ярости твердил рассветовские перлы, в конечном варианте они вычеркнуты и заменены изображением состояния души: «Я все-таки человек... у меня ребенок, еще могут быть дети...»

В этом же ключе шла правка семейной сцены. Заменяя слова «забеспокоилась» (речь идет о жене Владимира Петровича), «уложила» другими — «внимательно посмотрела», «увела», автор добивается главного: поняла, что с мужем случилось что-то нешуточное. Поняла и «набрала нужный номер телефона».

Правка рукописи дает наглядный урок превращения внешне комических эпизодов в ситуации, наполненные правдой душевных состояний.

Психология творчества — одна из самых загадочных сфер жизни человеческого духа. Здесь все непредсказуемо, неожиданно и парадоксально. У Анны Григорьевны Достоевской были, к примеру, все основания сказать, что толчком к написанию «Бесов» послужило будничное событие — приезд ее брата, И. Сниткина, всегда внушавшего писателю уважение и тревогу за его судьбу (политические волнения к началу 1870-х годов усилились). Читатели Ф. Достоевского знают, как разрастался круг событий и лиц, осмысленных в «Бесах», какую жгучую полемику он вобрал.

А. Вампилов не мог обойти в своем творчестве трагический этап нашей истории — войну. Специально к этой эпохе он не обращался, но судьба Сарафанова, история его одиночества указывает на неизбежные последствия великой трагедии. Из пьесы видно, какими хрупкими стали послевоенные отношения людей в семье, какими противоречивыми были связи отцов — детей.

Война не обошла ни одного семейного очага, в том числе и семьи Вампиловых. Ее косвенной жертвой стал брат Саши Володя, умерший в 1948 году шестнадцатилетним юношей. Был предельно ослаблен недоеданием и не справился с глубокой простудой (он провалился под лед местной речки в Кутулике). Больно отозвалась в сердце гибель двоюродного брата Игоря Копылова. По свидетельству родных, будучи еще школьником, Саша заинтересовался историей поселившейся в Кутулике после войны женщины по имени Аксинья, которая так и не сняла старой телогрейки и ватных брюк. О ней он собирался написать.

Когда зритель наблюдает драму семьи Хороших в пьесе «Прошлым летом в Чулимске», он понимает — А. Вампилов писал о последствиях войны на основе увиденного, пережитого и глубоко пережитого.

А теперь о самом трудном — об отношениях писателя с Иркутским областным драматическим театром. Складывались они в пору, когда творческий коллектив, когда-то прославленный и любимый публикой, вошел в полосу кризиса. Менялись режиссеры, была сильна инерция оглядки на столичные авторитеты. Как тут заметить и оценить юное дарование? Не удивительно, что здесь осудили и не приняли «Утиную охоту», отвергли поначалу и «Прощание в июне».

Впрочем, были и просветы. За пьесу «Старший сын» активно начала сражаться в конце 1960-х годов заведующая литературной частью Р. В. Курбатова. Подарив ей позднее свою книгу «Старший сын», А. Вампилов написал: «Уважаемой Раисе Васильевне Курбатовой, доброй волей которой эта пьеса пробилась к иркутскому театру и была поставлена. С благодарностью автор. 30 окт. 1970 г.»

Премьера «Старшего сына» в Иркутске была первой в истории этой пьесы — в 1969 году. Молодой драматург и режиссер В. Симоновский ставили ее с подъемом, увлеченно. Спектакль побил все рекорды долгожительства в наше быстротекущее время. Он прошел с успехом более 400 раз!

С горечью приходится отметить, что признанный во всей стране и далеко за пределами прославленный драматург не представлен в театре города по сей день.

С февраля 1966 года по лето 1967-го А. Вампилов учился в Москве на Высших литературных курсах. В Иркутск он привез книгу Н. Рубцова с красноречивой надписью («По-настоящему дорогому человеку на земле, без слов о твоём творчестве, которое будет судить классическая критика. Н. Рубцов») и стихи. Одно так и названо: «Саше», другое — «Саше Вампилову». Вот они:

Я подойду однажды к Толе
И так скажу я: — Анатолий!
Ты — Передреев, я — Рубцов,
Давай дружить, в конце концов.
Потом к Вампилову направлю
Свой поэтический набег.
Его люблю, его я славлю
И... отправляюсь на ночлег.

Стихотворение «Саше Вампилову» впоследствии переделано, и посвящение исчезло, но первоначально оно звучало так:

Я уплыву на парохоме,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком

Пойду по улице пешком —
И буду жить в своем
народе.

Неточность поэтической строфы здесь очевидна, переделки были необходимы, и с расширением темы «жить в своем народе» смысл посвящения вроде бы стал излишне камерным. Но мы-то знаем, кто вдохновил поэта. Жить в народе было главным для драматурга. Он умел говорить языком своих героев и боли и проблемы молодых чувствовал острее других. И все мечтал: пойду с записной книжкой туда, где базары, где вещевые рынки, где много людей. «Ведь среда — это мы с вами, — писал он в очерке «Прогулки по Кутулику». Среду, это неопределенное понятие, «никак нельзя привлечь к ответственности». Однако драматург верил в ее разум, к нему и к совести постоянно взывал.

Когда-то А. Куприн услышал от А. Чехова: «Ездите почаще в третьем классе. Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе», где можно услышать «замечательно интересные вещи».

Наш сложный, стремительный век скоростей лишь усиливал в драматурге чувство живой и ранимой природы. Не случайно даже низко павший Зилов стремился испытать в общении с ней очищение и свободу от себя. Вот что написал недавно в Иркутск хорошо знавший А. Вампилова журналист из Суздаля Владимир Белоногов, сделавший снимок в электричке Иркутск — Черемхово (А. Вампилов сидит с веткой кедра): «Снимок в электричке сделан летом 63-го или 64-го, скорее первое. Мы встретились с ним в Усолье. У меня что-то сорвалось с фотографированием, и я брел раздосадованный. У него тоже что-то не было большой жизнерадостности. По его предложению поехали на попутной машине к ближайшему леску. Кедр там не росли. Ветку подобрали. Ее кто-то обронил, или из грузовика какого выпала. Саша произнес короткую филиппику, обозвал тех людей, а ветку жалел. На станцию ее нес завернутой в куртку. В пустом вагоне аккуратно расправил иголки, за чем и сфотографирован».

Как и положено большому художнику, поэзию быта А. Вампилов обретал в самом быту. Потому и Иркутск вошел в его пьесы и прозу как живой и необходимый свидетель жизни героев. Он сам стал героем его произведений.

Герой «Старшего сына» Бусыгин жил в «общаге» мединститута, что и сейчас находится-здоровствует на улице Красного Восстания. А встреча с Сарафановым состоялась в предместье Ново-Мельников, которое нетрудно узнать по прошествии лет. Как сказано в ремарках, рядом с каменным зданием ютился «деревянный домик, с крыльцом и окном во двор». Там жила Макарская, предмет страстной любви Васеньки.

В пьесе «Прощание в июне» Колесов за дерзкую выходку против ректора университета отбывает арест на две недели на разборке ограды кладбища,

оказавшегося в черте города, рядом с городскими домами. Это тоже точная примета жизни Иркутска, на новом этапе мышления вынужденного восстанавливать порушенные реликвии.

Впечатляют такие приметы города, как церковь, упомянутая в «Утиной охоте». Речь идет о древнем и замечательном памятнике XIX века — Троицкой церкви. Если идти от фактов биографии, напротив нее жила однокурсница А. Вампилова по университету Людмила Добрачева, оставившая немалый след в биографии драматурга. Зилов, увлеченный Галиной, шутиливо звал ее повенчаться в этой церкви.

По многим улицам ходил писатель, во многих домах бывал, любил общение и людей. О нем многое мог бы поведать административный корпус ИГУ, в котором он учился, когда там размещался филологический факультет. Белый дом — здание Научной библиотеки, где часами просиживал за книгами, помещение издательства, находившееся тогда на ул. Горького, гостиницы города, принимавшие гостей — писателей, Театр юного зрителя, с актерами которого дружил...

В доме на Дальневосточной улице, которая скоро получит имя драматурга, он провел последние годы жизни. Здесь написана «Валентина», наброски пьесы «Несравненный Наконечников» и другие произведения. Здесь многое сохраняется в память о нем, кажется, и его мягкая походка еще слышна на лестнице. А ведь прошло уже 15 лет.

Горячо любил А. Вампилов Байкал и его окрестности. Здесь он часто бывал и мечтал купить дачу. Драматург не успел поселить здесь своих героев, но его собственная судьба оказалась связанной с озером навсегда. «Сердце, переставшее биться в водах Байкала, — писал болгарский критик Стефан Цанев, — бьется на весь свет; смех, который оборвал Байкал, звучит над целым миром, грустит. Грусть эта неизлечима, незаменима ничем».

Будем же надеяться на то, что дни, отсчитываемые историей, будут принадлежать и этому светлому человеку. Так много сделал он, чтобы мы были лучше.

1987

Ступени собственного возвышения

Из книги «Диалоги о Сибири»

*Беседа доцента кафедры истории архитектуры
Иркутского политехнического института
Валерия Щербина и журналиста Геннадия Сапронова*

Когда начинаешь говорить с Валерием Трофимовичем Щербиным о старом ли Иркутске, современных ли городских постройках, то невозможно не обратить внимание, как незримо меняется он, превращаясь из внешне застенчивого и не слишком-то словоохотливого человека в страстного, глубоко увлеченного, убежденного в своем мнении собеседника.

Валерий Трофимович много и неистово работает. Помимо основного труда преподавателя вуза много делается им по сбору уникального исторического материала об истории архитектуры сибирских городов и, конечно же, родного Иркутска: о нем Валерий Трофимович знает все. Покажи Щербину даже микроскопический фрагмент декора старинного строения, и он сможет удивительно точно определить, какому из иркутских домов принадлежит этот элемент, где он расположен, а также поведаст не менее удивительную историю о его прошлом. И если мы говорим, что архитектура — один из основных составляющих элементов природной среды, окружающих человека в поселениях, то для Щербина архитектура — он сам: его ежеминутные думы, ежедневный поиск, мечты и помыслы.

— Валерий Трофимович, я не скажу для вас, конечно, ничего нового, если замечу, что пространственно-архитектурная среда как ничто другое на земле в большей степени создана человеком в результате преобразований. Бесспорно, что, создаваемая людьми, она должна быть удобна, бережно охраняема и нести в себе все лучшее, что накоплено человечеством в градостроительном деле. Но, к сожалению, на протяжении последних десятилетий мы все

Сапронов Геннадий Константинович (10 мая 1952, Черемхово — 14 июля 2009, Иркутск), журналист, издатель, член Ассоциации книгоиздателей России. Автор публицистических статей и очерков.

чаще наблюдаем то, как формально запланированный созидательный акт оборачивается невосполними утратами. И этот губительный парадокс времени — создай разрушения — становится у нас чуть ли не правилом. Происходит это еще, может быть, и оттого, что все делаемое кажется нам обыденным и привычным. Как говорил Валентин Григорьевич Распутин, взгляд на родные места меняется не вдруг, не сразу, а постепенно, из года в год, из месяца в месяц, смещаясь с каждым разом как бы на градус. И то, что вчера казалось несовместимым, сегодня воспринимается уже почти как норма. Происходит невольное привыкание, примирение и признание того, что меняется в Сибири.

— И все же, когда смотришь на сибирские города, то видишь, что этот «градус смещения» самой мудростью древних зодчих как бы закладывался в процессе развития городов, культурного освоения края. Ответственность строителей и архитекторов прошлого перед будущим была очень высокой.

Пространственная среда сибирских городов — очень своеобразный организм, питавшийся как бы из нескольких «рукавов». Все наши города — будь то Чита, Якутск, Улан-Удэ, Красноярск, Иркутск, Енисейск, Омск — возникали примерно в одно время, в годы интенсивного расселения и освоения Сибири. Они несли в себе культуру первых переселенцев, и если даже постройки ряда городов могли быть похожими, то планировочная канва — важнейший показатель самобытности — с учетом рельефа или функциональных особенностей была различна. Возьмем, к примеру, Кяхту. Пограничный город, облик его, улицы служили своеобразными пропилеями в общении Востока и Запада, и в пространственно-архитектурной среде Кяхты это взаимовлияние нашло интересное воплощение в своеобразной пластике кяхтинских деревянных домов. Город развивался, отражая в лице свое время. Менялось оно, менялось и все, что отражало человека и его деяния. В архитектуре это было особенно заметно. Многие сибирские города дают нам сегодня отчетливую картину такого мерного накопления материальных и духовных ценностей.

— *Особенно это заметно в сравнительно небольших районных и городских центрах. Многие годы из-за недостатка средств и сил жившие скромнее, они все же сохранили во многом свой первозданный вид, не покореженный типовыми новостройками, но, к сожалению, запущенный и год от года тускнеющий.*

— «Градус смещения» в восприятии нашего прошлого, да и настоящего тоже, мы должны предвидеть в наших градоустроительных делах, принося в наши проекты и планы немалую долю ответственности перед будущими поколениями. Если мы будем строить лишь для себя, удовлетворяя сиюминутные наши потребности, кажущиеся сегодня нам только такими, мы неизбежно придем к тому, что завтра воздвигнутое нами никого не будет устраивать.

Да это и сегодня видно в облике многих городов, не говоря о тех, что возникли недавно, как говорится, с нуля.

— Фонд цивилизации, культурный фонд любого города, в первую очередь, виден в его архитектурном облике: где человек живет, в каких домах, как обустроил свое жизненное пространство, что его окружает... Это уже потом нам открывается сам человек, его внутренний мир. А чаще всего человек и его культура находятся в прямой связи с пространственно-архитектурной средой. Взять, к примеру, жителя городского, деревенского или столичного: в одной стране живут, могут быть даже одной национальности, а вот как приедут друг к другу в гости, так как бы попадают в неудобные для себя обстоятельства, и можно подумать, что встретились люди из разных стран, с трудом привыкающие к незнакомым обычаям и обстановке.

— И как тут не вспомнить вечно мудрое выражение: встречают по одежке, провожают по уму. В этом смысле архитектура и есть та «одежка», по которой любой человек познает незнакомые края, но она есть еще и отражение духовности и культуры любого большого или малого поселения.

— Как одеты, в каких домах и квартирах живем, так и чувствуем себя. Ладно, если разнообразно, со вкусом, а если все на один фасон: улицы, дома, квартиры. Город воспитывает человека так же, как формирует его нравственно и эстетически деревенский пейзаж, вообще природа. Если всю жизнь из моего окна видна лишь многоэтажная стена плоского панельного строения, загораживающего пространство, с одинаковыми подъездами, окнами, балконами, то и люди, окружающие меня, все вокруг невольно покажется мне одинаковым, возникает стереотипное отношение ко всему, да и сам себе я покажусь с годами типичным представителем.

— К сожалению, только сейчас мы постепенно начинаем ощущать дисгармонию окружающего нас пространства. Как-то разговорился со случайным прохожим в центре Иркутска. Говорю ему: этот дом — шедевр, и объясняю, почему. У человека, годами живущего рядом с памятником архитектуры, как бы заново открываются глаза. Он просто уже привык мыслить общепринятыми категориями, так как долгое время процесс формирования его личности строился на отвлеченных, стандартных величинах. Парфенон — памятник, храм Василия Блаженного, Адмиралтейство — памятники, а вот шедевр подлинного деревянного городского зодчества Сибири, его родного края, для него невидим. Он даже думал, что это внешне рухлое строение просто обязано уйти в небытие. Он привык к этому дому, ему никто и никогда не объяснял подлинной ценности постройки, сработанной мастерами прошлого, ему только объясняли, что памятник это то, что высится монументально на городских площадках.

Печально, что даже наши городские руководители не всегда верно понимают значение памятников местного зодчества. Памятник республиканского или союзного значения обладает типологической редкостью в масштабе всей архитектурной культуры. Памятник же местного значения не попадает в этот более уважаемый перечень не из-за отсутствия общепринятых

достоинств, а по традиционному административному делению. Но это зримые страницы истории и памяти именно тех мест, где они находятся. И когда мы говорим о своеобразии города, его духовной содержательности, то первостепенную роль и даже выдающуюся в своей индивидуальности играют именно они — памятники местного зодчества. Внешне, как правило, лишённые броской привлекательности, они формируют среду, в которой мы выросли, где проходило наше мировоззренческое становление. Но силен закон сортности памятников, сортности скорее административной, чем духовной или художественной. И потому, когда возникает вопрос о постановке на государственную охрану или снос, то всегда легче снести памятник именно местного значения. Памятник союзного значения может быть приведен в порядок при участии Министерства культуры, а местный — лишь за счет городских средств, которых, как правило, именно на это недостает.

Один из главных показателей нашего отношения к архитектурно-художественному наследию — количество поставленных на охрану памятников. Цифры говорят сами за себя. К примеру, в Чите, городе старом и самобытном, в котором множество интереснейших памятников каменного и деревянного зодчества, на государственной охране стоит один-единственный. Получается, что Чита просто не имеет своего архитектурного наследия. Так же обстоят дела в Петровске-Забайкальском, чуть лучше в Улан-Удэ, Кяхте, ряде других городов.

В Иркутске положение несколько лучше, но это лишь формально. Предлагалось поставить на госохрану 80 архитектурных памятников, решением облисполкома (1985) оставлено в списке лишь 50. Да если бы после этого действительно что-либо изменилось в их судьбе. Прошло два года, а не сделано практически ничего, чтобы привести их в порядок. До смешного дошло: приняли не так давно новое постановление, в котором ни анализа, ни выводов из того, что сделано, да и решения все те же, как будто прежнего «солидного» документа и не было.

— Печально еще и другое, то, что многие не ощущают памятника в самих себе. Я имею в виду то место, город или деревню, тот дом, в котором человек родился, где сделал свои первые шаги, откуда вышел в большую самостоятельную жизнь. Дом детства — это и есть дом памяти, который только твой и с тобой до конца дней твоих.

Меня из роддома мать принесла в большой двухэтажный деревянный барак, где у нас была большая комната с печкой и где прошло мое детство. Думаю, среди людей нашего с вами поколения, не очень много тех, кто свои первые годы жизни провел в домах каменной постройки, ведь тогда, в конце сороковых — начале пятидесятых, городская массовая застройка в Сибири была все же деревянной, я уж не говорю о деревне. И если в каждом из нас в глубине души будет храниться чувство памяти о доме своего детства, значит, будет сохранена и память о своем дворе, улице, городе или поселке, значит,

и должно быть сохранено бережное отношение ко всему, что хотя бы издали, а все-таки напоминает тебе твой исток, то, откуда пошло твое понимание Родины, любовь к отчему дому и краю.

— Да, но чтобы быть оставленным, дом этот должен обладать духовной ценностью не только для тебя, но и для других.

— Я вовсе и не ратую за то, чтобы не сносили мой барак или чтобы все мы так и продолжали ютиться в подобном жилье. Но, родившись в Сибири и оставаясь жить здесь, я должен в постоянно меняющемся облике наших городов узнавать, находить элементы тех строений, которые создавались в годы нашего детства. Пусть это будет современная постройка, но она создана здесь, на сибирской земле, в конкретном городе, с присущими только ему архитектурными историческими чертами. Это наши корни, и они должны питать новые ростки, а значит, новое, на мой взгляд, не должно представляться нам абсолютной новацией, хотелось бы находить в нем черты прежнего облика наших городов. В этом тоже должна присутствовать неразрывная связь времен, а значит, будет сохранена народная память.

— Вы затронули очень важную категорию — категорию духовной мемориальности. Любая постройка, бесспорно, памятник своему времени, и вместе эти, на первый взгляд, незначительные строения формируют пространственный художественный облик, который может раствориться, если мы начнем их бездумно сносить. И это, к сожалению, уже во многом происходит. Городская реконструкция должна исходить из интересов среды. Сам по себе объект может и не представлять высокой архитектурной ценности, но он формирует участок конкретной исторической среды. Архитектурная среда обязана быть духовно содержательной, а не анонимно-безликой.

— Тут уже немало примеров. Посмотрите на наши новостройки в больших сибирских городах, я уже не говорю о новых городах. Что собой представляет их облик? Унылое однообразие. На эти микрорайоны можно смотреть с любой стороны, и все равно не разберешь, как говорится, где тут север, где тут юг, как не поймешь и то, в каком краю разбросаны эти стандартные кубики, собранные квадратными колодцами. И думаешь, Сибирь ли это, или какая другая сторона, а может, и что-то вовсе чужеземное?

А как изуродованы наши маленькие города, которым и вовсе не к лицу серые плоские многоэтажки? Тысячу раз прав Валентин Распутин, говоря о том, что «понятая современность в виде стандартных многоэтажек стала эпидемической болезнью наших маленьких городов, утвердительной ценностью их благополучия, превратилась в высоту положения».

— Новое должно быть не просто архитектурно интересно, в нем обязательно должны присутствовать элементы, связанные с традициями. В современной архитектуре мы должны подчеркивать ее национальное своеобразие, а оно предполагает своеобразие и региональное.

Сибирские города — прежде всего русские города, они сработаны по

лучшим правилам русского градостроительного искусства. Выбор места, пространственная организация, своеобразие построек — все это густо замешано на высокой культуре, которая исторически формировалась в древних русских городах. Конечно, их строили профессионалы, но они глубоко понимали значение народных традиций. В их помыслах и делах меньше всего было амбиций профессиональных архитекторов, ими руководило чуткое, внимательно-требовательное отношение ко всему лучшему, что было сделано до них.

Изучая историю сибирских городов, всякий раз убеждаюсь, насколько бережно любой архитектор сибирского города XIX века относился к наследию, хотя и тогда сносились морально и физически устаревшие постройки.

Понятие города всегда было цельным. Часто рассматриваю фотоснимки с изображением старых городов и всякий раз отмечаю их удивительную композиционную завершенность. Несмотря на то, что где-то и собор высятся, и административное здание солидных размеров возведено на низкорослой улице, а все равно это воспринимается гармонично.

Исторически подоснова сибирских городов очень тесно связана и с культурой аборигенных народов, и с глубокой, своеобразной культурой Востока. Для меня было подлинным удовлетворением увидеть в архитектуре Улан-Удэ, в ее деревянной застройке влияние культуры Востока. А ведь до революции бурят в Улан-Удэ проживало немногим более трех процентов. Но в пластике архитектуры города нашли свое отражение элементы бурятского фольклора, декоративно-прикладного искусства местного населения.

Возьмем дом Старцева в Селенгинске. Когда-то в нем жил декабрист Михаил Бестужев, который и сам принимал участие в строительстве этого дома. Именно он ввел в элементы пластического декора восточные мотивы. А ведь казалось, он должен был утверждать западную культуру. Но высокая интеллигентность, духовная образованность помогли ему разглядеть природу и колорит местной архитектурной культуры и, как говорится, не входить со своим уставом в чужой монастырь.

Если ты тактично вносишь изменения в архитектурный облик, они будут поняты, восприняты и использованы в дальнейшем. В деле этом просто обязателен принцип естественного взаимодействия культур. И пример М. А. Бестужева — образец подлинно интеллигентного, глубоко исторического подхода к освоению местных культурных традиций.

Мы до сих пор не можем оценить, образно говоря, генетический код наших городов, недооцениваем количественный и качественный состав историко-архитектурного наследия. Почему говорю — недооцениваем? Да потому, что многое уже утеряно безвозвратно. Сегодня, даже если мы все осознаем, получим необходимые средства и будем иметь возможность привести все в порядок, мы, к сожалению, уже не сможем этого сделать так, как надо было.

Посмотрим на исторические центры наших городов. В Чите историческое ядро составляет около 30 процентов застройки, но даже имея этот исторический багаж, новостройки возникают по своим законам. Улан-Удэ тоже сохранил старину. Но опять же, где гарантия того, что, будь у нас раньше средства на снос, мы не поспешили бы единым махом снести и хлам, и градостроительные шедевры. Нет такой гарантии и сейчас. Примером тому Красноярск, у которого как раз были средства, и в результате их интенсивного освоения историческое ядро города просто стерто, и если б не Енисей, то и вовсе было не понятно, в каком краю находится это поселение.

Об Иркутске скажу словами В. Распутина, так как лучше и точнее не скажешь. Помните, в очерке «Кяхта» он заметил: «Не всегда, к несчастью, звание исторического города может служить защитой от разрушительного передела. Иркутск и в ранге исторического города, в облечении охранных прав и законов не уберег свой старинный центр, перечеркнув его чужеродной геометрией самозванного модернизма».

Многие наши сибирские города — исторические, но лишь Иркутск и Енисейск вошли в число 115 городов страны, признанных таковыми. Ни Томск, ни Кяхта, ни Чита и Улан-Удэ не вошли в это число. Почему? А не было официальных данных. Мы сегодня почти не ощущаем разницы между Иркутском и Томском в их историко-архитектурном наследии, и вдруг — Томск не исторический город. Понять причины столь странных неологизмов мы можем, если посмотрим на принципы освоения наследия, а они формировались в жестокой борьбе на протяжении многих десятилетий развития городов уже в наше время.

Все эти годы, борясь друг с другом, шли параллельно три принципиальных подхода к культурному наследию городов: снести и возвести новое, желательно в корне отличительное (так называемый бульдозерный принцип); законсервировать все и ничего нового не строить (тоже крайность, потому как развитие сибирских городов говорит о том, что они потому и устраивали наших предков, что отвечали принципу постепенного, мерного развития). И потому все же верен третий, диалектический принцип, соединяющий два крайних взгляда на одну проблему. Суть его в том, что преобразование наших городов — это прежде всего освоение архитектурных традиций края. Мы должны были спокойно и внимательно отобрать лучшее, но не по принципу: шедевры, шедевры, а исходя из духовной мемориальности, из условий архитектурной среды городов, их масштабности и других категорий, делающих город соразмерным человеку.

— *И соразмерным Сибири, краю, в котором рожден и вырос, где будут жить его внуки и правнуки. А давайте мысленно пройдемся по улице сибирского города конца XIX столетия. В чем мы найдем ее отличительное своеобразие?*

— Во-первых, мы увидим, что основным строительным материалом в

то время было дерево. Имеется даже статистика прошлого, которая говорит, что на тысячу домов менее 50 было в каменном исполнении.

Если, например, города центральной России, как правило, получали сплошную застройку улицы уже во второй половине XIX века, то в Сибири это были лишь отдельные фрагменты. Здесь все еще сохранялась усадебность, но уже сформировался сибирский тип дома, который обладал не только удобствами, но и являл собой пример подлинного произведения искусства. Например, для Иркутска, Кяхты это был дом прежде всего компактный, с антресольным этажом. Его легко можно было обогреть, и он хорошо хранил в себе тепло (для Сибири это было чрезвычайно важно). Внешне дома были не столь громоздкими и занимали весьма малое пространство, но внутри, за счет разноэтажности и других приемов, они были крайне удобны. И, конечно же, поражала общая культура исполнения, как говорится, ремесло. Многие усадьбы имели свою неповторимую лицевую сторону, они принадлежали улице, улице городу, а в целом было ощущение огромной ответственности каждой постройки перед ее окружением. Все это как раз те качества, которые мы сегодня уже во многом утратили в нашем градостроительном деле.

Да и вообще, если внимательно проследим историю застройки сибирских городов, то обнаружим многие правила, которым неизменно следовали зодчие. Мы получили наши города в наследство от архитекторов и мастеров прошлого, в них уже были сформированы четкие, присущие времени черты. Это был своеобразный синтез народных традиций, которые складывались в русском градостроительстве, и профессионального зодчества. И забывать об этом, представлять дело так, что до нас тут и трава не росла, бездумно и расточительно относиться к наследию прошлого преступно перед нынешним, а более всего перед будущим поколением сибиряков. Что мы оставим им в наследство?!

— Так уже оставляем, возводя лишь, к сожалению, «выдающиеся» постройки в центре исторического города. И далеко за примером ходить не надо, взять хотя бы жилой дом на набережной Ангары в Иркутске, что высится безликим коробом над древними постройками, агрессивно относясь к своему окружению. Если и далее у нас так пойдут дела по «реконструкции» исторической части города, то в скором времени на той же набережной чужеродными покажутся Белый дом, здание краеведческого музея, учебного корпуса университета, то есть как раз те строения, что пока еще все же являются архитектурно-исторической основой этого любимого иркутянами уголка города.

Смогли же мы в пятидесятых годах, когда застраивались в Иркутске улицы Ленина, Карла Маркса и ряд других, сохранить историческое лицо центра города. Произошло это, думаю, потому, что сама архитектура тех лет развивалась в историческом контексте, была сработана в традиционном пластическом стиле, какие-то детали, элементы решались индивидуальными

средствами. Это уж когда перешли на конвейерность, тогда, пожалуй, и началось наше обольщение градостроительными успехами. Конвейерность привела к безликости не только наших построек, она привела к безликости мышления архитекторов, к отрицанию традиций, к существованию вне контекста архитектурно-исторической среды. Всякий раз, думая об этом, вспоминая (правда, лишь по фотографии) величественную красоту иркутского Кафедрального собора, снесенного с лица города недоумением градоначальников во времена атеистического нигилизма. И только представить могу, какое влияние оказал бы этот шедевр на общее пространственно-эстетическое решение застройки центральной части города. Разве смогли бы мы, будь он у нас перед взором, ту же площадь Кирова обрядить в такой наряд, что, оказись перед нами человек, одетый во все это, мы ни за что бы не догадались, из каких краев свалился он на нашу землю, кто по национальности, что хочет нам сказать, да и поняли ли бы мы его чужеродную речь?

— И все же жилой дом на набережной, о котором вы упомянули, считается заметной архитектурной премьерой Иркутска. По отзывам известных архитекторов, достоинства этого произведения особо рельефны на фоне огромный массы бездуховного градостроительного материала, обладателем которого на долгие десятилетия стал и Иркутск.

Решение важнейшей социальной программы — жилищной — осуществлялось беспрецедентными во всей истории темпами. И вдруг мы остро ощутили то, что в предшествующие нашему сегодня три последних десятилетия архитектура беспристрастно, как это было и в иные времена, отразила, зафиксировала в камне не столько торжественную мелодию бытия, сколько прагматические установки сиюминутных потребностей, изрядно поколебавших наши духовные устои. При этом эстетические и художественные качества архитектуры были отодвинуты на второй план, и потому подлинно содержательная выразительность по-прежнему остается болевой точкой архитектуры и нравственной основой профессии архитектора.

Автор этой постройки В. Павлов в свое время преподавал в нашем институте и имел буквально кумирное влияние на студентов. Однажды в разговоре с молодыми архитекторами он афористично произнес: «Если новое лучше, то эффект положительный». Его тезис в открытую диктовал установку на прием реконструкции исторического центра Иркутска через неуважение к прошлому. Это не что иное как профессиональное чванство тотального обновления. Главным в реконструкции, при всем многообразии целей и сложностей в их достижении, было и всегда остается уважительное отношение к истории, подлинное внимание к тем, кто творил до тебя.

Вы, конечно, не могли не обратить внимания на небольших размеров каменный двухэтажный особняк, что в подошвенной смиренности пребывает в ногах своего высокомерного и холодно беспристрастного соседа. Но даже и такое соседство для архитектурной содержательности города мож-

но считать благоприятным. Дом этот был возведен в первой половине XIX века и, видимо, связан с именем талантливого иркутского архитектора Антона Лосева (далеко не самая лучшая его постройка, но единственная, дошедшая до нас почти без искажений, и потому особенно должна быть дорога). В этом доме жил и плодотворно работал еще в предреволюционное время ставший позднее академиком выдающийся советский ученый Владимир Афанасьевич Обручев, исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР. Я перечислил еще не все титулы и деяния нашего соотечественника, но именно они, а не высокие архитектурно-исторические достоинства постройки помешали В. Павлову и В. Буху, главному архитектору города (потребовалось вмешательство высоких инстанций), осуществить акт беспамятства.

Настораживает и то, что большинство наших преподавателей в своей оценке дома на набережной категоричны и односторонни. В их устах он приводится даже как пример идеального диалога с местной архитектурной традицией. При этом они, с одной стороны, ссылаются на поддержку центральной критики, с другой — присваивают автору категорию тонкого интерпретатора наследия. Но архитектура — многосоставное явление, многоплановой должна быть и оценка ее произведений.

Нельзя оценивать композиционно-образные достоинства объекта изолированно, без понимания того, какую роль он играет в контексте исторического окружения. Поэтому неправомерно утверждать, что дом на набережной контекстуален лишь на том основании, что исторически малоэтажная застройка Иркутска «ритмизировалась вертикалями культовых доминант». Это верно лишь на уровне силуэтного восприятия и формирования речного фасада города. И лишь только это, на мой взгляд, бесспорное достоинство постройки. В остальном же, например, в пластике, ритме членений, решенных, конечно, грамотно, эта вещь в заведомом противопоставлении генетическому коду исторической среды и, как вы заметили, несет явный акцент агрессивности.

Духовная коммуникабельность как черта подлинного искусства и, конечно, архитектуры предполагает творческое использование наследия не только на уровне равноуважительного диалога старого и нового, но, думаю мне, и в процессе воспитания такого взгляда в самом архитекторе.

— Но люди, которые определяли развитие исторических городов в наше время, равно как и возведение новых, не всегда проникались ответственностью за будущее. И происходило это, на мой взгляд, из-за отсутствия знаний и профессиональной культуры, самокритичной оценки ошибок, из-за отрицания опыта прошлого. Так постепенно и вырабатывался стереотип победной поступи.

— Когда говоришь с архитекторами, определяющими административную политику развития города, все вроде в их словах умно и правильно.

Но начинаешь вникать и замечаешь накатанную, твердо спрессованную стереотипами мировоззренческую платформу.

Лет десять назад мне довелось беседовать с одним из светил современной архитектурной науки, работающим в институте имени И. Е. Репина. Я принес ему тогда свои исследования по поводу исторической застройки сибирских городов. Он посмотрел и сказал: «Ну что Сибирь, эти города, разве там может быть архитектура?» Вот так: Москва, Ленинград, Новгород, Псков — это архитектура. А Иркутск, Кяхта, Енисейск, Чита, Томск — это так, от нужды возникшее.

Современный архитектор, работающий в историческом городе, мне кажется, должен давать такую же клятву, какую дает будущий медик перед тем, как надеть белый халат. В делах своих он неизменно должен следовать единственно верному постулату: в историческом городе главное не возведение построек, утверждающих твое имя, доминирующих над прочим, вплоть до противопоставления, главное — сохранить старое и приумножить лучшее.

— *Процесс развития города непрерывен. Нам не нужен слоеный пирог: вот старое, а вот новое. В своих делах мы должны стремиться к гармонии, тонкому сочетанию современных начал с традициями зодчих прошлого. Чем старше город, чем больше присутствует в нем следов веков минувших, тем наиболее актуально его сегодняшнее значение в формировании личности человека. Уверен, что на формирование мировоззрения, эстетических взглядов и пристрастий таких выдающихся наших земляков, как драматург Александр Валентинович Вампилов, писатель Валентин Григорьевич Распутин, хранитель Иркутского художественного музея Алексей Дементьевич Фатьянов, во многом оказала влияние именно та историко-архитектурная среда их родного города, тот художественный лик, что все же присущ Иркутску, несмотря на ухищрения новаторско-низвергательных поисков и пятна панельных домов, что, как сорняки, торчат посреди исторической части города.*

— Трудно жить в городе, не имеющем старины. В духовной неуютности пребывают многие живущие в таких городах, как Усть-Илимск, Нерюнгри, Дивногорск и им подобных, слабо вписывающихся даже в изумительное природное пространство сибирской тайги. Понимаете, это не просто антиквариатная потребность поглядеть на старинные постройки или потрогать золотистый корешок старой книги. Нет. Это генетически заложенная в человеке потребность ощущения неразрывности памяти. Нарушение этого оборачивается необратимыми процессами в самом человеке, отражается на результатах его деяний. «Если природа говорит о вечности, — писал в том же очерке «Кяхта» Валентин Распутин, — то людские поселения должны говорить не о тщете человека, ненадолго приходящего в мир, а об остающемся после него тепле. Память — это и есть тепло от человеческой жизни, без тепла памяти не бывает. По тому, как и в каких стенах

жили люди, можно судить, чем они жили, была ли их жизнь продолжением народной направленности или ее искривлением».

— *И очень дорого приходится сегодня платить за пренебрежительное отношение к архитектуре, которая вместо того чтобы стать матерью пластических искусств давно уже стала у нас придатком строительного производства, профессией, в которой каждый считает себя специалистом. Никого уже не удивляет тот факт, что практически любой дом можно построить сегодня и без архитектора, обойдясь типовым набором модулей, которые всегда под рукой в проектно-конструкторском бюро строительной организации. В результате архитектура оказалась решительно отлученной от искусства, а архитектор превращен в разновидность конторского служащего. Упала престижность профессии, соответственно упало и мастерство.*

Как результат всего этого мы видим сегодня и нерациональное использование городских территорий, равнодушие к специфике места, его рельефу, природно-климатическим условиям, особенностям демографического состава, национального уклада жизни населения. А самое печальное в том, что из градостроительного искусства ушел человек с его привязанностью к своему дому, двору, улице, к истории и своеобразию места, где он живет.

— Действительно, вы правы: мы забыли, что архитектура это не только польза и прочность, но еще и красота, во всем и всегда сопровождавшая человека. Вспомним, еще в середине пятидесятых годов вышло указание о борьбе с архитектурными излишествами. Теперь-то мы понимаем, для чего это было нужно — расчищалось магистральное направление для скоропалительного засилья в наших городах и поселках типового безликого домостроения. Именно тогда архитектура и была «выключена» из сферы искусства. На первое место были поставлены вопросы экономической целесообразности, но они дали нам сравнительно положительные результаты лишь на небольшом отрезке времени. Мы считали, что главное — дать человеку жилье, и вовсе не думали, каким оно должно быть. Никогда нельзя выдвигать на первое место чисто прагматические цели. В этом смысле архитектура явилась зеркальным отражением многих наших негативных процессов.

— *И потому для ее оздоровления, на мой взгляд, необходим пересмотр главного — принципов типового проектирования. Домостроительные комбинаты, выпускающие типовые конструкции, да еще, как правило, в урезанном виде, — главная и основная причина того упадка в архитектуре наших городов, свидетелями которого мы сегодня являемся. Существующие сегодня формы застройки разобщают людей, не формируют у них чувства хозяина дома, любви к своей улице, району, городу.*

Да и откуда оно явится, это чувство, если типовыми стали не только здания, но и планировочные приемы, градостроительные композиции общественных центров, площадей, улиц, что приводит к тому, что на карте Сиби-

ри (да и не только этого края) появляются города на одно лицо, в которых десятки одинаковых зданий, школ, магазинов, детских садов, одинаковые вокзалы, даже здания горисполкомов строятся по одному, честно говоря, безликому проекту.

Печальный парадокс этой проблемы еще и в том, что почти каждый считает себя специалистом в области архитектуры. Архитектор изобретает и проектирует одно, строитель на деле создает чуть ли не совсем другое. Ведь не диктует коллектив типографии, как и о чем писать литератору, а кинопромышленность — что снимать режиссеру. Или разве возможно представить себе, чтобы музыканты играли совсем не то, что сочинил композитор? В архитектуре, как видим, это сплошь и рядом.

— Вопрос еще и в том, что архитектура — это не только сфера самих архитекторов, не только цеховые интересы зодчих. Архитектор сегодня говорит: «Я могу вам спроектировать хороший дом, но вы дайте мне на него заказ. Я, может, и подумаю об уютном дворике, но вы заложите мне условия для него в проектом задании. Я бы мог, допустим, оставить эти дома в исторической среде, но у меня же в задании четко обозначено снести их и поставить на их месте вот это панельно-плоское строение, переработав типовой проект. У меня такое задание, и выше головы не прыгнешь». О чем это говорит? О том, что сегодня отсутствует социальный заказ на архитектуру как средство формирования пространственной среды наших городов, а не как на решение проблемы увеличения квадратных метров жилья.

Чем это оборачивается, мы уже знаем, ощущаем на себе. Это оборачивается не только бездуховностью, самой высокой платой за беспамятство, но и приводит к откровенной трате денег. Нельзя все сваливать на архитектуру, хотя требования к ней чрезвычайно высоки. Надо сегодня обратить внимание и на то, что мощная строительная индустрия застыла в своем развитии и по существу является одной из отсталых отраслей народного хозяйства.

Во все времена выгоднее было строить именно хороший дом, пусть немного дороже, но зато максимально удобный для жизни людей. И нам не придется через двадцать или тридцать лет его ломать, как это сегодня уже в ряде мест происходит с панельными домами. Ведь если посчитать, то в конечном итоге они для нас оказались чуть ли не золотыми, а мы ими заполнили города. Но вновь слышим от руководителей строительства, что задача предоставить к 2000 году каждой семье отдельную квартиру требует все более уменьшать стоимость квадратного метра жилой площади, все серии еще более унифицировать, еще больше экономить на отделке. Такая экономия обойдется в скором будущем слишком дорого всему обществу.

Какая польза от квадратных метров, если не формируется желанный для человека дом, полноценная среда для его жизни? Поставить задачу дать каждой семье квартиру и не уточнить, о какой квартире, о каком доме,

о какой среде идет речь, и не считаться с желаниями и потребностями людей — наших настоящих заказчиков, оставлять строителям право решать, что и как строить, — значит идти навстречу новым возникающим противоречиям. Сейчас же мы проектируем индивидуальное жилье, но в нем порой все выхолощено до такого уровня, что дом сам по себе «мертв», в него даже нашу типовую мебель не сразу занесешь и разместишь, не говоря уже о том, что люди, проживающие в нем, разобщены и одиноки.

Мы не закладываем в проекты наших домов варианты: семья молодая, многодетная, бездетная, одинокий человек — их много, но они никак не отражены в архитектурной практике. А ведь все можно делать теми же средствами, нужен лишь другой подход.

В связи с этим встает и вопрос участия в социальном заказе на проектирование не только архитектора, но и социолога и психолога. Если мы сегодня построим дом или квартиру, морально, социально и психологически устраивающую нас, то и через двадцать лет это жилье будет нас устраивать. Не так уж все быстро меняется в архитектуре, и потому несколько десятилетий это уже немало.

Так что, поставив перед собой серьезную задачу решения жилищной проблемы в стране к 2000 году, мы пока еще учли не все в сложности ее реализации. А главное, не всегда правильно понимаем вопрос решения ее экономными средствами.

В последнее время мы изрядно увлеклись возведением высотных построек, часто вовсе не вписывающихся в пространственный ландшафт города. Нам кажется, что рационально используется площадь, а выходит далеко не так. Те же показатели плотности мы можем иметь и при малоэтажной застройке. Возведя одну или две девятиэтажки, мы уже не можем построить рядом другие здания, иначе пространство между ними будет напоминать колодцы.

— В связи с этим нельзя не упомянуть, мне кажется, и о том, как мы используем такой уникальный строительный материал, каковым является обыкновенный кирпич. Одно дело, когда мы из панелей возводим плоское строение, вытянутое или в длину, или в высоту. Но ведь мы и из кирпича умудряемся возвести копию панельного дома. Так и стоят они в ряд, как близнецы-братья, ничем не отличаясь.

— Кирпич является своего рода маленьким строительным модулем, та пластическая гибкость, что заложена в нем, обязывает решать самые разнообразные задачи. Мы вообще должны сегодня говорить о расширении номенклатуры строительных деталей, а по сути дела даже новые серии жилых домов проектируем из одних и тех же типовых деталей.

Индустриализация строительного процесса должна основываться на хорошей строительной базе, и она должна быть гибкой. Вот вы говорили о том, что у нас порой в одном городе десятки одинаковых строений:

типовые кинотеатры, школы, я уже не говорю о жилых кварталах. Все это идет как раз от минимума используемых строительных конструкций при проектировании, застоя в нашей строительной индустрии. Сегодня количества номенклатуры строительных конструкций не хватает, чтобы даже один микрорайон застроить с минимальным разнообразием построек. Количество вариантов должно быть максимально разнообразным, чтобы обеспечить нашим городам художественную и архитектурно-градостроительную содержательность.

В свое время, когда была сделана ставка на решение масштабных государственных задач (жилье — любой ценой!), параллельно шел процесс нивелирования и сведения к нулю социального заказа на архитектуру, которая была бы художественно разнообразна и духовно содержательна.

Среди архитекторов прочно укоренился принцип формально-аналитического мышления: исходили из макета, а не условий среды (делался макет, а где и как он будет «привязан» — дело второе). Все это был результат того самого рывка в шестидесятых годах, когда архитектор в погоне за оптимальным структурным решением смотрел на городское пространство глазами функционалиста. Вследствие этого и был допущен основной идеологический просчет в проектах современных городов, ставших потом образцами для десятков и сотен других.

Думается, что только глубоко изучив наши градостроительные просчеты предшествующих лет, мы будем способны решить поставленную перед нами задачу.

Надо делать ставку на долговременность: строить дома с учетом грядущего, с учетом подлинной архитектуры и внимания к человеку. Да, должно быть и серийное строительство, но серий должно быть больше, они обязаны быть разнообразнее, с учетом строительства и новых районов, и застройки исторической части городов, а также региональных, экономических, национальных условий.

Помните, как говорил великий наш соотечественник Николай Васильевич Гоголь: «Всякая архитектура прекрасна, если соблюдены все ее условия и если она выбрана совершенно согласно назначению строения... Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе, чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее ступенью нашего собственного возвышения».

От умолчания до забвения Записки провинциального литератора

Не выходите, девушки, замуж ни за писателей, ни за ученых.
И писательство, и ученость — эгоизм.

В. В. Розанов. Опавшие листья

Довелось мне лет двадцать назад быть общественным редактором тонюсенькой книжки для очередной поэтической «Бригады». Книжки незаурядной. Со стихами традиционными и наивными (закономерными в первом сборнике любого начинающего автора) в ней соседствовали строки точные и пронзительные, говорящие о даровании значительном, крепком.

Дожди свое отморосили,
Упал с берез последний лист.
И снег,
Покрывший пол-России,
Как сон ребенка,
Тих и чист.

Никакого изыска, никакой вычурности, все вроде бы очень просто, но в простоте этой — редкая естественность, завидная сила. Поэт зорек и проницателен: он видит, как, брошенная кем-то под дерево, «притаилась арбузная корка полосатым бурундучком»; он замечает, что морозным утром в поселке «не дымы, а белые березы выросли над каждой трубой», и женщина «...торопится в жилье внести с веревки между соснами жестяным ставшее белье».

Поневоле сравниваешь ту давнюю книжку, тот давний дебют с книжками и дебютами последних лет — небо и земля! К каким ухищрениям ни

Иоффе Сергей Айзикович (11 января 1935, Смоленск — 24 января 1992, Иркутск), поэт, прозаик. Член Союза российских писателей. Автор книг «Желание», «Мужчины», «Дорога», «Время вышло» и др.

прибегают новые молодые, им не удается сразу заговорить незаемным, непринужденным, своим голосом: ни мудрые метафоры не помогают, ни старательно сработанные «под фольклор» строфы...

Валентину Урукову (а речь идет именно о нем) многое удалось сразу. В его стихах ощущались та раскованность, та свобода, кои за столом не высидишь, у мастера не позаимствуешь — они, как известно, от Бога...

Была опаска: а вдруг выговорится до срока? Ведь так часто случается: появится имя, сверкнет на поэтическом небосклоне — и навсегда исчезнет. Кто, кроме дотошных читателей и собирателей стихотворных книжек, помнит сегодня, к примеру, Петра Пиницу или Германа Боброва, тоже начинавших когда-то в «Бригаде», начинавших ярко, обещающе?..

Валентину Урукову творческая немота, похоже, не грозила. И топтания на месте, перепевания самого себя, обычно подстерегающих поэта после первой книжки, он тоже избежал: через несколько лет из Нижнеудинска в Иркутск пришла добротная рукопись новых стихов. Но путь от рукописи до книги у нас ой как длинен! Рецензии, редсоветы, планы редподготовки и очередь, очередь... Дорога, отмеренная Валентину Алексеевичу Урукову судьбой, оказалась куда короче: его жизнь трагически оборвалась.

Посмертных публикаций было несколько: в «Сибири» в «Нашем современнике». А вторая книга так и не вышла.

Из года в год затевал я на общих писательских собраниях разговор о том, что необходимо издать Урукова. Никто не возражал, но и палец о палец тоже никто не ударил.

Где она, та рукопись? Сохранилась ли в архивных завалах или у родственников?

* * *

Как-то на писательском собрании в докладе ревизионной комиссии было высказано недовольство тем, что рецензированием рукописей занимаются у нас одни и те же люди. В числе прочих была названа и моя фамилия.

Нет бы задуматься выборному лицу: почему писатель вынужден тратить время и нервы на столь неблагородное дело? Может, у него собственная рукопись годами лежит в издательстве без движения? Может, помочь надо человеку, для которого рецензирование — единственный способ заработать на хлеб? Дело-то ведь и впрямь, если исполнять его добросовестно, отнимает уйму времени и сил, а удовольствие приносит крайне редко: едва ли хотя бы одна из сотни (из тысячи!) прочитанных рукописей заслуживает серьезного разговора...

«Критику» я учел, от рецензирования отказался напрочь, и вообще история эта давняя, и вспомнил я ее лишь потому, что с ней связана судьба последней из попавших мне на отзыв рукописей — черемховца Виктора Пестюрина.

Пестюрина я знал как журналиста, как автора стихов, охотно публикуемых газетами на первых страницах к праздничным датам (их называют «датскими»), и начал читать его объемистый манускрипт не без предвзятости. В самом деле: с профессионалами автор не общался, на строгое обсуждение свои сочинения не выносил — беспрепятственно печатался в «собственной» газете, а это губительно даже и для крупного дарования. Мои опасения подтверждались: декларативные, лозунговые, изобилующие банальностями стихи следовали одно за другим, и очень подмывало перелистывать рукопись поскорее, читать ее с пятого на десятое, что называется, по диагонали.

Но что-то не позволило. Что-то заставило быть предельно внимательным, наверно, неожиданно встретившаяся живая строчка или целая строфа, резко выбивающаяся из монотонного ряда своей полнотонностью.

В итоге вывод был однозначным: Виктор Пестюрин — безусловно, поэт, газета сильно деформировала его природный голос, но заглушить окончательно не смогла, и он порой прорывается сквозь одноцветную безликость.

В толстой рукописи я насчитал 11 стоящих самобытных стихотворений.

Цифра эта хорошо запомнилась, потому что, отвечая на мою рецензию, Пестюрин снова и снова повторял, недоумевая: надо же — именно 11, не больше и не меньше. Он обиженно спорил, требовал подробных объяснений. Я отвечал, что рецензия, разумеется, субъективна: мне приглянулось 11 стихотворений, а кто-то, возможно, отметит 30 или вообще ни одного не выделит. Я объяснял, что прав у рецензента, в общем-то, никаких нет, с моим мнением могут и не посчитаться. Я советовал, воспользовавшись рецензией, предложить рукопись в «Бригаду»: книжка по объему будет небольшой, но по стихам весомой. Ведь главное — сделать первый шаг, издаться, увидеть себя со стороны, иначе творческий рост невозможен...

Бойкой получилась у нас переписка. С моей стороны, видимо, излишне резкой и категоричной, о чем я запоздало сожалею, со стороны Пестюрина — амбициозной и неуступчивой. Перспектива издаться вместе с молодыми в «Бригаде» его не устраивала (хотя выходили в этой серии и авторы солидного возраста), он рассчитывал на нечто большее... Короче, ни к чему не привела наша почтовая перепалка: каждый остался при своем мнении.

А через несколько лет пришла печальная весть о кончине фронтовика Виктора Александровича Пестюрина.

Что с его архивом (ведь он, кажется, писал и пьесы, которые ставил Черемховский драмтеатр)? Существует ли хотя бы призрачная надежда, что к рукописям Пестюрина когда-нибудь прикоснутся руки профессионалов — людей неравнодушных и наделенных правом рекомендовать к публикации, настаивать на ней?

Или, быть может, лишь членство автора в Союзе писателей — гарантия того, что к остающемуся после него архиву будет проявлено внимание?

Едва оформив пенсию, в одночасье ушел от нас поэт и прозаик, член Союза писателей Виктор Владимирович Киселев. Немногим более полувека прожил автор многих книг для детей и взрослых, член Союза писателей Леонид Станиславович Красовский. В 1984 году перестало биться сердце фронтовика, тоже члена СП Владимира Николаевича Козловского, автора популярных романов «Верность» и «Братья по крови».

Догадались ли мы в последующие годы, по крайней мере однажды, собраться, чтобы в своем кругу вспомнить о каждом из ушедших? Пригласить родственников, выслушать их просьбы, оказать посильную помощь. Если необходим повод, то ведь и повод был: в 1987-м исполнилось бы 70 лет В. Н. Козловскому, в 1988-м — В. В. Киселеву. Перечитаны ли нами их книги, чтобы лучшее предложить для переиздания? Разобраны ли архивы, чтобы опубликовать в газетах главы из незавершенных вещей, стихи, письма?..

Кстати, о письмах. Не так давно получил я из Новосибирска восьмой том «Литературного наследства Сибири», в нем собраны преинтереснейшие материалы, в частности, письма М. К. Азадовского к Г. Ф. Кунгурову, относящиеся к сороковым годам. Сколько знакомых имен, сколько подробностей культурной жизни Иркутска тех лет! И подумалось: почему до сих пор не стало всеобщим достоянием все наиболее значительное из эпистолярного наследия умерших иркутских литераторов — того же Г. Ф. Кунгурова, К. Ф. Седых, И. С. Луговского?.. На чьи плечи перекладываются заботы, исполнение которых — святой долг писательской организации?

Мне могут, во-первых, возразить: кое-что в этом плане делается — издается превосходная серия «Литературные памятники Сибири», вышел двухтомник А. Вампилова, наконец-то увидели свет избранные сочинения И. И. Молчанова-Сибирского и П. Г. Маляревского...

Мне могут, во-вторых, разъяснить: только крупные таланты способны выдержать испытание временем — такова безжалостная реальность.

С первым возражением готов согласиться, хотя это «кое-что» делается с великим опозданием, а значит, сопряжено с невосполнимыми потерями: утрачены рукописи, документы; да и сколько уже выросло поколений не только «рядовых» читателей, но и учителей, филологов, понятия не имеющих о Михаиле Загоскине, Георгии Гребенщикове, Александре Черкасове...

А вот разъяснение по поводу «крупных талантов» отвергаю категорически. Русская (как и любая другая) словесность — это не степь с редкими, одиноко высящимися деревьями, это скорее пуща, где рядом с гигантами мирно уживается подлесок, где кроны поддерживают друг друга, а

корни переплелись так причудливо и крепко, что не развязать их при всем старании.

Время, конечно же, неумолимо. Но вершить свое дело оно должно ненасильственно и справедливо. У времени будет возможность выбирать, если мы предоставим ему полный выбор, если возьмем на себя миссию заботливых лесоводов, а не бездушных дровосеков — их и так без счета прошло с топорами по нашей литературе за последние семь десятилетий...

* * *

В 1969 году местное издательство затеяло серию книг «Сибирская лира». Появилась реальная возможность впервые наиболее полно представить поэтов, связанных с землей иркутской либо рождением и годами детства, либо работой и самыми первыми публикациями. Кто-то остался верен Прибайкалью навсегда, у кого-то судьба сложилась иначе... В конце концов, важна не прописка, важно то, что в творчестве этих поэтов запечатлены и красоты, и боли нашего края.

Поначалу сборники, любовно оформленные художником Анатолием Аносовым, выходили в разумной последовательности: авторы, ныне здравствующие, каждые два-три года отступали в сторонку, чтобы пропустить вперед тех, кто сам уже не может постоять за себя. Так, в 1970 году была издана книга Ивана Молчанова-Сибирского, в 1973-м — Иосифа Уткина, в 1975-м — Ивана Харабарова, в 1978-м — Анатолия Ольхона...

Но со временем благородная традиция была нарушена, и очередь претендующих на издание в «Сибирской лире» превратилась в живую — в буквальном смысле этого слова.

Грех, конечно, винить в своекорыстии провинциальных поэтов — представителей самого обездоленного отряда отечественных литераторов. Тоненькая книжка стихов, выходящая один раз в пять (а то и в семь или даже десять!) лет, приносит сумму поистине нищенскую: поделив ее на месяцы ожиданий, едва ли получишь и половину тех самых 80 рублей, что ныне официально признаны верхней границей бедности. Тем не менее будь мы внимательней, будь мы одержимы не только собственными интересами, но и заботой о сохранении культурного наследия прошлого, мы бы кое-чего добились. Писательская организация и должна была, и могла настаивать, чтобы «Сибирская лира» регулярно пополнялась не только сборниками наших современников, но и книгами (в основном, безгонорарными, а потому и не столь убыточными для издательства) поэтов минувших времен.

Сегодня, когда повсюду вступает в свои права хозрасчет, когда прибыль становится мерилем любой деятельности, того и гляди, будут вовсе изгнаны из планов бездоходные стихотворные книжки...

Но разве можно себе представить «Сибирскую лиру» без Омuleвского

(Иннокентия Федорова), бывшего, пожалуй, первым значительным поэтом, которого взрастила иркутская земля?

Разве допустимо обойти вниманием уроженца деревни Иванушкинская Иркутской губернии Виссариона Саянова, автора колоритнейших стихов о старой Сибири?

Разве позволительно предать забвению Джека Алтаузена, сложившего голову на Великой Отечественной?

А Василий Непомнящих? Он уже, к сожалению, прочно забыт, и, наверное, последняя возможность вернуть читателю творчество этого поэта — издание его в «Сибирской лире».

А замечательный лирик Василий Федоров, работавший в молодости на Иркутском авиазаводе?

А бурятский народный сказитель Аполлон Тороев?

Кто-то, возможно, вспомнит и другие имена, но и названных, думаю, вполне достаточно, чтобы убедиться в нашей непамятливости, в нашем небрежении и равнодушии к поэтическому наследию земляков.

Недавно один из журналов опубликовал подборку превосходных стихов. Заглавное хочется привести целиком:

За свечой — в тени — Засвечье,
за шестком — в углу — Запечье,
за спиной — ничком — Заплечье,
за рекой — свистком — Заречье,
Заболотье, Задубровье,
Заозерье, Заостровье,
Забайкалье, Заангарье,
Забурунье, Заполярье,
Заамурье, Заонежье,
Заграничье, Зарубежье,
Забездомье, Заизгнанье,
Завеликоокеанье,
Забразилье, Запланетье,
За-двадцатое — столетье

Автор — наш земляк Валерий Перелешин.

Родился в Иркутске в 1913 году. Семилетним был увезен в Харбин. Скитался по миру. Издал 13 книг в Китае, Франции, ФРГ, Голландии, США... Одним из лучших русских поэтов зарубежья называют его на Западе.

Вот бы нам проявить оперативность и, опередив столицу, вернуть на родину творчество этого поэта!

По всей вероятности, не вернем. Слабо. И не потому, что эмигрант: не сбежал ведь, увезли ребенком. И не потому, что трудно раздобыть его книги: можно было бы навести справки через журналистов — наших корреспондентов в Бразилии, где живет Перелешин, списаться...

Не возьмем мы на себя труд составить книгу Перелешина для «Сибирской лиры» и не станем отстаивать ее на худсовете хотя бы потому, что он кого-то из своих оттеснить может. Да к тому же (вон она — подоплека!) подборку его стихов дал «Огонек» — журнал, который ныне «правлящему большинству» нашей организации что кость в горле: «Напечатали в «Огоньке»? Значит, чужой. Ату его!»

О каком чувстве гордости, о какой заботе о сибирском наследии, вообще о каких высоких материях можно вести речь, когда правят бал нетерпимость и озлобление, что еще вчера в оголтелой борьбе против неугодного режиссера позволяли бесцеремонно использовать имя Вампилова, бросаясь им, словно теннисным мячиком: то ходатайствуя перед обкомом о присвоении этого имени ТЮЗу, то отзывая свое ходатайство назад...

Слава Богу, руганные нами на все лады чиновники на сей раз оказались куда мудрее и дальновиднее «инженеров человеческих душ»: театр имени Вампилова — это уже навсегда.

Пристальное внимание к театру в давних традициях иркутской прессы. В интереснейшем по фактографии «Очерке из истории театральной культуры Сибири» П. Г. Маляревский, рассказывая об иркутском театре семидесятых-девяностых годов прошлого века, писал: «Местная печать... пристально следила и за работой режиссуры, и за творческой деятельностью отдельных актеров. Небрежное отношение к театру, неверная трактовка произведений и ролей встречали суровую оценку на страницах газет». Правда, ведя речь о советском периоде, Маляревский сетовал: «Периферийные актеры редко слышат квалифицированный разбор и оценку своей творческой деятельности, своих побед и поражений. Общеизвестен недостаточно высокий профессиональный уровень рецензий в местных газетах».

Драматург прав, и все же годы, прошедшие с той поры, когда писались эти строки, отмечены и бесспорными удачами театральной критики. По сей день помню прекрасные статьи безвременно ушедшего от нас Григория Дмитриева — умные, сердечные, продиктованные истинным уважением и любовью к актерскому ремеслу. Убежден: собранные воедино и изданные небольшой книгой, они бы с удовольствием приобретались завзятыми театрами вместе с программкой у входа в зрительный зал. Ведь в тех рецензиях, помимо оценки конкретного спектакля, были и любопытные сведения из театрального прошлого, и размышления «вневременные», лишённые узости злободневного расчета. На мой взгляд, сегодня примерно в том же ключе пишет Виталий Нарожный, имеющий, насколько мне известно, техническое, а не гуманитарное образование, и тем не менее филолог по сути: его рассуждения определены и доказательны, его полемика сдержанна и по-настоящему интеллигентна.

Впрочем, театральная критика — тема особая, и коснулся я ее лишь затем, чтобы подчеркнуть: практически каждый спектакль, поставленный на драматической или музыкальной сцене Иркутска, удостоивается развернутого отзыва, а то и дискуссии. Не о качестве этих отзывов, не об уровне дискуссий веду речь, а о самом факте постоянного внимания к коллективному творчеству театральных режиссеров, актеров, художников...

Почему же аналогичного внимания лишено у нас творчество писателя, этого завязанного «кустаря-одиночки»? Неужели издание книги, работе над которой автор отдал пять-семь-десять лет, — событие в культурной жизни края не столь значительное, как театральная премьера, коей предшествовало несколько месяцев репетиций?

Равнодушное (если не пренебрежительное) отношение критики и товарищей по перу к рожденному в мучениях писательскому детищу давно уже стало привычным. Есть, конечно, редкие исключения, но они только подтверждают правило: писатель в Иркутске сиротлив и «бесхозен».

Нужны примеры?

Почти ежегодно (а порой и дважды в год) появляются на книжных прилавках новые томики Геннадия Машкина. Разве нет резона всерьез поговорить об эволюции творчества прозаика, чьи повести «Синее море, белый пароход» и «Арка» вызвали когда-то каскад восторженных откликов? Теперь же критика молчит — как в рот воды набрала. Критика охладела к Машкину. Почему?

Издal Дмитрий Сергеев сборник «Старые особняки» — исторические повести, написанные на местном материале. Разве это не отличный повод, чтобы затеять заинтересованное обсуждение книги с привлечением историков, краеведов, всех, кто неравнодушен к иркутской старине? Ведь подобные произведения — редкость... Ничего не затеваем, ничего не устраиваем. Молчим.

В столице вышло в свет «Избранное» Анатолия Шастина. Тоже незаурядное, редкое для наших литераторов событие. Помалкиваем.

Издala первую объемистую вещь Нелли Матханова — реакция та же.

Вышел на свободу и вернулся к литературной работе осужденный в годы застоя Борис Черных — активно печатается в местных и центральных газетах, в «Новом мире», «Сибирских огнях» и других журналах, с опозданием на много лет выпустил первую книгу... В Иркутске ничего этого не замечают.

Издal солидный, превосходно оформленный том Борис Лапин: «Своя жена». В свободную продажу, кажется, не поступал — сразу лег в «Роднике» под стекло, куда помещают особо заманчивые, отпускаемые в обмен на макулатуру книги. Но и там не залежался: был мигом распродан. О чем это говорит: о творческой удаче автора (ведь одна из предыдущих книг Лапина «Гидростроители» годами грудилась на магазинных полках) или о пер-

востепенной важности привлекательного названия и добротного оформления? Критика безмолвствует.

Подобным примерам несть числа. В Иркутске немало литераторов, работа которых замалчивается (попросту игнорируется!) десятилетиями. Открываю второй том библиографического словаря «Литературная Сибирь» на страницах, посвященных Леониду Огневскому, и выясняю: последний раз рецензия на его книгу печаталась в «Восточно-Сибирской правде» в 1969 году — двадцать лет назад. Может быть, с той поры прозаик надолго замолчал и не издается? Да ничего подобного! Писатель в летах, а трудится за столом усерднее иных молодых, издает романы (в основном в Москве) и... пребывает в какой-то беспричинной неуважительной изоляции. Конечно, встречи с читателями, организуемые бюро пропаганды художественной литературы, что-то значат, но разве могут они заменить взыскательную оценку профессионалов?..

Полностью отдаю себе отчет в том, насколько отвратительная предвзятая, недобросовестная критика, и все же берусь провозгласить кощунственную мысль: даже тенденциозная критика лучше полного умолчания, ибо привлекает внимание читателя, побуждает его взять в руки обруганную книгу и составить о ней собственное мнение. За годы лжи и фарисейства выработалось убеждение: ругают — значит, вещь интересная, стоящая, надо прочитать.

Понимаю, сложно сегодня критикам. Если в недавние времена при написании рецензии следовало брать в расчет только «ранг» автора (должность, лауреатство), то теперь дабы не попасть впросак, надо еще учитывать, к какой группе он принадлежит. А то скажешь ненароком доброе слово, а писатель — «чужой», и хвалить его не следует. Или наоборот: не удержишься, проявишь профессиональную честность, раскритикуешь — а он, оказывается, к «своим» примыкает...

Нет, что и говорить, нынче критикам вдвойне сложно, нынче многим из них до принципиальности и до непредвзятости еще дальше, чем во времена застоя.

А судить сегодня о рецензиях зачастую можно безошибочно и не читая этих рецензий. Достаточно увидеть, кто пишет и о ком пишет, чтобы стало ясно: поносит или превозносит...

* * *

Объединение художников вообще и писателей в частности в группы — дело обычное и нормальное, и тому множество красноречивых примеров как в истории мирового и отечественного искусства, так и в нашей новейшей истории, в особенности в первом послеоктябрьском десятилетии. Почему так происходит, думаю, понятно без многословных пояснений. Но и в содружествах, возникающих на основе общих убеждений и художничес-

ких пристрастий, каждая по-настоящему творческая личность — наособицу: разделяя со своими единомышленниками главные воззрения, художник всегда индивидуален, в противном случае он — и не творец вовсе, а безликий ремесленник...

Роспуск, а по сути, насильственная ликвидация литературных групп и создание в нашей стране единой писательской организации — это бедствие, аналогичное насильственной коллективизации крестьян и ликвидации кулачества как класса. Сколько ярких талантов (этаких крепких литературных «кулаков») за свою непохожесть, за свое (возмутительное!) своеобразие были лишены возможности печататься, низведены до положения нищих, сосланы, уничтожены... Кто-то из крупных художников эмигрировал. Кто-то уцелел дома. Приспосабливаясь, идя на компромиссы, униженно бия челом «отцу родному», клянясь в верности. Иные затаились: служили бухгалтерами, дворниками, писали в стол... Что же до литераторов поскромнее талантом и послабее характером, то многие из них, насилуя собственное «я», переродились, стали послушными приспособленцами, безотказными поставщиками «чего изволите...»

Я вовсе не хочу представить дело так, будто литературные группы у нас являли собой нечто всецело благодатное. Нет, конечно. Не случайно ж так популярен был термин «групповщина». Споры по принципиальным вопросам нередко подменялись заурадной перебранкой, приклеиванием ярлыков, уничижительными выпадами, а то и публичными доносами. Разные группы — разный уровень образованности, культуры, полемики... И все же то была полемика, был спор, а стало быть, существовала реальная надежда в конце концов научиться вести этот спор достойно, интеллигентно!

Создание единого коллективного писательского хозяйства раз и навсегда отвергало неизбежность и плодотворность серьезного творческого спора и свободной состязательности. О чем, собственно, спорить? Цель одна, метод один. Работайте. А если кто-то ошибается, сверху спустят постановление — укажут, поправят, примут меры...

«Недавно опубликованные постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства всколыхнули литературную среду, окрылили писателей, вызвали новые, дополнительные стимулы художественного творчества. Эти решения усилили в народе интерес к советской литературе... Советская литература является самой идейной и самой передовой литературой среди литератур всех народов и стран...» и т. д. (А. Еголин. За высокую идейность советской литературы // Против безыдейности в литературе. М.: Сов. писатель, 1947. С. 5—6).

Далее в этом сборнике идут конкретные примеры, видимо, призванные показать благотворность созданных условий «для безграничного развития творческих талантов»: «Поэзия Анны Ахматовой — одно из самых характерных и выразительных явлений буржуазной литературы периода ре-

акции». «Ее индивидуалистическая ущербная поэзия не может принести ничего, кроме вреда»; «Порочность писательской деятельности Зощенко...», «...его писания носили клеветнический и пасквильный характер»; «Эпигоны буржуазно-дворянской литературы — Замятины, Ремезовы — те, на которых Зощенко воспитывался, давно сданы в архив истории», «И вполне закономерно и справедливо, что Зощенко... очутился за пределами советской литературы» (там же, с. 81—104).

Заступался ли писательский Союз за своих членов? Увы! Были редкие исключения, когда мужественные люди, обрекая себя на опалу, подавали слабый голос в защиту гонимых, а Союз, это иерархическое литературное министерство, вел себя так, как и подобает какой-нибудь шестеренке в отлаженной бюрократической машине тоталитарного государства: начиналась проработка — послушно подключался, требовалось осуждение — с готовностью поднимал руки.

С годами утвердился особый «ритуал»: устраивал кому-то разнос центр — тут же откликалась провинция, и без труда отыскивались свои ахматовы, свои зощенки... В Иркутске объектом для битвы избрали самого безобидного, самого незащитного человека — поэта Елену Жилкину: отчитывали, не брали на работу, не печатали. А некий комсомольский деятель, лихо «скрестив» Ахматову с Рахметовым, патетически восклицал с местной трибуны в адрес Жилкиной: «Ох уж мне эта ахметовщина!»

(Позднее, уже при Хрущеве, когда Москва начала кампанию против абстракционистов, тутошние живописцы от писателей не отставали — принялись публично поносить Владимира Пинигина и Сергея Старикова, высокоодаренных молодых художников...)

Канцелярская система функционировала безотказно.

И вдруг все пришло в движение, «воспряло ото сна», и выяснились потрясающие (а по сути, азбучные) истины. Что разнообразие школ и направлений в искусстве — не бедствие, а благо. Что у нас помимо официально признанных (скажем, «деревенской» и «городской» прозы), существуют в литературе и другие течения, просто до поры они были загнаны в подполье и обречены на немоту или, в лучшем случае, на крамольный самиздат. Выяснилось, что диктат и брань в такой же степени губительны для творчества, для таланта, как и безудержное славословие...

Но с приходом эпохи дозированной гласности стало очевидным и другое: за 70 лет почти безропотного молчания и поддакивания мы утратили даже то малое, что когда-то умели. Мы оказались отброшенными далеко назад, и в литературных (да и в прочих) спорах по невежеству, бестактности, бездоказательности, пожалуй, заткнем за пояс любого одиозного хулителя из прошлого. Махровым цветом расцвели наветы. Воскрес публичный донос. Снова народилось и такое, к чему интеллигенция в нашем Отечестве во все времена относилась с брезгливостью и осуждением. Я имею

в виду обращения к властям (в том числе и к «компетентным органам») с требованиями пресечь, запретить, оградить, принять меры. Не хулиганские выходы пресечь — не нравящиеся высказывания. Не шовинистические сборища запретить — не радующую слух музыку...

Грустно все это.

Что излечит нас от нетерпимости? Что остановит нарастающую ненависть? Что научит слушать и слышать оппонента? Только время. Только терпеливый диалог в условиях хотя бы медленно улучшающейся и неуклонно излечиваемой от экстремизма мирной жизни. Только желание и умение всматриваться в собственную историю и извлекать из нее уроки. Потому что все уже было: и страх перед революционными переменами, и ничем не оправданная, преступная бесчеловечность, и богоискательство, и поиск заговорщиков и врагов, повинных во всех мыслимых и немыслимых грехах. Все было...

Повторюсь: объединение писателей в группы — дело обычное и нормальное. Вот только имели бы все равные возможности для выхода к читателю!.. Объединение всегда осуществлялось вокруг какого-то печатного органа — газеты, альманаха, журнала. Но сегодня нам толкуют о бумажном голоде, о немогущей полиграфической базе... Между тем продолжает издаваться множество никому не нужных узковедомственных журналов, выходит не пользующаяся спросом техническая и сельскохозяйственная литература. Диву даешься: неужели издательства и книготорговля настолько оторваны от жизни, неужели не налажен хотя бы примитивный учет потребностей специалистов в подобных книгах? А загляните в отдел книжных магазинов, где собрано литературоведение! Полки забиты сухими, наукообразными исследованиями и монографиями о здравствующих литературных генералах, да и сами генералы, кажется, ничего не оставляют в архивах для будущих комиссий по литнаследству — собирают «до кучи» все свои газетные статьи, речи, интервью и выпускают их щедрыми тиражами, благо никаких очередей и прочих помех для элиты в издательствах по-прежнему не существует...

Как о великом благе приходится мечтать о том, что уже существовало когда-то и считалось элементарным: каждая литературная группа имеет свой журнал. Хозрасчетный. Прибыльный, если раскупается. Прогорающий, если неинтересен и не пользуется читательским спросом...

А в рамках ли Союза писателей или вне его должны существовать подобные группы — не суть важно. В конце концов и Союз, созданный насильственно, в идеале мог бы стать надеждой и опорой для каждого из своих членов. Правда, возможно такое лишь при условии превращения его в истинно демократическую организацию. А пока он остается бюрократическим ведомством, десятилетиями управляемым, в общем-то, одними и теми же людьми, пока служит в основном интересам привилегированной

верхушки, рядовой труженик пера будет чувствовать себя сирым, никому не нужным и бесправным.

Мы закоренелые одиночники. Таков уж он по своей природе, наш труд. Оттого-то мало с кем сходимся, необщительны, замкнуты. С годами эти качества прогрессируют, по молодости мы были несколько иными: охотней общались, устраивали шумные сборища, порой и куролесили (в ущерб работе)...

А может, не только молодость нас объединяла? Может, было в той — справедливо отвергнутой нами — жизни и нечто такое, от чего не следовало отказываться столь решительно и поспешно?

Да, наше творческое единомыслие (сейчас речь только о нем) было показным. Нередко лишь в дружеском застолье на кухне выяснялось, кто как относится к той или иной книге, к тому или иному писателю. Но, помимо личной приязни либо неприязни, существовало в наших литературных взаимоотношениях что-то более высокое. Положим, невозможно было себе представить, чтобы писатель на встрече с читателями о ком-нибудь из своих коллег говорил дурно, оскорбительно. Он мог высказаться сдержанно, критично, но при этом оставаться в рамках приличия. А сейчас?

— К нам недавно писатель имярек приезжал, — доверительно сообщила мне не так давно одна из читательниц, — так он про вас такое говорил, такое говорил!.. Повторить стыдно.

Ей — стыдно. Ему — хоть бы хны.

Я долго сомневался, размышляя: не ностальгия ли по молодости обманчиво рисует мне кое-какие достоинства прошлого?

Наконец уверился: нет, не ностальгия. Потому что отчетливо вижу, как унизительно несвободны мы были, как боялись правдивое слово молвить, как корежили свои мысли и выхолащивали тексты под гнетом цензуры, которая лишь немногим избранным со скрипом позволяла оставаться самими собой...

Но при этом мы с удовольствием сходились «под крышей дома своего». И приносили рукописи, отчитывались, устраивали «круглые столы», терпеливо выслушивали критику. Писателю с именем ничего не стоило отдать для обсуждения горячую, только с машинки, повесть своим (совсем не именитым!) товарищам, даже не беря при этом в голову, что там за национальность у них значится в пятом пункте анкеты...

А праздники и дни рождения?

Думаю, в любой сапожной артели и заболевшего товарища провести не забудут, и фронтовика с Днем Победы поздравят, и пенсионерке, ветерану труда, три гвоздики в день ангела преподнесут.

Нам до сапожной артели — как до звезд.

Помнится, лет тридцать с лишним назад, служа в армии в далеком южном городе, я увидел однажды в увольнении афишу возле театра: «Дмитрий Стоянов». Как я возгордился, как расхвастался перед товарищами: ведь автор пьесы — драматург из родного Иркутска!..

Имя Левантовской, хорошо знакомое театрам пятидесятих-шестидесятых годов, давно исчезло и с афиш, и с газетных страниц, да и сама Белла Ильинична вот уже много лет не переступает порога Дома литераторов. Понятно: годы, нездоровье... Но тем из нас, кто еще находится в добром здравии, разве простительно, что забыли о человеке? Быть может, надо чем-то помочь? Да если и не требуется ничего, простое внимание тоже что-то значит... А разве не интересно узнать мнение Б. Левантовской о пьесах А. Князева? Не каждый год рождаются на свет новые драматурги! Так почему бы не попросить ее посмотреть или прочитать, допустим «Наплыв», и написать о нем? Почему бы не напечатать в писательской газете главу из незавершенного пока что романа Б. Левантовской? (О работе над ним сообщал А. Вампилов в библиографическом указателе «Литературная Сибирь», вышедшем в 1971 году) Поздравить, справиться о здоровье, проведать, напечатать отрывок... Как мало требуется, чтобы подбодрить человека! (Да простится мне Беллой Ильиничной самочинное «заступничество». Мог бы, конечно, написать здесь и о ком-то другом...)

Ну а что касается «Литературного Иркутска», то издание это, по-видимому, считает для себя зазорным «опускаться» до жизни и творчества местных прозаиков, поэтов, драматургов. Оно поставило перед собой цели глобальные — просветительские...

Нет, я не против философских и богословских текстов, порой заполняющих почти все страницы «Литературного Иркутска» — в них немало поучительного. Но коли руководство организации и редколлегия не в силах изыскивать иные возможности для публикации материалов, к литературному Иркутску никакого отношения не имеющих, то надо бы уж идти до конца и переименовать писательскую газету в «Церковный вестник»...

Слова о духовности, о нравственности, о самосознании и патриотизме, с каким бы пафосом они ни произносились, так и останутся словами, если их не подтверждать скромными, не кричащими («низкими»!) делами. Если в похвальном стремлении вернуть народу веками накопленную мудрость самим оставаться глухими к первейшим из древних заветов, призывавших нас прежде всего любить ближнего, заботиться о нем...

Вот пишу все это и отчетливо осознаю: напрасно. Ибо наше писательское ведомство устроено по образцу всех прочих государственных ведомств. Можете ли вы назвать хотя бы одно, зависящее от нас, простых смертных? Не можете? То-то и оно. Ведомства у нас не идут — мы к ним

ходим. Кланяемся, просим, умоляем. Кто понапористее — требует. Кто беспринципен — перекрашивается, подхалимничает...

Но не перевелись ведь еще и дорожащие собственным достоинством. Однажды обратятся, обожгутся о безразличие — и больше не сунутся. А то и вовсе из боязни отказа ни разу ни о чем не попросят — не унизятся. И будут молча нести свой крест, терпеть неудобства, маяться...

Казалось бы, демократично (почти демократично) избираем себе руководителей. Казалось бы, уже имеем понятие и об альтернативных выборах, и об ограничении срока пребывания на руководящих постах. А все не можем, ну никак не можем уяснить: не принадлежность патрона к «левым» или «правым» главное, главное — его умение быть выше групповых амбиций, быть от природы внимательным, заботливым, душевным человеком.

Способны ли мы хотя бы представить себе такого руководителя, который раз в год посещает каждого из членов своего маленького (в сорок душ) коллектива? «Как живешь, мил человек, на что живешь, здоров ли, в чем трудности, не помочь ли чем?..» Двадцатиминутный разговор, а на всех — два рабочих дня, и были бы эти дни много весомей всех годовых «мероприятий», вместе взятых.

Нет, не способны мы даже представить себе такого начальника, не говоря уже о том, чтобы избрать его на должность, оплачиваемую, в общем-то, нами же.

Дефицит душевности, человечности — острейший, губительнейший из дефицитов, терзающих наше общество.

И когда писателю никак не удастся перебраться из захолустного в культурном отношении города в областной центр, то это оно, бездушие.

И когда посторонние люди корят нас за неухоженные, забытые писательские могилы, то это тоже бездушие.

И когда внуки «выживают» писателя из рабочего кабинета, а ему на просьбу поспособствовать с жильем отвечают: помочь ничем не можем, то это бездушие высшей пробы.

А преждевременный, в том числе и добровольный, уход из жизни? Да, это фронтовые раны, болезни, семейные и прочие неурядицы... Но еще и наше бездушие, неумение и нежелание увидеть в ближнем страждущего и прийти ему на помощь...

Когда пытаешься докопаться до истоков наших литературных бед, то сначала испытываешь соблазнительное желание поискать аналогии в бедах экономических. Но несуразность такого сопоставления становится очевидной сразу же. В самом деле: к экономическому краху нас привело насильственное и, как выяснилось, противное человеческой природе отчуждение от собственности. Общее, ничье — вот понятия, породившие

безалаберность, расточительство, наплевательское отношение ко всему, что даровано природой и нажито общественным трудом.

Но почему деградировала культура? Почему в послереволюционные годы не столько оберегали, собирали, охраняли, реставрировали (рукописи, фольклор, книги, храмы), сколько уничтожали, пускали по ветру, губили, рушили?..

Сдается мне, что наше семидесятилетнее культурное одичание закономерно. Кого призывало время? Прежде всего «человека с ружьем», потом человека с киркой и тачкой. Кого пестовала идеология? Преданных делу, движимых классовой солидарностью и классовой ненавистью, бдительных к проискам, всецело поддерживающих, убежденных в правоте, негибких, стойких... А как же обстоит с думающими, сомневающимися, склонными к анализу, непохожими? Каково приходилось верующим и милосердным? Ни времени, ни идеологии они не требовались. И они стали исчезать с лица земли нашей...

Поверхностная образованность, начетничество, привычка откликаться на призывы и бездумно следовать указаниям, спускаемым сверху, — вот плачевный итог так называемого духовного развития народа (по крайней мере, его «подавляющего большинства») в советскую эпоху. И надо ли удивляться, что и в нашей, писательской среде благополучно здравствуют невежественность, бескультурье, эгоизм? Надо ли поражаться душевной глухоте и внутренней неинтеллигентности тех, кто, казалось бы, призван быть носителем самых высоких человеческих достоинств? Мы дети своего времени. Мы плоть от плоти истерзанного, измороженного этим временем народа.

Экономические беды страшны, одолеть их в одночасье невозможно, потребуются годы и годы... Но вряд ли сыщется пророк, который возьмется предсказать, сколько десятилетий (или столетий?) потребуется, чтобы одолеть нашу культурную одичалость.

1989

Как перекрыли «Ангару» Интервью альманаху «Голос»

В феврале 1969 года бюро Иркутского обкома партии приняло постановление об идейно-политических ошибках, допущенных в альманахе «Ангара». Поводом послужила публикация повести братьев Стругацких «Сказка о Тройке». Произведение это было признано идейно порочным и аполитичным, номера «Ангары» с повестью изъяты из массового библиотечного пользования и переведены в спецхран, а главный редактор альманаха писатель Юрий Самсонов освобожден от должности.

Публикацией «Сказки» завершился недолгий, около двух лет, но, пожалуй, самый интересный период в истории альманаха, который сегодня называется «Сибирь». Именно в это время был опубликован ряд остросоциальных, талантливых произведений молодых иркутских литераторов. Позиция альманаха и его главного редактора вызывала раздражение властей предрежащих в идеологии и литературе того времени, в конце концов сумевших перекрыть «Ангару».

Сегодня «Сказка о Тройке», как и многие репрессированные произведения, возвращена читателю и заняла свое место в ряду других талантливых вещей. Справедливость, как говорится, восторжествовала, но только не по отношению к альманаху «Ангара» и его главному редактору, с которого до сих пор никто не снял обвинений в «идейно-политических ошибках». Вот почему мы сочли необходимым предоставить возможность писателю Юрию Самсонову рассказать о работе в альманахе «Ангара» в 1967—1969 годах и высказать свою точку зрения на события тех лет.

Беседу ведет журналист Ю. Багаев.

— Юрий Степанович, известно, что стать редактором альманаха «Ангара» вам предложили летом 1967 года. Чем характеризовалась тогда литературная ситуация в Иркутске, как складывалась ваша личная судьба?

Самсонов Юрий Степанович (6 июня 1930, с. Балахнинское Красноярского края — 28 июня 1992, Иркутск), прозаик. Член Союза российских писателей. Автор книг «Максим в Стране Приключений», «Плутни робота Егора», «Стеклянный корабль», «Человек, сидящий у колодца» и др.

— В 1953 году после окончания Иркутского пединститута я поступил на работу в «Восточно-Сибирскую правду». Спустя три года уехал в Братск в качестве корреспондента ТАСС на строительство знаменитой ГЭС, в 1962 году вернулся в Иркутск автором детской сказочной повести, напечатанной в журнале «Пионер», и вошел в группу молодых литераторов, которую называли «иркутской стеной». Ближе прочих мне был Дмитрий Сергеев — старший из нас, фронтовик и геолог, автор двух книг, реалист и фантаст, «технар» и философ. Подружился я с Геннадием Машкиным, еще пока не автором повести «Синее море, белый пароход», но уже написавшим несколько замечательных рассказов, в том числе «Арку». Был в этой компании и Александр Вампилов, всех поразивший своей первой пьесой, и Вячеслав Шугаев, и вернувшийся вскоре из Красноярска Валентин Распутин. Сходились мы ежедневно, бурно обменивались мнениями и идеями, которые могли быть присвоены и воплощены кем угодно — никто не цеплялся за авторство. Все написанное обсуждалось тут же — горяченьким, а затем снова — после переделок. Это было счастливо найденное сочетание индивидуального с коллективным, и можно сказать, не преувеличивая, что личным успехом каждый был, пусть в разной степени, обязан всем.

Правда, нам недоставало интеллигентности, цивилизованности, мы не только высказывали свои принципы, но достаточно часто пытались их навязать, не сдерживали антипатий, не понимали, что писатель к писателю должен относиться как держава к державе, и есть граница, которую заказано переходить — или не миновать раскола, как оно позднее и произошло. Об этом можно сожалеть, хотя думаю, что на ситуацию повлияли скрытые до поры позиционные расхождения. Ведь особенного плюрализма «стенка» не допускала, она была цельным блоком инакомыслящих, однако внутри нее мыслить следовало примерно одинаково, так что, например, Шугаев тогда числился и даже взаправду был пылким борцом против антисемитизма!

Какого свойства было наше инакомыслие — не загадка: Дмитрий Сергеев стал постоянным автором «Нового мира». Геннадий Машкин — «Юности», «стенка» состояла в личной дружбе: кто с Твардовским, кто с Тендряковым, кто с Евтушенко. Тайком привезли и перепечатали «Раковый корпус» А. И. Солженицына. Стоном стонали от нас бдительные люди в окружающей среде, только деваться было некуда: после Читинского семинара 1965 года все мы стали членами Союза писателей.

Главного редактора альманаха тогда назначало бюро писательской организации — согласования с обкомом, утверждения на бюро обкома не требовалось: теперешний порядок возник, по-видимому, после моего «низложения», как раз в связи с ним.

По традиции, главным редактором был ответсекретарь писательской организации. Альманах когда-то назывался «Новая Сибирь» и выходил

эпизодически — иногда один раз в год, затем, переименованный в «Ангару», стал выходить четырежды, затем, слитый с альманахом «Забайкалье», перешел на шестиразовый выпуск, ответсекретарю невозможно стало управляться еще и с этой работой. Я унаследовал груды рукописей, сваленных на издательский стул, успевших пожелтеть и пропылиться, кое-что из этого завала удалось позднее напечатать.

Назначение мое радости не вызвало ни у руководящих идеологов, ни у родимых консерваторов в писательской организации, ни тем более у директора издательства — Леонида Кирсановича Чуркина. Их можно понять: если человек не вскакивает на ноги при звуке имени вождя, а продолжает себе сидеть, дурно влияя на окружающих, зато встает и уходит, хлопнув дверью, когда в зале предлагают Даниэля и Синявского расстрелять, если этот человек публично выспрашивает у секретаря обкома, верно ли, что введены новые цензурные строгости, или чище — наказан ли секретарь Горьковского обкома за «хунвейбиновскую» угрозу повести нижегородцев в Москву для расправы с «Новым миром», то он, ясное дело, требует особого и пристального внимания.

Говорю это не к тому, какой я храбрый, примерно так вели себя мы все, таков был дух «стенки» — и, с точки зрения начальства, ни один из нас в главные редакторы не годился. Но других-то — беспартийных — и назначить бы не смогли, а я состоял в партии уже с 1953 года.

— *Юрий Степанович, но разве член партии не был обязан в те годы строго следовать официальному курсу? Как вам удавалось отстаивать свою позицию, где брали силы?*

— Что ж, Александр Твардовский был не только членом партии, он был членом ЦК. Чья позиция более правомерно партийна — редактора «Нового мира» или тогдашнего Политбюро?

Таких, кто не соглашался подменять служение услужением, было в стране предостаточно. Если прежде им оттяпывали головы, то после «оттепели» либерально связывали руки и мягонько, неторопливо удушали, перевоспитывали в духе «двоемыслия».

Имелся, как говорят автомобилисты, «люфт» — пространство свободы внутри самых идеологических требований. Дело в том, что требования эти не могли быть сформулированы вполне определенно, напрямик. Кто ж мог сказать «соцреалистам»: «врите»? Нет, им было сказано: «пишите правду». Ты имел моральное право считать именно эти слова официальным партийным требованием — и следовать ему на практике, что означало, в лучшем случае, твою политическую наивность, а в худшем — политическую незрелость: ведь «зрелому-то» не требовалось разжевывать, что «писать правду» на деле означает врать.

Но пока идеологические ковбои гонялись за тобой со своими лассо, ты мог сопротивляться, уклоняться, ускользать и успеть даже совершить

серьезные проступки, зная, что расплата неминуема, тем более что ты и не Твардовский.

Я имею в виду главным образом то, что мне удалось пробить несколько талантливых произведений, выдержав при этом борьбу и с чиновниками идеологических партийных ведомств, и с издательскими перестраховщиками, и, естественно, с цензурой. В то время мне стала особенно близка мрачная шутка литераторов, что написать хорошую вещь значительно легче, чем ее потом напечатать.

— *Да, шутка известная и, к сожалению, не утратившая своей актуальности в наши дни. А за какое произведение вы впервые вступили в борьбу?*

— За повесть Распутина «Деньги для Марии». Она шла в четвертом номере 1967 года, который составил предыдущий главный редактор — Марк Сергеев. Я пришел в издательство, чтобы заняться своим — пятым номером, а мне говорят: ищи замену. Уже можно не спрашивать, цензуре никто не указ — сама кому хочешь укажет, может не вдаваться в объяснения: обжалованию не подлежит, сопротивление бесполезно.

Что ж, говорю, посмотрим...

Нечего, отвечают, смотреть: ты ищи. Надо четыре печатных листа.

Я забрал корректуру, унес, прочитал повесть залпом и влюбился в нее без памяти: там видно, до чего Распутин боится сфальшивить хоть словечком, хоть запятой, и это читателю передается — не за одну Марию маешься, не за Кузьму, а и за Валентина: вдруг все же сорвется? Нет, все тонко, точно, чисто, как птица пропела... И это — снимать?!

Перезвонились с Марком Сергеевым — он был ответсекретарем, с Анатолием Шастиным — секретарем партбюро, договорились пойти в обком. Я снова перечитал повесть, сперва всю, потом еще раз — кусками, к утру знал ее почти наизусть.

В восемь утра мы уже были в кабинете у секретаря по идеологии Евстафия Никитича Антипина. Я сказал, что запрет такой повести равен убийству и что повесть Распутина сделает знаменитым, а Евстафий Никитич, как помню, ответил: «Откуда вы это знаете?» Нажимали мы дружно, а кончилось странновато: Антипин разъяснил, что мы пришли не по адресу, что нам надо разбираться по этому делу с начальником обллита Николаем Григорьевичем Козыдло.

Правда, когда мы пришли к Козыдло, прихватив по дороге еще директора издательства Л. К. Чуркина, Николай Григорьевич как раз беседовал по телефону с Антипиным — тот ему позвонил насчет распутинской повести. О чем говорили, нам не доложили.

Само слово «цензура» было для нашей «стенки», что красная тряпка для быка. Завидев живого цензора, я на него сразу же и накинулся. Гляжу, а тореадор-то миролюбив, даже не сопротивляется. Говорит: я ничего не запрещал, ничего не снимал, я только хотел посоветоваться.

Вот такой реприманд! Кто же кому тут голову морочит? Смотрим на директора издательства — тот молча перелистывает корректуру. Молчание же — знак согласия. (Или признак лояльности.)

После я увидел, что издательские работники умеют валить на цензуру то, чего она еще в глаза не видела, авансом, и что Козыдло — человек порядочный, дружелюбный, терпимый, даже уступчивый, разумеется, в пределах полномочий. Работу свою знал, делал ее предельно добросовестно, но готов был и рискнуть — и я этим бессовестно пользовался, причем неоднократно...

Что же, хотят посоветоваться — мы изложили советы. Но коли эпизод возник, он не мог окончиться ничем. Свой вклад внес Л. К. Чуркин: давайте, говорит, переместим повесть в середину номера, чтобы он все же не ею открывался. Это принципиального значения не имело, и корректура уехала в типографию.

В пятый номер я поставил, помнится, военную повесть Дмитрия Сергеева «Полевая жена», которую, конечно же, нельзя было печатать, поскольку славные воины Советской армии никогда и слыхом не слыхали ни о каких таких походных полевых женах (ППЖ), и песен не пели о них, и не мог наш советский офицер вести себя, как герой повести Зуев. Принцип «соцреализма»: этого не может быть, потому что не должно быть.

Но после стычки из-за Распутина повесть прошла с неожиданной легкостью — и этот номер, кстати, был единственным, за составление которого мне, согласно уговору, заплатили. Остальные я делал на общественных началах.

— *То, что вам перестали платить деньги, является вопиющим нарушением авторского права. Почему вы не протестовали?*

— У нас по сей день имеет смысл говорить только об авторском бесправии: оно-то и есть наше право. Означало это, что меня хотят выкорчевать из альманаха не мытьем, так катаньем. А результат оказался прямо противоположным: нипочем не уйду, пока силой не вышибут. Только укрепили независимость да вызвали такую веселую злость: вы нас мытьем — а мы вас дубьем! Да, конечно, я «под колпаком», но колпак-то ведь и изнутри прозрачен, я тоже вас наблюдаю, причем более сосредоточенно, не отвлекаясь, на соседа не надеюсь...

— *На что же вы жили?*

— На мелкие займы и на случайные заработки вроде внутренних издательских рецензий. Мы — военное поколение: желудок зауженный, потребности минимальные, притязаний никаких. Давить на нас поэтому трудно, а ежели мы уверены, что делаем святое дело, то давить и вовсе бесполезно. Антипина и Чуркина следовало убедить в этом на живом примере. Я хотел предъявить доказательство: при всей нашей несвободе у нас можно добиться всего, чего хочешь, надо только оседлать чиновника так,

чтобы он захрустел. Он ведь любым принципом поступится, лишь бы избавиться от неудобства, так что знай не отступай, тесни и досаждай, настырничай, никуда он не денется. У него, голубчика, под черепной коробкой полторы извилины, настройся на три — нипочем не различит подвоха при всей своей бдительности: и в самый наилучший микроскоп все-таки не наблюдают звезды. И сколько ни закручивают гайки, напечатать всегда можно будет все, что угодно, пусть это поймут, пусть до них дойдет бесполезность и бессмысленность их усилий, пускай ищут новые, человеческие пути.

Мне очень нравился лозунг, который был в ходу у чехов, но вызывал ярость чиновников нашего партаппарата: социализм с человеческим лицом.

— *Но была и какая-то конкретная программа действия?*

— Я не знал еще ни работы, ни всех ее трудностей, кроме политических. Точно знал только то, как буду себя вести и чего добиваться, делая альманах. Исходил из интуитивного убеждения, что результат зависит от высоты прицела. Хочешь шедевров — и явятся шедевры, настроишься на средний уровень — получишь, согласишься на мусор — достигнешь... Правило точное, проверенное на многих примерах. Будто включается какой-то электромагнит, подобное притягивается подобным, сила притяжения возрастает вслед за возрастанием той массы, которую уже притянуло, на тебя начинает работать репутация твоего издания — поле притяжения расширяется, шлют рукописи, едут авторы, о которых слыхом не слыхал, все шире выбор, можешь приподнимать прицел. Это чуду подобно, только мы забегаем вперед.

Я целился пока на максимум возможного — на уровень лучшего в нашей «стенке». На это означало, что и «стенка» должна подтянуться. Это вызвало трения: как же так — ты же его друг, ты с ним вчера водку пил, а сегодня требуешь переделать рассказ, который все хвалят. И еще раз потребуешь, и еще... «Стенка» взъерошилась, заерепенилась. Собираемся, ставлю спорный рассказ на обсуждение — и автор получает еще больше шишек. Скрипит зубами, доводит «шедевр» до ума...

Вампилов говорит про меня ядовито:

— Он думает, что он уже Твардовский.

Я про себя нахально думаю: «Черт побери, а чем мы хуже?»

Вознесся... Стараясь все же головы не потерять: по уровню прозы, считал, мы от «Нового мира», пожалуй, и не отстаем, но журнал — это не только художественная проза. По части поэзии — нечего равняться, а уж публицистика, а тем более критика...

После я пришел к мысли «импортировать» критику, т. е. «ковать» свои кадры, но куда их нет — отдавать книги на рецензию лучшим критикам страны: связи налаживались. Сделать этого не успел.

«Импортировать»-то, впрочем, можно было бы все, но издание должно

было оставаться местным, не обезличиваясь, по одежке протягивать ножки, не опускаясь до провинциальщины. Быть центром здешнего, а не вообще литературного процесса — и задавать качество самому этому процессу, вот к чему вел, вот какова была суть, изюминка редакторского замысла.

За литературными журналами начинал следить все ревнивее, прикидывая — кого мы обошли, кого еще предстояло «догнать и перегнать». Например, тогдашний «Наш современник» явно в подметки не годился нашему альманаху «Ангара», и я торжествовал... А впереди себя числил помимо «Нового мира» еще «Москву» и «Звезду», которую очень профессионально — не мне чета — делал Георгий Холопов.

Было у кого, было чему поучиться, было чем увлечься: каждый следующий номер как бы вырастал из предыдущего и давал начало очередному, я мысленно перебирал по листочку будущий годовой комплект, угадывая наилучшие сочетания — короче, меня засосало.

Кое-чего достигнуть удалось, двенадцать выпущенных номеров говорят за себя сами. «Помогала», надо сказать, вся обстановка в стране: лучшие сочинения, которые при нормальных условиях верняком ушли бы на сторону, без особенных уговоров поступали в портфель альманаха — становилось все меньше охотников такое печатать, и пока литература нищала, мы могли не опасаться за свои закрома.

— *А что же работники издательства? Неужели среди них не нашлось помощников и единомышленников?*

— Отнюдь. Одним из важнейших условий нашего успеха была Людмила Афанасьевна Васильева. Альманах имеет редколлегию на общественных началах, а практически его делают двое — главный редактор и еще редактор, выделенный издательством. На эту роль было выдвинули писателя Евгения Суворова, но я ответил, что двух разгильдяев на альманах окажется многовато, редактор должен быть воплощением аккуратности, коли уж главный не обладает таким качеством. Среди прочих предложили Людмилу Афанасьевну, юную угрюмоватую даму, работавшую тогда корректором. Я долго к ней приглядывался — скрадывал, как рябчика в тайге, не решался: что за этой вечной замкнутостью? Наконец, раскусил и, костеря себя на все корки — где были мои глаза? — помчался к директору издательства требовать Васильеву себе для работы в альманахе, опасаясь, что вдруг не отдадут.

Слава богу, отдали.

Выигрыш оказался грандиозным. Я мог не заботиться о соблюдении многосложной издательской технологии, даже в это не вникать — Людмила Афанасьевна сделает все и сделает в срок. Я не заботился о качестве редактирования: оно обеспечено. Я оставлял на ее усмотрение все более ответственные решения — ни разу не промахнулась. Требовательность ее

доходила до того, что она отказывалась ставить в номер статью собственного мужа — критика и литературоведа, имея претензии к качеству текста, и тот шел ко мне жаловаться.

Но всего важнее, что на нее не надо было оглядываться в любой драке: свой кусок фронта она удержит, не ослабнет, не предаст. Хотя обстоятельства складывались так, что мне приходилось ставить ее иногда попросту в бесчеловечные условия, да и еще не объясняя, почему это делаю, для чего, каков будет следующий маневр.

— *Вам не кажется, что в нашей беседе слишком много военной терминологии? Ведь говорим-то мы о литературе...*

— Что поделаешь, по мере того как сгущалась общественная атмосфера, работа главного редактора стала сводиться не к редактированию в нормальном смысле слова, а к пробиванию. За все, что мы умудрялись напечатать, шла война, с разведкой, обороной, наступлением, отступлением, заходом в тыл, во фланг, с психическими атаками и черт-те чем еще.

Поначалу боевые действия были самые примитивные — самодеятельность... Приезжает ко мне Машкин уговаривать, чтобы поменял местами пьесу Вампилова и повесть Гусенкова, запланированные на первый и второй номера 1968 года. Саня-то потерпит, а у Володи вовсе худые дела, пропустить бы его вперед...

Но оба номера уже сложились, что пасхальные яички, их ломать — что дом ломать. Я не соглашаюсь.

И вдруг соображаю: промашка!

Обсуждение повести Гусенкова «Семь дней без романтики» только что прошло в издательстве. Повесть прекрасная, в духе тогдашней молодежной прозы — Кузнецова, Аксенова, Гладилина, — только она была как бы итоговым произведением всей этой струи, содержала не явную, внутреннюю на нее пародию.

Демобилизованный солдат появляется на великой сибирской стройке. Он жаждет перемен, рвется в бой с недостатками. Заметил, что из брошенных опалубочных щитов и досок торчат ржавые гвозди, — предлагает положить конец безобразию: гвозди выдрать. Товарищи пытаются ему растолковать, как мало в этом проку, но куда там!..

Издательское руководство юмора не заметило, сочло повесть очернительством нашей действительности, а Гусенкова — чуть не диссидентом. «Стенка» билась за повесть дружно, билась жестоко, и хотя издатели на вид остались при своем, не могло же это обсуждение их не пошатнуть! Если промедлить, неуверенность у них пройдет, позиция схватится, как бетон, — ломай заново!

Самое время ставить повесть в номер — прямо сейчас: ошалеют, потеряются от такой наглости! А затем это, между прочим, поможет и выходу книги: апробировано.

Саня, конечно, обидится. Но он и вправду может лишних два месяца потерпеть...

Обиделся Саня, еще пуще обиделся Л. К. Чуркин, однако прошло как по писаному.

А верхом всей этой стратегии и тактики оказалась история с публикацией повести Геннадия Николаева «Плеть о двух концах». Повесть как будто сегодня написанная — в связи с кошмарной аварией на газопроводе, о том, почему такие аварии неминуемо будут происходить. Геннадий Николаев — нынешний главный редактор «Звезды», по профессии инженер, сумел обнажить наш хозяйственно-политический механизм во всей его жути, без пощады и без прикрас.

А кроме того, автор добавил в повесть очень правдивые эпизоды, связанные с коллективизацией, бытом сталинских лагерей, живописать которые было в те годы запрещено. Словом, решиться на публикацию такого произведения было делом нелегким. Но мне придало силы то обстоятельство, что, познакомившись с этой повестью, директор издательства Л. К. Чуркин заявил: она никогда не увидит свет. Безапелляционность всегда вызывала во мне жажду противоборства, и я решил, что сделаю все возможное, чтобы «Плеть о двух концах» ударила по тем, кому она предназначалась.

Однако на сей раз я решил действовать при помощи явных противников повести — издателей и цензоров, чтобы они взаимно нейтрализовали друг друга. Для почина предложил прочесть повесть Константину Федоровичу Седых. Он был человек замечательного таланта, все распрекрасно понимал и всего отчаянно боялся. Когда я сказал своим товарищам, что отдал вещь на прочтение дяде Косте, они схватились за головы, потому что были убеждены, что Седых зарубит повесть, как говорится, на корню. А слово Седых обладало для издательских работников силой прокурорского приговора.

По прошествии некоторого времени у меня на квартире раздался звонок, и я услышал голос Константина Федоровича:

— Юра! Я потрясен! Я три ночи не спал. Но ведь это же невозможно печатать. Тебя с работы снимут. Мы лишимся редактора, а этого допустить нельзя.

— Значит, вы не будете писать рецензию?

— Да что ты, как рецензия? За это же голову оторвут.

Я ответил, что на нет и суда нет, и попрощался с дядей Костей, не сообщив ему, что повесть в это время находится на предварительном прочтении в цензуре. Седых жил в эту пору на даче, и я знал, что он в это время не встретится с директором и не сможет высказать ему свое мнение.

Что касается начальника обллита Н. Г. Козыдло, то у нас с ним после первой стычки из-за «Денег для Марии» установились вполне нормальные

отношения, даже взаимопонимание, которое ни та, ни другая сторона не стремилась разрушить. Я не стал ничего исправлять в повести и отдал ее на прочтение в том виде, в котором она попала ко мне от автора. При этом я прекрасно знал, что придется убирать и про лагеря, и про коллективизацию, но решил сделать это в последний момент, как бы вынужденно, уступая цензору, который, по вполне понятным причинам, не мог переступить через существовавшие тогда запреты. Таким маневром я надеялся уберечь основной материал повести.

Через некоторое время мы встретились с Н. Г. Козыдло, чтобы обменяться мнениями. Разговор наш начался утром. Поговорили о погоде, других не менее важных вещах, обсудили некоторые детали повести, уделив при этом особое внимание одному эротическому эпизоду. Словом, время шло, в кабинет все чаще заглядывали сотрудники обллита. Н. Г. Козыдло стал нервничать. Дело подошло к обеду, когда я решил, что настала пора главного штурма, и спросил Николая Григорьевича, что же можно сделать, чтобы все-таки напечатать повесть. В ответ, как и ожидалось, мне было заявлено, что нужно опустить все эпизоды, связанные с репрессиями 37-го года, лагерями и коллективизацией. Я согласился.

— Но ведь и всего остального также нельзя печатать, — несколько растерянно уже сказал Козыдло.

И тут я выложил припасенные козыри. Я предложил внести в кульминационную часть повести поправку, в результате которой станет ясно, что партийные органы знают о творящихся безобразиях, принимают соответствующее решение, но оно запаздывает и финал повести остается трагичным.

— Это меняет дело, — заявил, поразмыслив, Николай Григорьевич. — Так, пожалуй, и пойдет. В таком виде пропустим.

С большим трудом, но нам удалось вместе с автором сочинить совсем небольшой, на какие-нибудь полстранички, новый эпизод таким образом, что он не нарушал реальности происходящего, не бросался в глаза, читался, в сущности, как проходной. Но для нас он стал цензурной отдушиной, в которую мы все-таки смогли пролезть.

Таким образом, наш читатель еще в 1968 году получил возможность открыть для себя правдивую и талантливо изображенную картину аварийного состояния нашего хозяйственного механизма, почти в том же виде, какой она предстала нам сегодня, в пору гласности, после разнообразных разоблачений.

— *Но вы ничего не говорите о том, как удалось побороть сопротивление директора издательства.*

— Это было довольно серьезное препятствие, и помочь преодолеть его мог только дядя Костя. В один прекрасный день я оказался в поселке старых большевиков и ветеранов партии, где была дача Константина Федоро-

вича. Мы сидели с ним на скамеечке, говорили о том, о сем. Седых сказал мне:

— Вот обратите внимание, Юра. Здесь живут две категории дачников: те, кто в 37-м сажал, и те, кого в 37-м сажали.

Узнав о том, что вопрос о публикации повести согласован с цензурой, подробно расспросив о сокращениях в тексте и внесенных дополнениях, дядя Костя признал, что это меняет дело, и согласился написать рецензию.

Но, как показали дальнейшие события, с этим решением он явно поторопился. В условленный срок я дядю Костю на даче не застал, точнее, он при моем появлении каким-то немыслимым образом исчез из поселка. Ни к чему не привели мои последующие визиты, но, наконец, удалось застать Седых. Он пожаловался, что не может писать на даче, и просил отвезти его в город. В городе выяснилось, что работать здесь нет никакой возможности и надо выбираться на дачу. Я исполнил и эту просьбу. В конце концов, рецензия была готова.

Думаю, что я мог получить ее и без лишних проволочек, но в Константине Федоровиче сказался накопленный за многие годы страх. Он так, на всякий случай, не хотел иметь касательства к этому делу, не хотел компрометировать себя. Я не осуждаю его, напротив, благодарен за то, что он нашел в себе силы сделать то, что должен был сделать.

Словом, на стол директора легла благословленная цензурой и снабженная предисловием К. Ф. Седых повесть Геннадия Николаева. Сопротивление было бессмысленным, и «Плеть о двух концах» вышла в свет в очередном номере альманаха. Но история на этом не закончилась. Когда с повестью познакомилось московское начальство, оно объявило Н. Г. Козыдло выговор за ослабление бдительности. К чести Николая Григорьевича должен сказать, что я узнал об этом не от него. Всего же он за время нашей совместной работы получил за альманах несколько выговоров, но наших добрых отношений это не испортило.

История, происшедшая с рукописью Г. Николаева, весьма типична. Без подобного рода ухищрений не обходился ни один номер. Все приходилось пробивать и проталкивать, так что со временем я в этом искусстве весьма поднаторел. В то же время я прекрасно понимал, что мое противостояние не может продолжаться бесконечно, рано или поздно меня снимут. В обществе не было механизма, на который я мог бы опереться, чтобы продлить дни вольницы альманаха, серьезной помощи в критической ситуации мне ждать было неоткуда. Ну да и тем лучше: я рассчитывал только на свои силы и был готов ко всему. Тем более что терять мне было нечего — зарплату-то мне не платили.

Приближалась подписка на 1969 год. Репутация альманаха уже кое-что весила для писателя, но мало значила для читателя, чем-то надо было его

взять. Мы имели «Стальную птицу» Василия Аксенова, я обратился к Елене Сергеевне Булгаковой за разрешением на перепечатку «Дьяволиады» и «Роковых яиц», она ответила, что надо ждать возвращения из заграничной командировки Константина Симонова — председателя комиссии по творческому наследию Михаила Булгакова.

— Публикация этих вещей безусловно привлекла бы внимание читателей к альманаху. Однако они так и не появились, но зато увидела свет «Сказка о Тройке». Как это произошло?

— «Сказку о Тройке» братьев Стругацких и груду других фантастических рассказов разных авторов по моей просьбе выслала Ариадна Громова из Москвы.

На заседании редколлегии я сообщил о содержимом редакционного портфеля. Вскоре последовал звонок инструктора обкома Дмитрия Милюкова:

— Ты сказал, что собираешься печатать Булгакова и Аксенова?

— Я сказал, что имею их в портфеле.

— Ясно.

Мне тоже стало ясно, что остается печатать фантастический номер. А фантастики, привозной и местной, хватало на два. Стало быть, напечатать два.

Рассказы были относительно безобидны. Зато «Сказка»!..

«Сказка о Тройке» — продолжение повести «Понедельник начинается в субботу». На тринадцатый этаж все того же здания научно-исследовательского института чародейства и волшебства (НИИЧАВО) направилась комиссия во главе с товарищем Вунюковым, узурпировала там власть и, пользуясь Круглой Печатью, творит расправу над разного рода необъяснимыми явлениями. Впрочем, нет смысла пересказывать содержание повести, она опубликована в 1988 году в журнале «Смена».

Я позвонил Ариадне Громовой:

— Слушай, может, убрать откровенное хулиганство — хоть этот эпизод с пионерами, которые пришли приветствовать Вунюкова?

— Не смей ничего убирать. Лучше уж не печатай.

Поразмыслив, я решил, что она права: что могли изменить поправки?

В это время в Иркутск прилетел заместитель редактора журнала «Байкал», мой друг Владимир Бараев и рассказал, что в Улан-Удэ работает комиссия из двадцати трех человек, разбирается с опубликованием повести «Улитка на клоне» все тех же Стругацких — путь их пролегал по редакторским трупам...

— А я ставлю в номер «Сказку о Тройке».

— Поздравляю! К тебе тоже придет комиссия. Держи мою объяснительную — авось пригодилась...

— Тем не менее история с «Байкалом» служила лишним подтверждением, что со «Сказкой» придется немало повозиться, не так ли? Какие на сей

раз вы предприняли шаги, чтобы облегчить ее публикацию, что удалось придумать?

— Ровным счетом ничего. Я ограничился тем, что отправил в отпуск редактора Л. А. Васильеву, отчасти потому, что она действительно изрядно со мной подустала, а в основном потому, что не хотел ее подставить под удар. Номер я подписал сам, но никаких военных действий не вел: ни с кем не консультировался, не запасался рецензиями, не оказывал никакого давления. По-видимому, это усыпило бдительность руководства издательства и облита, в общем-то привыкших к тому, что в критических ситуациях главный редактор альманаха, наоборот, проявляет активность. А может быть, те, кто стоял на страже, просто ничего не поняли.

Повесть прошла без сучка и задоринки. В один альманах она не уместилась, и окончание пришлось перенести на следующий номер. Между двумя выпусками был перерыв примерно в два месяца, и я с опасением ждал, что начало повести дойдет до более высокого начальства, последует запрет, и окончание повести не увидит свет. Но этого не произошло.

А время шло, я работал над составлением последующих номеров альманаха, все было спокойно и тихо, но ощущение занесенного топора не проходило, хотя и запряталось в самую глубину.

И только в феврале ночью раздался звонок из Москвы:

— Ваш Антипин получил за тебя в ЦК взбучку, едет в ярости, готовься.

Взбучка, говорят, была получена от секретаря ЦК Демичева. Вопрос предложили рассмотреть на бюро обкома.

Скоро Антипин нас вызвал. Особенно долго почему-то выяснял, откуда известно, что повесть относится к жанру фантастики. Никак его не устраивало, что я и сам фантаст, могу, поди, судить. Нет, это должно быть обозначено в подзаголовке — тогда будет фантастика. А без обозначения — ни в коем случае.

У кого-то в разговоре мелькнуло слово «позиция». Антипин налился кровушкой и почти пропел своим хорошо поставленным баритоном:

— У нас может быть только одна позиция — классовая!

«Интересно, какого класса?» — подумал я, разглядывая выхоленного аппаратного работника.

По моему мнению, умный был человек, но до того заботился, чтобы окружение простило ему немодную там интеллигентность, что сам про нее забывал. А окружение помнило и не прощало, не позволяло прыгнуть выше кресла третьего секретаря, хотя ни в какое сравнение с ним не шло.

Нам сказали, что особых дебатов разводить на бюро не будут. Сообщение — оценка — решение, все за 10–15 минут. Познакомили с подготовленными материалами, в общем, приемлемыми. У меня за спиной было достигнуто джентльменское соглашение насчет того, чтобы я — и тоже в

приемлемой для себя форме — признал допущенную ошибку, после чего дело ограничится строгим выговором с занесением... и я остаюсь в должности. Это было важно, поскольку я понимал, что если уйду, альманах станет другим, а вместе с этим изменится интеллектуальная, духовная жизнь Иркутска, на которую «Ангара» стала оказывать все возрастающее влияние. Бросать дело не хотелось, особенно в тот момент, когда у альманаха появилась хорошая репутация, он стал популярен и при умелой организации дела мог в ближайшее время превратиться в журнал. Первым шагом к этому было нажитое за последний год право включения альманаха во все-союзный каталог подписки, благодаря чему «Ангара» стала известна всей стране.

Словом, что-то там признать, пообещать быть наперед благоразумнее, найти этакую извилистую формулу для меня не составило бы труда: мало ли я за эти два года наловчил?

— *И тем не менее все обернулось иначе. Что же произошло?*

— Мы познакомились с материалами для обсуждения на бюро за день перед заседанием. Но за это короткое время что-то произошло, о чем трудно судить, поскольку я не искушен в партийной работе, особенно в тех ее формах, которые были распространены в то время. Во всяком случае, в общении по нашему вопросу зазвучали совсем не те характеристики, которые содержались в материалах для бюро. Они носили не только демагогический и ортодоксальный характер, но были оскорблением чести и достоинства авторов повести, моих собратьев по творческому цеху. Этого я уже решительно принять не мог, поскольку не хотел позора на свою голову, но те, кто сидел за длинным столом, еще не знали об этом.

Первый секретарь обкома Н. В. Банников спросил, как я оценил «Сказку о Тройке», когда получил ее для публикации. Я ответил, что оценил произведение как антибюрократическую сатиру в области науки.

— А теперь как оцениваете? — задали мне вопрос в соответствии с намеченным сценарием.

— У меня не было времени изменить свое мнение, — ответил я.

Покаяние не состоялось, члены бюро были вынуждены начать обсуждение, которое длилось добрых полтора-два часа. Их вопросы казались мне странными, они явно гадали — где крамола, которую должны были непременно осудить. Похоже, что никто ничего не понял, хотя перед каждым лежал номер альманаха, исчерканный красным карандашом, — я это видел со своего лобного места. Придирки имели случайный, вымученный характер, иногда злобный, как у второго секретаря по фамилии Кацуба. Нелепая была ситуация: мы говорили на разных языках без переводчика, но с predetermined результатом. Ни до чего, естественно, не дотолковались, однако хоть внешне разговор наш выглядел прилично. Банников был до того вежлив, что всякий раз, задавая вопрос, вставал с места.

Жутким образом все переменялось, когда меня сменил главный редактор издательства В. Г. Фридман. Видать, они слишком сдерживали «ндрав», а в зубы, наконец, попался человек зависимый, из номенклатуры...

Перед началом заседания я Фридману сказал, чтобы он не тянул на себя одеяло — валил все на меня. Однако Владимир Григорьевич доброму совету не последовал, и гордость проявил, и твердость — ну за то и отлилось.

Ему и говорить-то толком не давали.

— Чем вы объясните свою политическую близорукость?

Фридман начинает:

— Я был загипнотизирован... — Он хотел сказать — известностью, именем братьев Стругацких. Перебили:

— Кем загипнотизирован — Клопом, что ли?

Кто читал повесть, помнит, что есть в ней такой персонаж — говорящий Клоп.

И — новые вопросы. А в заключительном слове Банников выдает уже как вполне установленный факт: «Фридмана загипнотизировал Клоп».

Спустя полгода Фридмана не утвердили в должности как раз по мотиву этого Клопа. Дорого Клоп обошелся издательству: главным редактором Фридман был преотличным.

Легче задышалось лишь во время выступления Антипина: хоть один человек да понял эту «Сказку о Тройке». Не упустил ассоциации с особыми тройками тридцатых годов, не забыл про пионеров, приветствующих товарища Вунюкова, раскрыл нам глаза на то, что фамилия профессора Выбегалло содержит намек на наших выдвигенцев — мне это как-то в голову не пришло.

Кацуба предложил исключить меня из партии. Банников спросил:

— Вы прежде имели взыскания?

— Нет.

— Тогда предлагаю ограничиться строгим выговором с занесением в учетную карточку. Какой вуз окончили?

— Иркутский педагогический институт.

— Плохо изучали марксизм.

Черт возьми, ну при чем же здесь бедный марксизм? Ведь то, что происходило в этой большой полированной комнате, меньше всего напоминало собрание марксистов.

Вот доказательство:

«Бюро ОК отмечает, что в 1968 году на страницах 4-го и 5-го номеров литературно-художественного и общественно-политического альманаха «Ангара» опубликована идейно порочная, аполитичная повесть Стругацких «Сказка о Тройке».

Под предлогом фантастического сюжета, широко используя средства иносказания (аллегии), авторы повести в нарочито искаженном виде,

субъективно и тенденциозно представляют советское общество, охаивают историю развития советского государства, деятельность его учреждений, жизнь советских людей, строящих коммунизм.

Вместо сатирического изображения отдельных недостатков нашей жизни и показа конкретных носителей социального зла, еще встречающегося в нашей действительности, авторы обобщили и заострили это зло, не показав сил, которые успешно преодолевают трудности и недостатки на пути движения советского общества к коммунизму. Частные и преходящие отрицательные явления, отражающие процесс борьбы нового со старым в поступательном движении общества к коммунизму, приобрели несвойственные им всеобщность и фатальную неизбежность...

Костяк сюжета повести, ее художественный строй, особенно язык и стиль направлены на охаивание научно обоснованных методов руководства в нашем государстве... Авторы отошли от принципов партийности и социалистического реализма» и т. д. Что называется, достойно скрижалей, но я поленился переписать бумагу от начала до конца, когда она была в руках. Да, поди, и не надо: достаточно.

После таких обвинений, сами понимаете, ни о каком помиловании и речи быть не могло. Было постановлено главному редактору альманаха «Ангара» объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку и от работы освободить.

Я уходил избавленный от груза должности. Из обкома мы напрямик направились в ближайший ресторан, чтобы обсудить происшедшее. Через несколько минут прибежал собственный корреспондент «Комсомольской правды», присутствовавший на заседании бюро, поделился анекдотичной новостью:

— Ребята! Вы только вышли, а Банников спрашивает: «Чего это Марк Сергеев с бородой?» Ему говорят: «Нынче такая мода». А Банников: «Но он же коммунист!»

Посмеялись, но не очень весело. Чувствовалась какая-то всеобщая угнетенность. Причем удручены и угнетены мы были не суровостью примененных наказаний, а бессмысленностью всего, что случилось. Это было в чистом виде продолжение «Сказки о Тройке», ненаписанная Стругацкими ее иркутская глава, не менее страшная и в то же время нелепая. Мы даже подумали, что непросто, конечно, придумать «Сказку о Тройке», еще труднее ее написать, но пережить «Сказку о Тройке»!..

Для меня дело осложнилось еще и тем, что по отношению к друзьям, побывавшим со мной на заседании, я чувствовал себя предателем. Все-таки мы стремились и рассчитывали на другой результат, и он вполне мог быть, если бы не моя выходка. Теперь дальнейшая судьба альманаха вызывала большую тревогу. Ведь за время, потребовавшееся на разбор этого дела, я успел «слепить» целых три номера. И каких! Чего стоила, например,

военная повесть Иннокентия Черемных «Разведчики», правдивая и честная. Заступиться за нее теперь было некому, и я был уверен, что повесть «выпотрошат» в издательстве. А если смотреть глубже, то потерпела крах вся наша независимая, свободная политика, поскольку, получив осуждение властей предержащих, альманах стал более уязвимым для атаки консерваторов разных мастей.

На следующий день, не помню уже по какому поводу, состоялось писательское собрание. Когда Е. Н. Антипин, пришедший на него, познакомил собравшихся с решением бюро, начал нарастать протест, который, если не разрядить обстановку, мог привести к конфронтации с партийным аппаратом. По-моему, этого было допускать нельзя, так как сразу же вызвало бы соответствующие меры со стороны издательства и из плана могли «вылететь» не менее пяти книг молодых авторов, наиболее незащищенных.

— Откуда у вас была такая уверенность?

— Я неплохо знал Л. К. Чуркина, а кроме того, общая политическая атмосфера в стране, ее идеологической жизни в тот момент была такова, что, на мой взгляд, исключала какие-либо решительные формы сопротивления. Совсем недавно произошли события в Чехословакии, где победила грубая сила. И эта «победа» создала у многих партийных работников стремление к силовым решениям, к которым они в нашем случае не преминули бы прибегнуть. Я чувствовал себя обязанным найти вариант игры с меньшим проигрышем, чтобы хоть мои товарищи не оказались заодно со мной парализованы. И поэтому на собрании предложил не оспаривать решение бюро обкома: мол, отказывать обкому в праве на мнение о литературном произведении было бы недемократично!

Смешно, однако такой фразы оказалось достаточно! Л. К. Чуркин не понял, что ситуация снова изменилась, и существенно. Когда пришла корректура альманаха с повестью И. З. Черемных, директор издательства расправился с «Разведчиками», так исчеркав листы красным карандашом, что повесть стала напоминать арбуз. Узнав об этом от Л. А. Васильевой, я немедленно позвонил в обком, чтобы поинтересоваться, редактор я еще или уже не редактор? Выяснилось, что до того момента, пока не подобрана замена, считается, что эти функции выполняю я. И опять мы двинулись в обком. Работники отдела пропаганды и агитации, не помню уж кто именно, здраво отнеслись к нашим претензиям, состоящим в том, что любые вмешательства в произведение требуют согласования с главным редактором альманаха. А поскольку таких согласований директор издательства не произвел, его действия должны быть оценены как произвол.

И опять Л. К. Чуркин позвонил мне утром, чтобы сказать дежурную фразу:

— Юрий Степанович, ты уж извини. Это мои дуры напутали опять...

Худые или хорошие, но мы уберегли тогда от общего потопа свой ухаженный кусок литературной суши. Примерно через год новый главный редактор Анатолий Шастин сумел-таки напечатать «Утиную охоту». Совсем недавно иркутские издатели, затеявая переиздание ранних повестей М. Булгакова, не могли разыскать их текстов ни в каких спецхранах.

Повести нашлись: Людмила Афанасьевна Васильева извлекла их из наших старинных закромов. Сложись обстоятельства по-другому, читатель получил бы их еще лет двадцать назад.

Но кое-что из тогдашнего редакционного портфеля читатель и теперь не увидел и, пожалуй, увидит не скоро: «иных уже нет, а те далече»...

1990

«Город мой, город на Ангаре»

Стихи иркутских поэтов

Геннадий Аксаментов

Иркутск в сентябре

Как легок дым родного очага
и утренников тишина прозрачна.
Мазками желтыми раскрашена тайга,
и опустел поселок дачный.

Студенты съехались, и даль пестра,
морозцем вспыхивает под лучами,
и есть запрет на тучи и ветра,
пока земля чревата овощами.

Недели золотого торжества
справляют улицы и парки,
и как бы память ни была черства,
ее согреют осени подарки.

Домой, домой, как ни приветлив мир,
душе везде недостает чего-то.
И хмелен нашей встречи пир,
хлопот осенних празднична работа.

Аксаментов Геннадий Васильевич (род. в 1945 г. в Иркутске). Член Союза писателей России. Автор книг «Поэтические акварели» (1997), «Прохожий» (2001), «В ритме шага» (2005), «Одна жизнь» (2009) и др.

Город

Смеркается, и август на исходе,
и близко время, право, золотое...
Настанет осень, съедутся студенты,
и их жилища яркими огнями
закружатся в веселом хороводе,
даря тепло и жизнь студенкой ночи.
А улицей пройти в такую пору —
мелькают лица и не счесть улыбок,
не встреченных до этого, быть может,
но все ж знакомых, нужных мне, иркутских.
А там зима, и новые картины
сменяют поздней осени туманы.
И вот я с удивленьем понимаю,
что гОрода невольным отраженьем
я стал: и улыбаюсь по-иркутски,
как эхо, говорю его словами,
и думаю, как в те большие ночи,
когда над Ангарию мы склонялись,
а город нас за плечи обнимал.
И вот теперь, как молодость погибла,
и *тех* друзей по свету разметало,
и вырублены тополя живые,
а правда превратилась в ложь —
моей душе, остуженной и тихой,
он видится последним утешеньем,
теплом своим нас, бедных, согревая.
Он всюду рядом, и всего дороже,
что мы ему свои.

Землякам

Те, что в войнах полегли от пули,
те, что годы жили вопреки,
те, что гнулись, те, которых гнули,
мужики и бабы, земляки,
кровоточат ваши отраженья
в зеркалах бессонниц,
но порой

вглядываюсь в вас я, как в колодец
с чистой и студеною водой.

Тихий мир

О тихий мир! В забытом переулке
стареет тополь ветхий и ненужный.
По вечерам он слышит отзвук гулкий
походки одинокой и недужной.
Вздохнули ставни, лязгнули задвижки —
такая повседневная забота —
обратный звук шагов до поворота,
и вновь — дремота, сумрак, кошки, мышки...

Роняют пух в июне тополя,
приветлива прогретая земля,
лишь ветерок метели растревожит,
роняют пух в июне тополя.

Лишь ветерок метели растревожит
и, может быть, тоске моей поможет
причалить к берегу, где тишь и благодать,
он, может быть, тоске моей поможет.

Причалить к берегу, где тишь и благодать,
и где без боли можно вспоминать
родные голоса и лица,
уже без боли можно вспоминать.

Родные голоса и лица.
Я должен к ним когда-то возвратиться.
Роняют пух в июне тополя,
и ночь декабрьская снится.

Юрий Аксаментов

Блистал Иркутск над гладью Ангары
В сентябрьскую безлунную погоду.
Качала ночь стеклянные шары
И погружала в медленную воду.

На горб моста, звенящ и возбужден,
Взбегал трамвай, спешащий к электричке.
В тылах предместий, с четырех сторон,
Маячили прожекторные спички.

Не разобрать, с какого этажа,
Как будто сбросив летнюю усталость,
Торжественна, свободна и свежа,
Высокая мелодия рождалась.

И было странно чувству моему
В знакомом месте обновиться разом.
Был город днем продымленным и грязным,
А что теперь случилось — не пойму.

Да это я, пожалуй, повзрослел.
И может, сам я с чем-то примирился?
Все некогда мне было — торопился...
А тут остановился — посмотрел.

Аксаментов Юрий Петрович (1939, с. Петрово Жигаловского района Иркутской области — дата смерти неизвестна). Автор книг «Рябиновая гроздь» (1970), «Поединок» (1974), «Встречь солнца» (1975) и др.

Жены декабристов

Россия скована зимой.
В полях метель свистит неистово.
Дорогой многоверстовой
Увозят в ссылку декабристов.

А вслед (тревоги не укрыть)
На лошаденках заморенных
Спешат их участь разделить
Самоотверженные жены.

Ах, как пленяли их балы!
Ах, как столицы их пленяли!
С трудом паркетные полы
На санный путь они меняли.

Ни края нет и ни конца
Сплошной метельной круговерти...
Готовьтесь, хрупкие сердца,
Принять и подвиг, и бессмертье!

Все дальше царские дворцы.
Все дальше мстительные судьи...
Все ближе снежные гольцы.
Все ближе Родина и люди.

Иркут

По шоссе бежит «Икарус»,
подгоняемый весной.
Надувая неба парус,
шар вращается земной.
Промелькнул шофер с домкратом,
парень взялся за кирку,
и кривым мечом бурята
в берег врезался Иркут.
Он течет равниной голой,
в светлой памяти храня,
гул нашествия монголов,
эхо нынешнего дня.

О, Родина!
Косынка на ветру,
лукавый взгляд молоденькой рыбачки,
толстяк таймень,
очнувшийся от спячки,
секущий плавниками Ангару.
Плывущие к Байкалу облака
и ствол осинки в пламени багула,
и роща,
задрожавшая от гула
застрявшего в грязи грузовика.
Летающие на лето журавли
и зиму перебившиеся ронжи...

Алексеев Валерий Анатольевич (1923, Уфа — 2003). Член Союза писателей России. Автор книг «Паводок» (1970), «Станция Свеча» (1981), «Баллада о колокольне» (1992), «Соловецкий камень» (1998) и др.

К чему им
берег Огненной земли?!
Для них Сибирь роднее
и дороже.

Пророк

В. Г. Распутину

Над судьбами пастбищ и пашен
навис затопления рок...
Но все же в Отечестве нашем
нашелся бесстрашный пророк.
Он пишет правдивую повесть,
о прошлом заводит рассказ
и будит уснувшую совесть,
живущую в каждом из нас.
Радетелей с волчьим оскалом
к позорному ставит столбу
и вместе с несчастным Байкалом
печальную делит судьбу.
Министрам знаком его почерк,
им слова в укор не скажи!..
Зачем он о Правде хлопочет,
ведь люди привыкли ко лжи?!
К чему ему мерзость порока,
неравная с властью борьба?!

А разве еще у пророка
бывает иная судьба?!

Аввакум

Здесь, у Падунского порога,
на дно ушедшего в потоп,
под крышей Братского острога
страдал опальный протопоп.

И без фальшивого позерства,
похожий на живой скелет,
в сырой темнице Пустозерска
он просидел пятнадцать лет.
Презрев монаршью лесть и ругань,
бросая вызов небесам,
в нетопленном студенном срубе
он «Житие» свое писал.
Крамолы семя слал рисковно
во все концы родной земли...
Тогда его враги раскола
в темнице заживо сожгли.
Не знали слуги дела злого,
что их в веках презренье ждет,
а старца огненное слово
дойдет до Пушкина, Толстого,
до наших правнуков дойдет.

На Ангаре

Дрожит над рекою трескучею хмарь.
Лежит бахрома на деревьях. Повсюду
Студеное зимнее русское чудо.
Крепчает и пробует силы январь.

И мнится — морозам не будет конца.
На окнах узоров прозрачные сетки.
Цветут белым инеем голые ветки
Торжественно-тихий берез у крыльца.

Дымят, разомлев от печурок, дома.
На

снег

высыпают

следов

синих

бусы —

Красавиц ли русских, юнцов ли безусых, —
Которым зима посвящает тома:

Живые тома белоснежных страниц,
Что в холод горячие чувства вплетают,
То пухом лебяжьим с небес опадают,
То льдинками

с длинных

пушистых
ресниц.

Борис Архипкин

Заснеженный Иркутск.
Снега летят лениво.
Училище искусств.
Учительница линий.

Она карандаши
Очинивает длинно.
Сегодня — не спешим.
Цветастые витрины.

Неоново в глаза:
«Купите! Продается!»
И нечего сказать
О том, что не поется.

На улицах зима
Машин запрячет рейсы...
Ты варежки сняла,
Чтоб о снежок погреться.

А на окнах — карнизы резные,
Фонари, как цветы в сентябре.
Я стихи напишу о России.
Я стихи напишу о тебе.

Архипкин Борис Михайлович (1952, Иркутск — 2003, Иркутск). Член Союза писателей России. Автор книг «Стихотворения на льду» (1984), «Тон», (1993), «Яблоко из двух» (2001).

Петухам так поется утрами!
Запишу этой песни мотив.
И уеду на скрипке трамвая,
Остановку свою пропустив.

Гюльнаре Капкаевой

Губам хотелось губ, тепла,
На стенке радио играло.
А я ни слова не сказал
Девчонке с именем Гюльнара.

Смотря задумчиво на стол,
Свои мечты перебирала.
Я позабыл значение слов
И помнил лишь одно — Гюльнара.

В Сибири холодно. Мороз
Засыпал спящие кварталы.
Скажите, кто в Иркутск принес
Такое южное — Гюльнара?!

Губам хотелось губ, тепла.
На стенке радио играло...
Прозрачно Ангара текла
Под новым именем — Гюльнара.

Памяти Бориса Десяткина

Весь город взбудоражь,
Обильная обида!
Вчера был вернисаж,
Сегодня — панихида.

Так сходятся порой
Истоки и остатки,

С цветами — Погребной,
В цветах — Борис Десяткин.

В Иркутске, как нигде,
Мы словно на ладони,
В усах и в бороде,
В кривом и сером доме.

Среди своих друзей
Не надо соответствий.
Впусти меня, музей,
Спроси и посоветуй.

Войду, купив билет,
И встану в центре зала:
Вот Павлова портрет.
Вот после смерти — слава...

Иркутску

Как сердцу предназначено быть левым,
Так мне такая выпала судьба.
Иркутские дома великолепны:
То грани, то рельефы, то резьба.

Он вольно свои улицы раскинул
Повдоль и поперечно Ангаре.
Река, а волны катятся морские —
Прохладно даже солнышку смотреть.

А солнце специально в воду смотрит,
Любуясь отражением своим.
Байкал себя продлил Иркутским морем,
Контракт взаимовыгодный продлим?!

Как стебель появляется из корня,
Так звук рождается в недрах тишины.
Спасибо, что ты есть, великий город,
На карте и в истории страны!

Иркутскому Дому актера

Мой Дом актера — памятник Иркутска,
Как дерево фруктовое в цвету.
Незванные — и тянутся, и рвутся,
А званные — с достоинством идут

На звук его, на вкус его, на запах...
И прячутся вошедшего глаза
На живопись настроенные залы,
Наполненный ценителями зал.

Стоит библиотека одесную,
Ошуюю Охлопковский стоит.
Дом каждого собой интересуется
И каждому о многом говорит.

Он в сущности своей —
хороший парень.

Людей предупреждая и маня,
Зовет.

Не говоря уже о баре,
Где выставка работала моя.

Памяти Бориса Архипкина

Смерть пришла, и человека нет,
Бег его часов остановился,
Но Иркутску он отдал свой свет,
Он и сам, как радуга, светился.

Нам оставил радость — вспоминать,
Отвечать и получать ответы.
«Знаете, скажите про меня,
Мол, такого знали. Был поэтом...»

Был известен строчками стихов,
Добрыми делами и словами.
«Отмолите толику грехов,
Совершенных в жизни рядом с вами...»

Мог стихами души беречь
И прощать несовершенства чьи-то.
«Знаете, не надо говорить,
Обо мне вы лучше помолчите...»

...В землю ляжет спелое зерно,
Прорастет и светом озарится.
Открывается внезапно и чудно
Мир стихов Архипкина Бориса.

Людмила Бендер

Да что я знаю...

Войны не помню. И бомбежек.
И эшелонов на восток.
Иркутск Москвой еще не обжит —
эвакуации поток.

Глубокий тыл. Сибирский холод.
Нет хлеба, мира и угля.
Чудовище — военный голод
глядит из каждого угла.

Мечты о жареной картошке!
Паек. И где они — жиры?
Нам мама стряпала лепешки
из тонкой желтой кожуры.

Но это роскошь. В Ленинграде,
который первым *не* погиб,
съедали клей и сапоги...
— Да что ты знаешь о блокаде?

Да что ты знаешь о войне? —
я слышу голос строгих судей.
Неважно, сколько было мне —
я все-таки дойду до сути!

Мы — следствия. Мы — дети века.
Наследники всей тьмы веков.
Святое имя человека
сквозь гром орудий и оков

Бендер Людмила Мироновна (род. в 1938 г. в Москве). Член Союза российских писателей. Автор книг «Барьер высоты» (1973), «Под знаком часов» (1990), «Свободное падение» (1999), «Весы» (2008) и др.

должны нести светло и гордо
не ради славы — правды для.
Наиправдивейшие годы —
нет хлеба, мира и угля.

О снеге

Перед снегом болела нога,
а наутро — белели снега.
Не бывает без снега апрель.
После снега свежее капель.

Если даже покину страну,
буду знать ностальгию одну:
где прохлады, капель и снега?
Где моей Ангары берега?

На могиле отца

Мы вырвали и срезали траву,
высокую и крепкую, как пики.
Цветник очистили. Нет, я не зареву —
девятый год к концу.

Вокруг все те же лики —
врачи, преподаватели — костяк
интеллигенции иркутской, как ни странно.
Помыли мрамор памятника... «всяк
Сюда входящий...» невозбранно.
Рябину полили. Палило солнце яро.
Бессмертники белели из воды.
О Господи, за что такая кара?
«Зачем забыл нас... взоры обрати.
Приди!» —
так плакал Йермиягу (Иеремия).
Печалимся и мы не только в месяц Ав.
О Господи, быть может, ты и прав,
обрушиваешь гнев свой не впервые.

Баллада о старом вокзале

Как много он помнил!
В раздумье глубоко
скрипел половицами прожитых лет,
и бельма его скособоченных окон
глядели с надеждой в холодный рассвет.
какие бравурные марши звучали!
Раскуривал трубочку первый генсек
и вслед —
лихолетье стыда и печали
глухой перестук арестантских телег...
Вокзал привечал кипятком и светом,
готов пол-Сибири укрыть под полой
и, дверью ворча на заезжих валетов,
был очень доволен, что не был тюрьмой.
А ночью, когда сатанели морозы,
Он слушал тревожно стенанья ветров,
Он слушал трагический крик паровозов,
навек несчастен, угрюмо-суров,
старел, вспоминая родимые лица,
за долгую жизнь нагрустился сполна,
когда костылями в его половицы
едва не полвека стучала война.
Как ждал он весною шальные экспрессы
и пляску огней на озерной воде!
Гордился, когда заводские принцессы
с поммашинистами шли в ЛРД*.
Ах, что говорить! Он был Человеком,
но власть по-хозяйски решила:
«На слом!»
И рухнул свидетель печального века —
наш старый вокзал, что в Иркутске втором.

Богатырев Вадим Николаевич (род. в 1921 г. в Казани). Член Союза писателей России. Автор книг «Тропа восхождения», «Далекое созвездье» (1995), «Саги старого леса» (2006).

* ЛРД — старый клуб в районе вокзала

Виктор Бронштейн

В. Г. Распутину

Я ровно в полночь у реки
Природы слышу оживление,
Здесь всем законам вопреки
Дрожат в ознобе маяки,
Из вод глухое рвется пенье.

Не Новый год, а каждый день
Природа трепетно встречает,
И праздников минувших тень
У затонувших деревень
Слезой неожиданной отмечает.

Памяти А. В. Колчака

Почему над Иркутском бушуют невзгоды?
Здесь почти, как в Бермудах, опасно летать.
Хоть целебны Байкала чистейшие воды,
Но здоровье и жизнь, как в тисках непогоды,
И злой рок подгоняет быстрее умирать.

Ох, какую ж вину нам Спаситель вменяет?
Ведь не только у нас Божьих храмов разор!
Видно, дух Колчака в небесах к нам взывает,
Кровь его в Ангаре вот уж век остывает.
Не замолен, не смыт наших предков позор...

Бронштейн Виктор Владимирович (род. в 1951 г. в Иркутске). Член Союза писателей России. Автор книг «Соль жизни всей» (2009), «Два белых облака любви» (2010), «Назло разлукам и штормам» (2011) и др.

Поминальный день

Памяти Г. М. Гайды

Как будто океан приоткрывал нам душу,
Рыдал орган, вздохнув, в твой поминальный день.
С подлодочных глубин ты выходил на сушу
И возвращал в стихах друзей иркутских тень.

Как путник, поспешал на тризну и на праздник,
По звездам находя, где мудрость пролилась.
К тебе на огонек, осиротевший ратник,
Свою печаль несущ, сгорая каждый раз.

Вела нас всех любовь в пургу через сугробы,
Как будто бы к Христу его учеников.
В уютненьких авто посмеивались снобы,
Губители тобой возделанных ростков.

Ты музыкой стихов, подобно баррикадам,
Отеческую Русь укрыл от той, другой,
Что мачехою злой командует парадом
И топит наш корабль недрогнувшей рукой.

Ох, если б океан твою вернул нам душу,
Услышав скрипки стон сквозь поминальный день...
Не чокаясь, слезой мы разгоняли стужу,
Качалась, как корабль, твоя в проулке тень.

Н. Мессман-Одиноковой

Тумана полог с Ангары
Лучи, взыграв, срывают.
В рассвет плывущие дворы,
Отчислив нас из детворы,
Объятыя раскрывают.

Дыша рассветом и рекой,
Бегу я и мечтаю.
Задет есенинской строкой,
Снов детских потеряв покой,
Я к счастью воспаряю.

И не пойму, на небесах,
В аллее ли пустынной,
Мелькнет вдруг платье все в цветах,
Заколка в длинных волосах
И облик лебединый.

С девчонкой рядышком идет
И поводком играет
Собака радостных пород,
И Ангел о любви поет,
И скрипка подпевает.

Я замер, не послав привет,
А время в пляс рванулось...
И пролетело много лет.
Объехав мыслимый весь свет,
Ты не ко мне вернулась.

Туман тяжелой Ангары
Зима не разгоняет,
А детства нашего дворы,
Забыв секреты той поры,
Для внуков рассветают.

Памяти Г. Е. Новиковой

Могла и ты стихи писать.
Иркутск нам дал одно начало.
Но будет ли кому читать,
Не лучше ль красками кричать —
Решила ты и «закричала».

Холсты взмах крыльев берегут.
В них неприютность, снег и стылость,
Но и рассветы вдаль текут,
И звезды сети в водах ткнут,
Чтоб жизнь на дно не опустилась.

Иркутск

Стоят деревья, как бокалы,
В шипучем зимнем серебре.
Навстречу солнцу и Байкалу
Иркутск плывет по Ангаре.

На палубе морозы круты,
Зато матросы горячи.
Бьют в синеглазые каюты
Фонтаном рыжие лучи.

В каком бы ни был океане,
Какие льды бы ни колол,
Ты не забудешь, иркутянин,
Свой трехсотлетний ледокол.

Не зря река нас обучала
Плыть по волнам морей и гор
Навстречу солнцу и Байкалу,
Течению наперекор.

Пыхтит вдоль Ново-Ленинских аллея
Автобус мой под цифрою тринадцать,
И валит желтый снег из фонарей,
И мрак скрипит под метлами акаций.

Товарища встречаю своего
В резиновой автобусной толкучке:

Бязырев Георгий Александрович (1953, Ангарск — 2010). Автор книг «Телеграмма» (1986), «За тридевятой дверью» (1988), «Белые грозы» (1989), «Небесный диктант» (1990) и др.

«Эй, стариканыч, как там «ничего»? —
— «Да помаленьку...» — «Забегай с полочки!»
Конечная... Приехал... Боже мой!
Пока лечу по улице до дома,
Соседский пес увяжется за мной,
Три короба набрешет про знакомых.

Мне дверь мою не сразу отопрут...
И дикая домашняя хозяйка
Процедит: «Здесь такие не живут!»
И выглянет хозяин в тесной майке.

Как не живут такие, черт возьми?!
Я здесь прилежно мучился любовью,
Гонял футбол с костлявыми детьми
И на заводе продавал здоровье...

Куда теперь — на звезды, на мороз?..
Я прикурю мундштук у папиросы,
Закашляюсь,
и говорливый пес
Мне не ответит на мои вопросы...

В иркутском цирке

С растрепанными патлами —
Потеха из потех —
Вбегают клоун, падает,
Запнувшийся о смех.

Под соло барабанщика
Он вскакивает, злой,
И слезы — в два фонтанчика,
И всем грозит пилой!

Гримаса — убедительна,
Работает пила:
Отчаянного зрителя
Он пилит пополам.

И брызжет кровь морковная
На солнечный песок,
И публика прикована
К товарищу без ног.

Идет игра незримая:
Калека — человек...
Оп-ля! Две части зрителя
Опять срослись навек!

Грохочет цирк, качается,
Как утренний трамвай.
Волшебник улыбается:
«Кого еще? Давай!»

И, смехом цирка залитый,
Влетел мальчишка в круг.
Трибуны дружно замерли:
Неужто — новый трюк?!

Бежал мальчишка к ящику
И падал, и вставал,
В прожекторах горящая
Искрилась голова.

И крик пилою адовой
Артиста по лицу:
«Отцу — верните, дяденька,
Афганскому бойцу!

Верните, дядя, дяденька-а-а!
В больнице
о-он
без но-ог...»

Упал
мальчишка
маленький,
И клоун, тусклый,
старенький,
Сел рядом
на песок...

Из цикла «Плачи»

1

На Воскресенье Вербное жена
в Богоявленскую у бывшего обкома
пошла святить, да там и спохватилась,
что веточки свои забыла дома.

Но, хорошо, какой-то паренек
своею вербой с нею поделился —
и подивился, как у ней из глаз
и брызнули, и окропили церковь...

Ведь наш сынок, наверно, тех же лет —
а все не так, и все не по нему...
да и меня Господь не вразумил...

Татьяне Кулаковой для роли из «Последнего срока» В. Распутина

Хороша была роль — в ней Мирониха ищет корову.
«Заблудилась скотина... А вона — медведь за хребтом!» —
И напевно и складно, а то и неладно — коряво
причитает она своим скорым старушечьим ртом...

Ой, хорошая роль!.. — Но себе я сыграл бы корову —
забодать бы медведя, пока он меня не задрал,
задарма и дуряя моею дымящейся кровью... —
А и в страсть помычу, оглушая свой набожный страх.

Варламов Евгений Петрович (род. в 1946 г. в с. Дубровицы Подольского района Московской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Спасенье» (1968), «Осенние игры» (1978), «...И до... и после...» (2010).

Саше Матвеенкову

Год до обносков тоски был изношен,
слух — на вранье и на сплетню проверен...
Ты объявился — обвеян, обветрен...
Город притих перед праздником нашим.

С «было пропавшим» по городу кружим,
с «было пропащим» — по лужам, по слухам...
Дабы воздеть и воздать по заслугам
хватит — не хватит стаканов и кружек!?

Кружатся головы. Кружится город.
Круг наш людьми и людьми обрастает.
Как обрастает — так и растает, —
нам ни к чему расставаться так скоро.

Сентиментальны — чтим свои даты,
дни наших встреч почитаем особо,
к черту печали! — Вместе и оба!..
Что ж пропадал ты! Где пропадал ты?

Было: знобило душу и тело,
а в изголовье — измены бессменны...
Что нам за дело! — Нынче бессмертны,
Даст Бог, надолго... — Это и дело!

Я говорю: твоя взяла, февраль,
хотя есть мера злу — ты на исходе.
Сосульки грыз и объявлял аврал —
безбожно врал о раннем ледоходе.

Потом я сдал... Но вот они светлы,
прозрачны стали утра, окна, стены...

Что, милая? — Мы все-таки свели
концы с концами, как дурные сцены

в унылой драме сводят... И давай
благополучно говорить о лете:
ты обстоятельно вопросы задавай
про перелетных... Кутай ноги в пледе...

А я — про отпуск... — Право, не пора ль?..
Ах, оттепель, послушай эти речи!
Какой там ледоход, когда февраль!?
Но ведь тропа протаяла у речки!..

Григорий Вихров

Валерию Хайрюзову

Где снижались, где глядели с высоты.
А кому метанья наши помогли?
Друг, бумажные, отважные листы
Не просторнее заснеженной земли.

Нет же, к черту на кулички понесло, —
Отрезвляющая совесть укорит.
На земле и заблудиться тяжело,
А бумага и желтеет, и горит.

Владимиру Скифу

Принимаются ветры ходить у реки.
Сажены принимают.
Настоящие поэты принимаются в штыки,
А во «Вторсырье» не принимаются.

Принимаются читать от доски и до доски,
Пронимаются и верить принимаются.
Настоящие поэты принимаются в стихи
И в горячие объятья принимаются.

Вихров Григорий Иванович (род. в 1961 г. в Коломне Московской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Мои дорогие» (1988), «Страстная неделя прошла» (1993) и др.

Глиняная игрушка

Анатолию Горбунову

От глиняной свистульки остаются
Озвученные слезы гончара.
У глиняной свистульки дознаются:
Зачем свистишь в лихие вечера?

Пичуга защебечет неумело,
От чистого дыханья запоет.
— Зачем свищу? А вам какое дело?
Не стоит принимать меня в расчет.

Затем свищу, что музыка под боком
Подвизгивает трубам бытия.
Пусть мастер на земле пребудет богом.
Пусть птицей на земле останусь я.

Минувшую судьбу размяли в глину
И вылепили мудро и светло
Нелегкую печаль дороги длинной,
Ведущей в позабытое село.

Зачем свищу в молчании глубоком
От вздохов опустевшего жилья? —
Пусть мастер на земле не станет богом,
Но птицей на земле останусь я.

Николай Вяткин

Из венка сонетов «На берегу разлуки»

12

Как Ангаре не деться от Байкала?
Уж бледный месяц раздевает ночь
И клонит в сон... Чу! Чаек услышала:
«Старик-то наш задумал сплавить дочь,

Зря ль пир во всю Сибирь! Да против воли
Девуцу отдадут за Иркут —
Батыр из здешних». Молниями боли
Вонзились в сердце Ангары тогда!

Бежать! Пусть камень вслед, пусть слезы
Седой отец прольет на суд веков.
Бежать! И станет Енисей судьбою,

Когда развяжет голубые косы
Кремнистыми руками берегов;
Сей мир затмив, он спрячет под собою.

На Ангаре

Я знаю, есть лед — и огню растопить невозможно;
Кристаллы его затаились в глазах у тебя!
...Ты с маленьким сыном.
Он мне улыбнулся тревожно,
На замшевой куртке шнурок золотой теребя.

Вяткин Николай Юрьевич (род. в 1968 г. в Алземае Иркутской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Река, впадающая в небо» (1994), «Рябиновый дождь», (2000), «Голосом ветра» (2007).

Геннадий Гайда

Над ангарскою, над быстрою водой
небо цвета вольности молодой.
И сама собой влекомая вода
неизменно, вдохновенно молода.

Чтоб не старились ни сердце, ни душа,
прихожу сюда прохладой подышать.
И светило осеняет с высоты
половодье первозданной чистоты.

И в стремнинах ледяного хрусталя
светоносные прозрачности стоят.
И течением несомо в предвечерие
глубины речной остатнее свечение.

Устье — в вечности, и в вечности — исток.
Миллионы лет немеркнувший поток.

Б. М. Архипкину

Оперенные белым кусты,
оперенные белым деревья...
И провидишь ты чувством (шестым),
как нетленные крылья чисты,
как слова фарисеев густы
и пусты закрома недоверия.

Гайда Геннадий Михайлович (1947, Иркутск — 2008). Член Союза писателей России. Автор книг «На склоне сентября» (1997), «Свет предвечерней» (2001), «Посмертное» (2009).

И ты вновь уповаешь на Чудо
и чураешься чар колдовства.
И прозрение придет ниоткуда,
возрыдает недавняя удаль —
сам собой наказуем Иуда.
...И восходит звезда Рождества.

Окраина

Перламутровым перистым облаком
небосклон живописно горит.
Вечереющий город всем обликом
о покое мирском говорит.

И забытая патриархальность
с нами делит янтарный уют.
И над ним, хлопотливо порхая,
нимфы быта, как пчелы, спуют.

В этот час в переулках укромных
тишина принимает парад.
Тополей непроглядные кроны
выше крыш неподвижно парят.

...И повеет страною иною,
и провеет укладом иным
в эту брешь между спешкой дневною
и разбойным разгулом ночным.

Росстань

Осени меня, осина,
не перстами, так листвою,
проводи меня, как сына,
у обочины постой.
Горе — горем,
счастье — счастьем,
доли вдоволь и юдоли вдоволь.

Я согрет твоим участием
и твоей заботой вдовой.
Расставанье — не поминки,
ты не мать и не жена,
что ж твои листы поникли,
словно ты обожжена
зимним воздухом? Разлука
иль осенняя разруха
вдруг твоих коснулась веток?
Но не в силах дать ответа,
не всплакнет она, не всхлипнет,
на ветру вздохнет — и стихнет.
В шуме лиственном смешалась
с болью нежность или жалость.
У осины к человеку
бабья нежность, бабья жалость.
Так уж принято от веку,
чтобы кто-то провожал вас,
не сосна, так пусть осина
или пусть безвестный куст,
не Сибирь, так пусть Россия,
не Москва, так пусть Иркутск...
Осени меня, осина,
не перстами, так листвою,
поводи меня, как сына,
у обочины постой.

Александр Гайдай

Здравствуй, город!

До Иркутска — восемь километров,
Чемоданы сложены давно.
Подставляя грудь порывам ветра,
Я смотрю в открытое окно.

Возникают в утреннем тумане
Заводские сизые дымки,
Стройный мост, громады новых зданий,
Старый парк на берегу реки.

Все как будто прежнее, такое,
Как и было в прошлые года,
Только больше стало новостроек,
Гуще нависают провода.

Только будто улицы прямее,
Выше зданья, скверы зеленей...
А в окно речной прохладой веет,
Запахом весенних тополей.

Ангара сверкнула под откосом
Чистая, сквозь глубь желтеет дно.
И стучат на стыках рельс колеса
С сердцем неумным заодно.

Тише, тише... Путь окончен дальний.
Я стою, волнуясь, у дверей.
— Здравствуй, город на реке хрустальной,
Город светлой юности моей!

Как я рад опять к тебе вернуться
И, еще не сделав двух шагов,
На знакомых улицах Иркутска
Повстречать друзей и земляков.

Встретить тех, с кем вместе я изведal
Радости и горе, и беду,
С кем, ликуя, праздновал победу
В сорок пятом памятном году.

Пусть сединки под фуражкой скрыты.
Память песни юности хранит.
Сколько света! Даль с моста открыта.
Ангара в оправе из гранита,
Как и прежде, молодо шумит.

На Иркуте

Олегу Быкову

Плитняк шелковником пропах.
На паутинке солнце виснет.
Уж падал снег, а на буграх
Еще цветет тысячелистник.

Кому охота в листопад
Перебирать пустые сети?
Шалим, как пара медвежат,
Хотя давно уже не дети.

Плес очарованно притих...
Склонившись к робкому заледку,
Тальник — рыбешек золотых
С насмешкой бросил
 в нашу лодку!

Предлетье

Переломило холода.
Играют свадьбы дятлы пылко.
В глухом распадке глыбы льда
Уже похожи на обмылки.
Лес, покрываясь зеленцой,
Ликуя, празднует победу,
И под оттаявшей корой
Проснулись дружно короеды.

Горбунов Анатолий Константинович (род. в 1942 г. в д. Мутина Киренского района). Член Союза писателей России. Автор книг стихов и прозы «Чудница» (1975), «Звонница» (1985), «Перекаты» (1988), «Сторона речная» (2004), «Рыбаки-охотники» (2008) и др.

Их в берестуху наберу —
Трухлявым пням добра не жалко!
Я сплю и вижу Ангару
И хайрюзовую рыбалку.

Иволга

Валентину Распутину

Сядь на вербу и ночь озари,
Чтобы смог я кругом оглядеться,
Голосистая спутница детства,
Расскажи, где твои косари.

Ты открой свою птичью печаль,
Тайну звуков и солнечной боли.
Отзовись, моя иволга, что ли,
Озари сенокосную даль.

Озари, чтобы стало светло
Среди тьмы и увядших растений...
На ладони горит лист осенний,
Как твое золотое перо.

Ангел — хранитель

Серп луны. Купола набекрень.
Спят на привязи колокола.
От мохнатого облака тень
На иконы зловеще легла.

Мирно спит православный народ,
Уповая на правду Христа.
Ангару озеркалил восход —
Взмает к солнышку
ангел с креста

Художник

Владимиру Кузьмину

Мир чародея прозрачен и зыбок,
Каждый росток изнутри!
Нет на полотнах широких улыбок:
Речки текут да поют глухари...
С детства влюбленный в природу родную,
Музыку жизни ночами творит.
Ветер надломит рябину сырую —
Вздрогнет художник, душа заболит.

Скорбь

Памяти Александра Вампилова

Здесь и спирт не поможет,
И трава-горлицы,
Стали сердцу дороже
Те, кого больше нет.

Отошли до заката.
Имена, имена...
Вот и снова утрата —
Одолела волна.

Что ты сделал, кипучий,
Крутонравый Байкал?
До рассвета над кручей
Ветер смерти искал.

На обрыве рябина
С горя — в пламень, дотла...
Родила земля сына,
Убереечь не смогла.

Утиная охота

*Первому директору и режиссеру
Иркутского Театра народной драмы
Владимиру Дрожжину, поставившему пьесу
А. Вампилова «Утиная охота» в самые
запретные годы*

Встрепенулась хмельная ватага...
Необъятное ведро творя,
По заветным холмам и оврагам
Расплескалась до донца заря.

Камыши содрогнулись от грома,
Застонали во сне города,
Утки, ойкая, падали в омут,
От испуга дрожала вода.

Желтолицым стрелкам на потеху
Птицам крылья ломала картечь,
Повторяло насмешливо эхо
Поднебесья убитую речь.

А река навсегда уносила
Вниз по родине мертвых лысух...
И в кипящих воронках крутила
Леденисто мерцающий пух.

Отрок

Анатолию Костовскому

Желтые избы на ветреном взвозе,
Желтые прясла оград.
Отрок, спиной притулившись к березе,
Смотрит на желтый закат.

Шуба в заплатках. Снежок на ушанке.
Взор по сугробам скользит.

В дерзкой улыбке, в нескладной осанке
Вольное что-то сквозит.

Огненный отрок, о чем он мечтает?
Сколько простора в глазах!
Что ему этот закат предвещает
В этих дремучих лесах?

Кашкара

Василию Трушкину

Отцвела кашкара на гольцах —
Поздний гость чернотропья:
Изумленно сверкают на мхах
Золотистые хлопья.

Излучают загадочный свет
Искры лунных соцветий,
Это — эхо сгоревших планет,
Промелькнувших столетий.

Это — в новую плоть облачась,
Первозданное пламя
Обнажило незримую связь
Между прошлым и нами.

Черемшатники

*Посвящается писателям-иркутянам
Валерию Выборову, Петру Ополеву,
Михаилу Трофимову*

Нет не божии угодники,
И совсем не медвежатники —
Через топи и колодники
Пробирались черемшатники.

Шли и шаркали обутками
С пересвистом, с потасовкою,
С перебранкой, с прибаутками —
Кто с кулем, кто с матрасовкою.

В голове артели — Выборов,
Позади — Трофимов, Ополев.
На уклон взбирались — хлыбали,
Под уклон спускались — топали.

Из ключей водицу солую
Пили долго и старательно.
Забрели в тайгу веселую —
Заблудились окончательно.

Крякнул Выборов, нахмурился,
Расчесал клешнею бороду,
Сел на пень и пригорюнился:
«Перемер как мухи, с голоду».

Мудро рек Трофимов братии:
«Рано нам трясти коленями.
У тайги, у нашей матери,
Кладовы полны кореньями».

«Не спасут и булки ситные, —
Молвил Ополев артельникам, —
Тут сверчки энцефалитные
Квартируют по метельникам...»

Развели костры сигнальные.
С горя выпили по малости.
Под кокорину, печальные,
Повалились от усталости.

Снились им хребты приленские,
Черемша — по грудь высокая...
А коровы деревенские
Рядом хрумкали осокою.

Владимир Горчаков

Я восход подстерегу —
Солнышко не за горами...
И потом на берегу
Помаленьку загораю.

А вокруг царит одна
Удивительная гамма —
Праведная тишина —
Ни транзистора, ни гама.

Зеленеет Ангара.
Одинокой лодки остов.
Хорошо, когда с утра
На душе легко и просто.

Иркутский музей. Выставка Ильи Глазунова

Сначала терпеливо дрог
В январской очереди длинной,
Дабы перешагнуть порог
Известной выставки картинной,
Где тишь музейную храня —
Величественно и сурово —
На присмирившего меня
Глядят полотна Глазунова.
Судьбу, которая была
Неотделима от России,

Горчаков Владимир Олегович (род. в 1947 г. в Иркутске). Член Союза писателей России. Автор книг «Пострел» (1994), «Мгновения» (2002), «Ради красного словца» (2008).

Картины, словно зеркала,
Художественно отразили.
Русь Глазунова — до корней...
Запечатленная жестоко...
Подспудно ощущаю в ней
Неистовство Ильи-пророка.

Иркутск

Карнизы кружевами затканы.
Они у дымчатой реки
Висят узорчатыми складками,
Как оренбургские платки.
Не в них ли книжица мудреная,
В которой, строя терема,
И угловатая, и тронная
Встает история сама.

И вот над гнездами сорочьими,
Над перекрестьями дорог
Воздвигнут ратниками-зодчими
Еще неведомый острог.
Крутыми рвами и засадами
Он прочно встал на берегах.
И обрастал потом посадками,
И звякал косами в лугах.
За караванами Спафария
Сюда за данью меховой
Тянулись слуги государевы,
Шли воеводы на постой.

Гулял топор.
Седели бороды.
Набат над площадью гудел.
И душно было в этом городе
От мастеров заплечных дел.

Синклит да требники с иконами.
Точи на ворога ножи,

Гусенков Владимир Павлович (род. в 1932 г. в Иркутске). Член Союза писателей России. Автор книг «Корабли выходят на орбиты» (1961), «Мой бедный Д'Артаньян» (1987).

Пока над стертыми коронами
Кровавый выродок кружит.
Пускай проспектами горбатыми
Летят на дьявольский парад
И экс- и вице-губернаторы,
И разъяренный магистрат.
Хлещи гнедых в бока поджарые!
Гуляй!
Ботфортами стучи!..
С колоколами да пожарами
Грядут могильщики в ночи.

Уже дорогами кремнистыми
Через тобольские снега
Идет Волконский с декабристами
На роковые берега...
Он полон смутного неверия...
Но в тяжком говоре оков
Ему рисуется империя
В колючем зареве клинков.
И если ночь была распорота
Кровавой яростью ножей —
То это билось сердце города
Грозой сенатских мятежей.

Рабочее предместье

Не с поэтической лестью
Иду к рабочему предместью,
Я с ним давно уже знаком.
Привет вам, старые ворота.
Я бил мячом в вас с поворота,
Носясь по лужам босиком.
За шторку спрятавшись лисичкой,
Смеется девочка с косичкой.
И чья-то машет мне рука.
Иду наигранной походкой.
Отец, закашлявшись махоркой,
Следит за мной издалека.

Его коллега старый колко
Глядит презрительно и долго
На брюки узкие мои.
Но я в беседу с ним вступаю,
Уподобляясь краснобаю,
И пыль сдуваю со скамьи.
В костяшки глядя с интересом,
С литейным цехом под навесом
Бухгалтер лупит в домино.
И некто, сев у радиолы,
Мрачнея, крутит баркаролы
И за женой следит в окно.
И все как будто беспричинно.
Мне критик скажет благочинно,
Что есть сюжеты поновей.
Но эти люди завтра утром
Уйдут к станкам в молчанье мудром,
Взглянув на спящих сыновей.

Валерий Дмитриевский

Иркутск (отрывок из поэмы)

Проследуем теперь куда-нибудь
от Тихвинской все дальше до окраин,
а чтоб не утомителен был путь,
опять в машину времени сыграем.

В гостиных обсуждает свет с утра,
не к месту вставив что-нибудь по-русски,
какой блестящий, пышный бал вчера
дал губернатор Муравьев-Амурский.

Телеги на булыжных мостовых,
тяжелый шаг стекольщиков и прачек,
толпа зевак, свистки городских,
и в лавках не один алтын потрачен.

Вот город в заводских гудках осип,
и мимоходом, в спешке окаянной
стальной рукой обнял его Трансиб,
стремясь через просторы к океану.

Какие имена он сохранил!
Здесь декабристы шли печальным строем,
здесь Чехов проезжал на Сахалин
и улицы за это удостоен.

Здесь упокоен бережно в ларец
святитель Иннокентий, чуждый тлена,
и Шелихов, неистовый купец,
на Знаменском дворе лежит смиренно.

Дмитриевский Валерий Викторович (род. в 1952 г. в Горьком (Нижний Новгород). Член Союза писателей России. Автор книг «Воспоминание о настоящем» (2006), «Слепой дождь» (2010).

«Иркутский комсомолец»
(памяти танкистов)

Давно промчались дни атак.
На площади сурово
Стоит могучий русский танк
Свидетелем былого.

Как песню дней большой войны,
Как славу человечью,
Фундамент высят валуны
И грозный танк — навечно!

В тиши тенистых тополей,
Над Ангарою быстрой
Стоит железный мавзолей,
Как слава о танкистах.

С тридцатьчетверкой ясно нам:
Мы всех сильнее на свете.
Танк —
 вечный памятник бойцам,
Дар иркутян — Победе!

Плывут года и облака,
Но даже на приколе
Непобедим во все века
«Иркутский комсомолец»!

Ершов Алексей Лукич (род. в 1933 г. в с. Бархотово Иркутской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Мельничная падь», «Угол зрения», «Зимняя рапсодия» и др.

Стихи о городе

О городе своем пишу стихи.
Он этого заслуживает, город.
Мне каждую снежинкою он дорог,
пусть улицы его вечерние тихи.

Пусть говорят: «Масштабы, мол, не те...»
А у меня к нему такая нежность
от этой запорошенности снежной,
летающей где-то в стылой пустоте.

Бывает, я среди домов брожу,
ищу свое в их новизне неброской,
уже упрямо в эту землю вросшей...
Иду.
Смотрю.
И душу отвожу.

Как в юности, когда легки шаги,
а в ней рассветы, вечера и полдни...
И, как тогда, все добротой заполнив,
со мной здороваются земляки.

Глаза их цвета городской зимы
узнаю сразу — так они приметны,
своею откровенностью приятны,
а потому забудем разве мы

тот перекресток, где за ЗИЛом гордым
бежит поземки белая река
и нет спасения от сквозняка,
он до костей пронизывает город.

Жилкина Елена Викторовна (1902, пос. Листвянка Иркутской области — 1997, Москва). Член Союза российских писателей. Автор книг «Верность» (1943), «Парус» (1963), «Сентябрь» (1966), «Заморозки» (1986), «Синие снега» (2003) и др.

Здесь все до благодарности мое.
Все как-то по-особому знакомо:
от праздничного флага у горкома
и до глотка воды ангарской —
все мое.

Почему оно уйти не может —
дверь открою,
распахну окно,
наяву и в снах
меня тревожит,
в непогоду мучает оно?

...Берег и сейчас мной не забытый,
брошенные наземь якоря...
День как день,
ничем не знаменитый.
Выпал снег. Начало октября.
Парохода маленького остов
в снежных пятнах стынет у горы,
холодом пронизанный мой остров,
живший у истоков Ангары.

Белое предзимье за стеною.
Печь топлю.
Мне зябко и теперь...
А была она тогда одною,
лишь одною из моих потерь.

Времени, несущегося ветром,
не уносит день тот никуда,
все стоит меж заберегов светлых
темная-претемная вода.

И летит через года тот камень,
далеко закинутый с руки...

Может, и печаль когда-то канет,
и исчезнут по воде круги.

Я принимаю шторм

Александру Вампилову

— Примите шторм, —
мне в телефон кричат,
я слушаю
и радуюсь, и верю...
А ветер вдруг
 без стука, сгоряча,
в мой тихий дом
распахивает двери...
Я не боюсь
разгневанных ветров,
бросаюсь с ожиданием
к ним навстречу,
они взорвут
молчанье вечеров,
упругий плащ
накинут мне на плечи.
Какая свежесть
разлита кругом!
Я к грозным тучам
выхожу с доверьем,
ловлю
летающих капель дробный звук
и слышу,
как сражаются деревья.
Я вместе с ними
этот воздух пью,
и каждый шаг
мне достается с бою...
Я никогда
 теперь не уступлю
предательскому подлому покою.
Моя любовь,
 тебя не знаю я,
с лицом открытым,
ты такой лишь снилась.
Как не похожа ты
в неистовстве дождя
на ту,
что в комнатной тиши таилась.

...Врывайся, вихрь,
я не задерну штор,
не спрячусь в страхе,
не забьюсь под крышей!
Ты слышишь, жизнь,
я принимаю шторм,
я принимаю шторм,
любовь,
ты слышишь?

На Ангаре

Широко зацветают травы,
Высоко идут облака.
И спокойно и величаво
Вдоль селений течет река.

Я другой не желаю доли.
(В самом деле, чего желать?)
Есть тайга, и река, и поле.
И жива, слава Богу, мать.

Было всяко... Были невзгоды.
Но с годами прошли они.
И плывут мои пароходы,
До утра засветив огни.

Время скроет бывшее илом,
Зарастет осинами пал.
Но к безвестным простым могилам
Вновь уводит меня тропа.

На одной из них якорь ржавый
Муравьевских крутых времен.
Здесь вставала моя держава,
Здесь мой предок был погребен.

По его непреклонной воле
Я — хозяин здесь, а не гость...
К мерной жизни тайги и поля
Призывает казачья кость.

Забелло Василий Константинович (род. в 1947 г. в пос. Утулик Иркутской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Ледостав» (1984), «И пройдут высоким строем птичьи стаи надо мной» (1993), «Осенний пал» (2001), «Избранное» (2007) и др.

Набережная Иркутска

...Боже, милостив буди мне, грешному.

Евангелие от Луки

С баржи мотив доносится веселый.
В эфире закарпатская свирель.
И силуэт старинного костела
Напоминает сумрачную ель.

А дальше — Спас,
 облитый лунным светом,
Медовые возносит купола...
С пустых церквей недавно сняли вето,
Как мало их Россия сберегла.

Вчерашней бойни страсти не остыли.
Глазницы храмов гулки и черны.
Перемешались тати и святые
В больной толпе расхристанной страны.

Давно душа мятущаяся просит
Божественной глубокой тишины,
Как на крылах, меня она уносит
К святым осколкам русской старины.

Валентину Распутину

I
Загребает в небо мощнокрылый,
Вожакom поставленный судьбой.
Беспокойный крик его унылый,
Как маяк в пучине голубой.

Впереди летящему труднее:
Застят бури, гибелью грозят.
Потому и выше, и прямее
Пролегла небесная стезя.

II

Мы вопим, отчаянно метаясь,
В поисках срываем голоса,
С прошлым дорогим переключаясь,
Как слепые, чертим небеса.

И в тоске, нас давящей безбожно,
Зачастую с миром не в ладу
Ищем голос зычный и надежный,
Ищем путеводную звезду.

Музе Анатолия Горбунова

Мой друг живет в высоком доме,
Где пол-Иркутска, глянь в окно,
Пред ним лежит как на ладони,
Лучами фар иссечено.

Я залетал к нему по дружбе,
Бездомьем слякотным гоним.
Стихи, рыбалка, лес и ружья —
Суть разговоров наших с ним.

Мы пили чай и водку пили.
Вбивали, крикнув, стопки в стол.
Трясли чубами, говорили...
Роняя горькие в рассол.

А после брал мой друг гитару,
О вечном пел на злобу дня...
Я шел к окну... Кружили фары
То на меня, то от меня.

И виден был небесный мостик,
От звезд протянутый в лучах.
Сюда являлась Муза в гости
Средь бела дня и по ночам.

Друг воскреслял... Над словом плакал...
Перебирал священный хлам
Земли родной, ржаного злака...
Делил с ней корку пополам.

И под метели злую ругань
Когда снегами путь прошит,
Дарила Муза слезы другу
Для очищения души.

Экскурс

Старинный город памятью завьюжен.
Какие сны он видит и таит?
Летит автобус в розовую стужу,
А мне вдогонку прошлое глядит.

Глядит оно пролетными огнями,
Стволами улиц, давящих с боков,
И теми днями, что прошли за днями
И стали жаркой памятью веков.

Глядит глазами кающихся, гордых,
Надменных и смиренных ходоков...
Проносится, отбрасывая годы,
Автобус мой средь каменных оков.

И жизнь моя — скользнувшая минута.
Через окно в бензиновом чаду
Бросаю свое прошлое кому-то,
Как осень листья под ноги в саду.

Летите, мои листья, шелестите!
Я вас не стану больше ворошить...
Но голос свыше: «Господин, платите!
За прошлое придется вам платить».

Пришелец

Со всех сторон к пришельцу недоверье,
Со всех сторон нацелены глазки.
Куда пойти? В какие ткнуться двери?
Как встретят, как приветят земляки?

К таежнику надменно безучастен,
Холодный, потемневший и чужой,
Ты засыпаешь, город, в одночасье
Над плещущей бегущей Ангарой.

И даже скрип последнего трамвая
И чьи-то торопливые шаги,
В пустынном переулке нарастая,
Ему твердят: беги скорей, беги!

Куда бежать? И он стоит, растерян.
Со всех сторон нацелены глазки.
Но без глазка пред ним открылись двери,
И обнялись по-братски земляки.

Иркутская осень

Богородица — дочь сентября.
В тополями заросшем городе
засилье пронзительного янтаря,
полыхающего в синем холоде!

Словно спала с очей пелена:
город стал сквозным, безрассудно
золотящимся, как луна,
золотящаяся беспробудно!

Сколько раз я уже повторял
нежнословные гимны осени!
Я в любви к ней навеки застрял —
в ее локоны вплелся проседью.

Славянин, я до гроба пленен
золотою ордою кленов,
и восточной звездой клеймен —
переспелой и раскаленной!

А улыбчивая заря
улыбается все грустнее,
потому что знает: горя —
лишь сгоришь. И я знаю с нею,

что калины красивая гроздь
никогда не бывает сладкой,
как сухим не бывает дождь
и как жизнь не бывает гладкой.

Змиевский Анатолий Борисович (род. в 1959 г. в Иркутске). Член Союза писателей России. Автор книг «Среди божественного хлама» (1996), «Звезда Вифлеема» (2001), «Я пришел из осени» (2005), «Любовные письма» (2010) и др.

Но пока тихий рай сентября
не обуглился листьев горкой,
от пронзительного янтаря
мне так сладостно, так не горько!

И у огненного куста
к одному мои мысли сводятся:
не случайно и неспроста
в эти дни родилась Богородица.

Я исчезну в назначенный день,
но останется в желтых росписях
неизбывная моя тень
на коленях стоять пред осенью.

Самодержавие органа!
В нем вздох души, в нем выдох чувств,
бальзам целительный для раны,
цветы для глаз, вино для уст!
Я, очарованный органом,
поверженный им в сладкий прах,
скажу, что все века и страны
вмещает это имя — Бах...
Но мне не стыдно и не странно,
подняв с земли осенний лист,
признаться, что магистр органа
мне не нужней, чем гармонист.
Когда пройдет гипноз костела,
невыразимых грез момент,
я вспомню свой родной поселок
и дядькин старый инструмент.
Уткнусь, слабея от печали,
в узор древесный на столе,
до боли затвердев плечами,
но сердцем все же потеплев.
Из грустной памяти достану
картину, вытканную чувством,

где синие меха выстанывают
тоску на головы капусты.
Где, над окраиной иркутской
пронзая высь, рвут сердце Богу
рыдания о доле русской,
о том, что горя слишком много.
И буду долго-долго слушать,
как в плачущую благодать
гармошка втягивает душу,
чтоб после выплеснуть опять...

Не отыскать того барака,
как не найти огня в золе.
Уходит все, но в фугах Баха
все остается на земле.

Мой грустный город, мы одной породы:
ты мой отец, а я — твой грустный сын.
Цветут картофельные огороды,
льнет к площадям бензиновая синь...

Я перерос твои дома и трубы,
но, о полынной не забыв пыльце,
на грязь дворов молящиеся губы
неугасимо рдеют на лице.

Метелей пляс до головокружения,
в платке цыганском осень, смоль столбов...
Здесь все мои и жертвоприношения,
и отданная только мне любовь.

Был суший рай на захолустной улице,
где пыль глотали тополя и я!
Давай с тобою крепко расцелуемся,
вторая мама, улица моя!

Давай обнимемся, березовая роща,
мой дикий лес из городских берез!

Давай всплакнем по грезам непорочным
и вытрем слезы светом этих грез.

Былое — челн, что без гребца отчалил,
но и гребцу отмерены часы...
Нет-нет, не будем, город, о печальном —
я вечный твой поэт и вечный сын!

Мне ни за что не есть чужого хлеба:
уйдя совсем, я сразу же вернусь
и на твое задымленное небо,
как старовер на скит, перекрещусь.

Иркутск новогодний

Новый год! Равнодушие к магазинам
горит, как языческий истукан!
Пахнет хвоей! И апельсинами,
привезенными издалека!

Благовонье духи и ваниль
источают на воздухе и под кровом;
нет спасенья от толкотни
в изобильных рядах торговых!
Большой и холодной, как мясницкий топор,
это каторге и не снилось!
Правда, многие говорят, что с тех пор
мало что изменилось.
Под предпраздничной сутолокой и суетой
скрыто в резвых прохожих ожидание чуда...
Всюду в лавках — игрушек туман золотой,
а на улице снег серебрящийся всюду!
Возле жиденьких елей сатиры свои
демонстрируют жители городские:
— Не слишком пушисты древа сии,
зато дорогие.
Не событие, но канун —
вот, пожалуй, что после помнится нами...
Преображенные мастерски
спешащими дамскими мастерами,

вернувшись из парикмахерских,
хлопочут хозяйки: все, что есть, — на столы!
Кем-то с неба луна втихомолку соскоблена...
Нынче, право, не грех из-под полы
приобрести нечто особенное.
В этот вечер не верится в то, что кто-то один.
В банях — столпотворение!
Влюбленный студент несет на груди
розу, стоившую ему стипендии.
В этот вечер, опутанный серпантином,
унимая шампанским волнение и дрожь,
перед мерзлым окном, если нету камина,
сядешь и ждешь:
вот-вот звякнет волшебный бубенчик,
и в стекло, чуть помедлив, постучится звезда...
Новогодняя ночь всякий раз женщина,
повстречавшись с которою, ежишься: Та!

И не хочется быть слишком опытным или мудрым,
знать, что с Вечностью глупо будильник сверять,
что закончится просто *утром*
ночь на первое января.

Прямые тополя. Звезда. Кривые клены.
Родных до слез земли и неба по клочку.
Пред родиной стою коленопреклоненный,
молясь на нищету заборов и лачуг.

Пред родиной стою коленопреклоненный,
и никуда меня отсюда не зазвать:
я вечно обречен под шелест ив и кленов
рябиновой щеки румянец целовать.

Бредущий колеей одной сплошной ошибки,
ступлю, как на алтарь, на сгнившее крыльцо:
усталых тополей усталые улыбки
мне тихо упадут на грустное лицо.

Живущий невпопад, но чувствующий остро,
когда стою один в заснеженных полях,
ловлю себя на том, что фронтовым медсестрам
подобен строй берез в кровавых снегирах...

Всех тех, кого люблю, прошу — благословите,
глаза родных небес весною веселя,
шумите над судьбой, над родиной шумите,
кривые клены, прямые тополя.

Иркутск пасхальный

С весною снял табу с глагола «гнить»
пир нечистот оттаявших и пыли,
гордящейся способностью парить
над поднявшим ее автомобилем.
Благоговейно комкая в руках
ткань узелков заветных с куличами,
благоухая мылом и свечами,
старушки собираются в церквах.
Губернский город, в сущности — дыра,
штурмует перед Пасхой по старинке
коронками сверкающие рынки,
где траты больше в области утрат.
Об эту пору здесь темно от драк:
велит к стене гуляющим прижаться
клубок катящийся грызущихся собак,
терзаемых желаньем размножаться.
Апрель освобождает плоть от пут
одежд, и даже евнух, приняв водки,
присвистнул вслед фигуристой красотке,
почувствовав отсутствующий блуд.
Парижские и прочие духи,
подкрававшиеся к сердцу осторожно,
ненужным хламом делают стихи,
а хладнокровье — свойством невозможным.
Об эту пору истинный поэт,
оставив дотлевать на дне фарфора
во славу целомудрия сонет,
летит на свет призывных женских взоров.

В любви бродяга и немножко франт,
сдаваясь упоительным ночлегам,
он зарывает в землю свой талант —
до листопада или же до снега.
Смягчая мрак мерцающим кольцом
на лестнице, лишенной освещения,
гетера с тонким греческим лицом
сулит Содом в масштабах помещенья...
Губернский город жаждет, но не ждет
от собственной обузы избавленья.
Разгар весны. Потеет население,
все той же рыбой тычась в тот же лед.
Здесь пьяницы бормочут за углом
и бродят неопрятные солдаты,
и рвется к небу хохот из палаты,
где сумасшедший бреется стеклом.
За хлеб с икрой, за княжие места
успешной грязи у корыта битва
перекрывает бряцаньем молитву
и после Воскресения Христа.
Здесь нет нужды в изысканных словах
и не на чем остановиться взгляду...
Но были счастливы все те, кто целовал
друг друга по старинному обряду!
И красною яичной скорлупой,
и солнцем, прыгающим по посуде,
и белым кремом, и цветной крупой
одаривались праздничные люди!
Они и я, что терпим и грешим,
и этот город — в луковках соборных,
в чаду весны! — являемся, бесспорно,
окрестностями Божьей Души.

Чем дальше, тем милей былого отголоски,
но пролита не зря рябиновая кровь.
Пусть резал город мой мне кожу на полоски,
Змиевский плюс Иркутск равняется любовь.

Сияет жизнь моя вершиной неуспеха,
цветут мои цветы в настойках на спирту.
Сквозь запах женских щек и тающего снега
осталось мне пройти последнюю версту.

Устроен мир людей жестоко и нелепо,
не примирившись с ним, я лягу на погост.
Жаль бело-голубым отлюбоваться небом,
но Время не щадит ни нас, ни вечных звезд.

Мне выпала стезя — всегда, а не в итоге —
быть одиноким так, как карусель зимой.
Дымятся впереди две зыбкие дороги,
скрывая, увиден я буду по какой.

Пока душа в плену того, что станет тленом,
свет инобытия она не разглядит.
Что ждет тебя, душа, на воле после плена —
во всем безбрежный рай иль новый плен — Аид?

Чем дальше, тем милей бродить по снов осколкам
и горечь целовать рябиновых кистей.
В гостях я на земле, но дома здесь настолько,
что сам бы ни за что не вышел из гостей...

Как за окном купе мелькают перелески,
все годы промелькнут, вода вся утечет,
но лезвием сверкнет фамилия Змиевский
и надвое Иркутск любовью рассечет!

Град сибирский, деревянный, купеческий,
от Москвы в продымленном далеке...
Но стоит вот на таких все Отечество,
а они стоят на каждой реке!

Может, кто-то рассмеется задорно:
«Ну и город, это ж просто дыра!»
Ведь облитые известкой уборные
не изжиты здесь еще во дворах.

Говорят, Сибирь Сибирью останется,
и как было, так и есть для южан:
коль зима тут девять месяцев тянется,
остается пожалуй каторжан.
Что ж, студеная моя ты провинция,
климат родины, как ни был бы плох,
не причина, чтобы с ней распротиться:
под родной звездой и в стужу тепло!

Купола над Ангарою качаются,
в восемь лун они в воде отражаются,
а вода имеет цвет малахитовый,
я другой такой на свете не видывал!

А за городом все рядится в хвою,
все повязано смолою, как кровью!
Скреплено навек смолой светоносной
братство кедров, лиственниц, сосен.
Там, за городом — брусничников гривы,
шишки в звонких кедрачах — цвета сливы,
пышный папоротник в рюшках саранок,
игры белочек — тайги обезьянок,
пестрых дятлов, презирающих страхи,
на скрипучих короедов атаки,
бурных речек слюдяные косички,
взор фиалки сквозь слезу на ресничке,
резвых бабочек воздушные танцы,
и шмелиное в цветах донжуанство,
мрамор в зелени, как будто сугробы,
в синеве — седины гор белолобых,
щеки тучек в брызгах дикой малины,
и в прическе у зари гроздь калины.
А еще — мольба русалки обтрогать
всю ее и поласкать хоть немного...

Да хранят тебя таежные ведьмы,
край испачканных черникой медведей!
Пусть форсит Сибирь в невянущей хвое
и невянущей пылает любовью!
Пусть купается в снегу шустрый соболь,
пусть блестящий под водой ходит омуль.

Я смотрюсь в Байкал, а он — если б знали вы! —
рассеребряных зеркал позеркальнее!
И купели чудотворней, чем эта,
для крещения не найдется у света!

Град сибирский, деревянный, купеческий —
вот отсюда и идет все Отечество,
вот от этих переулочков узких...
Я родился и умру здесь, в Иркутске.

Дмитрий Иващенко

В местах заветных лодку чаль!
Листвянка,
август
брат Вампилов...
Мы по-сибирски крепкий чай
с листом смородиновым пили.
На море славном — черный штиль.
Сполохи, как в грозу, шафраны:
костер меж скал
плясал шаманом
и в лунный бубен колотил.
Шатался лес в медвежьей шкуре,
скрипя стволами кедрача.
Рассказ охотничий ворча,
гуран — со шрамом — трубку курит.
Холодный камень
с веткой хвойной —
сурова малая моя...
Кукушка, долгих лет напой нам,
байкальских «аликов» храня.

Иващенко Дмитрий Анатольевич (род. в 1967 г. в Железногорске-Илимском). Член Союза писателей России. Автор книг «На ветру» (2006), «Встречи и разлуки» (2010).

Сергей Иоффе

Проникаю несуетным взглядом
в тот Иркутск, где не будет меня...
С нестареющей церковью рядом
пробегают трамваи, звеня.

А над ней, в поднебесье взмывая,
как в былые, мои, времена,
мельтешит голубиная стая —
слава богу, сыта и вольна.

Поверну-ка незримо у рынка,
отдохну на подъеме крутом.
Прежде звали — Иерусалимка,
Парк культуры — назвали потом.

Нет в округе удобнее горок:
безмятежность, простор, высота.
Открывается прожитый город
целиком — от моста до моста.

Предугадываю перемены:
подросли деревья и дома,
но душа, сердцевина — нетленны,
как нетленна природа сама.

Только я бы едва ли ответил,
в чем она, городская душа...
Этот звон, переменчивый ветер,
что балует, листву вороша,

Иоффе Сергей Айзикович (1935, Иркутск — 1992, Иркутск). Член Союза российских писателей. Автор книг «Желание» (1964), «Мужчины» (1972), «Дорога» (1976), «Время вышло» (1995) и др.

купола, предзакатное солнце,
яркий блик на ангарской волне,
вековая резьба над оконцем —
все, как было когда-то, при мне.

Знать, не страшно сокрыться в природе,
коли жил, и томясь, и любя.
Ведь с уходом твоим не уходит
то, что в жизни превыше тебя.

Дом на улице Софьи Перовской

*Тамаре Аркадьевне Шипилиной,
Галине Аркадьевне Садовской*

Задолжал со студенческих лет.
Задолжал не рубли, не червонцы,
а приветливый свет из оконца,
доброты нескончаемый свет.

Вы меня приглашали за стол
И вздыхали при том: «Чем богаты...»
Словно были и впрямь виноваты,
что, увы, невелик разносол.

Беспечальный студент, голытьба!
Разве мог бы учиться, не зная,
что чужого, меня, как родная,
в ночь-полночь обогреет изба?

Разумел или нет, грамотей,
что, отрезав мне хлеба краюшку,
застелив для меня раскладушку,
вы своих обделяли детей?..

Я мечтал: стану кум королю,
отучусь, получу назначение —
накуплю и конфет, и печенья,
колбасы и вина накуплю.

Заявлюсь — молодец молодцом!..
Думал, можно с единого маху
за отзывчивость, как за рубаху,
рассчитаться — и дело с концом.

Не судите, простите меня.
Я признание вынашивал долго,
и росло ощущение долга
год от года и день ото дня.

Рядом с вашей святой добротой,
Что они, эти поздние строки?..
Не смиряюсь, что минули сроки,
не кичусь головою седой

и — у жизни уже на краю —
от волненья дыма папироской,
в дом на улице Софьи Перовской
возвращаюсь, как в юность свою.

Когда этот шумный бульвар
был садом Парижской коммуны,
за старой оградой чугунной
бренчанье бездумных гитар
не слышалось. В чинной тиши
доверившись воспоминаньям,
сидели бабуси с вязаньем,
возились у ног малыши.
И только вечерней порой,
досужий народ зазывая,
не струнная, а духовая
звучала по-над Ангарой.
Мелодию трубы вели.
На том берегу, у вокзала,
она спотыкалась. Стихала
в Глазковском предместье, вдали.
...Пронесются годы, пыля.
Старинные вальсы и марши

становятся старше и старше.
Выходя в тираж тополя.
И, видно, за то, что не юн,
Порушен единожды летом,
потом увезен Вторчерметом
ажурной работы чугуна.
А сад без ограды — не сад.
Здесь грохот транзисторов, пиво...
И смотрит Ермак сиротливо,
и сумрачен бронзовый взгляд.
Я, в общем, довольно терпим
к превратностям и переменам.
Ни взглядом, ни словом надменным
не стану пенять молодым.
И все же тревожит меня
одна неотступная дума...
Эпоха бедлама и шума
промчится, брэнча и звеня, —
иные придут времена,
а с ними приметы иные.
И нынешние молодые,
коль не помешает война,
состарятся. Вспомнят иль нет
они и печально, и сладко,
как выпив винца для порядка,
потом оседлав парапет,
неистово, словно в бреду,
без устали пели и пели —
базлали, рычали, хрипели
у всех и у вся на виду?
Те песни, хотя бы во сне,
вернутся ли к ним после срока,
Как танго забытого Строка
Вернулось сегодня ко мне?

Холода

Какие нынче холода!
Как леденят они и жгутся!..
И лишь ангарская вода
не замерзает у Иркутска.

Когда мой длинный автовоз,
моя автобусная пара,
кряхтя, взбирается на мост,
я попадаю в царство пара.

И над рекой, как по реке,
плывут в тумане чьи-то лица...
Что стоит в этом молоке
пропасть, исчезнуть, заблудиться?

Баранку резко крутануть,
порвать ажурные перила...
река б торила тот же путь
и все парила бы, парила...

Какие нынче холода!
От них и сумрачные мысли.
Но меж столбами провода
от снежной тяжести провисли.

Но куржаком, как бахромой,
деревья пышно разодеты.
А это все зимы самой
отнюдь не зимние приметы!

И зреет заговор уже.
Весною и не пахнет будто,
но и в природе, и в душе
опять воскресла жажда бунта.

Бунтуем! Встали мятежом!
Идем на вы! Бросаем вызов!
Сосульки грозным этажом
висят, как бомбы, вдоль карнизов.

Четыре ветра и река

Четыре ветра налетели
Со всех сторон на Ангару,
Разноголосо засвистели
И сшиблись в схватке на юру.

И, увлекая за собою
Дым клочковатый и седой,
Разъединились над горою,
Чтоб вновь схватиться над водой.

Река от злобы почернела:
Ее желанью вопреки,
Негаданно в речное дело
Вмешались ветры-мужики.

Нрав Ангары — врагам перечить,
С друзьями жить на мирный лад,
Она ветрам спешит навстречу
И, пенясь, катится назад.

А ветры снова насмерть бьются,
Взвихрив речную голубень,
И волны с берега несутся
С высокой шапкой набекрень.

С ветрами в неумном споре
Им не сдается Ангара...
Здесь скоро разольется море,
А с ним поладят ли ветра?

Киселев Виктор Владимирович (1918, Иркутск — 1978). Член Союза писателей СССР. Автор книг «Хороший обычай» (1958), «Любовь моя — тайга» (1964), «Шестой океан» (1977) и др.

Иркутское море

За плотиною — море,
Спокойное море.
Но спокойно оно,
Лишь когда на запоре.
Рвется в узкий проход
Из бетонного плена
Голубая,
 зеленая,
 синяя пена.
То не волны речные
Закручены туго:
Снеговые сугробы
Сшибают друг друга.
Что ни миг — пред тобой
Пролетают картины:
То Саянский хребет,
То полярные льдины,
То холмы и долины
Альпийского луга.
А над ними беснуется
Белая вьюга.

Иркутску

Не докричать — хотя бы домолчать...
Отныне нам и ласточка не сводня —
прощай, мой брат, ты волен убивать —
убей меня на Тихвинской сегодня:

ударь под дых, швырни меня в фонтан —
пойдешь гулять и, в воробыином гвалте
гася свою тоску — пока не пьян,
узришь меня сквозь трещинку в асфальте...

Не домолчать — хотя бы докурить,
табачный дым не застит нам дороги...
прости, мой друг, ты в силах хоронить —
я в силах умереть у синаноги —

шумну ступенькой, вышумнусь травой,
и ты, не медля, жизнь свою отладишь,
когда к Ерусалиму головой
я развернусь, приладив к сердцу кадиш...

Не докурить — хотя бы додышать
до двух берез четвертой остановки,
до... жизнь моя, ты мастер отпевать —
отпой меня на холмике Крестовки —

ссыпь в ладанку, держа меня в персти,
и, отлучив мой бренный дух от песни,
свой дух переведа, оповести
сестру и брата: двери мне открыты...

Кобенков Анатолий Иванович (1948, Хабаровск — 2006, Москва). Член Союза российских писателей. Автор книг «Улицы» (1968), «Вечера» (1974), «Строка, уставшая от странствий» (2003), «Однажды досказать» (2008) и др.

Я люблю этот город, потому что люблю,
потому что деревья и крыши люблю,
потому что в киношку пойду по рублю,
потому что за трешку — раздружок воробью.

Я люблю этот город, потому что трамвай
разрезает туман, как тугой каравай,
потому что в кармане у него карамель,
листопады, снежинки, дождинки, капель...

Я в плечо его плакал, за охапку рублей
я прочел в кабаках его книжки Рабле;
на последний червонец, с предпоследней треской,
я в кафушках его пропитался тоской —

и качает меня, и несет в никуда
заводская бурда, городская беда...

Я люблю его осень, и стены, и сень...
Эту дре-, эту бре-, эту дрень-, дребедень,
древедень телефонов, перебрень суеты,
голубень горизонтов, лебедень высоты...

Я люблю его бабок, из баек и слез,
перепрыжку ухабов с костылями берез;

на березовой ветке, при ольховом седле,
доберусь я до Леты, на сосновой игле
спо-
ты-
каясь...

Письмо Вампилову

1

И, отмеривши шагами
краешек земли,
мы однажды вместе с вами
полночь перешли,

Александр Валентиныч,
Саня — на часок...
Август спелой паутиной
холодит висок,

чтобы виделось не боле,
чем тому окну,
что — глазами на поле,
а зрачком — в страну,

чтоб стакан вина сухого
и полночный час
через песенку Рубцова
рассмешили нас,

и смеемся мы и плачем,
знаем наперед:
будет смерть, потом — удача,
не наоборот...

2

Как бы вы ни хотели,
но в милой нашей провинции
все мы чуть-чуть постарели,
может быть, сдали позиции;

наше шестидесятничество...
как бы сказать для ясности? —
выродилось в старообрядчество,
странное в пору гласности...

вы между тем усложняетесь —
вечные ваши качества:
кому-то простым представляетесь,
кому-то неясным начисто...

3

Вас ставили Ефремов и Шапиро,
Райкин и Борисов,
играли Ефремов и Андреев,
у нас поставил Кокорин.

Слезы, которые пролиты из-за вас,
могли бы сложиться в реки,
радость, которая была внушена вами,
могла бы стать морем, —
впрочем, кто сказал,
что реки и море,
созданные вами,
высохли?

Мы, год за годом,
входим в их воды
с тем же азартом,
с каким некогда вы
шагнули в волну
Байкала

(с единственной разницей —
мы выплываем)...

4

Слякотные, стуженые, зимние,
вечные послушники зимы,
это мы, Саяпины и Зиловы,
Алики и Сильвы... Это — мы.

С песнями, прикрытыми засовами,
с радостью в келейках без окна,
вами до морщинки прорисованы,
вами и оплаканы сполна.

Верующие, мучающие, лгавшие,
потчующие басней соловья...
Старшие ли, младшие ли, павшие,
блудные ли... — ваши сыновья...

5

Как сказал бы Чехов, вот и сумерки,
как сказали б вы, сплошной туман:
тихо вам, ни капельки не суетно,
шумно — нам...

Снег погладит плиты, тронет волосы
без причин...
Как сказал Рубцов бы, в этой области
помолчим...

Письмо Сергею Иоффе

Блудные дети проводят тебя,
бледные дети напишут октавы,
белый и черный, левый и правый
перекрестятся, вино пригубя...

Я уже знаю, о чем эта боль,
и отчего в перепаханном поле
тесно — для воли, просторно — для боли,
и почему перекатная голь
сыплет на раны январскую соль...

И стар Иркутск, и многих пережил,
перелопатил, обдождал, завьюжил,
читил Николашку, Ленину служил,
при Брежневе заметно занедужил...

Сибирский Брут, российский старожил,
служитель плача и сожитель стужи,
всем важен и всегда кому-то нужен,
он между тем с Башмачкиным дружил.

И я ему послушен как никто —
по-детски, по-советски, по-босяцки,
в глуши домашней и в гульбе кабацкой —

без кепочки, в задрипанном пальто,
для ребятишек дедушка Пихто,
а для руководителей — Башмачкин...

Не улочка — скорее рана, шрам...
На мраморных ступенях телеграфа
Я вижу в осени иркутской некий шарм
Высокого, но спившегося графа.

Я рад тому, что попадаю в шаг
Летающему листу, тому, что арфа
Иркутских сумерек выводит не спеша
Мотивчик Скрябина и Леопольда Стаффа...

Осколок звука, сколок Ангары,
заколка Иркутка... Как разноцветен
прогулочный, с сивушным дыхом ветер,

как весело, при влажном полусвете,
домишки, как детдомовские дети,
в меня — с Глазковской катятся горы!..

Когда шуга порежет берега,
и сплющит день, и набегут метели —
всем холодно, хотя — на самом деле —
да здравствуют иркутские снега!

Да здравствует иркутская пурга!
как хорошо в течение недели
смотреть в окно, не покидать постели
и кофий требовать — мне кофию, слуга!

Издатель Стож, не докучай, я сплю,
не присылай служанок, Марианна!..
Я всех люблю, но если постоянно,

то жаркие объятия дивана
и трубочку... Да, как это ни странно,
любя других, я лень свою люблю...

Александру Князеву

Не вычеркни, не вздумай, не смоги! —
не сделай так, чтоб убаюкать в сносках
Сперанского державные шаги,
вольнолюбивый шепоток Волконских,

речитатив рождественской пурги,
глашатаев ее иерихонских,
и топоток, с которым сапоги
сбивают лепестки созвездий конских...

Еловый благовест, кедровая тоска:
в сугробах серебра редчайшей пробы —
собачьи, человечьи, волчьи тропы,

и в шепотке — не испугала чтобы —
безумца Пушкина безумная строка
и «разума лишившейся Европы»...

Татьяна Ковальская

Шесть утра. Беззвездно небо
В феврале над Ангарой.
Огоньков цветистый невод
Ловит рыб ночной порой.

На пороге ночи — утро,
И в окне стучит рассвет.
А душа озябла, будто
Ей сегодня — двести лет...

Незамерзающей реке
Привет.
Ее туманам белым,
Лениво плещущей воде
И берегам заиндевелым —
Поклон!
Морозны все утра,
Зима уж набирает силы.
И воскрешает Ангара
Во мне дух молодости милой...

Ковальская Татьяна Викторовна (род. в 1943 г. в Иркутске). Автор книг «Времена жизни» (1997), «Водолеевы сны» (2004), «Берег памяти моей» (2008).

Василий Козлов

О ночи в загородном доме,
Любви нещедрые дары...
Мы добирались на пароме
Через протоку Ангары.

Мосточков шаткие перила
Перенимали нашу дрожь.
Нас призвала, соединила
Чистейшая святая ложь.

Лишь на заре сошла на нет
Дождя грохочущая масса.
И застекленная терраса
Вбирала ранний блеск и свет.

Мы просыпались, и любовь
Была наградой в пробужденье.
Был свет в окне почти без тени,
Как будто встали на колени
Деревья возле наших снов.

А новый день уже воскрес
В твоей улыбке, схожей с песней,
Во взгляде, ставшем от небес
Еще яснее и небесней.

Мы, взявшись за руки, пошли
По краю ветреного поля,
По краю утренней земли,
По краю воли и неволи...

Козлов Василий Васильевич (род. в 1947 г. на ст. Оловянная Читинской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Уроки доброты» (1975), «Есть у меня на свете брат» (1979), «Стихотворения» (1985).

На набережной Ангары
В доме, типичном для округи,
Две женщины, как две сестры,
Живут в заботах друг о друге.

На полке — два десятка книг.
Приемник ламповый. Ночник.
Вся обстановка их простая.
(Мне нравится одна из них
Немного больше, чем другая).

Любая вещь, предмет любой
Имеют смысл, будь то будильник.
Посуда, печь, ведро с водой
И неисправный холодильник.

«Как хорошо, что ты пришел...»
И вот уже украшен стол
Сухим вином, печеньем, чаем.
Мы времени не замечаем,
Но час пробьет. И я уйду,
Шарф поправляя на ходу.
По набережной Ангары
Пойду, в карманы пряча руки,

Две женщины, как две сестры,
Живут в заботах друг о друге...

Забывтый дворик

1

Г. Г.

...Пулями извилистых улиц
Мы в старенький дворик вернулись,
Где елочки пыльной крапивы
Стройны; где хозяйки крикливы;
Где запах ромашки зеленой;
Где девочки шепот влюбленный

Звучал; где скрипели качели
И пели как птицы; и в щели
Забора был нами увиден
Мир жизни, в который мы выйдем,
Которым пойдем и в котором
В ином освещенье увидим,
Что грезилось нам за забором...

2

Е. В. З.

Был ранний снег и поздний час.
Снег мягко-мягко опускался,
Одежды нашей не касался,
Снег лился, обтекая нас.

Снег сыпался на снег, на крыши.
И мы друг к другу жались ближе,
Как бы в предчувствии потери...
Теперь один из нас в Париже,
И вспоминается порою:
«Шел первый снег. Нас было трое...»
А не один ли я теперь?

Поверить страшно мне и странно,
Что мне судьбою знак был дан:
Я нес случайных три тюльпана,
Обернутые в целлофан, —
И обронил один тюльпан.

Предчувствий не было тогда,
Что надвигается беда,
Что мне судьба вручила в руки
Красивый символ злой разлуки...
И ты меня, мой друг, прости,
Что слабо прижимал к груди
Три незапамятных, три нежных,
Три роковых, три неизбежных
Цветка.

Иркутск

Когда еще шумел сосновый бор
Над вольною и дикой Ангарою
И Спаса белокаменный собор
Туманно не клубился над водою,

Когда в бору не пели топоры,
И звонница еще не голосила, —
В моей земле до самой той поры,
Дремала не пробуженная сила.

Мой пращур — не юродивый, не вор,
Лихой мужик,
Как праздник посвящения,
Отметив мой далекий день рожденья,
В сосновый ствол с плеча вогнал топор.

Быть может,
Так все это начиналось —
Дощаники у берега качались,
В огне сгорала первая ольха,
В котле кипела первая уха,
И днесь являлась дивная страна
С таинственными древними богами,
Глаза которых
Темные, как камни,
Наскальные впитали письма.

С величием поднебесного добра,
В короне неделимости державы,
Она блеснула слитком серебра
И выставила мирные заставы.

Ученый сын компьютерного века
Я ухожу корнями в глубину,

Козлов Иван Иванович (род. в 1936 г. в Иркутске). Член Союза писателей России. Автор книг «В гостях у декабристов» (1975), «Колокола не умолкают» (1979). «Самая долгая зима» (1986) и др.

Порою, как в таинственную Мекку,
Хождения совершая в старину.

И слышу я
Воинственно и грозно,
Над чьей-то забубенной головой
Уж не гремит воинственная бронза
За дальнею чертой береговой...

И вижу я:
На утренней заре,
Хрустально разнаряженные в росы,
Лампадами осенние березы
Горят на православной Ангаре.

За горизонт уходит Ангара
Ее огонь
Холодный камень плавит.
И слышен звон —
Мой дальний пращур правит
Зеркальную стремнину топора.

Над Иркутом (триптих)

Скалы прибрежной
Краснобурый срез
Плывет меж облаками и водою —
Схватив скалу корнями,
Черный лес

Парит,
как беркут, с добытой лисою.

Я эту землю знаю с давних лет —
Здесь все мои начала и причалы.
Куда б меня судьба моя ни мчала
Земли дороже не было, и нет.

Здесь предок мой,
Увы, не праздно жил —
Раздвинув камни стертыми плечами,
Он над водою мельницу сложил
И оковал заветными словами.

Ушли водой бывшие времена,
Слова, что над рекою отпылали,
Упали в землю,
словно семена,
Взойдя травой забвенья и печали.

Здесь мне дано отгадывать судьбу —
Бродить над Иркутом в бору сосновом,
Искать землею возвращенное слово,
Среди стеблей,
запрятавших тропу.

Здесь все, что слышу, —
Шелестит трава,
Шумит сосна,
Течет по склону щебень
И плеск весла,
И звонкий птичий щебет —
Таит в себе
Нетленные слова.

Навеки неизбывна ипостась,
Объятая водою и колосьями,
Всем многоцветьем
И многоголосием
Земли и слова
Явленная связь.

Когда весна надрежет почки
И робко выглянет листва,
Пробьются памятные строчки,
Взойдут забытые слова.

Уйдут последние морозы,
И мир проснется молодым,
По тополям и по березам
Пройдет зеленый майский дым

Навек застывшая картина:
Полдневный неподвижный свет —
Весенних веток паутина
И госпиталь военных лет...

В снегах Саянского отрога,
Сметая гулом тишину, —
Была железная дорога
В те дни дорогой на войну.

К Москве, к великому сраженью
В тот год стремились поезда,
и поездов тех отраженья
несла сибирская вода.

И вспять направлены войною,
Санпоезда большой страны
Той грозной, памятной зимою,
Солдат везли из-под Москвы.

Печальны кадры из кино —
Снега обугленной планеты
И наши первые победы —
Московское «Бородино».

Стоял февраль —
В снегу ограды,
Но солнце ярче с каждым днем
И мы нестройным детским садом.
К солдатам в госпиталь идем.

Они в сраженьях устояли
Не пригибая головы,
Как приказал великий Сталин,
У грозных стен седой Москвы.

Война гуляла не щадя —
Безлюдье, госпитали, дети.
И я стою на табурете,
А надо мной портрет вождя.

Читаю, глядя на портрет:
«И молвил он, сверкнув очами,
Ребята, не Москва ль за нами?..»
И мне безмолвие в ответ.

А я:
«Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали,
И умереть мы обещали...»
Восторгом сдержанным блистали
Глаза солдат передо мной.

Ах, эти дивные моменты —
Военных дней далекий свет —

И слезы, и аплодисменты,
Бинты и пригоршни конфет.

Я ухожу в безмолвье просек
В сосновый омут тишины,
Где бродит эхом отголосок
Давно умолкнувшей войны.

Течет хвоя весенних веток
И мирных электричек гул,
И в царстве беззаботных белок
Цветет сиреневый багул.

Над Иркутом скалистый косогор.
Покрыты камни коркой ледяною
И, схваченный зеркальною водою,
Перевернулся в ней сосновый бор.

Я радостно вдыхаю светлый день.
На лыжах мчу
И на ветру алею,
То покидаю снежную аллею,
То возвращаюсь
В голубую тень

То лихо выхожу на виражи,
Отважно пролетаю над обрывом —
Снега и сосны в вихре непрерывном
Горят,
Как золотые витражи.

Я на трамплин неудержимо мчу,
Мне вслед кричат —
кому-то страшновато...

Рывок —
И я бесшумно и крылато
Над речкой и над соснами лечу.

Охватывая контуры сосны
Во льду бесшумно проплывает солнце,
А женщина с этюдником смеется —
Она моей не слышит тишины.

Текут холстами желтые пески,
В них полыхают вмерзнувшие листья,

Пожухлых трав
стремительные кисти,
Накладывают бурые мазки.
И снова снег навстречу мне летит.
Я приземляюсь, я победно еду.
Но светлый день не мне принадлежит,
А женщине,
склонившейся к мольберту.

Иркутяне (триптих)

1

*Виктору Вертянкину,
капитану морей и дорог*

Дожди отбили склянки
Тропических морей,
Но капитан Вертянкин
Не признает дождей.

Он, капитан Вертянкин,
Не признает штормов —
Он миновал стоянки
Всех мировых портов.

Он обошел полмира,
Иркутский командор,
Ему Байкал — квартира,
А реки — коридор.

Он, капитан Вертянкин,
Первопроходец вод,
Бьет вахтенные склянки
Выстраивая флот.

Он флот ведет по галсу
Спокоен, как скала,
И плещет флотский галстук,
И плещут вымпела.

Он для друзей застольник,
Приятель и гурман,
Он изобрел рассольник
Рецепта «Капитан».

Так наполняй стаканы
За флаги кораблей,
За поступь капитанов
Всех рек и всех морей,
 За боцманские дудки,
За камбуз и компот,
За плеск застольной шутки,
За всероссийский флот.

2

*Владимиру Скифу — певцу
сибирских рассветов*

Золотого цветка
Медоносную чашу
Поднимал
у куйтунских околиц рассвет
И скользя по лучу,
От еланей и пашен
Золотистой свирелью
Явился поэт.

От Саянских вершин
еще юная Муза,
Снизошла,
И качнулись
Цветы и трава,
И от светлой любви
неземного союза
в синеву золотую
упали слова.

Громко рыжий петух
Прокричал вдоль околиц,
Но, играя вползвука,
Приметил поэт,
Как из легкого облака
Сотканный пояс,
Уронил на дорогу
Застывший рассвет

И как дивная песнь,
Растекаясь пространно,
Оттесняя легенд
Невесомую тень,

От таежной воды
И цветастой поляны,
Над свирелью качался
Разбуженный день.

И таежных настоев
Прозрачная чаша
Придорожной росой
Окропила
Порог,
И свирель уплывала
Все дальше и дальше
За саянские вехи
Небесных дорог

Это было давно.
Мир, как прежде, не тесен,
И поэт, оглянувшись
Из дальней дали,
Слышит давнего детства
Рассветные песни
Той, умытой росой
Куйтунской земли.

3

*Николаю Вершинину — автору
полотен «Лампа» и «Богомаз»*

Пронзает холст «Аллея Фонарей» —
Там снег белей,
И там деревья выше,
И пестрая мозаика огней
Уходит в небо,
Пробивая крыши.

Во тьме непроницаемых ночей
Означен город тихо и туманно
Безумной геометрией огней,
В кристалле неподвижного фонтана.

Да, мир порой рождает чудаков —
Под их рукой текут к вершинам реки,
Белеют дирижабли облаков,
Дождями ниспадают фейерверки.

Куда ни глянь,
повсюду их дела

свершенные уверенной рукою, —
у полюсов оазисы тепла
и спутников орбиты над Землею.

У каждого из них нехватка дней.
И вот чудак,
как фокусник из шляпы,
извлек слепящий свет
старинной лампы,
чтобы раздвинуть пологи ночей.

И устремляя в бесконечность глаз,
Ответствуя единственному Богу
Свершает ярый подвиг Богомаз,
Прозрев во мгле небесную дорогу.
Мы рвемся к свету праздную толпой
И школим чудаков легко и строго,
Не ведая, куда ведет дорога
Куда и кто ведет нас за собой.

Пройдут года,
И станем мы мудрей,
И, вспоминая давние затеи
И новые справляя юбилеи,
Мы встретимся в аллее Фонарей.

Мы вспомним наши давние дела,
Минувшие заботы и тревоги
И тех,
Кто нам прокладывал дороги,
С кем нас судьба свела и развела.
Ну а сегодня,
Как сказал поэт,
Восходит век
Из дивной длани Бога —
Из малых троп рождается дорога,
И льется лампы негасимый свет.

Георгий Кольцов

Созвездьями
тьма разрублена
на мелкие
на куски.
Таинственно,
как у Врубеля,
ложится луна в пески.
И Ангара под звездами
багровой кажется мне.
И слышно,
как кто-то веслами
стреляет по тишине.

Сибирь

Я с берега слежу
за птичьей стаей...
И с каждым днем становится родней
река с отливом плавающей стали,
когда зажгутся бакены на ней.
Я уходил отсюда за рассветом,
но знал —
куда б меня ни занесло,
я в эту землю врос,
как корни кедра,
невидимо,
упрямо,
тяжело.

Кольцов Георгий Николаевич (1945, с. Буреть Куйтунского района Иркутской области — 1985, Кашира, Московская обл.). Автор книги «Корни кедра».

Забайкалье

Страна верблюжьих сопок и сказаний!
Сюда меня не праздность привела...
Взмахнет рассвет
над окнами казармы,
как беркута упругие крыла.
Сто пар сапог,
что на ночь ставят «в ноги»,
в полоске света матово блестят.
Мы здесь живем предчувствием тревоги,
которую сирены возвестят.

Но жизнь рассудит правильно и мудро
и выплеснет,
как воду из ведра,
на наши спины будничное утро,
и служба начинается с утра.
А день бежит по тропам,
по пригоркам,
чтоб раствориться в сумраке вдали.
На выцветших от зноя гимнастерках
под вечер проступает соль земли.
В солдатский круг нас песня собирает,
как будто археологов — костры.
Глаза закрою: зорька догорает...
рыбачья лодка...
берег Ангары...

Сергей Корбут

Вдоль Ангары тумана облака,
А небо чистое — в мерцанье ясных звезд,
Как будто стужи крепнушей рука
Его отерла, как лицо от слез.

В глазах промытых отразился свет
По-над туманом выплывшей луны...
Меня, возможно, в этом мире нет.
И не было. Смотрю со стороны.

Белым-бело на пойменных лугах.
Метель ночная выдохлась к утру.
Но солнце, просыпаясь в облаках,
Еще как будто зябнет на ветру,
Лучи, дрожа, рассеивают свет
По ивняку в излучье Иркуты
(А где река? Сравнил с лугами снег!),
По дугам ферм далекого моста,
По склону волн мамоновских полей,
По щетке крон кладбищенских берез...
Белым-бело, и все белым-белей,
Все ярче, ярче — до невольных слез.
Природа не устанет повторять
Волнующее это волшебство.
Но я когда-то буду здесь стоять
В последний раз, не ведая того.

Корбут Сергей Владимирович (род. в 1956 г. в г. Камень-Каширский на Украине).
Член Союза писателей России. Автор книги «Все стихи» (2005).

Кто-то тебя называет сибирской столицей,
Серединой земли и туристской меккой...
А мне не гордиться, мне бы к тебе прислониться,
Город мой, как человек к человеку...

Понимаешь, Иркутск, я живу на твоей окраине,
Там, где Иркут уже нагнал Ангару,
За твоими мостами, где только подъемные краны
Тянутся вслед проснувшимся птицам поутру.

Здесь Московский тракт проходил когда-то вдоль берега
Мимо Вознесенского монастыря,
Здесь боролся красный с оттенками белого
И развеял белое по пустырям.

Здесь селились строители авиационного завода,
Отсюда они уходили на Отечественную войну...
Здесь между Боковской протокой и болотом
Я живу.

Мне до асфальта и водоразборной колонки
Так же далеко, как от Александра Третьего до Ленина.
К нашему дому на машине приезжает почтальонка,
И в три машины дров к зиме вырастает поленница.

И когда, Иркутск, я иду по твоим центральным улицам,
Это не то чтобы праздник, но выход в свет.
Рядом с театром драмы Вампилов сутулятся,
Он не хочет быть памятником, и я говорю: «Привет».

Знаю, что памятник не улыбнется вслед мне,
Но чью же улыбку чувствую я спиной?
Хочется, как в очереди, выкрикнуть: «Кто последний?» —
И кивнуть подошедшему: «Вы за мной».

Теплый цвет в твоём образе преобладает,
Даже когда метель и мороз,
Скажешь «Иркутск», и льдинка на сердце тает,
Порой до слез.

Потому, оставляя другим «столицу» и «мекку»,
Повторю опять, прислоняясь к душе душой:
«Мне с тобой, Иркутск, как с родным человеком,
Хорошо».

Мой частный дом стоит в поселке Боково,
Поселок входит в Ленинский район
Иркутска,
что возник Байкала около
Оплотом против варварских племен.

Они глядели вдаль глазами узкими,
Сменив враждебный взгляд на мирный взгляд.
И эти земли стали зваться русскими,
И стал бурят славянским людям брат.

Вот у меня славянская фамилия:
«Защитник дома», — если по слогам.
А в этом доме — люди, сердцу милые.
И я готов отпор давать врагам.

Мой частный дом оплотом служит Родине
(За всех сказать, простите, не берусь),
И как бы там умы ни колобродили,
Из русских душ не выветрится Русь.

Так далеко от нас дела столичные,
Как реалити-шоу на «тиви».
У нас с Россией отношения личные —
Они в сердцах, в сознании, в крови.

Я не приемлю пафоса высокого.
Моя любовь и лексика скромна.
Мой русский дом стоит в поселке Боково.
Но без него не выстоит страна.

Который день по Ангаре идет шуга,
И забереги, сблизив берега,
Заузили свободный ток реки.
Крепки февральские морозные тиски.

Как хорошо лежать у тонкой кромки льда
И слушать, как шумит внизу вода,
Как мелодично трутся льдинки о края,
Рождая музыку иного бытия.

И если нету смысла в том, то есть резон —
Стираясь в прах, переродиться в перезвон...

Но где-то ниже по течению ледостав.
Ах, Ангара, не даром нравом непроста:
Вода пошла на берега, как на врага,
И смерзлась в лед недозвеневшая шуга.

Припорошила снегом лед метель с утра,
И мы идем к тебе на лыжах, Ангара.

Как хорошо по полю ровному скользить,
Прядя в движении лыжни двойную нить,
И ощущать, что радость звонкая твоя
Рождает музыку иного бытия.

На кладбище весна: цветы, цветы, цветы...
Родительского дня искусственные всходы...
И птицы, ошалев, взирают с высоты:
В краю едва-едва оттаявшей природы,
Чернеющих полей, буреющих болот,
Прозрачной ряби рощ, пустынных огородов,
Как пригородный рай, один погост цветет —
Родительского дня невянувшие всходы.
Уже блеснул вдали излучиной Иркут,
И пойменных озер посверкивают слитки,

Но стая журавлей закладывает круг,
Читая на лету кладбищенские свитки...
И в четком их ряду наметился просвет...
И чей-то дух опять преобразился в птицу.
Родительского дня неугасимый цвет...
И крыльев тень легла на поднятые лица.

Иркутская весна

Синеют сопки. Даль ясна.
Над Ангарою всплески чаек.
В сапожках розовых весна
Меня на улице встречает.

От горизонта тонкий след
Пронзил лазурный купол неба.
Февраль прошел...

Он словно не был, —
В последних числах таял снег...

Водоворот весны и муз —
В нем грусть моя на самом донце.
А вон в коляске карапуз
Свои ручонки тянет к солнцу...

Весна! Весна! А песня где ж?
Чтоб в даль звала и ширь открывала!..
В душе моей опять мятеж —
Бунтует молодая сила...

Кипит в размытых лунках снег
И прожигает тротуары.
И юность, радуясь весне,
Уже настроила гитары...

Синеют сопки. Даль ясна.
Над Ангарою всплески чаек.
Идет по городу весна,
В ладонях солнышко качая.

Корнилов Владимир Васильевич (род. в 1947 г. в с. Октябрьское Челябинской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Я всегда удивляться буду» (1984), «Я в Сибирь навек командирован» (1997), «Отпусти на волю музыку души» (2009) и др.

Воспоминание о детстве

Я из этих мест
Родом-памятью.
Здесь зима окрест
В снежной замяти.
В куржаке тайга
Вся узорами.
Глубоки снега
Над просторами.
...Я у деда рос
И у бабушки.
Пил брусничный морс,
Ел оладушки...
Дед учил меня:
«Чтоб мужчиной быть,
Оседлай коня
И испробуй прыть!..
Научись стрелять —
Белке метить в глаз.
Пробуй жизнь понять
Даже в смертный час!»
...Восемь верст с лишком
Были мне не крюк:
Я ходил пешком
В школьный храм наук.
Три зимы подряд
Да три осени —
То по наледи,
То по проседи...
Налетит пурга
Ошалелая,
Вверх взметнет снега —
Горы целые.
Преподаст урок
Географии —
Мне и это впрок
К биографии.
...Но осилить смог
Бремя тяжкое —
Кончил школу в срок
Без натяжки я...

Жаль, не дожил дед:
Умер в Троицу.
Вот уж сколько лет
Спит-покоится.
Но под скрип колес
Архимедовых
Я в Иркутск увез
Память дедову...
Там науки грыз,
Деревенщина!
Жизнь — она каприз —
Переменчива...
Защитил диплом —
Ну, и ладушки!
...Возвращаюсь в дом
В сказку к бабушке.

Весенние мелодии

Весна хмельной нежданной страстью
Вдруг ворвалась в людскую кровь, —
И стала бедствием, напастью
Нас опьянившая любовь...
Мальчишки, ошалев от счастья,
Пускают в небо голубей.
И даже частые ненастья
Не портят радости моей...
С зарей проснувшись, жаворонок
Весенней радостной порой
Зальется песнею спросонок
Над лучезарной Ангарой...
Его подхватят птичьи трели,
Нарушив будничный уют.
...Нам вновь, как звонкие свирели,
Ручьи до полночи поют.

Я в Сибирь навек командирован

Я в Сибирь навек командирован.
Здесь судьбу-зазнобу приглядел.
Ведь в краю эпически-суровом
Не один душой помолодел...
Здесь друг друга знают поименно
От Иркутска вплоть до Богучан.
И внимают люди окрыленно
Смелым государственным речам.
...И у нас в провинции таежной
Жизнь идет на полный разворот.
Здесь живет без сутолоки ложной
Закаленный стройками народ.

Одно касание с землею нас роднит:
Горят на «взлет» сигнальные огни.
Сначала шум нам слышится в ушах —
И высотой полнится душа...
Вот облака, как стаи лебедей,
Заворожили взоры у людей...
А там, внизу, на пойменных лугах,
Сохатый держит небо на рогах...
Пусть дальний рейс немного укачал,
Но нас внизу Иркутск уже встречал.
...По трапу сходим, словно захмелев,
Поверив в сказку неба на земле.

Надежда Кудашкина

Люблю снега моей Сибири,
И щедрость вспаханных полей,
И синеву небесной шири,
Прощальный поклик журавлей.

Дороже всех даров на свете —
Байкала чистая слеза...
И, как доверчивые дети,
Глядят подснежников глаза.

Люблю полет свободных чаек
Над Ангарою голубой,
Тебя, мой край, я величаю
И не расстанусь я с тобой.

Кудашкина Надежда Николаевна (род. в 1934 г. в Сталинске (ныне Новокузнецк) Кемеровской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Предзимье» (1994), «Я — мишень», «Мир — это сказка» (2010) и др.

Светлана Кузнецова

По белу-белу по свету,
По той голубизне
Бегу на лыжах по снегу
В сибирской стороне.

Со мной стряслось такое!
Коль чуть я дорога,
Пришли ты мне покоя,
Матушка тайга!

Запуталась я в сложности,
Умнее стать пора.
Научи холодности,
Сестренка Ангара!

Байкал ты мой родимый,
Расплеснись в ночи,
Быть меня любимой
Любимым научи!

Он добрый, я недобрая.
Учи меня добру!
Ах, сколько мной недобрано
Ягоды в бору.

За Беловежской пущею,
За новгородским теремом,
Ах, сколько мной упущено,
Утрачено, утеряно!

Кузнецова Светлана Александровна (1934, Иркутск — 1988, Москва). Член Союза писателей СССР. Автор книг «Проталины» (1962), «Соболи» (1965), «Сретенье» (1969), «Забереги» (1972), «Гадание Светланы» (1982), «Избранное» (1990) и др.

Пускай заря созреет
Над самым краем дня.
Пускай заря согрее
Озябшую меня.

Написано мною на ленте
На черной в те черные дни:
«Сибирский святой Иннокентий,
От новой любви сохрани!

Прошу, коль в твоей это власти,
Простив мне бывшие долги,
От новой напрасной напасти,
От новой беды сбереги!

Веди под холодное знамя
В моей одинокой ночи!»
...Но гаснет неверное пламя
Отвергнутой, жалкой свечи.

Над Ангарой встает рассвет

Над Ангарой встает рассвет,
 лаская храмов купола,
От куполов нисходит свет,
 зовет на добрые дела,
Зовет подняться в высоту
 над суетой текущих дней,
Зовет найти свою мечту,
 чтоб в этой жизни стать сильнее...

Людская движется река,
 вращая дел круговорот,
То молчалива, то звонка,
 за часом час, за годом год.
И ты идешь — один из них,
 сверяя с сердцем каждый шаг,
Не забывая ни на миг,
 о том, что есть еще душа...

Ровней асфальт чужих столиц,
 проспектов строгих краше строй,
Нигде светлей не встретишь лиц,
 чем над хрустальной Ангарой...
От куполов нисходит свет,
 и свет восходит от реки,
Дай Бог вам долгих, добрых лет,
 мои родные земляки!

Порой с утра густой туман
 скрывает истинность пути,

Нам жизни дар был свыше дан —
и, значит, следует идти,
Забыв усталость и покой,
идти, верша свои дела,
Пока сияют над рекой
иркутских храмов купола!

Ночной Иркутск

По ночному городу иду,
У меня гитара на плече.
Напеваю песню на ходу
О еще не найденном ключе.
В песне есть и нежность, и печаль,
В песне есть и музыка, и свет,
Только вот в кармане нет ключа,
В песне есть, а вот в кармане нет.

У меня и тело, и душа,
Я живу не ради барыша,
У меня и радость, и тоска,
Ночь черна, как дуло у виска.
Сердце одинокое стучит
Так, что невозможно рассказать.
Может быть, пригрезились в ночи
Нежные, печальные глаза.

Город тихо гасит фонари,
Встречные сторонятся меня,
За полоской узенькой зари
Ожиданье радостного дня.
Все ночные сполохи уйдут
Вместе с блеском первого луча...
Есть, наверно, дом, где меня ждут,
Только жаль, в кармане нет ключа...

Глазковские сады

Иду по улочке заброшенной
Сквозь белый яблоневый дым.
В июне буйно и непрошенно
Цветут глазковские сады.

Цветут сады, шумят, качаются,
В предвесье лепестковых вьюг,
Как будто праздник не кончается,
Пока цветут сады вокруг.

С фатой черемуха расстанется
На первом свадебном балу,
А следом яблонька потянется
Навстречу летнему теплу.

И вновь душою не на месте я,
Так сердце тронула краса...
Цветут иркутские предместия,
Как дальних странствий паруса.

Сады цветут и осыпаются,
Но с их цветеньем поутру
Людские души просыпаются
Навстречу свету и добру.

Ах, я и сам порой весеннею,
Вдыхая нежный аромат,
Искал, искал в тебе спасения,
Забытый яблоневый сад.

Уже слегка морозцем схваченный,
Срывая лепестки с ветвей,
Я в детство — долг мой неоплаченный —
Стремился памятью своей.

Давно прошла пора цветения,
Пришла пора собрать плоды...
Но снова в юность, в дни весенние
Зовут глазковские сады.

Юрий Левитанский

Твой дом стоит у самой Ангары,
наполненный до крыши тишиной,
настоем из березовой коры,
смолы, грибов и свежести речной.

А я родился в городе степном,
и детство начиналось у меня
зеленым полосатым кавуном,
подсолнухом у плотного плетня.

Но этот дом у ледяной воды
скрестил, тому назад уж десять лет,
моих сапог тяжелые следы
и туфелек твоих узорный след.

У нас уже давно свое окно,
своя квартира, тесная чуть-чуть.
Не сетую на это —
все равно
сюда друзья протаптывают путь.

У нас свое окно.
Но иногда
меня опять по-прежнему влечет
тот старый дом, где светлая вода
под самыми окошками течет.

Я прихожу к нему в такие дни.
Он постарел, хотя надежно сбит.

Левитанский Юрий Давидович (1922, Козелец Черниговской губернии УССР — 1996). Член Союза писателей СССР. Автор книг «Течение лет» (1969), «Кинематограф» (1970), «Воспоминанье о красном снеге» (1975), «Черно-белое кино» (2005) и др. Лауреат Государственной премии РСФСР.

Это Сибирь
в груди моей
дышит ровно
Всей протяженностью
древних своих лесов.
Это во мне
снега по весне не тают,
и ноздреватый наст
у краев примят.
Птицы Сибири
в груди у меня
летают.
Реки Сибири
в крови у меня
гремят.
Это во мне
медведи заводят игры,
грузно кряжи качаются
на волне.
Ветер низовый.
Кедры роняют иглы.
Хвойные иглы —
это во мне, во мне.
Это во мне поднялся
и не стихает
ветер низовый,
рвущийся напролом.
Смолка
по старой лиственнице стекает.
Бьет капалуха раненая
крылом.
Я ухожу из выюги,
из белой выюги.
Лодка моя качается
на волне.
Еду куда-то.
Морем дышу на юге.
Белые выюги
глухо гудят во мне.

Иннокентий Луговской

Где Кузьмиха?

Там, где злобно шумит шивера,
Где по камням без капельки мути
Округленными глыбами ртути
Перекачивается Ангара

И звенит...
А бездонный зенит
Ангару акварелью синит,
И волна под прибрежным кустом,
Словно хариус, плещет хвостом,

Там кулик, если помнишь, кружил,
А потом нас с тобой рассмешил:

Он летел и тихо, тихо
Выговаривал слова:
— Где Кузьмиха, где Кузьмиха,
Куликовы острова?

И, в осоку ткнувшись, плут
Оборвал струною:
— Ту-у-у-т!

Он опять на остров тихий
Прилетит на вешний зов:
— Где Кузьмиха?
Нет Кузьмихи!
Нет родимых островов!

В самом деле — где же острова?
Куликову сердцу милая трава?

Луговской Иннокентий Степанович (1904, с. Турга Оловянинского района Читинской области — 1982, Иркутск). Член Союза писателей СССР. Автор книг «Просека» (1934), «Утро Ангары» (1956), «Сибирские стихи» (1959), «Хвойный ветер» (1960), «Тайга зовет»

Были, были
Да быльем позаросли:
Под плотину
Острова с травой легли...

Пароход идет

На зеленый берег утром рано
Выйду я с веселой детворой
И в бинокль с высокого кургана
Пароход увижу под горой:
Он идет из далей, с океана,
Вымпел распластав над Ангарой.

Пароход идет по зеркалу раздолья,
Волны подгоняя к берегам,
Мимо Балаганска и Усолья,
К белым прибайкальским маякам.

Гость ты наш высокий, именитый,
Вставший у Иркутска на причал,
Правда или нет, что Ледовитый,
Ледовитый сам тебя качал?

Правда ли, что с бурей споря
Мощью многотысячною всей,
На борту пронес ты запах моря
Через величавый Енисей?

И спрошу, спрошу я капитана:
Мол, откуда гости и куда?
Как прошли пороги у Шамана,
Пропустил ли Пьяный без вреда?

И махнет трубой он мне сначала,
И громово рявкнет в мегафон:
— Мы идем с Азова до Байкала,
Мы везем лимоны на Ольхон!

И зальется смехом капитан мой,
Потрясая рыжей бородой:
— Пропустил ли, спрашиваешь, Пьяный?
Спит разбойник Пьяный под водой!

Художник и ДОЖДЬ

Льву Гимову

Рисовал художник дождь.
Капли на холсте мокрели,
Как предвестники метелей.
И листву бросало в дрожь.
Рисовал художник дождь...

Было мокро на холсте.
Мокро голуби сидели...
Как заплаты, голубели
Клочья неба в высоте —
В осени, и — на холсте.

Рисовал художник дождь...
Так реально! Так несхоже...
Одиноким брел прохожий,
Весь согнувшийся дугой,
С белым пуделем — домой.

Рисовал художник дождь.
Был он этих капель вождь.
Кисточками, как смычком,
С горностаем, с колонком
Выводил он на холсте
Медленно, не в суете,
Проникая в суть вещей,
Музыку времен и дней.

Максимов Владимир Павлович (род. в 1948 г. в пос. Кутулик Аларского района Иркутской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Сестра моя осень» (2000), «Памяти солнечный зайчик» и др.

Замерев, прищулив глаз,
Он ловил — как лучик гас,
Как осенний листопад
Бриллиантами богат —
Чистой пробы, как слеза...
Но... весенняя гроза
Возникала на холсте
В своей дивной простоте!

У Спасской церкви

Да, не всякий вспомнит русский,
За что Господу хвала.
Духов день. Звонят в Иркутске
Всех церквей колокола.

Между сосенок зеленых
Свет и тень узоры ткут.
У церковных стен беленых
Одуванчики растут.

Травка стелется атласно,
Огибая старый пенъ.
Русый мальчик смотрит ясно —
Солнечный, как этот день.

Он стоит пред белым храмом,
Не решается войти.
У него нет папы с мамой,
Бабушке нет сил идти.

— Говорят, там Богородица
Помогает хворым сим. —
Неумело малый молится:
— Нелегко нам жить одним.

Так нужна ему подмога,
Чтобы бабушка жила —
Сам собой нашел дорогу,
Ту, что к храму привела.

Миронова Татьяна Геннадьевна (род. в 1955 г. в г. Балхаше, Казахстан). Член Союза писателей России. Автор книг «Мой дом» (1988), «И увижу сон я золотой» (2001), «Лепестки» (2003) и др.

Где-то горлинка воркует.
И сияют купола.
Не помянем Бога всеу.
Это все его дела.

Бабье лето

Плакала наша молодость —
В осень дороги ведут.
Сыплет Иркутск золото
Под ноги нам. И в саду

Лист виртуозно слетает.
Воздух душист, как саше.
Наша пора золотая
На продувном шоссе.

Столько сиянья и света,
Милый ты мой человек!
Жалко, что бабье лето,
Коротко, как и век.

Поздняя осень в Иркутске

Вот и поздняя осень настала,
Обнажилось воронье гнездо
В ближней рощице... Я устала
под горячею жить звездой.

Не тягучие тучи предзимние
Виноваты в моей хандре...
Расскажи мне, Иркутск, старинные
Были-сказы о чудо-добре.

Научи меня верить чуду
Окрыленных небес и чувств.
Я уроки твои не забуду,
Может, радости научусь.

Утомленная правдой жизни,
Я живу под горячей звездой.
Эта поздняя осень отчизны.
Это черное в кронах гнездо.

Метаморфоза

Был покладист ты, нежен
И распахнут для мира...
А Иркутск наш заснежен,
И молчит твоя лира.

То ли выстудил город
Все в ранимой душе.
То ль пронзительный холод —
Нестерпимый уже.

Стал и жестче, и резче
Твой прерывистый слог,
Будто первый ответчик
Ты за то, что не смог

Зло и лихо отвадить.
Неспокойно душе —
Словно что-то поправить
Невозможно уже.

Январь

Мой Иркутск объят снегами.
Я сама в снежинках. Вижу,
Как куржавятся деревья
от дыханья Ангары.

Пахнет инеем. В узорах
Ослепительных соцветий
Там и тут сияет лучик,
Тихий лучик января.

Я иду... Глазам тревожно —
Вдруг растает и исчезнет
Это хрупкое творенье
Посредине января.

Так искусно и чудесно,
Столь изыскано и тонко
Сочетанье гибких веток
С нежным выдохом зимы.

Бакены на Ангаре

Хороши вы, ангарские плесы,
Чешуею блестит шивера,
Голубые, зеленые косы
Распустила моя Ангара.

Сколько радости сердцу доставит
Огонек, что блеснул вдалеке,
Словно друг, он тебя не оставит,
Будет плыть, отражаясь в реке.

И повеет уютом домашним,
Горьковатым и острым дымком,
И туман на прогретые пашни
Вдруг польется густым молоком.

Но, развеянный ветра порывом,
Он прижмется к косматой горе.
И тогда светлячок над обрывом
Путь покажет — по Ангаре.

Самоцветные камни в оправе —
Дальних бакенов фонари.
Старый бакенщик к берегу правит,
Может он отдыхать до зари.

Предместье

Оно не такое теперь, как бывало,
Уже забралось на вершину горы.
Трамваи по рельсам бегут от вокзала
И смотрят в зеленую синь Ангары.

Ангара

Гора, за ней опять гора
Сплотили тесно плечи,
И мчится, стонет Ангара
Совсем по-человечьи.

И каждый день, и каждый год
Упрямо камни гложет.
И синих вод упрямый ход
Скала сдержать не может.

В нее смотреться — не устать,
Не разлюбить шальную...
Она ломает грудь моста,
Грызет канатов сбрую.

Утесы — грузные быки
Стоят, разинув пасти.
И знают наши рыбаки:
Таит река напасти.

Алмазен блеск на шиверах,
Цветет, играет пена...
Придет суровая пора —
Не вырваться из плена.

...В июле шествует луна
На звездные покосы —
И тишина. И Ангара
О гальку чешет косы.

Гора, за ней опять гора
И каменные плечи,
И часто стонет Ангара
Совсем по-человечьи.

Был друг у меня...

*Памяти известного иркутского художника
Алексея Петровича Жибинова*

Был друг у меня, мы встречались не часто.
При встрече расстаться никак не могли.
Как солнце осветит, когда крикнет:
— Здравствуй!
Едва показавшись вдали.

Имел он души незабвенное свойство:
Беду разделить и понять, и согреть.
На фронте отмечено друга геройство —
Он в битву ходил, не боясь умереть.

Он с нами расстался...
Покинул безмолвно.
...Куда ни поеду, куда ни пойду,
О нем прозвенят мне байкальские волны
И яблони вспомнят в цветущем саду,

И — вечно зеленые сосны у сквера,
И солнце на иглах, и стынь куржака,
Картины его и мольберт у портьеры,
И в небе плывущие вдаль облака.

Был друг у меня...
Он ушел, но остался...
Как кровь, будет время колющее течь.
Мне жаль, что я с другом
так редко встречался,
Не смог, не успел от беды уберечь.

Татьяна Назарова

Иркутск

Город принимает в свое лоно
Самую спешащую меня.
Он бульвар баюкает влюбленно
В кипени вечернего огня.

Я сажусь в маршрутку, как в пролетку,
И она несет меня к судьбе.
Выхожу и легкою походкой
Я бегу, счастливая, к тебе.

Я отныне буду иркутянкой,
Буду иркутяночкой твоей.
Расцелуй меня, свою смутьянку,
На виду у парков и церквей.

Мы пойдем с тобой встречать рассветы,
крепко-крепко за руки держась,
В самом лучшем городе планеты.
И не разорвать с Иркутском связь

Ода Иркутску

Иркутск — мой учитель, спаситель и брат.
Небесным Господним сияньем объят.
Байкальской чистой слезою омыт,
В него ухожу, словно солнце в зенит.

Назарова Татьяна Дмитриевна (род. в 1955 г. в Зиме). Член Союза писателей России. Автор книг «Ты о любви меня не спрашивай» (1996), «Беспризорная свирель» (2004), «Приговоренная к весне» (2007).

К Иркутску приникнуть всем сердцем хочу,
Иркутску заздравную ставлю свечу.
Иркутск, мой учитель, спаситель и брат,
Будь свят неизменно, вовеки будь свят!

* * *

Это вольное небо Иркутска
Не дано ни испить, ни забыть.
Я сегодня гуляю по-русски,
Я сегодня не буду грустить.

Я сегодня друзей своих новых
Непременно начну обнимать,
Говорить им заветное слово
И учиться друзей понимать.

Я кружу по ночному Иркутску,
Не боясь никого, ничего.
И бальзамом мне на душу льются
Все фонтанные струи его!

Иннокентий Новокрещенных

Осень уходит

*Памяти Александра Вампилова,
погибшего на Байкале*

Помоги смастерить белый свет
Из опавшей листвы, из тумана.
Чтобы солнца — на множество лет,
Как бывало всегда, без обмана.

Значит так, по рукам? — По рукам!
Только прежде разбросим на титрах:
Полпроцента дадим дуракам,
Полпроцента оставим для хитрых.

Дальше каждый пусть выберет сам.
...В нашем сквере среди огненных веток
Будут ветры свистеть тут и там,
Будут звезды сиять так и этак.

Будут петь и грустить иногда
Незнакомые Нади и Аллы,
И туристы спешить кто куда,
И все алики сдвинут бокалы.

И друзья (каждый жив и здоров,
Каждый за эту осень в ответе)
На шальной перекресток ветров
Выйдут вместе с тобой на рассвете...

Значит так, по рукам? — По рукам!
Только мир не бывает послушным...

Новокрещенных Иннокентий Федорович (род. в 1932 г. в с. Красное Поселъе, Забайкалье). Член Союза писателей России. Автор книг «Пробный камень» (1965), «Часы» (1970), «Людмила» (1979), «Голос» (1983), «Снег забинтовывает раны» (2010) и др.

Кто-то требует: все — дуракам!
Кто-то требует: все — равнодушным!

Холод ждет, листопадным кольцом оцепя...
Мы готовимся к бою с судьбою.

Осень... Осень бредет!..
Без тебя!..
Осень... Осень уходит!..
С тобою!..

Ангара

Обжигаеть ты холодом руки,
Не люблю тебя летней порой.
Я в тебе не увижу подруги,
Я тебя не признаю сестрой.

Мчиться ветер, где ночью скрывает
Двух любовников вкрадчивый мост.
В те часы там луны не бывает,
Только Малой Медведицы хвост.

Рыбакам то раскроешь объятья,
То томишь их лукаво тоской.
Складки синего длинного платья
До зимы не узнают покой.

Но в мороз, когда тихо и бело,
Ни один не встревожит смельчак.
Только паром святым твое тело
Пусть окутает призрак — Колчак.

Исток Ангары

Взгляни, скорей взгляни сюда!
Стремительно скользит вода —
Зелено-синяя руда;

Огромный, рвущийся поток,
Тугой, прозрачный завиток
Слюдой кипучей засверкал...
Здесь обрывается Байкал...

Упруго вздрогнув в шиверах,
Качая сосны на горах,
Вздувает волны Ангара;

Земля дрожит, вода звенит,
В песок стирается гранит...
Увидев синюю реку,
Конь застывает на скаку.

Его напрасно всадник гнал,
Потока он не обогнал,
Конь запыхался и устал...

Но не устанет никогда
Легкобегущая вода,
И никогда тяжелый лед
Ее разбег не оборвет.

Светла, могуча, широка,
Прекрасна ты, моя река,
Любовь и гордость рыбака...

Ольхон Анатолий Сергеевич (1903, Вологда — 1950). Член Союза писателей СССР. Автор книг «Большая Ангара» (1938), «Падунский порог» (1945), «Сибирский тракт» (1945), «Окраины милой Отчизны» (1948), «Северное сияние» (1978) и др.

Памятник Шелихову в Иркутске

Колумб здесь Русский погребен.
Преплыл моря, открыл страны безвестны.

Г. Державин.

Надпись на могиле

Г. И. Шелихова в Иркутске

Шапки снять!
Здесь лежит открыватель Аляски,
Наш российский Колумб,
Полномочный наместник
 рубежных морей.
Два столетия о нем
повторяет былинные сказки
На границе полярного круга
Грохочущий льдами борей.

Время гложет гранит.
Изветшала плита над могилой,
Позолота померкла,
 но блещет державинский стих!
Вспоминает его Ангара,
Налитая стремительной силой:
Вдохновенные волны поют
О величии предков моих.

Спит кладбище.
Героевы кости истлели.
Остается нетленной
 крылатая юность мечты.
В заполярную ночь
У последней глухой параллели
Эту старую повесть
По-новому ты перечти.

Путь — на Север!
По мокрым снегам алеутским,
По торосистым глыбам
 на устья неизвестных рек
Он отсюда прошел —
Переулком забытым иркутским —

На другой материк,
Заглянув в новый век.
Над Курильской грядой
Плыло солнце Полярной державы,
А охочие люди в Охотске
Смолили морские суда,
На льняных парусах
 пробивались за все ледоставы,
И уже в Калифорнии
Вятский мужик становил города...

Два столетия
Огнем салютуют вулканы Камчатки,
Новоселов российских встречая
На грани старинных путей.
Острова алеутов
 поныне хранят отпечатки
Дружелюбных следов
Величавых и смелых людей.

Спи, Григорий Иванович Шелихов!
Почесть — с тобою!
По открытым морям
На просторы весенней земли
Молодые преемники
 твердой и дерзкой рукою
Через Северный полюс
Еще поведут корабли.

Крестовоздвиженская

Крыжатый* шпиль Крестовоздвиженской
Оплавлен полымем рассвета.
Благая Ксения-Подвижница
Пришла в храм Божий за советом.

Чтоб сердцу, смятому сомненьем,
Не сокрушить кручиной злою,
Пусть Он, издевавший глумленье,
Научит не упасть душою.

Пред темным ликом Богоматери
В глазах которой — вопль без голоса,
Стояла в черном с белым платье
И свет лампад стекал на волосы.

А медь торжественно рыдала,
Мотая пламя над свечою.
И вздохи тайного хорала
Мешались с тайною слезою.

И с бледных пальцев капал воск,
И мнилось — чудо где-то рядом.
И тихий явится Христос
Пред тихим обморочным взглядом.

Ждала, как по Руси окрест —
Унынье верою осия.

Пакулов Глеб Иосифович (1930, станица Бусеевская Амурской области — 2011, Иркутск). Член Союза писателей России. Автор книг «Славяне» (1964), «Варвары» (1976), «Глубинка» (1981), «Гарь» (2010) и др.

* Крыжатый — крыж, крест. (старославянск.)

Плыл упованием благовест,
Как Бога весть к тебе, Россия!

О, Матерь! Стон стоит до днесь.
Россию новый хам обидел.
Возьми Покров и занавесь
От сатаны Твою обитель.

Пасха в Сибири

Уж апрель, а у нас холода,
В тусклом небе звезда не горит...
Звон церковный зовет в городах
К покаянью.
Протяжно гудит.

Спас воскрес! — на полях недород,
Гололед на пути да разбой...
Помоги! — просит скорбный народ.
Покаяния ждет Бог живой.

За грехи — стужей скована жизнь,
Свищет вьюга, лютует она...
В храм с любовью зайди,
помолись:
С добрым сердцем приходит весна.

Душа иркутянина

Я иду, где перила чугунные,
Словно радуга — гнутся дугой.
По ночной Ангаре — стежка лунная...
Древний храм стынет в дымке седой.
За рекой спят бульвары и улицы,
Предрассветная звень, синь-звезда...
А дорога железная трудится —
Светлой змейкой бегут поезда.
Вдалеке от родимого города,
Знаю, буду о нем вспоминать...
Ведь душе иркутянина дороги
Эта звень, вод серебряных гладь!

Анатолий Преловский

Шуга

По Ангаре идет шуга —
пора особенной путины.
Туман такой: за два шага
Не видно движущейся льдины.

Медлительный коловорот
гоняет серый лед по кругу,
он льдины ломкие берет
и притирает их друг к другу.

Стою над скованной рекой,
но ощущение такое,
что подо мною не покой,
а только видимость покоя.

Вода не повернется вспять,
река к истоку не вернется,
но дайте срок — и жизнь опять
вперед стремительно рванется.

Лето 1964

В Иркутске холодно и сыро:
над ним свирепствуют дожди,
непроходимые, косые,
невыносимые почти.

Преловский Анатолий Васильевич (1934, Иркутск — 2008). Член Союза писателей СССР. Автор книг «Багульник» (1957), «Смешанный лес» (1977), «Земная тяга» (1983), «Избранное» (1984), «Вековая дорога» (1986), «Сонеты» (2008) и др. Лауреат Государственной премии СССР.

День переходит в ночь бесследно,
и ночь всю ночь шуршит дождем.
Не вечно ж будет беспросветно
Над нами небо!.. Подождем.

Давай к столу поближе сядем,
очиним все карандаши
и к утренним трудам отладим
усталый механизм души.

И снова примемся за дело,
что нам назначено судьбой, —
наедине с бумагой белой,
наедине с самим собой.

Наедине со всей вселенной,
всем человечеством, пока
тебя в свой мир благословенный
ведет податливо строка.

Была б душа светла, а это
все пустяки: дожди, вода...
все пустяки в начале лета.
Как в юности, все не беда.

Град

Александру Вампилову

Летний град на белых лапах
бродит вдоль кустов,
ходит с севера на запад,
с юга на восток.
А с горы, как от погони
скачет кабарга,
мчится в шорохе и звоне
льдистая река.
Прилетевшие без цели
из небесной мглы

семь планет
в ладонь мне сели,
как земля, круглы.
Что за сила их, ледовых,
к жизни извлекла?
Им невесело в ладонях:
гибнут. От тепла.
Призрак тающей Вселенной
я несу в руке,
сам затерян в белопенной,
градовой реке.
Солнце
тучи рвет лучами.
Как бессильный бог,
я гляжу —
семью ручьями
Млечный Путь потек.
Семь мокринок невесомых
сгасли на руке —
я иду в кустах зеленых
по былой реке —
стрежень сам себе,
и запань,
устье и исток,
стылый север,
мокрый запад,
утренний восток,
утвержденный в тьме и свете,
в ливнях и в пыли,
уподобленный планете
на руке земли.

Триптих

Памяти Александра Вампилова

1

Все на свете до поры, до срока,
И никто не знает, где тот срок.
Расплескался широко-широко
Ангары стремительный исток.
И уходит август перезревший...
Как природа-мать ни берегла,
Он сгорел,
 теплом своим согревши
Эти золотые берега.
Всякий лист по-своему сгорает.
Сумерками тянет от горы,
И уже последний луч играет
На волнах кипящей Ангары.
Ночью здесь и холодно и дико.
Затрещал костер, таежный друг,
Будто бы жарками и гвоздикой,
Бликами усыпал все вокруг.
Ты гори, гори, костер, до срока,
До поры до утренней гори.
Вот и солнце — всей вселенной око —
Глянуло на нас из-за горы.
Все, как есть, уходит и приходит,
Чья-то лодка скрылась за мысок.
Снова день. И в жизни, и в природе
Есть всему своя пора и срок.

Реутский Петр Иванович (1927, с. Михайловское Павловского района Воронежской области — 2004). Член Союза писателей России. Автор книг «Великаны» (1956), «Следы на камне» (1957), «Второе крещение» (1997) и др.

2

Вспоминайте меня весело,
Словом, так, каким я был.
Что ты, ива, ветви свесила,
Или я не долюбил?
Не хочу, чтоб грустным помнили.
Много песен дорогих,
Только песни, ветра полные,
Мне дороже всех других.
По земле ходил я в радости,
Я любил ее, как бог,
И никто мне в этой малости
Отказать уже не мог.
Все мое со мной останется —
И со мной, и на земле.
У кого-то сердце ранится
На моем родном селе.
Будут весны, будут зимы ли, —
Запевайте песнь мою!
Только я, мои любимые,
С вами больше не спою.
Что ты, ива, ветви свесила,
Или я не долюбил?
Вспоминайте меня весело,
Словом, так, каким я был.

3

О, нет! Не все уходит в землю,
Что от земли к тебе пришло.
В далеком небе звезды дремлют,
А на земле грешным-грешно.
Но этот мир мне мил и дорог,
Как наша пахотная Русь.
Возьму лесного сена ворох,
По шаткой лестнице взберусь.
Дед заворчит: проломишь крышу.
А что, возьму и провалю.
Но ничего уже не слышу —
Летит звезда, и я люблю.
Я сроду не стремился к звездам
И не читал про звезды книг,
Но вот — мир, может, так и создан —

С годами думаю о них.
Бывает, целыми ночами
Сижу у неба на виду.
Уже немало за плечами,
Пора искать свою звезду.
Ведь все для всех — земля и небо,
Пускай не поровну, но всем
Глоток воды, краюха хлеба,
Который с детства честно ем.
Тепла и радости побольше,
Всего, с чем мы привыкли жить.
Ищи звезду свою подольше,
И тут никак нельзя спешить.
Я миру звезд безмолвно внемлю,
Жду радости, но не беды.
Не покидайте, люди, землю,
Не отыскав своей звезды.

Картина

Ольге Вампиловой

Я для тебя пишу картину
Без красок и без полотна —
Обыкновенную квартиру
С полоской мира в пол-окна.
Мир в пол-окна.

Стоит березка
С могучим кедром на горе,
Вот неба синего полоска
В такой же синей Ангаре.
Мир в пол-окна.

А как в нем много.
Вот шлюп с командой парней,
А под горой пылит дорога —
Мчит поезд свадебный по ней.
А вот сугроб ромашек белых,
Здесь хоть снопами их вяжи.
Левее чуть влепились в берег
Старинной пристани ряжи

И камни, замершие в лоске.
Полоска мира!

Как-то вдруг
Хватило узкой той полоски,
Чтоб не доплыл мой добрый друг.
И я нарисовал картину
Без красок и без полотна —
Обыкновенную квартиру
С полоской мира в пол-окна.

Страницы

Памяти А. В. Вампилова

1. Посредине лужка

Посредине лужка,
будто в горнице без потолков,
Мы стелили постель
на зеленой траве непримятой.
Верховик над Байкалом
кружил паруса облаков,
С огородов за пряслами
пахло укропом и мятой.

Жизнь казалась безбрежной,
как в этой тиши небеса,
А земля, где мы жили, —
домашней и теплой такою.
Лишь о будущем речи
туманили дымкой глаза,
И рождали надежды,
и сердце лишали покоя.

На иркутском погосте
сегодня такая же тишь...
И, сквозь толщу земли
наблюдая живые созвездья,
Ты листвою зеленой
со мною всю ночь говоришь
О коварстве и счастье дороги,
что выбрали вместе.

Румянцев Андрей Григорьевич (род. в 1938 г. в с. Шерашово Кабанского района Бурятии). Член Союза писателей России. Автор книг «Таежная колыбель» (1984), «Государыня Жизнь» (2006) и др.

Я увижу Байкал
и зеленый лужок, и село.
Снова память туда
неустанно и властно стремится.
Я душою, озябшей в дорогах,
услышу тепло,
Развернув твоей книги
такие родные страницы.

2. Сарафанов

В тот оркестр
привел нас добрый
Суматошный брат-студент.
Ты неспешно выбрал домру —
Скромный русский инструмент.

А за пульт вставал
печальный
Дирижер,
совсем не франт,
Мелодист провинциальный,
Неизвестный музыкант.

Те, кто знал маэстро, помнят,
Как приметы близких мест,
В оркестровом гуле комнат
Тихий голос, мягкий жест.

Говорю не для профанов
И совсем не наугад:
Твой чудесный Сарафанов —
Не близнец его, но брат.

Не спросил: случайно или
Вспомнив юное житье,
Музыканту дал ты имя,
Дал ты отчество свое.

Ты и сам тревожно, долго
Непростой ответ искал.
Чисто пели струны домры,
Ты задумчиво играл...

3. 17 августа 1972 года

Где-то зрела сарана,
Чайка дальняя кричала.
Долгий век нам обещала
Солнечная сторона.

Чья, скажи мне, в том вина,
Что я плачу у причала?

4. Художник

Жил, как отпетый пролетарий,
Хранил сокровища свои:
Из окон вид на планетарий,
Даль озаренья и любви.

Острил, ходил в долгах до смерти.
Закончил спор — уже во мгле:
— Вы о поэзии?
Поверьте,
Она есть только на земле.

5. Несла твоя строка

Несла твоя строка
Печаль и гнев, и жалость.
Учительство твое
Не долго продолжалось.

Как человеку жить?
Что с человеком стало?
Ответные слова
Идут со дна Байкала.

6. Друзья

Опять я двух друзей
в тревожном вижу сне.
От берега они
уходят по волне
Так быстро,
словно плес за ними подождли.
Они издалека кричат мне:
«Подожди!»

Погибший на воде,
погибший на земле,
Два друга много лет
живыми снятся мне.
Я с ними слез не лил —
тогда бесслезным был,
Я с ними хлеб делил
и очень их любил.

...Я подожду, друзья,
на вечном берегу —
На утреннем лугу,
на солнечном снегу,
Я подожду, коль так
судьба сулила мне,
И послужу за вас
живому на земле:

Веселому стрижу,
высокому орлу,
Багульнику в лесу,
ручью в апрельском рву,
Соседу моему
за тонкою стеной,
Делящему со мной
и труд, и сон земной.

Я послужу им всем,
я поделюсь теплом,
Чтоб с чистою душою
явиться к вам потом.

Пожар

Валентину Распутину

Ты первым увидел пожар.
Огонь, стремителен и страшен,
Все накрывал, все поражал —
От ветхих стен до вечных башен.

Сбежались люди.
Кто тушил,
А кто плескал на пламя масло.
Кто о погубленном тужил,
А кто злорадствовал: не гасло!

Поглядывали за бугор
Пожарные, твердя народу:
— Вот-вот должны прислать багор,
А там и лестницу, и воду!

И торопились под шумок
Дать ход дешевому подлогу:
— Ну, догадайтесь, кто поджег?
Не тот ли, кто забил тревогу?

Дым застилает белый свет...
И лишь пожарным слепощарым
До погорельцев дела нет —
Они любят пожаром.

Киму Балкову

1

Ни эти грозные минуты,
Что иногда пророчат смерть,
Ни эти новые малюты —
Они не могут власть иметь.

Ты не отдашь свою свободу
Брататься с ветром, петь с листвою
И целовать траву и воду,
Что не забудут облик твой.

Как у дождя или у снега,
У слова путь лежит во мгле.
Оно к тебе приходит с неба
И лечит души на земле.

2

Твой дом, как ты, с душою нараспашку,
Глядит весь день на освещенный дол.
Закатывай крестьянскую рубашку,
Бери бумагу и садись за стол.

Не говори, что этот путь не дорог,
Что прав опять вчерашний лжец и трус.
Тяжел для крыльев наш небесный полог,
Но дерзкий беркут держит этот груз.

Смотри, как сыплет с дерева синица
Оправленные синью жемчуга.
Иди к столу —
там ждет с утра страница
Твои слова для друга и врага.

Поэт

Борису Архипкину

Он на пиру, но он не виночерпий,
Привратник, но не у земных ворот.
Его всегда толкают в бездну черти,
Но Бог его над бездною ведет.

Он в жизни оступался бы не реже
Других людей, когда бы не полет.
И если вдруг ему язык отрежут,
Он нёбом, словно небом, допоеет.

А так он неказистый, мятый, сивый
И не нарцисс, конечно, а осот.
Но в звездном небе вышито:
Он символ
Той красоты, которая спасет.

Татьяне Суровцевой

Азиату пристало родиться
Где-то в Нерчинске или в Аге.
И судьба его — снежная птица:
Пролетела и скрылась в пурге.

Мы с тобой по судьбе азиаты.
Дом наш — снег да седая трава.
Наши песни из проруби взяты:
Были льдинки, а стали слова.

Наши белые души с рожденья
Опекала родная зима.
Ты возьми ее стихотворенья
И заполни живые тома.

Ты в обметанном тусклом окошке
Золотой пяточок продыши,
Чтобы только открылся немножко
Мир неведомой прежде души.

Продыши эти мерзлые дали —
В песню хлынет чужая беда.
Ну и что же, что так не певали
Никакие певцы никогда!

Русские поэты

Анатолию Горбунову

Удивительна все же порода
Песнопевцев угрюмой земли:
Им по сердцу любая погода,
Лишь бы ангелы пели вдали.

Лишь бы свет отражался не зыбко
На проснувшихся лицах сирот,

Лишь бы трогала чаще улыбка
Материнский страдальческий рот.

И когда, как и тех, кто безвестней,
Призовет их Создатель на суд,
Ты не думай, что сладкою песней
Они грешные души спасут.

Не попросят зачесть им
Ни гнева,
Ни любви,
Ни участия,
Ни слез
Перед чашей кипящего неба
И костром полыхающих звезд.

Улица Пятой Армии

Шла Пятая Армия улицей этой,
Стучали по камням колеса орудий,
И красных давно ожидавшие люди
Спешили по ней со словами привета.

И с боем прошедшие вместе путями,
Пробитое знамя пронесшие гордо,
Веселые, с песнями шли иркутяне
Знакомою улицей старого города.

Под белой пятою она одичала,
Поникли дома, покривились ворота...
И мама сына со слезами встречала
У церкви, с которой снесли пулеметы.

Походные кухни гремели вприпрыжку,
Как будто со сна раскрывались окошки,
И первые вестники славы — мальчишки
Свистели под такт переливам гармошки.

А там, за рекою, одетые паром,
Еще эшелоны везли паровозы.
На белых сугробах сегодня не даром
Знамена пылали, как алые розы.

Хозяин на улице — он ее сделал,
Он этим домам и дорогам наследник —
Рабочий народ!
Не случайно гремело
В Иркутске в тот день:
«Это есть наш последний...»

С окраин встречать прибежавшие дети
Отцовскую твердо держали винтовку...
И здесь привезли Колчака на рассвете
Прямую дорогою на Ушаковку.

Он был одиноким на улице строгой,
Навеки бывшее она позабыла.
Последним из бар он проехал дорогой,
Где Пятая Армия проходила.

Рыбалка на Ангаре

По трассе сорок километров
и десять тропкой до реки...
И, как приправу, стылый ветер
бросает пепел в котелки.

Притих костер.

Как страсть — рыбачить:
вдвоем за сутки — ни ельца,
а ночь близка, и волны скачут,
снуют моторки без конца.

Молчим, как будто виноваты,
что бревна, пену прет вода,
что в устье лодкам тесновато
и что — нерыбные года.

А в устье снова — будто в мае,
когда шумит на речке лед,
сырые сумерки ломает
черемуховый ледоход.

И будут ночью еле слышно
шептаться в лодках рыбаки,
и проверять возьмутся мыши
пустые наши рюкзаки...

На голых досках сон некрепкий,
немее мой костлявый бок,
и будет сниться — от зацепов
вниз уходящий поплавок.

Старый Иркутск

На Дьячем острове боярский сын Похабов
Построил хижину, чтоб добывать ясак...
Прошли года в глухой тоске ухабов,
Века легли, как гири на весах.

Над летниками тесными бурятов
Сыченый дух да хмель болотных трав;
Сюда бежали, бросивши Саратов,
И вольный Дон, и старой веры нрав.

И город встал в пролете этом узком,
Суму снегов надевши набекрень,
И наречен он был в веках Иркутском,
Окуранный пожарами курень.

Вот он встает в туманах, перебитых
Неумолимым присвистом весны.
Немало есть фамилий именитых —
Трапезниковы, Львовы, Баснины.

Он богател. Его жирели тракты,
Делил полмира белыми дверьми,
И чай везли его подводы с Кяхты,
Обозы шли из Томска и Перми.

Он грузен стал, он стал богат, а впрочем,
Судеб возможно ль было ждать иных
От золотых и соболиных вотчин,
От ярмарок и паузков речных.

Саянов Виссарион Михайлович (1903, д. Иванушкинская Киренского района Иркутской области — 1959). Член Союза писателей СССР. Автор книг «Фартовые года» (1926), «Современники» (1929), «Лукоморье» (1939), «Стихотворения и поэмы» (1966) и др. Лауреат Государственной премии СССР.

Он, словно струг, в века врезался, древний.
Рубили дом, стучали топоры,
Бродяги шли из Жилкинской деревни,
С Ерусалимской проклятой горы.

Он шлет их в даль. Оборванные парни
Идут навстречу смерти и пурге,
Мрут от цинги в тени холодных варниц,
От пули гибнут смолоду в тайге —
Чтоб богател, чтоб наливался жиром,
Купеческий, кабацкий, поторжной,
На весь немшоный край,
над целым полумиром
Поставленный купцами и казной.

Парень из Иркутска

Под ивняком из мерзлого болота
Дым ядовитый медленно плывет.
У амбразуры вражеского дзота,
Закрыв собой немецкий пулемет,

Лежит, как глыба серого гранита,
В упор прошитый строчкой огневой,
Иркутский парень Пронька Подкорытов
С залитой кровью русой головой.

Стоят бойцы над Пронькой скорбным кругом,
И каждый молча думает о нем:
Вчера он был простым и скромным другом,
Сегодня стал великим земляком.

Не по приказу кинулся он к дзоту,
А по велению совести своей,
Как подобает в жизни патриоту,
Он отдал жизнь, но спас своих друзей.

Скрестивши на груди его ладони,
Шинелью окровавленной накрыв,
В могиле братской Проньку похоронят,
Но богатырский подвиг будет жив.

В святом бою с военщиной немецкой
Земляк наш пал в пороховом дыму.
В Иркутске жил он на Второй Советской,
И там поставят памятник ему.

Седых Константин Федорович (1908, пос. Поперечный Зерентуй Нерчинско-Заводского района Читинской области — 1979, Иркутск). Член Союза писателей СССР. Автор известного романа «Даурия» (Государственная премия СССР) и стихотворных сборников «Стихи» (1933), «Забайкалье» (1934), «Степные маки» (1969) и др.

Возвращение фронтовика

Чугунным мостом над кипучей рекой
Шагает с вокзала сержант молодой.

Омытые ливнями буйной весны
Иркутские дали чудесно видны.

В лазурных туманах лежат острова,
Кипит по садам молодая листва.

И вплоть до байкальских серебряных гор
Широко распахнут веселый простор.

Вдыхая всей грудью садов аромат,
В знакомую улицу входит солдат.

Вся грудь у него в орденах боевых —
В нашивках и алых, и золотых.

Приятно по улице парню шагать,
Людей поглядеть и себя показать.

Дивясь его стати, его орденам,
Бегут ребятишки за ним по пятам.

И слышит он их разговор за спиной:
«Вот это, должно быть, герой так герой...»

Волнуясь, вдыхая садов аромат,
В знакомую улицу входит солдат.

Иркутск — середина земли

Плывут и плывут прибайкальские шири,
Саянские горы синеют вдали.
Нас встретит столица таежной Сибири —
Любимый Иркутск — середина земли.

Из всех городов — их немало на свете —
Взгляни на восток и на запад взгляни —
Сквозь тысячу верст мы свой город заметим
И сердцем его мы увидим огни.

Пусть есть города и красивей, и выше,
Но где бы пути иркутян не легли —
Они тебя видят, они тебя слышат,
Любимый Иркутск — середина земли

Вечный свет Иркутска

Иркутск, ты родился острогом,
таежным бревенчатым градом,
но с каждой новой эпохой,
меняясь, рождался ты вновь.
Иркутск — наша жизнь и работа,
Иркутск — наша честь и отрада,
Иркутск — и мечта, и надежда,
И вечная наша любовь!

Сергеев Марк Давидович (1926, Енакиеве на Украине — 1995, Иркутск). Член Союза российских писателей. Автор многих исследовательских книг и книг для детей. Стихотворные сборники: «Шпалы» (1964), «Вступление в осень» (1967), «Резьба» (1971), «Баллада о тополях» (1972), «Связь времен» (1980) и др.

Ты три века стоишь на ветрах, на юру,
и Байкал подарил тебе дочь Ангару.
И проносит река сквозь года, сквозь века
твою славу, Иркутск, твою славу, Иркутск.

Иркутск, ты отмечен судьбою,
ты дружбой встречал декабристов,
ты помнишь свои баррикады
в далекий решительный час.
И свет этих давних событий
по-прежнему горд и неистов.
Пусть годы проходят, и годы
он светится в душах у нас.

Века над тобою не властны,
Иркутск, ты моложе, чем прежде,
и дерзкая сила Байкала
стучит, словно сердце в груди.
Иркутск — наша жизнь и работа,
Иркутск — наша честь и отрада,
Иркутск — все, чего мы достигли,
и все, что еще впереди.

С Иркутском связанные судьбы

Души огонь неугасимый,
байкальский ветер, обновы!
В который раз, Иркутск любимый,
я признаюсь тебе в любви.
Какой крутой ни выбрал путь бы,
влекут меня в твои края
с Иркутском связанные судьбы,
и среди них — судьба моя!

Когда мальцом с обрыва прыгал
в огонь студеной Ангары,
ты открывался мне, как книга,
как сказок маминых миры.
Тот воздух детства вновь вдохнуть бы,
восторг счастливый затая.

С Иркутском связанные судьбы,
и среди них — судьба моя!

Чтоб жизнь моя не обмельчала
и набирала высоту,
храню в себе твои начала,
суровость, нежность, чистоту!
Мне в день грядущий заглянуть бы,
каким ты станешь в дальний час.
С Иркутском связанные судьбы
сегодня, завтра и — без нас.

Души огонь неугасимый,
байкальский ветер, обнови!
В который раз, Иркутск любимый,
я признаюсь тебе в любви.
Какой крутой ни выбрал путь бы,
влекут меня в твои края
с Иркутском связанные судьбы,
поскольку ты — судьба моя!

Портрет

Галине Новиковой

Нарисуй меня, Галя, красивым,
точно первый весенний листок,
чтоб глаза — с бирюзовым отливом,
чтобы лоб — и открыт, и высок.
Нарисуй меня, Галя, спокойным,
как Байкал накануне грозы,
как патрон непочатой обоймы,
как глаза после тайной слезы.
Нарисуй меня, Галя, веселым,
как осенний просвеченный лес,
как в поля уходящий проселок,
как звезда среди синих небес.
Ты уже на палитре смешала
и любовь, и случайную боль,

и ранимость, и детскую шалость, —
так теперь за работу изволь.
И, окончив труды на рассвете,
ты задайся вопросом одним:
— Это кто же такой на портрете?
Хорошо б познакомиться с ним!

На Иркутской чаепрессовочной фабрике

Все коридоры в белом кафеле,
надела лестница халат,
и стены фабрики, как вафли —
квадрат гнездится на квадрат.
Нас водят строгие начальники
по цеху, пахнущему сном.
Мы ходим, как чаинки в чайнике, —
молочно-белом, заварном.
По лестнице, как будто на гору.
А там — девчонки у станка
в халатах, что подобны сахару,
с глазами — жарче кипятка.
Под потолками, в синих бункерах,
где воздух ароматом сжат,
дожди тропические булькают
и зори южные дрожат.
Из рук рабочих напряжение,
и чьих-то песен красота,
и даже времени движение —
в движенье чайного листа.
Здесь Индия приносит нежно
своих плантаций аромат,
здесь солнце Грузии развешено —
его пакует автомат.
И, пачку яркую встречая,
там, где все снегом замело,
шепоткой байхового чая
заваришь южное тепло.
Нас водят гордые начальники
по цеху, пахнущему сном,

и радуги таятся в чайнике —
молочно-белом, заварном.
Беседуем за чашкой чая, но
все тянет нас туда, назад,
где солнце южное отчаянно
пакует в пачки автомат.
Где ходят тихие блондинки,
как затаенная гроза.
У них ресницы, как чаинки,
И цвета чайного глаза.

Баллада о тополях

В тени их скрыта школьная ограда.
Они следят с улыбкой за тобой,
горнист из пионерского отряда,
так мастерски владеющий трубой.

Нас кронами укрыв, как шалашами,
они шумят под вешнюю грозой...
Послушай: я их помню малышами,
обыкновенной тоненькой лозой.

Послушай: в небе стыл рассвет белесый,
проткнула землю первая трава, —
за ручки важно, приведя из леса,
их посадили мы — десятый «А».

И ночью, после бала выпускного,
мы поклялись сюда опять прийти.
...И вот мы к тополям вернулись снова,
но впятером из двадцати шести.

Горнист из пионерского отряда,
послушай: клятв никто не нарушал.
Ты родился, должно быть, в сорок пятом
и, значит, сорок первого не знал.

А в том году схлестнулись с силой сила,
стояла насмерть русская земля.

За тыщи верст разбросаны могилы
тех, кто сажали эти тополя.

Но, будто бы друзья мои — солдаты,
стоят деревья в сомкнутом строю,
и в каждом я, как в юности когда-то,
своих друзей приметы узнаю.

И кажется, скажи сейчас хоть слово
перед шеренгой тополей живой —
и вдруг шагнет вперед правофланговый
и в трауре поникнет головой.

Как требуют параграфы устава,
начни по списку называть солдат:
— Клим Щербаков! —
и тополь — пятый справа —
ответит:
— Пал в боях за Ленинград.

— Степан Черных! —
и выйдет тополь третий.
— Матвей Кузьмин! —
шагнет двадцать второй...
Нас было двадцать шесть на белом свете —
мы впятером с войны вернулись в строй.

Но остальные не уходят. Рядом
они стоят, бессмертны, как земля.
Горнист из пионерского отряда,
взгляни: шумят под ветром тополя.

И если в час беды о нас ты вспомнишь,
твой горн тревожно протрубит подъем,
то мы придем, горнист, к тебе на помощь.
Живые или мертвые — придем.

Валентина Сидоренко

Но был январь, и бешеный каприз,
Да буйный нрав сибирской непогоды.
Вдруг присмирел, и мирно с небосвода
Весенний день сосулькой чистой свис.
И радостью наполнилась душа.
Светилось солнце, зимний день круша,
Печально ветер умирал свой бег,
И мальчиком на крыше плакал снег.
Был воздух смутно влажен, словно всхлип,
С его небес коварно грянул грипп.
И город, словно старый трубочист,
Был пьян, по-детски нежен и нечист.
И так хотелось в долгие часы
По звездам льда, замерзшего под вечер,
Штататься ветром в ожиданье встречи,
В воспоминаньях зыбких, как весы.
А в эту пору, год всего назад,
Была я влюблена светло и грешно.
Я помню: на руках его неспешных
Плясал и пел январский снегопад.
О, я была моложе на сто лет!
Теперь же все ушло, умчалось, сплыло,
И вдруг опять во снах моих бескрылых
Былого ожил одинокий след.

Сидоренко Валентина Васильевна (род. в 1950 г. в Иркутске). Член Союза писателей России. Автор сборников стихов «Осенние тетради» (2009), «Димитрова суббота» (2010).

Нина Сидорова

Ангара чиста, стремительна,
Молода,
А весной обворожительна,
Как всегда.
Жгут морозы, пар метелится
Над водой,
И волна кипит и пенится
За кормой.
Берег, в серый лед закованный,
Как в гранит.
Лес в долине — очарованный
Тихо спит.
И упрятанные озими
Видят сны,
Под суровыми морозами
До весны.

Колосится пшеница — высока, зелена.
Воздух сытый струится слаще меда, вина.
Солнце млеет в зените — необъятная ширь.
Вы меня не маните, не покину Сибирь.

Здесь и горы — так горы, а леса — так тайга,
И такие просторы — не ступала нога.
Триста речек впадает в легендарный Байкал,
И одна вытекает, пробираясь меж скал.

Сидорова Нина Константиновна (1918, заимка Большая Ланкина Заларинского района Иркутской области — 2006). Автор книг «Голубой дождь» (1994), «Млечный путь» (2000), «Прощенный день» (2003).

Ледоход на Ангаре

Река с потугами взломала
У края панцирь ледяной
И через сито чернотала
Плеснулась на берег волной.

И треск, и грохот, и шипенье
Вдруг прокатились по реке.
И напирает без стеснения
На льдину льдина вдалеке.

Пошел, пошел — еще лениво,
Едва заметно ледоход!
А с гор несутся шаловливо
Потоки быстрых вешних вод.

Уже подтоплены низины,
И поплескаться на мели
Спустились к берегу осины,
Березы в воду забрели.

У самой кромки, на пенечке, —
Весны бурливой добрый знак,
Преважный ворон-одиночка
Свой прихорашивает фрак.

В. Г. Распутину

Я в меру был шероховат
И резковат, пожалуй, в меру,
Когда бросался, как солдат,
В бой за Отечество и Веру...
Нет, не за батюшку-царя —
(какой с меня царехранитель!)
Зато за Землю и Моря
Стоял, как истинный воитель.
Не то, чтоб —
Грудью на штыки,
Не лбом — под пули и снаряды,
Я не ходил в большевики
Портфеля ради и награды.
Не чтил портреты — образа,
Не изъяснял восторг телячий
И не заглядывал в глаза
Просящим взглядом
По-собачьи.

Мост

Сутулит мост
бетонный горб,
огни полночные
качая.

У потемневших
берегов
фосфоресцируют причалы.
Последний
медленный
трамвай
минует мост
на повороте,
а мы с тобой
по кромке свай
по лунным лужам
колобродим.
Вершится вечная игра:
смыкаются
волна и камень.
И Млечный Путь,
и Ангара
летят над нами
и под нами.

И запинаясь листва
за тень
Иркутского
вокзала.

Запоминаются слова,
которых ты мне
не сказала.

Скиф Владимир Петрович (род. в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Живу печалью и надеждой» (1989), «Копье Пересвета» (1995), «Над русским перепутьем» (1996), «Русский крест» (2008) и др.

Над нами грустная
звезда
горит предвестницей
пожара,
и схожа
выпуклость моста
с округлостью
Земного шара.

Кто мастер этого карниза
И деревянного конька?
Чья мысль векам бросала вызов
И оставалась на века?

Восходит теплый полумесяц,
Поет строптивая пила.
Кто глину солнечную месит,
Чтоб вечной музыкой была?

Какое крепкое искусство —
Пилить лихие кружева!
В старинном городе Иркутске
Улыбка Мастера жива.

Откроешь вышарканный ставень,
Пройдешь на «ласточкин» балкон...
И вдруг поймешь: твой город славен,
Резной и разный — испокон.

Он — свод улыбок и преданий,
Он — славный родственник Кижам.
Хочу, чтоб каждый иркутянин
Известность городу стяжал.

Чтоб старый Мастер улыбнулся,
Откинул волосы рукой,
В сапожки красные обулся
И выпил стопку в мастерской.

Иркутску

Ты, как фрегат с упругим днищем,
Бурун столетий за тобой.
Как будто ветер — время свищет
У церкви бело-голубой.

Российский колокол не треснул,
Быть может, при Петре рожден,
Земной ли силою, небесной
На колокольню вознесен.

Воркует утренняя стая,
Обряд таинственный верша.
Голубка белая летает,
Как христианская душа.

Историк, смысла не коверкай!
Несла Всея Сибири Голь
В Крестовоздвиженскую церковь
Свою возвышенную боль.

Сибирь и матушка, и пристань,
Юдоль труда и бытия...
Усыновила люд российский
Земля иркутская моя.

Церковным куполом распорот
Небесный свод — течет заря...
Забросил в небо русский город
Кресты, как будто якоря.

Кусты, кирпичные обломки,
Густые, спелые снега.
Дома и улицы оглохли
От паровозного свистка.

Узор зимы затеян прочно
Чугунной прочностью оград.
Я прибыл
 в отпуск долгосрочный,
Иркутску, небу, снегу рад.

На крышах трубы леденеют,
Лепечет девочка в окне.
Снега, как праздники над нею,
Как чья-то память обо мне.

Ее ладошки с восклицаньем
Приникли к тонкому стеклу,
Волшебн личико мерцает,
Как шарик елочный в углу.

И я в бушлатике матросском,
Забыв уверенность свою,
Среди крещенского мороза,
Как мальчик святочный стою.

Зима разыскивает солнце.
По снежным улицам спеша.
И смотрит девочкой в оконце
Иркутска древнего душа.

Памяти Иркутского Кафедрального собора

*Владыке Вадиму, архиепископу
Ангарскому и Иркутскому*

Над Иркутском горел чудодейственным светом,
Восходил в небеса Кафедральный собор.
Воспевать бы тот Храм и певцам, и поэтам,
Византийский его золоченый убор.

Приходить бы к нему, замирать, удивляться
Куполам, что сердцами горели во мгле.
В наше тяжкое время душой закаляться,
Ощущая разор на родимой земле.

Русский зодчий, тебя наши власти не любят!
Неужель на Руси русский корень ослаб?
Зодчий, глянь! На Москве сокрушаются люди,
Что тебя победил Церетели Зураб...

Вот и древний Иркутск исчезает, как песня.
Рвут его москвичи, уронив под себя...
А *святые* — с небесных спускаются лестниц,
Не дождем, а слезами мой город кропя.

Превращается город в бесформенный камень,
Жгут варяги наличники. Им все равно.
Кафедральный собор
проступает сквозь пламя
И на небе Господнее застит окно...

Кафедральный собор, ты убит, словно воин,
«Серый дом» над твоими костями стоит...
Кто тебя возродит, будет славы достоин,
А Владыка Вадим новый Храм освятит!

Удивительно белый, закружит, повалит,
Захрустит на морозе январский снежок...
Начинается день. В небе солнце едва ли
Вам напомнит светило, скорее — ожог.

Ангара холодна. Там рыбацкая лодка
Ледяною водой обжигает борта...
И звучит поутру, как луженая глотка,
От трамвайных колес — перекрытье моста.

И спешит по морозу, по первому снегу
непоседа-старик, вероятно, в кино...
Ах, куда он спешит по двадцатому веку?
В двадцать первый?

А что там?

Узнать не дано.

Вот и ночь подожгла фонарей облепиху,
Облепила дома, словно щупальца, — тень.
Академгородок, Ангару и Лисиху
Сдвинул ближе
друг к другу
исчезнувший день.

Над Иркутском — зима. Состоянье покоя.
Убоялась луна тишины и зимы.
И нагрязнула ночь или что-то другое,
В чем, как будто навечно, закутаны мы.

Иркутская окраина

Сергею Гнатко

Над иркутской окраиной
вьется дымок,
Тает день над рекой Ушаковкой.
Здесь когда-то по камешкам
старых дорог
Мое детство звенело подковкой.

Снова слышу
гитарной струны перебор
Под черемухой — белой невестой,
А над нею могучий Казанский собор
Освящается волей небесной.

Помню звонкую песню
трамвайных путей,
Тополя над моей остановкой,
Золотую резьбу на калитке моей
И рассвет над рекой Ушаковкой.

Эту жизнь, этот путь,
этот горестный век,
Край родной выбирали мы вместе.
Я с тобой разделю непогоду и снег
И нелегкую долю предместий.

Песня об Иркутске

Люблю Иркутск любовью пламенной,
Люблю тебя, моя река,
Где бьются в берег волны памяти
И отражаются века.

Здравствуй, улица Большая!
По тебе шагаю я.
Светит, сердце утишая,
Церковь Спасская моя.

Кружится снег над белым городом,
Над суетою городской.
Ангарский мост пушистым воротом
Висит над зимнею рекой.

Вижу Тихвинскую площадь,
Вижу строгий Белый дом.
Каждый камушек на ощупь
Знаю в городе моем.

Иркутск старинный смотрит молодо.
В нем, как в обители святой,
Стучит живое сердце города,
И потому он молодой.

Здесь вершится жизни повесть,
И поет, поет с утра
Светоносная, как совесть,
Голубая Ангара

Иркутск

Иркутск не зря рифмуется с искусством:
В нем многоцветна радуга искусств.
Сияй, Россия, радугой Иркутска,
Как светится Распутиным Иркутск.

Меня влечет Иркутск неодолимо,
Иркутск единствен и неповторим.

Порою диким ветром уносимый,
К нему спешил я, будто пилигрим.

Иркутск к Байкалу притулился боком,
И, принимая от него дары,
Он водит дружбу давнюю с востоком,
Но не предаст сиянья Ангары.

В ночных пространствах посреди Вселенной
Ночуют звезды на уступах скал.
Знать, неспроста Творец непревзойденный
Нам подарил живительный Байкал.

Сибиряков в любимый город тянет
Из дальних далей — до желанных троп.
Национальность наша — иркутяне,
Байкал — родней Америк и Европ!

Иркутские предместья

По предместью, по утру раннему
Я знакомой иду тропой,
Где родная моя окраина
Становилась моей судьбой.
Ушаковка — река приветная
О любви говорит слова,
А на избах цветут заветные
Деревянные кружева.

Рабочее, Радищево, Марата
И городок Зеленый, и Топка,
Как будто бы с сестрой четыре брата
Соединились на века.

Вновь дожди зазвенели спелые.
Я предместья люблю весной,
Где черемуха белая-белая
Затопила мой край родной.
Мы не будем грустить и хмуриться
Посреди отзвеневших лет...
В каждом сердце — родная улица
Оставляет глубокий след.

Иркутский вальс

Катит воды свои Ангара,
Омывая веков парапеты.
Здесь живут мастера и поэты,
Дуют ветра.
Я полжизни, полмира прошел,
Но меня этот город приветил.
Здесь я лучшую девушку встретил,
Счастье нашел.

Снова срывается с уст
Слово родное — Иркутск.
И горит над рекой Ангарою
Пламени куст.
Это — счастья костер.
Это — сияние гор,
Это ночью горит над рекою
Звездный простор.

Над Байкалом — рассвета венец.
Бьется нежное сердце планеты.
Мы храним наших дедов заветы,
Свет их сердец.
Их пленила тайги красота,
Шли с надеждою первопроходцы,
Что Иркутск непременно найдется
У Иркуты.

Чуждый край, иркутян не зови!
Мы горды нашим лесом и лугом.
Хватит дедам, и детям, и внукам
Нашей любви.
Мы стоим над рекой Ангарой,
Мы проходим по улочкам милым,
И глядит в наши души Вампилов,
Словно живой.

Валентин Распутин

Как совесть — неподсуден,
Как свет — необходим
Отечеству и людям
Распутин Валентин.

Для многих — неуютен...
Но он такой один —
Всегда и есть, и будет
Распутин Валентин.

В общенье вправду труден
В столице и в селе...
Зато не словоблудьем
Он занят на земле.

Глумленья не таящий
И в пазухе — камней,
Писатель, говорящий
О Родине своей.

В Отечестве бесправном
Он правило завел
Являть собою правду —
И недругов обрел.

Их раньше — меньше было.
Теперь им несть числа.
Вот только б леньность тыла
Его не подвела.

А тыл — все мы, все «наши».
В тылу народ един,
С твоей душою сложен
Распутин Валентин!

Из цикла «Письма современникам»

*Александру Вампилову,
драматургу, автору пьес «Валентина»
и «Утиная охота»*

Откуда твой опыт? Из детства?
Из песен в родимом краю?
Наверно, Господь пригляделся
И высветил душу твою.

Ума вековое наследство
Ты принял и тайну постиг.
С Эвтерпою жил по соседству
В сибирском селе Кутулик.

Поэзия русская билась,
Как пульс на запястье,
 точь-в-точь.

Потом Мельпомена явилась
Из памяти, древней как ночь.

С какою невиданной силой
Ты выразил жизни раскол.
Ты сам — Валентина и Зилов,
Ты — сцены звучащий глагол.

Как верно, как больно, как точно
Увидел ты жизнь и любовь.
Не зря в тебе с кровью восточной
Слилась святорусская кровь.

*Глебу Пакулову,
автору исторических книг*

Сегодня тучи над Байкалом
Друг друга брали на таран.
Я видел: молния скакала,
Как белый выстрел, по горам.

Я видел: радуга-подкова
Пыталась Землю подковать...
И дождь — Молчановскую падь
Громил, как Поле Куликово.

Шумело войско острых листьев
И поднимались копыта трав,
И грибники в одеждах липких
Бежали, полы подобрыв.

Летели ветры без оглядки...
Земля и Небо, Тень и Свет
Скрестили копыта в яркой схватке,
Как с Челубеем Пересвет.

Обозревая туч когорты,
От ветра заслонясь рукой,
Писатель Пакулов на горке
Стоял, как будто князь Донской.

Он день безветренный пророчил...
Стихало все... Но между скал
Всю ночь булыжники ворочал
Волнами увалень Байкал.

*Ростиславу Филиппову,
автору сборника стихотворений
«Я к вам с друзьями»*

Запомнил я осень читинскую ту,
Где мы на подмостках царили
И водку глушили, влюбившись в Читу.
— Чи ту, чи не ту, — говорили.

Читинкам в читалках читали стихи,
Читали и читли читинок.
Читинки в ответ почитали грехи
Поэтов своих досточтимых.

А мы распалялись под статью временам,
Читали, как плыли вразмашку.

Чита раскрывала объятия нам,
С Филипповым все — нараспашку!

В Чите пролетали деньки чередой,
А мы у Читы на постое
Любили четою стоять над Читой
С читиночкой молодою.

Нас слушал любой кинозал и вокзал,
Читатели тщились с вопросом...
— А я к вам с друзьями! —
Филиппов бросал
И вел в «Забайкальскую осень».

В Чите и в душевной ее простоте
Не знали мы злости и всхлипов.
Мы маршем победным неслись по Чите,
И с нами — наш верный Филиппов.

*Галине Новиковой,
иркутскому художнику*

Кто ты, Галя? Ты — неба загадка
Или образ волнений земных?
Не твоя ли живая подглядка
Стала тайной полотен твоих?

В пади Щелка,
твой след различая,
Ожидает тебя у ручья
Покосившийся свет иван-чая,
Как земная загадка твоя...

Ты средь кружев
и раковин моря,
Посреди оживающих рыб
Создаешь этот мир аллегорий,
Эту музыку облачных глыб.

Ты сама изошла из атлантов,
Постигая течение времен,

Где темнеют ларцы фолиантов
И сбывается бабушкин сон.

Твои тайны раскроют не скоро,
Не поймут твою жизнь до конца
Три идущих друг в друга актера
Или три уходящих лица.

На Байкале у старого дома,
На высокой скалистой тоске
Ты являешься неким фантомом
С колонковой кистью в руке.

*Татьяне Суровцевой,
автору книги «Крыло судьбы»*

Мы — птицы, мы — зяблики
мы — свиристели.
Мы пели, мы снились, наверное, Богу.
Мы в жизненной повести нашей летели,
Как мысль от пролога летит к эпилогу.

Мы — космос, мы облако видеть хотели.
От скал отрывались, где яшма и сланцы.
Куда мы спешили, куда мы летели
На призрачном нашем
«Летучем Голландце»?

Да нет же! И вправду канаты гудели,
На палубе брызги взлетали до солнца,
И мы по Байкалу с тобою летели,
Объятые светом до самого донца.

Куда мы летели? Мы счастья хотели!
За счастье цеплялись. Не надо цепляться.
Мы с палубы звонкой,
как с жизни, слетели
Туда, где уставшие души пылятся.

Среди мировой поднебесной крутели
Вздмалось холодное мертвое солнце.

И крыльев не стало. Мы в бездну летели
На голое дно. Где ни сна, ни оконца.

Мы — птицы, мы — зяблики,
мы — свиристели.
Неужто мы прокляты или убиты?
Давай оживем и по первой метели,
Давай долетим до ближайшей ракиты.

*Валентину Распутину,
великому русскому писателю*

Продавит русская весна
Плотину вражеского круга.
Россия будет спасена —
И в этом есть твоя заслуга.

Борьбы невиданной накал
Очистит Родину от смога.
Задышат Волга и Байкал —
И в этом есть твоя подмога.

Излечит русская душа
Народ от горечи и гнета
Из православного ковша —
И в этом есть твоя забота.

Господь Великий как-нибудь
Нас отведет от замогилья.
Осветит солнце Русский Путь —
И в этом есть твои усилья.

*Александру Шахматову,
самому смелому в Иркутске
журналисту, главному редактору
газеты «Родная Земля»*

Чтобы стало все русское краше,
Чтоб срастались Руси позвонки,
Всеми силами Шахматов Саша
Восстает из газетной строки.

Бойся, кровушку русскую пьющий,
Продающий полотна равнин!
Глас в пустыне, о нас вопиющий,
Достигает народных глубин.

Посреди не возделанных пашен,
Посреди онемевших снегов
Видит Шахматов — Родину нашу,
Волочащую бремя оков.

Не живет он себе на потребу,
Проникает в запекшийся быт...
И земле и высокому небу,
О неправых деяньях трубит.

Жизнь черна, беспросветна, как сажа,
Но, с Отечеством беды деля,
Не сгибается Шахматов Саша
И газета «Родная Земля»!

*Леониду Бородину,
автору повести «Третья правда»*

Трижды светел твой лик на Байкале!
Посреди не свершенных идей
Третью правду всем миром искали,
Ты нашел ее в сердце людей.

Ты нашел ее не на парадах,
А в простой православной избе.
Эта третья — народная правда —
Путеводная в русской судьбе.

О вершителях зла памятуя,
Ты за Веру и Крест воевал.
Третью правду, как свет Маритуя,
Ты в застенках к себе призывал.

И на голос сыновнего зова
Из души, из народных глубин
Приходило Высокое Слово,
Как сиянье байкальских рябин.

И с тобою свиданию рада,
Раскрывала объятья свои
Третья правда — великая правда,
Бородинская правда любви.

Праздник русской духовности и культуры «Сияние России» в Иркутске

Валентину Распутину

Над Россией лед ломается,
Перестала стужа вить.
Валентин Распутин мается:
Быть России иль не быть?

Русь — и слава, и трагедия —
Горькой участи верна.
Почему стоит последнюю
В жизнь хорошую она?

Знать и чувствовать немислимо,
Что мы — страждущая голь.
Валентин Распутин выносил
За свою Россию боль.

В нем святым
Господним пламенем
Засветился русский край,
В сердце вспыхнуло, как знаменье:
«Русь Великая — сияй!»

...Все несбыточное сбудется,
И низринутся враги.
Боже праведный, Распутину
И России помощи!

Нам нужны его старания,
Нам нужна его любовь,
Чтобы «Русское Сияние»
Омолаживало кровь.

Июнь

Стеклянный вал размашисто и круто
ударит в борт — и только пыль да звон.
Иллюминатором цепляется каюта
за вспаханный сармою горизонт.
Шторм то поднимет судно,
то положит,
плеснет в зарю,
откатит на закат.
Труба сипит, отчаянно похожая
на сигарету горькую «дукат».
Июнь. А сильно пахнет талым,
дырявым снегом.
Он — в гольцах.
Июнь. А небо над Байкалом
нависло — тяжелей свинца.
Июнь — кочевье и разлука.
Июнь — маячные огни.
Июнь — ледовая разруха.
Июнь — попробуй сохрани
тепло обманчивого лета,
в густой, изменчивой дали.
Когда еще не все рассветы
В лугах взвели коростели.
Когда все тропы — лишь начало,
и столько штормов на пути,
июней,
октябрей,
причалов,
к которым хочется дойти.

Скоп Юрий Сергеевич (род. в 1936 г. в с. Манзурка Качугского района Иркутской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Азарт» (1968), «Избранное» (1989) и др. Лауреат Государственной премии РСФСР.

Василий Скробот

С НОВЫМ ГОДОМ!

Всем иркутянам

С Новым годом, мой город!
Ты слышишь меня в этот вечер?
Или голос мой слаб так,
Что тонет средь тысяч других?
Я сегодня один —
Я с тобой Новый год этот встречу
И в подарок прочту
Мой недавно написанный стих.

Видишь, даже мороз
Вопреки всем прогнозам не злится,
Что ж, должно так и быть —
Пусть к нам в гости заходит луна.
Пусть сегодня видны
Будут только счастливые лица,
И суровой зимой
Пусть по улицам бродит весна.

С Новым годом, мой город!
Сибирский заснеженный город!
Далеко разлетелись
В морозную ночь огоньки.
С Новым годом, Иркутск,
Я желаю на долгие годы
Вам любви, иркутяне,
Родные мои земляки!

Скробот Василий Александрович (род. в 1941 г. в с. Андрюшино Куйтунского района Иркутской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Я радуюсь весне» (1990), «Исцеление» (2004), «Повиниться хочу» (2009) и др.

Детство

На Селитбенной черте
Детство проходило.
И про годы я про те
Вновь раздул кадило.

Мать качала головой:
— Крученный ты, Миня!
Веретешко стал, сын мой:
Что ж, хоть не разиня!

Летом — с удилищем я
На речушке Кае
День и ночь... Ну, а семья —
Мать с отцом — вздыхает.

Горько вспомнят про меня:
«Где, мол, пропадаю?»,
То хваля, а то кляня
Ту речушку Каю.

А зимой я на лотке
По горе по Кайской
Мчусь, бочком на локотке,
Улицей Байкальской.

Хрусткий снег был глазу мил,
В блеске непрестанном.
Кругбайкальский тракт манил
Сыздетства к Саянам.

Скуратов Михаил Маркелович (1903, с Уян Куйтунского района Иркутской области — 1989, Москва). Член Союза писателей СССР. Автор книг «Всполохи» (1958), «Солнечный бубен» (1973), «Истоки» (1974), «Избранное» (1985) и др.

И Синюшина гора,
И луга Казачьи —
Вот где детства шла пора;
Чье теперь там скачет?

Там течет река Иркут,
Имя дав Иркутску.
Годы, годы протекут,
Не дадут нам спуску.

Ну, а все же навсегда
Ты твердишь: «Одна я
У тебя, чрез все года,
Сторона родная!»

Иркутский острог

Мои деды, прадеды — вояки
С испокон веков сюда пришли.
Сотню лет без малого — без драки
Не могли сыскать себе земли.

То да се: бежали на безлюдье
Пить, гулять, да есть на серебре.
Для того ль на парусной посуде
Плыли вверх по льдистой Ангаре?

Верой православною упрочен,
Каждый был — и пахарь, и казак.
Шли гурьбою из московских вотчин
По улусам собирать ясак.

Всю Сибирь без мала исходили,
За острогом строили острог
И, бывало, на ангарской льдине
Вплавь пускались собирать оброк.

Сколько башен, крепостей и градов
Деревянных строили они.
Частокол им послужил оградой
От коварной вражьей западни.

Московский тракт

Не звонит по селам семиверстным
Зычный окрик пьяных почтарей...
Старый тракт задумчивым и черствым
Бобылем прилег у пустырей.

За Иркутской старою заставой,
У Московских брошенных ворот,
Прежний путь — разбойный и кровавый —
Дни свои бесславно доживет.

И не встанут больше при дороге
Поджидать обозы варнаки.
...Только где ж этапы и остроги
И с двуглавым коршуном станки?

В захолустье и глуши убогой
В ночь злодей не свистнет за избой.
Пропадай, опальная дорога
И сибирской вольницы разбой!

Проскакало прежнее на тройке
С золоченой писаной дугой.
Гулеваны, ямщики, попойки,
Не о вас ли петь за упокой?

Поглядеть бы из углов медвежьих,
Убедиться бы воочью — как
По-иному — молодой проезжий
Оживил заброшенный мой тракт...

Родные места

Ох, и злой табачище курят в Сибири!
За версту понесет — зажимай только нос...
То ли груди парней здесь покрепше и шире,
То ли глотки дюжее, то ли я не дорос
До понятия такого, что в злом табачище
Есть приятная крепость, здоровье и вкус...

Пусть на улице ветер гуляет и свищет,
Гонит тучи песку, гнет рябиновый куст,
Хорошо мне в краю прогуляться родимом.
Вот у берега плещет старик Енисей...
Ай да речка!.. Повеет кострами и дымом,
А рванет если буря — все думы рассеет
И на лодке — на волны и космы седые
Выходи, не боясь... станут ветры свистать...
Там Байкал с Ангарой...

Вырастал у воды я, —
И к воде меня тянет, рыбе под стать,
Оживу я, хлебнувши родимой водицы.
Вечерком побродяжу родным бережком,
Ходят козыри-парни и павы-девицы.
А босые ребята, почесть, нагишком
По колено в воде и галдят, что галчата.
Ищут гальку на дне — только пятки видны...
Вот где жизни и песен-то край непочатый!
Разве дни мои — горько признать —
сочтены?

Снова молод в плечах и душа нараспашку,
Лишь увидел края, где я взрос, где любил,
Где оставил родных, словно скинул рубашку.
«Ты зубастый еще,

не сточил, вишь, зубил!» —
Говорят старики мне, бывшие знакомцы,
На завалинках сидя... Их курева дым
Застит здешнее небо, таежное солнце;
Он пахнул на меня чем-то давним, седым,
Стариковским, ядреным,
испытанным с детства.

Здравствуй, край мой родимый,
как сына встречай!
Что осталось, возьму из отцова наследства —
Песен короб, кирпичный да байховый чай!

Владимир Скурихин

* * *

Василию Шукшину

Когда тебе уйти пришла пора,
Ты усмехнулся, как гвоздем по жести:
«Скажи, куда бежала Ангара,
Когда она опять на прежнем месте?»

Я рубанул, рябя надбровный свод,
Родней искры — искрящемуся глазу:
«Отпущенница сверхбайкальских вод,
Она извечный образ, впавший в разум».

Окончилась словесная игра.
Я создал мир, в котором грез немало:
Ты помнишь, как бежала Ангара?
А мы стояли. А она бежала.

Станция Иннокентьевская

Сибирский град, пристанище скитанья,
Пожаров и потопов достоянье —

Отменный звук российского, родного,
Ты названа по имени Святого.

Духовной фреской полня жизни свод,
Упрочиваешь звонами приход.

Скурихин Владимир Евгеньевич (род. в 1949 г. в пос. Стан Утиный Магаданской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Владимирка» (1993), «Вольная книга» (2001), «Собирали колоски» (2007), «Город» (2009) и др.

И я тебя как сын боготворю
По близости души монастырю.

Сибирь буйна — Христом укрощена
И именем твоим освящена.

Восточный экспресс

Курьерский по мосту постукивал
Уже на городской меже.
За Ангарою купол с куполом,
Как два пасхальных «Фаберже».

Ивняк, кропящий струги, вырос здесь.
На стены Спасские возвел,
Как от воды байкальской изморось,
Святой иконный ореол.

День отступал в сквозные простыни
Дырявых высветленных туч.
Прояснилось дыхание осени,
Восток отзывчив и могуч.

Проводники отмычки вставили,
Закрючивая дверь в простор,
Чтоб те, кто прошлое оставили,
К истоку обратили взор.

Сквозняк да солнечные зайчики
В купе барахтались уже.
И знало пиво в чемоданчике:
Не залежишься в багаже.

Сад Томсона

Сад Томсона — детство мое.
Над обрывом на желтом увале
Пробирались, святое жулье,
Деревянные груши сбивали.

Между жалких изросших коряг,
Позабывших, присевших горбато,
Костя Чиж, сухопутный моряк,
Доставал капитанский табак
И делил по щепотке на брата.

И качало нас ветром морей,
Дымом шкиперов, первопроходцев.
И волнами сходилась пырей
И кружил, как лагуна, под солнцем.

Каждый грезил, что этот пират,
Проходимец шотландского рода,
Здесь припрятал награбленный клад.
Но об этом молчала природа.

В Иркутске

И вот — октябрь.
Вечерний город.
Блеск электрических лучей,
И длинная дорога в гору,
Знакомая до мелочей.

Под вечер — бодрый,
чуть — усталый, —
Я рад идти по ней опять,
И за кварталами кварталы
Солдатским шагом отмерять.

Еще не состоялась встреча,
Еще душа твоя молчит.
Не знаешь ты, кто в этот вечер
В твое окошко постучит.

И кто — подруги говорили —
Тебя разыскивал на днях...
...А может,
вспомнишь без усилий —
И в мыслях назовешь меня.

Быть может, даже в этот вечер,
Легко, взволнованно дыша,
Сама идешь ты мне навстречу —
И сделан первый, робкий шаг?

Смирнов Ростислав Иванович (1923, Пермь — 2002, Иркутск). Кандидат филологических наук, доцент ИГУ, член Союза журналистов России. Автор книги «Юность сердца» (1963).

Снова иду я по городу,
Сердце в восторге поет.
...Знала бы ты,
 как мне дорого
Каждое слово твое.

Пусть лишь немного сказано —
Все и без слов мы поймем:
Дружба живет —
 хоть и названа —
В сердце моем и твоём.

Праздник Покрова в Иркутске

Мне в этот день
 угадывался праздник.
Дарило солнце
 божью благодать.
Байкальский ветер,
 как шальной проказник,
Не гнал в укрытие —
 силился обнять...
Неслась Земля
 накатанным маршрутом.
Покров стоял
 невиданной красоты!
Не верилось,
 что белым будет утро
И рыжим день,
 как пышный хвост лисы.
Потом монеты
 золотой чеканки
Осинка станет
 под ноги бросать.
Мне в этот день
 захочется к цыганке
Лететь, судьбу
 дальнейшую узнать.
За светлый день
 исполню Божью волю —
Ведь неспроста
 на сердце благодать.
В своих порывах
 душу не неволя,

Соболевская (Лабазина) Людмила Васильевна (род. в 1946 г. в Бресте). Член Союза писателей России. Автор книг «Запах клевера» (1994), «Как у света на краю» (1996), «Предчувствие на кончике пера» (2009) и др.

Поставлю к Лику
свечку трепетать.
Моя душа!
Такие откровенья —
Потворство лишь
сложившейся судьбе.
И неспроста
счастливые мгновенья
Случились в позолоченной
гульбе!
И будет долго
пестрая молва
Нести по ветру
бабий перезвон.
Мы помнить не устанем —
Покрова
Подарок наяву,
как дивный сон.

Иркутск
(из поэмы)

Плыл стругом город мой
Из лета в лето.
Слыл родиной красивых верных жен.
Был город мой
 в семнадцатом столетье
Похабовым Якунькой заложен.

Тем давним годом,
Слово Божье молвя,
Пришли казаки — небольшой отряд.
На островке поставили зимовье
Для сбора царской подати с бурят.
Назвали островок безлесый Дьячим.
Срубили тын,
Чтоб не пробрался тать.
А следом люд тащился за удачей —
На Дьячем стало места не хватать.

Казачий день в работе не ленился
Под гул шагов и говор топора.
А по ночам простор острогу снился.
Острог теснился...

И уже пора
С размахом
По-таежному,
По-русски

Соколов Виктор Павлович (род. в 1936 г. на ст. Могоча Читинской области). Член Союза писателей России. Автор книг «Горислава» (1982), «Русское лето» (2000), «Пока дышу» (2010) и др.

Да вширь, да вдаль
 без края и конца
Раскинуть город,
Нарече Иркутским...
Чтоб радовались русские сердца.

Я улицей бреду в звенящий полдень.
В глазах полощет флагов ярый шелк.
...Здесь белочехи получили по лбу,
А там
Колчак последней тропкой шел.
Кричал под сапогами
 снег февральский.
Над Ангарой летела ночь, гудя...

Но чувствовал ли он
Хоть мало-мальски
Вину перед людьми,
 на смерть идя?
Что думал он,
Ведя с народом битву
И проиграв, не зная почему?..
Какую небесам творил молитву?
И что теперь открылось вдруг ему?..

А дальше дом,
Где Гашек жил когда-то.
А рядом...
И не видно им конца:
Дома и доски — а на досках даты.
Слова и профиль строгого лица.
И память... память
 навсегда ушедшим,
И снова доски — с радостью,
 с бедой...
Смешалось настоящее с прошедшим.
Срослось навеки — не разлить водой.

А улица бурлит ручьем весенним
И, разбухая,
С ревом дальше мчит.
И солнце в небе пляшет.
И над всеми
Его животворящие лучи.
И молодеет и томится тело.
И в ноздри бьет
Смолистых веток чад.
И воробьи с безумством оголтелым
Над просветленным городом кричат.

Словно угли,
Гаснут звезды,
В пепле ночи догорев.
Колыхнулся теплый воздух,
Остывая в Ангаре.
Покатился вал за валом,
Меж деревьев колеся,
Самым дальним
Перевалам
Стынь рассветную неся.
Посветлела неба кромка.
Темноту беря в полон.
Голой лиственницы крона
Прочертила небосклон.
Высоко вдали, высоко,
В ранней высветясь заре,
Зажелтели гряды сопок,
Словно листья в сентябре.
И налево, и направо
От гряды и до гряды
Песня брызнула на травы
С глухаринной бороды.

Памяти Светланы Кузнецовой

На деревьях листья пожелтели.
Откричали птицы,
Вдаль умчась.
Под московским,
Под метельным небом
Девочка гадает в поздний час.

Вот она
Над картами склонилась,
Вся незащищенная, как есть,
Отдается тайному на милость,
Принимая горестную весть.

Памяти Иннокентия Луговского

Старик собрал свои пожитки.
В последний раз почаявал.
И на вечерней зорьке
Жидкой
Ушел за дальний перевал.

Остались в дымке
За плечами
Избушки старенький порог,
Седой пушок ивана-чая,
Концы развязанных дорог.

Сорвут пух ветры и рассеют.
Схоронят в почву семена.
И на земле его Расеи
Взойдут иные имена.

Старик, лесные сказки баяв,
Не досказал последний сказ.
Уж непослушными губами
Он дал напарнику наказ:

«Я вел тебя моей тропой.
Теперь своей тропой иди.

Сквозь буреломы
За собою
Других, что молоды, веди.

Пусть
Будет путь их светом вышит.
Пусть пахнет хвоей и листвою.
А надо мною пусть колышет
Кедрин ветер верховой.

А надо мною сонной ранью
Проплачут сладко косачи,
Да лапы сосен протаранят
Слепые филины-сычи.

И нет прекрасней
Счастья в мире —
Под русскую мужичью речь
Жить на земле — вот этой
Милой.
И после в эту землю лечь».

Ангара

Не Саяны вздыбились
За горой гора,
Укачалась в зыбких
Волнах Ангара,
Чтоб от ГЭС бетонной
До реки Иды
В цвет
Растений донных
Красить глубь воды.

И течет зеленая
В горечи разлук,
С юных лет
Влюбленная
В крики стылых вьюг,

Что в снегу,
Как в вате,
Прячась до весны,
Будут навевать мне
Сказочные сны.

Надежде Степановне Тендитник

Все жестче листья и трава.
Все ночь длинней,
А день короче.
Так, зиму скорую пророча,
Сентябрь вступил
В свои права.

Подчас
Он бабьим летом вдруг
В лесу нас балует
И в поле.
Но, охлаждаясь поневоле,
В свой тесный загоняет
Круг,

Где мы еще живем теплом.
Где мы еще живем надеждой.
Где, веря в доброе, как прежде,
Все машем
Сломанным крылом.

Песня об Иркутске

Снова в небе мерцает
Надежды и веры звезда.
И любви бескорыстной,
И, может, —
Немного тревоги.

И зовут, и зовут,
И зовут
За собою дороги.
И грохочут на стыках
Спешащие вдаль
Поезда.

И встаешь ты из дымки,
И улицы мне распахнул,
Город предков моих
И друзей,
И мечты,
И заботы.
Город поисков истины
И бесконечной работы.
И приветись...
И слезы
Я тайно рукою смахнул.

Я солдатом когда-то,
Иркутск,
Возвращался к тебе.
А сегодня
Свободным от службы
Домой возвращаюсь.
Я надолго с тобою,
Мой друг,
Никогда не прощаюсь.
Ты — зеленый мне свет
И в пути,
И в нелегкой судьбе.

Я итоги дней прошлых
Еще не спешу
Подбивать,
Хоть
Друзей и знакомых
Все реже
И реже встречаю.

Понимаю... И все же
Живу день за днем,
Не печалюсь —
Жизнь дается одна,
Потому
Двум смертям
Не бывать.

Снова в небе мерцает
Надежды и веры звезда.
И любви бескорыстной,
И, может, —
Немного тревоги.
И зовут, и зовут,
И зовут
За собою дороги.
И грохочут на стыках
Спешащие вдаль
Поезда.

И горит
Надо мной в небесах
И любви,
И надежды,
И веры звезда.

Сергею Иннокентьевичу Дубровину

О, как прекрасна,
Как необходима
Была земля — и была моя, и небыль.
Вздымали избы
Ввысь веревки дыма, —
Должно, хотели привязаться к небу.

Они не рвали связи
С древним Богом.
Не мучались надуманной виною.

Они пришли и встали вдоль дороги,
Чтоб здесь однажды
Встретиться со мною.

Давно погрузли, поистлев, подклети.
На крышах пузырится пена моха.
И третье в дверь
Стучит тысячелетье —
Эпоха Счета
И Суда эпоха.

Иркутские улицы

1

Возвышенно и чисто
иркутские улицы
впадают в Ангару.
Слегка приподнимая платья,
забредают в воду тополя.
Рыбы,
так давно не выдавшие Байкала,
читают голубые скрижали дождя.
Зеленые водоросли
в медленном танце...
Я знаю, о чем думает Ангара.
Может море
отдохнуть
и расслабить тело,
когда радуга над рекой?
Постовые маршальским жезлом
останавливают движение,
и наши дети,
не толкая друг друга,
идут к совершенству,
с восхищением
поглядывая на синие, зеленые,
оранжевые башмаки.

2

Столкнул скамьи
в аллеи —
пусть плывут
в улицы.

Сокольников Александр Алексеевич (род. в 1947 г. в с. Верхоленское Качугского района Иркутской области). Автор книг «Свиток одиночества» (1992), «Вне канона» (2007).

3

Окна твои темны
Слова твои тихи.
Дирижерской палочкой
вспыхнет спичка
осветив испуганные лица
И вновь темнота
на проводах расселит
нотные знаки уснувших птиц
И я совсем не одинок
наедине с печалью
печатью на кувшине
где бродит светлое вино
по узким улочкам веселья.

Борису Архипкину

И в изначалии начал
есть звук немой
вскрик нерожденного слова
и долго будет эхо
носиться
по ущельям чьих-то ушей
и долго будет сердце
биться
о решетки зимнего сада
и через раз
ударять
в серебряный метроном

Ангарская береза

В светлый день рождения
Музыки зеленой
Ранило березу
Острое железо.

И никто на свете
Стон ее не слышал,
Разве что синица
Да седой подснежник.

Тихо сок струится
По коре на землю.
Водит хороводы
Черное ненастье.

Русская береза,
Ты не гнишь от ветра -
Дождь омоет рану,
Солнце обласкает.

Там, где сок пролился,
Брызнет в небо травка...
Но, как месяц тонкий,
Будет шрам светиться.

В старинной улочке Иркутска

Сухое лето в улочке старинной...
Доштых тротуаров горький опыт.
Над ними, как старуха над корытом,
Присели и задумались дома.

Дома, как люди, — радуются лету!
Их солнышко до косточки прогрело.
Кой-где смола медово проступает,
И досточки, как косточки, поют.

Здесь до смерти разбитая дорога
Присыпана кой-как речною галькой,
И пьяной рощей разрослись в кювете
И спутались — полынь и лебеда.

А во дворах поленницы прямые
Хранят тепло до зимнего ненастья,
И только у хозяев нерадивых —
Таких, как я, — не убраны дрова.

Зато как важно тополя-соседи
Беседуют о жизни в ясный вечер!
Их дети — безалаберные листья —
Знать не хотят о будущей зиме.

Вчерашний век! Живое запустенье!
Отсюда ночью я смотрю на звезды,
И в звездном небе как иголку в сене
Я спутников веселых нахожу...

Суровцева Татьяна Николаевна (род. в 1946 г. на руднике Хапчаранка в Забайкалье). Член Союза писателей России. Автор книг «Остров веры» (1982), «Северная песня» (1985), «Крыло судьбы» (1988), «Снежные птицы» (1999) и др.

Живописать малиновый сквозь дым,
Скупой закат холодного накала
И ветки сада, ставшего седым, —
Его дневная стужа приласкала.

Живописать виденье Ангары —
Туман молчанья и забвенья воды...
Быть может, вновь рожденные миры
От взора скрыли пасмурные своды?..

Златая пыль звенит на куполах,
Клубится мгла во глубине квартала.
Мгновенье... Все угасло, все пропало.
День пролетел, как молодость прошла.

А я еще и краски не смешала
И пуст мой холст —
лишь изморозь в углах.

Памяти Александра Вампилова

Свет и печаль на твоей остановке.
Легкие кроны летят в вышине.
Чудная странница — божья коровка
Капелькой крови упала ко мне
На руку... Друг! Сумасшедшее время
Здесь позабыло, откуда пришло...
Друг мой таинственный!
Память — не бремя,
А оброненное в воду весло —
Кружит, несется в прозрачном теченье
Незамутненной реки бытия.
Мелкое все — потеряло значение.
Суть прояснилась. Ей нет забытия.
Лесом покрыты холмистые дали,
Скошены травы, и август примят.
Вольно дышать на последнем причале!..
Веток пихтовых сух аромат.

Яблоня
на улице Сибирских Партизан

Давно пора высокой купе
Зазеленеть, как год назад,
Но май суров и неподкупен,
Ветра раскачивают сад.

Скупится солнечная нега,
Продрогли сад, и луг, и лес,
И то и дело призрак снега
Маячит с сумрачных небес.

Но что поделаться ей с собою?
Устала ждать заветный срок.
Звенит под тонкою корою
Цветов и листьев голосок.

Он всю неделю ветки точит.
И вот из теплой темноты,
Как целый ряд зубов молочных,
Прорезались ее цветы!

Еще листвою не одета,
Цветет, невзгодам вопреки,
Провозгласив начало лета
Одним движением руки.

...Как всем нам быть сильнее надо!
И, с садом чувствуя родство,
Учиться жить хочу у сада,
У первой яблони его.

Сухаревская Любовь Иосифовна (род. в 1950 г. в Анжеро-Судженске Кемеровской области). Член Союза российских писателей. Автор книг «Темный отзвук» (1973), «Послушай сердце» (1979), «Прямая речь» (2006).

Воспоминанья об Иркутске

Мне снится город по ночам.
Такой родной, такой далекий,
Многообразный, многоокий,
Что так присуще городам.

И все такой же молодой,
И все не может догадаться,
Как трудно было мне расстаться
С его привычной суетой.

Там увлечет тебя без слов
Движенье улиц по субботам
И лист с осенней позолотой
Над позолотой куполов.

Там Ангара летит стрелой,
Мерцая холодом залива,
И так под утро торопливо
Мое прощанье с Ангарой!

Там время сдерживает бег
В живучих двориках старинных:
Еще пылится на каминах
Какой-то предыдущий век...

Но вот рассвет, и ожил дом,
И с ощущением Иркутска
Мне нужно, как вчера, проснуться
Сегодня в городе другом.

Новый Иркутск

Город заснеженный — великолепье
Кружев у старых домов,
Что пожелать тебе в новом столетье,
На рубеже двух веков?

Мне словно видится город из сказки,
Время ускорило бег.
Дети на горках — на санках, салазках
Мчатся в неведомый век

Белых церквей купола засверкали,
Ярок их свет золотой,
Звон колокольный уносит печали
И возвещает покой.

К старому берегу мост устремится
Новой летящей стрелой,
Как драгоценный браслет загорится
Над голубой Ангарой.

Старые улицы с новым названием
Впишутся в летопись дней.
Новое время особым дыханьем
Вылечит души людей.

Жить они будут красиво и ярко —
Только бы это сбылось.
Снова на тропку Центрального парка
Выйдет доверчивый лось...

Михаил Трофимов

Шуга

Все я помню, Катя, Катя,
Карих глаз стрижиный взлет...
Ангарою льдины катит
И ломает их и трет.

Мне на лодке не пробиться.
До того нехорошо...
Привязал к ногам драницы
Вместо лыж и перешел

Так со льдины да на льдину...
Хрупкий лед вода несла...
Что мне ледостав, глубины —
Думал — ты меня ждала...

Сердце билось гулко-гулко:
Смех твой звонкий, скач коня —
Поезд свадебный в проулке
Песней растоптал меня.

Лошади в цирке

Танцуют кони на арене цирка
Под музыку и шелканье кнута:
То вздыбятся, кружась, то умирают,
То — гривы по ветру — по кругу скачут.

Трофимов Михаил Ефимович (род. в 1936 г. в д. Снегиревка Рыбинского района Красноярского края). Член Союза писателей России Автор книг «Первотроп» (1964), «Белый соболь» (1976), «Есть край...» (1989), «Снегиревка» (2010) и др.

И слезы тихие в глазах пугливых,
И молнией слепят прожектора,
И барабаны рушат гром тревожный,
Срывается аплодисментов дождь...

А было: скачут кони в перелетах туч,
Потравой, сквозь молочные овсы —
И разметают бурнотравье грудью,
И семена налипли на бока.

А следом на кобылке чалой
Мальчишка скачет, мокрый, без рубахи,
С кнутом и гиканьем на водопой их гонит,
И кони одичалые храпят.

Скользя и друг на дружку напирая,
Спускаются под берег, входят в реку
И пьют грозу и прядают ушами,
И за теченьем тянутся тихонько.

Но, вдруг очнувшись, вновь летят на берег,
Дождь заливает топот их и ржанье,
Следы копыт на скользкой рыжей глине, —
Лошажью память заливает дождь...

А милые — хоть трись щекой о морды,
Порастеряли средь лугов подковы,
И от кнута по кругу не ускачешь,
И слава цирковая не нужна.

Надо ж было

Я о городе тоскую,
Словно тополь о весне...
Вот девчонку городскую
Целовал опять во сне.

Говорил довольно глупо,
Что вовек не надоест
Провожать ее из клуба,
Заходить в ее подъезд.

И чего — не знаю — ради,
Растерявшийся чуток,
Трогал шелковые пряди
И голубенький платок.

Распахнувшуюся дошку
Вновь запахивал на ней
И горячую ладошку
Пожимал еще сильнее.

Гладил гладкие перила,
Самого себя виня, —
Дверь девчонка затворила
Перед носом у меня.

Ах ты, девочка-невеста,
Повстречайся мне опять
У четвертого подъезда,
У квартиры сорок пять.

Я б остался в общежитье,
Я б подался на завод,
Только как мне быть, скажите,
Если отчий край зовет.

Если парень из тайги я,
И через четыре дня
Властно станет ностальгия
Звать на родину меня.

Тротуары станут узки,
Станут площади тесны...
Надо ж было здесь, в Иркутске,
Встретить луч своей весны!

Сибирские песни

1

Ночь темна.
Крепки засовы.
Стережет тюрьму Чека.
Ходит песня часового
Мимо окон Колчака:
«Близко города Тамбова,
Недалеко от села
Одного, потом другого
Мать братишек родила.

Вместе ели,
Вместе спали
Вместе маяли беду!
Да... второго расстреляли
В девятнадцатом году.

Я сегодня вспомню, Вася,
Как ты пел
И умирал...
— С добрым утром...
Одевайся...
Собирайся, адмирал!»

Ночь темна.
Крепки засовы.
Стережет тюрьму Чека.
Ходит песня часового
Мимо окон Колчака.

Уткин Иосиф Павлович (1903, Хинган на КВЖД — 1944). Член Союза писателей СССР. Автор поэтических сборников «Стихи» (1936), «Лирика» (1939), «О Родине. О дружбе. О любви» (1944), «Комсомольская песня» (1973), «Избранное» (1975) и др.

2

У тюрьмы за Ушаковкой
Часовой стоит с винтовкой.

«Как тебе не стыдно, парень,
Партизана сторожить?
Кто ты — шкура или барин,
На чужое ловкий жить?
Ты крестьянин,
Я крестьянин.
Вместе ляжем,
Вместе встанем.
Ты — косить,
И я — косить.
Ты не евши —
Я не сыт!

Одного с тобой мы круга,
Заодно бы нам и жить,
Не пристало нам друг друга
Темной ночью сторожить...»

Часовой глядит печально,
Слезы льются по усам...
«Не могу... убьет начальник...
Служба, парень, знаешь сам».

«Плюнь на службу, часовой!
Ты, я вижу, парень свой...

Нам рукой подать до дому:
У меня в лесу отряд...
Партизану молодому
Каждый кустик будет рад!»

...У тюрьмы за Ушаковкой
Часовой пропал с винтовкой!

А за городом Иркутском
Темный лес кричит совой...
Тихо по лесу крадутся
Арестант и часовой.

Иркутск
(из поэмы «Москва — Чита»)

Опять Иркутск. Опять. И кстати —
перевести в полете дух...
привет, старинный мой приятель!
А может — друг? Не скажешь вдруг...

Уж так живу — не забываюсь.
Как научили, как могу:
в друзья нигде не набиваюсь,
но и от дружбы не бегу.

Мне лишь одно давно противно —
как делят, не томясь душой:
мол, тот далекий, тот интимный,
тот старший друг, а тот — большой.

Не дружбу вижу тут, а службу,
где рангам зреть и спеть дано.
Уж если стоит мерить дружбу,
то лишь годами. Как вино!

Иркутск, Иркутск... Я в нем, как дома,
мне с ним теплей и веселей.
Мы с ним не шапочно знакомы,
а прямо с юности моей.

В те дни он лишь за партой школьной
давать нам спуску не хотел.
А в остальном для воли вольной
Не ограничивал предел.

Филиппов Ростислав Владимирович (1937, Арсеньев — 2006, Иркутск). Член Союза писателей России. Автор книг «Завязь» (1964), «Сосновая провинция» (1969), «Я к вам с друзьями» (1972), «Пятьдесят превосходных стихотворений» (1994), «Красная сотня» (2005) и др.

Он нас гонял по стадионам,
на лыжах ставил в декабре.
Садил на лодке плоскодонной
и уводил по Ангаре.

Он заставлял нас быть постарше,
когда и летом и зимой
влюблял до слез в девчонок наших
любовью первой и земной.

И, наши споры понимая,
он прекращал кулачный бой,
как только первая, немая
текла кровинка над губой.

И слыл тогда он щедрым очень,
своих запасов не таил.
Он нас на улицах из бочек
икрой и омулем кормил.

Варил кисель из облепихи,
держа под окнами тайгу...
Он был не громкий и не тихий,
не выделялся на кругу.

Хотя совсем не за досуги,
а за напор в делах земных
имел немалые заслуги.
Да кто же нынче-то без них?

.....

Иркутск... И мне, когда я ногу
занес, чтоб выйти за порог,
он счастья дал на всю дорогу...
Не пожалел. Не поберег.

А кто от счастья не шалает,
кого в поэты не влекло,
когда черемуха белеет,
как будто лебедя крыло!

Живу. Стихами занимаюсь.
И с этим счастьем дорогим
и торжествую я, и маюсь,
и не могу расстаться с ним.

.....

Мне было молодо повсюду.
Но прежде все-таки всего,
Иркутск, тебе обязан буду
за взлеты духа моего.

Крестовоздвиженская, белая!
Да будет вечен твой узор...
Его, видать, рука несмелая,
Осмелившись, внесла в простор.

Она как будто опасалась,
Творя, природе помешать.
Ей, доброй, может быть, казалось,
Что грех природу украшать.

У этой творческой несмелости
Хватает силы с давних пор
Камень из окаменелости
Перерождать в живой узор.

Смотрю — и светом душу потчую,
Не устаю благодарить
Того, кто смог такую прочную
Из камня хрупкость сотворить.

Искусство — редкая возможность
Соединять без суеты
Два мира — слабость и надежность —
В просторах русской красоты.

Иркутск — графичен. Словно стая
птиц на снегу. И я привык
к изгибам храмов, веток, ставен —
то плавных, то, глядишь, кривых.

И эта строгая графичность
мне позволяет различать:
вот дом. Вот дерево. Вот личность.
Вот Каин. Вот на нем печать.

Ангарская рыбалка

Сгорбился над луночкой,
Замер мужичок...
Мелко треплет удочкой
Стылый рыбачок...
Лед на речке ухает...
Ветер гонит снег...
Поводочком с мухой
Машет человек.
Да на лед веселкою
Достает... шугу!
Дома он веселый был!
Тут же — ни гу-гу...
Тут над ним всевластвует
Ветер да мороз...
Человек участвует
Только в смене поз...
С рыбой ли, без рыбы ли —
Побредет домой...
Жаль, что нету «прибыли»!
Все равно — герой!

Храпов Борис Николаевич (род. в 1959 г. в Анжеро-Судженске Кемеровской области). Поэт и композитор. Публиковался в коллективных сборниках «Подсказала строку Ангара» (1993), «Встречи у фонтана» (2005).

Иркутск

Городов красивых есть немало.
Для меня же
Самый дорогой —
Город, что у синего Байкала,
Город, что над синей Ангарой.

Он достоин
Громких комплиментов.
Испокон и нежен, и суров.
Город молодежи и студентов,
Город первоклассных мастеров!..

Цветков Денис Михайлович (род. в 1921 г.). Поэт и художник. Член Союза писателей России. Автор книг «Высоковольтка» (1973), «Годовые кольца» (2000), «Вечерний звон» (2001), «Признание в любви» (2002) и др.

Комната смеха
в саду Парижской коммуны

Воскресенье! Воскресенье!
В парке отдыха веселье.
У буфетов мат и давка,
Не театр — держи карман.
Винно-водочные лавки
Выполняют третий план.

Кто-то прет на карусели,
Эх, раздолье-широта.
Веселись, кружись, Рассея,
И плевать, что ты не та.

...А по стенкам в комнатенке —
Зеркала да зеркала.
Полупьяная бабенка,
Как ребенок, весела.

Кочевряжится с сомнением
Посреди зеркальных стен,
Там — ее отображение,
И оно — почти Лорен.

Замухрышка-старичишка
Тоже выпивший, поди,
Перед зеркалом кичится,
Со значками на груди.

Воскресенье! Воскресенье!
В парке отдыха веселье.

В пасть разинутых ворот —
Лица, лысины, бородки...
Все твое, за что боролся!..
Веселись, честной народ!

Осенний Иркутск

Осенние симфонии дождей,
На клавишах ступеней возникая,
Холодными аккордами стекают
В озябшие ладони площадей.

Болтается туман на проводах...
Опять бреду к трамвайной остановке,
Где у киоска сгорбилась торговка
С озябшими цветами на руках.

Задумчиво к торговке подойду,
Спрошу: «Почем?», скажу: «Дороговато...»
И вдруг начну с ней долго торговаться
У медленных прохожих на виду...

День между туч просунется едва,
Закат окрасит кромку горизонта,
Плывущий мимо одинокий зонтик,
Деревья и речные острова.

Пойду сквозь шепот гаснувших аллей,
Сквозь листопада рыжие метели,
Где сумерки запрятаны, как тени,
В пространство уходящих журавлей.

Иркутск

В утомленных суетой кварталах
Город зажигает фонари.
Даже снег и тот прилег устало:
Шел весь день он — что ни говори.

Возле парка в полукружье улиц
Мельтешат автобусов огни.
Грустно мне. Иду один, сутулясь.
А за мною — прожитые дни.

Много в этом городе знакомом
Пережито радостей и бед.
Помню время — был моим он домом,
А теперь здесь дома больше нет.

Все течет. А в Ангаре зеленой
Город сам себя не узнает.
И ушедшим солнцем ослепленный,
Мыкается в небе самолет.

Мост

Как крутолобые быки,
Под ним внизу чернеют сваи.
Они уперлись в грудь реки,
От напряжения изнывая.

А волны с яростью лавин
Бьют по нему и днем и ночью.

Эдельман Георгий (Зоря) Михайлович (род. в Нижнеудинске). Автор книги стихов «Поиск» (1970).

И устают, и пены клочья
С зеленых слизывают спин.

А он ведь с виду очень прост
И только в мускулах напряжен.
Он не силач — обычный мост,
Но знает он, что людям нужен!

Ледоход на Ангаре

Чуть слышно начинался ледоход
Чернильной ночью, мокрой и глухой.
Мне рассказать об этом нелегко,
Ведь это был любви моей исход.

Я шла от города, от передряг и зол,
К реке большой,
 чтоб тишиной лечиться.
Но там по льду как будто кто-то шел
Огромною неведомою птицей.
Как крылья, тучи поднимались ввысь
И, льда касаясь, шумно опускались.
А мне казалось, что душа и мысль
Во мне ломались и переплетались.
А звуки нарастали, вширь росли,
И вот уже вся ночь — поток весенний,
Где Ангара, бунтуя от любви,
Пошла сквозь льды навстречу Енисею.
Я ледоход тот в сердце берегу,
Где Ангара свой плен преодолела,
Где куст багульника нашла на берегу —
Как он сиял сиренево и смело!

...И снова память-календарь листаю,
И по реке шагаю столько лет.
И тихой тайной розовой растаял
 Букет багула на моем столе.

Содержание

«Иркутск в моей судьбе...»	5
Валентин Распутин. Иркутск с нами	11
Марк Сергеев. Иркутск	31
Анатолий Шастин. В минуту поздних сожалений	50
Александр Лаптев. Прошлое, настоящее и будущее Иркутска	79
Екатерина Авдеева. Из книги «Записки и замечания о Сибири»	89
Иван Калашников. Из «Записок иркутского жителя»	98
Григорий Потанин. Ядринцев и его «Восточное обозрение»	109
Гавриил Кунгуров. Из книги «Сибирь и литература»	137
Марк Азадовский. Из книги «Сибирские страницы»	153
Станислав Гольдфарб. Из книги «Иркутск, Иркутск... Истории старого города»	168
Борис Ротенфельд. Начинается рассказ	196
Иван Козлов. Иркутск литературный — от летописей к современности (главы из будущей книги)	208
Виталий Сидорченко. «Ноября 15 дня 1850 года»	247
Михаил Скуратов. Литературный обзор	268
Валентина Марина. Мой сталинский век	310
Василий Стародумов. Александр Балин	324
Иван Молчанов-Сибирский. Велика была радость... ..	332
Василий Трушкин. Временем поверяя себя	339
Евгений Раппопорт. Тетради, найденные в Жилкино	349
Франц Таурин. Первая на Ангаре	355
Дмитрий Сергеев. Недолгое Витькино отрочество	377
Геннадий Машкин. Философский камень	413
Надежда Тендитник. Иркутск Александра Вампилова	422
Геннадий Сапронов. Ступени собственного возвышения	432
Сергей Иоффе. От умолчания до забвения	447
Юрий Самсонов. Как перекрыли «Ангару»	463
«Город мой, город на Ангаре». Стихи иркутских поэтов	
Геннадий Аксаментов	481
Юрий Аксаментов	484
Валерий Алексеев	486
Светлана Анина	489
Борис Архипкин	490

Людмила Белякова	494
Людмила Бендер	495
Вадим Богатырев	497
Виктор Бронштейн	498
Георгий Бязырев	502
Евгений Варламов	505
Григорий Вихров	508
Николай Вяткин	510
Геннадий Гайда	512
Александр Гайдай	515
Анатолий Горбунов	517
Владимир Горчаков	523
Владимир Гусенков	525
Валерий Дмитриевский	528
Алексей Ершов	530
Елена Жилкина	531
Василий Забелло	535
Анатолий Змиевский	540
Дмитрий Иващенко	550
Сергей Иоффе	551
Виктор Киселев	556
Анатолий Кобенков	558
Татьяна Ковальская	565
Василий Козлов	566
Иван Козлов	569
Георгий Кольцов	578
Сергей Корбут	580
Владимир Корнилов	585
Надежда Кудашкина	589
Светлана Кузнецова	590
Евгений Куменко	592
Юрий Левитанский	595
Иннокентий Луговской	598
Владимир Максимов	600
Татьяна Миронова	602
Иван Молчанов-Сибирский	606
Татьяна Назарова	610
Иннокентий Новокрещенных	612
Юлия Ольховская	614
Анатолий Ольхон	615
Глеб Пакулов	618

Владислав Пляскин	620
Анатолий Преловский	621
Петр Реутский	624
Андрей Румянцев	628
Моисей Рыбаков	636
Михаил Рябиков	638
Виссарион Саянов	639
Константин Седых	641
Марк Сергеев	643
Валентина Сидоренко	649
Нина Сидорова	650
Николай Сиротенко	651
Владимир Скиф	653
Юрий Скоп	670
Василий Скробот	671
Михаил Скуратов	672
Владимир Скурихин	676
Ростислав Смирнов	679
Людмила Соболевская	681
Виктор Соколов	683
Александр Сокольников	692
Татьяна Соловкова	694
Татьяна Суровцева	695
Любовь Сухаревская	697
Светлана Третьякова	699
Михаил Трофимов	700
Валентин Уруков	702
Иосиф Уткин	704
Ростислав Филиппов	706
Борис Храпов	710
Денис Цветков	711
Сергей Швецов	712
Георгий Эдельман	714
Лидия Юрьева	716

ИРКУТСК. БЕГ ВРЕМЕНИ

В 2 томах

Том 1. Слово о городе

Составители

Станислав Гольдфарб, Владимир Скиф

Редактор Юрий Багаев

Художник Владимир Дейкун

Корректор Ольга Самсонова

Технический редактор Елена Бер

Подписано в печать 27.09.2011

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton.

Тираж 1000 экз. Заказ

Отпечатано в ООО «Репроцентр А1»

664023 г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/2

Тел. (3952) 540-940